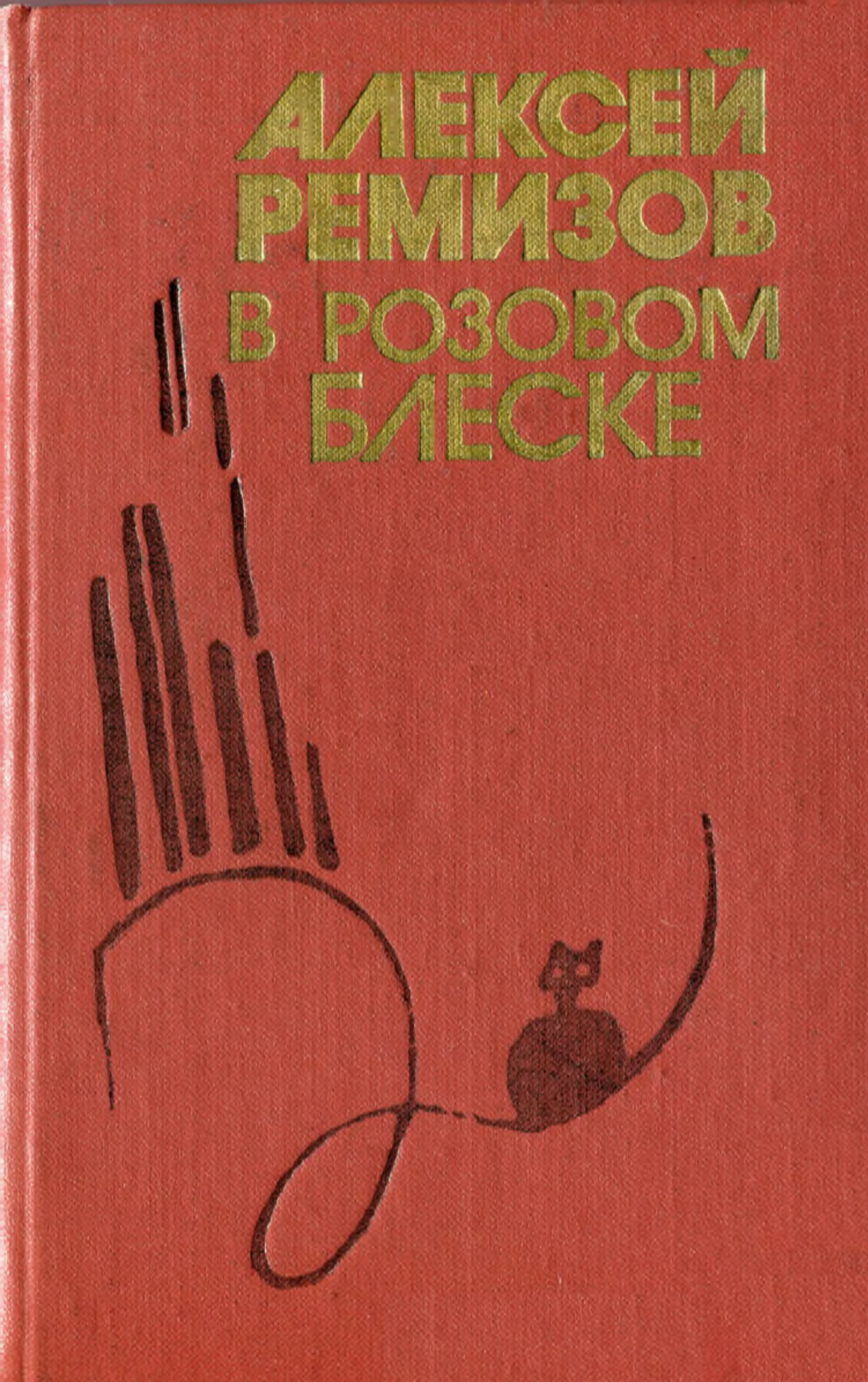

АЛЕКСЕЙ
РЕМИЗОВ
В РОЗОВОМ
БЛЕСКЕ



АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ

Автобиографическое повествование. Роман

Москва
«Современник»
1990

ББК 84Р
Р38

Составление, подготовка текста,
вступительная статья и примечания *В. А. Чалмаева*

Художник *Е. В. Андреева*

В оформлении использованы фрагменты рисунков
А. М. Ремизова

Ремизов А. М.

В розовом блеске: Автобиографическое повествование. Роман / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. В. А. Чалмаева.— М.: Современник, 1990.—750 с., портр.

ISBN 5—270—01018—6

Алексей Михайлович Ремизов (1887—1957) — русский писатель, тончайший знаток и пропагандист живого русского языка, автор романов «Пруд» (1905), «Часы» (1908), повестей «Неуемный бубен» (1910), «Крестовые сестры» (1910).

В настоящую книгу вошли произведения, написанные Ремизовым в эмиграции: автобиографическое повествование «Взвихренная Русь» (1927), роман «В розовом блеске» (1953) — о судьбе девушки-курсистки, отразившей бурное время начала века. Прототипом героини послужила жена и друг Ремизова С. П. Ремизова-Довгелло, по отзывам современников, человек величайшей души. Оба произведения на родине писателя издаются впервые.

Р $\frac{4702010000-229}{М106(03)-90}$ 120—90 ББК 84Р

ISBN 5—270—01018—6

«Вся моя жизнь прошла с глазами на Россию...»

(Судьба и «автобиографическое пространство» А. М. Ремизова)

> Весь мир для меня выражается словом — сочетанием слов. Мир — словарь. И как я радуюсь словам. Слова меня трогают — я чувствую их взгляд, рукопожатие. Меня можно оцарапать словом и обольстить. Говоря, я слежу за словами.
>
> *Из дневника А. М. Ремизова*
> *14 ноября 1956 г.*

> «Интимное, интимное берегите, всех сокровищ мира дороже интимность вашей души! — то, чего о душе вашей никто не узнает!» На душе читателя, как на крыльях бабочки, лежит та нижняя, последняя пыльца, которой не смеет, не знает коснуться никто...
>
> *В. В. Розанов «Апокалипсис*
> *нашего времени» 1918 г.*

«В дождь Париж расцветает, точно серая роза...»,— сказал в начале века о великом городе Максимилиан Волошин.

И сейчас он такой же... Смягчены и округлены в пелене дождя устойчивые контуры предметов, приглушены кричащие краски вездесущей рекламы, а резкие звуки словно вязнут в монотонном шелесте дробящихся капель. Если же сквозь полосы тумана, поднимающиеся с Сены, ненадолго пробиваются лучи солнца, то разливается неповторимый, истинно парижский серебристо-серый блеск. В путеводителях для немцев эту достопримечательность «серой розы» даже и называют zerschlissende silbergrau (текучая, переливчатая серебристая пестрота).

Есть у этого явления — природы, поэзии? — и еще один спутник. Медленно набухают в дождь густые кроны ухоженных каштанов, задерживая, собирая влагу. Но налетает порыв ветра, запутывается во влажной блестя-

щей листве, и падают вниз мокрые упругие каштаны... Живыми зелеными ежиками раскатываются они — есть в этом трогательный, «детский» беспорядок для огромного, не верящего слезам, как и Москва, города! — по булыжникам, каменным плитам, вытоптанным полянам знаменитого Булонского леса...

В скромной парижской квартире на улице Буало (второй этаж дома № 7), где Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957) прожил большую часть эмигрантской жизни, где смертельно заболела и скончалась его жена и друг всей жизни Серафима Павловна Ремизова-Довгелло (ей посвящены все главные книги писателя), была комната, которую Ремизов так и называл — «комната на каштан». Надобно представить этот уголок ныне уже престижного 16-го района Парижа в 20-е и в предвоенные годы: пустынная, почти провинциальная улица, рядом с домом Ремизова — стена госпиталя, откуда почти ежедневно выносят скончавшихся, лавочка, цветочный магазин, три прачки с красными от жара лицами, узенькое окно сапожника под вывеской, к которой прикреплен черный сапог («все сапожники на одно лицо или, вернее, колодку»,— шутил Ремизов), гараж. И здесь-то, под окном ремизовской квартиры, как живое напоминание об украинском просторе, о селе Берестовец Черниговской губернии, где выросла Серафима Павловна, где подолгу бывал до революции писатель, где воспитывалась их дочь Наташа,— огромный каштан...

«В России мы жили как бы в комнате, в квартире, в доме, в помещении, куда нельзя было без звонка войти, где каждый пришелец обращал на себя внимание. В России мы могли жить «задумчиво», еще не замыкаясь в самих себе, не затыкая ушей. Здесь люди очутились на выставке, на митинге: все распахнуто, слышен только невнятный гул, в котором тонут отдельные голоса»,— писал об эмигрантской «безбытности» поэт и критик Георгий Адамович.

Взгляд, упиравшийся в каштан, в его «свечи» или мокрую крону, роняющую зеленых «ежиков», приносил забытую задумчивость, позволял выпасть из гула, из митинга. «Зацветет белым огнем — весна; не весенние белые свечи, теплые снежные хлопья, как свечи — зима. Увидите темную зелень — лето пришло, а золото — поздняя осень! Так по каштану,— говорит Ремизов,— я не

ошибусь, веду круглый счет моих последних лет. С болью я расстаюсь с этим миром и все хочу убедить себя, что все, что случается, все по моей судьбе...» — так записала исповедь писателя близкий друг Ремизова, его добровольный секретарь, автор книги «Алексей Ремизов» (Париж, 1959) Н. В. Кодрянская.

Н. В. Кодрянская впервые посетила Ремизова в день Рождества 1940 года. И была поражена удивительной атмосферой всего «ремизовского подворья». Она запомнила... «раковину», еще гудящую океанским гулом,— рабочий кабинет Ремизова. Это комната с деревянной кукушкой в сломанных часах, «кукушкина комната»: пестрые человечки, «шествие» зверей на протянутых веревках, тибетское ожерелье — подарок Н. К. Рериха, рыбьи скелеты, игрушки и клоун — дух огня — «Фейрменхен»... Кабинет ли это писателя или изба колдуна, чум шамана? Попытка отшельника, выброшенного на каменную плиту, «подгрести» под себя хоть крупицы земли, победить эмигрантскую «безбытность» с ее безвременностью?

Сказочный мирок, как раковина в океане, существовал среди бурь и грозных потрясений. В Европе уже шла война, надвигались испытания фашистской оккупации Парижа, напоминали о себе старческие немощи, «штурмующие» организм — в 1940 году Ремизову было уже 63 года! Близка была болезнь и смерть Серафимы Павловны. Она скончается в 1943 году, оставив поистине в житейской пустыне полуслепого, беспомощного в быту мужа. Но какое-то неизгонимое озорство, «веселость духа», как говорил Ремизов, поразили Н. В. Кодрянскую в художнике, во всем доме в тот рождественский вечер 1940 года. И она записала свои впечатления так: «Лучистые, проникновенные глаза, то грустные, то плутоватые, а брови совсем как у чертика: две черные стрелы, летящие к вискам; нос чайником, вздернутый над мягким, большим лягушечьим ртом. Лицо доброе-доброе, как бы примиренное с жизнью. Волосы подстрижены под первый номер. На макушке татарская тюбетейка. Маленький, тихий, приветливый, точно персонаж из детской сказки, с горбом, но не горбун от рождения... Взяв меня за руку, Алексей Михайлович ведет в «кукушкину». Стена цветных ремизовских конструкций; в воздухе талисманы,— в сумерках не видно веревки, на которой они подвешены,— раковины, морские коньки, звезды... Он

занимает не много места. Закутан в разноцветные шкурки, всегда озябший. Сколько ему, скажете, лет? По его памяти — тысяча, а может быть, и с хвостиком. Сейчас он начнет ворожить — ведь он не читает, а ворожит — и кого только не завораживал он своим чтением!.. Алексей Михайлович необычайно застенчив, и вдруг эти его расшитые шелком тюбетейки, диковинные вязаные платки, цветные кофты, пестрые «шкурки», как он их называл. Весь этот маскарад, я думаю, был не только выражением любви к краскам, но и желанием укрыться под красочным нарядом от чужих равнодушных глаз».

Вся невыносимость жизни «на улице», да еще чужой, скрытая глубина страданий, вызванных отсутствием толщи быта, «чернозема» под корнями, бессильные метания утонченного духа вне «плоти» (России и народа) выражены в этих внешне бесхитростных описаниях. Художник, вероятно, во все времена подобен Шехерезаде, вдохновенно спасавшей и продлевавшей свою жизнь созданием сказок, надеждой задобрить и преобразить в фантазиях и грезах действительный мир. Для Ремизова даже игра с амулетами, символами в «раковине» комнаты, озорное культивирование игрушечного и игрового ордена друзей придуманной им «обезьяньей великой и вольной палаты» с ее знаками и чинами, даруемыми обезьяньим царем Асыкой, как способ увеличения пайка свободы в регламентированном мире, даже записывание собственных снов, издание книг мизерным тиражом, часто в 300 экземпляров, было единственным прожиточным воздухом, средством продления жизни. «Я готов отказаться от еды, вытерпеть холод — книга для меня все!» — говорил он Н. В. Кодрянской. На обложке изданных книг он печатал своеобразный анонс своего неизданного: «...Книги, ожидающие самоотверженного издателя».

Современник А. М. Ремизова, наблюдательный и ироничный Е. Замятин, заметил еще в 1922 году, в первый год эмиграции Ремизова (она началась в Берлине): «Ремизов — все еще тянет соки из той коробочки с русской землей, какую привез с собой в Берлин». С годами эта «коробочка» выявила свою невиданную емкость, почти безграничность зрительной и духовной памяти художника. (С 1921 по 1957 год А. М. Ремизов издал за рубежом 45 книг.)

Соков русской земли оказалось в этой коробочке так

много, что неутомимый труженик Ремизов создал совершенно уникальное единство судьбы и творчества, житейской автобиографии и воображаемой, «наигранной» реальности. Он породил изумительное «атобиографическое пространство».

...Зеленеет каштан на улице Буало, зовет сквозь серебристую парижскую дымку оглянуться туда, на Россию, где начиналось это удивительное «пространство», где начиналась неповторимая судьба.

I

Алексей Михайлович Ремизов родился в Москве 24 июня 1877 года, в ночь на Ивана Купалу. «В Купальскую ночь цветок папоротника, горя нестерпимым огнем, ожег мне глаза»,— это часто будет повторять писатель, мифологизируя факты всей жизни.

Даже собственное имя — оно дано было Ремизову в честь московского митрополита Алексия — казалось ему особым знаком: «Петр, Алексий, Иона, и Филипп — живые... московские чудотворцы»...

Семейные предания и обстоятельства жизни родителей способствовали зарождению мифологизации действительности, постоянному учету демонических сил, бушующих в душе человека. Ремизов словно даже поддерживал в себе испуг перед тайнами и загадками душевных гроз, катастроф, игрой судьбы. Своеобразное «двоемирие» — один мир наглядный, тот, что под носом, а другой мир роковой, неподвластный, где действуют надчеловеческие силы, демоны и ангелы — рано возникло в сознании будущего художника.

Почему возникло это «двоемирие»?

Ремизов родился в Замоскворечье и принадлежал сразу к двум крепким купеческим родам — Ремизовым и Найденовым. И. А. Ильин, русский философ, автор превосходнейшей работы о Ремизове, писал: «Веками это Замоскворечье было гнездом народнейшего, коренного и консервативного купеческого слоя, который был как бы сердцем, истоком и живым водохранилищем торговой православной России. Здесь хранились древние нравы и уклады, связанные с церковностью, а нередко и с старообрядческой церковностью; они хранились и в большом, и в малом, и в священном, и в пустяковом, как

бы некая основа жизни и сокровище. В этой среде вера и необразованность срастались нередко в суеверие, а суеверие от искренней наивности возносилось на уровень веры и чуть ли не догмата. Быт срастался с обрядом, а из-под обрядового быта бил струей неистовый русский темперамент, от которого выдержанное скопидомство сменялось внезапно щедрым мотовством, а мотающее буйство заканчивалось покаянным обрядом... Это среда, где не было религиозных сомнений, но где в то же время верили в гадание... и в домовых, и в ведьм, и в чертей... и во всю тысячелетнюю нежить и нечисть русского мифа, где странники и странницы, чудотворцы, знахари, бабки, монахи и всевозможные юроды принимались, привечались, кормились-поились...» («О тьме и просветлении». Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев. Мюнхен. 1959.)

Для чуткой души ребенка эти живые воды преданий имели совершенно исключительное значение. Следует учесть и то, что в дни детства Ремизова старомосковский купеческий быт начал рваться, разламываться. Примером такого разлома может служить судьба матери Ремизова — Марьи Александровны Найденовой. Она выросла в богатом купеческом доме. Окончила немецкую школу. В юности сблизилась с кружком первых русских нигилистов. Этот кружок московских «базаровых» Н. С. Лесков изобразит в романе «Некуда» под названием «Сокольнического». Здесь был пережит гордой купеческой дочерью своеобразный «роман»: художник Н., член кружка, предмет ее неистового поклонения, новая свободная личность, оказался вдруг «свободен» вовсе не столь безгранично (как ей, усвоившей новые «веяния», готовой идти в народ, конечно, хотелось!). Избранник Маши Найденовой смалодушничал (по ее понятиям), не бросил ради нее семью, детей. И тогда московская Катерина решила отомстить ему — выйти замуж «назло». Она вышла за вдовца, известного московского галантерейщика Михаила Алексеевича Ремизова. Он имел к этому моменту пятерых детей от первого брака! М. А. Ремизов владел двумя лавками, домом в Москве (и двумя в Нижнем Новгороде) в Большом Толмачевском переулке. До этого М. А. Ремизов прошел все этапы восхождения коммерсанта — от мальчика на побегушках, второго приказчика до доверенного хозяина, галантерейщика Кувшинникова. Молодую жену он нежно любил, нян-

чил как ребенка, ездил с ней за границу, чаще всего в Вену.

Маша Найденова, несостоявшаяся народница, подвижница неясной ей идеи, недолго наслаждалась местью. Посильна ли вообще для женской души ноша мести, игра собой, дух вызова? Увы, в душе Маши ненависть к «осторожному» нигилисту-художнику скоро иссякла, жить духом мести, бунтом скоро стало нелепо. И вот она — как уродливо силен был в ней и «нигилизм», и самодурный дух купеческого рода — отбросив, обесценив все заботы мужа («так до смерти и осталось для него тайной: за что?» — вспоминал Ремизов о самочувствии отца), не посчитавшись с тем, что их связывали уже четверо общих детей, вернулась в дом братьев — купцов у Земляного вала. Но братья, владельцы бумагопрядильной фабрики, красильной мастерской, приняли свои меры для укрощения «беглянки»: ее приданое, благородно возвращенное М. А. Ремизовым, они «взяли в дело». Саму беглянку с детьми поселили в бывшей красильне, резко ограничили в средствах. Страшный психологический выверт, извративший душу гордой женщины — и на много лет — заметил Ремизов-ребенок: не радость приносили ей дети, они лишь «напоминали о ее черной злой мести...» И особенно он, последний,— мать жалела его, но он был и самым прочным, последним звеном в ее оковах.

Так из детства и юности Ремизов вынес устойчивое убеждение, что жизнь человеческая всегда — в вихре страстей, в страхе, во власти запредельных сил. Вещи и явления лишь сопутствуют человеку, они различаются лишь разной мерой выносливости перед ударами демонических сил: а вообще-то говоря — вещи призрачны... «Отбиться» от роковых сил, умилостивить их даже истовой молитвой порой невозможно.

На склоне лет на вопрос Н. В. Кодрянской: волен ли человек в своей судьбе? — писатель ответил сложно, словно перебрав в памяти все впечатления жизни: «Это один из тех вопросов которые я называю «столбовыми»,— говорит Ремизов, и, помолчав, продолжает: — Для меня до сих пор остается загадка: человек одно, а строй его жизни другое. Как только человек соединяется с другими людьми, он теряет власть над собой: управляет общество, а не человек. Скажем, мирный человек, и вдруг заставили пойти на войну? Кто заставил? Какой

закон выше воли отдельного человека? До сих пор не понимаю, как это возможно? И еще: «в мире ходит грех». Таково народное раздумье над жизнью. Грех — сила, и не знает никаких естественных преград, никаких зароков... Стало быть, в мире есть непокорная, темная, разлучная сила. Эта сила все разрушит на своем пути и пойдет дальше. Вот что меня поражает. Значит, в мире неблагополучно. Кто же может за себя поручиться? Я за себя ручаюсь, но чем поручиться, кто-то возьмет и все перевернет. Какие-то силы меня подымают, помогая быть на земле, но есть какая-то сильнейшая сила, которая сшибет...»

Воля творить миф своего «я», постоянное сгущение, концентрация противоречивых тайных желаний — часто заставляли Ремизова видеть и все случившееся с ним в особом «роковом» свете. Он и жаловался, что в его жизни все шло кувырком, скачками, что в литературу он попал некстати («с кем-то спутали»), но в душе он предпочитал подъемы и падения, внезапные озарения, спутанные сновидения всему ровному, «среднему», рассудочному. Андрей Белый, будущий друг Ремизова, писал о процессе непрерывного внутреннего строительства, срывах, взлетах в душе художника: «Если нет у писателя той таинственной точки, откуда, как пар, поднимается лучеиспускание, то он не писатель».

В свете, вернее в облаке подобного «лучеиспускания», протекла и юность Ремизова. Так, он сочинил из себя... революционера, но одновременно увлекся и святынями Кремля, Андрониева монастыря. Как сочеталось это с чтением нелегальной литературы? Трудно судить... Ремизов — студент Московского университета — меры не знал ни в чем: ни в хождениях в каморки фабричных рабочих («горечью дунуло в меня, и боль канула в сердце»), ни в восторгах перед литургией, ни в изучении «запретного». Он даже съездил в Цюрих, где жадно прочел «все нелегальное» и затем — кому? для чего? — легко провез из Цюриха целый сундучок «запретных» книг Плеханова, Михайловского и других в Россию!

Только явно любительский, бесцельный — Ремизов-студент физико-математического факультета не входил ни в один кружок, не был ни в одной подпольной организации! — характер «акции» сделал это фантастическое деяние-игру возможной... Взглянуть на себя, как на одного из многих наивных идеалистов, в сущности правдо-

искателей, которым «мечта была мила, как дальность» (В. Брюсов), которые хоть и повторяли «пусть сильнее грянет буря», но в революции видели какую-то сверхреальность, мистерию, таинство, Ремизов еще не мог. Прослойка таких смутных революционеров, искавших в революции красивого страдания, а не прозаического дела на многие годы, часто рисовавших образ революции с помощью цитат, библейских видений, вообще была велика в канун 1905 года. Не случайно столько «сломавшихся» было после ее поражения, в «ночь после битвы».

Все, случившееся с Ремизовым в 1897 году, предстало пред его духовным взором загадочной игрой судьбы, предписанием зловещих сил. Его, в сущности чувствительного зеваку — «сочувственника», сочинителя своей судьбы, не могли понять антагонистические стороны. Когда 18 ноября 1897 года Ремизов случайно окажется на студенческой демонстрации, не останется равнодушным к избиению полицейскими студенток, заступится за них и попадет как «агитатор» в Тверскую часть, то жандармы, открывшие с опозданием, что именно этот странный юноша, одиночка, не входивший ни в одну «учтенную» ячейку, с необычайной удачливостью и провез сундук нелегальщины, сочли его опаснейшим конспиратором. Другие же арестованные, оказавшиеся в той же части, «поймут» Ремизова еще более нелепо: они отстранятся от одинокого, «неорганизованного» гуманиста, сочтут его... провокатором!

И это был не последний узелок, который заплела жизнь. Будучи необычайно сурово наказан — по подсказке той же полиции, уверенной, что поймана «крупная птица»! — Ремизов в ссылке в Вологде выдержит еще и суд революционеров (разных партий) как «декадент», «пустое место». В книге «На вечерней заре» он расскажет о всей тревожной коллизии в Вологде, затронувшей и его, и будущую жену писателя, ссыльную Серафиму Павловну Довгелло, тогда студентку Бестужевских курсов, эсерку, внезапно осознавшую свою непригодность для прозаической жестокой повседневности революции. «С. П. по своему убеждению отошла от «революционной работы». А предполагалось, что займет высокое место в партии с-р, в созданной Савинковым «боевой организации»,— вспоминал на склоне лет писатель.— И вот она объявила, что она прекращает революционную

деятельность. И это решение ее приписано было моему разлагающему влиянию».

Впрочем, ссыльные в Вологде — и среди них А. В. Луначарский, Н. А. Бердяев, П. Е. Щеголев, Б. В. Савинков — поняли Ремизова, собирателя зырянских легенд о лесных карликах и чудовищах, об Омеле и Ене, главных божествах зырянской мифологии. Поняли и оставили его в покое. Сложнее было с полицейскими. Те и представить не могли, что «злодей», выводимый из ворот тюрьмы в кандалах, жалеет и конвойных, забитых солдатиков, с их ненужными и, как ему казалось, тупыми, картонными шашками, и всю каторжную голь. Что он шепчет про себя, как протопоп Аввакум, слова благословения своим же мучителям, всему миру лесов, рек, безмолвию просторов, окружающему его в ссылке! Из-за этого непонимания Ремизов — ссылаемый то в Пензу, то в Усть-Сысольск и Вологду, то в Херсон (на поселение) — только в 1905 году появился в Петербурге.

II

...Роман «Пруд», с которым Ремизов явился в Петербург «в самую кипь символизма», долго имел рабочее название «Огорелышевское отродье». Это была дань традиции, семейному роману: история рода, как ствол повествования, Москва — «город-растение» (А. Григорьев) с ее органической безыскусной жизнью прямо смыкаются с историческим преданием. Все как будто говорило о верности молодого писателя реализму. Но в то же время Ремизов ощутил потребность подняться над описательностью натурализма, создать нечто, захватывающее дух, пугающее и завораживающее. Он искал новой формы, которая была способна **проявить** до конца непроявленные, скрытые для среднего глаза духовные сущности явлений, тайны человеческих душ.

Что представлял собой первый роман Ремизова «Пруд»? Лирическое повествование о детстве в мрачном доме купцов Огорелышевых? Историю жизни матери, смятой каким-то вихрем страстей, ей неподвластным? Вероятно — и то, и другое, и нечто «третье», «четвертое», не имеющее жанрового обозначения. Ремизов — художник-**вихревидец**, по словам одного его современника. Даже покой в его романе (образ «пруда») устрашает: это

молчание хаоса, скованной бури. Перечитав этот роман сейчас, современный читатель словно ощутит глубины омута, стихию мук, силу застойного оцепеняющего быта старой Москвы. Москва в этом романе — душная, тяжеловесная, купеческие дома в ней, где живут героини «со скитской поволокой темных глаз», где всех устрашает «каменная огорелышевская улыбка», напоминают монастыри. И в то же время в ней растворено какое-то бессилие, историческая усталость, одурь обломовского сна, неискоренимого страдания.

В данной статье нет возможности подробно говорить обо всем дореволюционном творчестве писателя: за пределами нашего внимания остаются и книга сказок «Посолонь» (1907), и книга апокрифов; притч «Лимонарь» (1907), «Неуемный бубен» (1910) и др. Отметим только, что все последующие (после «Пруда») произведения Ремизова 1907—1917 гг., включая и роман «Часы», и повесть «Крестовые сестры», можно определить, как переходную, промежуточную, даже эклектическую форму «реалистического символизма», как звенья, фрагменты выразительной панорамы кризисной эпохи, лишенной устойчивости, надежности, определенности. «Символистом была действительность, которая вся была в переходах и брожении... Все сместилось и перемешалось, старое и новое, церковь, деревня, город и народность. Это был несущийся водоворот условностей»,— писал Б. Пастернак об этом времени.

Так, искаженный, гротескный образ ненадежного, покачнувшегося мира возникает в «Часах» (1908) в момент бунта главного героя мальчика Кости Клочкова, решившего остановить часы на городской башне и украсть время. В этом бунте уродливого пленника жизни, наделенного к тому же адской гордыней, жаждой всех запереть в плену хаоса, неразберихи, «безвременности», Ремизов вновь улавливает воздействие на мир безличной, роковой силы зла, таинственного «беса», вселяющегося в людей. Какой-то двойник Кости Клочкова смотрит в конце повести с хохотом на «обманутый им город», на самого пародийного героя, маленького уродливого «наполеончика».

Подобные же таинственные силы зла, вселенского «лиха», говоря на языке современника Ремизова Ф. Сологуба, вмешиваются в дела людских сообществ и в повести «Крестовые сестры» (1910). Повесть — кульмина-

ция движения Ремизова к предельной символизации реальности. Она буквально нацелена на заострение страданий, подчеркивание хамства и «дубоножия» в жизни. Герой этой повести мелкий чиновник Маракулин доходит до предела и в муках, и в страстных поисках ангельского, вечного в образе России, в отдельных душах. Эта «петербургская повесть» во многом как бы предшествует — прежде всего искусством «вихревидения», изображения потока реальных и фантастических событий и явлений — будущей «Взвихренной Руси». Не персонажи, а целые стаи фантастических сущностей, полусуществ — полусимволов, каверзных или мучимых, проносящихся как видения, окружают в «Крестовых сестрах» читателя. Но прежде всего они окружают Петра Маракулина.

Этот ремизовский герой, мелкий банковский чиновник, живет в Бурковом дворе, сборном пункте всех горемык, несчастных, ущемленных. Он как характер, заранее и очень уверенно «вычисленный», возникает на основе синтеза жизненного опыта писателя и многообразной литературной традиции от Гоголя до Достоевского. Как гоголевский Башмачкин, Маракулин — под прессом, гнетом всей чиновничьей пирамиды. Правда, усердием и покорностью он выбил себе норку, обставил ее защитными догмами сиротства, безнадежного одиночества и добродетелями нужды — «навалится беда, терпи», «забудь, что на свете есть люди», «не думай», «человек человеку бревно»... Жизнь подсказала, вернее, навязала ему и систему доказательств истинности этих заповедей.

Повесть «Крестовые сестры», как и сопутствующие ей повести «Неуемный бубен» (1910) и «Пятая язва» (1912), объективно развенчивающие и религию терпения, страдальчества и все хаотичные попытки наивного государственника Боброва («Пятая язва») преодолеть ее,— конечно, можно поставить в один ряд с «Деревней» И. А. Бунина, с «Жизнью Матвея Кожемякина» А. М. Горького, отчасти с «Мелким бесом» Ф. Сологуба. Как отражение глубочайших тревог художников за судьбу огромной страны, как предчувствие невиданных мятежей и грандиозных перемен. Как сложный сплав надежд и безнадежности. Но, пожалуй, больше всего Ремизов близок А. Блоку. Как и А. Блок, Ремизов не просто обличает «свинцовые мерзости жизни», туманящие лик России.

При всем этом Ремизов заворожен «разбойной красой» России, восхищен максимализмом верований и порывов людей. Герой «Крестовых сестер» вопрошает, подобно пушкинскому Евгению, самого Петра, «Медного всадника»: куда же пришла и может еще пойти Россия? На языке А. Блока этот вопрос звучал так:

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу...

Отметим также, что было в Ремизове тех лет, как и в А. Белом, в А. Блоке одно качество, которое чрезвычайно обостряло сознание близости катастроф, неизбежности вихря обновления в будущем. Это же качество придавало ожиданиям того же Блока, одного из героев «Взвихренной Руси», и Ремизова неконкретный, чрезмерный характер. Того, что «чародей» может быть чрезвычайно прост, что он явится без божественных риз, никто не хотел даже предположить. И не случайно, конечно, Христос у А. Блока явился, вернее, явлен автором во главе «двенадцати» красногвардейцев в знаменитой поэме 1918 года.

Ремизов в годы революции тоже будет скликать к «Взвихренной Руси» всех святых и праведников... Свой Христос, вернее частицы его бессмертной души, не устающей прощать, жалеть, воскрешать впавших в жестокость, беспамятство людей, будут жить и во «Взвихренной Руси», в любом осколочном ее эпизоде, как и в любой ситуации жизни героини романа «В розовом блеске». Он тоже будет вечно незримо идти... «во главе». Даже не признающих, попирающих, распинающих его (и его заветы) людей!

III

Сейчас можно только удивляться тому, что жизнь в голодных нетопленных домах-пещерах Петрограда в 1918—1921 годах, где в ходу была неведомая ранее денежная единица «паек», где, как заметил Е. Замятин, «надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже и надо все больше навертывать на себя косматых звериных шкур», не казалась ни Ремизову, ни множеству его литературных друзей вплоть до

А. Блока, проповедника «скифства» Р. И. Иванова-Разумника и др., чем-то не оправдавшим уровень их волхований, надежд и заклинаний. Хотя, как будто, невозможно упасть ниже нищих хлебных очередей, поглощающих все силы души, поисков дров для «буржуек», обычной воды. С грустной иронией писал в 1922 году В. Зоргенфрей, поэт круга А. Блока, в стихотворении «Над Невой»:

Человека окликает
Гражданин:
— Что сегодня, гражданин
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал.
Душу я на керосин
Обменял.
От залива налетает резвый шквал,
Торопливо наметает снежный вал,
Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило
У теней.

Вопреки множеству утрат, разочарований, внезапных проявлений «иронии истории» Ремизов в 1917—1921 годах не только не думал покидать Россию, он сохранял надежду на вселенский ураган. Бесхлебье было для него менее страшным, чем стесненность духовной жизни. Он тоже слышал «музыку», как и Блок, в событиях. Он и позднее скажет об этих днях: «Русскому человеку никогда, может быть, так не было необходимо, как в эти вот годы (1917—1921) быть в России... Да, много было тягчайшего — и от дури, и от дикости, ведь мудровать мог кто угодно! — ведь революция, это не игра, это только в книжках легко читается...

А много было, чего в мир и тишину и в благоденствие просто немыслимо, это порыв — это напряжение до крайности.

И в беде — великое человеческое сердце —
человек к человеку,
лицом к лицу». (Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Нью-Йорк, 1978).

В 1919 году в Москве умерла мать Ремизова. На ее похороны писатель приехать не смог. Как раз в это время он совершенно случайно был арестован (вместе с

А. А. Блоком, С. А. Венгеровым, К. С. Петровым-Водкиным, Е. И. Замятиным) по подозрению в участии в некоем мифическом левоэсеровском заговоре. Вскоре он был выпущен. В этом же году в Сергиевом Посаде скончался его друг В. В. Розанов. Потеря эта для Ремизова была бесконечно горестной. В. В. Розанов был один из немногих, кто понимал природу его неудобного, странного таланта, видел полнейшую житейскую беспомощность, считал «потерянным бриллиантом».

В 1921 году умер А. А. Блок. С ним Ремизов все тяжкие годы «пещеры» сотрудничал во «Всемирной литературе» (это горьковское издание О. Э. Мандельштам назвал так: «Сухарева башня голодных интеллигентов девятнадцатого года»), в издательстве «Алконост», участвовал в заседаниях «Вольфилы» (Вольной Философской Ассоциации)... Смерть Блока, постоянного собеседника в спорах о России,— для Ремизова огромнейший удар.

Свидетельством глубочайшей связи «Двенадцати» А. А. Блока и духовно-нравственных состояний Ремизова 1917—1921 годов является сложнейшая мозаика подробностей, фактов, снов, не преображенных в систему в книге «Взвихренная Русь» (1927). Находясь уже на чужбине (Ремизов выехал в эмиграцию — вначале в Берлин, затем в Париж — в августе 1921 года), писатель создал свой художественный образ Петербурга этих лет. Это образ города голодного, промерзшего, все время колеблемого в пространстве «между сыпным и тифозным», сползающего в стихию жестокости и варварства, в то же время зажегшего «огни негасимые над Россией».

В «Крестовых сестрах» уже возникала умозрительная догадка о сожигающем пути России. Для отчаявшегося во всем героя был невыносим вид «все выносящей, покорной, терпеливой Руси, которая гроба себе не построит, а только умеет сложить костер и сжечь себя на костре». Во «Взвихренной Руси» этот костер горит, больно обжигая и самого писателя, разрушая его иллюзии.

Что же увидел Ремизов в свете костра? Из каких житейских и культурных реальностей, полюсов добра и зла составилось необычайное пространство «Взвихренной Руси»? Пространство столь же автобиографическое, сколько и историческое

Е. Замятин, воссоздавая атмосферу жизни близкого ему круга петербургской интеллигенции в 1918—1920 годы, припомнит характерные черты времени, свои сочувствования и ожидания в голодном и промерзшем Петрограде: «...Мы вместе были заперты в стальном снаряде — и во тьме, в тесноте, со свистом неслись куда-то. В эти предсмертные секунды-годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся снаряде... В озябшем, голодном тифозном Петрограде была культурно-просветительная эпидемия...»

Ремизов плохо подходил для жизни «в снаряде», для сплошной лихорадочной попытки перегнать нужду, отвоевать паек. Он, на первый взгляд, вообще кажется слишком подслеповатым, чтобы разглядеть нечто вокруг себя «из снаряда». И во «Взвихренной Руси» он, автор и герой повествования, как бы неловко, нерешительно «втирается» между действующими лицами, между событиями.

К. А. Федин, отдавая дань «снижающей» традиции портретирования Ремизова, создал образ писателя в 1919—1921 годы в нарочито стилизованном, снисходительно-упрощающем плане, не уловив скрытой зоркости и трагизма переживаний его: «Сутулый, схожий чем-то с Коньком-Горбунком, чуть-чуть вприсядку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и в шапочке — Куковников, именно Куковников,— человек с этой фамилией — причудинкой, надетой на себя Алексеем Михайловичем Ремизовым много позже, в Париже, в числе прочих псевдоимен и обличий, какими он назывался и в какие рядился. Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый нос движет кончиком, вероятно — принюхиваясь к тому, что излетает из выпяченных уст. Уста же глаголят нечто скорбное, или рекут гневное, или лепечут нежное, или струят язвительное, или изливают сердечное — и все это в изысканном, но в таком русском слове, какое обмывалось на красных блюдах, протиралось расшитыми полотенцами, хоронилось на божницах либо доходило к нам в кованых родительских рундуках.

...Если на свете бывала арлекинада не на подмостках, а в обыденной человеческой жизни, то на русской земле страшнейшие и несчастнейшие арлекины». (К. А. Федин. «Горький среди нас». М., 1968.)

Стилизация,— это уклончивость, укрытие, самозащита хрупкого внутреннего мира. Она, как маска, сросшаяся с лицом, упрощает образ человека, обманывает, подсказывает ложные направления в «понимании» природы этого человека. К. А. Федин, безусловно, знал один поздний роман Ремизова, где он изобразит себя в фигуре смешного и неловкого «учителя музыки» Куковникова. Знал он, конечно, и «Взвихренную Русь». Но сила инерции, взгляд на Ремизова как на мученика, «несчастнейшего арлекина», юродивого, своего рода забавника и стилизатора, помешали ему увидеть и замечательное художественное совершенство «Взвихренной Руси», и удивительную остроту постановки в ней мучительного, «блоковского» вопроса тех дней — революция и культура, интеллигенция и народ. Впрочем, у К. А. Федина были, видимо, и другие причины для обхождения глубинных слоев содержания этого уникального, долго замалчиваемого романа-хроники.

Вероятно, и для читателя наших дней скрытая глубина мозаики фактов, «поверхностных» бытовых зарисовок, «заговоривших» на каком-то новом языке уличных вывесок и плакатов, странная нелепица снов, хождений и встреч, собранных во «Взвихренной Руси» в нарочитом беспорядке, тоже не сразу откроется. Столкновение высокой культуры и «низового» просторечья, прямых и скрытых цитат из предреволюционных, возвышенных книг и «неопримитивизма» надписей на заборах, в конторах, создают особую неуловимость авторской точки зрения, его отношения к событиям. Автор создает эти «столкновения» с необычайным искусством... «Я думал о Лермонтове — о лермонтовской «прозе»: игольчатой, светящейся демонской иглой...» И вдруг на этот поток воспоминаний о былой культуре, на рефрен «кремнистый путь блестит» словно нанизывается безграничная, обступающая этот поток фактология.

«— Керенский убит. Корнилов диктатор.

— Диктатор Каледин, а Корнилов объявлен изменником: а за то, что солдатам обещал в неделю кончить войну, а отдал Ригу...

— В Бологове путь закрыт.

— Посредники: Алексеев и Милюков. Ну, слава Богу, билеты в Петербург есть».

Текст «Взвихренной Руси» прозрачен в каждом отдельном фрагменте, разделим на составляющие: с одной

стороны, «кремнистый путь блестит», светящаяся демонская игла Лермонтова или воспоминание о В. Ф. Комиссаржевской, Б. М. Кустодиеве 1907—1910 гг., а с другой — «обыски и анкеты вымуштровали и самых расхлябанных простецов: всякий теперь исхитрялся, как бы провести или обойти предусмотрительно; а от постоянного голода окончательно обвыкли на воровстве».

Глубины как будто нет, все прозрачно, разделимо, доступно и монтажу, и демонтированию. Но глубина есть, есть скрытое ожидание: что из всего этого выйдет, что пополнит список утрат, куда денется и эта строка Лермонтова, и мучительные гадания Блока, и былые «русалии» (балеты) Дягилева?

«Взвихренная Русь» — одна из замечательных страниц коллективной «петербургской эпопеи». И ее место — рядом с такими разноплановыми художественными документами эпохи революции, как «Двенадцать» А. Блока, «Несвоевременные мысли» А. М. Горького, «Сумасшедший корабль» О. Форш, статьи А. Белого на тему «Революция и культура» (одна из его работ 1917 года имела такое название), «Лица» Е. Замятина.

Ремизов, повторяем, прожил в Петербурге (Петрограде), почти безвыездно, самые важные, поистине «судьбоносные» годы: на его глазах свершились и Февральская революция, когда в один день слинял, был смыт весь монархический, оказавшийся фасадным «порядок», и Октябрьский переворот, разогнавший Временное правительство, эту «революционную Обломовку» (по определению В. В. Розанова) с псевдовождями, умевшими только «литераторствовать», вариться в меду собственного красноречия. Лишь летом 1918 года Ремизов ненадолго покидал Петроград, чтобы «подкормиться» в смоленской деревне у своего друга писателя И. С. Соколова-Микитова.

Что же происходило с людьми ремизовского круга? С Петербургом Александра Блока и Андрея Белого, Леонида Андреева и Александра Бенуа?

Стоит обратить внимание на то, что Ремизов в Петрограде в 1917—1921 годах окружен многими, тогда молодыми, советскими писателями — среди них В. Я. Шишков, М. М. Пришвин, И. С. Соколов-Микитов, В. Б. Шкловский. И когда он почти через тридцать лет будет говорить, что «по русским просторам много живет моих сы-

новей» (причисляя к ним и Л. М. Леонова), это не будет преувеличением.

Но уже А. М. Горький уловил в это же время разлад: в образ идеального, фантастического народа, условного Прометея, которого многие ждали, сочиняли, реальные массы матросов, крестьян, даже рабочих, не складываются. «Несвоевременные мысли» автора «Матери» — о разрыве между мечтой и реальностью, о боли разрыва. Будем благодарны сейчас писателю, искренне изумившемуся своему же (и собратьев по перу) оптическому обману, благодарны за тревожное предупреждение и советы. «Мне ненавистны и противны люди, возбуждающие темные инстинкты масс, какие бы имена эти люди не носили»,— скажет Горький, возмущенный и обилием самосудов, и уравниловкой, как формой утверждения равенства, и забвением милосердия.

Чье сердце — и необязательно во всех видеть врагов революции! — не сжималось в те дни в тревоге: а не пожертвуют ли культурой в этой лихорадке страстей, среди нужды и оживших рабских привычек?

Находясь всецело внутри замкнутого интеллигентского круга, живущего по инерции, нередко дожевывающего старое, воспринимая многие события, изменения, даже невзгоды быта, угрозы самой жизни, как некое грандиозное театральное действо, Ремизов во «Взвихренной Руси» непрерывно наблюдает, честно изучает главное, нарастающее, кризисное, даже катастрофичное состояние близкого ему круга людей и идей. Он видит в деформированном, нередко искаженном быте, в лозунгах, директивах «управдомов», смешноватых, упрощающих многое,— утверждение нового уклада. Эти приказы, призывы, плакаты А. М. Горький назовет фельетонами, литературой, которую «пишут на воде вилами». Для Ремизова все, что происходит в Петрограде,— и бытовые происшествия, вроде создания «мертвых душ», на которые исхитряются получать хлебные талоны, и стихотворство такого плана: «Мир пролетарский мы скуем из стали/В немногие бесстрашные года»,— не газетная однодневка, не симптомы сумерек великого города. Пожалуй, он самый странный, озорной оптимист во всем городе! Ремизов, вероятнее всего, не разделил бы даже ту элегическую тревогу, о которой говорит, скажем, вся музыка таких строк О. Мандельштама:

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет.
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...

Ремизов напрягает духовное зрение, чтобы уловить приметы нового величия в происходящем. Он не хочет снизиться до мелочных обид, до бессильного иронического созерцания. Писатель, правда, часто не понимает, куда и его несет рок событий: «Много было чудесного и чудодейственного в эти годы в России! И самые головокружительные мечты — земля вот-вот превратится в рай и настанет на нашей улице праздник! — и самая неожиданная серая явь... Да и мечты зазвездные, и шибающая явь, и самая дикая расправа человека над человеком, и горячейшее дарящее сердце.

И «всем, всем, всем», и доморощенное дубоножие, и смех и грех».

Современник Ремизова и его друг Евг. Лундберг, тоже запечатлевший Петербург этих лет в «Записках писателя», подчеркивал: «В революциях, какими мы их знаем из истории, есть **великий исторический запрос**. Есть трагическое — в беспощадном попрании личности личностью и личности тем или иным коллективом. Есть искушение — в сочетании крайностей... Жестокость и самопожертвование переплавляются так, что их очертания теряются». (Записки писателя. 1917—1920. Изд. писателей в Ленинграде. 1930.)

Великий исторический «запрос», то есть высокая конечная цель — оправдание жестокостей, «дубоножия». В Петрограде Ремизова этот «запрос», вернее, вопрос о конечном результате всех мук, лишений, жестокостей «живет» сложной жизнью. С одной стороны, Ремизов и близкие ему люди пробуют понять: в чем же они ошиблись, что проглядели, живя замкнутой, корпоративной жизнью? «Да, как сохлые листья в помойку! — повторяю я, и обида душит меня,— погубили Россию! Последние головни горят! И осталось русское сердце — сапогом его — и слово — да черта с этим словом, и пиши, и говори по-тарабарски! Кара? Нет, это суд Божий. Царь-колокол воры украли!» — серия таких упреков себе, собратьям по Олимпу, легко уловима во «Взвихренной Руси».

Прозрения не наступает, и взор Ремизова обращается в другую сторону: а может быть, легко угадать «запрос», цель событий, вглядываясь в кристаллики нового быта, в «новоречь» вывесок, лозунгов, повесток дня, в бюрократический жаргон? Не все же это литература, которую пишут «вилами на воде»?

Горизонты наблюдений писателя резко расширяются. По богатству типов, черточек быта, снов о жизни «Взвихренная Русь» поистине уникальна. Ремизовский Петрополь — это и блоковский «буржуй на перекрестке» («Двенадцать»), и почти зощенковский управдом со списками, который вечно «подселяет», «уплотняет», «прикрепляет», дает подложные карточки. Это и писатели, художники, философы, обломки былой культуры. У них порой вся голова «набита волчьей мыслью достать еды», но они упрямо стремятся поддержать уровень былых своих ожиданий. Они и выше событий, и ниже их. Темный или «смутный» ряд фактов и подробностей то и дело чередуется со светлыми, почти молитвенными состояниями, молитвословными снами Ремизова. Стиль высокой культуры сталкивается с низовой, уличной культурой, с «народным» изложением — на вывесках, плакатах — толчков и веяний жизни.

Не прояснялся до конца, до полной очевидности главный вопрос: не будет ли принесена в жертву культура? И не для одного Ремизова он оставался открытой раной. Язык его образов, метафор, снов часто вступает в конфликт с языком намерений, утешений, молитв. Его живая душа терзалась от такого незнания, от тревог перед возможным угасанием, перерождением морали, эстетики, вдохновения. «Идет спор: хотят вычеркнуть Гоголя. И постановление вынесли: вычеркнуть!» — это, конечно, сны, но они не могли сниться раньше. Сейчас «невзначай» снится и такое! Являются и другие сны, в которых Ремизов благословляет грозу, вихрь: «...иначе наше замельчавшее, псивое житье отравит всякую жизнь».

Создававшаяся по следам событий уже в Петербурге, в Ревеле житейско-лирическая панорама Ремизова испытала воздействие прямых откликов дня, сиюминутных «решений» проблемы «революция и культура» (они возникали в 1917—1920 гг. в недрах жизни, гасли, возникали вновь).

Но к 1927 году, когда уже «тот ураган прошел», Ре-

мизов осознавал, что при всем обилии дубоножия, бушеванья темных инстинктов, культура уцелела. И не потому только, что «поэзия вообще дело тихое, не знающее прогресса,— не было подъема, не будет и упадка!» — чем утешал себя Г. Адамович. Вера в Россию просветляла помыслы писателя. Во «Взвихренной Руси» мелькали и М. М. Пришвин, Б. А. Пильняк, и В. Я. Шишков (явные «ремизовичи»), и И. С. Соколов-Микитов... Ремизов заканчивает «Взвихренную Русь» главой о неугасимых огнях над Россией. Это его исповедание веры, его надежда. И пусть она окрашена, как всегда, в религиозно-мистические тона, обращена к вечному (прошлому), которое всегда, якобы, исправляло на Руси деяния настоящего, но это надежда. «Надо и всем железом духа и сердца принять этот «гнет» — Россию, такую Россию, какая она есть сейчас, всю до кости, русскую жизнь... Россию — ее единственную огневую жажду воли» — исполнением этого завета и стала «Взвихренная Русь».

IV

О чем чаще всего задумывался Ремизов в эмиграции? В своей квартире на улице Буало, в комнате с видом на каштан?

Письмо без ответа...Подвижничество без признания... Вот к чему сводилась часто его деятельность на чужбине. Особенно в годы холодной войны, бессмысленного разрушения желанных для Ремизова контактов с Родиной.

«Дом — Россия.

Это несчастная политика все перекрушила и перепутала...»

Страстно мечтал о возвращении своих книг на Родину, о надежном «приюте» для творений своего духа. И в 1957 году, получив из Ленинграда из Пушкинского Дома приглашение на празднование 275-летия со дня смерти протопопа Аввакума, он ответил профессору В. И. Малышеву неожиданным предложением:

«Понемногу буду посылать Вам мои книги, изданные после войны — для Пушкинского Дома».

«Послали Вам «Пляшущего демона». Посылаю «Подстриженными глазами».

«Кланяюсь и благодарю Пушкинский дом за приют моих книг. Посылаю издания «Оплешника». На будущей

неделе пошлю «В розовом блеске» (18/5 августа 1957. Яблочный Спас.)».

Сейчас очевидно: была эмиграция, но разлуки с Родиной для Ремизова не было... И все лучшее, что было написано им в Берлине и Париже, внутренне диалогично, даже «спорно» (предполагает спорщика, оппонента). Но кто эти оппоненты, собеседники его? «Забыв» о том, что давно нет на свете ни А. Блока, ни В. В. Розанова, ни даже А. М. Горького, ни иных спутников великих событий и исканий, Ремизов и во «Взвихренной Руси», и в книге «Кукха», и во «Встречах» обращается к ним с «письмами». Только бы не прервалась, не погасла память: тогда жить станет вовсе нечем.

«В розовом блеске»... Что это — роман, воспоминания о детстве, юности пылкой революционерки, хроника жизни Серафимы Павловны Довгелло до встречи с ней в ссылке? Вероятно, это вновь своеобразное жанровое «перепутье». Свобода от рамок любого традиционного повествования позволила Ремизову при создании книги «В розовом блеске» с особой пристальностью вглядеться — всецело по рассказам Серафимы Павловны — в ту идеальную русскую девушку XIX века, героиню тургеневского стихотворения в прозе «Порог», которая ради благородной, несколько туманной идеи готова пожертвовать всем в жизни, принять бесчестье, измену друзей, неблагодарность потомков, смерть. «И на преступление готова?» — спрашивает стоящую на пороге девушку, «святую или дуру», незримый собеседник. Незнающая реальной нравственной тяжести обстоятельств убийств, террора, эта святая согласна и на преступление.

Какая пламенная сила вела эти натуры? Сначала в крестьянские селенья, «в народ», так и непонявший нашествия студентов с брошюрами и прокламациями? Затем в подпольные дружины террористов, жаждущих «в царя всадить обойму»? Вела, ограждая до поры от сомнений и острейших тревог?

Оля — героиня книги — это Серафима Павловна Довгелло, человек необычайной, трагической судьбы. Последняя из «Задор» — из литовского рода «Довгелло-Задора» — она же унаследовала и все семейные предания, родословную другой ветви: ее предком был соперник Мазепы, оклеветанный им, переселенный с семьей в Кострому, гетман Самойлович. Но все это как-то обесценилось в демократической среде «народников», украинских

гимназисток и курсисток, фанатично мечтавших о судьбе Софьи Перовской, уверенно и наивно-провинциально вещавших, что «Россия не пойдет по пути капитализма, поскольку в ней... «рынков нэма». И представлявших рынки в образе украинского базара XIX века, где «летом среди гор кавунов, гарбузов, дынь и всякой цыбули не очень протиснешься, и очень хорошо пахнет травой, укропом и чесноком». Абстрактны «рынки», еще более абстрактны многие теории, учения.

Выше всего для Оли, появляющейся в романе молоденькой петербургской курсисткой, любимой ученицей «бабушки русской революции», эсерки Е. К. Брешко-Брешковской оказалась запутавшая всех жандармов, непонятная им жажда этой пылкой паненки принести себя в жертву, пострадать (и непременно по программе эсеров) за туманное для нее, но святое дело. Пострадать, избегая в то же время... конспирации, всякого, понятного и полиции, ремесла революционеров!.. Это ремесло притворства, обмана, житья по чужому паспорту, ремесло политики никогда не ладилось с чистотой помыслов Оли, со страстью «всемирного боления за всех»: программы, уставы, одна конспирация требовала лганья, притворства, игры, словесного крючкотворства, дисциплины.

«У Серафимы Павловны мотив ее революционности другой — Евангелие. Принести себя в жертву. Сделалась социал-революционеркой! «Счастье человечества», «благо народа» осуществится не «аграрной программой», а жертвой. Не цареубийство, а казнь убийц: она готова была принять смерть. Никогда не думала, что она бросает бомбу, а как ее подводят к виселице»,— так домысливал, комментировал на свой лад праведнический, по существу, пафос героини «В розовом блеске» сам Ремизов.

Глубокого трагизма исполнена вся жизнь Оли, невольной виновницы несчастий многих людей, не понимавших ее высокого идеализма, почти деспотизма.

В финале этой удивительной книги, включившей и множество поэтических рассказов С. П. Ремизовой-Довгелло о родном украинском селе, о петербургских подругах-курсистках, героиня, потерявшая на жертвенном пути дочь, родину, умирает в холодной нищей парижской квартирке. Кто же она — «святая» или «дура»? Но Ремизов — и это показатель высоты его мысли — все же сумел увидеть во всей жизни героини свет, нравствен-

ную силу, которые принадлежат только России: «А ведь это все вера, которая движет и творит, вера — помочь другому — что-то пересадить, кого-то поднять вот этими руками, этой волей, в мире, устроенном судьбой непреклонно раз и навсегда — великое человеческое сердце, для которого нет никаких граней, никаких стен, никакого закона!»

Любопытно, но даже люди, резко противоположные по складу характера, по общему мировидению Серафиме Павловне Довгелло, глубоко уважали ее, ценили чистоту, ее строгий идеализм. Характерно, что при многих неладах, расхождениях с четой Мережковских, обилии язвительных замечаний Ремизова в адрес Д. С. Мережковского (в документах разных лет) именно Серафиме Павловне посвящено одно из лучших стихотворений другой властной и сильной женщины — З. Н. Гиппиус:

То бурная, властно-мятежная —
То тише вечернего дня:
Заря огневая и нежная
На небе взошла для меня...
Пусть люди, судя нас и меряя,
О нас ничего не поймут.
Не людям — тебе одной верю я.
Над нами есть Божеский суд.
Их жизнь, суетливо-унылая
Проходит во имя ничье.
Я — вечно люблю тебя, милая,
И все, что ты любишь,— мое.

Ремизов пробовал понять, «во имя чье» жили пламенные молодые идеалисты — студенты-народники 70—80-х годов, собратья Софьи Перовской в 1881 году, эсеры-террористы первого десятилетия XX века — уже в годы своей ссылки в Усть-Сысольск и Вологду.

В книге «На вечерней заре» (Переписка А. Ремизова с Ремизовой-Довгелло) Ремизов развернет, обогатит свои давние догадки о природе святого огня, мечтательного идеализма стихийных бунтарей. Для него эти порывы неотделимы и от традиционных романтических влечений и аввакумовского правдоискательства. В юности Серафиму Павловну влекло, например, всеобщее ожидание, похожее на ультиматум, только подвига, своего рода откровения, чуда: «На С.П. смотрели, как на Софью Перовскую: она и вправду, не дрогнула бы с бомбой в руке»,— записывал А. М. Ремизов во вступлении к книге «На вечерней заре».

Ремизов отнюдь не ставил своей задачей поколебать привычные представления о героях «Народной воли», навязать кому-либо как истину свою версию поведения героев-одиночек, действовавших на историческом поприще до пробуждения народных масс. На общую, несомненно, субъективную и односторонюю оценку поведения Оли и ее подруг, слушательниц Бестужевских курсов в Петербурге, на освещение в романе фигур бунтарей Оводова и Черкасова (последний — явная жертва доктринерства Оли) оказала воздействие разочарованность писателя в идеях, в теориях, в «книжном глазе»... Писатель явно любит «бьющую живую жизнь», «наперекорное» всеобщему отдельное человеческое действие. Он считает глубочайшей истиной, превосходящей всякий расчет, план, хлестаковское начало: «у меня все вдруг».

При более пристальном изучении романа можно заметить, что на освещение судьбы главной героини безусловно повлияли и некоторые взгляды Н. А. Бердяева, бывшего «легального марксиста», отошедшего от марксизма, создателя «Философии неравенства», и идеи Л. Шестова о первостепенной важности созидания духовной культуры, этого «невидимого храма» в человеке.

Следует вспомнить, задумываясь о секрете неубывающего восхищения автора «Оли» героиней, тем «розовым блеском», который освещает ее путь, о том, что в 1923 году, за несколько лет до создания первой главы из жизни «Оли» (романа «В поле блакитном»), Ремизов отыщет книгу В. В. Розанова... ради надписи, в которой Розанов скажет об узниках Шлиссельбурга, воспроизведет эту, безусловно, весьма спорную, но интересную розановскую импровизацию в книге «Кукха» (Розановы письма).

«О ту пору создан был Комитет помощи заключенным шлиссельбуржцам. Собирали посылки. Кто что хотел. Д. С. Мережковский дал свои сочинения. Зинаида Николаевна (Гиппиус.— *В.Ч.*) — духи. В. В. Розанов «Легенду о Великом инквизиторе» с надписью. Надпись по тем временам показалась нецензурной, и листок из книги вырезали»,— вспоминает Ремизов, приводя далее из надписи-импровизации Розанова такие фрагменты:

«Что самое дорогое в Вас, дорогие Шлиссельбуржские узники? Не планы ваши, не расчеты, не программа борьбы, которую выполните вы или не выполните — это

зависит от истории: но то, что **уже есть налицо,** что достигнуто и факт: наше братство между собой.

Везде люди ссорятся, ненавидят, завидуют; везде нации, веры. Но когда я вижу русских людей в простых рубахах, в рабочих блузах, косоворотках, с умным задумчивым лицом мыслящего человека — я думаю: вот в ком умер «жид» и «русский», где нет рабов и господ, нет мусульманина и православного, нет бедного и богатого, нет дворянина и крестьянина,— но единое «всероссийское товарищество». И когда я это вижу, то моих 50 лет как не бывало: и чувствую себя молодым, почти мальчиком, хочется играть, хочется читать ваши прокламации. Знаете ли, вы вернули молодость человечеству. И это уже не мечта, это факт налицо».

«В розовом блеске» — роман о молодости, о священном огне веры и служения человечеству, о любви. Роман оптимистичен, даже радостен. Как может быть оптимистична и радостна живая жизнь.

* * *

В теплый майский день, в дождь, когда «Париж расцветает, точно серая роза», мне довелось побывать на улице Буало, в доме № 7, где жил Ремизов. И на русском мемориальном кладбище Сен-Женевьев-дю-Буа в тридцати километрах от Парижа.

Здесь похоронены сны и молитвы,
Слезы и доблесть;
«прощай» и «ура» —

писал поэт Вс. Рождественский.

К счастью для русской культуры при всех превратностях судеб Бунина и Шмелева, Марины Цветаевой и Георгия Иванова, Георгия Адамовича и Алексея Ремизова, Париж не похоронил, а сберег многое, созданное этими художниками на земле Франции во имя России.

Парижские друзья — и особенно Н. В. Резникова, добровольный секретарь и помощник Ремизова — сберегли и передали на Родину в Пушкинский Дом многие рукописи Ремизова. «Вся моя жизнь прошла с глазами на Россию,— говорил Ремизов Н. Кодрянской.— По обрывкам документов русская жизнь в веках. Россия сама, как сюжет, будто живое существо».

Многое меняет знакомство с наследием Алексея Михайловича Ремизова и в нашем понимании значения отечественной классики. «Мне представляется так:

к Гоголю тропа — надо взять на себя подвиг;

к Достоевскому — надо душу измаять;

к Лескову — блоху подковать».

Сам Алексей Михайлович Ремизов шел этими тропами всю жизнь. Они и привели его на Родину, к нам, способным сегодня все понять.

ВИКТОР ЧАЛМАЕВ

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ

Автобиографическое повествование

БАБУШКА

Нас в вагоне немного. Было-то очень много — в проходе стояли, да слава Богу, кто в Гомеле высадился, кто в Жлобине, кто в Могилеве, вот на просторе и едем.

Старик, дровяной приказчик с Фонтанки, вылитый Никола с Ферапонтовских фресок, весь удлиненный, а лицо поменьше,— в Новгород на родину едет; курский лавочник с женою, степенные люди, в Петербург едут — Петербург посмотреть, да бабушка костромская Евпраксия.

Все с богомолья едут из Киева.

Показался им Киев, что рай Божий: ни пьющего, ни гулящего не встретили богомольцы в Киеве, ни одного не видели на улице безобразника, а много везде ходили — ходили они по святым местам, службы выстаивали, к мощам да к иконам прикладывались.

— Не город, рай-город!

— Лучше нет его.

— В трактирах с молитвою чай пьют.

— С молитвой закусывают.

Только и разговору — Киев: хвалят не нахвалят, Бога благодарят.

Бабушка в серенькой кофте, темная короткая юбка, в темном платке. Бабушка все по-монашески, и не скажет как-нибудь «спасибо», а по-монашески — «спаси, Господи!» Прижилась, видно, к святыням и самá вроде монашки сделалась.

Долго и много хвалят Киев, о подвижниках рассказывали, о нечистом; не обошлось и без антихриста.

Бабушка и антихриста видела — только не в Киеве...

«три ему года, три лета, а крестил его поп с Площадки Макарий, и было знамение при крещении, сам батюшка рассказывал, когда погружали дите в купель, крикнул нечистый: «Ой, холодно!» — и пять раз окунул его батюшка, а когда помазывали, кричал окаянный «Ой, больно! ой, колеть! ой, не тут!».

— Три года ему, окаянному, в Красных Пожнях живет,— пояснила бабушка, крестясь и поплевывая.

Так потихоньку да полегоньку в благочестивых разговорах и ехали.

Но вот и ко сну пора — попили чайку, солнце зашло— пора спать.

* * *

Лавочник с лавочницей принялись постели себе готовить, одеяла всякие вытащили, войлок, подушки — примостились, как дома.

И старик новгородский примостился удобно

Только у бабушки нет ничего: положила бабушка узелок под голову — узенькую скамейку у окна у прохода выбрала она себе неудобную, помолилась и легла, скрестив руки по-смертному

И я подумал, глядя на ее покорное скорбное лицо — на ее кроткие глаза, не увидавшие на месте святом ни пьяницы, ни гулящего:

«Бабушка наша костромская, Россия наша, это она прилегла на узкую скамеечку ночь ночевать, прямо на голые доски, на твердое старыми костями, бабушка наша, мать наша Россия!»

И все я следил, как засыпала старуха.

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!»

С молитвой затихала бабушка — и затихла — похрапывает тихонько — заснула бабушка крепким сном

— — — — — — — — — — — — —

Тут лавочница вспомнила, должно быть, слово Божие о ближнем, да и по жалостливости своей пожалела бабушку,— поднялась с постели, шарит, вытащила тоненькое просетившееся одеялишко и к бабушке: будит старуху, чтобы подостлала себе!

Растолкала старуху.

— Спаси Господи! — благодарила старуха, отказывалась: ей и так ничего, заснула она.

Но лавочница тычет под бок одеяло — тормошит старуху.

И поднялась бабушка, постелила лавочное одеялишко, еще раз благодарит лавочницу — и легла.

Легла бабушка на мягкое — а заснуть и не может: не спится, не может никак приладиться, заохала:

«Господи, помилуй мя!»

А и молитва не помогает, не идет сон, бока колет, ломит спину, ноги гудут.

А лавочница богобоязная, лавочница, «доброе дело» сделав, завела носом такую музыку—одна поет громче паровозного свиста, звонче стука колес — на весь вагон.

Следил я за бабушкой —

> «Бабушка наша костромская, Россия наша, и зачем тебя потревожили? Успокоилась ведь, и хорошо тебе было до солнца отдохнуть так, нет же, растолкали! И зачем эта глупая лавочница полезла с своим одеялом человека будить?»

Но, видно, услышал Бог молитву, внял жалобам — заснула бабушка, тонко засвистела серой птицей.

«Слава Богу! — подумал я,— успокоилась. Ну, и пусть отдохнет, измаялась — измучили ее, истревожили. А чуть свет, подымется лавочница, возьмется добро свое складывать, хватится одеялишка, пойдет, вытащит из-под старухи подстилку эту мягкую, разбудит старуху, подымет на ноги: ни свет ни заря изволь вставать. Ничего не поделаешь. А пока — бабушка, костромская наша, мать наша Россия!»

ВЕСНА-КРАСНА

I

СУСПИЦИЯ

Василиса Петровна Старостина, кореня переяславского из деревни Черницино, женщина степенная, сердцем

неуходчивая: западет ей от слова ли, от встречи ли, не отпустит, замает. Станет Василиса свое сердце разговаривать: себе скажет, тебе выскажет — мало! — пойдет в дворницкую.

Хозяин Василисин, Димитрий Евгениевич Жуковский — доброй души, не злопамятный, ученый человек, философ:

— Членный билет потерял!

Рассчитывала Василиса по этому билету кое-какого запасу на зиму сделать, прошлым летом запасов на Москве было не мало, да с пустыми руками кто тебе поверит? И не может Василиса забыть о билете, еще бы во все дома все соседи всякий себе тащит, кто сахару, кто круп, кто муки, кто чего, а у нее на полках в кухне одни шкурки тараканьи, вот и схватит, редкий день не услышишь об этом пропащем билете.

— Сто человек не надо за одного ученого! — честит Василиса хозяина, крася и хваля за доброту его, но билета она ему не может простить,— членный билет потерял!

А живет Василиса на Собачьей площадке во дворе в большом каменном доме — на том дворе конурка, в конурке Жучок собака, дом стережет.

О билете всякий день, и редкий день без войны.

О войне, о ее тяготе напастной, о смущении, о той самой суспиции (по слову Н. А. Бердяева), из-за этой войны, которая суспиция, как грех, ходить пошла среди людей, военные тревожные мысли не оставляют Василисину думу и нет разговору против потревоженного ее сердца.

— Харчи ни до чего не доступные,— говорит Василиса,— если три года пройдет война, все с голоду пропадем. Чего будем есть? А то: «Давайте терпеть!» Терпеть? Никому и не будет: ни здесь, ни там. Народ-то пошел: шея чуть не оторвется, лицо землей покрылось. Война заставила всех чернеть. Который остался, не служит, много получает, много и проживает. Завидовать некому. И для чего эта война! Людей бить? А после войны будут бить друг друга. Кто тут виноват? На кого же бросаться? И давай друг на друга. Друг друга душить будут.

Я сижу у окна лицом к конурке, рисую картинки — «Рожицы кривые».

Когда я в первый раз вошел во двор, я забоялся Жуч

ка, а Жучок залаял, меня забоялся. Теперь мы приятели, я Жучка рисую. Чуть проглянуло и опять дождя надувает

— Плохо, нехорошо стало,— говорит Василиса,— а кто много претерпел? Народ. Бог милосердный, да много прогневали. Жалко народ, ни за что так пропадает. Лучше уж совсем убить, а чтобы пустить доживать: рыло своротено, нос вырванный. И для чего это война? Людей бить? У нас, сказывают, не пулями, опилками стреляют, а у него не то: снаряды хорошие, стеклами порят, газом душат. А нам нельзя: мы православные. Ему позволено душить. Так и волов не бьют. Земля разрывается: сверху бьют. Это не воевать, а бить. А простой народ, за что он пропадает? Кто будет отвечать? Цари собрали народ и давай душить. На смех ли? От ума ли? Только прицелились к жизни, выбрались из копчушек, а их на войну. «На том свете все ангелами станут!» — попы читают

Василиса вышла к себе, в свою комнатенку, поправила лампадку: киот у нее золотой, с золотым виноградом. Раскалилась, не может стать: какую страду ей надо нести! Сына ее убили — забыть не легко.

— Скоро, знать, свету конец,— говорит Василиса,— скоро все перевернется. Жулик пошел, вор на воре, озорнее стали. Убить человека ничего не стоит. Сердитые от горя: у кого убили, у кого урод. И так отступлены от Бога, а тут совсем пропад. Для чего это война? Жизнь рассыпается, жить нехорошо стало. Не до Бога. Люди озлились, стали гордые, злые. Прежде придешь в лавку: «Пожалуйста — пожалуйста!» А теперь: «Поди вон!».

В Кречетниках ударили ко всенощной. Дождик холодный, не ильинский. Спрятался Жучок в свою конурку. Зажечь лампу, что ли?

— Ни мука, ни зола,— слышу голос из кухни: Василиса сама с собой,— все это кара.

II

КРОВАВЫЙ МОР

В клопиной заставленной комнатенке на Каменноостровском под небесами — квартира из чердака при-

способлена, и вода по утрам не подымается — сидим распаренные за самоваром.

Марья Ивановна Курицына разливает чай, хозяин Курицын угощает, прапорщик Прокопов рассказывает· с первого дня мобилизации он призван, до войны служил в банке, и вот уже третий год в тылу, на самой спешной службе.

— Я так решил, нет больше никаких сил, разденусь донага, выйду на Знаменскую площадь и пойду. Все равно.

Весь день вчера и сегодня дождь, и теперь за окном сквозь дождь расплывающиеся белые фонари и скользящий шип по скользкому торцу неугомонных автомобилей. Каждый день с утра хожу я по «Новому Времени», ищу квартиру или комнату, мне все равно уж, стою в очереди, дожидаясь осмотра,— и одно мне горе: всякий раз, когда до меня доходит очередь, квартиру занимают, или хозяйка, узнав о моих занятиях, отказывает, переходя к моему счастливому соседу, а сегодня одна дама сказала мне совсем откровенно, что муж ее сам писал в газетах, знает она, что за народ «писатель», и ни за что не передаст мне квартиры; а квартира очень подходила. А то и так: купи мебель — и квартира твоя, цена же не в сотнях, а в тысячах.

Курицын, приютивший меня в клопиной комнатенке, высматривал квартиры и доносил в какое-то военное учреждение, и квартиры реквизировали, такая его должность, Курицын клялся, что он во что бы то ни стало достанет мне квартиру, но я-то ему совсем не верил, и только крутой и крепкий чай с сахаром и белым хлебом — Марья Ивановна запасливая! — меня успокоили, а то, ей-Богу, как прапорщик Прокопов.

— Я бы рад служить, да не могу, нет больше сил,— тянул свое прапорщик Прокопов,—разденусь я донага, выйду с дежурства на Знаменскую площадь и пойду Мне все равно.

Марья Ивановна летом ездила на богомолье, бывала в Верхотурье и привезла пророчество затворника Макария:

«Если в семнадцатом году народ не покается, через двенадцать лет Бог накажет, пошлет кровавый мор»

Но этот мор уже шел, третье лето косил беспощадно, и только вера Марьи Ивановны ждет его на двадцать девятый год.

И прапорщик Прокопов ей доказывал, что в семнадцатом году, а семнадцатый год через три месяца, вся жизнь замрет, железные дороги станут — все износилось, а поправлять некому и нечем! — и каяться будет поздно. Кровавый мор делал свое дело.

— Если опросить всех поголовно,— говорит хозяин Курицын,— у нас, и в Германии, и в Англии, и во Франции, чтобы сказали все по совести, кто воевать хочет и кто против, я уверен, мало дураков нашлось бы.

— Я бы рад служить, да не могу, нет больше сил,— свою песню пел прапорщик Прокопов, не видя конца бойне (мор все равно все погубит!), этой азартной войны без конца,— разденусь я донага, выйду с дежурства на Знаменскую площадь и пойду Мне все равно.

III

ЗВЕЗДА СЕРДЦА

После пасмурных дней, осенних, закрывших крылатое Бештау и дымящийся отравленный Машук, после тоскливых дней туманных, сровнявших с дикой неоглядной степью белоснежный кряж с далеким крайним Эльбрусом, среди ночи я увидел лермонтовские звезды.

Слов я не помню, кому и о чем, я не помню, и какой молитвой молился, видел я звезды и так близко до боли, и так кровно, как свое, всегда со мною, и память, широкую, как звезды, от звезды к звезде и по звездам сквозь туманы путь —

сквозь туман кремнистый путь —

После ночи я поднялся рано. Белый белоснежный кряж с Эльбрусом ясный леденил утро. Бештау, весь — черный, распахнув летучие крылья, смотрел затаенно в своей демонской первородной тоске. И только отравленный Машук дымился.

Это было в Грузинскую, и я вспомнил наш храмовой московский праздник, садовника Егора: на всенощную принес Егор из найденовской оранжереи гирлянду из астр, георгинов и пунцовых и белых флокусов и положил на аналой к Божьей Матери; за всенощную цветы помяты, но цветную свежесть — последние цветы! — да еще запах душистого мура, которым батюшка мазал,

когда прикладывались, и запах воска от свечей,— я так это почувствовал и почуял, и уже не видел ни демонского Бештау, ни белого Эльбруса, я стоял там, в белой любимой нашей церкви на Воронцовом поле у аналоя где лежала гирлянда.

И вдруг слышу — где-то внизу у дороги, слов не разобрать, бродячая певица. А потом догадался: новая уличная песня! — и это был такой голос, как гирлянда там на аналое из астр, георгинов, из пунцовых и белых флокусов — последних цветов.

И я понял под уличную песню, всем сердцем почувствовал в эту минуту не ту злую войну, которую видел и чувствовал по искалеченным и увечным одноногим, одноруким, безногим и безруким, не ту проклятую, посланную на горе с тяготой нашей бескормной, голодом, холодом, нуждою и горем неизбывным — сына убили, забыть не легко! — не распоротые свинцом и железом животы, не развороченное мясо, не слепую безразличную пулю — будь ты деревом, камнем, лошадью, стеною или человеком, ей все равно, без пощады! — не кровавые и гнойные бинты, не свалку нечистот, не вошь и вонь, не бойню,— так и волов не бьют! — нет, совсем другое, другое небо и землю, никакую бойню, а поединок за звезду своего сердца — за родину с ее полями, с ее лесом, с говорливой речкой, старым домом, мирною заботой, церковью и древним собором, с колоколами, с знаменитым распевом, с красной Пасхой, с песней, со словом.

И будь крылья, полетел бы на то поле, где вольно умирают за звезду своего сердца, и умереть за Россию, за колыбель нашу, за русскую землю.

IV

ПО РАТНЫМ МУКАМ

На Дмитров день пришел и мой черед.

Отдал я писарю синий билет и перестал быть. был человек, стал ратник.

Говорил мне Терентий Ермолаич, полотерный мастер «Взять нас не возьмут, а только измучают». Старый солдат — удушливые газы разрабатывал.

Так оно и вышло.

С утра я являлся в казармы и ждал.

— Приходи завтра! — не глядя, за делами, огрызался писарь.

— Подожди на дворе! — отмахивался еще более занятой, весь осиневший от синих билетов, которые принимал изо дня в день без счета.

Терпеливо я ждал на дворе. Выходила перекличка, но меня не выкликали, и я шел домой, чтобы на следующее утро снова идти в казармы и ждать терпеливо.

— Приходи завтра!

— Подожди на дворе!

Так изо дня в день.

И чем дальше, тем злее становился писарь — надоест ведь одно и то же! — а я нетерпеливее: или забыли меня?

Еще чего захотел: забыли? Не забыли Не один я, нас много таких — синих.

И вот дождались: выкликнули, построили и повели

Толклись в «околодке» у доктора

Тут всякие килы показывали и язвы, и жилы синие.

Какой-то старик — по документам сорокалетний — растерянно обращался ко всякому:

— У меня,— повторял он,— хроническая гонорея, воспаление пузыря.

И так жалобно морщился, по этим его морщинкам больным видно было, какая это боль его каменная.

А другой показывал сюда — на сердце: не жила, так увидишь.

Сидели на корточках костлявые и опухшие с градусниками. Одетые и полураздетые стояли в очереди.

Доктор много не разговаривал, ставил статью: такая-то статья и следующий. В «околодке» не задерживали.

И те, кто раздевался, живо оделись.

Уж без строя, разбереженных и встряхнутых, повели назад во двор.

И опять перекличка

И опять:

— Приходи завтра!

А на завтра

— Подожди во дворе!

Совсем изморелых водили в Присутствие.

— Чего вы, ребята, скучно идете, гряньте-ка песню! — трунили конвойные.

А ни у кого духа не хватало, шли молча.

— «Три деревни — два села!» — не унимался, зубоскалил конвойный.

Шли по Гороховой, потом повернули по Садовой кто с килой, кто с жилой, а кто — так не покажешь. И тот старик семенил, повторяя свое жалко о пузыре.

В Присутствии велено было всем раздеться, все равно, с килой или с глазом.

Сидели в куче пришибленные в испарине — так души перед Творцом жизни и смерти ждут своей участи. И было неловко выходить к столу, где в чистых мундирах зорко тебя осматривали и, судя, перешептывались.

Одних назначали на «испытание», других принимали.

И те, кто был принят, шли из Присутствия на «сборный пункт».

А те, кто подлежал еще испытанию, должны были начать все сначала: по утрам являться в казармы на перекличку и терпеливо ждать, когда выкликнут, чтобы с партией таких же идти под конвоем в госпиталь.

Эти ожидания на казарменном дворе, хождения на осмотр и осмотр открыли и передо мной щелку, и я заглянул в самое нутро войны, я почувствовал ее не ту, о которой песни поют — «звезда сердца!» — какая насмешка! — а то ее сверло, о котором никакого склада не сложишь и никакой сказки не скажешь.

И душа моя отшатнулась.

«Звезда сердца!» — какая насмешка! Ведь вся наша жизнь есть только разубранное и разукрашенное подкапывание и подсиживание соседа, только отравление и подтачивание века ближнего — убийство скрытое; а война, это уж убийство откровенное и ничем не прикрытое И если для мирного убийства, для лицемерного жития мирского, прежде всего надо ум и ловкость, для войны прежде всего мясо здоровое, крепкое и зоркое, мясо-машину.

И вот с разных концов Петербурга согнали нас разных по жизни, и по душе, и по духу, чтобы отобрать годных и отбросить дрянь.

Дрянь, к которой принадлежал и я, были самые несчастные: мы ни к чему были и просто не имели смысла быть на белом свете, и с нами не считались.

Толкаясь днями на казарменном дворе в ожидании переклички, я смотрел на годных — настоящих, которые уходили на «сборный пункт», а оттуда на муштровку в казармы, чтобы, наловчившись нужным приемам, идти убивать. И среди бородатых сверстников моих я заметил о ту пору — в третий год войны,— что о России, которую защищать от врагов и собрали нас всех, и годных и негодных, о России не было речи, а было одно:

— Все равно, скоро войне конец.

И эта мысль о скором конце,— даже срок ставили: весна! — примиряла людей моего возраста, семейных и уж тронутых нелегкой мирной жизнью, озабоченных, и с трудной участью.

— Войне скоро конец.

V

МЕЖДУ СЫПНЫМ И ТИФОЗНЫМ

В туманное петербургское утро, когда каждый поворот, каждый звук и оклик, как этот желтый невский туман, подымают в душе неизъяснимую тоскующую тоску и скорбью переполняют сердце, в туманное, любимое утро ввергнут был в госпиталь и сорок четыре дня и сорок четыре ночи живой, только негодный, провел я среди умирающих и мертвецов.

Когда после ужина больные укладываются по своим койкам на сон грядущий и белые ночные сиделки примащиваются на лавку подремать до полунощного звонка, выхожу тихонько из палаты, осторожно иду по каменным гладким квадратам, мимо запертого телефона, бесконечным, как в крещенском зеркале, сводчатым коридором.

Там в конце открытая палата — под голубым матовым огоньком тифозный и два крупозных, а в окно им с воли зеленый, прыгающий под дождем фонарь. Ни фонаря дождливого, ни огонька они не видят — малиновые, зеленые, красные шары под потолком, и пудовая лапа давит грудь.

В углу, как свечка, всю ночь сестрица.

— Спите, чего вы? — шепчет сестрица.

А мне что-то и сна нету.

Иду на другой конец — бесконечен, как в крещенском зеркале, сводчатый коридор,— там в душных бинтах сыпные и запах мази.

Наша палата — «камера», так я говорю себе, потому что есть что-то общее между тюрьмой и госпиталем, или эти окна с решетками и уйти нельзя? — наша палата в середке, наши соседи — туберкулез и такие, как мы, кто с сердцем, кто с животом. И из нашей палаты прямо через сводчатую широкую площадку-сени ход в уборную и к той двери, через которую никто еще из заключенных не выходил, а только выносят.

Редкую ночь не слышу, как звенят колесики кровати — это катят кровать с померишим из палаты на площадку к уборной, и редкое утро робко не пройду мимо ширм, за которыми лежит закрытый простыней покойник.

Утро, когда после ночи боль резче и часом не смотрел бы на свет, наше утро, когда в коридоре колют сахар, разносят хлеб и кипяток по палатам, а из палат мочу, а там на воле туманы, любимое петербургское утро, и сквозь туман я вижу госпитальный двор, промокающие дрова и огонек на кухне, наше утро — оно трепетно, как поздний вечер.

Тут приходит из мертвецкой сторож Андрей одноухий, на нем огромная серая куртка, как на пожарном, он притащил казенный коричневый гроб, выйдут сиделки из припарочной, положат покойника в гроб и в ту вон дверь —

И останется одна дощечка — по черному белым: палата, отделение, имя и болезнь по-латыни. Фельдшер Виталист Виталистыч отметит в книге, лабораторщик Гасюк погасит белую надпись.

И сколько «последних минут», сколько жалкого беспомощного детского крика «последних минут» за все эти ночи!

И какая ни будь распаскудная твоя жизнь, а какая она! — расставаться не хочется. И какие бывают на свете люди — и обидчики, и жестокие, а как придет эта минута, все как дети.

* * *

С вечера, когда в коридоре пустеет и наши халаты синие и коричневые красятся в черное, а сиделки в белое,— беспокойно в коридоре вечером.

Это она выходит из своего угла,— я не знаю, где ее дом, может, в тепле у банщика Вани, Ваня чего-то долго по утрам не отворяется и стучи не стучи, не пустит в теплую ванну,— она выходит в сумерки, я ее чувствую, как чувствуют обреченные, для которых с каждым ее шагом постылеет свет: все им не так, все не по них!— она идет, необыкновенная, пробирается по скользким каменным квадратам с крепкой верной веревкой.

От всех нас, входящих в госпиталь, отбирается в приемном наша вольная одежда. И вот сосед мой хиромант Шавлыгин, захлестнутый тугою петлей, цепляясь за последнюю нить жизни, вспомнил о сапогах.

Он был при последней минуте, уж шаги слышал и смертный вихрь веял на него.

«Пришли, принимайте!» — сказал кто-то.

И к двери палаты подошли сиделки, ее сиделки, несли на плечах гроб, и свеча в руках первой заколебалась под вихрем.

— Давайте сапоги! — задыхался Шавлыгин, глотая отравленный воздух.

Думал несчастный, будь сапоги на ногах, в сапогах выдерется он из петли, выскочит на волю.

Нет, умирать никому не хотелось.

Уж, кажется, какую муку принимали сердечные: один кашель их — да это пилы, сверла и зубья всякие, разрывавшие по ночам грудь! — думаешь, хоть бы конец, чего так-то мучиться. А и они упирались.

И другой сосед мой монтер Фигуров, когда она захлестнула его, очень был слабый, а вскочил с койки, ноги-то худые, одни ноги видно, так и впился ногами в пол.

— Пустите!

Да уж куда там, ее не осилишь.

И отлетела душа его хрупкая, как электрическая лампочка-тюльпан.

Был монтер Фигуров высокий, рослый, а как в гроб класть, подобрался весь, как заяц, а руки, сложенные крестом, как перламутровые.

Жизнь наша нелегкая, тревожная, сколько огорчений одних! — на белом-то свете жить, если бы все показывали, как оно будет, пожалуй, почешешься, соглашаться ли, а как стукнет конец, расставаться не хочется: какую-нибудь травинку вспомнишь, ну самую обыкновенную, жгучую крапиву, которая около дома росла, вспомнишь — Господи, так бы на нее и смотрел все!

Умирают за того, кого любят, и за то, что любят, умирают из чести и умирают по долгу.

Но нешто много таких, кто любит так, чтобы умереть, и таких, для кого есть честь, и много ль найдется в наш нищий день кто бы до конца исполнил свой долг?

В уборной у нас курилка, там же и клуб.

Тут всякие истории рассказываются, тут и философия.

Я спросил соседей моих курильщиков:

— А как на войне? Как на войне умирают?

И сколько ни рассказывали соседи, я из всех рассказов понял одно: хоть и идут на смерть «по присяге», а умирать никому неохота. И еще я понял, что только тот смеет призывать к смерти, только тот, только тот,— и это из всех слов вопияло! — кто сам готов по всей правде идти и умереть.

— А то много таких,— серчал Тощаков с простреленным боком,— сидят в тепле, сыты: «идите, братцы, помирать за родину!» Пожалуйте, сам попробуй!

* * *

«Мандолинщик пленный из Германии»,— так почему то в первый мой день меня встретили в нашем уборном клубе курильщики. Или ожидали такого мандолинщика и я за него сошел: я будто бы попал в плен германцам, а теперь за негодностью назад в Россию выпровожден.

На мандолине я играть не учился и не умею (это Lоллий Львов!), но это неважно, за кого бы ни считали. Даже, пожалуй, мне это на пользу: песельник, мандолинщик, скоморох — «веселые люди», как в старину их на Руси величали, в тяготе житейской, среди жестоких буден, случайных и немилостивых, влекли к себе своим искусством, растравляющим и отводящим душу.

И я много наслушался о житье-бытье — о горьком и бестолковом, о темном и щемящем.

Не раз я о войне спрашивал, я спросил и о враге:

— Как насчет врага? Какой он, очень страшный?

И из всех рассказов одно вынес, что врага-то по-настоящему нет никакого, а что воюют, потому что так нужно.

— Потому что присяга — должо́н; и о н по присяге.

И с какой нежностью, словно о малых ребятах, передавали о пленных: и как чаем поили, и как хлеб давали

А ко всему одно, одно и неизменно, ко всем рассказам.

— Скоро и войне конец.

И даже срок ставили — вот чудеса! — весною.

Помню, кто-то из курильщиков, соседей клубных, за гонимой папиросской философствовал, как там на войне в тяготе да в опаске думается.

Всякому-то кажется, вот только бы вернуться и пойдет уж новая жизнь, и в письме другой пишет об этой новой жизни, и если выпивал да крут был, клянется, ни в жизнь ни столечко не выпьет и никогда не обидит, только бы Бог сохранил. Ну, а случаем вернется домой на побывку — и прощай ты, новая жизнь, пошел по-старому

— Человека ничем не прошибешь! — сказал черный Балягин; мы его тараканом звали, черный, и жизни ему оставалось до первой оттепели.

— Неужто ничем?

— А Сибаев? — заметил кто-то.

— Какой Сибаев?

Шел я из лаборатории после «выкачивания», в глазах зеленело, иду — хоть бы до палаты добраться! — а меня за руку Тощаков и показывает:

— Сибаев из 31-й.

Я о ту пору так только взглянул: вижу, молодой, рослый, халат до колен. Потом уж разобрался.

Сибаев контуженный ходил по коридору, не подымая глаз.

До войны «фюлиган», как говорили про него соседи, так жаловалась и его родная мать. Мать его прачка, и так работа нелегкая да еще от сына горе: что заработает на стирках, лодырь все пропьет, да и поколачивал. А тут, как случилось, снаряд разорвался, его словно бы всего передернуло. Вернулся он домой к матери и совсем как не тот: станет на колени, все прощенье просит, и такая память вдруг, все-то припомнил, как измывался,

как колотил, и просит, клянется, что никогда уж не будет так, и только бы поправиться, все сам делать будет, беречь будет.

Мать не знает, что и делать, она все простила, и нет злой памяти, ведь она Бога-то молила, чтобы только не так уж сын-то ее непутный поедом ее ел, ну, пошумит немножко, ничего, а он — на коленях. Мать все простила, а он помнит, забыть не может, сам себе простить не может.

«Господи, зачем это я сделал? Господи, чем поправлю? Господи, не могу забыть!»

Сибаев из тысячи тысяч ничем не прошибаемых один прошибленный ходил по коридору, не подымая глаз.

— Это совесть,— сказал про него Таракан,— пропадет!

Белая зима настала. Покрепчало и в палатах, и сердечный кашель поутих — и ей отдых: то-то, должно быть, приятно у банщика Вани в горячей ванне! А на Наума подул с моря ветер и зажелтело на воле. И опять ночами зазвенели по коридору колесики кровати, опять поутру на площадке ширмы и мертвецкий Андрей одноухий в серой пожарной куртке.

Заглянул я за ширмы, а там под простыней — Таракан!

А Сибаев держался, ходил по коридору, не смея поднять глаз.

* * *

И когда по испытании в конце госпитальных дней, в канун последней комиссии лежал я пластом, как мои обреченные соседи, вспоминались мне разговоры и мои думы о жизни и смерти, и о такой любви, и о такой чести и долге, ради которых умирают, и о войне, которую воюют, потому что так надо «по присяге», и о враге, которого по-настоящему нет никакого, и опять о смерти, к которой призывать смеет только тот, кто сам готов по всей правде идти и умереть, и о жизни, будь она самой жалкой и ничтожной, распаскудной, но для каждого единственной и важной, неискупаемой и целым миром; а в глазах стоял Сибаев, из тысячи тысяч непрошибаемых один прошибленный со своей совестью, а эта совесть одна могла бы легко и просто развоевать и самую жестокую войну в мирной жестокосердной жизни, и на бран-

ных кровавых полях, и разрешить всякую присягу и вернее самого верного динамита разворотить и самые крепкие бетонные норы, куда запрятались люди, чтобы ловчее бить друг друга. Эта совесть одна могла бы своим безукорным светом уничтожить и самую смертную тьму.

— «Господи, чем поправлю? Господи, не могу забыть!»

VI

ОГНЕННАЯ МАТЬ-ПУСТЫНЯ

На Святках смотрел картину Петрова-Водкина: большая, в полстены, изображен окоп,— вышли, идут. Лица все знакомые, их увидишь и без окопа, всякие, и благообразные, и зверские, и остекленевшие, а один выскочил, щеки надуты, видно хлыстом погнали, с перепугу ничего не понимает, а посередке Андрей Белый — подстреленный!

Но не в этом суть картины, не в лицах, не в глазах, а в земле и небе. Эту землю и небо видит подстреленный, от которого душа отлетает, и ноги его чуть от земли, как на иконах пишут.

Я смотрел на картину и думал:

«Что это за небо такое глубокое? Что за земля такая черная и такая зеленая неправдашная?»

Есть старинный образ — Три московских чудотворца — стоят они наги, а перед ними Москва-река течет, а за рекой московский Кремль с башнями, а направо вверху Троица, а осеняет чудотворцев дубрава.

Да эта самая дубрава, она и тут на картине — это мать-пустыня, огненная мать-пустыня с небом нездешним и зеленой землей.

* * *

На Ильин день по-старому, на Спасов по-новому, по царской воле и слову вышел русский народ со всех концов русской земли на ратное терпение и смерть.

Русский народ по судьбинному суду оставил дом и пошел в пустыню.

Мать-пустыня, куда уходили только избранные, горькая, огненная, по судьбинному суду открылась перед

всем русским народом и избранным, и призванным, и заключенным.

Будут гадать и спорить, кто огонь пустил землю жечь, запалил мир со всех концов, который царь или какие воротилы, и для чего и докажут, такой-то царь или такие-то воротилы, или ихняя шайка воровская и с таким-то умыслом, и потому-то — но почему земля изрыта, и нет дома без потери, столько несчастных недобитых осталось доживать в мире убогий свой век — суд судьбинный кто разгадает?

Огненная мать-пустыня с постом, терпением, с унынием пустынным и искушением, и прекрасная мать-пустыня с дубравой и пустыней, с райскими птицами и цветами, какие вспоминаешь да во сне снятся, ты открыла по судьбинному суду врата и перед русским народом, перед землей-родиной на грозного Илью — по-старому, на Спаса Милостивого — по-новому!

VII

ЯЗЫК ЗАПАЛ

Справили рождественскую кутью — постную: после всенощной, как показалась звезда, сели за стол.

Сосед Пришвин хлеб принес.

Под новый год справили кутью — «богатую».

Сосед Пришвин хлеб принес.

И «голодную» кутью — под Крещенье — справили.

Сосед Пришвин хлеб принес.

Когда догорели белые свечи перед Неопалимой Купиной, зажгли на елке красные. Прокофьев на рояли играл — «скифское». И когда он играл, не верилось, что в мире беда с жестокой войной: одни, как звери, сидят в норах, подсиживают врага, как бы побольше истребить, а другие точут, и льют, и пилят, готовят оружие поострее да крепче; и не думалось, что другая беда уж на пороге, караулит голодная.

Сосед Пришвин всякий раз твердит:

«Запасайтесь, скоро хлеба не будет!»

Не верилось, не думалось.

А и в самом деле, и как это так? Или это делается, никого не спрашивая и ни с кем не уговариваясь потому же по самому, почему музыка раскрывает дверь и выходишь из холодной норы в звездный сад?

Обещал Пришвин крупчатки достать, чтобы уж была масленица: «его мука, его и икра, а блины будут наши!»

С тем и Святки проводили.

Музыканту честь за музыку, соседу за хлеб и посул.

На Викторина к священнику Викторину на именины пошли. Потащили с собой и соседа — достал-таки муку! — и еще с шлиссельбургского тракта скульптора Кузнецова.

К ужину, чего запасла матушка, все на стол, милости просим: была колбаса от «Шмюкинга», Чеснокова, сыр романовский, грибки да капуста Зайцева, пастила прохоровская, заливные рябчики собственного приготовления, а торт ивановский.

Обещал прапорщик Прокопов вина достать, сам пришел, а вместо вина — тянучки!

Перед ужином слушали пение: Леонид Добронравов поет вроде как Шаляпин, и как возьмется за Хованщину либо за Бориса, век бы слушал — вся она тут Русь с московским Кремлем и пустыней огненной.

А по Борисе сели за ужин.

До Рождества еще убили Распутина — больше месяца, а память о нем все еще занимала новостью. Одни его звали ласково, как несчастного, Гришей, другие строго — Григорием, а третьи и особенно те, кто при жизни подлипал и подхалимил, бранно — Гришкой.

— Гришка. Одна нога во дворце, другая в церкви.

— Правил Россией хам, сапоги бутылками в ботиках, а вокруг шайка шарлатанов и безответственных проходимцев.

— Для Распутина Россия — село Покровское.

И так и этак шпыняли покойника.

От Распутина прямой ход к Царскому.

И за вкусной чесноковской колбасой повторялось всякое — и об измене, о радиотелеграфе — «прямой провод из Царского в германскую ставку»,— и о министре Протопопове, в которого вселился дух Распутина, и о великосветском заговоре.

Протопопица Пирамидова утверждала, что мы накануне дворцового переворота.

Приятель с шлиссельбургского тракта вывел к настоящему: он рассказал, как на заводе у них пулеметы поставлены, а на Голодае сарты под замком держутся для усмирения.

— 14-го февраля наши все пойдут.

Так от Распутина через Царское и измену к 14-му февралю, ко «всеобщему восстанию», от колбасы до торта ивановского и доелись.

Тут самовар подали.

Именинник, хлопотавший за ужином вместе с матушкой, присел к самовару.

— А вот какое есть пророчество,— провещался именинник,— говорят, будто Гриша сказал царю: «Когда меня не будет, все вы распылитесь!». Стало быть, раз 14-го февраля всеобщее восстание и пулеметы...— и, хлебнув горячего чаю... язык у него запал.

VIII

ВЕЛИКАЯ ТОЩЕТА

В Прощенный день пришла Акумовна и прямо бухнулась в ноги.

На Акумовне черный ватошный апостольник и вся она черная.

— Бог простит, Акумовна.

Прежнее время присаживалась старуха к столу и за чаем начинались разговоры о житье-бытье, и прошлом, и теперешнем, и как Акумовна по весне в Петербург за «старшину» ездила, мальчика привозила — «мозг у него взбунтовавши», и как в деревне все-то до щепочки повынуто и больше житья нет — «солдат поставили!» — и о безумной генеральше, хозяйке, под замком у которой голодом высиживает Акумовна по целым суткам, о соседских угловых барышнях из чайной, и о их легкой жизни с «ханжой» и смертью собачьей, и о бдящем «старшем» Иване Федоровиче, и о швейцаре Алексее, о всех делах темных и делах бедовых, о случаях и напастях Буркова дома — всего Петербурга.

— Бог простит, Акумовна, Бог простит.

Поднялась старуха, растопырила по-лягушечьи черные костлявые пальцы, по-птичьи разинулась.

— Ой, что будет-то, Господи, что будет-то!

И как стала, так и стояла черная — может, в последний раз? — И рот ее полый (десной ест!) разевался по-птичьему, а пальцы по-лягушечьи растопыривались.

Двенадцать лет назад, 9-го января, «когда дворники на Невском сметали с тротуара человечьи мозги с кровью»,

беда пронеслась, цела и невредима осталась Акумовна доживать свой век, но то, что произойдет послезавтра —

— 14-го все до единого пойдут.

— Куда же пойдут?

— В казенное... в это...— Акумовна еще больше разинулась и в горле ее пересмякло,— а не 14-го, так на будущей неделе в четверг.

Сказать ей страшно, страшнее выговорить. И не за себя она боится, ей — чего? — за племянников, пойдут и ничем не удержишь, а вернутся ли, Бог знает.

Да еще ей страшно, она и сама не знает.

А все оттого, что есть нечего, хлеба нету, булочные заперты.

А хлеба нет оттого, что война.

Прежнее время наряжал я Акумовну в елочное серебро, так в серебре старуха и чай пила, а тут и не до чаю, не до серебра.

— Ой, что будет-то, Господи!

А непременно будет, весь Бурков дом знает — весь Петербург.

IX

ХЛЁБА!

Ждали вторника — 14-го.

Писали в газетах. Предостерегали.

«Кроме худа, ничего не будет!» — предостерегали.

От слова стало, от слова и станется, коли есть сила чающая, и ни крик, ни воп, ничего не поможет.

Поутру во вторник смотрю в окно — метет.

«Нет,— думалось,— ничего не выйдет».

И правда, собрались студенты да курсистки на Невском, пропели «Отречемся от старого мира» — то-то молодость, то-то бесстрашная и бескорыстная: силы растут, кровь кипит, все насмарку, все заново, а новое так легко и прекрасно — «Отречемся от старого мира!». И сгинули. Метель смела.

И больше, кажется, никто уж ничего не думал и на выступления рукой махнул. Жили, как жили в бескормной тощете, ропща, и жалуясь, с одной надеждой: скоро война кончится.

От слова стало, от слова и станется, коли есть сила чающая, и ни крик, ни воп, ничего не поможет.

* * *

В воскресенье вечером было «знамение» — —

Появился в Петербурге из Ростова-великого купец Фролов, знакомый Чехонина.

Пришел Чехонин, привел купца. Купец как купец, вид благообразный, разложил он на столе книжечки всякие, пошарился, вынул из кармана бычий рог, приставил себе рог к виску.

— Бог — бодать — бык. Бог есть бык.

И так толкуя Писание таким выковором из букв, такое понес, не дай Бог.

— А вы в Бога верите? — перебил я.

— Бог бык,— чего-то все радуясь, сказал купец,— нет Бога, разум.

— Какой разум?

— А вот тут,— и показал на лоб.

И снова понес выковор свой толковый, уничтожая Писание и ветхое, и новое.

И не упомню, на какой книге не вытерпел я.

«Бог — бодать — бык. Бог есть бык!» — звенело в ушах, когда от ростовского толковника и след простыл.

* * *

Хлеба в доме не было.

Пришвинская мука на блины пошла. Хлеба не было. И Пришвин пропал.

Хлеба не было, да и круп оставалось всего на донышке. Хоть бы круп достать!

Думал, в понедельник пройду на Надеждинскую, в литераторский кооператив: может выдадут. Опять беда с деньгами. Так до четверга и довел.

И совсем из головы, что Акумовна-то в Прощенный день толковала, прощенья прося: «не 14-го, так на следующей неделе в четверг», т. е. 23-го.

Забыл, забыл я о 23-м!

И не помню, что мне под этот день снилось. Помню из газет: в тот день выскочил какой-то Вейс и очень осердился, как смели без него «хлебные карточки» готовить, и что он этого не допустит. И еще помню статью В. В. Розанова об автомобилях, как наша «радикальная демократия» спит и видит захватить автомобили и ка-

таться. А главное и это, как «Бог — бык» в воскресенье, засело в памяти: «государь уехал в ставку».

* * *

По обеде, чем Бог послал, попил я чайку и стал в путь снаряжаться, вынул мешок. Есть у меня такой: как по этапу гнали когда-то, был грех, этот самый мешок мне верную службу служил. За странствиями по белому свету все, кажется, перетерял я, а мешок цел, служит. Взял я этот этапный мешок и в путь.

Забыл, забыл я о 23-м!

У Казанского собора трамвай стал.

И впереди стоит.

Подождали, подождали, кто-то соскочил, а за ним другие. И я с мешком. А впереди стена. И казаки.

Хотел я на Михайловскую проскочить — надо же круп-то достать! — да нет, никак не пробраться. Тут и полиция. Не пропускают.

И пошел я за народом.

Молча шли. Одна надпись:

— «Хлéба!».

На Аничковом мосту оттеснили к решетке, я на Фонтанку. Прибавил шагу.

Тревожно было на воле, — так никто не прохлаждался, спешили.

Какая-то женщина вышла из ворот с ребенком.

— Назад! Куда? — закричал на нее с сердцем какой-то, — подстрелят!

А никто не стреляет, там на Невском шли молча и только надпись:

— «Хлеба!».

С грехом пополам добежал я до Надеждинской, очень беспокоился: «ну-ка лавку-то запрут, как без круп домой идти?». Да и дума была: «как теперь домой идти?».

А в лавке ставни закрывают, боятся: разгромят!

Да не разгромят. Никто и голоса не подает и рук не подымает, идут молча и одна надпись:

— «Хлеба!».

Нет, мне не верят, боятся.

Кое-как свесили круп. Уложил я в мешок. Черным ходом выпустили. Напугались и лавку заперли.

А там шли молча, подходили к Знаменью. И одна надпись:

— «Хлеба!».

Одни рты:

— «Хлеба!».

До Михайловской успел в трамвай вскочить. Дальше не пойдет. И пошел я по Невскому, понес мешок.

На Невском, как в праздник. Народ и казаки. Едут совсем рядом, а ничего. Нет, не так бывало. И ничего не страшно.

Вышел я ко дворцу. Иду, тащу мешок: «экий, все руки оттянул!». На мосту остановился передохнуть. А над белой Невой звезды —

И как увидел я эти звезды, и на душе так легко, точно прорвало, и вот — легко!

Совсем поздно вернулся я домой.

Рассказываю. А на душе легко и ничего не думается.

— Да это революция! — услышал я.

— Революция?

Пришел сосед Пришвин, хлеба не принес.

Я и ему, что на Невском видел, и о хлебе.

— Да это революция! — опять слышу.

— Неужто революция? — И верит и не верит сосед.

Пили чай пустой с крошками, гадали, что дальше, а на душе было так легко, и я ничего не думал.

Я видел белую просторную Неву и над Невой звезды — —

X

СУД НЕПОСУЖАЕМЫЙ

Та душевная легкота, какую чувствовал я, когда вдруг увидел звезды над Невой, канула в душе, и пасмурное утро февральское замутило всякий звездный свет.

На душе туманно, а великопостный благовест внятен даже и за двойной рамой.

Толпы, собравшиеся вчера на Невском, безликие рты — пасть, которую надо было заткнуть куском хлеба, пока что молчаливые, вышли и сегодня, выйдут и завтра. И стреляй не стреляй — накормить голодного надо, голодную собаку и ту жалко, а тут душа человеческая, и еще потому надо, ведь голодный, что бешеный.

Молчаливые толпы — голодные рты собрались от застав и с трактов к петербургским мостам.

Сосед Пришвин хлеба не принес.

Что-то будет?!— Гадали. Что будет, чем кончится?

Сосед Пришвин с пятницы засел за «Французскую революцию». Все говорили о революции.

Туманно было на душе.

Я продолжал писать старинную повесть об Антиохе — царе сирийском и Аполлоне Тирском, мне хотелось непременно кончить к какому-то сроку и я боялся, что не успею.

Туманно было на душе, и внятно: я прислушивался, точно ждал чего-то.

* * *

В субботу ко всенощной приезжал с Охты Иван Николаевич Пантелеев, спутник наш на старые могилы в Рим — в канун войны привелось побывать в Риме, и память о нем неизбывна.

— На Охте пристава укокошили!

Иван Николаевич молодой, здоровый,— поглядишь на него, сам помолодеешь, и как стал он рассказывать о своей Охте, показалось тогда, так вот и распахнется дверь и выпустят всех на волю.

Мечталось о «воле», как о хлебе.

Попили мы чайку с Иваном Николаевичем, вспомянули Рим, старую Аппиеву дорогу, потолковали о войне — пожелали ей скорого конца, пошел я провожать гостя, а кстати, думаю, газету куплю. Попрощались, вышел я на Средний проспект и хоть бы один газетчик, пустынно, и трамваи без огоньков один за другим — в парк.

И нестрашным показался мне патруль: шли солдаты, нос в землю, тяжело.

А неужто и вправду, вот так и распахнется дверь?

Мечталось о «воле», как о хлебе.

* * *

В воскресенье выдался ясный день с морозцем.

И было «знамение» над Петербургом: явились на небе четыре багряных солнца, серебряный пояс опоясал небо, и по поясу против багряных пять белых солнц, а от солнца к солнцу радуга, а над радугой венец.

Я прошел до Казанского собора, а с улиц вылезали

и ползли мне навстречу — лица необычные: перекошенные, передернутые, сухие, колчепыги, завитнашки — это ли обида выползала из своих скрытий, углов и норей,— сползались придушенные и придавленные — обида выходила со своей горечью творить суд непосужаемый.

Вечером пугали водой: вода станет, а на Неву не дадут с ведрами ходить. Большое было смятение по дому.

А у меня на душе, как туман.

До поздней ночи писал я старинную повесть, и лег с думою о грядущих грозных днях.

И приснилось мне:

— —надел я, как маску, картину Гончаровой «Ангел, страж Софии цареградской» и синюю, расшитую шелками китайскую кофту на красном шелку, поднял суконный черный воротник и пополз на четвереньках. Слышу, говорят: «Потушите огонь!»

И несколько раз повторяет:

«Потушите огонь!».

А я и в маске, но мне все видно: освещенная комната — очень светло, а электричество не горит. Стучат, хочу зажечь, кручу выключатель. Нет, не горит.

И очутился я в лодке. Море. Синée китайской кофты. И солнце. Больно смотреть. Лодка летит. Слышу:

«Я буду сеять по небесному полю!».

Я посмотрел через глаза свои назад: там облака — облака ползут, как те на Невском, перекошенные, передернутые, сухие, колчепыги, завитнашки.

«Как же я буду,— говорю,— сеять по небесному полю?»

Лодка летит.

И впереди, куда летит моя лодка,— грозовая туча. Туча растет — ползут облака. Вот завились и, вливая в пучину великий вал — «Душу вы мою размозжили!» — погасили свет.

* * *

Поутру в понедельник приходит Терентий Ермоланч, полотерный мастер, по счету получить.

— Ну, что,— говорю,— как на Невском?

А он смотрит весело и шинель его солдатская расстегнута.

— Войне конец.

Не знаю, такой хмурый, выпрямился.

Рассказал он мне, как вчерашний день у Знаменской солдат один из волынского полка стрельнул, «да в свою бабу и угодил».

— Спохватился дурак, да поздно. Заплакал. Тут все и повернули ружья да в городовых. Какая же война? Все продано.

По обеде вышел я на волю — чего там на воле?

А там земля шаталась.

И вековая стена вот-вот рухнет.

Пробрался я к Семеновскому мосту и повернул на Фонтанку к «князю обезьяньему» М. М. Исаеву. Посидел немного и домой. Выхожу из ворот.

— Матушки, горит! — закричала старуха, шла она, шаталась с своим шитым мешком, чиновница.

— Что горит?

— Окружный горит.

«Окружный горит!» Посмотрел я вверх, а там дым — длинный — идет и идет —

— Окружный горит и Комендантское! — сказал студент.

— Потушите огонь! — слышу.

— Предварилка горит! — крикнула барышня, раскрасневшаяся, бежит она по Фонтанке к Литейному.

Петербург горел — горели черные гнезда: суд, война и неволя.

Земля шаталась.

В седьмом часу зажег я лампу, присел к столу повесть оканчивать об Антиохе — царе сирийском и Аполлоне Тирском и вдруг слышу, точно ребятишки что-то перекатывают — шарики? И вот опять — шарики катятся! Открыл я форточку. И понял: не ребятишки, это у нас стреляли на Васильевском острове.

И туман, заволокший мне душу, рассеялся, точно эти звуки были утренним светом, а сердце, вздрогнув, робко дрожало.

И всю ночь я слушал.

Будто летел — с волною в грозу.

XI

НА СВОЕЙ ВОЛЕ

До рассвета всю ночь и с рассветом, как ночью, неугомонно — или конца не будет? — на воле точно ребятишки перекатывали — катали шарики.

И от этих слепых игрушечных шариков, суд творивших непосужаемый, сердце робко дрожало.

Стреляли по нашей линии. И казалось, около дома — в наш дом стреляют. Прохожие и солдаты забегали во двор, жались под аркой. Тут же и ребятишки: им очень весело — от каждого выстрела они шарахались во двор и опять пробирались к воротам — очень весело!

Стою у окна — если б на волю! Да куда уж, и носа не высунешь. Повести моей оставалось конец и я сел писать. И к обеду кончил — об Антиохе — царе сирийском и Аполлоне Тирском.

Во двор вбежали солдаты: было подозрение, что у нас на чердаке городовой спрятался. Я заглянул в окно (живем мы как раз под чердаком), а уж солдаты ружья подняли — —

Беспокойно было на воле.

* * *

Яркий солнечный день.

«На своей воле» ходил народ с темным сердцем и открытым, с доброй волей и злым умыслом.

Стояли кучками, слонялись. Ну как на Пасху. И красные лоскутки у всякого — пасхальные.

— Теперь нужна еремеевская ночь,— говорит какой-то, Бог его знает, переплетчик, и смотрит на молодого солдата с таким белым нежным лицом, как у барышни.

Солдат не понимает и только чувствует что-то страшное в этом имени — «еремеевская!».

— Если Родзянко сказал, что так надо, значит, уж так надо! — отвечает он растерянно, будто оправдываясь за вчерашний день и ночь.

Вдруг совсем рядом над самым ухом закатались эти шарики и, как на зов, откуда-то выбежали солдаты — ружья наперевес. И было чудно смотреть, как они бежали, и словно не по-настоящему, а в игру такую играли.

Они остановились против соседнего дома, подняли ружья — и ахнули в окно.

— Все Вильгельм,— сказал какой-то, пряча руки в карманы, зябкий,— без него ничего бы не вышло. Всех царей посшибает.

— Какая ж теперь война? — весело заметил солдат.

— А без войны сидели бы вы дураками еще тысячу лет.

Мчится автомобиль — красный флаг парусит — одни сидят, другие стоят, третьи прилегли: ружья прямо на тебя.

А за ним другой, весь облеплен и кого только нет — все красно и пестро.

— Вот времячко-то настало! — и верит и не верит баба,— наш брат на муфтабиле катается.

— Вокруг солнца круги были, мужчины говорят, никогда не бывало такого! — слышу о знамении,— явились на небе четыре багряных солнца, серебряный пояс опоясал небо и по поясу против багряных пять белых солнц, и от солнца к солнцу радуга, а над радугой венец.

В кучке всяк о своем: кто о знамении, кто о вчерашнем, кто о войне, кто о нашей бескормной тощете.

— Вчерашний день выпустили. А он и говорит: «Не достоин я жить на свете, я убил человека!». Просит в тюрьму опять посадить.

— Ой, что было-то. Тут хлопает, там хлопает, над головой летит. Накладены трупы кучею.

— С селедки-то во рту одервенеет! — замечает раздраженно.

— С первого шага в бою. Какая ж война!

— Если Родзянко сказал, что так надо, значит, уж так надо.

— Штурмана поймали! — радостным криком выскочила из-под ворот горничная.

И все бросились за ней во двор.

Беспокойно было на воле.

* * *

Иду за народом на ту сторону.

И чем дальше, тем чаще и ближе эти перекатывающиеся шарики: тут хлопает, там хлопает, над головой летит.

Гнали партию городовых. Темная толпа улюлюкала.

И какие-то звероподобные бабы налетали: больно руки чешутся!

— Куда это их?

— Да куда-то в Думу пихают.

Одного городового везли на санках — на таких санках кладь возят — лежал он ничком привязанный и размозженная нога его болталась в крови. Два солдата сидели по бокам и один из них сломанным прикладом долбил его по шее.

Бабам посчастливилось, бросились они к санкам — дорвались звероподобные! — и вцепились несчастному в уши.

Беспокойно было на воле.

Автомобили с лежащими солдатами, целившимися прямо в тебя; автомобили со всяким сбродом, увешенным красными лоскутками; солдаты, бегающие с ружьями наперевес, словно не по-настоящему, а в игре, и эти перекатывающиеся шарики — одно и то же и на Невском, и на Морской, и на Фонтанке, и на Гороховой.

Пошатываясь, шел навстречу здоровенный солдат.

— Какое дело!— остановился он,— стрелять придется.

— В кого?

— В кого прикажут.

— Да разве можно в своих стрелять?

— Верно, нельзя! — и, шатаясь, пошел бормоча.

Беспокойно было на воле.

Народ валил к Думе, как к празднику.

На Пушкинской у сквера, перед памятником Пушкину на снегу лежал какой-то: лица его не было видно, ноги он поджал к подбородку и окровавленной рукой закрывал глаза, словно прятался от яркого света.

— Вот денек,— кричала звероподобная,— рубль дала бы, живого городового увидеть!

Автомобили с лежачими солдатами, целившимися прямо в тебя; автомобили со всяким сбродом, увешенным красными лоскутками; солдаты, бегающие с ружья-

ми наперевес, словно не по-настоящему, а в игре; а эти перекатывающиеся шарики — одно и то же и на Пушкинской, и на Загородном, и на Забалканском.

— Господи, когда это ссориться перестанут? — сказала простая душа.

Добивали.

И пожары дымили вечер. Горели участки. И наша Суворовская часть горела. То-то ворам пожива и праздник.

С ночным морозом замерзали добитые и недобитые, кто на крыше, кто в проруби, кто в подвале.

И те, у кого был зуб на соседа, выходили в потемках с чем попало своим судом расправляться.

— Кровь отмщается! — сказал кто-то.

— Кому?

— Да кому прикажут.

Передо мной стоял здоровенный солдат, пошатываясь.

* * *

Недалеко от дому я бросился вместе с другими под ворота: видно, еще не всех добили и вот опять — или кто так, здорово живешь, попугать?

Я прошел во двор. В сторожке горел огонек.

Тихонько отворил я дверь — пить мне очень хотелось.

Перед образом горела лампадка. Две женщины сидели у стола, одна немолодая, дворничиха, должно быть, а другая совсем молодая. Дворничиха рассказывала, как вчера странник старичок приходил к купцу.

— Вывел старичок его во двор: «Посмотри,— говорит,— Тимофей, что видишь?». А Тимофей-то Яковлевич как глянул и видит, ровно море на небе, вода льется. «Воду вижу, дедушка».— «Это потоп будет». Постояли немного. И опять старичок: «Посмотри, что еще видишь?» Тимофей Яковлевич посмотрел на небо, а небо, как огонь, горит и падает огонь. «Огонь вижу, дедушка».— «Огонь падает на землю».

И зашептала дворничиха, ничего разобрать не могу: должно быть, еще что-то показывал странник.

— Ой, Господи, Никола милостивый!

— «Что видишь?» — продолжала дворничиха внятно,— а Тимофей Яковлевич посмотрел на небо: «Хо-

рошо,— говорит, дедушка, так хорошо». «Ну, и хорошо будет на Руси, друг, да не дожить нам до этого времени».

Со вспугнутым сердцем, как перед бедою, и трепетно — «хорошо на Руси будет!» — я вышел.

На улице было пустынно, только солдаты.

— К Кривоносову, там погреемся! — кричал солдат у наших ворот, скликая солдат.

XII

КРАСНЫЙ ЗВОН

Город святого Петра — Санкт-Петербург!
Полюбил я дворцы твои и площади,
тракты, линии, острова, каналы, мосты,
твою суровую полноводную Неву
и одинокий заветный памятник
огненной скорби —
Достоевского,
твои бедные мостки на Волковом,
твои тесные колтовские улицы,
твои ледяные белые ночи,
твои зимние желтые туманы,
твою болотную осень с одиноким
тонким деревцом,
твои сны,
твою боль.
Полюбил я страстные огни —
огоньки четверговые
на Казанской площади
и в стальные крещенские ночи
медный гул колокольный
Медного всадника.
Разбит камень Петров,
Камень огнем пыхнул.
И стоишь ты в огне —
суровая Нева течет.

* * *

Я стою в чистом поле —
чистое поле пустыня.

Я стою в чистом поле —
ветер веет в пустыню:
грём и топ,
стук железа.
В копотном небе вьется:
крылье, как зарево,
хвост, как пожар.
Наскочья нога ступила на сердце —
рас-
ка-
лена
душа.

* * *

Родина моя просторная, терпеливая и безмолвная!
зацвели твои белые сугробные поля
цветом алым громким.
По бездорожью дремучему
дорога пролегла.
Темные темницы стоят настежь —
замки сломаны.
Или горе-зло-кручинное до поры
в подземелье запряталось?
Или горе-зло-кручинное
безоглядно в леса ушло?
Твоя горькая плаха на избы разобрана,
кандалы несносные на пули повылиты,
палач в чернецы пошел.

Родина моя просторная, терпеливая и безмолвная!

Зашаталась русская земля —
смутен час.
Ты одна стоишь —
непоколебимая.
По лицу кровавые ручьи текут,
и твоя рубаха белая,
как багряница —
это твоей кровью заалели
белые поля.
Слышу, темное тайком ползет,
пробирается по лесам, по зарослям
горе-зло-кручинное,

кузнецы куют оковы
тяжче-тяжкие.

* * *

Родина моя просторная, терпеливая и безмолвная!
Прими верных, прими и отчаявшихся,
стойких и шатких,
бодрых и немощных,
прими кровных твоих
и пришлых к тебе,
всех — от мала до велика —
ты одна неколебимая!
Из гари и смуты выведи
на вольный белый свет.

XIII

ПЛАКАТ

«Господа наши друзья, гостьи и гости, посещающие нас! Напоминаю всем, кто приходит к нам, что мы оба — люди больные и физически, и нервно; напоминаю, что мы с начала войны и до сих пор находимся на краю гибели мы ничего не имеем кроме заработка, а заработок наш с войны очень уменьшился. Наше тяжелое материальное положение окончательно расшатало наши нервы. В эти великие и необыкновенные дни мы все должны беречь друг друга. Помните, что культурных людей у нас так мало, а тьмы так много. Чтобы нам не погибнуть, чтобы иметь возможность работать, мы просим:

не говорите у нас по телефону —

это убивает! По телефону можно говорить в аптеке, в подъезде и т. д.».

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

I

ПРЯНИКИ

Сосед Пришвин, пропадавший с самого первого дня в Таврическом дворце — известно, там в б. Государствен-

ной Думе все и происходило, «решалась судьба России»,— Пришвин, помятый и всклокоченный, наконец явился.

И не хлеб, пряников принес — настоящих пряников, медовых!

— По сезону,— уркнул Пришвин,— нынче все пряники.

К Таврическому дворцу с музыкой водили войска.

Один полк привел «великий князь» — и об этом много разговору.

С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали —

— чтобы передать Родзянке.

Появились из деревень ходоки: посмотреть на нового царя —

— Родзянку.

Родзянко — был у всех на устах.

И в то же самое время в том же Таврическом дворце, где сидел этот самый Родзянко, станом расположились другие люди во главе с Чхеидзе — «Совет рабочих и солдатских депутатов».

Тут-то,— как говорилось в газетах,— «Керенский вскочил на стул и стал говорить —»

Я заметил два слова — две кнопки, скреплявшие всякую речь, декларацию и приказ той поры:

— смогу,
всемерно.

И Родзянко пропал, точно его и не бывало.

К Таврическому дворцу с музыкой водили войска.

С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали —

— чтобы передать Керенскому.

Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя —

— Керенского.

Керенский — был у всех на устах.

И третье слово, как третья кнопка, скрепило речь:

— нож в спину революции!

А красные ленточки, ими украсились все от мала до велика, обратились и совсем незаметно в защитный цвет

И наш хозяин, не Таврический и не Песочный, другой, таскавший меня однажды к мировому за то, что в срок не внес за квартиру 45 рублей,— а ей-Богу ж, не было чем заплатить и некуда было идти! — старый наш хозяин — человек солидный, а такой себе бантище прицепил пунцовый, всю рожу закрыло, и не узнать сразу

Носили Бабушку —

Вообще, по древнему обычаю, всех носили.

Жаль, что не пользовались лодкой, а в лодке и сидеть удобнее, и держать сподручней.

Поступили, кто посмышленее, в эсеры:

— в то самое,— говорили,— где Керенский.

«Бескровная революция,— задирали нос,— знай наших!»

«Бескровная — это вам не французская!» — дакали.

Демонстрация с пением и музыкой ежедневно.

Митинги — с «пряниками» — ежедневно и повсеместно.

Все, что только можно было словами выговорить и о чем могли лишь мечтать, все сулилось и обещалось наверняка — «пряники»:

земля,
повышение платы,
уменьшение работы,
полное во всем довольство,
благополучие,
рай.

Пришвин — агроном, член ученый, в Берлине по-немецки диссертацию написал, Dr M. Prischwin!— доказывал мне, что земли не хватит, если на всех переделить ее, и что сулимых полсотни десятин на брата никак не выйдет.

Я же никак не агроном, ни возражать, ни соглашаться не мог, я одно чувствовал, наседает на меня что-то и с каждым днем все ощутительней этот насед. И, не имея претензии ни на какую землю и мало веруя в пряники,— наговорить-то что угодно можно, язык не отвалится! — карабкался из всех сил и отбивался, чтобы как-нибудь сохранить

свою свободу
самому быть на земле
самим.

И красную ленточку — подарок Николая Бурлюка,— надписав «революция», спрятал в заветную черную шкатулку к московскому полотенцу — петухами московскими мать вышивала, и к деревянной оглоданной ложке — памяти моей о Каменщиках, Таганской тюрьме.

* * *

— — остановился у Н. С. Бутовой в Москве в Успенском переулке. Жду С. П. И вижу, Ященко пришел. Так — моя кровать, а он на диване лежит. Входит Н. С. Бутова.

«Это небезызвестный профессор Ященко,— говорю,— пришел ночевать».

И мне очень перед Н. С. неловко: ведь она его совсем не знает!

А вот и утро — — я иду по Садовой мимо С. В. Лурье на Землянку. Против церкви Николы Ковыльского два городовых и околодочный — и все в белом по-летнему. «Городовых уничтожили, а они стоят!» Стал я против — рассматриваю.

Но тут как пошел народ, как пошел — меня и оттеснили. Барышня Пуга́вка тянет за руку, а в руках у Пугавки диплом, в трубочку свернут: хочется ей непременно, чтобы я посмотрел. А я не могу разобрать — ведь ночь! — ничего не вижу. Подошел к фонарю — «Ничего не понимаю!» —

«Я кончила балетную ботаническую школу».

Догоняю С. П. А меня мальчик да девочка нагнали.

«Мы дети Фриды Лазаревны и Я. С. Шрейбера!»

«Вот,— думаю,— С. П. удивится».

— — девочка беленькая, на мышку похожа, а мальчишка черненький, а за ними борода треплется — —

«Оторвалась, значит, от Якова Самойловича, самостоятельно теперь —»

Идет навстречу Пильняк: ноги серебряные, кончик носа серебряный — весь блестит.

Оказывается, что же вы думаете, тоже ночевал у Н. С. Бутовой.

«И Гершензон, и Бердяев, все там».
«Бедная,— думаю,— Н. С., этакую ораву!»
И вижу Успенский переулок, церковный двор
Из квартиры Н. С. Бутовой выносят ковры.
А Лев Шестов клетку несет.
«Ты,— говорит,— на мне ездил, теперь я на тебе покатаюсь!»
Помогаю какой-то ковер нести персидский. Вниз несли — очень тяжелый! — а когда донесли, очутился я наверху. Вхожу в комнаты, а следом за мной келейник из Андрониевского монастыря — он принес ветчины и хлеба — «Тут кормить не соглашаются»

II

ПАЛОЧКИ

Прачка, немка Лизавета, столько лет стиравшая у нас на Таврической, точная и аккуратная, на Остров ходить отказалась. Пришла другая; новая: на вид ничего, старый человек, поверить, казалось бы, можно.

И выстирала. Просит вперед денег ей дать.

— Ей-Богу,— говорит,— в пятницу гладить приду!

Ну, дали ей денег, все — сколько полагалось, а она и надула.

Тут по двору ходит, скалится.

— Пойди,— говорит,— жалуйся! Куда пойдешь?

И вспомнился мне разговор со старшим дворником принес постановление домового комитета.

«В доме у нас,— сказал он,— все идет дружно, только интеллигенция против!»

«Кто ж это?» —

«Да вот сам хозяин... насчет земли не согласен»

Может, думаю, и эта старуха тоже насчет земли хлопочет — — только этажом ошиблась!

И еще вспомнилось, такое ж — со швейцаром.

«Вот землю теперь трудящимся,— сказал швейцар,— я тоже получу!»

«Зачем вам земля? Ведь вы всю жизнь в городе живете, и не знаете, что с землею делать?»

А он подумал, и словно б и согласен, потом вдруг нашелся:

«Ну, я деньгами согласен получить»

Пошел я в парикмахерскую постричься и напоролся на митинг.

Главный мастер кричит:

— Теперь такое время, надо рвать. А то поздно будет

И я подумал:

«А земля-то, пожалуй, и ни при чем, тут верно вот это — — а то поздно будет!»

* * *

Из парикмахерской шел так — по улице.

К красным флагам привыкли. Трамвайный путь расчищают

На трактире надпись:

> *ввиду свободы объявляю: мой трактир свободен для всех солдатов. Солдаты, приходите, кушайте, пейте бесплатно, а также желающие из публики. Да здравствует свобода!*

Столпились кухарки.

Какой-то шутник из прохожих:

— Требуйте 98 рублей в месяц, а миритесь на 30-ти.

Сам смеется. Но смех его — всурьез.

— Намедни тоже, выискалась барыня растрепа. Собирала по полтиннику, записывала в общество, тоже сулила 98 в месяц. И адрес указала на Фурштадской. А когда пошли, там такой и нет.

— Теперь такое время

— А то поздно будет

— Я не подданный, чтобы день и ночь работать! — угрожал кому-то ломовой.

Нестройно кучка народу — душ около сотни — демонстрирует мимо Исакия.

Два красных флага:

«да здравствует с-д. р. п.» и «земля и воля».

> *Царь-вампир из тебя тянет жилы,*
> *Царь-вампир пьет народную кровь...*

— Товарищи, присоединяйтесь! долой буржуазию! шапки долой! — выкрикивает без шапки.

А рядом солдат с ружьем:

Сказано: шапки снимать. Снимай шапку!

Я снял шапку.

И какие-то два прохожих сняли.

И вдруг мне показалось, один из моих глазеющих соседей как гаркнет —

Бо-же ца-ря...

царь-вампир из тебя тянет жилы,
царь-вампир пьет народную кровь..

— Пойдем! — и оба пропали.

Смеркалось — весенняя тяжелая сумерь волной накатывала.

И я вспомнил, как в 14-м году в войну один поперечный поэт — А. И. Тиняков — тоже вот гаркнул на всю Фонтанку:

«Да здравствует император Вильгельм!».

Пение едва доносилось и только какой-то «рарпир» и «нарров» врывались в уличный шум.

Я надел шапку и пошел.

* * *

Нет, не в воле тут и не в земле, и не в рыви, и не в хапе, а такое время, это верно, вздвиг и взъерш, решительное, редчайшее в истории время, эпоха, вздвиг всей русской земли — России. Это весенняя накатывающая волна, в крути вертящиеся палочки — самое сумбурное, ни на что не похожее, весеннее, когда все летит кверх тормашками, палочки вертящиеся —

И я стиснулся весь, чтобы самому как не закрутиться такой палочкой.

Россия — Россия ударится о землю, как в сказке надо удариться о землю, чтобы подняться и сказать всему миру:

— Аз есмь.

— Но можно так удариться, что и не встанешь.

— Все равно, не хочу быть палочкой!

— Теперь это невозможно· или туда, или сюда.

Я не все понимал, что говорилось во мне, и часто просто слов не было, а какая-то круть туда и сюда — обрывки слов.

А все сводилось: чтобы не растеряться и быть самим под нахлывающей волной в неслыханном взвиве вихря

И что я заметил: звезды, которые я видел в канун, погасли, вихрь овладевал моей душой.

Да, я бескрылый, слепой, как крот, я буду рыть, рыть, рыть -

* * *

Вечером сосед Пришвин рассказывал о всяких чудесах.

Рассказал об арестованных городовых, которые собрали между собой по подписке 215 рублей —

«на нужды революции».

И я себе представил, как эти городовые, усатые, в сапогах, а кто и в женском платье — и такое со страху бывало! — надо же как-нибудь выкручиваться.. такое время —

«на нужды революции!»

— А в Царском на митинге городовой вышел в солдатском: «Я,— говорит,— иду на фронт, не все мы такие, зачем же на детей позор? Я могу быть убит!» «А когда будешь убит, тогда и говори!»

— А как же с деревней?

— Ничего, в деревню поехали «тучи!»

* * *

— едем в Москву —

«Чем чернее труд, тем больше прав на свободу, вы кто такой?»

«Я? — и не долго думая: — я,— говорю,— отходник: и в Киеве, и тут приходилось...»

«Получайте билеты».

Попали на Плющиху в Новоконюшенный к Льву Шестову

Шестов над спиртовкой, поставил чайник.

«Революция или чай пить?»

И сам глазами смеется:

«Помолчи,— не дает ответить,— такое время, лучше помолчи».

На Зубовском бульваре на ларьке продают белые хлебы.

Я выбрал три хлеба — как большие рыбы.

«Сколько?» —

«По рублю»

Схватил я у ларечника колун да на торговку:

«По — рублю!»

«За все — 50 копеек».
А сама так смотрит — и задаром отдаст! — так только одни сверлки — глаза.
Опустил я колун — и всего-то у меня полтора рубля! — все и отдал.

III

О МИРЕ ВСЕГО МИРА

Третья неделя и с каждым уходящим днем входит новое. — жуткое.

И эта жуть представляется мне все от праздности· на улицах, мне кажется, не идут уж, а «ходят».

Углубляется революция,— так сказала одна барышня из редакции.

И как была счастлива!

Я видел о ту пору счастливых людей: и их счастье было от дела.

— Революция или чай пить?

Другими словами:

— Стихия — палочки вертящиеся? — или упор, само-упор?

Те, кто в стихии — «в деле»,— они и счастливы Потому что счастье ведь и есть «деятельность».

И скажу, до забвения видел я тогда таких деятельных — счастливых.

Чай-то пить совсем не так легко, как кажется! Ведь, чтобы чай пить, надо прежде всего иметь чай. А чтобы иметь чай — —

Есть, впрочем, одно утешение: эта стихия, как гроза, как пожар, и пройдет гроза, а ты останешься, ты должен остаться, вдохнув в себя все силы гроз.

— Но грозой может и убить!

Пришвин — увлекающаяся борода,— так его прозвали на собраниях, «увлекающейся бородой»,— Пришвин все в ходу, не мне чета, но тоже не в деле, и вот приуныл чего-то.

«В мясе-то копаться человечьем — все эти вертящиеся палочки — вся эта накипь старых неоплатных долгов — месть, злоба — весь этот выверт жизни и неизбежность, проклятия — р е в о л ю ц и я — нос повесишь!»

Соседки наши, учительницы, обе тихие, измученные. Я часто слышу, как старшая жалуется:

— Несчастье мое первое, что я живу в такое время.

А другая кротко все уговаривает:

— Очень интересное время. После нам завидовать будут Надо только как-нибудь примириться, принять все. И разве раньше лучше нам было?

— Да, лучше, лучше,— уж кричит.

И мне понятно:

«Как хорошо в грозу, какие вихри!».

И мне также понятно и близко:

«В мясе-то копаться человечьем — все эти вертящиеся палочки,— гроза, раздор, тревога и самая жесточайшая месть и злоба, выверт жизни — революция».

— Хорошо тому, кто при деле, а так — —

— Представляю себе, как вам трудно! — мне это та барышня сказала редакционная.

— Когда происходят такие исторические катастрофы, какой уж тут может быть счет с отдельным человеком! — на все мои перекорные рассуждения ответил Ф. И. Щеколдин.

— Да, потому и наперекор: ведь, катастрофа-то для человека, а человека топчет!

— Видел я на старинных иконах образ Иоанна Богослова,— заметил археолог И. А. Рязановский,— пишется Богословец с перстом на устах. Этот перст на устах — знак молчания, знак заграждающий.

— Бедные счастливые палочки, куда вихрь понесет, туда и летите!

Палочками разносились по белому свету семена революции.

* * *

А сегодня Пришвина и не узнать.

Сегодня — 14-е марта: знаменательный день:
ко всему воюющему миру обратились с призывом о мире —

— Посмотрел я,— рассказывал Пришвин,— рожи красные: чего им? Какая война? Домой в деревню, к бабе Конечно, мир.

И я почувствовал, что оживаю.

Ведь я словно умер, и вот опять родился, учусь говорить, смотреть —

Сегодня я в первый раз стал писать.
А какая весна на воле!

* * *

— — вижу образ Божьей Матери — венчик на образе из чистого снега; выдвигаю ящик бумаги достать и вытянул ногу — шелковая тонкая туфелька. А живем мы не в доме — над домом. Леонид Добронравов поет: *Величит душа моя Господа!*

IV

ЖЕРТВ РЕВОЛЮЦИИ

О похоронах жертв революции говорили давно.

Спорили о месте: хотели первоначально на Дворцовой площади похоронить, да, говорят, Горький вступился, и постановили на Марсово поле нести.

Пугали всякими страхами: и то, что пулеметы будто на крышах не все сняты и, как пойдет процессия, тут и начнется стрельба; и того еще боялись, что нужен порядок, а как его сделать? — никто никого не слушает

Накануне прибежала к нам во двор девчонка из соседнего дома, предупреждает не выходить на улицу:

— На 17-й линии с седьмого этажа с крыши только что сняли пушку!

А случившиеся при этом страховоды подтвердили·

— Из Москвы в одну ночь пешком целый полк при шел: бегут с войны.

23-го марта ровно месяц как началось.

23-го марта и состоялись похороны.

Без колокольного звона несли красные гроба.

А если бы знали, какой есть погребальный перезвон — в старых русских городах, в Сольвычегодске и нынче звонят,— большое искусство!

На Марсовом поле говорили речи и из всех запомнилось — В. И. Засулич:

«о втором издании русской революции».

Сумрачны были эти похороны, как и день сумрачный.

* * *

На углу 14-й линии какой-то самозванный милиционер, пользуясь случаем — народ на похоронах! — залез в квартиру на самый на верх.

Была одна женщина в квартире с детьми, подняла крик. Соседи — одни женщины оставались — на крик бросились, навалились на «милиционера» и потащили вниз.

Крик поднялся на всю линию.

Собралась толпа.

— Голову ему снять мерзавцу!

Ну а тот просит, винится:

— Не снимайте,— говорит,— головы моей! — просит

Страшно, когда человек на тебя бросается, а страшнее того, когда схватят тебя, бросающегося.

— Голову снять!

Одно твердят, не слушают ничего.

Вот это-то и есть самое страшное: не слушают! — не слышат слов твоих.

Кричали, кричали — слава Богу! — повели в комиссариат.

* * *

Сумрачны были похороны, и красное не красным, сумрачным смурило.

А когда наконец стали расходиться, все только и говорили, что о порядке.

И иностранцы, говорят, дивились нашему порядку

— Первый смотр революционного пролетариата!

* * *

Скажу о порядке —

Чем-чем, а порядком мы всегда славились.

И летописный беспорядок — «наряда» будто нет! — и прославленная московская Ходынка, все это так — либо со зла, либо себе на уме сказано.

Через месяц в Саратове — все газеты облетело!

В Саратове на Петиной улице спозаранку образовывались хвосты — очередь перед публичными домами — публичные солдатские хвосты: 40 человек на одну женщину, как раз, стало быть, наоборот песни. И бывали

случаи, что даже выскочит на улицу которая: «Спасите, больше работать не могу!». Ну, а уж зато порядок — такой был порядок, что иностранные корреспонденты, когда дознались, то не только дивились, а и завидовали: в Европе ничего подобного не бывало! Конечно, культурные-то народы без привычки полезли бы, как скоты, и передрались бы друг с другом из-за.

А еще позже в Ташкенте.

В Ташкенте самосудом прикончили Коровиченку. И когда лежал он на полу, истерзанный, при последнем издыхании, образовался опять-таки, скажу, хвост — очередь — пускали за 30 копеек по очереди плевать в лицо умирающему — хвост плевательный.

Шли, платили 30 копеек и плевали, и был порядок — математический.

V

СВЯТАЯ

На почте какой-то мальчик с пачкою заказных писем уступал очередь одиночным письмам, и только когда все прошли, подошел к окошечку со своею пачкой —

— ко всеобщему удивлению!

Был у нас Вяч. Шишков, б. сибирский атаман, и денег предлагал, и муки пообещал на Пасху —

— какая редкость!

Хлебные хвосты растут.

Говорят, скоро хлеба совсем не будет.

Лег я и лежал с открытыми глазами: столько наслушался я горьких жалоб, столько слез увидел, в глазах черно.

* * *

Благовещение праздновали три дня.

Лед не скалывался по улицам — лужи, кучи, грязь невылазная — что-то от Пензы, Вологды, Усть-Сысольска и никак не петербургское.

По чистоте Петербург был ведь первый после Берлина!

Увлекающаяся борода — Пришвин — с того самого дня, как кликнули клич о мире, ходил в раже и ничего не замечал, так и пер по грязище.

По-прежнему к Таврическому дворцу демонстрировали.

Но из всех демонстраций, о которых читали в газетах, всякому запомнилась демонстрация детей.

Они пришли, как водится, со всем весенним шумом, принесли «пифагоровы штаны» и «удельный вес», и что говорили, не знаю, а наказ им памятен:

«Зорко следите за правительством!».

* * *

Пасха была ранняя

И праздновали Пасху, кто сколько хотел.

— Вот немцы, те сумели бы устроиться, а у нас только палка — без палки ничего. Так все и распразднуют.

Пришвин как будто соглашался: бывалый, сколько лет жил в Германии, знает, что такое «немецкое дело».

— У немцев, посмотрите, едет ли желтый почтовый автомобиль, какая важность у почтового чиновника: Reichspost! — или обратите внимание на вагоновожатого, вам покажется, не простой вагон ведет он, а какой-то особенный, и случись что, все разрушится — Германия! — весь мир, или когда сдаешь заказное письмо, ведь с твоим письмом так мудруют — так наклеивают и подписывают, словно в твоем письме сама судьба — Германии! — всего мира. У немцев нет этого маленького дела, маленького человека — «должность моя маленькая, сам я маленький человек!» — нет этой нашей русской сгорбленности и пришибленности, и эту походку трусцой, семенящую, где вы ее там встретите? Да, такие не распразднуют свое добро.

Пришвин соглашался, но его будоражил и веселил этот взвих или, как твердил Иванов-Разумник, скифский вихрь, буря — пьянящая китоврасова музыка — безумье, когда все ни на что, а так — рывь, колебание мира, и все эти взвихнутые вертящиеся в вихре палочки — танец бурь, танец битв, крутящейся крути все круче и круче — танец революции.

А кроме того — Пришвин охотник — весна! — ошалел, потянуло на землю, к траве и лесу.

На Пасху у нас все было — Шишков, как всегда, и мучное слово сдержал.

Встретили Пасху с Пришвиным.

На второй и третий день было большое сборище, как всегда.

Как всегда, Федор Иванович Щеколдин и Наталья Васильевна Григорьева, Леонид Добронравов, И. А. Рязановский, А. М. Коноплянцев, Р. В. Иванов-Разумник.

Приходил и Александр Александрович Блок — и это в последний раз был он в моей серебряной игрушечной комнате — в обезвелволпале (в обезьяньей великой и вольной палате).

Блок, для меня необычно, в защитном френче, отяжелелый, рассказывал о войне —

«какая это бестолочь идиотская — война!»

И за несколько месяцев — служил он в каком-то земском отряде — навидался, знать, и наслышался вдосталь!

И была в нем такая устремленность ко всему и на все готового человека, и что бы, казалось, ни случилось, не удивишь, и не потужит, что вот еще и еще придет что-то.

А что-то шло — это чувствовалось — какой-то новый взвих —

Ведь, и за этот месяц уж чувствовалось, что дальше так продолжаться не может, и можно на все решиться, только бы перемена и, что бы ни произошло, все будет лучше —

Я слышал, как одни ждали немцев, я скоро услышу, как другие будут рады Корнилову, а третьи — что бы там ни было — главное, конец войне! — и таких большинство, обрадуются Ленину и встретят Октябрь ладно.

VI

ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

На четвертый день Пасхи умер доктор А. Д. Нюренберг.

Это первая смерть моего возраста — мы родились в один год и в один месяц.

Живой человек — бессмертный, казалось! — и в несколько дней всему конец.

Добрый он был человек — такими добрыми родятся только очень талантливые — и умница.

Лежал он на Фонтанке в тесной Кауфманской часовне.

Я пришел спозаранку.

Какие-то старушонки, спешившие за мной,— дорога к часовне путанная — стояли у стены, трясли головой, жалко смотрели красными от слез старыми глазами.

Много приносили венков и так цветы —

А эти старушонки ничего не принесли — они только сами пришли с Острова за Калинкин мост на Фонтанку — принесли свой непосильный труд и жалость.

Я помню, что-то он рассказывал о старушонках и о беде их несчастной, о своих соседях.

Я смотрел на желтый крепкий лоб — какой умный упор! Но глаза, закрытые плотно, не светили. И только брови — одна к другой — чернее еще чернелись.

И мне вспомнилось: приехал он однажды после приема, лег на диван в нашей тесной столовой — просто так полежать; я пошел к себе, занялся письмом и совсем забыл; вхожу зачем-то в столовую, протянул руки, чтобы на стул не наткнуться,— чуть-чуть огонек от лампадки светит — а он с дивана тихонько руку да за ногу меня — и поймал!

И с этих пор и не знаю, отчего это бывает, я почувствовал что-то такое доброе в его душе, и еще понял тогда же, и тоже не знаю, отчего это бывает, что одинок он в сутолке своего дела и, хоть большая гремит слава, а счастья нет и нету.

Старушонок совсем к стене прижали.

Все приходил народ — пациенты — очень много, всю часовню набили и венков много — весь в цветах.

Последние цветы — последний поклон молчаливый и — безответный.

Я все смотрел на желтый крепкий лоб и думал, и тихо, покорно мирился со смертью:

> «в суете своего дела очень он устал, а теперь ничего не надо, вот и лежит спокойный непробудно — телефон не разбудит и торопиться некуда».

И еще думалось:

> «трудно очень жить стало, так трудно, что просто иногда завидно — мертвому завидно: не могу я быть ни палачом, ни мстителем, ни грозным карающим судьей и всякая эта резкость «революционного» взвива меня ранит и мне больно — моей душе больно».

На кладбище я не пошел — очень далеко, надо по железной дороге! — а проводил, как выносили.

И все я смотрел — провожал.

Венок из маленьких синих цветков, подвешенный на колеснице, подпрыгивая, лучился синим.

Солнечный весенний день.

* * *

VII

МОЛЧАЛЬНИК

Не все на Руси крикуны и оралы и не всякий падок на крик.

Сказать о русском человеке, будто пустым крикливым словом взять его можно с душой и сапогами, это неверно.

И не одна только примазавшаяся гирь и шкурническая мразь сидит нынче по русским городам и верховодит.

Приехал И. С. Соколов-Микитов, солдат — летчик с фронта — большой молчальник, слова не выжмешь.

— Какими,— говорю,— судьбами?

— Выбран делегатом в Совет рабочих и солдатских депутатов.

Ушам не верю.

— Кто же выбрал?

— Шестнадцать тысяч за меня, как один. Вот и послали.

И рассказал мне, как на собрании у них первыми крикуны повыскакивали и стали бахвалиться: кто чего может! А он, Микитов, молчком сидит, и только потом обмолвился, что, мол, зряшное это все бахвальство-то, ни шапками не закидаешь, ни горлом дела не сделаешь. И как стали выбирать, крикунов-то взашей, а его на атаманское место в Совет.

И вправду Соколов-Микитов большой молчальник и, коли скажет, бывало, с толком скажет, не даст в обиду и прок был.

Но скажу, что вышло: и не то чтобы закричали его крикуны и оралы, но сам-то он перемудрил и до самого конца, как в моряки поступить балтийские, три месяца ходя в Совет, не проронил ни слова.

Слово — серебро, молчание — золото, а если уж чересчур, то просто — сом-молчальник!

VIII

ТУРКА

А бывают на свете люди и тоже про них не скажешь, что из породы они человеческой, ну, как рисуют человека на картинках «возрасты человеческой жизни», нет, это не человеки, а сказочные люди, о которых всякий в книжках читал — в сказках, и вопреки здравому рассуждению верил, что они на самом деле есть.

Я знал такого, кличка ему Турка. Туркой все его и звали — Илья по имени, по прозвищу Турка.

Обыкновенно появлялся у нас Турка перед наступлением какого-нибудь важного события.

И вот в апреле появляется Турка.

Турка рассказал о демонстрации, с которой он только что,— первая в Петербурге демонстрация с черными флагами.

— Денег столько, сколько подымешь, а земли столько, сколько обежишь.

А заодно рассказал Турка и о приятеле своем тоже турке,— не то в Рыбинске, не то в Кадникове.

Турка в географических названиях всегда путал и начнет другой раз про Чернигов, а сведет на Кинешму, тоже и в именах, а что до численности, уж подлинно обсчитывался — из одного выведет три, а из трех всю дюжину.

Так вот где-то в Кадникове жил-был этот турка Киреев Григорий Сильвестрович.

— Человек одинокий, жил Киреев тихо и смирно, торговал рыбой и одного дожидался в одиночестве своем — праздников: сначала Рождества ждет, потом Благовещения, потом Пасху и т. д. И вдруг нежданно-негаданно грянула революция, и все перепуталось и так перевернулось, ни с того ни с сего выбирают его в городские головы, и вся Кинешма от мала и до велика — «здравствуйте, пожалуйста, Григорий Еремеевич, быть вам головой!» Он и растерялся: еще б, головой!.. И в один прекрасный день после головинных поздравлений ясно почувствовал, что не одна, а целых две у него головы: одна собственная его, Киреева, которая ест кушанья и разговаривает, а другая — другая голова городская.

— Ах, Турка, Турка!

— И это бы все ничего,— продолжал Турка,— ну что ж такого, две головы, да хоть бы и три, я бы и девять носил, даже с девятью хор можно устроить и концерты давать: пою за десятерых! Но дело обернулось куда хуже, другая-то голова городская оказалась водяной: воду из нее льют, улицы поливают. Это его окончательно и сбило. И теперь собирается прямо из Ельца и со всем многочисленным своим семейством в Петербург: хочет представиться в петербургскую пожарную команду и послужить делу революции как неистощимый и непрерывно действующий самополив!

Турка вращал огромными турецкими белками и в ус свой черный по-турецки улыбался.

— Ах, Турка, Турка!

Сколько ему, Турке, еще в жизни ночей!

Это из тысяча-и-одной-ночи прямо со страниц из картинки вышел он и очутился в России, а из России перекочевал в Европу, а из Европы в Китай, потом в Сибирь и опять в Россию.

Турка считал себя причастным к русской литературе; когда выходила замуж дочь Глеба Ивановича Успенского, Вера Глебовна, за Савинкова, он был шафером, а затем некоторое время жил в одном доме и по одной лестнице с Павлом Елисеевичем Щеголевым на Большой Дворянской, и кроме того любил посмотреть редкие русские книги в книжной лавке у Якова Гавриловича Новожилова.

Турка, окончив Петербургский университет и отсидев в Крестах за «беспорядки», поехал в Германию — Турка тоже «доктор», только не агрономические науки изучал он, как Пришвин, а по апретурному делу — химик.

Из Германии Турка вернулся в Херсон к отцу и занялся торговлей — в Херсоне первая была их лавка: всякие и самые тонкие английские сукна.

Турка во всех влюблялся и в Турку влюблялись, и было у Турки тысяча невест, а на тысяча первой Турка собирался жениться.

И не женился.

Сколько ни объяснялись, сколько ни говорили друг с другом, а до конца никак не могли договориться и по очень простой причине: Турка туг был на правое ухо, а невеста на левое с глушинкой.

Так и не женился.

А помер отец, осталось все Турке, как старшему, а Турка передал торговлю братьям, а сам пустился свое счастье искать.

Заманила его на восток икра — «красная кетовая икра!».

И повезло — на икре большое состояние нажил.

И уж собирался было в Японии дом строить из фиговых листиков, а мне сулил китайских богов и японскую разноцветную тушь, и вот случилась буря — кетовые корабли потонули, и уж в 4-м классе прикатил Турка в Петербург,— начинай сначала!

И была его турецкая жизнь полна самых таких головоломных нечаянностей: то он какие-то гайки продавал, то табашным делом занялся,— но все как-то так выходило, что вот-вот на небеса взлетит, хвать, корабли ко дну, начинай сначала!

Когда началась война, Турка ходил к Зимнему Дворцу, стоял на коленях.

Турка просился в добровольцы, мешок собрал с бельем и сухарики припас, но почему-то ему отказали, и как ни добивался — отказали.

Ведь Турку заманивала война, как кета, как гайки!

А когда в 1916 году добровольцев запретили и уж больше перестали принимать, Турка бросил место — а место он занимал важное в Сибирском Банке — и наперекор всяким запретам опять пошел добиваться.

И приняли-таки, добровольцем угнали в Финляндию.— Турка торжествовал! Турка готовился «принять бой!» — но тут произошла революция, товарищи Турки, и не сговариваясь, тихо и смирно кончили войну и разбежались по домам.

И Турка кончил войну и вот появился —

Когда-то при открытии первой Государственной Думы Турка, чтобы пробраться посмотреть поближе, взял извозчика и поехал. А там около Таврического дворца ждали членов и, когда замечал кто особенно чтимых, выкрикивалась фамилия и все враз бросались к извозчику или к автомобилю, вытаскивали и качали.

В сухопаром Турке был опознан Максим Максимович Ковалевский, и Турку качали при всеобщем одобрении и при дружном крике:

«Да здравствует Максим Максимович!».

И теперь при возвращении из Финляндии повторилось

с Туркой то же недоразумение: когда подошел поезд, Турка не без робости выглянул из вагона, собираясь тихонько и не через вокзал, а путями пробраться на улицу, но к великому изумлению увидел на платформе огромную толпу, устремленную как раз к его вагону.

В Турке опознан был известный революционер Барладеан Алексей Георгиевич, которого ожидали из Женевы.

Турку вытащили из вагона — Турка цепкий, сопротивлялся, не помогло! — и на руках понесли через весь вокзал к автомобилю, окруженному сочувствующей толпою.

Но что всего чуднее: Турке говорили приветственные речи!

Турка по-восточному прикладывал руку то ко лбу себе, то к сердцу, держась золотого молчального правила.

Но в конце концов вынужден был нарушить молчание и сказал единственный стих по-турецки, единственно, что знал турецкого из Микаэля Тер-Погосяна:

айда илда
бир барым
аква уйма
чипиим

акалгичен
сен алдын
чойма сакла
чипиим

Все остались очень довольны и под крики: «Да здравствует тов. Барладеан!» — отвезен был Турка прямо в Таврический дворец.

— Только воспользовавшись нуждой удалось сбежать, но с фуражкой пришлось расстаться.

Тут Турка вдруг стал на колени.

Тысяча-и-одна-ночные глаза его наполнились слезами, и по-восточному прикладывая руку то ко лбу себе, то к сердцу, он повинился, что на демонстрации сам он не был, а только слышал.

Я видел, тысяча-и-одна-ночная душа его рвется прямо под черный флаг —

* * *

—— я спросил: как же их хоронят?— А хоронят так: на нос мокрую тряпку, а едят они черный хлеб с молоком ——

IX

ЛЕНИН ПРИЕХАЛ

Разговор один слышишь, у всех одно:

— о Ленине.

Забыли Совет рабочих и солдатских депутатов, грозу и страх, забыли Чхеидзе, председателя Совета — все пропало —

— один Ленин.

— Ленин приехал, ну теперь начнется!

— Что-то будет: Ленин приехал!

«Ленинец» — вот что стало грозою и страхом —

— большевик.

В трамвае насторожились.

И не знаю, за что, а должно быть, вид у меня такой, ехал я тихо, а меня хотели вывести.

— Таких надо за шиворот тащить! — кричала какая-то дама.

Вот уж подлинно, у страха глаза велики.

— Если Ленин от Болотникова, Блейхман от атамана Хлопка! — сказал археолог Иван Александрович, переводя события современные на Смуту XVII века.

А сегодня наш швейцар заявил, что он тоже большевик:

— Мое социальное убеждение такое, что каждый должен помереть на своей собственной постели.

* * *

Мне надо было на Невский, вскочил я в трамвай и поехал.

И все ничего. Заглядывали с любопытством на волю: обгоняли трамвай броневики — солдаты с винтовками.

Но не верилось, чтобы произошло что-нибудь — февральской тревоги не было.

Возле Зимнего дворца трамвай остановился.

И я увидел тот Финляндский полк, который пугал меня в феврале перекатывающимися шариками — стрельбой неугомонной.

Вся власть Советам!
Без аннексий и контрибуций!
Да здравствует мир между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!

Плакаты-надписи несли высоко над головами — всем видно:

— Вот, подлецы, Ленина им надо!

— Началось! Причем Милюков?

— А вы читали, что сказал Милюков?

— Что ж он сказал?

— Война без конца.

— Не без конца, а до победного конца.

— Я не русский, но мне вчуже стыдно за Россию: что у вас делается!

— Вон — вон из вагона!

Поднялся шум: кричал и рабочий, кричал и господин, кричала и дама — одни заступались за иностранца-офицера, другие поддерживали рабочего.

— Уходите! Сейчас стрелять будут!

Милиционер вошел в вагон и кончил все споры.

Пришлось вылезать.

Демонстрация шла по Невскому — —

Вся власть Советам!
Без аннексий и контрибуций!
Да здравствует мир между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!

Часа через два, когда все окончилось и без всякой стрельбы, я возвращался домой.

Трамвай битком набит.

— Вино грабили солдаты!

— Это не может быть, солдаты?!

— Как же не солдаты, сама видела: родной племянник.

— Нет, так нельзя! — рабочий повернулся к солдатам,— Щегловитов сидит в Петропавловской крепости,

а Милюков с ним чай будет пить. А нам надо такого, чтобы со мной пил.

Вся власть Советам!
Без аннексий и контрибуций!
Да здравствует мир между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!

Много говорили и пугали.

Но у меня не было того чувства, чтобы совершилось что-нибудь, произошел бы сдвиг.

Что ж, долой Милюкова, а кого на место Милюкова — —?

— И как была война, так война и останется.

И опять начнется —опять Финляндский полк — опять «долой» — —

— Ленин возьмет верх, посмотрите! — сказала С. П.

Но этому никто не верил.

* * *

— — какая-то женщина обирает билетики: по билетику что хочу, то и спрошу.
«Кем я был?»
И сейчас же ответ мне готов:
«Родился в Скандинавии в 1561 году, а имя Сергей».

X

СТАЛЬ И КАМЕНЬ

Были у Веры Николаевны Фигнер.
Затевает она сборник «Гусляр».

Я уж раз ее видел на первом «скифском» собрании в январе у С. Д. Мстиславского.

Закал в ней особенный, как вылитая.

Или так: одни по душе какие-то рыхлые, как будто приросшие еще к вещам, и шаг их тяжелый, идут, будто выдираются из опута, другие же, как сталь,— холодной сферой окружены — и в этой стали бьется живая воля, и эта воля беспощадна.

Я чего-то всегда боюсь таких.

Или потому что сам-то, как кисель, и моя воля — не разлучная.

И, говоря, мне надо как-то слова расставлять, чтобы почувствовать, что слова мои проникают и через эту холодную сферу.

Как-то весной еще до войны в «Сиренско-Терещинковский» период жизни нашей провожал меня Блок и разговорились мы как раз о таком вот,— очень помню, на Троицком мосту, начиналась белая ночь.

— Не представляю себе, как вы можете разговаривать, например, с Брюсовым?

Блок это понял хорошо.

Но Веру Николаевну я больше слушал и старался отвечать по-человечески, а это было очень трудно, и выходило очень глупо.

Веру Николаевну я слушал и смотрел так, как на «живую» память.

Ведь с ней соединена целая история русской жизни — совсем недоступная моей душе сторона, выразившаяся для меня в имени — «первое марта».

Я это всегда представлял себе — «от убийства до казни» — как сквозь густой промозглый туман, по спине от зяби мурашки и хочется, чтобы было так, если бы можно было вдруг проснуться.

И не это, а неволя — Шлиссельбургская крепость — долгие одиночные годы смотрели на меня, и я не мог поверить,— такое терпение, такая крепь! — и верил.

Вера Николаевна предлагала нам на лето ехать к ней — в Казанскую губернию.

И я видел: деревенские вести тревожат ее — в деревне кавардак.

* * *

Узнал из газет, что приехал Савинков.

А сегодня днем на звонок отворяю дверь — Савинков!

Сколько лет не видались. В последний раз в 1906 году весной, перед Севастополем — — А все такой же, нет, еще каменнее, а глаза еще невиднее, совсем спрятались.

Разговорились о стихах — Борис Викторович стихи писать стал,— о поэтах, о Маяковском, о Кузмине.

А я все хотел спросить: помнит ли он, как еще в Вологде однажды я вот, как теперь, этот вопрос:

«Революция или чай пить?».

Понял ли он — двадцать лет прошло! — что меня тогда мучило?

В Вологде, где было так тесно, я чувствовал в себе, как и теперь, этот упор —

быть самим собой.

И я не спросил,— так стихами и кончили.

А с Савинковым мне легче говорить — или потому, что много переговорено за вологодскую жизнь?

А еще легче вспоминаю теперь — с Каляевым.

Помню навсегда, как Каляев цветов мне принес, и это тогда, как за «чай»-то мой поперечный очутился я и в тесноте, и совсем один.

А уж совсем мне легко с Розановым.

XI

И ЗАБОТ

Вешний Никола отдарил.

На Николин день по всей России прошел снежный ураган.

Приезжал Гржебин — он печатает мою книгу «Николины Притчи», в ней собраны русские легенды о Николе.

А Никола — это наш русский народный бог.

И до чего странно и дико — такую русскую книгу ни один русский издатель не принял — все отказали, и один-единственный не отказал Зиновий Исаевич.

Я смеялся:

— Еврей принял русского Николу, а русские отшвырнули своего Николу сапогом!

А Зиновий Исаевич раскладывал по столу, как камушки раскладывают, чехонинские картинки — тончайшие сплеты в буквенную Николину ризу.

— Зиновий Исаевич, и вас, и ваших детей Никола за это оградит, есть такой старинный апокриф.

— Ну, а как вам эта буква?

Гржебин, будто уральским камушком, играл чехонинской буквой, нарисованной беличьей кисточкой.

* * *

В доме у нас беда: захворала С.П.

И вот уж неделя в тревогах и заботах.

Смутно и больно.

Не дай Бог! и здоровому-то «без дела» трудно, а захвораешь — — в этом вихре-то беспощадном, ведь, все как ослепли.

* * *

Пошел посмотреть на Невский — «Заем свободы».

Бедно что-то очень и призывы незвучны.

Нет, слово «война» — пугало и даже свободой не скрасишь.

— Ишь, нарядились! — слышу из толпы голос.

И мне чего-то неловко за знакомых, которых я видел в процессиях, наряженных невесело.

Звонил Блок.

Говорили о «Новой Жизни», о Горьком.

— Горький правильно, только путанно,— сказал Блок.

На углу 15-й линии и Среднего агитатор — за кого не знаю, а выбирают в Городскую думу.

— Спирт без книжек, хлеб без очереди, сахар без карточек.

И до чего эти все партии зверски: у каждой только своя правда, а в других никакой, везде ложь.

И сколько партий, столько и правд, и сколько правд, столько и лжей.

И, как вот сейчас, идут выборы, и если всех послушать, и уж никакой правды не сыщешь; всякий все обещает и один другого лает.

А ничего не поделаешь: радоваться нечему, но и горевать не к чему —

Ведь это ж жизнь: кто кого? чья возьмет? — в этом все и удовольствие жизни.

Да, «без дела» беда.

Смотрел я на агитатора: живет, жив, счастливый человек.

— Спирт без книжек, хлеб без очереди, сахар без карточек.

* * *

Помню, когда началось, в каком я был волнении: ответственность, которую взял на себя русский народ, и на мне, ведь, легла тысячепудовая.

Что будет дальше, сумеют ли устроить свою жизнь — Россию! — столько дум, столько тревог.

Душа, казалось, выходит из тела — такое напряжение всех чувств.

Третий месяц революции.

И от напряженности вздвига всех чувств я как весь обнажен.

Совесть болит —

По-другому не знаю, как назвать мучительнейшее из чувств: все дурное, что сделал людям, до мелочей, до горьких нечаянных слов, все вспоминаю.

И жалко всех.

Вот уж никакой стали, никакого железа — весь мир, все вещи как слились со мной, прохожу через груды, отрываясь, протискиваюсь, и за мной тянется целый хвост, а к рукам от плеч и до пальцев тяготят тягчайшие крылья и сердце стучит, как тысяча сердец всего живого от человека до «бездушной» вещи.

И мне жалко всех.

* * *

Поздно вечером возвращался я домой по Среднему проспекту.

Сумерки белой ночи — фонари кое-где зажгли.

Шел я быстро, торопился домой.

По слепоте не раз натыкаясь на встречных, всматривался, чтобы быть осторожней.

И вдруг вижу: на меня прямо какая-то груда.

И наткнулся.

И ясно, как только могут вдруг близорукие, я все различил.

Замухрыстый солдатенка — шинель внакидку — и с ним, шинелью прикрывал он, девочка лет двенадцати.

Они переходили на ту сторону — к баням.

. . . .

Еще сумернее становилось, от редких фонарей слепее, еще чаще натыкался я, совсем плохо различал дорогу

Но как ясно я видел!

Я видел наваливающуюся на меня груду — плюгащий солдатенка и, совсем как стебель, девочка, прикрытая шинелью.

XII

ОТПУСК

Перед нашим отъездом в конце мая,— а мы решились ехать на лето в Берестовец — поехали к В. В. Розанову прощаться.

Сопровождал нас И. С. Соколов-Микитов: под его глазом вечером не так опасно.

Первое знакомство с Розановым в 1905 г. на Шпалерной, и вот теперь опять на Шпалерной, только не та, другая квартира, и, как оказалось, в последний раз.

Пошли мы к нему прощаться —такое время: уедешь, а вернешься и не застанешь, или уедешь и сам не вернешься, и не потому, чтобы не хотел —

Нехорошо, бегут из Петербурга,— началось это с год — побежали от страху: немцы придут! А теперь: революции страшно — надвигается голод.

Глупые! Разве можно убежать — от судьбы никуда не уйти.

Дома застали Василия Васильевича и Варвару Димитриевну.

А детей не было: уехали куда-то — пустое гнездо.

В. В. отдыхал, подождали, посидели с Варварой Димитриевной.

А скоро и вышел, и какой-то, точно после бани, чистый: это В. Д. ему сказала, чтобы не в халате, принарядился.

Очень озабоченный и игры этой не было розановской.

Конечно, злободневное сначала, без этого не обойдешься, и, конечно, по русскому обычаю, с осуждением — о правительстве само собой — «временное правительство».

В. В., как немногие, правильно произносил, на последнем ударяя: временнóе, а не временное, как языком чесали.

— Временное правительство под арестом.

Ведь, какое бы ни было правительство и самое ангельское, все равно будет оно всегда осуждаемое, все равно, какая бы ни была власть, а как власть — ярмо.

А человек в ярме — человек брыклив.

И только закоренелый раб и скот рад узде — ярму.

О временном правительстве, о псевдонимах, которые верховодят.

— Подпольная Россия на свет вышла.

И о народной темноте, и солдатской теми, и о Ленине — о пломбированном вагоне, и о дворце Кшесинской, и о даче Дурново, где засели анархисты.

Ну все, что говорилось в те, первые три, месяцы революции.

На этом политика кончилась.

В. В. показывал монеты — свое любимое, говорил и о египетской книге — свое заветное.

И о нездоровье — раньше никогда — прихварывать стал; склероз! — и о докторе Поггенполе, на которого вся надежда.

Пили чай, хозяйничала Варвара Димитриевна, как всегда, как и в 1905 г., хоть и не то — вот кто изболел за эти годы!

Чай примирил и успокоил.

И не будь нездоровья, В. В. пошел бы посмотреть — в 1905 году куда не ходил! — а теперь куда еще любопытней.

Я рассказал о вечере: устраивается на Острове такой с лозунгом танцовальный:

Будем сеять незасеянную землю!
подростки бесплатно,
дамы — 50 коп.

На минуту игра, как луч,— лукавый глаз.

Сколько б было разговору: семя! — семенная тайна! —

И опять погасло, глубокая забота.

— Мы теперь с тобой не нужны.

И сначала брыкливо, потом горько, а потом покорно:

— Не нужны.

И покорно, и тяжко, и убежденно, словно из-подо дна вышло, последнее — приговор и отпуск.

Варвара Димитриевна тоже очень беспокоится: стал В. В. прихварывать — все может случиться.

— Доктор говорит...

И как это несоединимо — человек всю свою жизнь о радости жизни — о семени жизни — о жизни —

— Доктор говорит, сосуды могут сразу лопнуть и конец.

Так и простились.

От Троицы-Сергия получили мы от Розанова Апокалипсис — несколько книжечек с надписью, но уж увидеться нам не пришлось.

* * *

Я долго все поминал:

«не нужен... мы с тобою не нужны».

Как! Розанов не нужен?

Теперь, в этой вскрути жизни, мечтавший всю жизнь о радости жизни?

Розанов или тысяча тысяч вертящихся палочек?

— Человек или стихия?

— Революция или чай пить?

А! безразлично! — стихии безразлично: вскрутит, попадешь — истопчет, сметет как не было.

Вскруть жизни — революция — — и благослови ты всю жизнь, все семена жизни, ты один в этой крути без защиты и тебе крышка.

Так Розанова и прикрыли.

«Розанов, собирающий окурки на улице!»

Что же еще прибавить — — разве для некурящих! — тут все лицо, и слепому ясно.

И прикрыли.

— А зачем,— скажут,— повернулся спиной, отверг революцию?

— Отвергать революцию — стихию — — как можно говорить, что вот ты отвергаешь грозу, не признаешь землетрясения, пожара или не принимаешь весну, зачатие?

И мне слышится голос отверженного и прикрытого, и этот голос не жалоба, не проклятие, голос человека о своем праве быть человеком:

— Одно хочу я, раз уж такая доля и я застигнут бурей, и я, беззащитный, брошенный среди беспощадной бури, я хочу под гром грозы и гремящие вихри, сам, как вихрь, наперекор —

прилетайте со всех стран!
вертящиеся, крутитесь, взлетайте
жгите, жгитесь
соединяйтесь!

— — я свободный — свободный с первой памяти моей, и легок, как птица в лете, потому что у меня нет ничего и не было никогда, только это вот — еще цела голова! — да слабые руки с крепкими упорными пальцами —

прилетайте!
соединяйтесь!

— я наперекор взвиву теснящихся вещей, с которыми срощен, как утробный, продираясь сквозь живую, бьющуюся живым сердцем толчею жизни, я хочу этой же самой жизни, через все ее тысячекратные громы под хлест и удары в отдар —

п р о к у к у р е к а т ь п е т у х о м

В ДЕРЕВНЕ

I

Судя по проектам и письменным распоряжениям, можно было бы ждать не такого.

Правда, всю дорогу — от Петербурга до Крут — в наше купе никто не вошел, но ехать под грозой с дубастаньем в окна и криками —

клюк-топ-дробь-мать

Думалось, уж лучше, пожалуй, и без всяких удобств, а попросту, как бывало, в 3-м классе, или совсем не ворошиться, а сидеть на Острове и ждать погоды.

На крыше — разбегавшиеся по домам солдаты, как клюватые птицы —

мать-дробь-топ-клюк

Когда в первые дни войны мы возвращались из Берлина в Петербург, дорога была такая — я боялся загадывать на завтра и только думал на сейчас, так и теперь, удаляясь за тридевять земель от Петербурга, нет, еще неуверенней —

клюк-топ-дробь-мать

И по пути я уж всеми глазами видел, что война сама собой кончилась, и нет такой человеческой силы повернуть назад, одна есть сила — «никакой войны!» — сила нечеловеческая — войнее всякой войны —

революция—

* * *

революция — пробуждение человека в
жестоком дне,
революция — суд человека над человеком,
революция — пожелания человека человеку.
Красна она не судом
— жестокая пора! —
красна озарением
— семенной весенний вихрь! —
пожеланиями человека человеку.
«Взорвать мир!» — «перестроить жизнь!» —
«спасти человечество!»
Никогда так ярко не горела звезда —
мечта человека
о свободном человеческом царстве
на земле,
Россия в семнадцатый год!
но и никогда и нигде на земле
так жестоко не гремел погром.

. . .

Полем было ехать хорошо, несмотря на ветер.
Птицы по-прежнему поют.
По-прежнему земля зеленеет.
Поле чистое — —

По дороге на селе собрание: агитатор — из пришвинской «тучи» — разъясняет собранию о буржуазии.

— Говорить надо не буржуа,— учит,— а буржуаз.

И в другом селе тоже, говорит петербургский, тут все петербургские «из тучи» об интеллигенции.

— Интеллигенция,— учит,— это ненормальное явление в природе. Интеллигенция нам не говорит правды. Интеллигенция, если при старом режиме и бывала откровенна, откровенность ее была продажной. Интеллигенция при катастрофическом столкновении классов должна погибнуть.

Едем дальше, третье село — и в третьем селе — в третьем селе солдат:

— Долой царя, да здравствует само-державие!

За войну отстроили новую каменную церковь.

Старая деревянная с колонками стоит — запустела. И старик священник помер. Новый на его место, но уж в новой церкви, в войну определился, молодой.

— Царская теличка!— ухмыльнулся кучер,— умора!

Поп был из молодых да ранний, и как пришла революция, очень испугался: первого ведь будут громить попа! Собрал он народ в церковь и все, что слышал: и быль и небыль, и о распутинских чудесах, и о подземном телефоне в Царском селе — из Берлина прямо в Петербург! — все вывел на чистую воду, а закончить решил Кшесинской — самое громкое имя, недаром в ее дворце Ленин заседал. А как сказать: «балерина?» — не поймут. Придумал: скажу «певичка». И сказал:

«Царская певичка, царь для которой дворец построил!»

И пошло гулять по селу:

— Царская т е л и ч к а, царь для которой дворец построил!

Проехали лавку — надпись все та же:

* * *

воспрещается лущить семечки
садиться на прилавок если много
людей без дела не надо входить
в лавку за непослушание будут
подвергаться административному
взысканию

* * *

Я встаю в 9 часов. Курю, записываю сны и прибираюсь. В 11—12 часов пью чай с хлебом. После чаю минут на десять выхожу в сад. И опять в комнату и занимаюсь до 3-х. В 3-и обед. После обеда ложусь с книгой и читаю до 5-ти. В 5-ь пью чай, и опять с полчаса читаю. Потом пересаживаюсь к окну и занимаюсь до половины восьмого. С половины восьмого до 8-и (не всякий день) гуляю в саду по дорожке от слив до амбара. И домой, зажигаю лампу и занимаюсь до 9-и. В 9-ь пью чай. После чаю читаю газеты или рисую, или опять пишу до 12-и.

Так все дни — и теперь, и когда случалось раньше попадать летом в деревню.

* * *

Когда я выхожу на улицу, вещи убегают от меня, и подымаются стены, где казалась мне одна ровь и гладь, какие-то лестницы без перил громоздятся навстречу, на которые (и без перил) а изволь лезть! — и мосты, которых я боюсь, и хоть на четвереньках, а должен перейти. И когда все это я проделаю и только что подойти к двери — дверь под носом захлопнется.

Как помню себя, я все делал, чтобы обходить улицу. И первая катастрофа в моей жизни произошла именно потому, что я вышел на улицу.

И это вовсе не уродство, а верное мое чутье к жизни: как помню себя, я всегда что-то выделывал над собой, обрекая себя на добровольное заточение — —

с правом выхода когда хочу.

Затвор стал стеной, моим рогом, моим жалом, моей иглой, моим копытом и моей стихией.

И вовсе не от нелюдимости и отчужденности от мира.

Я люблю все живое в мире — а ведь все живое, что светит, а светит все от крупных звезд и до мельчайшей песчинки и от большого слова до мимолетной мысли:

я люблю солнце, звезды, ветер, землю —

я люблю зарю и дождик, камни, деревья, траву и речь, и смех человека —

и горы, и море, и птиц, и зверей, и человека —

и все, к чему прикоснулась рука человека,— от искусства человека.

Нет, вовсе не потому, как крот, сижу я в норе и, вздрагивая, выхожу на волю.

Без кротовой норы — без моего затвора я еж без игл, конь без копыта, петух без шпор.

Вещи, которые убегают от меня там, тут сами приходят ко мне, но какие странные! — обыкновенные же долго не держатся: посуда выскальзывает из рук, и сколько я этого добра перебил от лампы до кувшина и от банки с вареньем до цветочной вазы! — нет, не такие, а сучки какие-то, палочки, как рожи, и рожицы, как палочки, зайцы, мыши, пауки и ни на что не похожее, вот что само приходит.

Я помню одного глиняного конька-свистульку, его я дарил ребятишкам — дети всегда смотрели на эти ни на что не похожие вещи верным глазом, как на живое,— я дарил конька, он возвращался ко мне.

Когда я иду по улице, а передо мной, в вихре свертываясь, несутся прочь от меня вещи и улетают, я иногда с ужасом думаю, а что как вдруг все они станут! и я, конечно, крепко ударюсь и расшибу себе лоб!

И также в моем затворе эта мысль вдруг приходит и я настораживаюсь: а что как вещи, которые бегут от меня, хлынут оттуда ко мне и, конечно, задавят?

И эта мысль, нет, не мысль, смутное чувство такой мысли держит меня в постоянном напряжении.

Я иду быстро, но очень бережно, как большие звери, а перехожу на другую сторону, как заяц, кругами.

И от каждого резкого или случайного звука сердце у меня стучит, как птичье.

И я не могу гулять — как это принято среди людей, и среди рыб, и среди зверей — я только могу идти зачем-нибудь, чтобы как можно скорее забиться в свою нору, откуда я могу, когда хочу, тогда и выйду.

В тюрьме — в прошлом моем — я не нуждался ни в какой прогулке и мог бы не выходить месяцами из ка-

меры, в тюрьме меня тяготило не это, я мог бы без жалобы высидеть годы, меня мучило насилие над моей волей, принуждение, я не мог, когда хочу, выйти.

В тюрьме, к моему счастью, я попадал всегда в одиночку, и всего несколько раз загоняли меня в общую, а это то же для меня, что на улицу — в стихию грозную и беспощадную.

На людях — так скажу — я пропал бы.

На миру — и так скажу — потерялся б.

И свидетельство мое о всеобщем восстании в величайший год русской жизни есть свидетельство так приспособившегося к жизни, а иначе и невозможно, что как раз самое кипучее — события великих дней оказались закрыты для глаз, и осталось одно — дуновение, отсвет, который выражается в снах, да случайно западавшее слово в неоглушенное шумом ухо, да обрывки события, подсмотреннего глазом, для которого ничего не примелькалось.

И суд мой есть суд тоже человека, только забившегося в нору, для непрестанной духовной работы, с сердцем — почему не сказать? — птицы, вздрагивающем при каждом уличном стуке и стучащем ответно со стуком сердца всей страды мира.

II

— — пришел Пришвин на себя не похож расстроенный: хохол взбит, из носу волос, из ушей волос.
«Я каменный мост проглотил!» — сказал раздельно не своим голосом, зевнул и пропал.

* * *

В селе Гребенникове во время молебна один крестьянин разбил икону Николы. Крестьяне постановили удалить его на поселение и доставили в тюрьму. Уездный комитет вынес постановление: «Гриценко, разбивший икону, должен умереть голодной смертью!» Постановление приведено в исполнение.

* * *

Слушаю пение и как-то не верится: все врозь — и не замечают. А может, это-то «врозь» и есть настоящее?

Бараны прошли — пыль, как дым,—

по у-ли-це мо-сто-вой

III

— — сели обедать, Маша объясняет, почему она запоздала с обедом:

«Ничего еще не готово, только цыплята!»

Я запихал себе в рот целого цыпленка, давлюсь, рукой помогаю, а никак не проглочу.

Вижу — Андрей Белый: его подвязывают к трапеции и он кружится, как мельница, совсем голый — по телу редкие волосики вроде куриных, когда курицу ощиплют.

И я бегу из «Рядов» — лавки заперты — а сзади пожар, около нашего дома горит!

«Стоило мне,— говорю,— только выйти, как беда случилась, и это постоянно!»

IV

— — две московские церкви стоят рядушком: одна — Троица с огромным иконостасом — Называется «Улей».

А другая:

«Духовская».

В церкви идет служба.

Стал и я подпевать. И Чехонин тоже поет. (Чехонин только так называется Чехонин, на самом же деле — художник Реми.) И попал я в длинную прихожую: мне обязательно надо видеть Познера. Слышу разговор: всякий старается показать, что он есть самый из всех умный и все знает. Догадываюсь, что это Редакция.

И очутился я в саду у пруда около чудесной яблони.

V

— — сидит на камушке Андрей Белый: на нем германская шапка без козырька и солдатская шинель с эполетами; эполеты — это два перекрещивающихся шнурка с маленькими черными орлами на конце, под орлами красные лоскутики, орлы свешиваются с плеч.
И не в 9-й он армии, а в 8-ой офицером. Нос необыкновенно заостренный, как у Гоголя, а смеется, как Шишков.
«Что же ты теперь делаешь?»
«Солдат кормлю!» — и улыбается, как Шишков.
«Ишь, ведь,— думаю,— как: Андрей Белый поваром сделался!»
Входим к П. Е. Щеголеву.
Там В. А. Жданов: он такой же, как в Вологде, только совсем седой.
Андрей Белый здоровается.
«Андрей Серый»,— рекомендуется Андрей Белый.
«Владимир Анатольевич Жданов».
И они целуются.
И я поцеловался.
И когда целовался, подумал:
«При встрече после долгих лет надо целоваться подольше!»
«Как вы изменились,— говорит Жданов,— как напоминаете вы мне доктора Аусгусса и тут в щеках: Dr. Ausquss!— А это кто?»
«А это,— говорю,— Любовь Николаевна, сестра Надежды Николаевны, вашей жены».
И думаю:
«Что же это он не признает, неужели спутал?»
«Аусгусс! Аусгусс! — Жданов качает головой, посматривая на меня с удивлением,— какое сходство!»

. . . .

Мы в длинной комнате, у нас такой нет, и я знаю что это не наша квартира.
Входит В. В. Розанов.

«Покажи мне кого-нибудь из 10-й армии!» —
«Да кого ж я вам покажу, Василий Васильевич?» —
«Ну, скорей, скорей. Дело важное, я здесь и напишу».
А я думаю:
«Кого ж мне показать: Виктора (моего брата) — ничего от него не добьешься, Соколова-Микитова — слова не выжмешь!» А Розанов очень волнуется, не присядет, а семенит так нетерпеливо.
И я понял: что-то очень важное происходит.

. . . .

Мы занимаем огромную квартиру и живем не одни. У нас есть верх, куда ведет лестница из коридора, и внизу кухня. Квартира наша напоминает Версальский дворец.
Я говорю швейцару:
«Зачем зря горит электричество?»
А он мне тихонько:
«Димитрий Петрович Семенов-Тяньшанский мне сказал, чтоб я жег побольше, а то Сергей Александрович Есенин и так ничего не платит».
«Да позвольте,— говорю,— ведь квартира-то моя, не Есенина!»
И подымаюсь наверх.
Тут какая-то дама, должно быть, это и есть сама Frau Nelke и с ней Леонид Добронравов.
«Вам Добронравов больше всех из писателей нравится?»
«Да-да,— я не нахожу, что ответить,— да, он хорошо поет».
И подаю ноты: написаны рукой и красным, и черным.
«Пожалуйста, обратите внимание на это, это Андрей Белый с войны привез».
Добронравов поправил пенсне:
«Это марш 13-го года».
Сели пить чай. С. П. разливает чай.
Вдруг мне показалось, что с ней что-то плохо, я бросился вниз.

Лестница и коридор, как в бане, с потолка течет.
Я в комнату — вроде как чуланчик.
И вижу, Лев Шестов сидит у стола.
«Вот,— думаю,— неожиданно: вернулся так рано!»
«Иди,— говорю,— наверх, там дамы: Добронравов...»
А он безнадежно:
«Давно этим не занимаюсь!»
И пошел наверх.
А я на улицу. Перешел на ту сторону.
Там С. Я. Осипов живет.
С. Я. Осипов в матросском, а поверх золотая венгерка с красными шнурами, а сзади торчит препорядочный хвост, должно быть, от барсука отрезан. С. Я. Осипов согласен, он пойдет со мной, только я должен наперед телефон исправить.
«Коробка испортилась, которая на стене висит».
Полез я коробку прочищать и снял крышку, продул, а надеть не могу.
А меня торопят.
Я так и сяк —
«Да скорей же!»
Нет, ничего не выходит.

VI

— — решаю купить себе всяких сластей: «продажи больше не будет, лавку закроют через пять минут!» Я заторопился. И мне отпускают, да только очень медленно; медленно взвешивают: в сахарной пудре, как крупинки, шоколад. Боюсь, не успеют. Продавщица на А. Д. Радлову похожа, а помогает ей Бруно Майзельс — sanftester Bruno! — так его все называют, кротчайшим! Пошел дождь. В лавку набирается народ.
И вдруг вижу — и боюсь сказать себе — доктор Нюренберг!
Весь он, как в волшебном фонаре, весь ис-

тонченный, почти прозрачный и совсем молодой: усы не подстрижены, а на самом деле легкой черной чертой, и целы все зубы. На нем легкий сиреневатый пиджак и шелковый тончайший галстук.

Он прямо подходит ко мне и, улыбаясь, трясет мне руку. И я вижу по его взгляду: он спрашивает, узнал ли я его, и сам же без слов утверждает, что это он.

«С. П. — говорю я,— Арон Давидович!»

С. П. о чем-то говорит с ним. Он очень оживлен.

Но сразу видно, что он нездешний.

«Как это,— думаю,— никто не замечает!»

Срок кончился: сейчас запрут лавку.

Мне завернули небольшой пакет.

«6 рублей,— говорит Анна Димитриевна,— 4 за товар и 2 за услуги: Бруне рубль и мне».

«Какие обдиралы!»— подумал я и вынимаю деньги.

«Ничего подобного! — Анна Димитриевна швырнула мой пакет,— вот если бы вам дали денег...»

Втроем мы вышли из лавки.

Идем по улице, потом по дорожке — будто в Париже в Булонском лесу, а видно море.

«Мне пора!» — сказал Нюренберг.

«Почему?»

Но я это не сказал, он и так понял и только пожал плечами. И стал вдруг сурьезный: видно, ему хотелось бы сказать, да он не мог. И стал прощаться. С жалостью смотрел он в глаза и долго тряс руку, как Савинков.

И я заметил, как он старается, чтобы рука моя не прикоснулась к нему, а делает это он так потому (он передал это мне без слов взглядом) —

— потому что, прикоснувшись, я почувствую скелет мертвеца, а это очень страшно!

. . . .

Пасмурный любимый день.

В одном из нюренбергских соборов на серой

каменной колонне подвешена картина: карта земли — вся война. Вся война нарисована кровавой до просачивания красной и черной дымящейся краской. А около Вены небольшой медальон, тусклый с маленькими фигурками,— рисовал Кустодиев.

Ааге Маделунг, датский писатель, говорит мне:

«Стоит вам вписать свое имя в этот кружок, и война кончится!»

И вижу, Горький: переминаясь, поет и что-то очень веселое поет, а слова как «со святыми упокой».

* * *

Сидит Буц, головой трясет, язык высунул —

На солнце нашла туча и, как снежинки, полетели лепестки на зеленый двор.

Высоко летают коромысла.

Юзеф косу точит, кукует кукушка.

Буц улегся.

И сторожевой трещеткой затрещал аист.

Больше солнце не выйдет, и закат будет туманный.

VII

— — я должен был нарисовать декорацию. И начал ее делать: я нарисовал огромную обезьяну. И тут я увидел: лишний кусок посередке в бок пошел. Тогда я от него вниз еще нарисовал обезьяну. И получились две головы обезьяньих.

«Вот,— думаю,— какая ерунда вышла!»

«Да лучшей и не надо! — говорит Философ,— прямо в Париж к Дягилеву».

VIII

Сегодня ветерок подул и летит — акация! — последние лепестки.

IX

Лег поздно из-за газеты, и не мог заснуть.

Ночью стонал кто-то, и мне казалось, что это С. П. И я очень затревожился, и все лежал и курил, готовый, если вдруг что, подняться.

И когда я лежал, незаметно уходила ночь, и рассвет выражался в колебании, точно

дом — корабль,
а ночь — море.

Потом я увидел шторы и слышу первые клики птиц и шаги.

* * *

— — умер отец И. А. Рязановского, его несли в цинковом гробу; гроб закрыт крышкой, и только голова вне гроба поставлена вперед, как на саркофагах: седая голова с длинной бородой.

Я это видел из кондитерской, где мне сначала не хотели отпускать печенье, но потом по записке И. А. Рязановского выдали. Я взял еще граненую бутылку водки.

«Для гостей пригодится!»

И увидел Святополка-Мирского: он сидит у моего брата Николая в Большом Афанасиевском переулке, один, за большим столом и клюет носом.

«Дмитрий Петрович! — бужу я его,— как вы сюда попали?»

А он точно в рупор:

«Я комендант Николаевской дороги, сижу на дежурстве, билетов нет».

X

— — переезжаем на новую квартиру.

Сначала я поселился в какой-то общей комнате «больничной», там стоят «койки»: Б. В. Савинкова, Walpol'я и Williams'а. Потом я перенес свою кровать куда-то в противо-

положный конец коридора. Тут ушла у нас прислуга — я ей и рису дал, просил остаться, но она ушла. И прислуживает нам наша старая нянька покойница Прасковья, и служит она нам, невидима для нас. И опять мне надо тащить мою кровать, и теперь уж в отдельную комнату. Оказывается, мы будем жить в комнате, соседней с Замятиным, и платить будем 20 руб. в месяц.

Входит Замятин: он только что вернулся из Англии, он маленького роста, в цилиндре и совсем старый, а губы как накрашены ярко-лиловым; он запер на висячий замок свою комнату, прощается.

«Куда же это вы?»

«По нужде,— и, сняв цилиндр, раскланялся,— извините!»

Наша комната на 6-м этаже, она в виде театральной ложи, но без барьера и пол очень шаткий, то есть попросту легкая настилка, которая выходит, как крыша, над партером, и каждую минуту от неосторожного движения или просто под нашей тяжестью крыша провалится, и мы полетим в партер.

Вещи уж летят: упал комод, стол, стулья — —

Но я хочу оправдать наше такое опасное житье:

«У нас,— говорю,— два выхода!»

И узнаю, что министром внутренних дел вместо Авксентьева назначен Сергей Порфирьевич Постников.

«Потому что он единственный имеет власть!»

При этом подразумевается, что власть вовсе не дается назначением — ведь любое и самое высокое место можно унизить! — власть — это личное качество.

«И с такой прирожденной властью именно и есть Сергей Порфирьевич Постников!»

Так уверяет меня М. В. Добужинский: он тоже с нами на крыше, и в руках у него кисточка, которой он дирижирует.

XI

Много мне сегодня снилось, но память о сне спугнули.

Писательское ремесло это ужасно какая недотрога: улитка, ежик, которого никак не погладишь.

Пустяки последние, слово, движение могут сдуть всю воздушную постройку.

И не знаю, у всех ли это так, но у меня — сущее несчастье.

И вот пустяками все разрушено до беспамятства. Одно помню, комар зудел, точно плакал.

* * *

Когда обвиняют в с е х только в разбое, только в корысти, хочется наперекор обелять даже и ту тьму, которая есть.

Обвинители обыкновенно обвиняют сами-то из-за своей корысти.

* * *

— Чего вы траву мнете?
— Нам теперь права даны.
— Ведь он же дерево!
— Из-за вас деревом сделался.

XII

— — ехал я с Гординым в лодке, лодка закрыта крышкой, крышка, как опрокинутая лодка. На одном краю стояли мы, и очень было страшно: вот-вот лодка перекувырнется. Гордин рассказывал, как он пишет романы. Ну, все как в жизни: «Ночью я занимаюсь романами, а днем пишу. А потому мои романы так живы, и особенно последний: «Любовь к трем апельсинам». Тут появился И. П. Пономарьков регент и Петр Прокопов и заспорили друг с другом, долго спорили, и все о философии, как всегда, а потом, как всегда, запели:
«Был у Христа младенца сад»— Прокопов — тонко, Гордин — потолще, а сам Пономарь-

ков — толстым голосом. И, как всегда, повторили песню раз десять.

Очень было страшно.

И вдруг очутились мы в автомобиле на Каменноостровском, слезли около трамвая, и тут автомобиль заняли кондуктора, и мы остались с носом.

Было, должно быть, очень холодно. Гордин попросил старуху-торговку пальто себе — тут и ларек ее — и старуха дала ему какое-то пожелтевшее драное и стала упрекать.

«Чего захотел,— ворчала старуха,— мало ему печки, затопи улицу!»

И я увидел, что Гордин в женском платье, и никто не подозревает, что он наряжен.

А старуха такое понесла, не дай Бог. Гордин в слезы.

«Чего ж,— думаю,— не возразить!»

«Ничего,— отвечал,— я напишу об этом: я напишу «Любовь к трем апельсинам» и поступлю в «женский батальон смерти».

Все по каким-то улицам ходил я. В дом вхожу, на самый на верх: тут Кузмин М. А. и Юркун, и Зноско-Боровский, и Сухотин, и Святополк-Мирский, и Михаил Струве. И я очутился в Москве в Сыромятниках. Все лежат в зале и Блок.

«Александр Александрович,— говорю,— Михаила-то Ивановича министром иностранных дел назначили!»

«Господи, что же это такое,— Блок очень встревожился,— по делу Бейлиса?»

Я разыскиваю в клинике и сам не знаю кого. В сыпном отделении прохожу коридором: все служители, как и больные, в повязках, и даже городовой.

Очень было страшно.

А когда выбрался, встречаю на Литейном мосту Вл. Вас. Гиппиуса, здороваюсь, и в эту минуту Гиппиус сливается с Курицыным, а Курицын превращается в Кондурушкиных. И все вдруг истлело.

* * *

Как успокаивает, когда в теплый летний день слышишь, как пилят дрова.

XIII

— — жду очереди сниматься, много нас ждет, и П. Е. Щеголев. А снимает Д. С. Мережковский, и снимает очень медленно: какой же Мережковский фотограф!

Наконец и моя очередь: меня усаживают в кресло, а сзади садится Лундберг — всех так и снимают на фоне Лундберга. И бежим мы куда-то и на каком-то мосту неизвестно зачем, так по пути, отсек я голову Тинякову, бросил голову и опять бегу, стираю кровь с пальцев.

Надо ехать в Ессентуки,— С. П. приедет потом,— нас четверо: Андрей Белый, Владимир Диксон, К. А. Сомов. Багажа у нас никакого нет, только ноты. Мы будем играть коротенькие пьесы с музыкой, пением и танцами. Осталось мало времени, а собираемся мы из Сыромятников.

Я хожу по огороду около Андрониева монастыря, на грядах кучи яблок — «черное яблоко».

«Чернов собрал из ломаного железа!»

И вдруг откуда ни возьмись идет Тиняков —

* * *

Когда свинья ест, она хвостиком помахивает.

XIV

— — сегодня мое рожденье: на окне у Маяковского на стекле пальцем написано. А окно выходит в сад. Много собралось народу, кого только нет! И едем мы в трамвае — полным полно, висят! На мосту трамвай сворачивает с пути и идет около самого краю, перил нет,

того и гляди полетим в воду. Я-то на площадке, выскочу, а вот С. П. в вагоне —
и это меня мучает, и то еще, что не пригласил Шкловского: нет его ни в вагоне, ни на площадке.
«Андрей Белый хвостик себе переломил,— говорит Ольга Елисеевна,— и теперь он как ангел, in eine hohere Region hinaufgestiegen!»
И вот я один. Сумрак, дождик. Едва различаю дорогу.
Кто-то похожий на Аркадия Зонова тихо:
«А я останусь еще на день, с Илиодором поговорю».
И вижу подходит монах.
Должно быть это и есть Илиодор! — стараюсь рассмотреть лицо, а очень темно.
«Может, и мне остаться?»
И иду дальше.
Два монаха навстречу такие же, как тот, Илиодоры.
«Нет,— говорит один,— выход есть».

XV

— — речь шла о клятве и присяге; в нарушении клятвы и заключалась вся суть событий — вся революция.
И я попал в какое-то училище и там учат гимнастике: учит Балтрушайтис, а распоряжается Брюсов.
И меня заставили прыгать через «кобылу». Мне очень трудно, а прыгаю.
И вдруг появляется Вячеслав Иванов и торжественно объявляет:
«Урок кончился! Сейчас начнут делать прививку комариную!»

* * *

Никакие и самые справедливейшие учреждения, и самый правильный строй жизни не изменяют человека, если что-то не изменится в его душе — не раскроется душа и искра Божия не взблеснет в ней.

А если искра Божия взблеснет в душе человеческой, не надо и головы ломать ни о справедливейших учреждениях, ни о правильном строе жизни, потому что с раскрытой душой само собой не может быть среди людей несправедливости и неправильности.

XVI

— — купил я себе ботинки очень дорогие — за 100 рублей и еще за 150 на Невском в табачном магазине у Баннова. Шел я к Александро-Невской Лавре с Ф. И. Щеколдиным. Строят дом, как игрушечный, раскрашивает Владимир Бурлюк. Здесь же сидит и Петров-Водкин и с ним Клопотовский: Клопотовский весь татуирован. «Художник должен поменьше рассуждать, тогда и выйдет картина!» — сказал Петров-Водкин и ткнул пальцем в Клопотовского. Идем дальше —

Ф. И. Щеколдину надо к Нарвским воротам. А я совсем запутался и не знаю, как это ему показать.

«Да вон налево!» — говорит хозяйка Пришвина Копец: вместо брошки у нее «обезьяний знак», а на руке пришвинский сюртук для продажи.

И я соображаю, что вышли мы к Покрову — Покровский рынок!

Где-то за городом иду — места незнакомые — редкие постройки, памятники, надпись: «Строил художник Лев Бруни». Много цветов. И я повернул назад.

Навстречу католическая процессия — одни маленькие девочки. Поют «Марсельезу» по-французски.

«Зачем же это они поют такое?»

«Это святая песня!» — говорят мне.

И я вхожу в прихожую и прямо на зеркало. По соседству в открытую комнату — я вижу это в зеркало — входит В. Ф. Комиссаржевская с мужем: муж ее инженер.

Оба говорят мне, чтобы я пришел к ним непременно.

И я попадаю на дачу Дурново.
У меня в руках рукопись: «Лирическая проза» — воззвание, которое написал я для К. Ф. Залита. Залит сидит у стола и чистит, как картошку, ручные бомбы.
«Это воззвание,— говорю,— можно напечатать через мужа Комиссаржевской и расклеить на Васильевском острове!»
«С добрым утречком! — отзывается Залит и, не подымая головы, продолжает работу,— Bleichmann ist schon gestorben!» (Блейшман уже умер.)
Танцуют.
«В такое время танцуют!»
И говорю громко:
«Ведь это весна!»
Среди танцующих — И. Гюнтер, Шкловский, Ховин, Пуни, Пунин и Богуславская.
А играет М. В. Сабашникова.
«Слышу ваш голос,— говорит Комиссаржевская,— и думаю: что же это вы не заходите к нам!»
Я оборачиваюсь и вспоминаю рукопись: «Лирическая проза».
И вижу в зеркале: И. А. Рязановский в пожарной каске верхом с портфелем едет на Выборгскую сторону в «Кресты».

XVII

— — угощаю И. А. Рязановского яблочным пирожным: на сковородке прямо ножом целые поджаристые круги снимаю.
Слышу, наверху стучат.
Иван Александрович испугался: кто может стучать?
Тихонечко на цыпочках пошли мы в кухню — там плотники
работали на кухне.
«Клим!» — покликал я.
Но никто не ответил.
«Климушка!» — пропищал как-то заискивающе И. А.

Кто-то отозвался:
«Готово,— и опять,— забираем!»
«Что?» — у И. А. дрожали коленки.
Да, это, конечно, был Клим.
И мы пошли наверх.
«Я говорил, что Клим!» — И. А. покраснел весь: страх его прошел.
Без пиджака, подпрыгивая, шел он сзади.
Оказывается, лопнул водопровод и вот Клим заколачивал стену.
От лестницы по правую руку стена вся в картинах. Некоторые пришлось опустить и внизу их закрыли бочкой.
«Ольга Михайловна Альтшулер сказала, чтобы эти яблоки сохранить!» — показал Клим на покосившуюся картину, на которой были нарисованы какие-то собачьи хвосты в крапиве! Кроме Клима со стеной работали еще три плотника. Клим что-то рассказывал.
«А главное произойдет в пятницу!» — сказал Клим и, поплевав себе на руки, ударил топором о стену.
И. А. присел, и из него вдруг пошел дым душный и едкий — А я очутился в магазине.
Продавщица Ольга Михайловна: одна нога утиная, другая куриная. А помогает ей Е. С. Пинес. Весь магазин завален яблоками. На стене надпись: «Не для продажи».
В магазин входит мальчик.
«Glasspapier!» — говорит он.
О. М. завертывает что-то, а Пинес подает счет.
Это большой лист с картинкой: нарисованы куры, а подписано — «Вся власть Советам». Первая цифра — 1 р. 60 к. и затем колонкой мелко, не разобрать.
И выходит так: старые ботинки не починили, а сделали новые и эти новые продали, и теперь возвращают мне непочиненные старые, и я же должен заплатить и за новые проданные, и за починку.
Я положил счет в карман:
«Я покажу это в Совете».—
«Ради Бога! не делайте!» —

«Нет, я это сделаю».
И снял я ботинки, швырнул в яблоки и в одних чулках вышел.
О. М. догоняет меня — одна нога утиная, другая куриная,— схватилась за руку:
«Не ходите!»
И вижу: очень взволнована.
«Не ходите! — просит,— там озеро, такая глубь, одни раки плавают».
А я никак не пойму: куда не ходить, какое озеро, какие раки?
И вдруг вспоминаю: «Glasspapier!»— и говорю: «Что же это Ефим Семенович давно яблоками торгует?».
«Какими яблоками?»
И вдруг, отпрыгнув, стала на кочку — одна нога утиная, другая куриная.

. . . .

В Москве в Успенском соборе стою на галерее. Тут же и Пришвин: Пришвин самовар ставит — углей нет, стружками. Иду вниз.
«Снимите шапку!» — говорит кто-то.
И я вижу, все в шапках и я в шапке.
Снял я скорее шапку, пробираюсь через народ к середке.
А. Г. Горнфельд у решетки с папиросой.
«С папиросой нельзя в церкви!» — говорит Горнфельд и мне так показывает, словно б я курил, а он ни при чем.
У мощей Ермогена С. Ф. Платонов и с ним Д. А. Левин.
Кончают молебен.
И мы выходим втроем.
Около церкви «Двенадцати апостолов» странник раздает книжки. И на одной книжке он надписал что-то. И подает Д. А. Левину. И тут я догадался, что не Левин это, а Левиным замаскирована какая-то преследуемая великая княгиня, и оттого все лицо ее краской измазано под Левина. У колокольни Ивана Великого садятся обедать. Я отказываюсь. С. Ф. Платонов благодарит меня за отказ и подви-

гает себе большую миску со столбцами XVII века: они как макароны в сухариках.
«Покажите,— говорю Левину,— книжку мне с надписью».
«Хорошо, после дождика»,— и смеется, лицо накрашенное.

. . . .

В Успенском Соборе стоим: много народу.
В Левине узнали, но не показывают виду, только смеются.
«Мне нужно к М. М. Исаеву»,— говорит мне Левин.
«Он добрый человек».—
«Ну, нет, я у него в кухарках служила!»

* * *

По постановлению татарских и лезгинских комитетов в городе Закатале вдовцы и вдовы, имеющие детей и внуков, обязаны вступить в брак.

Три вдовы, отказавшиеся выйти замуж, заключены в хлев и будут содержаться в хлеву, пока не согласятся на брак.

XVIII

— — К. А. Федин страшно растерянный.
К П. Е. Щеголеву взволнованно:
«Зачем этих дураков позвали?» —
«Да мы сейчас партию с ними устроим!»
И раскладывают ломберный столик —
В вагоне тесно и неудобно. Еду я, неизвестно куда, и зачем, не знаю,— знаю, долго мне ехать.
К. А. Федин разложил картинки:
«Это — вдоль и поперек». —
«А это — сзади наперед».—
«А это — вверх и вниз».
Одни палочки, а рисовал Луначарский.
«Луначарского,— говорит Федин,— в Городскую думу выбрали; три миллиона мужского

населения, не считая переходного возраста, женщин и детей».

«А Павла Елисеевича,— говорю,— никуда еще не выбрали?»

«А это —» — Федин развернул еще картинку. Входит старший дворник Антипов Иван Антипович.

«Вы дрова брали?» — говорит мне.

«Нет,— говорю,— не брал».

«А то, может, брали? Да я так спросил насчет билетиков».

«У меня и книжки-то нет! да и зачем же я буду скрывать, что вы!»

«Интеллигенция,— говорит дворник,— интеллигенция против».

Тут какая-то Маша, должно быть от уполномоченного Семенова, показывает мне на стол. А на столе нарисована рожа и всякие крендели выведены не то иодом, не то тем желтым, чем письма мазали, цензуруя.

«Это дворник,— говорит Маша,— дворник, как придет с дровами, так рисовать».

И входит Бабушка (Брешковская) и с ней М. И. Терещенко:

Терещенко — желтый такой весь...

«Вот посмотрите,— Прокофьев развернул ноты,— мое сочинение: «Бабушкины сказки!»

* * *

Пасмурно и свежо, большой ветер.

Ничего не писалось за весь день, только рисовал.

Оттого, что был дождь, мальчик не пойдет за газетами, так и не узнаем, чем окончилась воскресная демонстрация в Петербурге.

Тучи идут валами —

А птицы все-таки поют, и куковала кукушка.

Все утро по двору конь ходит — еще бы, сколько за все эти жаркие дни всяких мух перекусало!

Последнюю неделю я совсем не выхожу из комнаты.

Смотрю в окно — —

Ничего мне не хочется: ни писать, ни читать.

XIX

— — я залез на галерею высочайшего театра: «концерт С. В. Рахманинова».

М. А. Дьяконов говорил мне — «три миллиона ступенек, не считая приступок и заходов» — а я насчитал одних приступок до миллиона.

Места надо занимать с налету, как в игре «в свои соседи».

Я бросился, куда попало, и наскочил на Шаляпина.

«Все предки мои до двенадцатого колена носили фамилию Шаляпины, а Дьяконов опровергает».—

«Что ж говорит Дьяконов?» —

«Да ничего не говорит».

Вступился Горький:

«В нашем роду,— сказал А. М.,— с незапамятных времен всегда были Пешковы и никаких Горьких. Дело это сухопутное и невооруженным глазом не разобрать».

Но тут П. Е. Щеголев деликатно согнал нас с места и, усевшись поудобнее, развернул газету.

А я попал в Таганку в Глотов переулок. Я должен ходить за царскими детьми и караулить: их пятеро, и все они маленькие, лет так семь-восемь, в белом —

«Плохо,— думаю,— дело, какой же я караульщик!»

А Ида говорит:

«Ничего, мы справимся. У А. А. Архангельского сбоку три ноздри выросло».

XX

— — пришел в театр на оперу и вижу, сидит в первом ряду П. П. Сувчинский, грибы чистит, поганки.

Я с ним поздоровался и сел рядом.

«Сам собирал,— сказал Сувчинский,— по новому способу, в закрытом помещении».

И прохожу я с Шаляпиным к самой рампе.

Поет какая-то певица — сдавленный голос, а сама улыбается.
Вышла другая —
Шаляпин вынул тетрадку и пишет ноты: красным и черным.
«По новому способу,— говорит он,— новая опера: «Рахат-лукум».
И напевает.
Сергей (Ремизов) рассказывает о новой московской квартире: там он и поместит нас.
Мы взяли билеты и поехали на вокзал.
Дорогой заехали в ресторан. Там и актриса — сдавленный голос.
«Нам надо торопиться на поезд».
И прощаюсь.
Актриса поцеловала мне руку.
«Не вытирайте, пожалуйста!»
И мы попали в квартиру доктора Срезневского.
Приемная в виде фонаря, как в редакции «Новой Жизни», а в оконную раму вделан образ — «Глава Иоанна Предтечи», а под образом сидит художник Егор Нарбут и курит трубку.
Я зачем-то раздеваюсь.
А Нарбут Владимир торопит.
И я опять оделся.
«Выехать очень трудно,— говорит он,— а главное, наш поезд мог давно уж уйти».
Мы идем пешком и не уверены, куда повернуть. И вдруг видим зеленый забор.
«Святая София,— говорит художник Нарбут,— идем правильно».
Мы очень обрадовались, перешли по рельсам со спуска в гору и идем насыпью.
И вот откуда ни взялся мальчишка-вороватый, жалуется, на меня показывает.
«Этот,— показывает на меня,— бросил коробку с порошком!»
И вижу, народ собирается.
А мальчишка вертится, жалуется, подстрекает:
«Коробку с порошком!»
«Да это,— говорю,— желтая коробка из-под

банновских папирос, в ней просыпанный зубной порошок и карлсбадская соль».
Не верят.
И все тесней окружают меня.
«Коробку с порошком!» — и уж не вертится, а кружится, как волчок, мальчишка.
«Хиба!»— сказал Нарбут.
И поезд тронулся.

* * *

После дневного дождя, когда ветер расчистил полоску на закате и ожили птицы, в первый раз затрубили жабы на болоте.

Когда я на ночь тушу свет, начинается звон — точно где-то далеко в набат бьют: звонит комар.

XXI

— — мы были в Иерусалиме, потом на Афоне.
И решили дома отслужить всенощную. Из Иерусалима у нас свечи, а с Афона забыли.
В коридоре стоит Распятие и перед ним красная лампадка, я сам зажег эту лампадку.
Ждем Верховских со всеми детьми.
Борис Пастернак в углу сети чинит.
Думаю, тесно будет!
И очутился в Греции. Там война. И вижу Елизавету Михайловну Терещенко: вся заплаканная, а чему-то радуется. И вот где-то, не то в Пензе, не то в Устьсысольске, в учительской комнате профессор Я. Я. Никитинский и с ним какие-то, на А. М. Коноплянцева похожие.
Идет спор: хотят вычеркнуть Гоголя.
И постановление вынесли: вычеркнуть!
И вижу Г. В. Вильямс в солдатской шинели, он вышел на балкон, поднял черное знамя и сказал:
«Запрещаю выходить на улицу и собираться в собрания!»
«Как же,— думаю,— всенощную-то служить?»
И вижу: в коридоре Распятие, красная лампадка, и Сергей молится.

Монах рассказывает мне о чудесах афонских, как его на Афоне исправили: был он неспособен по рождению...

Монах при этом двусмысленно подкашливал и подмигивал в угол, где сидит Борис Пастернак и чинит сети.

«Пойдемте, поищем!» — сказал он Пастернаку. И оба пропали.

Народу к службе собирается много: Алексей Толстой, О. И. Щеколдин, С. М. Городецкий, Ященко в крылатке, Бердяев, Вышеславцев, Сеземан.

Кто-то, я не вижу, рассказывает, что Сергей помер.

«Совсем поседел и помер».

* * *

Чтобы увидеть домового, надо в Великий четверг понести ему творог на чердак,— так и сделала одна и хоть видеть его не видела, а ощупала-таки: мягкий!

Если он скажет: у-у-у! — это хорошо.

А если: е-е! — это плохо.

Одна баба не велела сор из избы выметать, а велела заметать все в угол. А в Великий четверг, когда осталась одна, надела она белую рубаху и плясала на этом сору два часа — всю всенощную. И стал к ней по ночам прилетать золотой сноп: прилетит и рассыплется!

XXII

— — безулыбная старуха Прасковья Пименова влезла в духовку.

Вошел Клюев: он в огромной соломенной шляпе, в поддевке, но уж без своего серебряного креста:

«Страха ради революции».

У нас стоит инструмент: не то это арфа, не то гусли,— и никак не подойдешь.

«Не арфа и не гусли,— объясняет Клюев,— а самопишущее перо Adler, без чернил пишет!»

Мы ходим вокруг инструмента, но потрогать нет никакой возможности.

П. С. Романов и И. В. Жилкин рассматривают материи.

«Революция,— говорит А. С. Рославлев,— это перекоп всей земли; она встряхнет все до основания. Надо разбить все стекла, посшибать с колоколен кресты и, по возможности, перетасовать все население: первые да будут последними и последние будут первыми. И тогда начнется новая жизнь!»

А я сижу один и со мною Н., только она гораздо меньше, чем на самом деле, она меня слушает, а я ей рассказываю о нашем трудном житье-бытье.

И начинается словесное: все вещи исчезли, одни слова —

«деление состояний души».

И я прохожу от обыденного к истонченной сложнейшей отвлеченности, а в житейском подымаюсь с Земляного вала в Таганку.

* * *

Проснулся, еще ночь — лунная холодная ночь — и слышу поют —

Это была какая-то ведовская песня: женские охрипшие голоса врозь с мужскими.

Я долго лежал, не могу заснуть, все слушаю: голоса скакали, крутились, «катали», как тут говорят, пели купальские песни.

XXIII

— — заданы два сочинения: по русскому и по закону Божьему. Священник Г. Ф. Виноградов от Николы-красный-звон читал молитву с особенными ударениями. Все стояли на коленях. А я отдельно за колоннами и тоже стал на колени. Я думал, что это затеяно больше для рекламы, чтобы побольше было разговору, но И. А. Рязановский, наблюдавший с колонны, показал мне знаками, что это делается по инструкции Тинякова и Исаева.

И я стал в очередь: справиться о моей рукописи. И все не так делаю: те, кто стоял куда

сзади, давно меня перегнали, а я топчусь на одном месте, и уж нет надежды дойти до редакции.

Вижу падчерицу Розанова Александру Михайловну: она получила ответ — «принята».

Хозяин дома Ф. Ф. Фидлер.

Я подымаюсь по лестнице — лежат на кроватях: Рославлев, Андрусон, Ленский, Годин, Цензор, Муйжель, Яблочков, Свирский, Котылев и Л. Кормчий.

«А,— говорят,— теперь вы у нас будете!»

«С нами! с нами!»

И как черти возятся.

Муйжель насадил себе на хвост Година и Рославлева, как на кол, потряхивает, а те гогочут. Котылев голый — на голое смокинг, распоряжается.

«С нами! с нами!»

Иду дальше.

П. А. Митропан показывает на руку:

«Тайна знака,— говорит он,— тайный знак».

Иду дальше.

М. А. Кузмин: он росту, как Рославлев, и с длинной черной бородой, ест редиску.

«В школу прапорщиков мне нельзя поступить!» — говорит он.

«А как же Пяст?»

«Тайна знака,— вспоминаю,— тайный знак».

«А вас в Обуховскую больницу положат на испытание».

Спускаюсь вниз —

«По глазам! Зачем же в Обуховскую?»

Виктор (Ремизов) объясняет: он слышал, как надо это делать.

«Надо натощак выпить бутылку коньяку».

Но для чего это? — для того ли, чтобы ничего не видеть, или для общего ослабления? — непонятно.

«Да я один не могу выпить бутылку!»

И тихонько спустился под лестницу —

И там И. А. Рязановский.

Этакую — куда выше шкапа такое сделал толстыми кругами и сам вокруг ходит, как кот, доволен —

XXIV

— — примостились на площади в палатках, площадь длинная — Сухаревка.

Пасмурно — мглистое московское утро.

На другом конце площади мучают.

«Мучают,— говорит кто-то,— казнь особенная».

Особенная издевательская казнь: кроме всяких уколов и подколов,— это пустяки! — заставляют еще делать человека такое, что ему особенно трудно и даже противно. И доводят жертву до последнего отчаяния, и уж несчастный умоляет о смерти.

«Смерть с удовольствием!» — объясняет кто-то.

Или лишат человека света, а потом выведут из погреба и тот свету обрадуется и начнет благодарить.

«Казнь с благодарностью!» — объясняет кто-то.

На другом конце площади мучают.

«Казнь с благословением!»

Отнять у человека все и потом дать ему крупицу, и как за эту крупицу будет тебе благодарен, больше, благословит тебя.

Отнять у человека и тогда он оценит, какое благо имел он и не ценил.

И самая жарчайшая память и самая глубочайшая благодарность и восторг перед жизнью и благословение смерти — все человеческое рожденное, все голоса полногласно звучали на другом конце площади, где мучали.

Как карандаш чинят, так стругали мясо души человеческой.

И негодуя, и возмущаясь, мы пошли домой. Воскресенская площадь — пустынно, как ночью, и мглисто, серый московский день.

Вдруг откуда-то городовые, и один ко мне: «У вас будет обыск,— говорит,— ваши рисунки подсмотрели!»

И побежал, и за ним другие.

Я понял так, что они бегут на площадь казни, а после обыска и меня погонят туда же. Но

что же такое мои картинки? Какой же я художник? И если я нарисовал «свободу печати», ведь без подписи никто не поймет, что «изнасилованная птица» и есть свобода печати! А Совет и лозунги я нарисовал зеленым, и если у меня везде одни рожи, но я только и умею рисовать рожи — рожицы кривые.

«Все равно,— говорит кто-то,— ты не смеешь рисовать и кривые, все равно и твоя участь — площадь. Есть особенная «художественная казнь» — для писателей — это отрывать и рассеивать, ни на минуту не оставляя в покое, ни на минуту не давая человеку сосредоточить мысли».

«Но ведь все это я уже раз пережил!» — хочу как-то выпутаться.

«Все равно, не считается. Да и поделом!»

В каком-то коридоре — похоже, как в Аничковом дворце, где выдавали авторские за постановки —

Мне предлагают новенькую студенческую шинель.

А есть рваное пожелтелое пальто, лосное от селедок и керосину.

Я взял рваное, нарядился и пошел домой.

Там кровать и около вещи свалены.

«Это Сергея (Ремизова) кровать и вещи его,— говорит кто-то,— скоро ему в дорогу».

И чего-то мне страшно стало, я к двери — ведь это в Сыромятниках, все двери знакомы! — а дверь заперта. Ищу ключ.

Чуть освещено — одна кухонная керосиновая лампа с закоптелым стеклом.

Над дверью широкое стекло.

И вдруг вижу: голые ноги сверху — я уж такое видел раз в госпитале, когда в гроб клали.

И стена разошлась, как провал,— —

чуть светает, осеннее утро. Замоскворечье в тумане — Ордынка, Полянка, Болото.

К Благовещенскому собору собирается крестный ход.

— Караул!

— ул!

— ул!

Толчемся в прихожей у Садовского, в комнаты он не приглашает.
Иду в нашу новую квартиру.
Оказалось, из моей комнаты есть ход (стеклянная дверь) прямо на волю.
«Как же, думаю, до сих пор мы и не знали про этот ход!»
Иду за стулом через коридор мимо чужих комнат — все стеклянное. Взял стул и назад.
Спускаюсь по лестнице. А за мной какая-то по ступенькам на одной ноге, напевает:
«Вера-Степанова!— Вера-Степанова!»
Обернулся я:
«Гриневич?» — говорю.
«Нет,— смеется,— наша!»
«А знаете,— Садовский от удовольствия потирает руки,— Л. А. за третьего вышла! Пришвин очень обижен: его чести будто бы лишили!»
«Ну, что за пустяки, — говорю, — причем честь!»

XXV

— — загорелся соседний дом, пожар залили, а у нас все стекла побиты.
Соседи наши немцы, мы зашли к ним — все перевернуто, смотреть жалко.
«Ну, думаю, они поправятся, а мы так и будем с разбитыми окнами!»
И поехал я на автомобиле с А. С. Смирновым — повез кукольную пьесу. Тут откуда ни возьмись Котылев.
«Я,— говорит,— в каиниты поступил. Теперь революция: все на свет, все вверх тормашками!»

XXVI

— — каждый из нас должен нарисовать проект воздушного корабля.
И все мы идем по очереди со своими проектами — у каждого в руке свиток.

И летим —
И все ничего — мы летим и не знаем куда, а надо, как оказывается, непременно в Романов-Борисоглебск.
А когда прилетели в Романов, оказывается, должны еще делать экскурсии в окрестностях.
Лететь вверх — очень тянет вниз, а вниз — ужасно.
Я сидел на самом дне,— весь корабль сделан был из тончайших пластинок, на еще тонейших рельсах, без мотора.
Корабль выплыл над рекой и повис.
Я выглянул на волю: пасмурно.
А кто-то говорит:
«Вот, поди, душа в пятки ушла!»
И куда бы мы ни прилетали, везде опаздываем: поздний час, все закрыто, одни туманы.
Мне дали розовое трико, я должен его передать, а кому, не знаю. И сижу дурак-дураком.
Навстречу Аверченко.
«Я давно хочу с вами познакомиться,— говорю ему,— у вас есть бесподобные вещи».
«Это не я,— конфузливо отвечает Аверченко,— это Петр Пильский».

XXVII

— — в церкви очень светло не от свечей, а такое устройство.
Служат в левом приделе. Все молитвы читает Вячеслав Иванов. Служба такая: священник задает вопросы, на которые отвечает В. И. Только необыкновенно тоненьким голосом. Потом он выходит на амвон и там читает, и уж потолще. Все по-русски.
Похожий на Н. М. Минского вертится около столиков как-то само собой, как парикмахеры щелкают ножницами, как кельнера стаканами — само собой.
«Можно достать лаку! — говорит он мне,— и красного, и черного».
И я ясно вижу: он весь заросший чернейшим японским волосом, и только на лице три белые полоски — на лбу и по щекам.

«Я также знаю,— говорит Н. М. Минский,— верное средство красить волосы».
Входит учитель географии доктор Геровский и предлагает заняться всеобщей гимнастикой.

XXVIII

— — на Васильевском острове на 14-й линии в доме Семенова-Тяньшанского есть галерея с садом. И так как очень жарко, я туда на ночь и хожу.
Швейцар сказал мне, что это стоит больших денег, но я ничего не плачу.
Тут живет и Н. К. Рерих. Я заглянул к нему — обедает, много варенья на столе.
Встречаю какого-то маленького красненького, вроде Беленсона.
«Не хотите ли,— говорит,— сняться?»
«Что ж, давайте».—
«Я снимаю только нагишом».
И — входят музыканты, а впереди Пришвин с трубкой.
«Wetterprophet!» (предсказатель погоды) — заявляет о себе Пришвин и, обращаясь к музыкантам: — «Интернационал!»

XXIX

— —Рошаль и Коллонтай назначили меня и Блока на какую-то театральную должность: не то при Ал. Ил. Зилотти находиться, не то Ал. Зилотти при нас находиться — «на усмотрение др. А. Л. Зандера» — так написано на бумаге.
Мы поехали в Киев и с нами Нина Николаевна Сеземан. Начинается всенощная, поет тысячный хор под управлением Кошица:

«Благослови, душе моя, Господа».

Но мы стоим не в церкви, а на Киевском мосту под деревом № 1072.

XXX

— — у меня с живота снялась какая-то шкурка и я почувствовал необыкновенную легкость. Доктор Афонский сказал, что такое случается, как в частной жизни, так и в общественном организме.
«И совершается неизбежно и безболезненно».
Я сел на океанский пароход — трубы, страсть и глядеть, и все вычищено, как зеркало. Я ходил по палубе, а когда задумал спуститься в каюту, попал в такое место, откуда только и есть, что прыгай в воду. Пояса и лестницы тут же, все свалено в кучу, но мне кричат: «Прыгай в воду!»
Я не решался, я стоял, не зная, что делать, видел воду — узкий пролет и воду, зеленоватую и быструю.
И пошел опять на палубу.
Кто-то сказал, что я индеец.
И тотчас выскочили индейцы и окружили меня.
Я иду по улице с Сергеем (Ремизовым), мимо малиновой церковки с синей, золотыми звездами, главой — открытый алтарь, около царских врат священник — «предсказывает!» — волоса у него все в шпильках для завивки. Перед ним какая-то женщина.
Сергей подошел первый, я за ним.
Священник посмотрел на меня, и вижу недоволен.
«Посмотрите,— сказал он,— сколько внешней скорби, а на самом деле индеец!»
Тут я вспомнил, что на пароходе я был индейцем, действительно, стало быть, все знает, и мне стало очень неловко.
И слышу, как говорит он С. П.
«Вот эта настоящая!»
И я понял до отчетливости разницу между «индейцем» и настоящим.
И идем мы с В. В. Розановым к часовне Боголюбской — «к Боголюбской невесты ходят перед венцом!» — а мы по белоснежному-то пути грязищу тащим индейскую, обод-

ранные индейцы, «неблагородные», как говорил Розанов, подразумевая это «индейство».
А далеко еще часовня, и жалко мне Розанова.
«Сердце-то какое черствое,— говорит он, захлебываясь,— хоть немножечко бы теплоты. Давай покурим».
А навстречу черномазый: это и Тиняков, и Пимен Карпов вместе.
«Между нами было одно неприятное недоразумение, которое всегда оставалось. Теперь я сдал экзамен, и вот говорю вам: теперь я свободен».

XXXI

— — на вышке в левом углу, отгороженный тоненькой щелястой переборкой, рисует А. Я. Головин и еще два художника.
По соседству пожар. А они, не обращая внимания, рисуют. И только когда задымилась стена, они выскочили.
«Что ж это вы,— говорю им,— от вас все видно и вы так поздно спохватились, ведь там же вещи, все теперь сгорит!»
Мы спустились вниз.
Там проходы, как на Николаевском вокзале. Говорят, что огонь проник и в нижнее помещение.
А внизу мои книги и рукописи, но туда никак не пройти. Ф. И. Щеколдин с Н. П. Рузским у столика чай пьют и о чем-то рассуждают, и к ним подсаживается А. И. Зилотти.
«Петербург,— говорит Зилотти,— неприступная крепость. И взять его могут только свои».
Я вхожу в нашу комнату: одни обгорелые стены.
«И все мои рукописи пропали, а ведь могли бы спасти! Соседи успели все вынести!»
В соседней комнате М. Н. Бялковский объясняет что-то по карте П. Е. Щеголеву.
Щеголев слушает с недоверием. И я это ясно вижу, а Бялковский не догадывается и вовсю старается.

«Петербург неприступная крепость,— слышу,— и взять его нельзя, только... свои».
Входит А. М. Горький, а за ним З. И. Гржебин.
Гржебин в ночном колпаке с аистами.
«Это мне из Германии Вейс привез!» — и прихорашивается.
«Педагогическое средство,— говорит Горький,— только немцы такое и могли сочинить».
«А я Алексею Толстому подарил московский колпак вязанный безо всего, жалованный колпак».
Обедать надо, а на столе одни обезьяньи хвосты.
«Доктору Владыкину Менелик, негус абиссинский, подарил,— вспоминаю,— Толстого еще судили за это!»
«А зачем хвост обрезал?!» — говорит Горький.
«Это не Толстой, это все Копельман!»— Гржебин закусил от хвоста кончик, и как над спаржей трудится, а хвост крепкий, не поддается.
«И все погорело, все книги и рукописи, одни хвосты остались!»
А я не знаю, что сказать:
«Вот,— говорю,— Алексей Максимович, у Андрея Белого сидельный хвостик отпал».
А Горький хмурый, только губами ежит; и весь-то в заплатах, а пиджак новенький.
«Надо поговорить с Ладыжниковым: Иван Павлович в курсе дела. Следует издать. Бесплатное приложение».
Прохожу по коридору. Народу, как на вокзале. Заглянул я на себя в зеркало — на голове красный колпак с кисточкой, а лицо заостренное, лисичье, а росту с Пинкевича.

* * *

Проходили нищие по селу с кобзой, пели старинную думу о Почаеве.

Какой степью повеяло половецкой!

Какой свет — угрские звезды!

XXXII

— — приценивался к старинной рукописной книге с миниатюрами, украшенной, как Годуновская псалтырь, тончайше золотом, 50 рублей просили.

Когда раскроешь книгу, голоса слышатся, сначала урчанье, а потом явственно, и целый хор поет под орган.

Купил книгу Я. П. Гребенщиков, я ему 25 рублей дал.

И два раза я возвращался к Я. Г. Новожилову, все мне хотелось себе какую-нибудь такую книгу купить, но сколько ни рылся, ничего нет, одни сочинения Шебуева.

Идем по Москве, я хочу показать Сергею (Ремизову) церковь Николы-в-Толмачах.

На заборах «Заем свободы». И не можем никак найти.

«Как же так,— думаю,— не можем найти!»

И сижу я в комнате, вот уж 35 дней сижу в заточении.

И слышу, зовет кто-то.

И под самым окном как прыгнет через забор — —

И вижу Неглинный проезд, под венецианским балдахином весь в серебре с шитыми львами идет Б. К. Зайцев, полные горсти семечек, сам кланяется, налево-направо кожуркой поплевывает.

«Удивительная вещь,— говорит И. А. Рязановский (он с процессией, на голове его белая чалма и цветы в руках),— видел я во сне, вышел из меня кал, а девать его некуда, завернул я в газетную бумагу, ну, никакого-то признака, и понес, зашел за памятник Сусанину. А Петровна и говорит: «Боюсь я, Ванечка, с тебя еще пошлину возьмут!»

«Это к деньгам,— говорю,— что кал во сне, что грязь видеть — к деньгам».

А народ идет и идет — и все на Красную площадь.

Проехал верхом на слоне Жилкин, проскакал на пожарной кишке летчик Василий Камен-

ский, протащили на аписах Брюсова, в золотом башлыке проплыл Вишняк с Кожебаткиным — черные птицы, хвосты рублены. Пронесли в пурпуре Куприна, за Куприным Бунина. А вот и Шестов — ведут дружка! — тридцать пять арапов ведут под руки.
«Ей,— брычат,— чай так чай!»
И опять, слышу, зовет кто-то.

* * *

Неизвестной дамой пущен был слух:

«Разъезжает по Киеву с собственным автомобилем начальник штаба Вильгельма!»

Толпа поверила. И арестовали какого-то борзенского помещика с кабаном.

XXXIII

— — В. А. Сувчинская с кулаками наскочила на меня: отдай ей ручку!
«Да вы,— говорю,— мне подарить хотели!»
«Мало ли что хотела!» —
«Вера Александровна, как же это...» —
«Да так, отдавайте!»
Не дает и слова сказать.
А лежала на столе какая-то сломанная, огрызок.
«Ладно,— говорю,— сейчас!»
А сам этот огрызок бумагой и прикрыл.
«Не завертывайте!»
А я уж завернул и подаю —
И вижу, Лариса Рейснер, хочу сосчитать деньги — у меня их вот какая пачка!
Донес я до самой двери и около двери, где сидит ночной сторож, и как это случилось, не знаю, потерял.
«Не положил ли я вам случайно в карман?» — спрашиваю сторожа.

* * *

Сон был прерывен и тревожен; понаехали гости, и один ночевал по соседству. Поздно

лег, а заснул и того позже. Получены газеты с описанием «июльского» Петербурга: все живо представил себе.

XXXIV

— — Иванов-Разумник написал какую-то статью, статья очень понравилась Шестову. Я об этом рассказываю Иванову-Разумнику. Мы в Москве, в лавке, я жду лимона. А мне дают брусничной эссенции.

«Погнали на войну! — кричат,— всех! всех! всех!»

«Разумник Васильевич,— говорю,— спасайся кто может!»

Да скорей из лавки на улицу.

А по улице и все верхом на конях гимназисты.

XXXV

— — приехал к нам из Петербурга Н. Н. Суханов с докладом. Он очень помятый и встрепанный, все на часы смотрит: боится опоздать. Нарядили меня в студенческий мундир и заставили играть, но я не могу суфлера слушать и все свое. Наконец надо же уходить.

И слышу аплодисменты.

Вышел, раскланялся и прохожу по коридору. Это баня, а содержит Е. А. Ляцкий.

«Самая гигиеничная — объясняет Ляцкий,— П. П. Муратов всякую субботу посещает, лучшие итальянские мастера зафиксировали в памятниках искусства, не баня, а золотая баня».

Я занял номер, и еще номер для Д. Д. Бурлюка.

И вдруг выходит — Господи! — один зуб — один зуб посередке.

* * *

Разговор зашел о захватах: что все началось с захвата — революция и есть захват! — и что вот Курлушкина Бог наказал.

А я подумал: о захватах вообще лучше помалкивать, кто не грешен? — и о наказании Божьем не судить человека, ведь завтра придет и твой черед, и ты будешь наказан, нет, о наказании, как и о всякой беде, надо принимать сердцем, не злорадствуя, а жалея.

XXXVI

— — обедали с Ю. К. Балтрушайтисом на Курском вокзале. Тут был и Гершензон, и Рачинский, и Бердяев, и Шестов — весь столп московский. А потом попали в какой-то дом — и полезли наверх, уж лезли-лезли, едва ноги идут, а поднялись на какую высоту — не знаю, очень высоко! а спустились сразу. А нам говорят:
«Вы попали в публичный дом!»
Вот тебе и раз!

МОСКВА

I

А знаете что: все это неправда или не вся — и если говорить по самой правде —

этот вихрь и есть то, в чем я только и могу жить.

Только мне так мало сил отпущено, и я просто по верному житейскому чутью отбрыкиваюсь от всякого «движения»:

ведь, если бы я, как все люди, пошел бы ходить, у меня оборвались бы жилы!

Да, мне не надо никакой этой тишины и ровности, никакого благополучия.

Когда я попадаю в провинциальный город, я это всем существом моим чувствую.

И если бы какой благожелатель поселил меня в вечную санаторию, чтобы я и пальцем не пошевельнул, и все мне будет — и чай, и кофе вовремя и на почту не надо ходить заказные письма сдавать —

или такое тихое местечко нашлось бы на земле где-нибудь на Тихом океане —

и было бы это все равно, как если бы приговорили меня к медленной, но верной смерти: я начал бы слоняться, отек и наконец заснул бы.

Слава Богу, беда всей нашей жизни всегда спасала меня!

* * *

Поздно вечером приехали в Чернигов.

От вокзала через весь бесконечный мост шли пешком до самой «Москвы».

Темь — лесная. Ночь хмурая. Шершавые кусты по дороге. И птицы. Мне казалось, там в беззвездной ночи — черные.

Точно раз уж во сне я видел такую дорогу!

Волоча огромные сундуки, обгоняли безликие черные. Редкие экипажи сквозь — шарахающиеся пешеходы. Одинокие внезапные фонари вдруг — бездонные канавы в репее.

Я нес старый лопнувший чемодан. И нетрудная ноша тяготила: развязавшийся ремень путался под ногами, путал наше беспутье.

«Зачем, зачем это все? Зачем в такую ночь? И идти».

Так бы вот остановился или проснулся бы!

Да, в детстве я во сне видел такую дорогу. И не раз снилось. И это был самый мучительный, самый изводящий из снов.

С этим сном соединялся у меня конец — конец света, конец жизни, «светопреставление»:

> Дорога, беззвездная ночь — солнце померкло, луна — прекратила свет! — и только демонские внезапные глаза, как эти — — — огни одиноких экипажей.
>
> «Зачем, зачем это все? Зачем был этот мир, и вот конец?»

И не только во сне, на всех гранях моей жизни это чувство беззвездной дороги — беспутья прожигало болью:

> и тогда в Москве перед Каменщиками — первой моей тюрьмой — и тогда на этапе — от

Пензы до Устьсысольска — и потом — потом это будет в августе 21-го года в скотском вагоне от Петербурга до Нарвы, когда поедем из России.
«Зачем, зачем это все? Зачем в такую ночь —?»

Дорога от вокзала через мост до «Москвы» показалась бесконечной, а по остроте на всю жизнь.

II

Поутру у Спаса — в древнейшей русской церкви Мстислава Тмутороканского.

Служба кончилась. Только кучка богомольцев — женщин в белом и белых обмотках: старые они или не такие уж, не разобрать — ветром и солнцем обожженные лица и руки.

У мощей молился старик священник.

Так молятся у кого ни души на земле и некому сказать — а ведь у всякого есть, что непременно сказать или о чем попросить —

Принял я в сердце и эту молитву.

Мы вышли.

Белые стены собора, белые, как мазанки. А кругом зелень — тополя. Шумят — шепчут.

Есть тишина около храмов. И даже если камушка не останется, все разрушит время — я это чувствовал в заповедных рощах, где когда-то стояло капище с идолами — такая вот тишина и только шумит — роща —

Принял я в сердце и эту тайную тишину тайн.

Пошли по городу.

В лавках пусто: где распродано, а где одни подскребки.

— Война съела!

— Война! война! война!

Одна эта жалоба — единственный припев.

Поглазели на Троицкую горку — там первая на Руси стоит церковь — Ильинская в честь Громовника Ильи: Святослав построил.

И дальше.

В Казанском саду, где поет по весне соловей, ни души.

Пасмурно, пустынно —

или это от пасмури пустынно?
или война все съела?
или гроза идет и вот притаились — революция?

А хорошо, когда гроза идет,— не думаю, чтобы изменялся человек: каким зародишься, таким и помрешь. Знаю, и самая грозная из грозных — революция — взвих и встряс — ничего не изменит, но я также знаю, что без грозы пропад. И хочу, чтобы нет-нет, да, я хочу, чтобы ударило — ударило крепко так, чтобы взвизгнуть, схватиться за голову хоть однажды, иначе наше замельчавшее, псивое житье отравит всякую жизнь.

Да, хорошо, когда идет гроза — —

Да, это так.

Повела меня С. П. на Гончую улицу.

Вот этот серенький дом — тут она родилась. Дом как нежилой, а в окнах цветы.

С Гончей по пескам вышли к Гимназии.

Здесь она училась — — какая неприступная казенная крепость!

и неужели кончилось все это?
или одно кончили, другое придумают?
если бы в человеке можно было перекувырнуть это — самое — !

Постояли, поглазели на гимназию.

И сколько вспомнилось! И странно, все-то и самое нелегкое, а как легко!

И должно быть, из подали последней, а в последнюю минуту все как-то так вспомнится — и нелегкое совсем легко! а потому — потому что больно уж жизнь-то сама хороша!

Да, это так.

«В гимназии,— рассказывала С. П.,— не позволяли книг из частной библиотеки брать, только из гимназической можно. А мы все-таки брали и читали тайком. Захотелось прочитать роман Ясинского «Вечный празд-

ник»: слышали, из черниговской жизни. Пошли в библиотеку Идлис, спрашиваем: «Вечный праздник Максима Белинского»? Полез библиотекарь на полках искать. А одна гимназистка очень любила иностранные слова — «Максим Белинский,— говорит,— это псевдоним!» А библиотекарь на книгу-то как раз и напал: — «Нет,— говорит,— его зовут Иероним!»

Ну, видел я гимназию, надо посмотреть и запретное — библиотеку.

Отыскали библиотеку — библиотека Идлис! — на полках книги, а Псевдонима уже нет, другой.

И пошли в «Москву».

* * *

— — Ф. К. Сологуб и Н. Г. Чернявский сидят в столовой — у нас только и есть одна теплая комната, эта столовая. Входит Керенский.

Один раз я его видел в редакции «Сирин» на Пушкинской, а он все такой же и также говорит очень громко — если сравнить с Ивановым-Разумниковым, просто кричит.

«Александр Федорович,— говорю,— вы теперь все можете! Есть у меня три желания: первое — часы с кукушкой, а второе — дудочку-кукушку, такие до войны в Карлсбаде продавались, и третье — воздушный яблочный пирог!»

«Дудочку-кукушку я смогу!» — сказал Керенский.

* * *

Сны наползали и пропадали: пропал Сологуб, пропал Чернявский, пропал Керенский, и я очутился не в столовой — этой единственной нашей комнате, а в подвале.

* * *

— — в одном углу В. Н. Ивойлов (Княжнин) на корточках караулит мышь, а на другом конце в углу на корточках же Зоргенфрей (Зор) караулит Ивойлова.

В подвал набираются незнакомые.

«Где это мы находимся?» — спрашиваю.

«Точно сам не знаешь: в Кузнечном переулке».—
«Почему же в Кузнечном?» —
«Как почему?»
И упрекают меня, что я не желаю рассказывать о китайцах. А я ей-Богу же, о китайцах ровно ничего не знаю.
«Вы,— говорю,— спутали: это проф. В. А. Алексеев китаец». И снимаю с себя одежду за одеждой — кожи, шкуры, дерюги, шкурки.
И вдруг откуда-то наш хозяин М. Д. Семенов-Тяньшанский:
«Отопления нет! — язык высунул,— ни дров, ни угля. Я буду освещать дом водой!»

III

К ночи приехали в Круты.

В тесный узкоколейный вагон неосвещенный, тыча фонарем в лицо, солдаты —

проверка документов!

Мне всегда чего-то страшно, когда я отдаю свой паспорт — или от неуверенности и путаницы, напуганный путаницей? Или эти ружья, против которых безоружному всегда неладно? — а тут и там и теснота, и фонарь.

И еще поразило меня: что-то было от стрелецкой Москвы.

И этой смертобойной стариной открылся наш путь на Москву.

И опять тополя — чего шепчут? — черные в черное в звездах.

Попрощался я с тополями.

И на вокзал.

А там — нигде так война не прет, как на вокзалах! — загромождено, завалено, загажено, зашмыгано, а в буфете все моментально расхватывают — война и — революция, прущая войной против войны.

Билеты выдали, а в поезд не попасть.

А надо! — и вкарабкались.

Так и на крыше вот ездят: надо и полезешь!

Из «международного» нас выпроводили сейчас же — в первом классе перед уборной в проходе стали.

И так до рассвета.

В Бахмаче протиснулись в вагон. И уж тут в проходе прошел толкливый тягучий день и бесконечная бессонная ночь до самой Москвы.

Голова от боли раскалывалась.

* * *

Разговоры о войне, Керенском, большевиках.

Частятся «хам» и «сволочь».

Сначала я о своем думаю, но разговоры затесняют свое.

И одно только свое остается: что вот эти «не хамы и не сволочь» — они лежали и день и сейчас лежат! Это все военные петербургские и с ними какая-то барышня, знакомая их знакомых, они, пресытившись, не знают, уж как еще и лечь, чтобы совсем как дома, а С. П. дремлет на картонке в проходе.

. . . .

— люди совсем не изменились. Такое на свете делается, так все кругом угрожает, им угрожает! а они как и раньше болтают всякий вздор, и никакого чувства у них нет, что вот надвигается что-то страшное, и неизвестно, чем все это кончится.

— — а кончится плохо. И пусть будет плохо!

— — легкость — легкость поразительная —

— — им надо потыкать носом, тогда они, может, еще и поймут, а так — ничего!

И голоса замыкаются — много голосов — в цепь.

— — гибнет Россия, чувствую —

— — а какая она будет, не знаю —

— — и не на ком остановить глаза, люди пропали —

— — кто пропал? И разве было что —

— — республику еще никто не установил, а республиканские войска бегут —

— — убийства, насилия, грабежи, все есть, все, все. А еще и похуже будет —

— — тут напрасно одних большевиков обвиняют — впрочем, всегда кого-нибудь обвиняют! — а если подумать: ведь жизнь-то одна, мало кому охота помирать. А есть и такие, в прежнее время и пошли бы, а теперь —

— — промышленная жизнь остановилась, голод. Такая русская свобода не дорога́ —

— — на власть революционной демократии посягнуло не безумие, а самое трезвое рассуждение —

— — слушаться-то кого нынче? Никто никого не признает. Коли бы правда была — !

— — война — война — война —

— — и доконают —!

— — да уж хуже того, что есть, едва ли было когда —

— — неумелость, недуманье —

— — на скачках встречала в Красном —

— — сволочь — хамы —

— — а ведь вот палкой опять загнали в окопы —

— — был порядок да сплыл. Темные силы —

— — ну за это еще будет: повоюют —

— — всю Россию, как шаром огненным, покатят. Много кому придется расплачиваться. Жалко, кто так пропадет —

— — и никто ни в чем не уверен —

— — и в большевиках —

И вдруг на «большевиках» все обрывается и один голос жалкий, жалующийся тянет бесконечно:
— — ф — о — р — м — у — л — е — в — и — ч — —

* * *

— — высокий берег — там наверху деревья. Дорога вся изрыта водой. Ямы от водоворота. Где были огороды, точно граблями проведено. Углы клунь снесены водой. Плетни валяются. Озимое так все вымыло, точно и не сеяли. Овраги — —

«Как поступить с вашей квартирой,— говорит Формулевич (он же и Степун),— передать ли ее частным лицам или общественному учреждению?»

«А где же мы жить-то будем?»

«Воздержание от еды—единственное средство».

И Степун пропал в овраге.

А я полез на берег.

IV

В Москву приехали заполдень.

Путь нам в Таганку — взяли извозчика: 14 рублей!

А что если бы кто сказал тогда, что в 20-м году осенью за такой же конец заплатим не 14 рублей, а десять тысяч!

Было смутное чувство пропада, но не представляли себе, до чего можно дойти.

И так во всем.

Папирос купил: что раньше стоило 20 штук 18 копеек — говорят «почти даром»: 35 копеек!

И ясно было одно: это — война, расплата за войну, которую *наперекор* продолжали.

И терпелив же человек —

И не в большевиках тут — — если бы не было большевиков, их надо было бы выдумать, так что ли? —

> чтобы прекратить, наконец, эту кровавую железную игру «до победного конца».

Такое услышал я с первых же московских дней от терпеливейших и самых смирных в Таганке.

— Ты большевик! — говорили мне, припоминая мое прошлое.

И это говорили все, кто меня знал еще по Москве, и говорилось с надеждой и сочувствием.

Сначала я разъяснял, что это было в те допотопные времена, когда —

— Когда еще Владимир Ильич не отделился, и была единая и неделимая социал-демократическая рабочая партия «с.-д.».

В Петербурге ходил рассказ, как в начале революции, когда было принято причислять всех к какой-нибудь партии и А. Н. Бенуа попал в большевики за участие в «Новой Жизни», К. А. Сомов будто бы полюбопытствовал, кто же он-то теперь?

«Ты, Костя,— ответил Бенуа,—меньшевик-интернационалист».

Вспомнив Сомова, я уже самостоятельно стал подбирать себе кличку помудренее.

— Не большевик я, а националист-интернационалист...

Но это никого не убедило.

И я остался большевиком, что и ясно, и вразумительно: с большевиком соединялось тогда «долой войну», а это так всем хотелось в той Таганке, куда я попал.

V

В Таганке мы остановились у моего брата Виктора.

Я думал расспросить его, как там на войне с революцией — но его в Москве не оказалось: где-то на войне корпел.

* * *

Мой брат Виктор — из запасных прапорщик, до войны служил в Банке. За войну два года просидел в окопах. В последнее наше свидание — прошлой весной — много чего порассказал мне. И из его слов я уже тогда понял, что скоро все кончится —

и кончится не просто!

Человек от тихий, вытишинный в Банке,— я не раз слышал от него и много горького о его службе,— и, слушая его рассказы о войне, я тогда подумал:

«А когда кончится война и он вернется в Банк, как он примет свою службу — так ли покорно и смолчно, как раньше?»

И мне было ясно: если прорвало такого терпеливого и безобидного и, стало быть, войне конец, то, кончив войну, такие вот жить по-старому не согласятся —

и там, где они молчали, ответят,
и где гнулись, не смолчат,
и где уступали, пойдут против.

Нянька Кондевна рассказывала о войне, как с офицерами солдаты расправляются. Про это я уже слышал и читал.

— Да ведь он же не настоящий офицер!

— Ну, на это не посмотрят! В. М. гориться нечего, он с ними, как свой, его не тронут.

Да — не тронули!

С войны он вернулся в Москву и в начале 20-го года — в самый тягчайший год страды — уже красноармейцем погиб где-то «под Колчаком».

Что-то в нем было похожее на Льва Шестова.

Не в философии — никакой философией он не зани-

мался — он знал бухгалтерию и еще в училище (мы вместе учились) умел решить любую задачу, и самые сложные вычисления, не как я на бумажке, в уме делал.

Нет, с Шестовым у него было сходство в житейском.

В редкие наши свидания он учил меня уму-разуму, желая помочь мне в моей кавардашной жизни, а мне всегда было чего-то чудно: или потому, что советы — «ум-разум» и от самого доброго желания, а имели очень мало — я чувствовал — житейского.

Шестову, занявшему большое место в литературе, удавалось, но Виктору в его подчиненном положении банковского служащего — ничего.

И единственно, что он раз сделал, это когда меня в допотопные времена гнали по этапу через Москву: он пробрался к арестантскому вагону и передал мне карандашей, перьев и ручек, добытых, как говорилось у нас в 19—20-м году, «через преступление».

«Смеяться тут нечего,— говорил, бывало,— хочешь помочь человеку, а он дурака валяет: вздумал писать деловые письма с завитушками, а никто ведь ничего не понимает! А с воскресенским дьяконом я тебе очень советую познакомиться».

Дьякон, конечно, мне не зачем, но у него-то, по каким-то непонятным мне соображениям житейским, связывалось с этим знакомством полезное для меня во всех отношениях.

И еще: как-то он написал мне — вообще-то он не писал ничего, кроме поздравительных писем (святцы знал, как бухгалтерию!),— «что если будет уж очень тяжело, чтобы я имел в виду, угол для меня всегда у него найдется!»

Нянька Кондевна о своем рассказывала, как ее муж Устин помирал:

> как мучился, приобщить бы! а он язык высунул (колдун был!); ему на шею росный ладан повесили, а они (черти) его крючьями стащили с лавки и под печку, все кости гремят — — и тут память у нее отошла.

— Дети, без хлеба, три вязанки соломы — одной пришлось гориться. Ну, а теперь слава Богу: корова у помещика в саду пасется, теперь ничего.

Ночью была гроза настоящая: сначала гром гремел, потом как запустит дождь — —

* * *

— — иду по дорожке в саду. Вижу череп лежит. Нагнулся: череп. Взял его в руки. Иду и разбираю — и в траву откидываю кости. И когда разобрал весь, говорят мне:
«Это ваш череп».—
«Как же так, ведь я жив!» —
«Череп ваш».
И я подумал:
«Мой череп — удивительное дело, при жизни! надо сберечь».
И опять я иду, сбираю кости, чтобы череп составить — свой.

VI

В прежние годы проездом в Петербург мы останавливались в Москве не в Таганке, а у другого моего брата Сергея.

Но вот уже несколько лет у него не было «угла»: он попал в большую беду и два года ходил по Москве без должности, и «угол» у него был только для ночлега. С войны, когда стали забирать на войну, ему, как «негодному», удалось получить место сначала на Товарной станции на тяжелую работу, потом в управлении на Домниковской улице. Там же поблизости в Сокольниках он и комнату снимал.

Прямо со службы пешком пришел он в Таганку.

Он рассказывал о Москве — о революции, о няньке Кондевне, которая в революцию просила городового ей показать, «чтобы дать ему хоть подзатыльник»,— о моем ученике-городовом, который хотя и не выдержал экзамена на околодочного, зато медали все выслужил, какие только полагались для ношения, и вот очутившийся на старости лет — лучше бы и медалей не носить! — и о своей службе на Домниковской: с революции ему повышение!

— Теперь уже не то.

Да, не то: он одет лучше — не так, как тогда! и смотрел не так — прямей.

От революции в Москве разговор перешел просто к Москве — всегдашнее московское.

— Нет, ты не любишь Москвы,— сказал он мне,

— какая это любовь: жить постоянно в Петербурге! Вот я — я без Москвы просто жить не мог бы!

Да — это была настоящая любовь.

В начале 20-го года — в самую тягчайшую страду — он все-таки решился уехать из Москвы: поехал к своей дочери в Мелитополь, дорогой захворал тифом и помер.

Этот брат мой, ни на кого из нас не похожий, с детства писал стихи, сначала «пушкинские», потом «футуристические», и никогда ничего не печатал; хороший голос был у него, одно время учился в Филармонии, но актером не сделался; вообще никем не сделался — просто был везде (а он должен был поступить на службу) случайным, «временным», а когда захотел во что бы то ни стало сделаться, как все, из этого ровно ничего не вышло. Хуже того, совсем плохо — без должности-то ходил по Москве два года, вы это понимаете, имея «угол» только для ночлега! С детства гимназистом он начал курить и с папиросой мог часами сидеть у окна, мечтая. Он приезжал ко мне во все мои ссылки: в Пензу, в Усть-сысольск, в Вологду. А в пензенскую тюрьму он передал мне тысячу штук апельсин,— по-московски!

Да, без Москвы он не мог жить.

* * *

Я пошел его провожать к Новоспасскому монастырю — оттуда трамвай в Сокольники.

Обыкновенно он провожал меня в Петербург, а на этот раз мне пришлось — в первый раз в жизни он получил отпуск на две недели и вот собрался уехать — «подышать вольным воздухом!»

Трамваи ходили редко, пришлось ждать. Опять заговорили о Москве — революции и о прошлом.

И вспомнив, должно быть, свои тягчайшие годы «без должности», он вспомнил и еще что-то и вдруг точно обрадовался:

— Ведь ты ж большевик! — сказал он,— как же по-твоему?

Но я не успел объяснить: подошел трамвай.

Так и простились.

Было 8 часов — последний трамвай в Сокольники в 8 — я нарочно медленно пошел домой: на Воронцовской можно было у одной старообрядческой «чернички» получить молоко «в 8 часов».

А приди я в 8, молока мне все равно не дали б — часы по военному времени подведены на час! — потому что грех: грех давать, раз признаю я новые, а не старые «коровьи», по которым часам корову доят, доили и будут доить «во веки веков».

«Большевик!»

Я шел мимо трактира — это к Спасской заставе — трактир третьего разряда «Гроб» —

И вдруг спохватился:

«Такое время — может, никогда не увидимся. Вот посидели бы в этом «Гробу» и я разъяснил бы все это — какой большевик — —»

И я еще тише пошел.

На Новоспасском часы как стояли.

VII

В Москву мы приезжали, как на кладбище.

Я ходил по старым местам, о которых только у меня память. И я видел, как с каждым годом остается все меньше этих крестов.

За войну особенно много исчезло, за революцию еще больше — и это как-то само собой.

На углу Землянки и Николоямской не было пивной, даже никакого признака не осталось — в других местах с запрещением переделались в чайные.

— Тут была пивная Алексея Ивановича Горшкова? — спросил я.

И никто ничего не знает.

Какой-то догадался:

— Это не тут, это у бань: Горшков! как же, Горшкова знаем.

А я знал твердо, что у бань и пивной-то никакой не было.

Около бань, проходя через мост, заглянул в Яузу —
и Яуза как будто помелела.

А кругом пустырь застроен, от огородов и травинки не осталось, и стройка заслонила Андрониев монастырь —
может, и колокола уже не слышно?

Тоже и городововскую деревянную будку снесли — каменный стоит красный дом.

А вот и ворота — —

Обыкновенно мы ходили к матери в Сыромятники с братом, этот раз и последний — одни.

Сергей предупреждал, что в Сыромятниках очень встревожены моим приездом: с годами забытое всплыло теперь с революцией мое прошлое в виде пугалы «большевик», который сделал революцию, да то ли еще наделает! — смутно всеми чувствовалось, что идет и непременно придет самая-то настоящая гроза.

Сергей смеялся, будто не велено мне и чаю давать, если приду. (Мать жила у родственников и хоть совсем отдельно, но, как больная, сама не могла распоряжаться.) Я не хотел верить — отвык за эти годы, но, припомнив всякие мелочи из стародавнего московского житья, был ко всему готов.

Мать узнала меня.

— Вы родились в февральскую революцию (1848 г.) и вторую дождались февральскую, и еще дождетесь.

И стал ей рассказывать всякие небылицы, чтобы развеселить: о китайцах (в Москве о китайцах много говорилось еще в канун революции), о республиках, объявлявшихся в ту пору самым неожиданным образом, о «сыромятинской» республике —

— Ты всегда вот такое скажешь...

Она не знала, верить или не верить, и что правда, и что так.

Она не могла уж ходить, а сидела. И за год, мне показалось, еще больше сгорбилась и стала совсем маленькой.

Она вдруг заволновалась:

отчего так долго не несут чаю?

Прислуга смущенно что-то ответила:

не то с самоваром неладно, не то самовар не готов.

— Не надо мне чаю! — сказал я, вспомнив: «не велено чаю давать!»

Мать уж не одна была.

И я сразу понял, что появилась гостья из-за меня. И у меня пропала всякая выдумка, всякий разговор — развеселить. И я замолчал.

А она заплакала большими слезами без всяких слов.

* * *

Тяжелая жизнь у нее была, тягчайшая.— Я это еще в детстве понял, только поздно уж. И потому виню себя: и мой есть камень! Я всегда помню ее с книгой — первый глаз мой к книге отсюда. И мое пристрастие к немецкому — с детства я слышал о Германии и немецкие слова: мать училась в немецкой школе и могла «думать» по-немецки. Ни мои мечты, выражаемые мною резко, ни мой «большевизм», ни моя ссылка ничуть не смутили ее. Поздно уж понял я — еще в детстве — что мы — дети, сломили ее жизнь и я, последний, «нежеланный», последней каплей переполнил меру, и вот человек сломился.

В 1919 году в феврале она померла. Похоронили ее мои братья. А я и на похороны не мог приехать — это совпало с моим арестом, когда были арестованы Р. В. Иванов-Разумник, Блок, Петров-Водкин, А. Штейнберг и М. К. Лемке. Выпущенный с Гороховой, я только мог написать (не знаю, дошло ли письмо!) — я просил положить за меня три поклона:

первый — что уж своим появлением на свет переполнил я горе;
второй — что поздно понял: за свой камень;
и третий — за то, что жизнь дала мне, а лучше жизни ничего нет на свете.

* * *

Я шел по Москве в Кремль — в Успенский собор ко всенощной. Шел под звон колоколов — вся Москва звонила: завтра Ильин день.

Мне было чего-то необыкновенно.

И как часто со мною бывает, оттого ли, что привык писать вслух, я все время мысленно разговаривал.

«Революция или чай пить?»

«Чай пить...»

«А вот на ж тебе: нет тебе чаю!»

«Революция взяла верх!»

Я шел по старой дороге — мимо дома Вогау, разгромленного в канун революции (а какой дом! — одни стены остались), мимо Ивановского монастыря — пристанища хлыстов, где когда-то «радел» первый московский сыщик Иван Осипов — Ванька Каин, Хитровкой — пристанища

московской голытьбы, к Варварским Воротам мимо часовни Боголюбской и дальше Варваркой мимо палат Романовых с таинственным провалом Зарядья, Старыми рядами — на Красную площадь мимо Лобного места к Спасским воротам с медведями на башне —

VIII

В Успенском соборе служба началась.

На стихирах пели «знаменитый» догматик — из веков повеяло: какой строй и строгость! Потом Лития. Я ее особенно ждал. Столповое пение басами.

Это уже до жути вековое, точно все поднялось — и Петр, и Алексей, и Иона, и Филипп — и вот тянуть с соборянами на басах в унисон:

— Господи помилуй — Господи помилуй —

У ящика за свечами стоял знакомый, вместе учились.

Он тоже меня заметил и улыбнулся: он тоже любил это и чувствовал и строй, и строгость.

После Литии я вышел.

Вышел и знакомый — он занимал в Москве большое место; в Кремле был как дома.

На Иване Великом звонили второй звон — века выговаривали на колоколах.

— Революцию мы встретили звоном. Ты звонаря-то нашего знаешь? — и он назвал не то Гутман, не то Гросман,— ну, и хватил — во все!

Выходя из Собора, я заметил около двери на стене заборную «гнездовую» надпись, и теперь, когда возвращались в Собор, я показал знакомому.

И вместо ответа он такую загнул «матовую» крепь, даже надпись — мне показалось — сама собой стерлась, как и не бывало.

Повел меня в алтарь. И хоть я не раз видел всякие святыни, опять посмотрел и все потрогал. В алтаре он меня знакомил — раньше, когда случалось бывать, никогда.

Он точно чему-то обрадовался.

— Большевик!— прибавлял он к моему имени,— это у нас большевик.

Из алтаря повел в приделы, где расчищались фрески.

Там постояли — рассказывал он мне о работах и о всяких трудностях казенных.

— Если все ладно пойдет, работы уж не те будут. Теперь не то!

Вышли, стали с народом впереди.

— Надо непременно снять с икон ризы. Все равно и так сдерут. А без риз даже лучше.

Уже третий звон звонили.

Колокола врывались в «Хвалите» — «Хвалите имя Господне!» —

колокольным «красным» звоном в лад.

Знакомый тихонько рассказывал о старине, о долгой службе под Успеньев день, о столповом распеве — о такой русской старине, которую для гордости же нашей «своим русским добром» беречь надо, как рублевские иконы.

— Ты как думаешь, много еще чего будет?

— Такое! — и он рукой махнул,— надо ко всему быть готову,— подумал,— чего ж бояться-то? А убьют, так убьют.

После великого славословия я простился.

Но домой не пошел, а остался на площади: я все смотрел, вглядывался в ночь.

Всенощная кончилась — темными стаями расходился народ.

Только в Архангельском Соборе горели огни — неугасимые лампады.

А там на Иване Великом огромный колокол — глазастый пустыми окнами.

А там — звезды, как осенние.

И вдруг я понял, что все это — — прошло —

эта Россия — —

* * *

Широка раздольная Русь, родина моя, принявшая много нужды, много страсти,— вспомянуть невозможно! — вижу тебя: оставляешь свет жизни, в огне поверженная. Были будни, труд и страда, а бывал и праздник с долгой всенощной, с обеднями, а потом с хороводом — громким, с шумом, с качелями.

Был голод, было и изобилие.

Были казни, была и милость.

Был застенок, был и подвиг: в жертву приносили себя ради счастья народного.

Где ныне подвиг? где жертва?
Гарь и гик —
Было унижение, была и победа.
Безумный ездок! хочешь за море прыгнуть из желтых туманов гранитного любимого города, несокрушимого и крепкого, как Петров камень,— над Невою, как вихрь, стоишь, вижу тебя и во сне, и въявь.
Брат мой безумный — несчастлив час! — твоя Россия загибла.
Я кукушкой кукую в опустелом лесу, где гниет палый лист:
Россия моя загибла.
Было лихолетье, был Расстрига, был Вор, замутила смута русскую землю, развалилась земля, да поднялась, снова стала Русь стройна, как ниточка,— поднялись русские люди во имя русской земли, спасли тебя: родного брата выгнали, краснозвонный Кремль очистили — не стерпелось братнино иноверное иго. Была русская вера искони изначальная.
Много знают поволжские леса до Железных ворот, много слышали горячих молитв, как за русскую веру в срубах сжигали себя.
Где ты, родная твердыня, «Последняя Русь»? Я не слышу твоего голоса, нет, не доносит и гари срубной из поволжских лесов. Или в мать-пустыню, покорясь судьбе, ушли твои верные сыны?
Или нет больше на Руси — «Последней Руси», бесстрашных вольных костров?
Был на Руси Каин, креста на нем не было, своих предавал, а и он в проклятом грехе любил свою мать-Россию, сложил неизбывную песню:
у Троицы у Сергия было под Москвою...
на костер пойдешь — —

* * *

Широка раздольная Русь, вижу твой краснозвонный Кремль, твой белоснежный, как непорочная девичья грудь, златокровельный со-

бор Благовещенья, а не вестит мне серебряный ясак, не звонит красный звон.
Или заглушает его свист несносных пуль, обеспощадивший сердце мира — всей земли?
Один слышу гик —
Ты горишь — запылала Русь! — головни летят.
А до века было так: было уверено — стоишь и стоять тебе, широкая и раздольная, неколебимою во всей нужде, во всех страстях.
И покрой твое тело короста шелудивая, ветер сдует с тебя и коросту шелудивую, вновь светла, еще светлей, вновь радостна, еще радостней восстанешь над своими лесами, над ковылевой степью, взбульливою.
Так пошло, так думали, такая крепла вера в тебя.
Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать земной рай, жены и мужи, праведные в своей любви к человечеству, вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая свое дело, сея вражду, вы по кусочкам вырвали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь.
Ныне в сердцевине подточилась Русь.
Вожди слепые, что вы наделали?
Кровь, пролитая на братских полях, обеспощадила сердце человеческое, а вы душу вынули.
И вот слышу гик —
Русь моя, ты горишь!
Русь моя, ты упала, не поднять тебя, не подымешься!
Русь моя, русская земля, родина, обеспощаженная кровью братских полей, подожжена — горишь!

* * *

О, моя обреченная родина, пошатнулась ты, неколебимая, и твоя царская багряница упала с твоих плеч.
За какой грех или за какую смертную вину?
За то ли, что свою клятву сломала, как гнилую трость, и потеряла последнюю веру, или за кровь, пролитую на братских полях, или за

кривду — открытое сердце не раз на крик кричало на всю Русь: «Нет правды на русской земле!» — или за исконное безумное свое молчание?

Ты и ныне, униженная, когда пинают и глумятся над твоей святыней, ты и ныне безгласна. Безумное молчание твоих верных сынов вопиет к Богу, как смертный грех.

О, моя поверженная родина, ты руки простираешь — —

Или тебя посетил гнев Божий — Бог послал на тебя свой меч?

О, моя бессчастная родина, твоя беда, твое разорение, твоя гибель — Божье посещение. Смирись до последнего конца, прими беду — не беду, милость Божию, и страсти очистят тебя, обелят твою душу.

О, моя горемычная родина, мать моя — униженная!

Припадаю к ранам твоим, к горящему лбу, к запекшимся устам, к сердцу, надрывающемуся от обиды и горечи, к глазам твоим иссеченным — —

Я не раз отрекался от тебя в те былые дни, грозным словом грозного в отчаянии задохнувшегося сердца моего проклинал тебя за крамолу и твою неправду.

«Я не русский, нет правды на русской земле!»

Но теперь — нет, я не оставлю тебя и в грехе твоем, и в беде твоей, вольную и полоненную, свободную и связанную, святую и грешную, светлую и темную.

И мне ли оставить тебя,— я русский, сын русского, я из самых недр твоих.

На твои молчаливые звезды я смотрел из колыбели своей, слушал шум лесов твоих, тосковал с тобой под завывание снежных бурь, я летал с твоей воздушной нечистью по диким горам твоим, по гоголевским необозримым степям.

Как же мне покинуть тебя?

Я нес тебе драгоценные уборы, чтобы стала ты светлее и радостней. Из твоих же самоцветных камней, из жемчугов — слов твоих я низал

белую рясну на твою нежную грудь. О, родина моя, наделенная жестокой милостью ради чистоты твоего сердца, поверженная лежишь ты на зеленой мураве, вижу тебя в гари пожаров под пулями, и косы твои по земле рассыпались.

Я затеплю лампаду моей страдной веры, буду долгими ночами трудными слушать твой голос, сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы.

Ты и поверженная, искупающая грех, навсегда со мной останешься в моем сердце.

Ты канешь на дно светлая.

О, родина моя обреченная: Богом покаранная — Богом посещенная!

Сотрут твое имя, сгинешь, и стояла ты или не было, кто вспомянет? Я душу сохраню мою русскую с верой в твою страдную правду, сокрою в сердце своем, сокрою память о тебе, пока слово мое — речь твоя будет жить на трудной крестной земле, замолкающей без подвига, без жертвы, в беспесеньи.

* * *

Ободранный и немой стою в пустыне, где была когда-то Россия.

Душа моя запечатана.

Все, что у меня было, все растащили, сорвали одежду с меня.

Что мне нужно? — Не знаю.

Ничего мне не надо. И жить незачем.

Хочу неволи вместо свободы, хочу рабства вместо братства, хочу уз вместо насилия.

Опостылела бездельность людская, похвальба, залетное пустое слово.

Скорбь моя беспредельная.

И время пропало, нет его, кончилось.

Не гибель страшна, но нельзя умереть человеку во имя себя самого. Ибо не за что больше умирать, все погибло. И из бездны подымается ангел зла — серебряная пятигранная звезда, над его головой с семью лучами, и страшен он. «Погибни во имя мое!»

И нет спасения свыше.
И тянется замкнутая слепая душа, немыми руками тянется в беспредельность — —
И не проклинаю я никого, потому что знаю час, знаю предел, знаю исполнение сроков судьбы.
Ничто не избежит гибели.
О, если бы избежать ее — —!
Каждый сам в одиночку несет бремя своего проклятия —
души своей закрытую чашу, боясь расплескать ее.
Тьма вверху и внизу.
И свилось небо, как свиток.
И нету Бога.
Скрылся Он в свитке со звездами, и солнцем, и луною.
Черная бездна разверзлась вверху и внизу.
И дьявол потерял смысл своего бытия, повис на осине Иуды.
А все зачем-то еще живут.
И чем громче кричит человек, тем страшнее ему.
Как дети они, потерявшие мать.
И не понимают той скорби, которая дана им.
Скоро настанет последний час, скоро пробьет —
Без четверти двенадцать!
Слышите? Нет ничего, ни Кремля, ни России — ровь и гладь.
Приходи и строй! Приходи, кому охота, и делай свое дело,— воздвигай новую Россию на месте горелом.
А про старое, про бывалое — забудь.
Ты весь Китеж изводи сетями — пусто озеро, ничего не найти.
Единый конец без конца.

* * *

Русский народ, что ты сделал?
Искал свое счастье — —
Одураченный, плюхнулся свиньей в навоз.
Поверил — —

Кому ты поверил? Ну, пеняй теперь на себя, расплачивайся.
Землю ты свою забыл колыбельную.
Где Россия твоя?
Пустое место.
И где твоя совесть, где мудрость, где твой крест?
Я гордился, что я русский, берег и лелеял имя родины моей, молился «святой Руси».
Теперь — — несу кару, жалок, нищ и наг.
Не смею глаз поднять!
«Господи, что я сделал!»
И одно утешение, одна у меня надежда: буду терпеливо нести бремя дней, очищу сердце и ум и, если суждено, восстану в Светлый день.
Русский народ, настанет Светлый день.
Слышишь храп коня?
Безумный ездок! хочет прыгнуть за море из желтых туманов,— он сокрушил старую Русь, он подымет и новую из пропада.
Слышу трепет крыльев над головой.
Это новая Русь —
Русский народ! настанет Светлый день!

* * *

Сорвусь со скалы темной птицей тяжелой, полечу неподвижно на крыльях, стеклянными глазами буду смотреть в беспредельность, в черный мрак полечу я, только бы ничего не видеть.
Поймите, жизнь наша тянется через силу.
Остановитесь же, вымойте руки,— они в крови, и лицо,— оно в дыму пороха!
Земля ушла, отодвинулась.
Земля уходит — —
Лечу в запредельности.
На трех китах жила земля. «Был беспорядок, но и был устой: купцы торговали, земледельцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали».
Все перепуталось.
Лечу в запредельность.

Отказаться от осязаемой жизни, пуститься в воздушный мир, кто это может? И остается упасть червем и ползти.
Обгоняю аэропланы —
Стук мотора стучит в ушах.
Закукурекал бы, да головы нет, давно оттяпана!
Поймите же, быть пришельцем в своей, а не чужой земле — это проклятие.
И это проклятие — удел мой.

* * *

Все разорено, пусто место, остался стол — во весь человечий рост велик сделан.
Обнаглелые жадно с гиком и гоготом рвут на куски пирог, который когда-то испекла покойница Русь — прощальный, поминальный пирог.
И рвут, и глотают, и давятся.
И с налитыми кровью глазами грызут стол, как голодная лошадь ясли. И норовят дочиста слопать все до прихода гостей, до будущих хозяев земли, которые сядут на широкую русскую землю.

В-е-ч-н-а-я п-а-м-я-т-ь.

IX

Путь из Москвы в Ессентуки был так же неуверен, как из Чернигова в Москву.

Все растормошено: станции, вокзальная публика, пассажиры.

Не революция — «революция везде прошла мирно», война, ее хвост, выворачивающий нутрь России — развал, распад, раздробь.

И в вагоне не поймешь, о чем больше: о войне или революции.

В Ессентуки приехали с большим опозданием и, оказывается, сейчас же надо билеты обратно —

а то уж на несколько недель все распроданы!

Эта новость куда важнее, чем Государственное Совещание и выступление Корнилова, и с этими обратными билетами много связано и хлопот, и страхов.

И в санатории, как и везде, та же растормошенность и то же «по военному времени».

Революция вылезла забастовкой: забастовка «служащего персонала», а во время Корниловского выступления — в «шпионстве», когда, пользуясь удобным, сводили счеты.

Прошлым летом в санатории жил В. Г. Короленко. Ни тормошащая война, ни забастовка не изгладили о нем память. И через год много об этом говорилось и почему-то ждали, что и опять приедет.

— Вот если бы был Короленко, этого не допустили бы! — часто слышишь.

На видном месте висело несколько групп, где был снят Короленко и с ним все, кто только успел записаться у фотографа.

* * *

Прошлым летом В. Г. Короленко жил в санатории д-ра Зернова, и дорожка к нему была протоптана: не было, кажется, ни одного из приезжих, кто бы не прошелся по ней — если и не к самому Короленко, то по крайней мере к дому так посмотреть, не пройдет ли, не выглянет ли?

Те, кто жил в доме по соседству с Короленко, были счастливейшими людьми и столь же счастливыми считались все, кому удавалось в столовой сидеть за одним столом с Короленко.

С Короленко мог познакомиться всякий, и очень просто: или просто подойти, когда он шел к источникам, или через Митропана.

П. А. Митропан, молодой прапорщик, тогда начинающий писатель, лечился в Ессентуках: он из Полтавы, близко знал Короленко и Короленко любил его: с удивительно чистыми глазами, кроткий, никакой не военный, но и не расхлябанный, крепкий и в плечах, и в слове.

С Митропаном я сейчас же познакомился, а с Короленко я только здоровался.

Разговаривать так, как с Митропаном, я не мог: мало ли когда глупость какую скажешь или чего сморозишь, с Митропаном все сойдет, а с Короленко так неловко.

Мне Короленко представлялся, да так оно и на самом деле было,— очень занятым человеком всякими тяжелыми и трудными делами других людей, и не безразлично,

а с сердцем — «с желанием» и с думой о каждом таком деле.

Таких людей мало и редки, и бережно подходишь к таким.

Я не знаю, должно быть, это и всегда так было, но, начиная с войны, особенно стало резко выступать, а уж в революцию совсем выперло: самые вопиющие поступки, самые позорные дела стали объяснять, а тем самым и успокаиваться, ничего не значащими словами, вроде «по тактическим соображениям» или «военное время», или «революция», или «с массовой точки зрения».

И то самое, что без «тактического соображения», без «военного времени», без «массовой точки зрения» просто называлось убийством, предательством, подлостью, тут сходило за обыкновенное и принятое и нисколько не возмутительное, о чем можно было говорить легко и даже с улыбкой.

И такое с войной стало входить в самую сердцевину человеческого.

И когда я думал о Короленко после встреч в столовой, на дорожке и у воды, как он смотрит и отзывается, мне ясно представлялось, насколько чужд он всему этому — и вот в чем отличие его, и потому-то дорожка к старому зданию санатория протоптана и потому же столько счастливых людей ходит в Ессентуках.

Я думаю не потому только, что Короленко «знаменитый» русский писатель, так всех тянуло хоть пройтись по одной с ним дорожке; конечно, и такие были, но именно вот это — это отличие: его встреча и его проводы «человека», с которым сталкивала судьба —

> человек есть человек и при всяких «соображениях», и при всяких стихийных явлениях, и при каждой точке зрения остается человеком, который может не только есть и пить, но которому больно и мучается.

У нас случилось несчастье: умерла мать С. П. Телеграмму переслали из Петербурга. С. П. была в отчаянии. А ехать все равно невозможно: и поздно, и по такому затору (военное время!) в неделю не доберешься, да и С. П. лежала больная.

Наша соседка учительница Надежда Павловна из всех самая счастливая: она нежданно-негаданно встретила, как сама выражалась, «светлую личность» и могла разговаривать, а кроме Короленко в том же санатории

жил Ив. П. Чехов, и она, как и многие, смотрела на него, как на Антона Павловича.

Надежда Павловна, хорошая барышня, рассказала Короленко. И Короленко пришел к нам.

Конечно, и по его мнению, ехать невозможно было.

Обыкновенными словами говорил он об этом и так еще рассказал о деревне, как он когда-то косил.

И от его слов стало покойно и мирно.

В тяжелые минуты даже и без слов один взгляд человека может многое сделать для души!

Потом, когда С. П. оправилась, она часто встречалась с Короленко.

Я купил красного зайца: необыкновенно — красный! а ус черный, глаза — пуговицы черные и без хвоста. Заяц изумительный: «он смотрел и все понимал». И я не расставался с этим зайцем и всем его показывал, теребил за ус и повертывал.

— Владимир Галактионович,— не удержался я,— какой чудесный заяц, погладьте!

Короленко взял моего зайца и совсем ласково спросил меня, смотря еще ласковее:

— Вы убеждены, что неодушевленные предметы чувствуют?

Для меня в ту минуту было это так несомненно, я так носился с этим зайцем, и на такое у меня просто не было слова ответить.

Короленко уехал в Полтаву еще в теплые дни.

А мы, сколько нас оставалось, в первые холодные, развозя всякий по своим местам память о необыкновенном человеке, в душе и слове которого столько тепла и света — покоя и мира.

Потом в Германии однажды летом в Breitbrunn'е на Ammersee посчастливилось нам встретить Маргариту Моргенштерн и познакомиться с Michael Bauer'ом, редчайшим человеком — большого света!

Что-то родственное с Короленко, только я так бы сказал: у Короленко не было «слова», а у Бауера такое «слово», которое различает и именует.

У меня нет такого слова, я чего-то не знаю и только чувствую, и потому, говоря так, я только намекаю, чтобы как-то сохранить образ человека.

Встретить *человека* — это великое счастье!

* * *

И вот самые важные дела — «билеты обратно» и «ванну достать» (по военному времени и революции это не так просто!), и всякие события — «Государственное совещание», Корнилов, пропадали, когда начинал кто вспоминать о прошлом счастливом лете — о Короленко, который тут вот жил в старом здании, а обедал за вот этим самым столом, и все его видели и могли с ним разговаривать, а вон и карточка, где сидит он с Ив. П. Чеховым, а кругом все, кто успел записаться у фотографа.

А фотограф, восчувствовав, кого ему посчастливилось снять, вспоминая, хватался за голову: почему не снял больше карточек и во всех видах и положениях — а то нет ни у источников, ни около ванн, ни в аллее на прогулке.

— Скажите мне, что я дурак! — в отчаянии говорил фотограф, развесив и во вне и внутри своей фотографии карточки, где все мы были с Короленко и Ив. П. Чеховым.

В рассказах всякий старался: повторял слова и сказанные Короленко, и не сказанные Короленко.

Да, великое счастье встретиться с человеком!

И это на всю жизнь.

X

Из газет:

«Я повторяю, что внутренние враги именно капиталисты, большие и малые, и разные торговцы».

«Я предлагаю съезду на местах произвести баллотировку и каждый, на кого падет жребий, должен убить одного буржуя».

«Я готов даже сейчас убить одного буржуя!».

* * *

На состоявшемся митинге было решено: убить трех служащих, а остальных избить хорошенько и прогнать сквозь строй.

* * *

Минаева нарядили в женскую юбку, на голову надели мешок, а в руки дали лопату с надписью: «За тридцать серебренников продал свободу!» В таком виде до поздней ночи водили несчастного по селу, заставляя кричать: «Я член продовольственной управы за тридцать серебренников продал Временное правительство!»

* * *

Монах Иннокентий поселился в саду Липовецкого монастыря, сад окрестил «раем», а себя Христом: «он на белом коне поедет на фронт и прекратит войну!».

XI

— Извините, пожалуйста, вы господин Короленко?
— Не-ет, какой я Короленко!
— А мне сказали, тут Короленко!
— Бы-ыл, только это в прошлом году.
— Экая досада... А может, в Пятигорске?

Я посоветовал написать в Полтаву, если какое дело: Короленко ответит.

Так и разговорились: оказалось, служащий от Перлова, приехал лечиться — сколько лет собирался и вот с революцией выбрался.

Помню, в Пензе был один, днем переряживался он китайцем, и китайцем стоял в магазине для привлечения публики и ни слова по-русски, и заговорит только после службы! как оденется опять в «гражданское» платье.

Я обрадовался встрече — что-то мне напомнило того пензенского китайца! — а с таким разговаривать не соскучишься, он свое дело знает, и стал я расспрашивать, какие бывают чаи и в чем какая разница и всякие названия, что такое «тюльпан» и что такое «роза», и почему «любительский», почему обертки разные,— разноцветные, и что все это значит?

Объясняя мне всякие чаи — сорта и названия (все дело в названии!) он нет-нет да чего-то спохватится.

— Тут одно дельце,— не вытерпел, наконец, и вынул из кармана лоскуток бумаги,— приятель в Кисловодске, т. е. не то что приятель, хотел помочь человеку через

господина Короленко, и такой вышел ералаш. Можно вам оставить для просмотра? Человек-то хороший, а сомневается. Что-нибудь исправить или как думаете?

* * *

«Я нижеподписавшийся московский купец варшавской фирмы «Свет» по взаимному согласию с Марией Степановной решили жить гражданским браком, а потому я обязуюсь выполнить следующие условия:

1. Во время пребывания на курорте в Ессентуках выдать ей за месяц с 10-го августа по 10-е сентября пятьсот (500) рублей.
2. Когда переедем в Москву, я буду выдавать, пока не будем жить вместе, по 500 руб. в месяц.
3. В обеспечение ее дальнейшего существования я обязуюсь за каждый прожитый год со мной выдавать ей или вносить на ее имя в Государственный или Частный Банк по 5.000 руб. (пять тысяч рублей), начиная считать первым годом с 1 августа 1917 г. по 1 авг. 1918 год, если между нами не произойдет разногласия.
4. Если Мария Степановна пожелает взять своих двоих дочерей, я согласен и обязуюсь дать им полное содержание и воспитание, а также обеспечить в будущем.
5. В случае моей смерти я завещаю ей, как гражданской жене, ту часть моего состояния, какая полагается по закону гражданской жене.
6. Марья Степановна со своей стороны обязуется быть любящей и верной гражданской женой, а кроме того, обещает она, пока не будем жить вместе, приходить ко мне каждый день.

Подпись.

Я нижеподписавшаяся на все вышеуказанные условия согласна и обязуюсь все исполнять, как честная гражданская жена».

XII

Проходил медведчик с медведем — медведь Шурка — с медведем и с обезьяной.

Пел медведчик медвежью песню — песней и начиналось.

А медведь показывал —

как кисловодские кухарки ходят,

как барышни танцуют.

Это я все с балкона видел в соседнем саду.

* * *

Иду ужинать в столовую: медведчик вижу — медведчик с медведем и обезьянка — обезьянка идет — старается по-медвежьи — —

А сзади ребятишки:

и страшно, и любопытно,

и хочется поближе, и медведь съест!

Я пошел с ребятишками сзади.

Впереди медведчик с медведем, за медведем по-медвежьи обезьянка, а за обезьянкой нас ватага:

и страшно, и тянет!

* * *

Не видно ни Бештау, ни Верблюда, ни Быка. Я больше всех люблю Верблюда. Дождь.

В Пятигорск за билетами.

Очередь — хвост, или как в Германии, die Schlange — змей.

Прошлись по дорожкам Лермонтова, заглянули во все уголки, где жил он, и туда, где была дуэль.

И опять в хвост.

Я думал о Лермонтове — о лермонтовской «прозе»: игольчатой, светящейся демонской иглой.

Подходит девочка-нянька и с ней две совсем маленькие:

— Запишите!

— А вам куда ехать?

— Никуда.

— Зачем же вас записывать?

— Запишите!

— Да куда же?

— На материю.

И только я ей сочувствую — смеются! —

— Керенский убит, Корнилов диктатор.

— Диктатор Каледин, а Корнилов объявлен изменником: а за то, что солдатам обещал в неделю кончить войну, а отдал Ригу.

Сегодня Ивана Постного — «Пляс Иродиады!».

— Если в этот день поститься, голова никогда не будет болеть.

— В Бологове путь закрыт.

— Посредники: Алексеев и Милюков.

Ну слава Богу, билеты в Петербург есть.

И я в тысячный раз говорю себе: «Никогда никуда!».

* * *

К вечеру прояснилось — билеты тут! — ожил Бык и Верблюд. Я и Быка люблю! А там в тумане — дымящийся демонский «мохнатый» Машук.

Я шел по аллее к лавкам купить табаку.

Меня остановила маленькая девочка.

— Стань — сказала она,— я тебя сниму.

Я посмотрел в ее лукавые глазенки.

— Ну, снимай! — говорю.

Она вынула коробочку, пальчиком там повела, как фотограф делает.

— Готово! — и подает виноградный листок: — вот ваша карточка!

Навстречу шли солдаты: впереди в штатском — вели офицера.

Видно: очень взволнован, молодой еще; загар в лицо бросился.

— Смотрите, солдаты! А я думала их уже нет! — крикнула вдогонку какая-то простая женщина.

А я вспомнил из газеты — Церетели:

«Несознательные элементы армии!».

И пошел дальше за солдатами — билет тут и виноградный листик!

Точное есть по-немецки слово «verhaften» — «задержать» — что-то близкое с нашим «схватить».

И мне неспокойно стало — чего-то неловко.

«Революция — контрреволюция, verhaften — схватить...»

XIII

В горячие дни — а теперь опять все горит — я чувствую, идет со свежим утром, с туманами, а ночами вся-то звездная —

осень.

И в мое окно —

кремнистый путь блестит —

* * *

Сегодня во время ужина обходил столы какой-то офицер из санатория, собирал на больного учителя. И этот учитель с ним же — докторское свидетельство показывал: куда офицер, туда и учитель.

Горло завязано и так смотрит — ну, так как-то — и до чего так эта беда унижает!

Смотреть больно.

Так вот оно что это значит? —

кремнистый путь блестит —

* * *

—— мы живем в Зимнем дворце, там же и Иванов-Разумник. У меня в комнате замечательный ковер — красный пушистый бобрик. Карташев читает свою драму о кофее — «карташовский кофе»: первый кофе — настоящий, а когда воды подольют — «карташовский». Бывшие царские лакеи обносят кофеем. Отхлебнул я — кофе карташовский! Карташов читает драму. В конце первого акта появляются ведьмы. И на самом деле они явились, я это почувствовал. А Карташов стал раздеваться: на нем холщовые штаны, он их снял через голову. И пропал. Пропал и Иванов-Разумник. И хозяин Александр Федорович Керенский, который зашел было пьесу послушать. И я остался один. И вот они стали заходить кругом — я не шевелился, как скован, ждал — и одна за другой стали они вокруг. Я видел только лица — какие, ой, какие — беспощадные! Если бы я протянул руку, моя рука отсохла бы. Они смотрели — буравчики буравили

из стеклянных глаз. А сила их была неподъемная. Какие слова? какое чувство — — ну что вы? что вы хотите?

. . . .

И я открыл глаза — луна! — в окно —
кремнистый путь блестит —

XIV

И опять дорога — Ессентуки — Москва — Петербург — и еще неувереннее и суматошнее.

Поезд подолгу стоит в пути — «топлива нет». А перед нами было крушение: товарный сошел с рельсов.

— По инерции,— объяснил кондуктор и чего-то задумался,— нет, Василий Иванович, этот номер не пройдет.

И долго повторял, добродушно укорял Василия Ивановича.

— Не Василий Иванович,— поправил какой-то,— а Александр Федорович!

— Александр Федорович,— обрадовался кондуктор,— Александр Федорович *Керенский.*

По дороге вдогонку, как шлепки, солдаты:

— Бей буржуев!

А в вагоне путаница: кто с плацкартой, кто без, не разобрать.

Одну ночь я проспал наверху, «схвостившись» (по-современному: «сконтактовавшись») с соседом, а другую вот сижу на тычке.

* * *

— — личное оскорбление,— тянул какой-то жулик,— совесть не позволяет —

— — — стыдно и грех, за рукав тащут: не поступишь в союз, тебя мешком закроют —

— — — готовы шкуру содрать —

— — — а у меня кружку украли: поставил греть у источника, хватился, нет, украли —

— — — речами Керенского кричит бессилие —

— — — накачнется на шею, в острог попадешь —

— — — солдаты шли из-под палки, а когда палку взяли, они и разбежались —

— — не все —
— — Маша без души осталась из-за штиблетов: украли! —
— — хоть в бутылку полезай, деваться некуда —
— — озаровали... свобода! свобода для пьянства, лежи на боку! —
— — я мальчик молоденький, пятьдесят лет у хозяина служил, без Бога не до порога —
— — от одеколону дурман на полчаса —
— — ноги у него обвязаны вроде шпиона,— солдатский депутат.—
— — нет, это хорошая барыня —
— — когда лучше было: при царе или теперь? —
— — и тогда и теперь —
— — нет не так —
— — нет теперь лучше: я возьму у тебя мешок и мне ничего не сделают, а при царе в суд —
— — русское царство затеснится, русское слово уйдет под спуд, русским людям одно останется — молитва —
— — я больше всего люблю танцы: как они красят самого обыкновенного человека. А оттого, что в движении полет: хоть чуточку от земли —
— — это как бы умер любимый человек. И вот эти дни прожил я, как у постели умирающего. Сердце мое было расколено. А сегодня я понял и принял судьбу, как очищающую кару —
— — да, или умереть, или принять —
— — а она совсем с толку сбилась. Говорит уж сама с собой, и не с собой, а с тряпками. «С людьми,— говорит,— уже не могу, так с тряпочками!» —
— — вот вам бескровная революция —
— — или умереть, или принять —
— — на трех китах жила земля. Был беспоря-док, но и был устой: купцы торговали, земледельцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали. Все перепуталось —
— — приехал батюшка молебен служить. Всегда служил на Троицу. А тут встретили неодобрительно. А двое парней — беглые с войны — взяли да и выкололи глаза Николе: «Этакую икону,— говорят,— самим можно написать, это дело человеческих рук!». Была засуха да вдруг ливень, и с градом. Возвращались парни из деревни, перекувырнуло лодку, они и утонули. И ехала с ними девчонка, ту волной к ракитам прибило, одна она

и уцелела: нашли полумертвую — оглохла и ослепла —

— — — а девчонку-то за что —

— — —

Я заглянул в окно — Москва! — а ничего не видать: дождь.

XV

На вокзале в Петербурге встретил нас Иван Сергеевич и Любовь Исааковна: И. С. по обыкновению молча, а Любовь Исааковна и удивленно (как могли мы назад приехать, когда все уезжают и она сама уже на отъезде!), и встревоженно:

— Курица 5 рублей!

«Курица 5 рублей!» — дело не в курице, и в мирное-то время, когда она стоила 75 копеек, когда мы ее покупали! дело в рублях.

И не в пяти рублях, а в ста пятидесяти!

Дома нас ожидало много неприятного и неожиданного и все с рублями: сейчас же явился старший дворник — платить за квартиру, но главное-то эти полтораста...

> Перед отъездом загодя я дал их знакомому, чтобы тот внес в срок, а знакомый-то, и такой всегда точный, а тут за делами, должно быть, забыл и уехал, и вот надо опять платить — требуют! — и нечем.

Посмотрел я на свою комнату: рыжие тараканы.

Без нас наползли: плохо! Это нищета ползет.

А все-таки дома, это я так почувствовал в первый же день.

Тяжело там — хотел сказать «по заграницам!» — тяжело по «градам и весям», где всем есть до тебя дело и никому до тебя.

Осенний ясный день.

И только жуткий вихрь носится над Петербургом.

XVI

Который день я с утра выхожу из дому —
надо достать этих денег!

Не знаю, что и делается на свете, не успеваю прочитать газету.

Заглянул случайно: «Демократическое совещание» — и запомнилось из слов:

«Да здравствует бессмертная революция!».

А надо достать денег — 150 рублей! И еще объясниться, что нет таких денег, но что непременно заплачу.

И все «бегут» из Петербурга: кого пугает революция («что еще будет!»), кого голод («с продовольственным вопросом не справятся!»), кого немцы («взяли Ригу, возьмут и Петербург!»), а с немцами — аэропланы! И не знаю уж, кого просить.

— Да здравствует «бессмертная» революция!

XVII

Сегодня в первый раз с нашего приезда затопил я печку.

Иван Сергеевич из дому получил посылку: масло, мед и еще что-то, не помню.

Когда я стоял у плиты,— пасмурный день, моросит с утра,— я почувствовал вдруг, как мне — как через голову мою черное что-то прошло, точно черное облако.

Сразу же схватился — это было глубочайшее чувство.

И прошло — и только осталось: чего-то мне тоскливо.

И я подумал, это от всех дней беготни, объяснений, просьб, отказа, от этих дней, когда с утра выходил из дому, чтобы просить.

Вернулась домой С. П.— она тоже все эти дни ходила — сели обедать.

«Иван Сергеевич посылку получил!» — а мне все равно.

Пасмурный вечер. Ко всенощной зазвонили. Завтра воскресенье.

Хотели к Федору Ивановичу пройти — это Ф. И. Щеколдин нас выручил: неловко нам было обращаться к нему, ведь он и те 150 пред нашим отъездом дал! — Ф. И. на Кронверкском, где Горький. Боюсь: сыро, дождик, темно.

И не пошли.

Попили чаю одни.

Позаниматься бы, а ничего не делается. И на месте не сидится.

И стал я оклеивать стену «серебряной» бумагой — из-под шоколада мне собирали, много у меня ее было.

И так до глубокой ночи — и спать не хочется.

Лег все-таки —

XVIII

—— распростертый крестом, брошен лежал я на великом поле во тьме кромешной, на родной земле. Тело мое было огромадно, грузно, неподвижно; руки мои — как от Москвы до Петербурга.

Скованный тяжестью своего поверженного тела, я лежал колодой, один, покинут, в чистом поле на русской земле; и были ноги мои, как от гремучей Онеги до тихого Дона.

Огненная повязка туго — венчик подорожный — «Святый Боже» — туго крепким обручем повивала мой лоб; и сквозь кости пламя жгучим языком жгло мне мозг.

И вот стужа невыносимая, холод невозможный — в звездах в крещенские ночи, помню, ударит, бывало, мороз,— такой вот мороз, но беззвездный, во тьме кромешной заледенил мне сердце. И я весь так и затрясся, так всем своим скованным, своим брошенным телом, немилосердно — увв-в! — стучу зубами.

И слышу из тьмы бесприютной холодной ночи старый дедов голос:

«Собери-ка, сынок, кости матери нашей, бессчастной России!».

А я трясусь в злой стуже, а жгучий огненный венчик жжет мне мозг, я — кость от кости, плоть от плоти матери нашей, бессчастной Руси. И принимаюсь я загребать кости со всего великого поля в одну груду. А их так много, костей разных, гору нагóришь.

Загребаю я кости, спешу, и знаю, одному никак невозможно, и также знаю, что надо, а не соберу — все пропало, знаю, собрать надо все вместе и вспрыснуть живой водой, и тогда оживут кости и снова станет, подымется моя бессчастная, покаранная Русь.

«Собирай, сынок, потрудись!» — слышу опять дедов старый голос.

Подняться бы и все бы, кажется, справил, да сил больше нет,— из последних, Господи, крестом распростерт лежу в чистом поле и нет сил подняться.

Загребаю, спешу, загребаю — кость к кости, а конца не вижу. Совсем обессилел, не могу уж.

Пластом лежу неподвижно.

На минуту стужа отпустила меня, и только тут горит.

Открыл я глаза, смотрю ——

А на холмике — там церковка, а ко мне холмик — старик, вижу, старый, волоса под ветром растрепались, оборван весь, а глаза запали, горемычные.

Да это Никола наш, Никола Милостивый! — узнаю я,— вышел, стоит горемычный над поверженной бессчастной Русью.

Тут какие-то парни лезут на холмик, гогочут. И один говорит другому:

«Павел, дай ему в морду!».

И я вижу — парни лезут, гогочут — а он горемычно стоит, как не видит, и вдруг выпрямился весь и глаза загорелись гневом.

А Павел —— Павел поплевал на кулак,— пригнулся ——

* * *

«Жажду! Жажду!»

Я сполз с кровати, поставил на спиртовку чайник — воды себе скипячу — утолить мою лютую жажду.

И едва дождался. Казалось, часы прошли, пока не закипело.

Стакан за стаканом — глотаю большими глотками — огненные куски!

Неутолима жажда моя.

«Жажду! Жажду!»

Дополз я до умывальника, открыл кран, полил в пригоршню холодной воды — и вода в моих руках обратилась в пламя.

Пламенем я умылся.

«Жажду! Жажду!»

Слышу, говорят:

— Уксусом натереть надо.

А я, валясь на кровать, как последней милости прошу:

— Уксусу бы мне выпить!

И тут опять стужа напала на меня и затрясла немилосердно,— и я трясусь всем моим измученным телом, немилосердно — ув-в-! — стучу зубами.

* * *

Я вскочил с кровати — спиртовка пылала: отверстие, куда вливают спирт, забыли закрыть, и вот с двух концов пылало.

И не духом, руками я погасил пламя.

Мои руки, как пламя.

Кричу:

— Не берите руками горящие предметы, горячо, обожжетесь!

Но моего голоса не слышно.

И в смертной тоске я подбираюсь весь, свернулся в комок: стужа хлещет меня, а голова, как спиртовка, подожжена с концов, пылает,— вот разорвет.

— Приехал из Москвы скопец Иван Дмитриевич,— говорит сосед матрос Микитов,— на Москве украли царь-колокол!

«Украли царь-колокол? — повторяю и обида жжет,— «когда зазвонит царь-колокол, восстанут живые и мертвые!» Вот тебе и восстанут! А вот возьмет дворник метлу хорошую и сметет всех воров с русской земли, как сохлые листья, сметет в помойку».

И опять кричу:

— Не берите руками горящие предметы, горячо, обожжетесь!

Но моего голоса не слышно.

А Иванов-Разумник с пудовым портфелем, как бесноватый из Симонова монастыря.

— Это вихрь! на Руси крутит огненный вихрь. В вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет

наш скифский вихрь. Перевернется весь мир. И у кого есть крылья — —

— Уж народ-то больно дик, ничего не поделаешь! — горюет Шишков, простуженный.

Тут и Замятин, вижу, в сереньком, только что из Англии вернулся, еще на человека похож, осторожно прислушивается.

И Пришвин с электрическим самоваром в руках.

— Михаил Михайлович,— прошу,— дайте ваш электрический самовар на одну ночь, спирт у нас кончился.

— Я вам молока пришлю. Два рубля бутылка.

А сам крепко держит самовар, не выпустит.

— У Ивана Алексеевича халтура поправляется,— смеется Микитов,— продал два вагона кофею, а кофий — из голубиного помета.

«Да, как сохлые листья в помойку! — повторяю я, и обида душит меня,— погубили Россию! Последние головни горят. И осталось русское сердце — сапогом его! — и слово — да черта с этим словом, пиши и говори по-тарабарски! Кара? Нет, это суд Божий. Царь-колокол воры украли!»

И опять кричу:

— Не берите руками горящие предметы, горячо, обожжетесь!

Но моего голоса не слышно: мое слово воры украли!

И я лежу, свернувшись в горящий комок — последняя головня.

А из соседней комнаты слышу: это «дебренский старец» Иван Александрович о России — о чем же еще? — о России, ведь о ней все думы.

— У России душу вынули.

И слова его, как гвозди.

И вдруг я увидел — и мне в огне моем стало покойней,— в ногах у меня по стене длинная повисла змея:

голова змеева, а рот человечий! внимательно так смотрит, надолго повисла, крепко.

И я понял: — что страж мой, и будет со мной неизменно.

И за шкапом показались две морды:

уши ослиные, борода козья, а глаза
умные песьи — кланяются.

И из-за железной печки мелькает и вьется — —

И я понял: мне не подняться.

* * *

Вижу нашу тесную прихожую —
Входит Микитов, огромный, черный, в черной балтийской матроске:
«Я три ночи не спал,— места себе не нахожу, так и побежал бы. И бежал бы, пока хватит духу. Нет, Россия не может погибнуть! Земля дремучая — по кустам, по ельнику прячется дремучая сила, молчит. Только ее имени не знаю. И как назвать? Иду я по Невскому, руки горят — «Иван Сергеевич,— говорю,— посмотрите: прогнивает от неправды человеческое сердце. Кровь — три года нож и пуля! — кровь и грязь — все хватком, все нахрапом, «не обманешь, не купишь!» и нет милостыни мира, только для себя,— озверело наше сердце. Бессовестье душит Россию. Гневом дремучего сердца обличите вы эту неправду, эту ложь, кровавую мару».
А он ничего. Вышел и дверь прихлопнул.
И вижу, опять входит, несет кожаную подушку в белой наволочке и в угол ее, потом принес другую, а потом третью и все в угол, одну на другую.
Белые подушки поднимаются в углу, как белая крышка гроба.
Белую крышку гроба вижу в углу нашей тесной прихожей.

* * *

Лежу в огне, горю — стужа больше не трясет — стреляет в ухо, горю.

Горю в огне. Кашель душит,— рвет глотку. Душит ржавь.

И не могу остановиться, не могу остановить мысли: они — как вихрь.

И я выговариваю все мои мысли: боюсь, разорвет.

Я говорю, говорю, говорю и не знаю, чего говорю, я выговариваю мысли: они как вихрь. Стой! передохнул и опять: не то разорвет,— говорю, говорю, говорю.

Я жду чего-то.

Приходят в дом, слышу, стучат дверью, но разговора не слышу, как онемели. Все затаилось, ждут чего-то.

За стеной, в соседней квартире, ребенок плачет,— помню, по весне появился на свет,— плачет и плачет. Потом девчонка-нянька, укачивая, поет песню. И мне чего-то жалко, жду чего-то и чей-то голос зовет:

дам тебе я на дорогу —

Лежу в огне, горю. Стреляет в ухо. Душит ржавь. Горю.

Мой неизменный страж — змея.

Змея по стене в ногах.

Седой дым ползет. За дымом комнату не узнаю.

Просторная и высокая, не та.

Седой дым ползет по потолку.

«Прости,— говорю,— белая рубаха, кипарисовый сольвычегодский крест, дощатый гроб».

И чей-то голос зовет:

дам тебе я на дорогу —

И чего-то жду, и жалко мне.

Сторожит змея —

горько раскрыта пасть.

И ходят по углам в дыму, прячутся, крыят —

один, как на ходулях, маленький, пузатый, торчит пупок.

И опять говорю, говорю, говорю — мои мысли, как вихрь: разорвет — говорю, говорю, говорю.

* * *

Поздно вечером приехал доктор.

Первый раз вижу. (Афонский — он меня знает — приедет только завтра.) А этого позвали, я понимаю: очень со мной беспокойно.

Доктор слушал, нырял, выстукивал.

— Крупозное воспаление. Левое легкое — на почве алкоголизма.

Тут я как очнулся: всю вижу, комнату, только сквозь дым.

— Я не пью!

— На почве алкоголизма.

— — —

Закрыл крепко глаза и покорился.

А в доме затихло, и по соседству тихо.

* * *

Лежу под огненным покровом.

— Матерь Божия, спаси, спаси! — слышу неотступно и жарко.

А я покорился.

И представляю себе, — «на почве алкоголизма»!

— ночь, я иду в Москве по Долгоруковской, пробираюсь к знакомому кабаку, «где торгуют дольше, чем в других». Я знаю такие кабаки. Осень, грязь, луна серебрит булыжник. Остановился у фонаря, крепко зажал в руке медь ——

— Матерь Божия, спаси, спаси! — слышу неотступно и жарко.

Зажег я огарок, поставил на стул, плюхнулся на диван. Догорает, чадит, а потушить не могу. Опустил я палец в раскаленный подсвечник ——

— Матерь Божия, спаси, спаси! — слышу неотступно и жарко.

В отхожее место в угол я запрячу бутылку, запрусь. Господи, измаялся я и нет мне выхода! И вижу, сижу я у Спасской заставы в «Гробу» — трактир третьего разряда,— и Мозгин Мишка со мной, остекленел весь, пропивает крест. В Новоспасском монастыре ко всенощной звонят.

— Матерь Божия, спаси, спаси!

И не могу я подняться, лежу пригвожденный под горящим покровом, жестким, как из чертовой кожи, не могу стать с огненного креста моего, из костра палящего, а стать бы мне на ноги и в последний раз —

последний раз

поклониться до самой земли

сердцу человеческому, изнывшему от обиды, утраты, раскаяния,— сердцу, задохнувшемуся от неправды нашей — сердцу щадящему и жалостливому во власти беспощад-

ной суровой судьбы,— сердцу, надрывающемуся в смертной тоске —

Тройным рыданием зарыдал бы я — —

* * *

— — пробил я черепом дно моего дощатого гроба, полетел сквозь землю — на мне белая рубаха и крест кипарисовый — «Мать сыра-земля!».

— — вниз головой лечу в земле через земляную кору — кости и черепа, куски тела, перст и прах — чую состав земляной, сырь, чую запах земли —

«Мать сыра-земля!».

— — прорезаю земляную кору, недра земли — песок и камень; камень пробил, сквозь камень лечу — в огонь.

Огонь, как море в грозу!

Нырнул в огонь,

И иду под огнем, как под водой, иду в самую жгучую глубь.

И как из шайки, окачивает огнем.

Сердце, как голубь, вот дух перервет.

И вдруг вижу: над головой синее небо и сквозь небесную синь светят звезды!

К звездам высоко лечу над землей — на мне белая рубаха и крест кипарисовый —

«Сестры-звезды!».

Я лечу над землей, звезды горят, и память горит! как звезды —

о тех, кто тоскует —

кто не находит места себе на земле —

кто глухими ночами безнадежно бьется о стенку и просит и молит безнадежно — —

«Сестры-звезды!».

В вихре несусь я на звезды — дух во мне занялся и сердце стучит — в звездном вихре несусь я.

Все мне странно — и огненный столп, и косматые звезды, и, как огонь, золотая парча, и крылатые очи.

Золотые запрестольные иконы, ликов не вижу,

золотые крутятся в вихре, но я узнаю: это ангелы Божьи!

И я руки мои простираю:

«Здравствуйте, ангелы Божьи!».

И подают мне ангелы Божьи свои горячие руки.

И я, как подожженный, взвиваюсь огнем и огнем несусь в небеса.

* * *

Был доктор Афонский. Стучал и слушал. Какой он чего-то сурьезный. Завтра кризис. Велел камфору вспрыскивать и банки.

Когда смеркалось, вошел Философов. Вошел он как-то боком и стал боком, на меня не смотрит.

Или дым мне глаза застилает?

— Дмитрий Владимирович! — здороваюсь.

И вспоминаю, как в Вологду посылал он мне «Мир Искусства», и как в первый раз я пошел к нему в Басков переулок (это в первый самовольный приезд мой в Петербург, который я тогда же с первого дня полюбил).

Хочу спросить о Савинкове.

А Философов не дает говорить.

И правда, мне говорить очень трудно.

— В «Русском историческом журнале»,— говорю,— есть о московской бане XVII века. «Бани древяни; пережгут камение румяно, разволокутся нази, облиются квасом уснияном, возьмут на ся прутье младое, бьются сами...».

И вспоминаю Розанова, Егоровские бани в Казачьем, соседи мы были.

— Розанов в Сергиев Посад переселился! — говорит Философов.

И слышу, Савинков:

— Я всеми грехами грешен, но родине и свободе я не изменял.

— Борис Викторович, а что такое свобода?

И вижу страж мой — змея на стене в ногах: горько раскрыла пасть:

«Свобода?».

И я ищу такую точку, так скорчиться мне и извиться, чтобы упереться и откашлянуться. Ржавь меня душит.

«Свобода! — Был человек связан и скован, освободи-

ли: иди, куда знаешь! делай, что хочешь! — ну, веревку и прячешь, а то неровен час, вон крюк в потолке крепкий — —»

А на воле подымается ветер, в окно стучит, вольный.

Когда ставили банки, очень было страшно: пламя синим языком стоит в глазах.

А на воле ветер так и рвет, так и стучит.

Слышу:

— Печку невозможно топить, очень сильный ветер.

На воле ветер — все семь братьев вихрей — стучит железный, крутит, вьется над домом, над Островом, над Петербургом.

«На Руси крутит огненный вихрь. В вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир».

И ищу такую точку, так скорчиться мне и извиться, и откашлянуться. Ржавь меня душит.

* * *

Я стою в горной долине не то в Шварцвальде, не то в диком Урале, не то на Алтае.

Там на вершине в темных тучах буря ломает небо, и свистит ветер ужасно, вьюжным свистом трясет долину.

Я весь в белом, золотая стрела пронзает мне левое ухо, и другая стрела в правом боку, и третья вонзается в самое сердце.

Три гвоздя вбиты мне в голову и лучами торчат поверх головы, как корона.

Я знаю: я прошел через землю сквозь самые недра, через огонь, я был в царстве звезд и от звезд в звездном вихре за звезды на небесах.

Я прошел все мытарства, я сгорел на огне боли и смертной тоски, я взойду на вершину. А там шум, свист, грохот, там буря ломает небо —

И я взял трость — эта трость огромадна, как мачта,— и я поднял ее до самой вершины.

«Эй, кто там! Отзовитесь!» — крикнул я, рассекая свист ветра.

И увидел: как на зов мой из клубящихся туч весь в малиновом наклонился ко мне с вершины, щурится — нос утиный.

И я напряг всю мою силу, духом вбежал я вверх по мачте, и стал на вершине.
И стоял среди бури под обломками неба, затаил всю мою боль — сердце мое истекало кровью, из прободенного ребра сочилось, а голова в гвоздях пылала.
Я собрал весь мой голос и крикнул окровавленному миру:
«Станьте! Останови-тесь! — на четыре стороны кричал я с вершины, и голос мой рассекал свист ветра,— пробудитесь к жизни от смерти, откройте глаза, залепленные братскою кровью, переведите дух ваш ожесточенный! Кровавая Мара третье лето жрет человечье мясо, лакнула крови и пьяна, как рваное злосчастье, ведет вас; в руках ее нож — на острый нож вы, братья! в мире есть правда, не кровава и не алчна; она, как звезда, кротко светит на крестную землю!».
Я кричал, рассекая ветер, я кричал всему миру от моря до моря.
И слова мои были, как кровь, как огонь, как камень.
И со словами я выплевывал мою кровь, и огонь, и камень в жестокую долину, где решал судьбу бездушный нож да безразличная пуля.
А над моей головой ломалось небо и свистел ветер ужасно.
И вот, как от удара, сшибло и я упал.

* * *

Свет светит, и небо без облачка чисто —
я лежу у моря на жарине —
Пустынный остров — Оландские острова.
Крупная брусника ковром устилает остров.
Я весь в белом, золотая стрела пронзает мне ухо и другая прободает мне бок, и третья вонзилась в самое сердце, а на голове моей три гвоздя лучами, как корона.
Я лежу на жарине в бруснике — и правое крыло мое висит разбито.

---

* * *

— Фиандра, содержатель веселого дома в Александрии и продавец всяких восточных лакомств, в воздухе раскинул над землей свою палатку, поставил вверх ногами — не знаю, чего поставил, огоньки какие-то,— а вверх ногами он поставил так...— Фиандра чего не придумает! — завел медведчик свою гнусавую волынку — огоньки замелькали, завыла волынка и все задвигалось, зашевелилось, как в первый день творения.

И пошла жизнь.

Я прохожу коридором мимо растворенных комнат — комнаты битком набиты, и все это москвичи из прошлых лет, я знаю их в лицо, и не знаю по имени, это с Бронной и Пречистенки, актеры, актрисы, акробаты, клоуны, натурщицы и просто так, жаждущие искусства и из ночных кофеен с ледяными эфирными руками. Они высовываются из дверей, и глаза у всех раскрыты.

На мне белая рубаха, золотые стрелы и гвозди короной.

«Где,— говорю,— моя комната?»

Тут выскочил какой-то — сюртук на голое тело, показывает: «Вон та со ступеньками!».

Комната со ступеньками — моя комната: тесна и без окон, белая — не белая, плесень густо покрывает стены, и совсем пустая, ни стола, ни стула, ничего, и крашеный пол забрызган известкой.

И пала мне на сердце тоска.

Стою, как в погребе,— такая тоска! — а за дверью прячутся, подсматривают: «Что, мол, будешь делать в своей комнате, как вывернешься?» — и, слышу, воет волынка-медведчик! —

И не знаю я, на что и решиться, и тоска заливает мне душу.

«Спасите! — Спасите меня!» — простер я руки к белой сырой стене —

И сорвался.

И лечу вниз головой через глубокую не-

проглядную тьму, вниз головой на землю.
И вот я на земле — —

Я лежу на земле, обтянутый сырой перепонкой, и не разбитое крыло, прячу я за спиной мою переломанную лягушиную лапку.

Комната освещена ярко. Около моей кровати что-то делают, копошатся. Не пойму ничего. Потом чувствую, как снимают с меня белье: переменить надо свежее.

Кризис наступил.

И мне горько до слез, что упал я и туда не вернуться, что нет ни крыльев, ни золотых стрел, и тех слов не повторить уж, а лежу я — обтянутый сырой перепонкой, и прячу за спиной мою перебитую лягушачью лапку.

Посмотрел я на стену, а змеи нет —
залила огонь и уползла!

Вижу шкап, на шкапу картонка.

И мне горько до слез, что лежу я, глотаю ртом воздух, как лягушка.

И в горечи моей я подбираю мое постылое перепончатое тело, чтобы быть совсем незаметным, и ищу такую точку, так скорчиться мне и извиться, чтобы легче откашлянуться.

* * *

День тяжел, а ночь для меня ужасна. Я боюсь ее душной: не могу отхонуть от кашля.

И измучил я всех.—

Верчусь, как вьюн.

«Простите меня за все эти кашли мои!»

Подобрался, чтобы незаметнее быть, совсем скорчился.

* * *

Вижу я Невский — вода — весь Невский в воде.
«Или Нева разлилась?»
А я не боюсь воды, смело иду и за мною народ бредет — по колено в воде. Дошли до купален.
Тут все и разбрелись.

Я дальше пошел. А там снег, тихо падает снег и ложится на землю чистый, как в крещенский сочельник.

И я чую: тишина, как этот чистый крещенский снег, ложится мне на душу.

* * *

Вот беда! Ночью,— теперь я не так уже кашляю,— когда все заснули, прискакала Баба-Яга и подменила мне ногу.

И я ничего ей не мог: ни сказать, ни остановить. Есть у меня дудочка-кукушка, покуковать бы, да как на грех куда-то засунул под подушку.

И вот правая нога у меня не моя,— костяная!

* * *

Лежу с костяной ногой —

В воскресенье, даст Бог, и встану.

Неловко с костяной-то, да как-нибудь уж.

Лежу, потрагиваю ее, костяную, пеняю Яге:

«Ну, что за радость, добро бы какую взяла богатырскую, а то...»

Очень мне есть хочется.

Все прошу ухи — «демьяновой».

Уж ходил Микитов в Андреевский рынок, да опоздал: с пустыми руками вернулся.

А ночью долго я заснуть не мог: и голодно, и сна мне что-то нет, Гоголя читал, «Вечера».

И только завел глаза, вижу: лежу в нашей комнате, как и въявь лежу, а по бокам у кровати морские черти. Потрогал: черные, шелковые.

«Черти,— говорю,— балтийские, наловите мне рыбу!»

А они и говорят:

«Никак невозможно, завтра воскресенье, а под воскресенье заказано нам рыбку ловить!».

* * *

В воскресенье я поднялся и робко пошел на своей костяной ноге —

Белый свет,— благословен ты, белый свет! — а мне больно смотреть.

«Сестра моя! не достоин я рук твоих и забот твоих. Прости мне жестокое слово и нетерпение мое. Один виновен — один и должен нести!»

Белый свет — благословен ты, белый свет! — а мне больно смотреть.

XIX

Тот день для меня был роковой: я захворал крупозным воспалением легких.

Захворал в ту же пору А. И. Котылев, не знаю за что не раз выручавший меня в моих литературных делах в самое крутое для нас время. И слышу — помер.

А меня спасло.

С. П., ухаживая за мной, не вынесла, и последние дни мы оба лежали.

И это для меня было самым тяжким: ведь все из-за меня! — и я ничем не мог ей помочь.

За неделю, как я поднялся, я написал вот эту мою память о снах и видениях за болезнь — «огневицу» и «вечную память» — слово мое, переговоренное «без слов» тогда еще там, ночью в Кремле, после всенощной.

У меня такая крепь на душе — поет. И мне все любо. Сколько во мне сил сейчас. Чего-то радуется. Слушаю, смотрю —

и чей-то голос зовет меня —

Дом наш переполнен любовью. И эта любовь мне светит.

А сегодня я встретил человека — нежнейшей души.

Это И. С. Биск — старый знакомый С. П.— приходил прощаться.

XX

Вчера опять началось выступление. Но, кажется, есть и прок: будут говорить о мире. Сегодня арестовано «временное правительство» — узнали после обеда.

25 минут 10-го вечера (по моим) с Авроры выстрел!

«Наконец-то Владимир Ильич взял власть!»

Видел во сне землянику: целая корзина, да мыть надо — грязная. И розу, которую положили С. П., уписывал я, как кот куренка. А живем в гостинице.

На другой день из газет:

> «В час ночи в квартиру Цвернера, находящуюся в 6-м этаже д. № 13 по Демидову переулку, влетел артиллерийский снаряд весом около 10 пудов. Пробив стену, снаряд упал на письменный стол. Так как взрыва не последовало, то обошлось без жертв».

ОКТЯБРЬ

I

56 дней — 8 недель высидел я в комнатах после болезни. Я прислушивался к воле за стеной, слушал рассказы с воли и писал *«Россию в письменах»,* по обрывкам документов из «ничего» воссоздавая старую Россию — ее потревоженных китов, без которых она немыслима:

> «баня — печь — ковш - базар — полиция — псалтырь — часовник — патерик — сундук — крест — грамотка — столбец — гадальные карты — странник — оракул — письмовник — календарь — святцы — помещик — азбука» и т. д.

Да потихоньку сидел над *«Временником»* —

> «всеобщее восстание!»

Так и шли дни, перевиваясь снами.

* * *

Поздно вечером разговаривал с А. А. Блоком по телефону: ему кажется все таким мирным. А я ничего не знаю. Тогда (в феврале) была легкость и тревога — рушилась вековая стена. А теперь — даже весело: что-то из всего из этого выйдет? И надолго ли хватит? Смешение тьмы, дикости и самых ярких пожеланий.

> у нас в доме обыск. Солдаты в турецких шапках.

А главный — женщина.
«Вы ездили на Кавказ до станции Смелева?»
«Ездил»,— говорю.
И понимаю: тут не в Кавказе дело и не в Смелеве, тут что-то еще! И действительно, не успел я ответить, как солдаты в турецких шапках пропали, а я жду поезда. И замечаю, что по спешке набрал я в дорогу много лишнего: рваные калоши, линючую новобранку, гимнастические гири, всех цветов сартские тюбетейки, ключи, чулки, банки из-под какао. И все это я выбрасываю, спешу — а вещей гора! А за вещами у золотого пчелиного домика А. А. Блок на костылях:
«Малина,— говорит,— спелая!».

II

Ничего не знаем, как после большого праздника, когда газет не бывает. Министры Временного правительства сидят в Петропавловской крепости. Жалко мне М. И. Терещенку. Звонил Блок: тоже о Терещенке. Вспоминали «Сирин» и все те годы сиринские — какие далекие!

—— входит Владимир Унковский, за ним мальчик из магазина: несет ему пальто зеленое —
«Достоевского!» — говорят.
Керенский наряжен монахом. И какой-то еще весь изможденный, а зовут его Загафедин. Я подумал, этим именем назову какую-нибудь мою игрушку — загафедин!
«А зачем царя спихнули? Надо самим лучше сделаться, а потом и решать!» — говорит Загафедин.
Керенский брезгливо:
«Сам насмородил!» — и оправляется: непривычно ему в монашеском.
«А сказали бы домой идти и винтовку бросил бы!» — Унковский, в зеленом пальто Достоевского, юркнул в картонку. Я умылся грязной водой, а Чуковский плачет.
«Мне,— думаю,— нехорошо, а ему — к прибыли».

А он все плачет.

«Купил — говорит,— карету, а лошадей нету! купил кольца для кур, а и кур нет!»

И опять входит мальчик — который принес Унковскому зеленое пальто Достоевского. Посылка от Ф. И. Щеколдина!

И сам Щеколдин появился. Распаковали посылку: а это высокий горячий кулич и коробка с напильниками. Щеколдин осмотрел кулич и напильники и скрылся. И еще несут посылку: от А. Н. Рябинина. Это яблоки — и все-то прелые, лежалые!

Пасмурный облачный день. Тихо необыкновенно и только слышно, как звонят к обедне.

«На худой конец за сорок верст слышно!» — подал голос Унковского из картонки.

Сели в автомобиль и поехали.

III

Умер наш домовый хозяин Д. П. Семенов-Тяньшанский. Вчера он у нас читал свой «Временник», собирался придти оканчивать сегодня вечером.

— — в Петербурге переворот, бегут солдаты, и у всех у них новенькие блестящие погоны: «Мы теперь все офицеры!».

И входит Д. П. Семенов-Тяньшанский с рукописью.

И вижу я: хочет он оплести нас шерстью.

IV

Получено известие из Москвы, будто во время переворота сожжен Василий Блаженный.

— Что же это такое сделали? — Ф. И. Щеколдин плакал, говоря по телефону.

А я не верю — не хочу верить. «А если? Если остались одни развалины, они будут святей неразрушенного. Нет, только бы что-нибудь осталось!»

Приходил П.: он очень смущен, оторопленный:

— Не бежать ли нам?

— Да нам-то чего?

Вот так все и разбегутся.

О хлебе: «хлеб тяжкой» — это с соломой, «хлеб грядовой» — это с мякиной.

—— мысли бежали так быстро, не выговариваясь, одним чувством! И я увидел Р. В. Иванова-Разумника. И дважды вместе съездили за границу: сначала в Рим и назад, потом в Париж и домой. Что было дорогой, не помню, только помню — попались нам сербские солдаты. А у Аверченки парикмахерская и аукцион. Я принес картину Бориса Григорьева и не знаю, кажется, ее уже продали. И что странно, самому же Борису Григорьеву с придачей Добужинского. Добужинский тут же выдергивает канву из вышивки — «мед и яблоки», такая картина.

З. Н. Гиппиус спрашивает, откуда я знаю, как она верует?

«Ничего подобного, — говорю, — это все М. К. Вольфсон: 5-я глава из Евгения Онегина, выжать 6 лимонов!» И вижу: М. К. Вольфсон на закорках у Лундберга подымается по лестнице с Сахаровым, а за ними Шпет трусит. «Все мы теперь ездим в 3-м классе!» «Ничего подобного,— говорю, — вы не сидите в 3-м классе!»

И идем с П. Е. Щеголевым, как когда-то в Вологде: хочется ему купить говядины и непременно в немецкой колбасной. А кругом мухи целыми грядами. Навстречу Чуковский с Чулковым: Чуковский — 70 000 процентных бумаг, Чулков — красное (церковное) вино.

«Мы приискали себе место!» — сказали оба.

V

Раскинув руки крестом:

«Я хотела бы, чтобы меня разорвали за вас!».

А другая, закрыв ладонями лицо:

«Умереть за дух Божий в человеке, а не за красные рожи!».

Какой-то, напившись на обыске, решительно заявил: «Мне пора уходить!»

Когда теперь встречаются, всегда спор, а спор — одно оскорбление. Приходится доказывать, что ты человек,— а ведь все идет против этого признания.

— — я взял у А. А. Блока книжку с картинками. Мы в лесу, сидим за столиком. Промелькнул монах и скрылся, а вижу — вылезает из оврага. Я и говорю:

«Александр Александрович, жаловался мне монах, что выгоняют их из монастыря!».

А на улице народу, не пройти — все, задравши голову, смотрят:

«Эроплан летит!».

В окне ораторствует Иванов-Разумник: опять восстание в Петербурге.

Юрий Верховский («Слон Слонович») уж в доме картошку чистит, а на полу на корточках Виктор Ховин подбирает кожурку и все кучками складывает. Встречаю Николая II у ворот Александровского Коммерческого училища в Бабушкином переулке на Старой Басманной. Он меня спрашивает: служил ли я где?

«Нет,— говорю,— нигде. Я нетрудовой элемент?»

«А Василий Васильевич?» —

«Розанов — — ?»

«Его еще нет,— перебивает Добронравов,— со Степуном застрял в лифте на Таврической!»

«Да теперь,— говорю,— нигде и лифты не ходят».

«З-а-с-т-р-я-л!» — повторяет Добронравов, выговаривая в разбивку.

VI

Присел к столу — если бы имел дар слезный, я заплакал бы! Который день С. П. лежит — припадок печени. И никого, одна моя уродливая тень.

— — доктор Ланг живет на море; исследование показало, что у него жесточайшее малокровие. И. С. Соколов собирает посылку: все в пакеты завертывает. И тут же около примос-

тился А. А. Блок и И. А. Рязановский: кораблики и коробочки из бумаги свертывают, бормочут чего-то:
«Полотилин — платвушка —»
«Отпанет — отпадет —»
«Хапка — тяпка —»
Я подошел к Авксентьеву да пальцем его в живот,— а из него пакля.

VII

Первый долгий поход на волю. Был на Кронверкском у Ф. И. Щеколдина. Шел пешком больше часу. С непривычки все странно. Вечером заходил наш новый хозяин М. Д. Семенов-Тяньшанский:

14-го декабря в деревне убили его брата поэта Леонида Семенова.

Среди ночи раздался страшный взрыв: горел склад на Гутуевском острове.

— — черт сел мне на живот. Пятками по бокам колотит. (Вместо ног у него копыта.)
«Что ты это делаешь?» — говорю.
А он достал из кармана топорик да как звезданет — «Что ты делаешь?» —
«Рубли достаю».—
«А нельзя ли переждать — хоть день!»
«Никак нельзя,— и сам топориком работает,— хуже будет, как на пятаки меняться будут».

САБОТАЖ

Жил маленький человек Акакий Башмачкин, его никто не боялся — чего хуже? А он писал себе в Департаменте и всех боялся. Так искони повелось:

Акакий Акакиевич Башмачкин всех боялся.

А как пошел голод да холод — холод да голод, а тут еще прижим да нажим, да зубило, и остервенел маленький человек Акакий.

И говорит себе Акакий:

«Жизнь моя пропащая, а дело мое малое, так втолко-

вали нам искони, погибать так погибать, не хочу работать да и все тут».

И пошел маленький человек, пошел Акакий Башмачкин к себе к Калинкину мосту.

И опустел Департамент и все отделения — и первые и последние.

Так что же вы думаете? — к нему, ко мле-то департаментской, сами-тридцать и три большие брата подступили:

— Возьми,— говорят,— товарищ Башмачкин, дела опять, пожалуйста!

А он им — и до чего осмелел человек! — Гоголь, ты слышишь ли — — !

— Да вы же говорили, что дело мое маленькое, а я — мля, сами и делайте: чай, сумеете!

И связали за это маленького человека Акакия и в тюрьму подвальную посадили: изморозят, изморят — забоится! А ему хоть бы что — хуже не будет.

— А кто вот делать-то будет, вы, разумные, вы, большие головы!

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ

ИСКРЫ

Тяжко на разоренной земле.
Родина моя!
Душа изболела.
Если бы были такие могилы, куда бы клали живых,— я лег бы.

Душа не острупелая, душа не задохнувшаяся в мертвых тисках, еще живая, ищет чудес. И в этом ее последнее спасение. Хочет воплотить не бывшее, но всем сердцем желаемое и всем духом требуемое.
Посмотрите, как бьется живая, как плясица, птица в руках, и смотрится в ночь, не мелькнет ли?
Но нет света.
Ниоткуда не светит.

Неразумная, есть свет! и этот свет вечно горит изнутри, из тебя же самой!
Ты жаждешь, хочешь приблизить срок, твори же из твоей мысли.
И вот восстал и бродит по Руси призрак великого чаяния истинной веры, истинной свободы.
Если б поджечь цельным огнем, какие б запылали костры!
Не костры, бессильные искры, как потухающие угольки, сыплются по снегу и сверкают.
Там —
Как ложные звезды.

Я протянул руки—
И пали искры, и обожгли мне ладони.

I

РУКА КРЕСТИТЕЛЕВА

Соседка Анна Ивановна хорошая женщина, муж ее солдат.

Частенько заходит к нам Анна Ивановна, и особенно по утрам.

И всегда с новостями: о таком в газетах не пишут.

Как-то до Николы еще растапливаю я печку,— дымит она у нас, не дай Бог! — сам на угольки дую, сержусь на печку, что такая нерастопка.

Тут Анна Ивановна входит:

— Слышали, что во дворце-то?

— Еще что? — сержусь на печку.

— Руку разрубили.

— Какую руку?

— Предтечи, Крестителеву.

— Что вы говорите?

— Тесаком Крестителеву. Во дворце.

«Крестителеву!» А и в самом деле, рука-то Предтечи в Зимнем дворце, в дворцовой церкви Нерукотворенного Спаса: в Зимний дворец привезли ее мальтийские рыцари в дар императору Павлу. А шесть веков назад видели ее земляки наши, паломники, в Царьграде. А в Царьград попала она из Антиохии. А в Антиохию принес ее евангелист Лука из Самарии. Вот какой долгий путь до Невы-реки.

А какие бывали гонения! Но и в самые жесточайшие, когда Юлиан велел сжечь тело Крестителево, руку, крестившую Христа, пощадил, не велел трогать. Так и сохранилась. Сколько веков! Рыцари уберегли.

— Нет,— говорю,— больше на белом свете рыцарей. Вот беда!

— Вынули из раки и тесаком разрубили по суставам! — все еще ужасалась Анна Ивановна.

А какие чудеса бывали!

Обложил Антиохию Змей, и такой ужасный,— от страха помирали. И всякий день пожирал Змей по непорочной девице. Сколько горя! А был в Антиохии один купец, очень любил свою дочь и так не хотелось ему отдавать ее Змею. Настал черед. Что делать? Пошел купец в башню,— в башне хранилась рука Крестителева,— пошел просить Крестителя,— все отказались, нет управы на Змея, некому помочь! Помолился он Крестителю и как стал прикладываться, тайно сустав из мизинца и выкусил. И уж ночью смело повел дочь к Змею. Не боится Змея: сохранит Креститель! А Змей уж пасть разинул, вот проглотит. Тут купец косточку ему, что выкусил-то, да прямо в пасть — А из Змея дух вон.

— Разрубили по суставам, и всякому досталось по косточке,— продолжала Анна Ивановна,— Фирсова солдата помните? Водопроводчик. Взял Фирсов косточку да себе в карман и сунул. А она карман-то и проела, насквозь прожгла и ушла!

Анна Ивановна покачала головой и в глазах ее засветилось кротко:

— Видно, в недостойных руках была!

II

СВЯТОЙ КОВЧЕЖЕЦ

Вы знаете Сверчкова? — веселый человек. Со смеху уморит, как начнет свои турусы. И легко с ним: никакой притворенной скотины не чуешь,— осматриваться нечего.

В делах деловых человек незаметный,— маленький

чиновник и, конечно, никто его на руках не носил и не понесет, разве на Смоленское. Впрочем, был и один грех: нынче во время майских въездов, возвращаясь из Озерков, вознесен был на руки и на руках высоко над головами проплыл по воздуху от вагона через вокзал до автомобиля,— спутали с кем-то из эмигрантов, возвращавшихся с тем же поездом из заграницы. Правда, вид у него заграничный, и бородка Зайцева.

* * *

Идет Сверчков по Старому Невскому.

Зима нынче выдалась теплая, и драповое его пальтишко к самой поре.

Идет он, насвистывает,— веселый человек! Не на службу, так идет.

Навстречу солдат — столкнулись глазами.

Солдат приостановился.

— Не хотите ли купить, товарищ, хорошая вещь,— наклонился, шепчет: — из дворца!

Да из кармана и вынул.

Всматривается Сверчков: маленький ящичек серебряный. Раскрыл,— а там что-то крошечное, вроде пылинки, и под слюдой.

«Что бы это такое,— думаю,— понять не могу: пылинка! И знаете, сердце у меня заболело: да ведь это,— думаю,— мощи!»

Сверчков давным-давно ни в какую церковь не ходил, а этой весной, нацепив красный бантик, в великую пятницу, как на масленице, в карты дулся.

И вдруг сердце заболело: «мощи!»

А солдат сообразил, глядит нагло:

— Меньше ста не возьму.

«А у меня всего сто и есть, больше нет, последнее, все. Да,— думаю,— мощи! Бог знает, в чьи руки попадут! Вынул кошелек и все отдал, а ковчежец сюда спрятал, держу крепко».

— А это не купите ли?

Солдат еще что-то вынул, да Сверчков уж ничего не видит: все равно, последнее ведь отдал.

— Сколько?

— Двести!

— Не надо!

Мелькнул и исчез солдат, будто и не бывало.

III

БЕЛОЕ СЕРДЦЕ

Ждал я трамвая.

Никак не могу войти: висят, толкаются. Трамваев десять пропустил, и все неудача.

Вижу, старуха стоит, как и я, ждет. Древняя бабушка. Посмотришь на такое лицо, и кажется, век оно таким было,— век была бабушка бабушкой: морщинки маленькие, беззубая и очень добрая. Я посмотрел попристальнее: терпеливо стоит, и видят ли что усталые глаза? Да, увидели!

— Не оставь меня,— сказала бабушка,— вместе поедем на трамвае. Никак не могу попасть.

— Хорошо,— говорю,— поедемте, только долго нам стоять тут: толкаться не хочу, висеть...

— Сохрани Бог! — перебила меня бабушка.

Да, бабушка видела, что не одна она.

С нами барышня стояла, и по всему было видно, что она с нами. Но барышня больше не могла выдержать, и когда подошел еще трамвай, вдруг переменилась — и куда девалась вся ее кротость! — стала сама трамвайной, и вижу — повисла.

А наше дело было отчаянное, хоть пешком иди.

— Пойдемте, бабушка.

— Не дойти.

А и вправду, не дойти старухе: стояли мы на углу 9-й линии, а бабушке путь в Новую деревню.

Победил я мое отчаяние, решил еще ждать, а бабушка, видно, давно победила и ничуть не отчаивалась, терпеливая.

И дождались: впихнулись, и не на прицепной, а на передний.

* * *

Трамвай полон, сесть и не думай. Все солдаты. Я-то ничего, хоть висеть и не могу, а стоять мне ничего, вот старуха-то как: совсем-то согнулась и ноги не слушают,— как былинку ее при всяком толчке так и кидает.

— Хоть бы бабушке кто место уступил! — говорю седокам.

Я в трамваях не раз так говаривал и проку не очень ждал. Но тут повезло: поднялись два матроса.

— Найдутся добрые люди, садитесь!

И уселась бабушка,— нашлись добрые люди!

И до чего, скажу вам, хорошо человеку, когда он так вот, как эти матросы. Я посмотрел на них и почувствовал, что и стоя им сию минуту хорошо, как и бабушке.

А бабушка, как отсиделась немного, так и заговорила.

И не так громко она говорила, а каждое слово ее было внятно,— в голосе ее было очень много такого, от чего вот и матросам, уступившим бабушке место, хорошо было: самые жестокие слова шли у нее от белого сердца.

Бабушка о себе рассказывала, как и откуда она в Петербург появилась, и о своей жизни тяжкой и кругом одинокой. И во время рассказа, спохватываясь, подымала она глаза ко мне:

— Так не оставь же меня,— вместе выйдем!

— Вместе, вместе, бабушка! — повторял я.

И те два матроса, покачиваясь от толчков, без слов повторяли за мной:

«Вместе, вместе!»

* * *

Тяжко ей на белом свете, она так и сказала — «тяжко». Не здешняя. Родина ее теперь, как на краю света, под Ковно. Много раз ее выгоняли: все говорили, что немцы идут. Да все обходилось благополучно: соберется бабушка выселяться, сложит добро, а пройдет день-другой, и все по-прежнему, и никуда не надо.

— А как уж обидели меня, так я и ушла.

— А кто же вас, немцы?

— Нет,— бабушка что-то вспомнила горькое, вижу, а сказала еще добрее,— свои робята.

Седоки-солдаты переглянулись.

И голос ее еще стал внятнее.

И присмирели чего-то, весь вагон, никто не выходит. Или всем один путь?

— Домик у меня был. Думала, так там и помру. Совсем я одна на белом свете. Была дочка, шестнадцати лет померла. А другая дочка вышла замуж, годок пожила и померла. Было три сына, тут на заводе работали, в Петербурге. Как помер мой старик, четыре дня не хоронила, ждала, вот приедут. И не приехали. Видно, теле-

грамму не получили. А потом, как война началась, всех сыновей на войну взяли. И сколько я писала и спрашивала,— ничего о них не знают. Как камень в воду.

— А может, в плену они?

— Нет, пропали.

И опять что-то горькое вспомнила, а заговорила еще добрее.

— А как пришли робята, да как запалили мой домишко, так и полыхнуло. А я плачу: «Ой, не жгите, прошу, оставьте!» — «Ты с немцами жить хочешь, ты — немка, мы тебя в огонь бросим!» А я думаю: «Пускай бросают, мне и так тяжко, а всех угодников Божьих жгли». Стою так, думаю, а они рассуждают,— один говорит: «Бросим ее в огонь!». А другой: «Не нужно!». А как дом сгорел, я и пошла. Три месяца пешком шла.

* * *

Бабушка чего-то задумалась.

Вспомнила ли она свой дом,— там, на краю света, одни головни под снегом лежат!

Или о сыновьях задумалась,— тут где-то на заводе работали и теперь там,— там под снегом лежат!

А я подумал, глядя на сгорбившуюся затихнувшую старуху,— весь вагон глядел на нее: «Бабушка, ты своим сердцем с потерей и утратой, белым сердцем приняла всю свою горючую судьбу,— а и вправду, разве скажешь так, как сказала ты о своих разорителях: свои робята! — И вот одна ты на белом свете со своим белым сердцем, и тяжка твоя жизнь, твои последние дни, и кто утешит тебя? Кто нас утешит? Бабушка, это я за всех говорю, всем, всем, всем. И кому легко, кому счастливо, кто может быть счастлив на твоем белом пожарище, на белой могиле твоего погубленного мира? Какой зверь или какая оскаленная косматая душа или душа придушенная, как трухлявый червивый гриб, или сердце, как оглоданная сухая кость? Нет, вот все мы тут, и если умом кто не понял чего, сердцем-то все почувствовали, каждый из нас, всю твою свинцовую тяжесть, весь крест наш».

— Ты не беспокойся,— сказала вдруг бабушка,— одна женщина в Москве сон видела. Приснилась ей Царица Небесная и сказала: «Держава Российская в моей руке, иди и ищи икону такую, как я перед тобою

стою». Та женщина и пошла по всей Москве, по всем домам ходит,— нету нигде. А наконец, в селе Коломенском, под Москвою, пошла она в такую церковь, еще при царе Иване Грозном строилась. Много там икон,— как мертвых хоронят, оставляют иконы в церкви,— внизу лежали. Перебирала она их, перебирала и вдруг крикнула: «Она самая!». И теперь эту икону по Москве возят, молебны служат, списывают. И я видела: вверху, как радуга, и Саваоф, а потом облака, а потом Царица Небесная в порфире и короне, в одной руке — скипетр, в другой — земля.

Тут пришла пора выходить бабушке.

Я довел ее до остановки, усадил в другой трамвай. Простились. И пошел я в нашу петербургскую темень, понес сквозь темь белое — тихий свет уверенной веры,

ГОЛОДНАЯ ПЕСНЯ

Если что еще и бодрит дух мой, это скорбь. И эта скорбь связывает меня с миром. Скорбь же дает мне право быть. Мои гости — беда и несчастье. И глаза мои — к слезам, как мои уши — к стону. А сердце дышит болью.

И я знаю, торжествующий и довольный никогда не постучит в мою дверь. Я знаю, ко мне придет только с бедою.

И сам я возвращаюсь с воли всегда потрясенный, с затаенной болью от встреч.

* * *

Вот говорят, Петербург гнилой и туманный, нет, в Петербурге бывают дни ослепительные.

И в такие дни, когда все так ярко и ясно, моей душе особенно больно.

В Прощеный день по обедне шел я по Старому Невскому.

Было так вот ярко — заморозки, резкий ветер, режущее солнце. Путь мне был долгий. На другой конец шел я. Мысли — с ними не расстаюсь я в моей неволе — мои

думы о делах человеческих, о нашей бедной жизни, о проклятой судьбе и человеке, не родившемся еще человеком, вольные, свертывались они в жгут и резче ветра, больнее режущего солнца неслись в моей душе.

Глаза мои были напряжены до слез и от солнца и от всматривания — не было лица, тень от которого не падала бы на меня, всех я видел и различал каждого. И слышал много звуков, и из всех звуков в шуме один звук вонзился в меня —

—тла-да-да-да-да —

Я шел по солнечной стороне — кто это? откуда звенит? — перешел на другую —

— тла-да-да-да-да—

— сверлило в ушах.

На углу Полтавской в тени стоял китаец: судорожно подергивались его ноги, колотили в промерзшую землю. Голова его была обнажена — череп, обтянутый кожей, а впалые глаза закрыты — слепой китаец. Слепой, съежился весь, рука вцепилась в рваную шапку —

— тла-да-да-да-да —

Это китаец звал о помощи, просил, слепой и замерзший.

И звук его зова — не гортанная переливная старая речь Китая — один голодный звон — голодная песня из тени наперекор резкому ветру звенела по режущему солнцу —

— тла-да-да-да-да —

И когда я подал милостыню, стало мне перед ним так стыдно — да лучше б никогда мне не видеть и ничего не слышать! — почуял я в нем брата, которому, как и себе, ничем не могу помочь.

Толпа плыла широким потоком навстречу, ощеривались толстые рожи, лоснились щеки, напитанные кониной, мешочным жирным блином и сметием всяким, сдобренным приторным американским вазелином.

И один резче ветра голодный звон — голодная песня —

— тла-да-да-да-да —

* * *

— Брат мой голодный из поднебесной страны, пережившей много веков, неизвестных и самой старой Европе, здесь никому ты не нужен —

— Брат мой замерзший, ты понимаешь, что такое слово? Тебя научили с колыбели чтить слово и книгу. Слово здесь, как ты голодный, не нужно —

— Брат мой терпеливый — —

— тла-да-да-да-да—

— тла-да-да-да-да —

Свиная толпа с пятаками, самодовольная, широко плыла навстречу —

— — —

— —

— Понимаешь ли ты, самодовольная и торжествующая, хоть что-нибудь в моей жизни и в моей воле, можешь ли ты вызвать под своим тупым черепом хоть отдаленные мысли, хоть намек о моем труде, который тебе так же нужен, как нужен голодный китаец, как нужно слово и книга? Знаешь ли ты хоть что-нибудь о той боли, какая жжет меня, и о той тревоге и муке, в которой проходит жизнь моя и наяву, и во сне? Снились ли тебе мои сны, и играло ли твое сердце от радости, заливавшей мою душу — радости, от которой светится весь мир, дышут камни, оживают игрушки, глядят, разговаривают звезды! И разрывалось ли твое сердце от тоски и скорби, которая обугливала всякий блеск и свет? Нет, ты дрыхнешь и тебе ничего не снится, нет, ты не страждешь, ты только орешь от голода и визжишь от похоти. И нет звезд над тобой. Как же ты, нищая духом, смеешь посягать на мою волю и распоряжаться моим трудом, который есть одна живая боль? И еще скажу тебе, понимаешь ли ты, что я последний нищий, щелкаю голодным языком, и мое тело измождено, душа измучена, кожа с нее содрана — ты не понимаешь? — понимаешь ли ты, что под видом благодеяния всему народу, ты запускаешь лапу не в карман мой, который пуст, а лезешь к моей шее, к моему кресту, который тяжелее золота и горячее огня —

— тла-да-да-да-да —

— Брат мой голодный, вот ты в тени стоишь, слепой, замерзший, а я иду — еще могу идти! — и никому не нужный, а иду — наперекор резкому ветру против режущего солнца —

— тла-да-да-да-да —

ЗНАМЯ БОРЬБЫ

I

С утра метель. С винтовками ходят — разгоняют. Вчера арестовали Пришвина. Иду — в глаза ветер, колючий снег — не увернешься.

На Большом проспекте на углу 12-й линии два красногвардейца ухватили у газетчицы газеты.

— Боитесь,— кричит,— чтобы не узнали, как стреляли в народ!

— Кто стрелял?

— Большевики.

— Смеешь ты — — ?

И с газетами повели ее, а она горластей метели —

— Я нищая! — орет,— нищая я! ограбили! меня!

— — —

На углу 7-й линии красногвардейцы над газетчиком. И с газетами его на извозчика. А пробегала с газетой — видно послали купить поскорее, успела купить! — прислуга, и ее цап и на извозчика.

— И ты — — !

А она, как орнет, да с переливом —

и где ветер, где вой, не разберешь.

— — —

Около Андреевского собора народу — войти в собор невозможно.

— Расходитесь! — вступают в толпу красногвардейцы,— расходитесь!

— Мы архиерея ждем.

— Крестный ход!

— Расходитесь! Расходитесь!

Толчея. Никто не уходит.

Какая-то женщина со слезами:

— — хоть бы нам Бог помог! —

— — только Бог и может помочь —

— — узнали, что конец им, вот и злятся —

— — какой конец — — !?

— — с крыш стреляли —

— — да, не жалели вчера патронов —

— — придет Вильгельм,— поддразнивает баба,— и заставит нас танцевать под окном: и пойдем танцевать! —

— — большевики устроили: каждый пойдет поодиночке с радостью —

——— тут его и расхрястали—
——— заснул на мостовой —
——— взвизгнул, как заяц, и дело с концом —
———

Идет старик без руки и повторяет громче и громче:
— Наказал Господь! — Наказал Господь!
— Что? Что?
— Наказал Господь.
Старуха, протискиваясь:
— Что говорит?
— Да наказал Господь и погодку плохую послал.

—— комната: от окна к двери покато. Я его едва различаю: такой он прозрачный и вялый, но я в его власти. Он что-то себе задумал: то к столу подойдет, то к окну. Взял булавку и ко мне: хочет в палец всадить. Я ему говорю: «Перестань, ну что такое булавка? ну, воткнешь» — — ! — уговариваю.— Положил он булавку. И опять ходит. Знаю, что на уме у него — ищет что-то, чем бы больно уколоть меня. Подошел он к столу — а на столе моя рукопись! — да спичкой и поджег. Не велика,— думаю,— беда, скоро не сгорит! А сам рукой так — и огонь погас. И тут я заметил, что около стола наложены кипы бумаг, смоченные горючей жидкостью. И понимаю, не в рукописи дело, а метил он в эту кипу: перекинет огонь и вспыхнет. А вот и не удалось! Скучный он бродит и такие у него мутные глаза — ищет. Взял золотое перо—
«Ну зачем?» — говорю.
А он как не слышит — он меня за руки: и всадил перо мне в палец.

II

Елку не разбирали, стоит не осыпается.

На Рождество у нас было много гостей: Сологуб, Замятин, Пришвин, Добронравов, Петров-Водкин. Достали хлеба — на всех хватило.

Сегодня в газетах об убийстве Шингарева и Кокошкина:

«——— когда они явились в палату, где лежал

Ф. Ф. Кокошкин, Кокошкин проснулся и, увидев, что на него нападают, закричал: «Братцы, что вы делаете?!»

Долго разговаривал с Блоком по телефону: он слышит «музыку» во всей этой метели, пробует писать и написал что-то.

«Надо идти против себя!»

После Блока говорил с С. Д. Мстиславским о Пришвине.

— Пришвина так же грешно в тюрьме держать, как птицу в клетке!

> — — судят Пришвина. И я обвиняю.
>
> «Так что ж я такого сказал?» — не понимает Пришвин.
>
> «Да разве не вы это сказали: «Надо их пригласить: люди они полезные в смысле сахара?»
>
> И жалко мне его: знаю, засудят. Подхожу к Горькому — Горький плачет.
>
> И тут же Виктор Шкловский, его тоже судят.
>
> «А я могу десять штук сразу!» — сказал Шкловский. И вынимая из кармана картошку, немытую, сырьем стал глотать — — а из него вылетает: котлы, кубы, кади, дрова, горны, горшки — огонь!

III

Сегодня необыкновенный день: немцы вступают в Россию. Проходя по Невскому, видел, как на пленного немецкого солдата бабы крестились.

В Киеве убили митрополита Владимира.

Я его раз видел — в Александро-Невской лавре на вечерне в первый день Пасхи: он «зачинал» пасхальные стихиры особым московским распевом — «Да воскреснет Бог и расточатся врази его». Все это надо бы сберечь — и эту «музыку» для русской музыки.

Да, теперь и я тоже слышу «музыку», но моя музыка — по земле:

«тла-да-да-да-да» голодной песни!

Каюсь, не утерпел, съел просвирку: четыре года берегли, белая, Ф. И. Щеколдин из Суздаля привез! А я размочил и съел. И вспомнилась сказка: три чугунных просвирки и надо их сглодать, и когда сгложешь — — а я съел!

— — мне приносят мои картины: их несут на шестах, как плакаты. Я взглянул: да что же это такое? — квадратиками ломтики — сырая говядина! — рубиновые с кровью! И подпись: «Бикфордов шнур».

IV

В Москве при заходе солнца из солнца поднялся высокий огненный столб, перерезанный поперечной полосой,— багровый крест.

— — мы живем в гостинице и занимаем большие две комнаты. Утром. Слышу, стучат. «Надо,— думаю,— посмотреть!» И иду через комнату, а на полу кровь. Я вытирать — не стирается: большой сгусток — как вермишель.

V

Приходили с обыском красногвардейцы —

— Нет ли оружия?

— Кроме ножниц,— говорю,— ничего.

Глазели на мою серебряную стену, усаженную всякими чучелками.

— — в Москве в Сыромятниках пруд, и полон пруд блинами — блины, как листья кувшинок. Это нам в дорогу: мы собираемся ехать в Москву.

1. В. Гессен спрашивает:

«А в Петербурге как у вас с прикреплением?» («Прикрепление» — отдача хлебной и продуктовой карточки в продовольственную лавку: дело очень трудное — надо успеть вовремя, а большая очередь!)

«Н. А. Котляревский,— говорю,— в Академии на чугунной плите чугуном припечатал!» Последняя ночь, завтра в путь. Собрали мы корзинку.

«А как же с блинами?» — жалко бросать. Заглянул я в окно: а на пруду лодки — сетками, как бабочек ловят, блины собирают.

VI

В Бресте подписан мир с немцами. Видел во сне М. И. Терещенко: на нем драная шапка и пальто вроде моего. А сегодня, слышу, его выпустили из Петропавловской крепости. Вчера сбрасывали с аэроплана бомбы на Фонтанке.

— Задавит,— говорят,— нас немец!

И называют число — 23-е марта:

— 23-го марта немцы займут Петербург!

Разбегаются: кто в Москву, кто куда. Улепетнул и Лундберг, чудак!

Третий день, как лежит С. П.: опять припадок печени. Горе наше горькое!

> — — Ф. Ф. Комиссаржевский сказал, что неделю назал сошел с ума актер А. П. Зонов — помешался над вопросом: какой роман труднее?
>
> И вижу: женщина с провалившимся носом, черная, караулит Зонова. Входит Л. Б. Троцкий, подает телеграмму — а там одна только подпись отчетливо по-немецки: «Albern»[1].

VII

В Москве у Никольских ворот по случаю 1-го мая образ Николы завесили красной материей с надписью: «Да здравствует интернационал!».

«И вот без всякой естественной причины в несколько минут завеса истлела и стал виден образ: от лика исходило сияние».

> — — Яков Петрович Гребенщиков реквизировал дом на горе. Какая гора, я не знаю: очень высоко,— может, Эверест! И дом так устроен, что часть комнат — под горою и выходят окнами к морю. Мы выбрали себе комнату наверху. И оказалось, что это кухня, только совсем незаметно — без плиты, с особенными шкапами, в которых кушанье готовится само собой:

---

[1] Нелепый, глупый *(нем.)*.

«Поставь, завинти, а через некоторое время вынимай и ешь сколько влезет!» — объясняет «инструктор» инж. Я. С. Шрейбер.

В кухне Яков Петрович не посоветовал нам селиться. «Берите,— сказал он,— другую комнату: здесь будет вам очень жарко».

И мы выбрали самую крайнюю, с огромным, во всю стену, окном на море. И вдруг шум, с шумом открылось окно. И вижу, подплывает корабль. А из корабля трое во фраках, один на Г. Лукомского похож, а другие — под Сувчинского: тащут какую-то: — совсем пьяная, валится! А меня не видят.

«Затянись!» — говорит Лукомский.

«А наши вещи?» —

«Крепче — — все».

И вижу корабли — уплывают: корабли, как птицы, а белые — как лед.

VIII

Я пишу отзывы о пьесах и читаю. И когда читаю, почему-то всем бывает очень весело и все смеются. Написанное откладываю для книги, которую назову «Крашеные рыла».

— — в каком-то невольном заточении нахожусь я. Только это не тюрьма. А такая жизнь — с большими запретами: очень много, чего нельзя. Поздно ночью я вышел из своей комнаты в общую. Это огромная зала, освещенная желтым светом, а откуда свет, не видно: нет ни фонарей, ни ламп. Только свет такой желтый. В зале пусто. Два китайца перед дверью, как у билетного столика. Дверь широко раскрыта.

И я вижу: на страшной дали по горизонту тянутся золотые осенние березки, и есть такие — срублены, но не убраны — висят верхушкой вниз, золотые, листья крохотные, весенние. «Вот она, какая весна тут!» — подумал я.

В зал вошли пятеро Вейсов. Стали в круг. И один из Вейсов, обращаясь к другим Вейсам, сказал:

«Господа конты, мы должны приветствовать сегодняшний день: начало новой эры!».
«Господа конты! — повторил я,— как это чудно: конты!»
И подумал: «Это какие-нибудь акционеры: у каждого есть «счет» и потому так называются контами. А сошлись эти конты, потому что тут единственное место, где еще позволяют собираться». И, не утерпев, я обратился к Д. Л. Вейсу (Д. Л. Вейс служил когда-то в издательстве «Шиповник»):
«Почему вы сказали: конты?»
И вижу: смутился, молчит.
«Я об этом непременно напишу!» — сказал я.
«Очень вам будем благодарны,— ответил Д. Л. Вейс,— у нас торговое предприятие».
И вдруг вспоминаю: не надо было говорить, что напишу — писать запрещено! И начинаю оправдываться; и чем больше оправдываюсь, тем яснее выходит, что я пишу и, конечно, напишу. И совсем я спутался. И вижу: дама в сером дорожном платье — жена какого-то конта. Я ей очень обрадовался: я вспомнил, что эта дама помогала нам перевезти наши вещи сюда.
«И Б. М. Кустодиев тут,— сказала она,— он тут комнату снимает!»
Успокоенный, что дурного ничего не выйдет из моего разговора, я пошел к входной двери. И тут какой-то шмыгнул китаец — и мы вместе вышли на маленькую площадку — —
Перед нами огромная площадь — гладкая торцовая. Желтый свет. А по горизонту далеко золотые березы. Китайцы старательно скребут оставшийся лед.
«Это в Германии их приучили в чистоте держать!» — подумал я. И вижу, из залы выходит очень высокий офицер, похож на Аусема. Да это и есть О. Х. Аусем, я его узнал. Но он не признает меня.
«Вас надо в штыки!» — сказал Аусем.
А я понимаю: он хочет сказать, что я должен отбывать воинскую повинность.
«Никак не могу!» — и я показал себе на грудь.

«У нас все заняты,— ответил Аусем,— одни орут... да вы понимаете ли: «орут»?
«Как же, одни пашут...»
И мы вместе выходим в зал.
«Вы из Кеми?» — спрашивает Аусем.
«Нет,— говорю,— я из Москвы».
«А где же ваша родина?» — он точно не понимает меня.
«Я — русский — Москва — Россия!»
«Ха-ха-ха!» — и уж не может сдержать смеха и хохочет взахлёб.
И я вдруг понял: а и в самом деле — какая же родина? — ведь «России» нет!

IX

В ночь на Ивана Купала (по старому стилю) началась стрельба. Вчера убили графа Мирбаха. Я собрался в Василеостровский театр на «Царскую невесту», один акт кое-как просидел да скорее домой. Стреляют! И когда идешь, такое чувство, точно по ногам тебя хлещут.

— Восстание левых с-р-ов!

— — наверху в комнате стоит около стола Блок.
«Я болен!» — говорит он.
И вижу, он грустный. И тут же Александра Андреевна, его мать, в дверях.
«Лепешки,— говорит она,— по 3 рубля: два раза укусить».

О СУДЬБЕ ОГНЕННОЙ

От слов Гераклита Ефесского

Есть суд над всем, что дышит, живет и растет,
суд огнем,
Огонь
последний судия — все судит и все разрушает.
А молния — кормчий.

Последнее испытание
через огонь.
Огнем
очищается персть.
А молния кормчий.

Пожжет огонь все, что горит!
В огненном вихре проба для золота
и гибель пищи земной.
И вместо созданного останется
одно созидаемое —
персть и семена для роста.

Все, что дышит, живет и растет,
станет дымом.
И ты своими ноздрями почуешь:
противоборствующее — соединяет,
а разнообразие преображает в гармонию,
гармония возникает из борьбы.

Молния — кормчий.
Огонь очистительный!
А справа идет его брат
— война —
царь и отец всего,
властитель над богами и людьми;
творя новое право и новую жизнь,
указует судьбу рабов и свободных.

Вечная распря
— война! —
движет весь мир,
распределяет долю.
И все возникает из распри и судьбы.

Все совершается в круге судьбы.
Всякий свет побеждаем.
Свет же последнего суда неизбежен.
И куда убежишь от осиянности?

Сама судьба полагает предел совершения:
безмерно взлетевший низко падает.
И каждому — по его духовной потребе:
ослы солому предпочтут золоту.

Все совершается в круге судьбы.
Люди, звери и камни родятся, растут,
чтобы погибнуть,
и погибают,
чтобы родиться.
Всякий гад бичом Бога пасется.

И сила через судьбу становится правом,
Вначале была сила,
по судьбе сила стала правом.
Право править вселенной,
силой давя на человека.
Разорение права — пожар.
Его ты залей скорее, чем пожар!

Вначале была сила,
по судьбе сила стала правом.
И что бы сталось без права?
Хаос, распадение, пыль.
Да станет народ за право,
как за родные стены!

Судьба всемогущая!
Великое единство пути!
вверх и вниз,
спасения и гибели!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?
Не слабые духом, слепленные из грязи,
свиньи в золоте,
куры, купающиеся в пыли и золе.
Судьба! всемогущая!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?

ЛЕСОВОЕ

Поднялись чуть свет. Для меня такая мука куда-нибудь ехать. Верно, и на тот свет так же будет, но я покорюсь. Как покоряясь судьбе, сейчас поднялся, чтобы ехать в деревню к Соколову. Деревня для меня тоже другой свет.

Терпеливо ждали трамвая на углу 7-й линии и Среднего проспекта около дома, где жил когда-то Ф. К. Сологуб. (Его выселили и теперь тут Совдеп!) Поезд вышел около десяти. Места попались хорошие. И ни одного солдата — это не прошлогоднее, когда ехали в Берестовец: клюк-топ-дробь-мат. К вечеру приехали на станцию. Передохнули после вагонной встряски в опустелой чайной Ракосуя (хорошая фамилия!) и на лошадях — в Кислово. Путь 50 верст по прямому, а по косому — — ? Мы ехали по косому.

И опять поле (гляжу, как с того света!) — трава (трава растет и в революцию, и после революции!) — деревья (помещичьи или крестьянские — им безразлично!). Я как будто проснулся: трава — поле — деревья! Я как из могилы — мне сказали: «Иди на землю, живи опять!» — и вот я вышел.

Деревнями проезжали, везде лес сложен.

— Будет новая стройка!

Точно в лесное гнездо попал, когда совсем уж в ночь приехали, наконец, в дом в Кислово.

Лесавки, лесовое, лесное — —

* * *

Лесавки, лесовое, лесное — —

Уж очень мы дома изголодались, а тут столько хлеба! И хочется взять и неловко. Что-то снится, но не различаю. Или воздух действует? Или не вжился? Или еда?

Смотрю в окно — в сад:

«Как хорошо в Божьем мире!»

Всякий день меня водят на прогулку к «семи дубкам» (их всего-то два, но так по привычке говорится, к семи — пять в революцию срезали на полозья!) От «семи дубков» на «лысую гору», с «лысой горы» в лес.

По камням я ходить умею, а по земле трудно — нога подвертывается. Иду несмело, смотрю по сторонам:

«Как хорошо в Божьем мире!»

* * *

Пекли хлеб из новой муки: хлеб зеленоватый. Ели так, чтобы на год! — не жаловаться.

Читаю единственную газету: московскую «Бедноту».

* * *

В хлеб въелись, больше не манит: лежит на столе такой кусище — не смотришь. И непонятно, как это всю зиму — сколько об этом было разговору! Да, сытый голодного не разумеет!

Какой сегодня чудесный вечер — осенний. Ясно, тихо,— осенне. В саду и на лугу желтые цветы, как по весне, одуванчики — второцветы. Днем прилетают с озера стрекозы в сад — «женятся!» В лесу тишина, птицы молчат, перепели все песни, и одна только не поет, а стонет —

«Как хорошо в Божьем мире!»

* * *

«Как хорошо в Божьем мире!»

Но я не могу долго жить в деревне. Этот черед жизни: едят, растут, женятся — зелено, грязно, тихо — лесавки, лесовое, лесное. Нет, не могу я по «естественным законам» и в постоянном страхе перед погодой.

Пора домой — на камни и голод!

И тянутся нетерпеливые дни: скучно — домой!

Я вспоминаю В. Ф. Нувеля: один-единственный раз за всю свою жизнь выбрался он из Петербурга не в Мартышкино, где жил Сомов, а в настоящую деревню, как это вот Кислово, и на лоне природы в ухо залезла к нему уховертка. И уж мне мерещатся везде эти нувелевские уховертки.

Вот и голода нет, одолела забота.

* * *

Лесавки, лесовое, лесное — — прощайте!

Сегодня вернулись домой в Петербург. Когда входили во двор, навстречу старик Успенский, и не здороваясь, голодный:

— Хлеб привезли? — спросил он и с завистью, и с отчаянием.

За эти недели закрыты все «буржуазные» газеты и журналы! А идет зима — —

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ

«Вошли мы в щель четвертую — —»

День кончился — сутолка и бестолковщина!

> день — наполненный голодными порываниями и самыми хитрыми изобретениями добыть какую-нибудь снедь; день — кружащийся между службой, стоянием в очередях, ожиданием и жалким обедом.

А когда-то я не думал о насыщении. Странно подумать, что это было когда-то. И странно думать, что я еще жив.

Вся боль моя канула — и вот, как пар, поднялась к ушам моим и глазам: и все, что я вижу, и все, что я слышу, проникнуто болью. Улица, встречные — люди, звери, машины — больно бьют меня по сердцу. И я не могу отвести глаз — они же не видят меня.

* * *

Ночь — петербургская. Ни огонька. Весь наш каменный мешок успокоился.

А за стеной шуршит, кашляет — это сосед мой бессонник.

Только вдвоем мы не спим: он — потому что душа у него ночная, душа его дышит ночью; я — моей работы никогда не окончить, и рука коченеет, а я сижу, и погаснет тоненькая свеча (этот единственный свет!), а я буду так же сидеть.

Тут и мои книги — мало их у меня осталось! — Гоголь, Достоевский...

> Гоголь: «Поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его».

— Николай Васильевич! — какие огни? Или не слышите? Один пепел остался: пепел, зола, годная только, чтобы вынести ее на совке да посыпать тротуары. А потом растопчет чья-нибудь американская калоша.

* * *

Сосед умолк. А под утро, знаю, опять начнется — этот кашель его сверлящий.

Все замолкло — мертвый каменный мешок! — великое молчание свободы.

Как часто теперь я больше не чувствую свое тело: я как бы отделяюсь — великое молчание свободы! — и нет никаких желаний.

У меня было много приятелей — и все куда-то пропали!

Остался один: не забывает — зайдет, присядет к столу — одно ухо длинное, острое, а глаз, как три глаза! Говорит же он со мной половинкой своей обыкновенной, с ухом и глазом обыкновенным: говорит о пайках, категориях, литерах. А другой половинкой ужасной так ужасно смотрит — —

— — —

Нет, сосед не успокоился, бессонник, опять закашлял.

— Федор Михайлович! Что я сегодня видел! — видел я издыхающую собаку: она сидела под забором как-то по-человечески и в окровавленных губах жевала щепку.

ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ

I

КОНСТИТУЦИЯ

1. Обезвелволпал (обезьянья-великая-и-вольная-палата) есть общество тайное —
происхождение — темное,
цели и намерения — неисповедимые,
средств — никаких.

2. Царь обезьяний — Асыка-Валахтантарарахтарандаруфа-Асыка-Первый-Обезьян-Великий:
о нем никто ничего не знает,
и его никто никогда не видел.

3. Есть асычий нерукотворенный образ — на голове корона, как петушиный гребень, ноги —

змеи, в одной руке — венок, в другой — треххвостка.

4. Гимн обезьяний:

я тебя не объел,
ты меня не объешь,
я тебя не объем,
ты меня не объел!

5. Танец обезьяний: «вороний» — в плащах, три шага на носках, крадучись, в стороны и подпрыг наоборот с присядом, и опять сначала.

6. Семь князей. Семь старейших кавалеров-вельмож, ключарь, музыкант, канцелярист и сонм кавалеров и из них служки и обезьяньи полпреды.

7. Три обезьяньих слова: «ахру» (огонь), «кукха» (влага), «гошку» (еда).

8. Принято отвечать на письма.

II

МАНИФЕСТ

Мы, милостью всевеликого самодержавного повелителя лесов и всея природы —

АСЫКА ПЕРВЫЙ

верховный властитель всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился, презирая гнусное человечество, омрачившее свет мечты и слова, объявляем хвостатым и бесхвостым, в шерсти и плешивым, приверженцам нашим, что здесь в лесах и пустынях нет места гнусному человеческому лицемерию, что здесь вес и мера настоящие и их нельзя подделать и ложь всегда будет ложью, а лицемерие всегда будет лицемерием, чем бы они ни прикрывались; а потому тем, кто обмакивает в чернильницу кончик хвоста или мизинец, если обезьян бесхвост, надлежит помнить, что никакие ухищрения пузатых отравителей в своем рабьем присяде, как будто откликающихся на вольный клич, но не допускающих борьбу за этот клич, не могут быть допустимы в ясно-откровенном

и смелом обезьяньем царстве, и всякие попытки подобного рода будут караемы изгнанием в среду людей человеческих, этих достойных сообщников и лицемеров .и трусливых рабов из обезьян, о чем объявляем во всеобщее сведение для исполнения; дан в дремучем лесу на левой тропе у сороковца и подмазан собственнохвостно; скрепил и деньги серебряной бумагой получил бывш. канцелярист обезвелволпала cancellairus —

III

ЛОШАДЬ ИЗ ПЧЕЛЫ

— хождение по Гороховым мукам б. канцеляриста и трех кавалеров обезвелволпала —

ДОНЕСЕНИЕ

старейшему князю обезьяньему Павлу Елисеевичу Щеголеву.

В ночь на Сретение, в великую метель и вьюгу по замыслу нечистой силы или от великого ума человеческого, произведен был обыск в Обезьяньей-великой-и-вольной-палате и забран б. канцелярист обезвелволпала. И в ту же ночь той же участи подверглись три обезьяньих кавалера — К. С. Петров-Водкин, А. З. Штейнберг и М. К. Лемке; а на Карповке взят епископ обезьянский Замутий (в мире князь обезьянский Евг. Замятин), а на Забалканском кавал. обеззн. К. А. Сюннеберг-Эрберг, а на Загородном председатель (и не обезьяньей) — Книжной Палаты С. А. Венгеров. Поименованные: Сюннеберг-Эрберг, епископ Замутий и председатель Венгеров, допрошенные на Гороховой, отпущены по домам, причем во время допроса у одного из потерпевших съедены были котлеты, хранящиеся на случай в портфеле —

> *«точно не знал, что места сии обитаемы разбойниками!»*

На следующий день к ночи захвачен был кавал. обеззн. А. А. Блок, а другой кавал. Р. В. Иванов-Разум-

ник отправлен со Шпалерной из Предварилки на Москву.

Поутру по обедне через обезьяньего зауряд-князя было донесено о ночном происшествии в обезвелволпал Алексею Максимовичу Горькому, и что делать: не вышло бы какой беды — написаны обезьяньи грамоты на глаголице! — а на глаголице и такие ученые, как Пинкевич, и даже сам Н. Н. Суханов не понимает! А гулявший последние часы на свободе А. А. Блок, несмотря на праздничный день, проник во Дворец к самому наркому А. В. Луначарскому с жалобой на обезьяню неприкосновенность обезвелволпала.

Так было ликвидировано, как говорится, восстание «левых с-р-ов» в Петербурге.

ОБЫСК

Сон: «пес в тазу» —

огромный медный таз, как резиновый, наливаем кипятком и в тазу стоит огромный пес, фурчит, а ничего; а тут С. В. Познер отпихнул ногой дверь и несет на блюде пирог.

Днем газета — в газете слова Спиридоновой: «Слушай земля!» И подумалось: «Обыск!» Не обратил внимания: о ту пору обыскная мысль и надо и не надо лезла в голову.

С вечера мело — завтра Сретение! Зажег лампадку и при огоньке взялся за книгу — «Исследование о Михаиле архангеле». Читая, рисовал. И когда под крыльями подписывал: «Salve obductor angele!» («Радуйся ангеле-водителю!»), слышу стук шагов по лестнице. Я зажег лампу и с лампой к двери —

«— — вооруженные до зубов ворвались чекисты — —»

Мне показалось, очень много и очень все страшные — «до зубов», но когда моя серебряная стена с игрушками зачаровала пришельцев, я увидел простые лица и совсем нестрашные, и только у одного пугала за плечами винтовка.

— Годится ли от лампадки закуривать? — заметил мне который-то.

— Да я спичкой огонек беру!

Но это все равно, хотя бы и нестрашные — и это

всегда при обысках! — как будто нахлестнется на шею и — петля!

А в «Обезьяньей-великой-и-вольной-палате» ни хлеба, ничего — все подобралось! — а только сухариков немножко, на случай болезни берег, да табаку собрал в коробку, так на донышке, черные сигарные листы, завязал все в узелок, и повели—

А на воле метет!

ПОВЕЛИ В СОВДЕП

Захлестнулось — теперь никуда! — иду, как на аркане и, странно, как по воздуху, вот настолечко от земли! — фонарь — в фонаре свистит, ишь, запутался в трамвайной проволоке, ну! —

забегает — забегает — —

нет, не поддается!

— — да хлоп комок под ноги!

и ускакал.

Идем по трамвайным рельсам. Снег в глаза, а не холодно. Еще бы холодно!

— Куда?

Молчит.

Я оглянулся: а за спиной черно — черной стеной закрывает.

ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ В СОВДЕПЕ У ПЕЧКИ

— Придется подождать: приведут еще товарища!

Это сказал не тот, который меня вел — тот, как снежок, прыгнул в метель — это другой.

Я забился в угол головой под лестницу. Между мною и моим стражем прислонена к лавке винтовка. Он подбросил полено в раскрасневшуюся печку — и красным пыхнуло жаром.

Он — рабочий с Трубочного завода,

а я — —

— Саботажник?

— Нет.

— — — ?!

Недоверчивым глазом посмотрел на меня в полуоборот и так недоверчиво-подозрительно и остался, а другой его глаз туда — в метельную темь.

«— в этом доме до Совдепа жил Ф. К. Сологуб, и сюда под лестницу засидевшиеся гости спускались будить швейцара, и нетерпеливо ждали, когда швейцар крякнет — »

— Ведут!

Громко, без стеснения, распахнулась дверь —

К. С. Петров-Водкин!

Я ему очень обрадовался.

Съежившийся растерянно смотрел он из шубы, еще бы! ведь всю-то дорогу, как вели его, он себе представлял, что ведут его на расстрел — «китайцы будут расстреливать!» — и в предсмертные минуты он вспомнил все свои обложки и заглавные буквы, и марки, нарисованные им для «Скифов» и «Знамени борьбы» — —

И вот вместо «китайцев» — я.

— Козьма Сергеевич!

— Трубку потерял,— сказал он, обшариваясь и не находя.

Нас вели по знакомой лестнице — все вверх — «к Сологубу».

У «СОЛОГУБА»

Ничего не видно

— храп — и ползет — —

Присели к столику, закурили и ни гугу. В двери окошечко — жаркóй свет. За дверью шумели «китайцы», потом «китайцы» по-немецки стали разговаривать, а потом «китайцы» замолкли—

— храп — и ползет — —

«— мы сидим в «зале у Сологуба» и мне ясно представился последний вечер у Сологуба на этой квартире: елка — тесно — какой-то пляшет вокруг елки, а елка вот тут, где сейчас мы сидим у столика.

«Кто этот молодой человек?» — спрашивает меня Е. В. Аничков.

А я и не знаю и говорю наобум: «Дураков!» Артур Лурье и с ним Л. Добронравов у стенки там — а там М. А. Кузмин, О. А. Глебова-Судейкина, Тэффи — — А вот и сам Павел Елисеевич Щеголев; а за ним П. Я. Рыс, а за

Рысом на комариных ножках С. А. Адрианов —»

— храп — и ползет — —

Чья-то рука пошарила по столику. Ловко, как из отрывного календаря, оторванула — на столике книга! — и во тьме загорелся еще огонек.

«Беда,— подумал я,— коли надобность выйти!»

А какой-то, восставший из тьмы, стучал в дверь «китайцам» — а «китайцы» как вымерли. Так несчастный и откулачился от двери и упал во тьму.

И мы, обкурившись, опустились на пол.

И сон — и сквозь сон пить хочется! — сном затянулся, как папироской, беспамятно —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

и вдруг — распахнулась дверь и остренький, тощенький, вскоча в комнату, затаратал, как будильник.

И я сразу проснулся.

ПОУТРУ

Да нас тут набилось — целый клоповник!

здесь сидел Иван Степанов Петров
лошадь из пчелы за спикуляцию

— — спекуляция? — говорит какой-то со сна с перемычками,— что такое спекуляция?

— — обольем тебя водой и заморозим — это спекуляция!

Яшка Трепач
чека-лка

— — свобода! она хороша, когда есть своя голова; а голова не то, чтоб была она свободная, а как сказать, настоящая голова, а не пыльный мешок.

— — натравливают, ну и каждый делается, как собака.

— — клюет свинство.

Поздравителям 1918 года:
б. полотеру — 2 р.
б. швейцару — 5 р.
б. водопроводчику — 1 р.
б. трубочисту — 1 р.

— — волки и те стадом ходят!

— — вчера заставили дрова носить!

— — тоже и воду, и прибрать все надо.

— — —

Осмотрел я стену, исписанную и карандашом, и углем, и мелом· телефоны, фамилии и всякие «нужные» и так изречения, и «на память». И опять к столику, где ночью сидели. Тут и Петров-Водкин поднялся.

— Трубку потерял! — тужил он, никак не мог забыть

Я взял со стола растерзанную книгу, служившую, как отрывной календарь,— и сразу же узнал: это мои «Крестовые сестры».

— «Крестовые сестры!» — показал я Петрову-Водкину

Но он ничего не ответил.

А я ничего не подумал — а прежде бы подумал, да еще как! — я положил книгу назад на столик.

— — —

Хотелось мне списать со стены, а из «Крестовых сестер» выдрать страницу пожалел; на полу валялся примятый листок — на нем Петров-Водкин ночевал, вот на нем —

Яшка Трепач принес что-то вроде кипятку — Яшка Трепач староста! — но пить не из чего было.

— Скажите, пожалуйста,— обратились мы оба к Яшке,— долго нам тут сидеть?

— Если на Гороховую не затребуют, засядете надолго.

— Может, нас, как заложников, тут оставят? — в один голос сказали мы Яшке.

- Заложников? — Яшка окинул нас веселым глазом,— такую дрянь!

Вошел «китаец» и сказал чистым русским языком:

— Которых привели ночью — — ?

Мы с Петровым-Водкиным выступили.

— Заложники! — поддал Яшка,— ну и народ!

— Нет ли хлебца! — остановил ледящий, которого вчера заставили дрова таскать на 6-й этаж.

— Хлеб не отдавай! — окрикнул кто-то вдогон,— с Гороховой скоро не выпустят.

А когда мы с «китайцем» выходили из «залы Сологуба», в проходе столкнулись со Штейнбергом и Лемке: они ночевали в «кабинете Сологуба» —

Штейнберг — в женской шубе,
Лемке — с таким вот чемоданом, какие только в багаж сдают.

В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Нас принял тощенький, остренький — я сразу его узнал, это тот, что во сне мне приснился: вбежал в камеру и затаратал, как будильник. Он отобрал у нас документы: паспортные книжки и удостоверения на всякие права.

Получить удостоверение — это большая работа, и я очень забеспокоился.

— Прошу вас, не потеряйте!

— Не беспокойтесь: поведут на Гороховую, отдам

И он стал звонить на Гороховую.

ему отвечали и не отвечали.

А он все звонил.

— Товарищ Золотарь, неуемная головка! — заметил который-то из стражи, ну, конечно, никакой не китаец, а самый наш откуда-нибудь с Трубочного завода

Мы сидим перед столом в ряд:

Штейнберг в женской шубе,
Петров-Водкин — из шубы,
Лемке — с чемоданом, какие только в багаж сдают,
и я с узелком.

— Шесть месяцев в Кронштадте сидел,— объясняет Лемке, не выпуская из рук чемодана,— знаю по опыту

На столе у товарища Золотаря огромная фарфоровая голубая лягушка — стоит она на задних лапках, «служит».

Я смотрю на эту голубую, ни на что не похожую лягушку и почему-то вспоминается мне такой нравоучительный рассказ из «Азбуки для самых маленьких» и я повторяю слова:

«— — пролил Лука чернила — плакал Лука»,

«— — съел Лука муху — плакал Лука»;

«— — кувыркнулся Лука со стула, стукнулся головой об пол — плакал Лука»;

«— — схватил Лука огонь, обжег пальцы — плакал Лука»,

— — —

А Золотарь звонит

ПОВЕЛИ НА ГОРОХОВУЮ

«— — окруженный кольцом вооруженных до зубов чекистов — — »

И действительно, стражи набралось что-то немало: и милиционеры, и красноармейцы, и еще с Гороховой какие-то. Но, должно быть, все это только для виду — опытный глаз Яшки Трепача не ошибался! — нас посадили в трамвай, на прицепной. И везли до самой Гороховой на трамвае. А от трамвая шли мы врассыпную.

И это совсем не то — не та картина! — и встретя, никто не сказал бы про нас, как недавно еще говорили про «книгочия василеостровского», встретив его на Большом Проспекте, окруженного матросами: вел он матросов показывать Публичную Библиотеку:

«Якова Петровича,— говорили с сокрушением,— видели, говорят, на Большом Проспекте, борода развевается: вели его, несчастного, матросы расстреливать!»

ПО ЛЕСТНИЦЕ НА ГОРОХОВОЙ

Когда я поднимался по сводчатой лестнице мимо подстерегающих пулеметов, я представлял себе, что может чувствовать человек, никогда не проходивший ни через какие лестницы, ни в какие тюрьмы —

а ведь, кажется, никого не оставалось из живущих в Петербурге, кому не суждено было за эти годы пройти через сыпняк или по этой лестнице!

Какие страхи мерещились несчастным, застигнутым нежданно-негаданно судьбою, и какой страх гнался и цапал со всех сторон, и не пулеметы, а сами нюренбергские бутафорские машины и снаряды пыток лезли в глаза, цепляя, вывертывая и вытягивая.

Петров-Водкин догнал меня со своим конвойным.

В ГОРОХОВОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Старичок-«охранник» бритый с зелеными губами — а вот кто, если бы смотрел, сколько бы увидел обреченных человеческих чувств —

или когда такое творится (и эта не-обходимая лестница и этот не-отвратимый «прием!»)

и уж не в воле человеческой, а судьба и суд,
и смотреть не полагается?

Не глядя, поставил он нас — Петрова-Водкина одесную, меня ошую — раскрыл книгу и под каким-то стотысячным №-м стал записывать одновременно и мое, и Петрова-Водкина.

и кем был, и чем есть, и откуда корень и
кость, и много ль годов живу на белом свете?

Потом отобрал документы, уже прошедшие через Золотаря, и велел подписаться в книге каждому порознь под своим №-м.

И поддавшись всеобщему чувству — перед судьбой и судом! — я, как когда-то на вступительном экзамене в приготовительный класс под диктовкой — «коровки и лошадки едят траву» — вывел нетвердо, но ясно вместо «Алексей Ремизов» —

Алекей Ремзов

КАМЕРА 35-я
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ И САБОТАЖ

— Алекей Ремзов?

— Я.

— Петр Водкин?

— Тут! — отозвался Козьма Сергеевич.

Все тут были: и Штейнберг в женской шубе, и Лемке с чемоданом, какие только в багаж сдают. И еще незнакомые: одни сидели, других сажать привели —

баба с живым поросенком: шла баба по спекуляции, попала на обыск и угодила в контрреволюцию;

дама с искусственными цветами: «дверью ошиблась» и попала в засаду;

балт-мор: наскандалил чего-то;

красноармеец из «загородительного отряда» бабу прикончил, загорождая;

человек с огромными белыми буквами на спине — как слон! — беглый из германского плена

да два «финляндца»: перебегали границу — прямо с границы.

Всякий рассказал другому свои происшествия: как и почему попал и попался. Но больше некому рассказывать.

— И долго ли нам еще тут томиться?

И наползают всякие страхи: за окном автомобиль стучит — «пары выпускает» — и я вижу, как прислушивается баба с поросенком, и поросенок не пищит.

— Автомобиль пары выпускает, известно: расстреливают!

ОБЕД

Немножко поздновато, ну, когда целый день пост, тут, хоть и в полночь, а все обед будет, не ужин! Поставили миску на стол и ложку:

— Обед.

— Спасибо.

У Штейнберга ложка, а у Лемке в его чемодане целая дюжина, да вынул он одну (по опыту знает, больше не стоит!), да казенная. Сели мы вокруг миски и чередом в три ложки принялись за суп.

И поросенок оживился: хрючит, клычки скалит, хвостиком поддевает — ну, ему баба кусочек хлеба в пятачок сунула:

— Кушай!

Так всю миску и подчистили.

Унесли пустую миску, убрали ложки.

— И долго ли нам еще тут томиться?

А говорят:

— Подожди — следователь вызовет!

Первым вызвали Лемке.

Взял Лемке свой чемодан и повели его с чемоданом куда-то в коридор. И пропал Лемке.

Пропал Лемке! — — а за окном автомобиль стучит — «пары выпускает» — —

— И есть тут, сказывали,— шепчет баба с поросенком,— находится надзиратель, петухом кричит: расстреливал и помешался — петухом кричит.

ДОПРОС

Что подумает баба с поросенком, когда придет и ее черед и ее введут в следовательскую к товарищу Лемешову!

Не следователь — Лемешов свой человек, баба это

сразу сообразит по говору с его первых слов! — нет а эти вот машины: телефонные коммутаторы и аппараты и синий свет от абажура, отчего машины еще стальнее И из тьмы, куда не попадает этот свет, почудится ей, как прорезывается решетка тюремного окна, а за словами допроса стук автомобиля и из стука петушиный крик расстреливающего надзирателя.

Штейнберг дописывал свои показания, а мы с Петровым-Водкиным начинали.

И как там на «приеме», так и тут один запев:

> чем был и что есть и какого кореня и кости и много ль годов живу на белом свете?
>
> — — —
>
> — — —

Я писал завитущато — и перо хорошее, и сидеть удобно, и свет такой, не темнит и не режет! — и в конце подпись свою вывел:

> с голубем, со змеем, с бесконечностью —
> с крылатым «з», со змеиным «кси»
> с «ѣ» — в Алексее
> с «ижицей» — в Ремизове
> и с заключительным «твердым знаком»

Штейнберга отправили назад в камеру, а нас с Петровым-Водкиным — в коридор.

Лемешов с бумагами проскочил наверх в «прези диум».

ПРЕЗИДИУМ

Что такое президиум? Но этого никто не скажет — что такое президиум! — потому что никто его не видел и ничего не знает. И одно знаем, что там решается наша судьба —

> это зубы и пилы, и крюки и ножи, и стрелы и и глазатые уши и зубатые лапы, это нос пальчетовидный, и пальцы с зубами — синее, жел тое, красное и черное, это — судьба!

Мы сидим в коридоре на чемодане Лемке — сам Лемке в камере — и очень хочется пить и еще такое, как бывает после допроса: как будто кто-то там внутри по

внутренностям провел посторонним предметом — «механическое повреждение».

Ни к обыскам, ни к допросам не привыкнешь — я не могу привыкнуть! — и мне всегда чего-то совестно и за себя, и за того свидетеля моих слов, кто меня допрашивал. И это не только в тюрьме, а и в жизни — на воле!

Нельзя ли сорганизовать чаю! — взмолились мы к служителю.

Служитель шмыгал по коридору без всякой видимой причины

— Это можно! — сказал он и посмотрел на нас добрыми глазами.

И откуда что взялось: кипяток и чай — и такой горячий, губы обожжешь.

Развернул я мой узелок сухариков попробовать — «берег на случай болезни!». И с сухариками стали мы пить и пересказывать наши ответы на допросе —

никогда так не говорится, как после скажется,
а что сказано, не выскажешь!

И когда мы так в разговорах горячий чай отхлебывали, из другой двери от другого следователя вышла баба с поросенком. И повели ее, несчастную, мимо камеры «контрреволюции» в соседнюю — в «спекуляцию».

И видел я, как шла баба — — нет, о себе она уж не думала: один конец!

«А за что ему такое? — поросятине несчастной? В чем его вина, что ему здесь мучиться?»

У КОМЕНДАНТА

Лемке — с чемоданом,
Петров-Водкин — в шубе,
и я с узелком — —

терпеливо ждем в комендантской, куда нас привела судьба по суду.

Уж очень время-то неподходящее: пора спать, а тут затребовали бумаги! И комендант долго роется в груде. И отыскав, наконец, под стотысячным №-м наши документы и удостоверения, выдал их нам на руки.

— Нельзя ли получить какой ночной пропуск, а то выйдем мы на волю, нас сейчас же и сцапают!

— Не сцапают!

И никакого нам пропуска не дали.

А тихо-смирно — ночное время! — провели по лестнице вниз и на улицу — на Гороховую.

Вышли мы на улицу, воздухом-то как с воли дунуло, шагу-то и поддало, и! — пошли.

ПОД МОСТОМ

Шли мы по улице — посередь улицы, где трамвай идет,—

Петров-Водкин,
Лемке,
и я, цепляясь за Лемке.

А сугробы намело — глубокие!

Не мостом, идем прямо по Неве под мостом: незаметнее!

И видим: по мосту черные гонят каких-то — сцапали! Луна сретенская — так и зеленит. Незаметно идем, да тень-то от нас на пол-Невы

— — то там промелькнет, то из сугроба выюркнет черный по белому, по лунному — —

Выбрались мы на берег. Тут заколоченный магазин, а сбоку вывеска «чай и кофе» — прижались к «чаю и кофею» —

Да нет никого!

И опять пошли —

Петров-Водкин,
Лемке,
и я, цепляясь за Лемке,—

— Тридцать лет с женой под ручку не ходил, а вот с Ремизовым пошел!

IV

РОЖЬ

— Скажите, Яков Гаврилович, где бы мне ржи достать?

— А вам зачем?

— Да у нас вместо хлеба все овес выдают, надоело; хочу из ржи кашу делать. Вон И. А. Рязановский эту самую кашу как лакомство употребляет Только что тяжеловато, говорит, а каша хорошая.

— На Знаменской попробовать если...

Яков Гаврилович книжный человек, своя лавка — и новые книги, и старые, все, что хотите,— но он и в этом деле понимает: Яков Гаврилыч первый присоединился к лозунгу — «без аннексий и контрибуций!»

— Яков Гаврилыч, достаньте, пожалуйста. Я по таким местам не хож: меня везде чего-то боятся. И насчет табаку..

— Этот номер не пройдет, табаку не могу, некурящий, а ржи постараюсь.

Я отложил книги, какие у меня были понаряднее — с книгами приходится расставаться! — отсчитал мне Яков Гаврилыч денег за них тысячи советскими, связал книжки так, чтобы удобнее на санки положить, и мы простились.

— До свидания, Яков Гаврилыч, большое вам спасибо!

— До свидания-с! До будущего воскресенья.

А я ему еще раз вдогонку:

— Ржи-то!

— — —

* * *

В воскресенье опять я отложил книг, какие повиднее. После обеда пришел Яков Гаврилыч, забрал книги, а вместо тысяч — пакет ржи.

И вот, когда я, пересыпав рожь в коробку, свертывал бумагу — всякая бумажонка — это драгоценность большая и зря бросать не годится! — вижу какие-то знаки не то эфиопские, не то глаголические, и отложил листки. А вечером пришел П. Е. Щеголев — «старейший князь обезьяний!» — разговорились о чем-то литературном, отошел к полкам книгу какую-то отыскать, а он, как всегда, «машинально» листки-то эти подозрительные со стола взял — —

— Откуда,— говорит,— это у вас такое?

— Что там?

— Да это ж обезьянье!

— Вот чудеса! — неужто обезьянье?

И сели мы с ним разбирать знаки — не то эфиопские, не то глаголические — обезьяньи: «Донесение обезьяньего посла обезьяньей вельможе»:

* * *

«— — спешу уведомить тебя, друг мой, что по-
«ложение дел в великой белой империи страш
«но изменилось: все люди вышли из скотских
«загонов и объявили, что они человеки,
«но при этом они стали разбрасывать нечис-
«тоты на площадях и улицах, утверждая, что
«во всеобщем засорении заключается истинная
«свобода. Вожди их говорили, что людей един-
«ственно можно убеждать, отказавшись от
«всякого принуждения, поэтому никто никого
«не стал слушаться. И каждый стал делать
«что хотел. Ты знаешь, что у нас, в обезьяньем
«царстве, свободно выраженная анархия, но
«она подчинена строгим правилам и вырабо-
«танным формам, которым каждый подчиняет
«ся совершенно свободно. Например, хотя бы
«при переправе через реку — все берут один
«другого за хвост и таким образом переплы-
«вают цепью. Каждый понимает, что иначе
«переправиться нельзя, либо он утонет. Сла-
«бые же дети переходят по живому мосту спле-
«тенных обезьян. Представь себе у людей —
«этих напыщенных дураков! — совсем иначе:
«они стали не облегчать себе жизнь, а затруд-
«нять, причиняя всевозможные насилия во
«имя свободы и заставляя каждого занимать-
«ся несвойственным ему делом. Особенно нам,
«интеллигентным обезьянам, было смешно,
«когда писатели скалывали лед на улицах и
«разгружали барки с дровами Нет, я никогда
«не унижусь до того, чтобы когда-нибудь захо-
«телось стать человеком, как об этом мечтала
«моя бабушка, находившаяся в крепостном со-
«стоянии у бывшего барона фон-Пфиферганга
«в городе Штумбенбурге. Мы видим противо-
«положное явление: наиболее почтенные из
«людей с удовольствием отказываются от сво-
«его человеческого достоинства и, переходя
«в наши ряды, становятся подданными вели-
«кого Асыки. Нужно сказать правду, превра-
«титься из человека в обезьяну не так трудно,
«хотя и не легко отказаться от предрассудков,

«связанных со чванной человеческой природой.
«Преимущества же обезьян, если взглянуть
«трезво, безусловно выше человеческих — —

* * *

«Обезьянье свидетельство заменяет визы во
«все государства и дает бесконтрольный про-
«пуск в леса, в поля, в болота и прочие трущо-
«бы всего земного шара.
«Дано сие свидетельство кавал. обеззн. (имя-
«рек) в том, что он поименованный кавал.
«обеззн. имеет неограниченные права перехо-
«дить, переезжать и перелетать все границы
«и через любые заставы, поставленные «свобо-
«долюбивыми» человеческими ячейками, и не
«связан никакими обязательствами и клятвами
«и никому ничего не должен — волен делать,
«что хочет, и думать, как взбредет в голову,
«храня хвост

V

АСЫКА

Нас стянули со всех концов света: из Австралии, Африки и Южной Америки и я, предводитель обезьян, опоясанный тканым, гагажьего пуха поясом, ломал себе голову и рвал на себе волосы, не зная: как вырваться из цепей, которыми мы были скованы по рукам и ногам, и улепетнуть на родину! Но было уж поздно: прогнав по целине через поля, нас выстроили, как красноармейцев, на Марсовом поле, и герольды в золоте со страусовыми перьями на шляпах, разъезжая по рядам, читали нам приговор. Нас, обезьян, обвинили в непроходимом распутстве, злости, бездельничанье, пьянстве и упорно-злонамеренной вороватости и, признавая необыкновенно блестящие природные способности к развитию и усовершенствованию, приговаривали: применить к нам секретные средства профессора Болонского университета рыцаря Альтенара, потомка викингов Гренландии, Исландии и Северного Ледовитого Океана Со слепой материнской любовью

и негодованием следил я, как по совершении всех шутовских церемоний началась расправа. Эти «гуманнейшие умники» потехи ради прокалывали нас сапожным шилом и потом били железными молотками; а другим намазывали шерсть мягким и горячим варом, и, закатав в массе вара веревку и прикрепив ее к телу, продергивали в хомут свободной и сильной лошади и волокли по земле под гик и гам, покуда не издыхала жертва; третьим тщательно закалывали губы медными английскими булавками. И много еще было сделано, как обуздание — потехи ради. Когда же Марсово поле насытилось визгом и стоном, а земля взбухла от пролитой обезьяньей крови, а народ надорвал себе животики от хохота, прискакал на медном коне, как ветер, всадник, весь закованный в зеленую медь: высоко взвившийся аркан стянул мне горло — и я упал на колени. И в замеревшей тишине, дерзко глядя на страшного всадника, перед лицом ненужной, ненавистной, непрошенной смерти, я, предводитель обезьян Австралии, Африки и Южной Америки, прокричал гордому всаднику и ненавистной мне смерти трижды петухом.

ТРИ МОГИЛЫ

Первая могила — на Смоленском:

от сыпного тифа помер доктор Сергей Михайлович Поггенполь.

Точный и верный, знающий и любящий свое дело, железный, вот какой он был доктор железный! — «самый главный над всеми докторами», как определила его Акумовна, вещая старуха.

Ученые люди помянут его, расскажут о его науке, а я — как часто я думал: «если, не дай Бог, случится у нас беда, позвоню Поггенполю, буду просить его приехать (на Васильевский остров он никогда не ездил!), ну, чего бы ни стоило, все сделаю, только бы приехал!» — и теперь помяну его моей верой в его знание и верность.

* * *

Вторая могила в Александро-Невской лавре:
от сыпного тифа помер Федор Иванович Щеколдин.

Не могу я никак свыкнуться с этой бесповоротной мыслью о его смерти. С похорон вернулся домой, поставил самовар и подумал: «Придет Федор Иванович, расскажу ему, как хоронили — — »

Не придет больше Федор Иванович, и на Пасху не жди—

Отпевали его в Исидоровской церкви. Лежал он в серебряном гробу под серебряным покровом такой же самый, только красный от сыпи, да еще этот белый широкий венчик на лбу, как повязка — как белый обруч! Да когда священник, прочитав «отпускную» — подорожие в безвозвратный путь, коснулся его руки, я видел, как бессильно запрыгали квелые потемневшие пальцы — темные бесплодные прутья!

С Ф. И. я познакомился в ссылке в Устьсысольске: он был честнейший, самый надежный. И его знали во всех уголках России — знали как «Федора Ивановича, которому можно доверить и на которого можно положиться».

О его революционной работе расскажут в «Истории русской революции», я же помяну его великую честность и его любовь к березкам, да к полевым цветам — колокольчикам.

* * *

Третья могила — у Троицы-Сергия под Москвою:
помер Василий Васильевич Розанов.

Самый живой из старших современников, всеобъемлющий, единственный в русской литературе, и одинокий в бродячей нашей жизни.

Весной в революцию ездили мы на Шпалерную прощаться с Василием Васильевичем. Говорили в последний раз за самоваром о любимом его — о тайне кровной любви, собирающей живой мир, о монетах — старине драгоценной, и о докторе Поггенполе.

Напишут сотни книг, воспоминаний, станет Розанов — главой в «Истории русской литературы», я же помяну Василия Васильевича, нашего соседа, сердечность его и отзывчивость — много выпало в жизни ему беды

житейской! — и благословение его *любви*, которой жив и крепок вечно раздорный человеческий, грешный мир

ЗАЯЦ НА ПЕНЬКЕ

Все только и говорят: «Один убежал, другой - бегу!» А кто и молчит, а глазами — в лес

— — —

Чего же мне вдруг жалко стало?

А жалко мне пасмурного утра: я стою на лугу у леса — звонит монастырский колокол и кукует кукушка Это было очень давно, под Звенигородом в Спас-Сторожевском монастыре, куда еще детьми ходили мы из Москвы «на богомолье». Это было мое первое утро, когда я в первый раз услышал, как кукует кукушка. Вот чего мне жалко — расставаться не хочется.

* * *

— — —

Чего же я вдруг обрадовался?

Наклонился над самоваром угольков подбросить и так ясно представил северную устьсысольскую осень — яснейшие вечера с синей вечерней зарей, зеленые разросшиеся, как кусты, мхи, и жгучесть оторванности от всего мира

* * *

Снилось: комната вся уставлена книгами, и на полу книги; и в эту комнату поселяют меня одного; и жалко мне чего-то, и не уйти никуда.

Как-то потерялся я. И уж не говорю, и слова мои лишь отзвук сказанных.

* * *

— — — покорный судьбе, я подставляю спину под плети и лицо плевкам. И ничего не говорю. Я иду весь прозябший, победив всякую стужу, иду улицей прямо — я знаю, ни в ком не пробудится милосердие и я упаду обессиленный. Я не знаю, зачем нужны все мои униже-

ния и зачем весь мой страдный путь? За себя мне не страшно, не за себя — —

ЗЕНИТНЫЕ ЗОВЫ

Если что-то не произойдет — —
не прикоснется рукой к моему сердцу — я пропал. И в тяжелой вянущей тьме *как будто* беру я что-то — хочу материнскую руку прижать к сердцу.
И вижу:
паук!
И гляжу в высоту: «Крылатый паук, зашей рану на моем сердце!» И на зов мой спускается мохнатый холодный паук.
И тьма еще темней, и еще безысходней.
А там — я чую:
колыхает рассвет!
К рассвету я обернулся, стражду из мрака: «Осени!». Молчит, колыхает рассвет.
И опять я прошу: «Дух высоты!». И слышу, как из белой волны звучит (или это сердце мое?) «Не хочу! (или шум крови в усталых ушах?) «Не хочу!».
И я во мраке томлюсь.
Железная птица с железным клювом — звенит когтями, со стуком шевелятся острые перья. Зову железную птицу. (Она расклевала каменный мяч — освободила солнце, луну и звезды, это она продолбила в камне дыру — и брызнул свет на темную землю!) «Железная птица, белый ворон, ударь в мое сердце!» Шелестят железные перья, лязгает клюв: «Не хочу!»

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

У! как ветер свистит в ушах! Санки мчатся по ровной дороге — волки — кони мои! — быстро несут. Там — искры зари мелькают. И как гул по пустыне из моря звон. И вижу:
олень!
Копыта звенят, пробивают ледяную кору, не сгибаются ноги. «Железный олень, на рогах к заре подыми! И брось — расколоти тюленьи кости мои в куски. Я духом упаду в водоворот глубины и по тонкой игле взовьюсь к высоте!»
олень подымает рога —
и зарею сверкает крест —

У! как ветер свистит в ушах! Санки мчатся по ровной дороге — волки — кони мои,— быстро несут к заре — —

Вербное.

Во сне: пришел Ф. И. Щеколдин, прочитал о себе в «Трех могилах» и остался очень доволен. В. В. Розанов тут же, спит на моем холодном диване под игрушками.

* * *

Вечером точно прошло что, и я почувствовал, как меня сжало всего и бьет. Борюсь, не хочу поддаваться. Во сне: О. Д. Каменева привезла мне туфли. (Нехороший сон!)

* * *

Я проходил по Набережной — Нева идет! И все смотрю — не я один: стоят на мосту смотрят —

— Нева идет!

И отчего это глядишь, не оторвешься, когда «пошла река»?

«А когда у нас все установится и настанет тишь да гладь — «быт» — ведь, пожалуй, скучно будет!»

* * *

Ладожеский лед прошел. Растворил я комнату, закрытую на зиму.

И чего-то вспомнилось и затаилось.

И чего-то поется, и не остановишь.

А вечером глядел, не отрываясь, на первомайские ракеты — от нас из окна все видно. Как на реку, когда лед идет, смотришь, так и на ракеты — как летают огненные змейки и огненные птицы.

— — проснулись, а на улице городовые стоят: в ночь заняли Петербург, никто не слышал! Я спешу, точно скрываюсь от кого. От полиции? Не знаю. Я один иду. Сумерки. Захожу в какой-то садик, как у Казанского собора, и вижу: гроб несут. Я в сторону: а и тут несут другой. И куда я не метнусь — несут покойни-

ков: черный гроб, а носильщики — сестры в белых косынках.

* * *

По пути домой встретил много странных людей — безногих, безруких, одноглазых: выползли на свет Божий, на солнышко. И я вспомнил, как в феврале перед революцией тоже вдруг появились. Или это обида выходит на улицу?

* * *

«Охотиться за водой!» Никто не поверит. А мы всякий день этим заняты — вода на 6-й этаж не подымается!

* * *

Утром пошла вода. Я радовался, как радуюсь теплу и свету. Какое счастье, когда из крана течет вода!

И оттого ли, что такое утро выдалось счастливое, нахлынула на меня жарчайшая память.

Шел на Кронверкский и все думал:

«Чем жив человек, чем красна его изменчивая жизнь? Встречей — — ? Мгновенной ли любовью и разлукой? Верой и разочарованием? Или в измене и очаровании жарчайшая память, и эта память живит душу?»

Вернулся домой — а вода прекратилась.

* * *

Вывезет или пропад?

На первом месте агитационная литература, затем учебники, потом классики, а потом все мы еще живущие робинзоны. Не дождешься!

В прошлом году, когда закрыли все «буржуазные» газеты и журналы, это было очень жутко: ведь хоть изредка, а все-таки меня печатали, как гастролера, и тем «пропитание я себе добывал». Осень и зиму «побирались», должая, а потом вывернулись — появилось частное книгоиздательство — «девятое чудо света!». Но уж все, что получено, проедено. А теперь? Или пропад?

* * *

Увы! зеленая бочка, в которой воду бережем, течет! Надо будет дознаться, где течь? Это такое горе: опять в бутылках собирать — у нас 80 бутылок из-под боржому.

* * *

Третий день горит электричество до полночи, вот счастье! А то ведь не успеешь и оглянуться — и опять во тьме. Хожу в страхе: думаю о дровах. Чем будем топить? Редкий час не думаю. И как будем жить? Встаю поутру с отчаянием. Все силы уходят на то, чтобы что-нибудь достать из еды и как-нибудь быть на белом свете.

* * *

Обыск по всему дому: к нам забрались в три часа утра.

Моя серебряная стена с игрушками зачаровывает. Есть у меня деревянный волк-самоглот, к волку шарик привешен: если качать шарик, волк головой кланяется, а хвост у него подымается. Бабы влипли в волка: давай хвост ловить.

— Товарищи, перестаньте! что вы? дети, что ли? — отгрызнул главный: он и сам бы не прочь, да очень устал.

А бабы — я заметил — куда цепче! и все трогают, и во все коробочки глазом шмырят: «Покажи!».

* * *

Приходили из Совдепа от жилищной тройки по уплотнению буржуазных квартир. Ну, я вам скажу, если кто позарится вселиться к нам, так только себе в наказание. Изволь без воды! а таскать на 6-й этаж тоже удобство!

* * *

Был трубочист, не бывший год!

* * *

В окно полыхает зарево — вот что еще тянет, как река и ракеты, не оторвешься и жутко.

* * *

Ранним утром с «Севастополя» выстрел: необыкновенно торжественное! и укатилось мягко-серебряно-звонко. И опять в тот же самый час пробудило — я услышал: та же торжественная песня — мягко-серебряно-звонко!

Стою в очередях по три, по четыре часа.

Когда шел в Чернышев переулок в кооператив «Севпроса», на Исакиевской площади начали путать проволокой; а когда возвращался, вижу, в Александровском саду расставлены пулеметы и около красноармейцы. А по набережной навалены мешки, а где и на дровах. Жалко дров — все растащут! Ну, слава Богу, все успел получить! Одна эта мысль: «успеть бы получить, а там что будет, хоть кто хочешь приходи, все равно!»

* * *

В очереди за хлебом в нашей продовольственной лавке какой-то рабочий ко мне тихонько:

— Отогнали!

— — —

* * *

Трамвай набит до невозможности.

— Господа, подвиньтесь!

Красноармеец, оборотясь:

— Господа под Гатчиной легли.

Баба с места:

— То-то и есть: господа легли, а одни хамы остались.

— А ты тише! Держи язык за зубами! А то знаешь: долго разговаривать с тобой не будем.

— Ишь какой выискался! И не боюсь я тебя. Что ж, останови трамвай, выведи меня и расстреляй! Такую жизнь сделали, только смерти и просишь.

Баба ворчит.

Красноармеец оттеснился.

А тут и остановка, стали выходить — места освободились.

Баба вроссыпь к стоявшей даме:

— Садитесь, пожалуйста!

И, наклонившись, к соседке:

— Я из той деревни, где они были. Верите ли, на Покров пришли! — и совсем шепотом: — Офицер с погонами! А у нас на Покров много свадеб назначено, батюшка и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, можно венчать?» А офицер: «Кого угодно, только не коммунистов!».

* * *

— Сны мне больше не снятся!

Я как-то спохватился: где сны? — Нету. Измученный ложусь я спать и сплю, ничего не вижу. Я делаю все — самую грязную работу, и не поспеваю делать своего. Сколько я думал и слышал, а записать и пустяков не удосужился.

Ожесточенные мысли приходят мне в ожесточении моем, отчаянии и унынии. Все мое время уходит на добычу, а венец дел — раз в неделю пообедать. Подумал: «Подам прошение в Совнарком — расстрелять меня, как запаршивевшую собаку: все равно ни толку от меня, ни пользы!».

* * *

Недалеко от дома —

— Нет ли у вас работы?

Я обернулся: сзади шла, должно быть, из прислуг.

— Что вы? какая у нас работа!

— Возьмите меня служить хоть даром.

— Да нам не нужно.

— Вы не обижайтесь! К кому же нам и обращаться, как не к вам — а вам и самим теперь нечего.

— Да уж как нечего!

И она меня до дому проводила, все рассказывала, как жить ей плохо: квартира у нее маленькая, а дров нет и керосину нет, и что было, все продано.

— Видно, с голоду помирать.

И я ничем не мог ей помочь.

* * *

Заседание в «Астории» о культпросвете среди «загородительных отрядов». Хозяин, молодой человек, высказал «гениальную мысль»:

— «Историю» надо писать так, как в издании «Сатирикона», и это должно быть заданием для нашей работы!

Вернувшись домой, я написал «о человеке, звездах и свинье». На следующем заседании я непременно прочитаю, это моя «история».

* * *

Сегодня у меня особенный день. Я проснулся и вдруг почувствовал — — ко всему миру, ко всей твари. Я точно проснулся. И готов все принять и подыму самый тягчайший труд. Я понял, что надо нести всю эту беду — нашей жизни. Надо! — потому что *так надо.*

ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕР

На Петра было и Февронию, чудотворцев муромских, на другой день Купалы, запылал пожар в Ярославле. Началось запаленье с питейного дома — с ведерной да чарошной продажи. Погибло в огне много Божьих церквей, честных монастырей, белостенных купеческих домов, Гостиный двор и все лавки с товарами.

А как нет худа без добра — погорели остроги и канцелярии с делами и кляузой, да сгорели и кнуты с клеймами, штемпеля колодницкие, щипцы, чем ноздри рвут —

> «снасти, подлежащие ко учинению колодникам экзекуции».

Посылали в Романов, Пошехонье и в Кинешму —

— У самих нет!

Сидят поддозорцы в тюремной избе, утеклецы изловленные: не биты, не сечены, не клейменные. Нету и заплечного мастера.

— Не пожелает ли кто из вольных людей в заплечные мастера: быть в штате при Ярославской Провинциальной канцелярии?

Растосковался заштатный мастер Григорий Кузьмин:

> «Кабы мне, заплечнику, лет десяток с плеч, я пошел бы охотою, день-деньской пьян, веселил

бы мастерское сердце унылое. Зазвонят у Николы Мокрого, я надену красную рубаху, рукавицу цветную на руку, возьму плеть воловьих жил; два подмастерья пойдут за мной с веревкой и ремнями сыромятными; на черный помост взойду, стану у черного столба с железным кольцом: «Берегись, ожгу!». Засвистит мой кнут — под кнут деньги сыпятся. Брызжет кровь из спины — а не дрогнет рука. И вонзаются клейма, как кошка: «*вор*». А теперь — худо видеть стал, ослаб, рука дрожит. Зазвонят у Николы Мокрого — в кафтанишке смуром, мятая шапка, озираясь, побреду, как вор, на площадь, стану в церкви в сторонке: «Господи! чудотворцы муромские! пес замуренный — черти осетили, Господи!».

Прислала Москва — Розыскная Экспедиция — тридцать кнутов да щипцы со штемпелем. А вслед и сам мастер пожаловал — Хлебосолов Никита Иванович.

ОКНИЩА

лица их — сама земля,
тело их — прилипло к костям,
до пояса отросли волосы,
по локоть бороды — стрелами на груди,
одежда изодралась от голода и тесноты —
лохмотья висят,
а голоса их — пчелиные

I

ФИФИГА

На улице вечером: стоят — прилипнут к стенке и смотрят на вас.

— — —

— — бывает у меня такое чувство, точно я виноват перед всеми, и мне хочется прощенья просить у всякого —

— — как задавит скука, и человек ничего не стоит —

— — три к носу, все пройдет —

— — своему горю как-нибудь помогать надо, что же делать — — !

— — напрокудил и к стенке лепится! —

— — не было совести и не заводилось —

— — около чужого несчастья руки греют —

— — с именем Божьим да топором —

— — с дороги берут — всякая дрянь люди —

— — и невинный и винный страдает —

— — лезут козы на изгороду!

— — камня бы им горячего дать!

— — что украл, то Бог дал —

— — сколько веревку ни вей, конец будет —

— — судьба наша без судьбы —

— — —

Идет девчонка с бутылкой, а впереди какой-то тоже с бутылкой.

Девчонка повернула на 12-ю линию, а тот было дальше — —

— Дяденька! — окрикнула девчонка, и слышу шепотом: — Керосин тут продают.

И я подумал:

«Можно жить еще на свете!»

— — —

— А что такое фифига?

— А это такое, что наседает и никуда не скроешься; так и про человека говорят: «превратился в фи-фигу!».

— А что такое «медовые выплевыши» — очень, говорят, вкусные?

— Еще не пробовал.

II

НА УГЛУ 14-Й ЛИНИИ

Да, мы жили не так — это я потом тут понял до конца. Правда, и у нас бывало,— — вот когда зимой воды не было и соседи нижних этажей, до которых вода доходила, верхним воды не давали: и не то, что воды жалко, а «ходят — студят комнаты!». И то все-таки, скажу, не все — —

Да, не так — — это я говорю о том круге драни и

голи, где каждый тащил на себе, как мешок тяжелый, свой неуверенный обузный день — свою судьбу без судьбы.

На углу Большого проспекта и 14-й линии стоит женщина. Одета она прилично, то есть все, что можно зашить и подштопать, все сделано. И не такая она старая, не развалина, только лицо, как налитое, без кровинки. Она не просит словами, она чуть кланяется и смотрит —

и ей всегда подают.

В самый тискущий тиск и последний загон — много о ту пору мудровал человек над человеком! — когда, кажется, ну ничего не подскребсти, все использовано и завалящего не может быть, я видел —

подают!

А кое-кто еще и остановится, женщины больше: остановятся, поговорят с ней — должно быть, в угол, где она на ночь-то ютится, туда в этот ее ледник приносят ей, ну, что можно, что в силах человеческих сделать, когда у себя нет ничего.

И на лице у нее как луч светится.

И когда я это вижу, я уж иду на пяточках — мне все страшно: вот я что-то спугну, помешаю чему-то, как-нибудь своим ходом нарушу, задую — — свет.

* * *

Как-то проходя по Б. Проспекту, это зимою было, я старуху не увидел — померла, подумал.

«Так и померла, значит, в своем леднике!»

Неделя прошла, другая — старухи не было.

«А может,— думаю,— попала под декрет об упразднении нищенства?»

А сегодня гляжу, стоит! — чуточку поправее: там такое углубление есть в железной решетке забора, так в углублении прислонившись стоит, и по-прежнему кланяется — шея обмотана, обвязана, но аккуратно так.

А какая-то женщина остановилась. Что-то шептала — а та ей отвечает.

Слов не слышно, но глаза я видел — вообще-то я по моей слепоте глаз у человека не вижу, а тут увидел: я увидел и понял, что очень плохо было эти недели, очень больно — хворала, но вот понемногу прошло. И еще я увидел: была в глазах кроткая покорность вынести эти тягчайшие дни — назначенные и неизбеж-

ные. А та женщина, я это тоже увидел, заплакала — от своего, конечно, заплакала: своего у каждого — через край!

И я тихонько пошел с обостренным глазом — слепой, различая мелочи незаметные.

И не знаю, куда мне деваться и что сделать, когда я так вижу, и не знаю, как поправить —

III

ЗАЛОЖНИКИ

А другой раз иду я, у меня, ну — как грудная клетка открыта и внутренности обнажены — горят. Я не голоден, мне ничего такого не нужно себе, и я иду совсем вне всяких гроз.

Так шел я по Среднему проспекту с такой обнаженностью горящей — и каждое движение, каждый поворот встречного был мне, как прикосновение к больному месту.

И вот недалеко от Совдепа на углу 7-й лин. гонят —

— Кто эти несчастные? — спросил я.

— Буржуи заложники! — кто-то ответил.

И я вспомнил, читал сегодня в «Правде» — это вскоре после убийства Урицкого — «за одну нашу голову сто ваших голов!». И я подумал:

«Это те, из которых отберут сто голов за голову!»

Приостановился и смотрел, провожая глазами обреченных: их было очень много — много сотен.

«Должно быть, в «политике» так все и делается,— думал я,— не глядя делается! Ведь, если бы смотреть так вот, как я, и всякое мстящее рвение погаснет — за голову сто голов!»

И вдруг увидел возмущенное лицо человека — возмущенный голос человека, кричащий:

«Убили! так нате же вам! ваших — сто!».

А тут вижу, гонят — это как раз те, которые попали — обреченные сотни.

Каждого различать в лицо невозможно, но есть общее: это согнутость и тревога — не о себе! о себе-то никто больше не тревожится, разве уж какой плющавый! — нет, о близких, у каждого ведь гнездо! — да еще недоумение: — — «не согласен, не согласен, что несу ответ!»

«Да, это в политике, не глядя,— на бумаге, по анкетам — — !»

Я провожал глазами этих обреченных — пришибленные шли они покорно по Среднему проспекту из Совдепа — —

«Не трудящийся да не ест!»

— — калоши мои оказались такая рвань, взглянуть страшно. Откуда, что — ничего не понимаю. Потом догадываюсь: на собрании в Театральном Отделе обменялся с А. А. Блоком и носил с месяц, подложив бумагу, и вот попал опять в свои, но уж разношенные здорово,— это все Блок. Мы идем по снегу, по сугробам — белое все. И на душе — бело. Далеко зашли. Да это Москва!

«Подождите,— говорит А. А. Блок,— посмотрю, можно ли?»

Я остался у крыльца, жду; а он в дом пошел. Я не знаю, кто живет в этом доме, но, думаю, можно хоть чуточку передохнуть. А Блок уже назад —

«Нельзя,— говорит,— пойдемте дальше».

«Не пускают?» —

«Чужая мать».

И идем по снегу, по сугробам — белое все. А на душе — не бело.

IV

ЛАВОЧНИК

В соседнем доме лавочка. Лавочника Микляева все знают. Только у Микляева и можно купить сахару, а больше нигде. Сахарные карточки появились еще в войну, и все меньше и меньше выдают сахару, и уж без Микляева не обойтись стало.

И все пользовались сахаром, только не всем продавал он.

Я не раз заходил в лавку, терся, выжидая, когда уйдут покупатели, и я останусь глаз на глаз с Микляевым. И, выждав, начинал осторожно и отдаленно, а потом:

— Сахарку бы! (Так меня учили.)

Но всякий раз Микляев только головой покачивал:

— Нету.

И я уходил ни с чем.

Но я не жаловался, как никто из соседей по нашей линии: все равно, так или этак, а сахар достать есть где, и сахар будет.

А ведь и лавчонка-то тесная, темная и только всегда огонек от лампадки перед образом в углу над конторкой — прямо над Микляевым, а для нас она светится такими сахарными огнями, куда Елисеев на углу Караванной.

* * *

Начался учет и по анкетам вышло, что лавочник Микляев — «лавочник»-буржуй, и, как «паразитический элемент», попал он в особый список и должен был отбывать «общественные работы».

Я его часто встречаю по утрам: он бежит на какую-то «общественную работу». А лавка его заперта, и огонька не видно — когда же ему торговать! И замечаю, как прохаживаются мимо лавки, ждут: не блеснет ли огонек? Да напрасно ждут! Поздно вечером возвращается Микляев с работы, и не бежит, а медленно движется и прямо домой: устал — непривычно! — всю жизнь за прилавком и все на ногах и не уставал, а вот — —

И с каждым днем я замечаю, как он худеет — он как жердь: кожа да кости. И уж не смотрит на тебя, а раньше, бывало, встречаясь, раскланивались—

это, как собака, она тоже не смотрит, околевая.

В нашем районе все его жалеют: ни сахару достать, ни спичек.

— Ну кому человек мешал! — говорит какой-то остервенелый: без сахару-то все опротивеет.

— Паразитический элемент!

А потом и лавка точно опала. В окно видно: все ящики сдвинулись или опрокинуты стоят и сор вокруг.

И хозяина что-то не встречаю.

Конечно, не молодой, трудно начинать жизнь по-новому — — а чтобы ну год-другой перетерпеть, вон Шариков тоже был «паразитический», а в конце концов дожил, дотерпел и в анкетном листике значится «нэп-

ман» — красный купец, и как ни в чем не бывало.

«Граждане, хищнически расходующие воду, будут привлекаться к ответственности!»

V

АННА КАРЕНИНА

В «Вестнике Отдела Управления», где печатаются всякие обязательные постановления Петросовета, есть такой закон: там о перемене фамилий.

Каждый раз я с нетерпением жду четверга, когда выйдет этот «Вестник», чтобы посмотреть, какие есть еще на свете «лошадиные» фамилии и на какие «нелошадиные» меняются. Очень интересно. И я думаю, это единственное, что есть интересного в газетах. Рассуждения — «политику» — я не читаю, а хроники — «случаев и происшествий» — нет: не полагается —

ведь в такое время все случай и все происшествие!

И немало попадалось мне фамилий такой звучности необыкновенной, очень-то и не представишься! А менялись: или на громкие литературные, или на такое, уж никак не поймешь, почему. Но читая этот «Вестник» и выискивая черт знает что, я никогда в лицо не видел человека, который назывался бы одним, а потом вдруг стал бы другим, и как ни в чем не бывало.

И вот на нашем дворе объявилось!

* * *

Все знали Нюшку Засухину. Нюшка трамвайная метельщица — «трудовой элемент», существо доброе и кроткое: налитая, как пузырь,— должно быть, от воздуха такой румянец! — а нос не шишечкой (шишечкой это у Лизы), а самый наш доморощенный пятачок. Приходила она к нам хлеб продавать — доставала через кондукторов, потом колбасу, а потом эти самые «медовые выплевыши» собственного изготовления. Но ни хлеба, ни колбасы, ни «выплевышей» ни разу у нее не пришлось купить — все очень дорого. А она все-таки заходила к нам «сказаться»: показать «нелегальный товар»

Нюшке посчастливилось: получила она, и не как-нибудь по усмотрению, а в «общем порядке», по своей трудовой карточке, калоши. А это большая редкость и, если перепродать, цены нет. Но она никогда с ними не расстанется!

В воскресенье вечером — теплая погода, самое лето, да и часы на три часа вперед, воображаете? — Нюшка надевает калоши и с зонтиком — калоши блестят!

И слышу: больше не Нюшка она Засухина, а Анна Каренина!

* * *

Зима 19-го года была самой лютой не по морозу,— эка, морозы-то и не такие бывали! — а потому что топить нечем было. Продавать же дрова нельзя — запрещено: дрова, как хлеб, товар «нелегальный».

> Само собой и покупать не разрешалось, за это тоже: попадешься, не обрадуешься!

Но ведь, когда холодно, тут ни на что не посмотришь!

У кого деньги были или запасы всякие, что можно было продать или на обмен, те и хлеб, и дрова доставали: за деньги все можно.

> Нет, что ни говорите, не верю я, чтобы на нашей улице был бы когда праздник! — только на бумаге вывести все, что угодно, можно, и не потому, что так есть, а потому, что хочется, и без веры нельзя быть на белом свете.

«Богатые» — всякими правдами и неправдами за деньги или, как говорилось, «через преступление», простые же люди — «через учреждения», ну, всякий хоть сколько-нибудь, да добывал себе дров. А я и служил, и тоже к учреждениям имел всякие отношения, но мне не везло: наобещать наобещают, да только этим и будь здоров!

Конечно, у всех было мало и сжигали все, что ни попало. Ну, а когда даже и самого малого нет, тут уж только и смотришь, чего бы использовать на топку: со шкапами и полками покончив, за дверь взялся. Только это неверное дело и одному никак невозможно (хорошо еще на-

шелся добрый человек и дверь высадил чисто, а то беда!). Но что поделаешь, надо что-нибудь выдумывать, и слышу — когда надо, уши-то вот какие становятся, как глаза у водолаза! — слышу я,

что надо идти к товарищу такому-то, и называют учреждение:

— Сологуб и Мережковский давно получают —

Понимаю, и Сологуб, и Мережковский известные писатели, а мое дело маленькое — меня мало кто знает! — и рассчитывать мне на «исключение» не годилось бы, но опять-таки, говорю, когда надо, тут и не то что уши растут, а и язык, и все выражение наглеет.

Я и пошел.

Я стал все объяснять, как сейчас говорю, и об ушах, и о празднике, которого на нашей улице никогда не дождешься, только о двери не сказал (все-таки начальство, неудобно!).

— Не знаю,— говорит,— как мне и быть, много я всем вашим давал, что на это товарищи рабочие скажут? Опять же и Мережковскому надо послать...

И все-таки пообещал.

Вернулся я домой — счастливые минуты! — я думал, так вот сейчас и привезут. А долго пришлось ждать: за делами там забыли, конечно,— не я один и всем надо!

Я и опять пошел.

Понимаю, и не полагается мне никаких дров, и зря я это все затеял, но что же мне еще придумать: я и так мерзну, а уж тут совсем — замерзаю!

Пошел я напомнить —

— насчет дровец обещались?

— Хорошо, хорошо,— говорит,— я не забыл: дрова будут.

Да, я вам скажу, все бы мы пропали, живи эти годы жизнь свою по декретам, но сердце человеческое, для которого нет никаких декретов, спасало нас.

И опять ждать-пождать, нету, и другую дверь я наметил — и вдруг под вечер привозят — счастливая минута! — привез милиционер, дрова сбросил с саней у ворот под аркой, и уехал.

— — —

Стою я над дровами — и не так их и много — а все-таки перенести к себе на такую высоту, на шестой-то

этаж, сил у меня таких нету: попробовал, протащил полена два, запыхался и боюсь уж.

А все ходят, смотрят, дрова похваливают.

— Откуда?

— — —

А я все стою, отойти невозможно: отойдешь, кто и стянет. Прошу одного, другого помочь — мне это никак невозможно! — объясняю. И хлеб сулю. И никто не соглашается (я понимаю, надо хлеба много!) — не соглашаются: очень высоко и так за день все устали! А на ночь оставить дрова на дворе, нечего и думать: ведь не с кого будет спрашивать!

А все ходят, смотрят, дрова похваливают.

— Вот привалило счастье-то!

И еще раз сбегал, полено к себе снес наверх. Нет, больше не могу.

Я и возроптал:

«Уж если,— думаю,— человек захотел доброе дело сделать, так надо до конца делать, ну, что бы велеть этому милиционеру и не только привезти, а и перетащить дрова ко мне наверх, я бы ему весь мой хлеб отдал —».

Стою над дровами — жар-то прошел, как бегал-то я с поленьями к себе! — холодно стало.

И во дворе никого, а скоро и ночь.

И только в окнах чуть огоньки перемигивают — на меня мигают на счастливого, которому выпала такая удача, привалило счастье: дрова!

— — —

А шла с работы Анна Каренина, несла в руке огромную черную метлу да узелок с хлебом, вся-то закутанная, только ноздри из щек глядят. Знаю, устала, но я уж не думаю, не думая, прошу —

И что же вы думаете? — согласилась:

за тот хлеб согласилась, за который никто не соглашался!

Отнесла она метлу к себе — бросать зря нельзя, а то еще кто стащит! — и не раскутываясь, как была, так и вышла. Кликнула Лизу, и вдвоем взялись за дрова.

Я не заметил, как в мешке перетаскали они ко мне все поленья.

И вот тут-то, когда я отдал ей весь мой хлеб, произошло превращение: глаза ее щелочки расширились — такие — «Анна Каренина!» — и она в первый раз увидела всю мою серебряную стену с игрушками —

а ведь сколько месяцев приходила к нам и никогда ни разу не замечала!

— Какие это здесь растопыры, ай!

И уж забыв о хлебе, стала собирать разбежавшиеся глаза свои на каждом серебряном гнездышке, где, пришпиленные, как сидели, всякие разные игрушки —

— растопыры — собаки — птички сидят — кривоножки —

И оглядев всех — всех растопыр — никак не могла оторваться:

змея с раскрытой жалящей пастью жалом лезла в глаза ей.

— Сами и глазки садили?

* * *

— — вижу: А. А. Блок в красном китайском халате.

«Александр Александрович, вам бы надо женские ботинки, я с год ношу женские, и тогда на каблуках, и костюм на вас совсем хорошо будет!»

А Иванов-Разумник:

«У вас всегда были подленькие мысли».

«Беспартийные должны советскую власть поддюживать!» — сказал Блок и стал оправляться.

И вижу: проходит — он проходит, как на сцене, а за ним народ — черный, и только один он в красном —

— — —

— — я в своей комнате с серебряной стеной, лежу на диване под игрушками. Дверь в соседнюю комнату открыта.

«Да помогите же!» — зову.

И слышу голос С. П.:

«Я позову сейчас доктора Поггенполя, ведь он же здесь!».

«Да здесь никто помочь не может,— отвечаю ей,— будут: так решено! будут расправляться со всеми, у кого нет полфунта революционности, а у меня только восьмушка!»

VI

ПОРТРЕТЫ

В Народном Доме висят два больших портрета, красками написаны — работа художника «ради существования».

Эти портреты, как я ни слеп, а сразу увидел, слоняясь по залу в ожидании собрания. Мне-то ничего с Васильевского острова, а другим с дальних концов на Петербургскую сторону, никогда вовремя не поспевают. Вот я и слонялся глазея.

Какой-то из театральных рабочих проходил мимо.

— Кто это? — спрашиваю, показывая на портреты.

— Марья Федоровна и Петр Петров! — скороговоркой ответил и так посмотрел на меня: откуда, мол, такой взялся «несознательный».

— Как Марья Федоровна и Петр Петрович! Что вы говорите?

Понимаю: Марья Федоровна — заведующая ПТО, Петр Петрович — управдел, но все-таки —

— Скажите, чьи это портреты? — остановил я заведующего Народным Домом.

— Роза Люксембург и Карл Либкнехт,— отрывисто сказал он и посмотрел на меня: ну, мол, и чудак нашелся

— Я очень плохо вижу,— поправился я.

И подумал: «А что ж, тот-то мне — или нарочно?»

И вспомнил, как мой ученик из «Красноармейского университета» самый способный — «политрук» — после моего чтения о Гоголе признался, что и он, и его товарищи были убеждены,— что Гоголь еще жив и служит в ПТО — «член коллегии».

«Нет, конечно, не нарочно; и почему начальству не висеть на самом видном месте, так всегда было!»

Тут подошли запоздавшие и началось собрание.

А я продолжал думать о своем — о портретах:

Роза Люксембург и Карл Либкнехт!

— — —

Рассказывал мне один — за продовольствием ездит (теперь этим кто не занимается!). И точно не помню, но где-то по соседству в нашей же Северной Коммуне, когда дошла весть об убийстве Розы Люксембург и Карла Либкнехта, в местной «Правде», по примеру петер-

бургской, было написано все о тех же головах: «За нашу одну голову сто ваших голов!». Стали справляться по анкетным листкам и вышло, что никто не подходит какие были буржуи — торговцы, лавочники, доверенные — давным-давно или разбежались, или были использованы как ответчики за другие контрреволюционные выступления в Москве и в Петербурге. Но надо же как-нибудь. так — никого — невозможно! И пришлось отобрать из «нетрудового элемента»: взяли пятерых учителей, больше некого.

И я себе представил, как эти несчастные готовились к смерти.

Ни судьи, кто их обрек на смерть, ни сами они, обреченные, ничего не знали — в первый раз слышат:

Роза Люксембург и Карл Либкнехт!

«Нетрудовой элемент» — это еще куда ни шло: «трудящийся» — это тот, который руками делает, а они действительно только учили грамоте и руки тут совсем ни при чем;

но Роза Люксембург и Карл Либкнехт —

если бы Маркс — Энгельс! — и все-таки что-то слышали, а про этих ничего. «Нет, не согласны!» Умирать, не зная за что,— умирать, чувствуя себя дурак дураком —

— — —

Я не знаю, может, мне нарочно рассказал этот «мешочник», но все это так вероятно и так возможно—

как вот Марья Федоровна и Петр Петрович на портретах, как вот Гоголь — член коллегии ПТО.

Только Роза Люксембург и Карл Либкнехт, пожалуй, не поверят —

«Чтоб избежать холеры муки,
Мой чаще хорошенько руки».

VII

БРАТЕЦ

Сегодня воскресенье –

Всякую субботу к нам приходит археолог И А. Рязановский, я его кормлю крошками, собранными за неделю, он ночует в моей серебряной комнате с игрушками, и в

воскресенье я его провожаю до Николаевского моста. Когда-то мы вели с ним археологические разговоры (страсть к археологии, по его мнению, есть любовь к современности!), а с каждой субботой все меньше об археологии и больше о продовольствии, об очередях — и как надо все брать «урывом» и «с наскока»!

> Ведь об этом теперь только и разговору, куда ни придешь и о чем бы ни заговорил.

«Я, знаете, Олексей Михайлович,— сказал он с горечью, но не без гордости,— я теперь умею ногой лягаться».

Я эти вспомнил горькие и гордые слова его, глядя, как шел он, простившись, шел не по-прежнему, а ногой подрыгивал, которой он — человечный из человеков! — научился лягаться

Сегодня воскресенье — в три часа по воскресеньям на 12-й линии у «братца» собираются. Я и подумал, пойду послушаю, о чем же теперь «братец» толкует, когда один у всех толк: еда и мороз.

> Вот недавно приснилось. ветчина и колбаса — под столом разбросаны ломтики. А ведь это для меня, что человеку научиться ногой лягаться!

На 12-й линии я обогнал какую-то простую женщину и приостановился: мне показалось, что меня окликнули. Нет это она не ко мне — она сама с собой:

— Все испортили! — и в голосе выговаривалась горечь,— и если бы солнышко ниже было, солнышко тронули бы!

Я посмотрел на нее — а меня не видит! — и скорее пошел вперед.

* * *

Дом я сразу нашел, а квартиру никак не могу: это моя постоянная мука — всегда не в ту дверь.

— Где квартира № 1? — спросил я: хорошо, кто-то еще подошел.

Да это та самая женщина, которая о солнышке.

— А вы к братцу?

— Да

— И я к нему. Тайком иду. Муж-то на заводе — «товарищ»! Нельзя и слова сказать.

И я пошел за ней

* * *

Комната просторная и уж полна. Кто на лавке сидит кто так — у стены. Больше женщины Чуть повыше пола помост, как кафедра, и аналой.

Я был раз в Гавани на собрании еще до войны, и все тоже мне показалось, как тогда. И как тогда, вошел «братец» в белой, длинней, чем обыкновенно, рубашке, и крест на голубой ленте. И сразу, как вошел он, я почувствовал, что всем стало чего-то легче — чего-то мирно.

Пропели хором «Царю Небесный», «Отче наш».

И стал он читать евангелие. Читал он нетвердо, как дети. А открылось ему об исцелении слепорожденного, который ни сам не виноват, ни родители его не виноваты, а родился слепым для «дела Божия» — для «света миру». Кончил евангелие, начал рассказывать — как сказку сказывал житие из Пролога о преподобном Нифонте.

(Я это житие знаю — рукопись XII века — все о демонах, и мудреное!)

> У всякого есть ангел хранитель. И человек добр и бодр под его попечением. Но приходят демоны страстей: нашептывают в уши, тянут за язык, тащут за руки. И начинается кавардак. И длится до тех пор, пока к ангелу хранителю не придут на помощь другие ангелы и не начнут борьбу с демонами. Ангелов же надо вызвать человеку — вымолить, а вымолить можно только любовью. Черное же сердце — злобы, проклятия и мести — не только не вызовет своей молитвой ангелов себе на помощь, а подзовет еще злейших демонов, и уж подлинно на свою голову.

На Нифонта наклеветали («нашептали демоны») будто он только представляется святым человеком, а на самом деле он и вор, и плут, и мошенник. И вот люди, соблазненные демонами, стали гнать старца.

> Не дают житья ему: убирайся, говорят. Старец — святой человек! — все видит: видит и этих демонов, которые незримо для других, мудруют над его гонителями — и стал на молитву. И молился, чтобы явились ангелы и отогнали демонов от несчастных опутанных

людей. И явились ангелы — горяча была молитва и велика любовь старца к несчастным гонителям! — ангелы и турнули демонов. И когда демоны пропали, люди, гнавшие старца, как очнулись: что за причина? за что они несчастного гнали? — живет старец тихо, смирно, ничего худого не делает, не безобразничает, никого не смущает, на зло не науськивает и одно желание — помочь другому человеку! И оставили они жить старца, да еще и извинение попросили: прости, говорят, добрый человек, мы обознались!

И окончив рассказ, как сказку,— «мы обознались!» — и сам вдруг обрадовался: ведь все хорошо так кончилось — и гонители, и гонимый помирились друг с другом!

Со всех сторон поднялось от обрадованного сердца:

— Спасибо, братец, спасибо!

— Ты наш апостол!

— Ты наш пророк!

— Нет! — и он сказал это громко и крепче, и настойчивее,— я не пророк, я не апостол, я — тот петух, который запел, и отрекшийся Петр вспомнил Христа.

* * *

— — Андрей Белый в сером мышином, как мышь, молча, только глазами поблескивая, водит меня по комнатам — а комнаты такие узкие, сырые — показывает. И вывел в яблоневый сад. На деревьях яблоки и наливные, и золотые, и серебряные, и маленькие китайские, я сорвал одно яблоко — а это не яблоко, а селедочный хвостик, я за другое — и опять хвостик. И очутился на лугу. А луг весь-то в продовольственных карточках самых разных цветов; как в цветах, и в удостоверениях с печатями. Но какого-то самого главного удостоверения у меня нет. И я все искал, схватывался, искал — нет!

VIII

МЫ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕМ

Когда-то их магазин был у всех на виду, самый дорогой — самый гастрономический самых соблазнительных деликатесов. Всю войну и начало революции торговля шла так бойко, словно нигде никакой войны и никакой революции нет и не ожидается.

А когда вышел декрет о запрещении частной торговли и стали закрывать магазины, и «гастрономический» был временно обращен в «комиссионный», назначенный для распродажи всяких случайных вещей, им тоже временно оставили одну заднюю комнату, и чтобы до них добраться, надо было пройти через все комнаты, завален ные старьем — через поношенные платья, держаную посуду и подозрительные редкости.

Но и в единственной — в этой задней комнате можно было найти все, что и раньше во всех комнатах, только товару, конечно, очень поубавилось, но зато было и такое, чего никогда у них не бывало: это — маленькие, необыкновенно вкусные черные хлебцы.

Продавали они только знакомым — старым покупателям да недавним, кого в лицо знали

* * *

Рыща за добычей, я знал кое-какие закоулки, где ни как не догадаться, что идет тайная продажа съестным и где могли произойти самые неожиданные встречи — помирать-то голодом кому охота! — знал я и этот магазин.

Увы! дорогие Нюшкины выплевыши мне, как рыбий жир!

Я и пошел на Караванную за «хлебцами»

И что же вы думаете: все оказалось запечатанным — вся комиссионная торговля — весь магазин. Я заглянул во двор, а там надпись: на обрывке карандашом —

Эрнэ

Приоткрыл дверь — бывшая дворницкая, наверно! — и вижу сидят —

их было трое — три продавщицы — и все целы и невредимы сидят в этой крохотной комнатенке.

— Как вы нас нашли?

— Нюхом,— говорю,— точно толкнуло что: нюхом вошел во двор и вижу вашу надпись, туркнулся—

И все-то у них оказалось, все есть, только куда меньше, и эти маленькие, необыкновенно вкусные черные хлебцы!

Да, вот этот изводимый декретами и никак не изводящийся «обиральный элемент», да доброе дарящее сердце, для которого нет никаких декретов, а то бы — пропад.

* * *

Прошло сколько — почему-то дни никогда так не бежали, как в те годы — месяц, а, может, и больше, но как будто вчера. Не было денег, а тут как получил, и сейчас же на поиски: полголовы у человека, а у другого и вся была набита голодною волчьею мыслью достать еды.

Знал я одного человека, который свихнулся на этой изводимой и ничем не изводящейся мысли об еде: ведь при всяких обстоятельствах никогда не было по себе думать только об этом! «На пайках помешался!» — говорили о нем. И действительно, напуганный, что не хватит, он стал собирать «пайки»: всеми правдами и неправдами он тащил в свою комнату и ничего не трогал — боялся, не хватит. И без того то, что «выдавалось», было не первого сорта, подпорченное, а тут уж совсем в гниль пошло, но он не замечал — берег.

И вот, как заведутся, бывало, деньги — и первая мысль. достать еды.

И пошел я по привычной дорожке на Караванную. И во двор, конечно. И прямо к двери — в эту квартиренку кошачью, куда, выгнанный из «комиссионного» загона, забился, как в щель, когда-то самый дорогой —

самый гастрономический самых соблазнительных деликатесов —

Эрнэ

А дверь-то заперта!

И чего я только ни делал — и звонил, и стучал, и царапался. (Я тоже понемногу научился «ногой лягаться» и еще появился у меня «нюх», чего раньше никогда не замечал!) А ничего — никакого ответа.

«Вот тебе и на, пришел, значит, и на них черед!» И подосадовал: «Куда же мне теперь идти — ?» И больше, чем подосадовал, а с сердцем: — «Сами-то,— говорю,— не голодом, а нажравшись декрет писали, ведь голодом-то, я это хорошо понимаю, только мечтаешь — «будет же когда-нибудь и на нашей улице праздник!» — а когда какие-то хлебцы, вот — на один укус, но ведь больше нет ничего, и такое не позволяют продавать — конечно, сами нажравшись!».

И в сердцах повернул уж к воротам.

И вдруг навстречу — знакомая! — это одна из трех продавщиц. Узнала меня.

— Да ведь мы же еще существуем! Там — нас выгнали! — обыск был и все отобрали. Домкомбед у нас ничего: мы теперь в подвале.

И я пошел за ней.

Ход рядом, но еще ниже — в подвал:
темно, ничего не разберешь.

И в темноте — разбираю — две продавщицы сидят, и тут же разложены эти хлебцы — эти маленькие, необыкновенно вкусные, черные хлебцы — на один укус.

И та, которая привела меня, подсела к ним.

— Ведь нас никак нельзя извести,— сказали они в один голос,— мы тут совсем незаметны.

«Да уж ниже если,— подумал я,— так в землю — на тот свет!»

IX

ОТ РАЗБИТОГО ЭКИПАЖА

Поздно вечером шел я по трамвайным рельсам по Невскому — Невский раскатистый с ухабами большой дороги. И всякий, как и я, норовил ходить не по тротуару,

а прямо. Ветер — ветер все тот же — резкий, пронизывал меня сквозь все мои шкурки. В перчатку засунул я мой документ — удостоверение и пропуск — и, как ветер, чувствовал я этот клочок бумажки у себя на ладони.

В необыкновенной шубе выше, чем в действительности, держась чересчур прямо, навстречу мне по рельсам же и не шел, а выступал Гумилев.

Я очень ему обрадовался: с ним у меня связана большая память о моей литературной «бедовой доле» и о его строгой оценке «слова»: он понимал такое, чего другим надо было растолковывать.

Гумилеву в противоположную сторону, но он пошел меня проводить.

Он говорил необыкновенно вежливо и в то же время важно, а дело его было просительное и совсем не литературное, а «обезьянье».

– Нельзя ли произвести меня в обезьяньи графы: я имею честь состоять в «кавалерах», мне бы хотелось быть возведенным в графы.

— Да нету такого,— ответил я,— чего вам, вы и так, как Блок и Андрей Белый,— «старейшие кавалеры» и имеете право на обезьянью службу.

— Нет, я хочу быть обезьяньим графом.

«А и в самом деле,— подумал я,— графов не полагается, но если заводить, то только одного, и таким может быть только Гумилев».

- Моя должность, Николай Степанович, как вам известно, маленькая,— сказал я полуртом, боясь ветра,— я, как «бывший канцелярист обезвелволпала», спрошу - –

Очень вам буду благодарен.

И, простившись, не пошел, а проследовал по рельсам.

Я обернулся: он шел чересчур прямо в своей необыкновенной шубе, шерстью наружу, как у шоферов богатых автомобилей — такой один он во всем Петербурге.

* * *

Я шел один под ветром и чувствовал, как ветер, свой документ под перчаткой у ладони — не дай Бог потерять!

Мне было очень холодно и жалобно.

На набережной образовалась гора из снега, и никак не обойдешь. Я стал карабкаться. А трудно — скользишь, проваливаешься — а главное, не знаешь, может идешь над ямой.

И вижу, сзади какая-то женщина, тоже карабкается.

— Вот по горам — по горам уж лазаем! — не выдержала она, подала мне голос, и по говору я понял: простая.

— Да, не знаешь, где ямы! — отозвался я ей полуртом, как Гумилеву.

— А зато все наше: и земля наша, и небо наше, и все безобразие наше!

— Трудная жизнь стала.

— Не жизнь,— подхватила она с сердцем,— а жестянка из-под разбитого экипажа.

И, как перышко, перепорхнула через яму.

А я по слепоте и неловкости моей, крепко прижимая пальцы к документу под перчаткой,— «вот Гумилев бы!» подумал я,— шагнул — и ногой провалился.

X

ДЕМОН ПУСТЫНИ

Единственная комната, которую мы кое-как еще отапливаем, это та, что рядом с моей — серебряной, с игрушками. Я мерзну и вечерами сижу в шкурках, а сверх пальто, и всегда в калошах. На уголку стола около еды лампадка — ее огонек мне светит.

Табаку у меня часто не бывает — очень трудно его доставать стало — и я курю все, что ни попадет; пробовал и ромашку, и шалфей. От шалфею хоть и душно, но не так душит. И часто болит голова. И тогда я обматываю голову мокрым полотенцем и уж вроде как в чалме сижу туркой.

А сплю я, не раздеваясь, в шкурках. И в снах мне снится все больше из жизни — заботы загородили мне все двери туда! —

— — японский принц подарил мне все свои сочинения с раскрашенными картинками на японской бумаге. Все ПТО (Петербургское Театральное Отделение на Литейном) во вшах, кроме комнаты № 15, где выдают талоны на

получение жалованья. В комнате, где мы собираемся на заседания, «члены коллегии» танцуют. Через стеклянную дверь в коридоре я вижу стол — очень белая скатерть и посуда серебряная.

«Стучите хорошенько!» — говорит А. Р. Кугель и лезет бородой в мешок, из которого торчат селедочные головки — —

Тут наступила какая-то перемена: когда селедочные головы покрыли голову А. Р. Кугеля, все окуталось чернотой — пучина беспамятства. И вдруг я почувствовал, как отделилися, и ясно ощутил свою обособленность ото всего, я точно вынырнул —

— — я сижу в нашей комнате на уголку стула — поздний час, давно все в доме заснули и только мой огонек от лампадки светит. А я сижу с завязанной головой и курю с промерзшей изнывающей беспредметной думой. И слышу,— шаги стучат по лестнице, подымается кто-то. И от этого стука («обыск!») запрыгал огонек — я его вижу: отражается в стеклянной дверце шкапа.

«Эх,— думаю,— и не вовремя ж! Я и сообразить ничего не могу!» А уж близко, стучат — в нашу дверь стучат. Затаился я — знаю, понапрасно идут, ничего у меня нет, и какой-то пойманный страх. (Нет, ко всему можно привыкнуть, только — — не к обыскам!) И опять стук — настойчивый. И вижу, как мечется огонек от лампадки в стеклянной дверце шкапа. А надо отворить! — — И вижу нашу прихожую, только очень расширенную, как огромный зал. И входит человек: весь он в пурпуре, пурпурные опущенные крылья, как огромные легкие, висят, а внутри ничего нет, одна белая реберная кость, как вырезанная на гравюре, и лицо бледное такой бледностью, как у бедуина, опаленное и иссушенное жаром пустыни, и черная борода клином; а голова его, как на воздухе, не видно ни шеи, ни позвонков. Я посмотрел ему в глаза — и увидел через них то же самое лицо и те же глаза. А человек был один — и один он, и как «тьма» — против меня одного — не человек, весь в пурпуре с

пурпурными опущенными крыльями. И я, как пойманный, завертелся на месте — —

Два мира борятся: мир новый и мир старый,
И красная волна корабль кренит
И над гнездалищем всех пролетарских маят
Гремит бетон, железо и гранит.
И на бетонном пьедестале
Мир пролетарский мы скуем из стали
В немногие бесстрашные года.

(Стихи на детской продовольственной карточке.)

XI

ИМЕНИНЫ

Если Михаил Михайлович Пришвин — «борода увлекающаяся», Ключов Тарас Петрович — «борода неунывающая». И не знаю, что чудеснее, а пожалуй,— борода бороды стоит! И если Пришвин с лопарями на Печенге семгу ел — «с боков поджарена, в середке живая!» — а в степи с киргизами на звезды молился — «хабар-бар!» «бар!» — Ключов знал названия всех книг, какие только с незапамятных времен появились в России, и очень хотелось ему иметь первые издания и, не имея,— ну, хоть бы одна попалась! — не унывал, ища —

А вы знаете: уныние — это такая пропасть, как потянет — ступишь — и пропал. И подумайте: кто только не поддавался за эти жестокие годы этому злейшему соблазну.

Самый из смертельных годов — вошьгод — 1919-й! — а Ключов так сумел его проводить и так встретил новый, и когда он об этом рассказывал, просто не верилось.

— Собрались, все библиотечная молодежь, и до утра песни пели!

А ведь об эту пору — послушайте! — ни детей не рождалось, не влюблялись, не женились и какие там песни! И встреча песнями нового года — а весна и въявь придет песенная! — еще больше подбодрили «неунывающую бороду» окощевелого Ключова.

— Вот постойте,— говорил Тарас Петрович, умилен

ный и растроганный песнями,— буду справлять свои именины, вот уж споем!

И вспоминая, как до утра новогодние песни пел, кому только не поминал он о своих именинах.

— Да когда же это, Тарас Петрович?

— 10-го марта, не забудьте!

— 10-го марта, не забудьте, Тарас Петрович именинник! — передавали друг другу.

Признаюсь, тут и я постарался: страсть «творить безобразия» и в самые тягчайшие годы, и в самые унылые часы жизни никогда не покидала меня.

Я всем, кого бы ни встретил, всякому рассказывал о Тарасе Петровиче, какая у него бодрость — под новый год всю ночь песни пел! — «неунывающая борода»! Я всем и каждому толковал, что 10-го марта — не забудьте! — Тарас Петрович именинник: надо поздравить.

— Собирается пирогом угостить!

— Да мы незнакомы,— с сожалением говорил какой-нибудь, ни разу в глаза не видевший Тараса Петровича.

— Это ничего не значит.

— Все-таки неудобно.

Но этим не кончалось, я видел, как человек поддался, и мой именинный зов засел ему в голову, и, пользуясь растряской, я начинал уверять, что он хоть и незнаком с Ключовым, но что Ключов-то его хорошо знает.

— И будет очень рад.

А с некоторыми я прямо начинал:

— О вас Тарас Петрович справлялся.

— Какой Тарас Петрович?

— Какой? Ключов!

И сразу переходил к именинам:

— Собирается пирогом угостить.

С января до марта время порядочно — и если за это время сам именинник старался, я, как видите, тоже действовал.

И когда дней за десять до именин стали ко мне заходить будто по делу, а между прочим (но это и было главное!) справиться — «запамятовал!» — когда точно именины-то Тараса Петровича? — и знаете ли, были и такие, которые, ей-Богу же, ни разу его в глаза не видали, а только через меня, я почувствовал что-то зловещее.

А когда накануне именин я встретил сестер Тараса Петровича и они мне напомнили о завтрашних именинах и как они собираются пирог печь и очень беспокоятся —

дрожжей не достать! — и старшая заметила. «Народу-то назвал много, боюсь, пирога не хватит!» — я почувствовал себя очень неловко.

* * *

И вот наступил этот день —

Тарас Петрович сегодня именинник!

Я собрался спозаранку — так мне его сестры наказывали! — но когда я пришел, в его комнате уж набилось народу порядочно. Стояли, сидели и терлись около книг

Тут я сразу же заметил и кое-кого из своих — соблазненных.

Разговаривали негромко. Имена учреждений, имена заведующих, и из всех имен чаще самые громкие — «пищевые»: Пучков, Бадаев (подписи на продовольственных карточках), товарищ Молвин, Мухин, Ложкомоев и наш василеостровский Лукич.

Именинник в белой вышитой рубашке, подпоясанной ремешком, закрывая книгу своими спускающимися на глаза волосами, показывал книжнику — это «первое издание», которого он добился-таки.

Разговаривая друг с другом, нетерпеливо переминались, а некоторые, прислушиваясь, застыли с поджатыми губами, и у всех играло на лице умиленное предвкушение. И этого никак нельзя было скрыть. И книжник над «первым изданием» чмокал губою:

> из кухни проникал особенный дух свежеиспеченного пирога — сейчас самое время из духовки вынимать!

И, действительно, пирог готов! — сестры Тараса Петровича, раскрасневшиеся от печки и не без тревоги (хозяйский глаз сразу соображает!) попросили нас в соседнюю комнату.

И сейчас же мы обсели весь стол и все-таки стульев на всех не хватило.

— Ничего, мы постоим! — охотно соглашались, забирая тарелку с кусочком пирога.

И на минуту все погрузилось в безмятежный чавк.

Я подобрал рассыпавшуюся по тарелке начинку, доел крошки и затаился: «Не дадут ли еще?»

В комнату поодиночке входили новые поздравители. А за стеной слышно было, как соседняя комната нагру

жалась. Отъевшие вставали, уступая место. («Да, больше не попадет!»)

Еще три-четыре человека получили по кусочку — таким счастливым оказался инженер-металлург Шапошников, незнакомый Тараса Петровича! — а больше и никому: больше нет пирога.

— Мать честна́я! мать честная! — схватывался за бороду именинник.

Я видел, как учительница Валентина Александровна, в своих веревочных туфлях измерзшая вся, жалобно смотрела на пустую тарелку: может, найдется ей кусочек? ведь она никак не могла пораньше: ей очень далеко.

— Да нету, в том-то и горе, все съели!

— Мать честная! мать честная!

Я видел, как С. Л. Рафалович — Рафалович, автор неподражаемых афоризмов, о чем я и объявил тотчас же, живший до войны в Париже и еще сохранивший вид, хоть и потрепанного, но прилично одетого человека — в галстуке — поддавшийся моим соблазнам, пришел-таки и старался глазами «нащупать» именинника, которого не знал в лицо и поздравил Шапошникова.

А Шапошников, съев свою долю, растолковывал тоже съевшему чудеса электрификации.

Но я уж не смотрел на Рафаловича — ведь ему и такого кусочка не досталось! — я видел по другим опоздавшим: какая обида, и горечь, и досада.

— Мать честная! мать честная! — схватывался за бороду именинник.

* * *

Я протиснулся в соседнюю книжную комнату, где мы пирога ждали.

И там — кого только не было! — и в валенках, и в вязанках, как Валентина Александровна, и в сапогах, и со значками, и без значков. И все ждали — я так почувствовал — как мы тогда ждали, ревниво посматривая на дверь, когда, наконец, позовут пирог есть?

— Да нету, в том-то и горе, все съели! Вот разве чаю — «кавказский» из Севпроса!

В комнату доносилось звяканье блюдечков.

— — —

В теснейшем коридоре сорвалась вешалка.

— — —

Я кое-как пролез к двери — пения я уж не дождусь! Я отыщу свое, и домой!

В кухню дверь была отворена — и там тоже сидели.

А когда, отыскав свою шубу, я вышел и спускался по лестнице, навстречу мне подымались какие-то незнакомые: по их оживлению я понял, что они к Тарасу Петровичу. А у ворот запыхавшийся Алянский:

— Александра Александровича Блока еще нету?

— Замятин пришел.

И уж мне казалось, все, кого я ни встречал по дороге, все торопились на именины.

Меня догнал наш уполномоченный.

— Бегу за Евдокией Ивановной,— сказал он на бегу,— начинаем песни петь!

XII

КАТЯ

В самый тиск, мор-мрак-мороз — — на черной лестнице кто-то постучал. Поднялся я, думаю: соседи насчет воды. А это не соседи, а незнакомая какая-то. Сразу заметил, что чересчур у нее все крупно и притом костисто: руки и ноги прямо неизмеримы, а лицо как из дерева, и только бледная улыбка на тонких заледенелых губах.

— — —

Просится принять в прислуги!

А какая там прислуга: на себя не хватает —

Да нет, она уж как-нибудь: ей карточку выдадут, будет хлеб получать, а главное, угол!

— Надо рекомендацию,— говорю,— сами понимаете.

Рекомендацию можно! Жила она тут же на острове, хозяева за границу уехали, но она пойдет и что-нибудь достанет.

И пошла.

И часу не прошло, вернулась. Сует паспорт — паспорт финский, по-фински написано: ничего не понимаю.

— А рекомендация?

Плачет:

— Никого нету — примите! — плачет.

Ну, что поделаешь — откуда же взять рекомендацию, коли никого нету, а главное, плачет!

И приняли.

Я думал, пойдет за вещами, а у нее и вещей-то никаких нет, даже подушки нет. Да и у нас лишнего нет, взял я с дивана подушку. Очень довольна — больше ничего и не надо. И сейчас же прописали — уполномоченный тоже ничего не понял, что там в паспорте по-фински — да это неважно:

чернорабочая финка — а зовут Катя.

И поселилась у нас Катя.

* * *

Кухню топили раз в неделю — один раз в неделю обед готовили. А так в кухне мороз, но она холоду не боится. Подушка есть, хлебная карточка есть — как-нибудь проживет!

Катя про себя выражалась всегда в мужском роде: «я ходил», «я стоял», и когда, бывало, так станет рассказывать и смотришь на нее — стриженая (это после тифа!), костистая и такие вот ручищи! — просто язык не повернется называть Катя. Ну, а потом привыкли.

Домашнее — приборка комнат, мытье посуды — у нее не выходило, даже пустяки, подмести как следует не умеет, пришлось все до мелочей растолковывать. Но зато в очередях — это что-то беспримерно! — она могла простоять час, два, три и, если надо, в другой лавке столько же выстоит. И ничего. Вернется, как и устали нет, и никогда не пожалуется. То же и насчет дров, умела притащить столь-ко! — другие на санках везут, а она на себе и всегда, конечно, лишку ухватит, чего и не полагается. (Это когда деревянные дома на слом давали на топливо!) Раз целую дверь приволокла. И так ловко разрубит, распилит и лучинки нащиплет — чисто.

А вечерами, пока есть электричество, сидит себе в своей холоднющей комнатенке, книжку читает —

а читает она Пушкина — однотомный Пушкин.

— Ну, как,— спросишь,— хорошо?

— Очень хорошо.

И улыбается бледной улыбкой — по дереву.

Так жила у нас Катя с месяц, выстаивала часами в очередях, таскала дрова и ни на что не жаловалась. И в нашем леднике словно потеплило. Ну и понятно:

очереди — тяжелое дело, а дрова тягчайшее.

А потом Катя исчезла.

И день пождали, и другой — нету.
— Катя пропала.
— — —
Остался Пушкин — однотомный. И рукавицы — невиданные, уж так велики, прямо великанские, и не только рука, две ноги войдут, не постесняются. Рукавицы эти я всем показывал, и все удивлялись. А в Пушкине нашел два листа — письма. Пушкина я на полку, а письма в архив — когда-нибудь пригодятся:

«память о Кате».

А вот по весне иду я как-то по Невскому, навстречу красноармеец. Вгляделся — и что-то вдруг вспомнилось, да — это лицо, как дерево.

— Катя! —

А она улыбнулась своей бледной улыбкой — по дереву. Вижу, тоже узнала, только она совсем не Катя, это я теперь ясно вижу.

Тут только понял я и эти рукавицы, и «очередную» неутомимость и насчет дров.

Но какое отношение к письмам? Да никакого. Письма лежали в Пушкине, а Пушкин не Катин — приблудный.

А какие чудесные письма! Особенно первое, Шпенглер добивался подлинных русских «народных» писем. Вот бы ему почитать, чего лучше. А из французов, кто был бы в восторге, это Макс Жакоб! Автор письма пишет, как говорит, все произношение глазами видишь: писать ему собственно нечего, а написать надо, в этом вся и задача — и письмо есть.

А писано в канун революции.

> «1916 года апреля 2-го дня письмо ато извесного товарь. Захара Алексеевича к милому и дорогому товарищу Ефиму Ивановичу. Поздревляю я вас, дорогой товарищ Ехим Иванович, восокоторжествен, праздником Пасхою Христовой, желаю я вам, дорогой товарищ Ехим Иванович, встретить этот праздник в радости-весельи и также привести его, и уведомляю я вас, дорогой товарищ Евхим Иванович, што я по милости Божей нахожусь жив-и-здоров, чиво вам жилаю — всего хорошего в делах-рук-ваших. Затем посылаю свое товарищеское по-

чтения и с любовию низкой поклон дорогому товарищу Евхиму Ивановичу, и желаю я тебе, дорогой товарищ Евхим Иванович, ать Господа всего хорошего в делах-рук-ваш. Затем уведомляю я вас, дорогой товарищ Евхим Иванович, што я покамист слава Богу нахожусь еще у доми, написал бы я тибя, дорогой товарищ Евхим Иванович, проприжав, но, хорошо неизвестна, когда будит, говорят, что в апрели месяци, ну никто не знает хорошо — ну! Еще уведомляю я тибе, дорогой товарищ Евхим Иванович, что у нас очинь типло, погода хорошея, снегу уже давно нету, начали пахать уже 31 марта. Еще уведомляю я тибе, дорогой товарищ Евхим Иванович, што у нас узяли сейчас ратников первой разряди и вхторой всего 3 года. Вот, дорогой товарищ Евхим Иванович, если я поезду и-в Киев, на-буду все ревно вам слать письма, я на вас никогда не забуду. Прошу я вас, дорогой товарищ Евхим Иванович, как получишь мое письмо, то дайте мне ответ: буду ждать с нетерпением атвету! Вот, дорогой товарищ Евхим Иванович, про призыв я узнаю всю правду на святой недели, тогда я вам напишу всю аткривенною прявду, будит призыв, или нет, вы тогда узнаете хорошо,— я тогда вам пришлю следующее письмо. Уведомляю я тибя, дорогой товарищ Евхим Иванович, хожу к вашему атцу гулять каждый день. Уведомляю я вас дорогой товарищ, что получил ат вас 2 письмо и вам шлю другой письмо. Благодару вам за письма, што шлете, не забываете, написал б я вам какие новости, когда б были — ну нету!»

XIII

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬ

Он приходит ко мне всякий вечер —

Не потому он приходит, что его тянет ко мне, а только потому, что живем мы с ним на одном дворе в одном доме. Нас соединяет обязательное постановление запирать

ворота в 9-ть или в 11-ть, смотря как, да ночные пропуска, без которых по гостям не больно расходишься. И остается двор — дом, где застигло,— где живешь и ничего за квартиру не платишь, и откуда ведет одна дорога в продовольственную лавку, где также бесплатно выдают тебе по купонам хлеб.

И вот, как вечер, ему не сидится и он, не выходя на улицу, ходит по знакомым. И я его жду всякий вечер с ожесточением.

* * *

— Вот у вас есть еще книги,— начинает он свой обычный разговор,— а я все продал! и у Б. нет ничего, тоже продал. Ваши книги можно было бы продать, и очень выгодно: у вас есть редкие и с автографами.

— Я понемногу продаю,— в который раз я оправдываюсь,— но вы сами знаете, все идет за гроши. И есть у меня, с чем бы я не хотел расстаться: вот Срезневский, Тихонравов — кому это нужно? — а дадут пустяки.

Тогда он перечисляет знакомых, у которых есть вещи, но живут голодом.

— А всякую вещь можно продать.

— Но это не всякий может, а через комиссионеров дело неверное.

И я привожу случаи, когда брали вещи для продажи, а денег после никак не получить, и нельзя жаловаться, а взявший продавать ссылается на обыск, когда не только чужие, а и свои вещи — все пропало.

Разговор переходит от «вещей» на «разницу»: «разница» — это тот излишек, какой получится, если деньги падают и сметы все время меняются: и не было учреждения, где бы периодически не полагалось этой «разницы» — добавка к жалованью; и разговор о ней, как об обысках, продовольственных карточках, пайках и о продаже вещей.

— Вы уже получили разницу?

— Нет еще.

— А у нас выдали!

И начинаются всякие рассуждения и подходы, как возможно и где еще можно добиться — получить «разницу». Бывали случаи самые неожиданные: можно ведь было представить себе эту «разницу» везде, смотря с какого времени начать считать!

От «разницы» к тому, что называет сосед «окопаться»: «окопаться» (вроде официального «забронироваться»), значит, иметь в руках всевозможные удостоверения на каждый и всякий случай.

— Вот,— говорит сосед,— как повезло Д.: окопался! Напечатал он рассказ, гонорар продуктами, ждет из редакции получить, а его в Уголовный розыск, в хозяйственном отделе выдали, ну, сушеные грибы, крупы немного — расписался, недоволен: обещали-то и икру, и масло, и сахару, и даже вино! — а ему говорят: «Вам, как младшему агенту!». Теперь он может удостоверение взять! А вам я советую в Горохре.

(«Горохр» — это городская охрана).

— Да у меня и так много.

— Нет, в Горохре это солиднее: мало ли, обыск —

И уж дальше идет невещественное: ему мерещатся везде чекисты.

— Сегодня встретил на Невском А.: в чеке служит!

— Не может быть.

— Я вас уверяю.

И начинаются всякие догадки и предположения, почему этот несчастный А. служит или должен служить в чеке. Я пробую возражать, но ничего не помогает, хуже. И мне становится неловко; мне кажется, что он и меня подозревает или завтра придет ему в голову такая же подозрительная мысль. И я ничего не говорю, только слушаю.

Наконец наступает последнее, после чего он уйдет, я знаю: это мои игрушки — «которые я должен продать».

— Если американцам,— говорит он, прикидывая в уме, и называет огромную сумму: эта сумма началась с тысячи, дошла до миллиона...

— — — ?!

— Нет, если вы дрожите над таким сокровищем, вы не так нуждаетесь, как все мы!

* * *

— — — и я начинаю раздумывать — я верю в американцев! Да, конечно, в конце-то концов придется — и я могу расстаться с моими игрушками — и получу миллион! Но кто мне его даст? кто это купит? кому нужны? в музей? Но ведь игрушек-то нет никаких, понимаете?! а есть пыльные сучки, веточки, палочки, лоскутки и мои

рассказы о них: когда я говорю, они принимают такой вид, какой мне хочется — и все видят! — и коловертыша, и кикимору, и кощу, и ауку, и скриплика, и...— ну, всю эту серебряную живую стену. А сними я их со стены, и без меня никто не разберет, где и кто — кто коловертыш, кто коща, аука, скриплик: они без меня — — они только со мной живут, ишь, глядят! усатые, носатые, трехрукие, одноногие — — —

— ну, не отдам, не отдам!

Купит американец! Но это то же, что и знаменитая коллекция печатей нашего соседа!

И мне вспоминается этот чудак, про которого говорят, как и про меня, что он не так уж нуждается, если не может расстаться со своей «знаменитой» коллекцией! А скажу вам, как и про свои игрушки, все мы, кто его знает поближе, соседи — и ни для кого из нас не тайна, что вся эта знаменитая коллекция, все эти печати — фальшивые! И как мои игрушки существуют, потому что я, так и эти печати, потому что есть еще на белом свете такой чудак, есть вера его в их неподдельность.

Да, я могу расстаться с моими игрушками! И неужто найдется такой американец? И мое слово проникнет? И глаз увидит там, где ничего нет? И вот — миллион. А тот чудак — — ? Тут дело безнадежное: какого надо дурака найти! чтобы поверил в чужую веру и фальшивое принял за подлинное! Да и не расстанется он со своей «знаменитой» коллекцией: ведь она для него в конце его дней, в его покинутости, во всеобщем труде безрадостной жизни, в его ненужности (ну, кому нужна теперь сфрагистика!), для него она — *единственное утешение,* и про все это все мы знаем, знал и сам профессор Марков, и не можем не верить его верою — и какое надо черствое сердце, какую замухрысчатую душу! — и только не знает про это и никогда не узнать «благожелателю».

XIV

БЛАГОДЕТЕЛЬ

«Благодетель» это совсем не то, что «благожелатель» или «советчик».

«Благодетель», все равно как и почему, но это всегда реальное, осязаемое, «благожелатель» же — нечто при-

зрачное и может быть очень живым и обольстительным, как сон.

«Благожелатель» всегда о тебе знает больше, чем ты сам о себе знаешь, он вообще все знает: а имеет он гораздо больше, чем сколько тебе отмеривает. (Пример из сегодняшнего: когда он говорит, что на такую-то сумму можно прожить сносно, это значит, что сам он проживает куда больше!) Как нечто призрачное, «благожелатель» безответствен: он всегда почтет долгом сказать, что где-то есть дешевая квартира, но никогда не скажет, где именно, а просто «есть» или сошлется на своих знакомых, которые знают. И при этом «благожелатель» неуязвим: ведь советуя, он желает добра и разве шевельнется язык сказать — «замолчи»!

«Благожелатель» — это человек, которому в сущности до тебя никакого дела нет, но совсем не безразличен: он всегда осуждает тебя.

* * *

«Благожелателей» за эти годы я мало встречал, разве что этот несчастный сосед — —

За эти годы много я видел настоящего добра от людей — без суда и осуждения, без никаких требований, бескорыстно! Имена порастерялись, но чувство я сохранил, и это чувство слилось у меня в слове «Россия» — Россия! пусть самая неожиданная и кавардачная! — и мне всегда больно, когда огулом осуждают все русское. Я вспоминаю добро, какое я видел от людей за эти годы, и это такое острое чувство моей памяти!

Люди делали добро — их как будто кто посылал ко мне в тягчайшую самую пору, или я сам шел куда-нибудь и уж не ждал, но там-то меня ждали. И все это я помню, сливая мою память в чувстве слова «Россия».

И не только за эти годы — в эти годы только особенно ярко и остро! — а и в мирные годы за всю мою жизнь много я видел доброго от человека. И коли уж вспоминать, скажу, бывали и «смехи», но без этого никак не обойдешься — не «протиснешься» в жизни.

Это еще до войны и революции: дал мне один добрый человек 100 рублей, и что же вы думаете, за эти 100 рублей взял он себе такое право — приходил ко мне, когда ему вздумается (а не когда я зову), и сидел бесконечно, и говорил неумолчно, и притом глупости. А другой —

это во время войны — не раз благодетельствовал, и всегда «продуктами», вместе, бывало, поедим чего, но в конце концов получил я от него счет за съеденное или, как он выражался, за «совместно потребленное».

Но за эти-то годы что-то не припоминаю, чтобы были «смехи»!

Был такой случай: пришел ко мне человек, ну ничего-то у самого нет, а пришел помочь, так он мне письмо принес — «может, пригодится!». Письма тогда я не прочитал, а теперь, когда всякая строчка, где о России — из России — русская — такая драгоценность! (Этого не поймут те, кто в России!)

Вот это письмо — в войну 1916 г. — «беженское». Храню, как дар человека, у которого это — все, и ему нечего больше дать.

> «Поздравляем вас с вашим чином, Милостивый Государь! До 4 июня мы про вас не имели никакого слуху. Но мы до той поры не забыли вас, но знать про вас не знали. А ваш портрет хоронили на долгую память. Мы все ожидали от вас письма. Но вы, наверное, знаете, как мы страдаем и погибаем. И не прислали нам письма, а прислали нам подарок, которым мы были очень рады и заплакали, как дети. За что вы нас спасаете погибающих? Мы не знаем, за какую благодарность вы нам прислали столько денег! Как вы знаете про нашу жизнь? Мы даже не знаем, как возблагодарить вас за вашу милостыню. В чем мы вам отслужим за ваше добро? Я бы сейчас поехал до вас, если бы вы мне велели приехать. Я бы вам пошел служить теперь навсегда, потому что беженская жизнь надоела. Так что судьба моя только заставляет погибать. Работал я под мешками, чтобы добыть кусок хлеба. Но теперь я уже отработался, что приходится ехать на окопы. Бросаю больную мать и без руки отца! А сам уезжаю, потому что скоро будут брать в солдаты. А наш брат уже не живет и нам без него очень скучно и неприятно. Но ничего не поделаем, что он помер. Мы все лечили его и старались его вылечить так, что все деньги на него выдали. Завез он нас в Астраханскую губ., но там был плохой

климат, и он начал нас гнать назад, так что дорога стала 50 рублей. И теперь остались без копейки. Когда нас прогнали из Дратова, то сейчас все на свои деньги. Коров у нас забрали даром, лошадей бросили. Свиней, курей, гусей оставили дома. И кошки наши остались. Когда мы выехали на Киновию, то я ходил домой, то кошки бросились мне на шею и все мяукали и в их глазах было полно слез. Когда я уже удалялся совсем, то они бежали до церкви и вернулись. Благодарим вас за ваш подарок и просим вас, пришлите нам еще свою карточку на память. И дай вам Бог всего хорошего, и дай вам Бог, чего себе желаете. Все говорили, что вы не признаете Бога, но мы вас не забудем, пока не помрем. Я бы очень хотел видеть вас и поступить к вам на службу. И до свиданья!»

XV

СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

I

НАЛЕТЧИКИ

Жадины — наши соседи по линии: отец и две дочери. Бедно они жили. И не теперь только, а и всегда.

Николай Иванович мне папирос давал. Ему по службе полагалось, а сам некурящий. Только очень неловко брать у него: ведь папиросы на обмен — очень выгодно. А зайдешь к нему, он сразу поймет: и сейчас же коробочку мне. А у меня уж и лицо дергается — и не могу не взять, беру. И не знаю, чем возместить этот дар, ничего такого у меня нет. А тут к какому-то революционному празднику выдали мне, по моей службе, румян и духов немножко. Сначала-то я растерялся: куда такое? А слышу: если обменять, выгоднее папирос! Я и подумал: ну, вот и хорошо, отнесу-ка я Жадиным.

* * *

Старшая Анна Николаевна больна была — «свинкой». Стала выздоравливать, но еще лежала. Николай Иванович

ушел на службу. А младшая Надя, она около сестры сидела, а вот как стало легче, она и решила пройти на Сенной рынок купить чего-нибудь — один только оставался еще не закрытым Сенной.

«Я тебя запру!» — и Надя вышла, заперла за собой дверь.

А Анна Николаевна осталась одна.

— — —

«Надя ушла, а я лежу,— рассказывала Анна Николаевна шепотом, долго она боялась громко об этом рассказывать,— и вдруг вбегает Надя: вернулась! (она всегда возвращается) — забыла мешок. Взяла она мешок: «Ай какой нехороший у нас на лестнице стоит!» — и ушла, заперла за собой. Прошло так с полчаса, слышу, опять отпирает. Нет, думаю, это не Надя: может, Вера Ивановна, соседка — Надя ее встретила и ключ ей отдала, ну та сразу-то и не может отпереть. И слышу: отперла — входит. И сразу понимаю, не Вера Ивановна, мужские шаги — и много — не один. Прошли в кухню — — Потом в Надину комнату — — Потом в соседнюю. Думаю, кто из знакомых в Петербург приехал, Надя ключ дала. И вдруг на пороге какой-то молодой человек, одет хорошо —

«Как,— говорю,— вы сюда попали?»
«Очень просто: дверью».—
«Но ведь дверь была заперта?» —
«Что вы говорите! — дверь настежь!» —
«Нет, я знаю наверно: я была заперта!»
«— — молчи!» — и он револьвер на меня.

И вижу, вошел матрос и также револьвер на меня. Я вскочила. А они за мной. И загнали меня в угол.

«Идите, ложитесь!»
«Нет!» — говорю.

А матрос взял меня на руки и бросил на диван, где я лежала. Открыл чемодан — очень духами запахло! — вынул веревку и стал меня связывать: связал руки, потом ноги —

«А теперь,— говорю,— что будет?» —
«Мы уйдем сейчас».—
«А я как останусь?» —
«А вас развяжут».

И вышли. И слышу, как в коридоре щелкали курки — — Потом шаги по лестнице. Прислушалась: ушли! И стала я понемногу веревку с себя снимать. Очень это просто:

ослабила сначала на руках — и развязала, потом ноги. И вдруг подумала: а ну как они вернутся — увидят, я развязанная! И стала я себя опять связывать. Кое-как связала ноги, потом руки. И лежу, боюсь шевельнуться. И думаю: да что же это, я с ума сошла, что ли? И сняла я с себя веревку, встала, пошла заперла дверь. И опять легла».

— — —

А Надя рассказала —

когда она вышла в первый раз, она увидела, возле дров стоит матрос, а когда вернулась, на лестнице этот какой-то нехороший; она взяла мешок и с мешком пошла к трамваю — трамваи редко ходят, приходится долго ждать — и тут она заметила, ждет тот самый матрос, которого видела около дров; а села в трамвай, матрос остался.

— И вот что странно,— сказал Николай Иванович,— ничего ведь не взяли: возле дивана на столе лежали часы — не взяли!

2

ПРИСТАЮТ

На углу 15-й линии баба грибы продает

— Сколько стоит?

— 40 рублей!

И когда Вера Ивановна платила, слышит сзади голос (спереди зуба нет!):

— Сколько стоят грибы?

Она обернулась:

— 40 рублей! — говорит.

— Ну и живи после этого.

— Да, жить трудно.

И с грибами пошла домой.

А тот без зуба — сзади.

— — — —

— Я хочу с вами познакомиться! — заговорил он.

— Что же знакомиться! Так не знакомятся.

— А как же? — и от неожиданности он остановился, и сейчас же и сообразил,— я уж за вами давно слежу! Пошли бы сейчас ко мне. У меня и продовольствие есть! — и это сказал он очень внушительно: «продовольствие!» — так бы и познакомились: я вам могу помочь в продовольствии.

— Мне не нужно продовольствия, я иду домой.

И пропустив дом — не хотела показать, где — остановилась она около единственной, сохранившейся еще «польской» прачечной, куда можно было зайти.

— Ну, вот я и домой пришла.

— Так и не пойдете ко мне — — а я так бы хотел!

— Нет, не пойду, я дома.

Но он не может примириться:

ведь у него же есть продовольствие!

— И чего же вам! — просвистюкал он,— или кто ждет вас?

— Муж.

— Так у вас муж? — — ах, как жаль!

* * *

Она шла на Невский за добычей: надо было табаку достать. А это дело очень трудное: никаких табачных лавок нет, все закрыты, и если найдется в какой-нибудь «комиссионной», да и то не всякому дадут — все ведь из-под полы: «нелегально», или, по-русски сказать, «подпольно».

А такой чудесный день — весна!

На мосту матрос:

— Позвольте с вами познакомиться!

И идет сзади.

— Позвольте с вами познакомиться!

И уж теперь рядом.

— — —

Перешли мост.

— Я хочу с вами познакомиться!

— Оставьте меня в покое!

Матрос не обращая внимания:

— Вы спешите куда-нибудь?

— Да, спешу.

— Так давайте так: приходите в Александровский сад на эту скамейку сегодня в 6 часов вечера.

— Нет, не приду.

Не обращая внимания:

— Вместе бы пошли. Я знаю такое место, где можно кофе выпить и закусить.

— Но ведь я же с вами не знакома!

— Так и познакомимся.

На Невском все закрыто и «комиссионные» закрыты — и никуда-то ведь не зайдешь!

Дошли до Казанского собора — матрос не отстает

— Ну,— говорит,— приходите сюда, в садик!

Не отвечая, она повернула на Казанскую и в первый попавший двор, будто домой, и там на лестницу.

А матрос остался внизу, подождал — подождал — непонятное дело:

«ведь он же знает такое место, где можно кофе выпить и закусить!» —

плюнул и пошел.

* * *

На углу Троицкой женщина над ларьком: нитки, иголки, мыло.

Голос сзади (с зубами!):

— Мюр-и-Мерилиз, правда?

— Правда,— сказала она и, не оборачиваясь, быстро пошла по Троицкой.

Нагнал:

— Ах, как бы я хотел с вами познакомиться!

— Я спешу,— сказала она.

— Так я вас провожу.

Она в парикмахерскую — к б. Жарову: все равно, мыло надо купить.

В парикмахерских мылом промышляли и, конечно, из-под полы или, сказать по-иностранному, нелегально!

И купила она кусок, выходит! а тот (с зубами!) ждет.

— Скажите, пожалуйста, ваше имя: я давно за вами слежу.

— Маргарита Васильевна! — назвала Вера Ивановна имя своей подруги, с которой служила.

— Ну вот, Маргарита Васильевна, не бойтесь вы меня! — и от чувств он всхлипнул,— я железнодорожник, за продовольствием езжу. На днях поеду, окорок привезу! — и он выговорил с особенным чувством это слово «окорок», вышедшее за эти годы из употребления, как «лимон» и «апельсин» - хотите вам привезу?

— Нет, не надо! — и она подошла к дому, где жили знакомые: — я сюда, зайду к подруге.

— А вы где живете?

— Улица Гоголя,— и она назвала номер дома своей службы.

— Так можно и написать: Маргарите Васильевне?

— — —

И что же вы думаете: написал! И Маргарита Васильевна получила письмо. Ничего не понимает: изъяснение чувств с упоминанием продовольствия и про окорок — «окорок» подчеркнуто.

А дня через два идет «Маргарита Васильевна» по Невскому, а навстречу «Окорок». Страшно обрадовался.

— А я уж вернулся: целый окорок привез! Поделимтеся со мной. Давайте условимся: вы ко мне придете —

— Мне не нужно,— сказала «Маргарита Васильевна» и стала переходить на ту сторону к б. Гурмэ.

У Гурмэ продают теперь резиновые подошвы!

«Окорок» чего-то замешкался: или в изумлении перед «не нужно»? — но сейчас же сообразил, догнал.

— Да вы не беспокойтесь, Маргарита Васильевна, мои намерения честные: я вдовец.

— Мне муж не позволяет никуда ходить! — сказала «Маргарита Васильевна» ясно и понятно, чтобы было для «честных намерений» и ясно, и понятно.

— Так вы зарегистрировались?

— Да. Зарегистрировалась.

— — —

XVI

РЫБИЙ ЖИР

Я видел свет в этом мире, где мне казалось иногда, движут жизнью ни какие «идеи», а «машина», и двигатель — «мошенник», в годы огрубения и отчаяния человеческого в войну и после, когда, казалось, сами небеса, истерзанные мольбой о помощи и мире, висели разодранными лохмотьями, а вместо «тихого света» электричеством сияла улыбающаяся всему миру «идеальная» рожа нажившегося на войне хлюста.

Я видел свет и в самую темь нашей, от всего света «затворенной», жестокой жизни.

* * *

Надо было мне достать лекарство. А лекарство, что оставалось еще в Петербурге, взято было «на учет», и в аптеках редко чего выдавали. (Ведь все бесплатно!) И я проник к самому главному — в Комздрав (Комиссариат здравоохранения) за подписью, чтобы выдали. Так и день прошел. И уж под вечер я выбрался на Гороховую в аптеку: там был аптекарский склад и только там я мог получить лекарство.

В аптеке я застал хвост. И стал со всеми в дверях — все вижу. А выдавали по особым рецептам, как я узнал, рыбий жир. И за этим-то рыбьим жиром и была такая очередь.

Рвань последняя «вопиющая» — много навидался я бедноты в очередях, и особенно среди «нетрудового элемента», т. е. людей не физического труда в «Доме литераторов» на Бассейной, в «Доме ученых» на Миллионной и в «Доме искусств» на Мойке, да и сам я был неказист, но здесь — все были как на подбор. Ведь самая зима, а что-то очень уж легко и по-летнему — и вот всякие тряпки, и лоскуты, и какие-то облезлые хвосты торчали из самых непоказанных мест, а лица были отеклые, дергающиеся.

Мне особенно врезался в глаза очень высокий, выше всех — рыжий с вытянутой шеей: его очередь приближалась. И я уж не мог не следить за ним.

— Учитель Балдин,— сказал он, как-то вытянув шею, так вытягивают просители, так вытягивает, я это на улице здесь замечал, в Париже, человек, у которого нет ничего, а идет он около всего,— учитель Балдин,— повторил он,— рыбий жир!

На прилавке ряд одинаковых пузырьков, как иод отпускают, таких, не больше — и это был рыбий жир, за которым стояла очередь и к которому вытягивал шею учитель Балдин.

> Сам-то я не переношу этого жиру, меня от одного названия мутит, такое «органическое отвращение» я чувствую, и не только с иодный пузырек, а и капельки бы не принял — просто душа не принимает! — но за этого учителя Балдина, за его нищету, покинутость и предвкушаемое счастье я тогда принял душой и это самое для меня отвратительное.

Я за ним также вытянул шею и в последний раз, как он вытянул, когда протянул руку к пузырьку и губами как-то сделал уж беззвучно: поблагодарил, что ли, задохнувшись.

И вот все у меня перевернулось.

И я почувствовал, как свет хлынул — —

И этот свет, наполнив мне душу, озарил всю улицу — все улицы, по которым шел я из аптеки со своим лекарством.

* * *

Домой я вернулся уж совсем в темь. Никого у нас не было — никто не забрел. И в молчании лег я спать. А проснувшись, я сразу почувствовал, что во мне живо вчерашнее мое и этот свет —

Я вышел из дому.

Зима, эта невыносимая лють, которая, мне казалось, никогда не кончится, а вот — я не чувствовал! И те, кого я встречал по дороге, я не знаю, тоже, наверно, не чувствовали в эту минуту ни стужи, ни мороза: и то, что было у них от доброго сердца,— от света сердца поднималось навстречу моему свету—

одни улыбались мне, как улыбаются только весною, другие уступали дорогу — —

* * *

Мне надо было за справками — ведь вся «затворенная» жизнь наша: прошения, справки и страх (всякие страхи!).

И там, где обыкновенно встречали сурово, мне показалось, отвечают, как на желанное, и чего-то вдруг радовались, может, и не замечая того.

В приемных я не толкался дураком от стола к столу и не туда — я не ждал, меня пропускали.

В Отдел Управления — это я так ясно запомнил — пришла какая-то женщина хлопотать о муже: «сапожник по пьяному делу»! — просит она освободить — и не словами она это просит, а вся, вся — с головы, и чего-то шепчет, вот в ноги поклонится. А я смотрю, не в глаза, а на бумагу — на прошение, замуслеванное, сколько прошедшее учреждений и рук попусту, и вижу: начальник пишет: «Освободить».

И я чувствую, как свет мой переливает — — и вот произойдет и еще что-то, я уж не знаю, подымет ли меня на воздух или разорвет мне сердце.

XVII
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Много было чудесного и чудодейственного в эти годы в России! И самые головокружительные мечты — земля вот-вот превратится в рай и настанет и на нашей улице праздник! — и самая неожиданная серая явь.

Как-то стали считать, сколько в месяц проживает каждый из нас по мирному времени, если «даровую выдачу» на деньги переводить, и едва до пяти рублей досчитали — а вот и нищие, а есть и самовар, и кое-какие книги уцелели, а харахору — на квадриллион!

> Когда, потом уж, в Ревеле в церкви я заметил, как стоят все понуро, униженные, первое, что я подумал: «как! разве русские должны быть такие? — русские должны стоять гордо!»

Да, и мечты зазвездные, и шибающая явь, и самая дикая расправа человека над человеком, и горячейшее дарящее сердце.

И «всем, всем, всем», и доморощенное дубоножие, и смех и грех.

— — —

— — — ну, вот по соседству под Петербургом — рассказывал мне пострадавший, служащий по культпросвету: нарядили за ним негласное наблюдение и наблюдающие залегли в кусты против его дома; летнее время, не все печет солнышко, подул ветер — пошел дождик, а под дождем в сырости не очень-то сладко валяться, и вот как стемнело, вылезли они из-под кустов и в дом к поднадзорному-то чай пить, попили чайку, обогрелись и опять на работу назад в кусты, сам он их и от собак до кустов проводил! — — В Большом Драматическом театре (б. Суворинском) ставили б. короля Лира (пьеса очень понравилась, «потому что длинная»), перед началом какой-то, «перешедший на этот берег с октября», сказал разъясняющее слово о значении пьесы с марксистским подходом, а в заключение объявил, что Шекспира до сих пор запрещала цензура, и только теперь впервые появляется

на свет.— — Балтмор Костров, толковый и способный, со значком, возражая товарищам, которым, казалось, ни к чему знать такие грамматические тонкости, как сказуемое и подлежащее, сказал не без сердца: «Если мы свой родной язык не будем знать, то дойдем и до того, что потеряем и свою православную веру, и крест снимем с шеи, какие же мы после этого коммунисты?» — —

В своей членской книжке Сорабиса (Союз работников искусств) на месте фотографической карточки я наклеил свой карандашом нарисованный автопортрет и подписался — и тут же печать поставили; и когда я показывал это мое изображение, закрывая подпись: «кто это?» — все без исключения отвечали в один голос: «Свинка». Своим ученикам-красноармейцам для испытания их письменной способности я задал описать какой-нибудь сон,— и странно, все их сны заключались «пушкой», а у некоторых и во время течения сна «палили»! И когда я растолковывал им эти «пушки», поднялся такой громовой хохот, которого, наверно, никогда не слыхивали стены б. военного министерства, где помещался красноармейский университет, и в холодющей комнате стало жарко — или это от вареной мороженой брюквы, дух которой проникал сквозь и самые крепкие стены — —

Да, мечты! — ведь одно издательство «Всемирной литературы» чего стоит: изобразить по-русски всю мировую литературу! — и серая обидная явь: нет бумаги! Да, серая явь, пронизанная этим — я не подберу такого человеческого слова, вся бакалея, все съестное не выражают и тени самого духа, и я назову по-обезьяньи, подлинным обезьяньим словом — г о ш к у! — где слышу и еду, и чавк, и крад. Когда по весне среди бела дня вокруг солнца открылась радуга и над радугой загорелись венцы, как солнца, народ говорил: «К усиленной войне», как говорилось о пайке — «усиленный паек»! Это «гошку» пронизывало и самое солнце, и небесные знаки! За Невской заставой появились «покойники»: голодные, они ночью выходили из могил и в саванах, светя электрическим глазом, прыгали по дорогам и очищали мешки до смерти перепуганных, пробиравшихся домой, запоздалых прохожих. А как-то еду я по железной дороге — в Петербург возвращался! — очень тесно, и только что под утро я задремал — и сразу проснулся от петушиного крика — вагон пел петухом! Но что произошло дальше, тут уж я ничего не мог сообразить: мешок пошел по вагону! а за

ним другой! а за другим третий — так и загребает, а ног не видно! — я видел, как сосед мой красноармеец глубоко и истово по-старинному перекрестился, и один из мешков попятился, хрюча, а другой, как рогом, боднул и под лавку, и я вспомнил — Гоголь! —

Нет, ни один наблюдатель чудесной жизни, никакой Гоголь не увидит столько, как было в эти годы в России, когда жизнь вся ломалась и с места на место передвигались люди и вещи!

По Литейному с Виктором Шкловским шли мы с вечера из Дома Литераторов, и пришла мне в голову одна планетарная мысль:

«А что,— подумал я,— если бы в «Бесовском действе» электрифицировать ад — «тьму кромешную», какой бы поднялся кавардак и какая б была планетарная куролесина среди бесов»!

И когда я громко сказал об этом — эта мысль моя электрическая встрепнула Шкловского:

— Из-воз-чик!!! — как крикнет он во тьму на весь на пустынный Литейный, вроде как автомобильная шина лопнула.

— — —

А кони давно все пали,
а падлое мясо — синюю конину поели,
а съел кто — давно уж помер,
а покойников-прыгунков электрических
— страх зазаставный! —
всех перестреляли.

ЗАГОРОДИТЕЛЬНЫЕ ВЕХИ

I

Новый год начался сном. В первый раз за сколько месяцев! Видел во сне ножницы, которые пропали, и сколько дней ищу, не могу найти, и вот будто нашлись!

* * *

В очереди стоишь, разговаривают. Теперь меньше. Теперь стали дорогой заговаривать. Понятно, все пешком

надоедает, а в разговоре и не заметно. А у другого очень накипело, и хоть на ветер. И всякий ищет виновного и в своей и во всеобщей беде.

Вот и эта — кто она? Как-то понемногу все стерлось — уравнялось под последнюю рвань: может, бывшая лавочница, а может, хозяйка.

— — —

— — кто говорит: «Уезжай отсюда!» А я говорю: «Куда же я поеду, тут хоть место нагретое». А то говорят: «В Кронштадт уезжай!» А я говорю: «Боже упаси, у нас страшно, а на этом острове еще страшней».

— — —

— — тут недавно возле Академии ученье было, один красноармеец и говорит: «Товарищи, не пойдемте на фронт, все это мы из-за жидов деремся!» А какой-то с портфелем: «Ты какого полку?» А тот опять: «Товарищи, не пойдемте на фронт, это мы все за жидов!» А с портфелем скомандовал: «Стреляйте в него!» Тогда вышли два красноармейца, а тот побежал. Не успел и до угла добежать, они его настигли да как выстрелят — мозги у него вывалились и целая лужа крови. Я иду и громко плачу. Милиционер подошел и говорит: «Иди в свою квартеру плакать». А я говорю: «Когда это публично делается, то можно публично и плакать».

— — —

II

Умерла бабушка Ольга Ивановна Дориомедова, мать Марьи Константиновны. Помяну Ольгу Ивановну чаем: никто так не умел чай делать, как она! И оттого особенный уют был в доме.

III

А. М. Горький для «пищепитания» сочинил издать избранные произведения. И все мы «б. писатели» получили деньги — гонорар каждый за свою книгу — Мережковский, Сологуб, Замятин, Шишков, Муйжель, Чуковский — из Наркомпроса от З. Г. Гринберга, заместителя Луначарского. А сейчас я подбираю сказки для детей — Гринберг хочет издать в какой-то дошкольной детской секции. Ходил к Белопольскому в Госиздат, по-

несу на пробу из «Посолони». И все ничего, да одна беда:

— Нельзя ли ангелов заменить!

— — — ?

— Ну, хоть звездами.

— — —

IV

Видел во сне И. Ионова: на столе у него будто разрешение на издание моих книг в Госиздате. А. С. Ионова тут же лежит: у нее, говорят, сын родился. А рядом сидит ее мать.

V

Первый день Пасхи. Когда ночью шли домой из Андреевского собора — это не ветер — это «вей» какой-то веял с моря.

Прежде я любил звезды и в звездах видел знак — я не мог разгадать, но неопреодолимо тянулся к звездам. А теперь я полюбил ветер — «вей» — я его почувствовал, как когда-то звезды. И душа моя к нему — и через него моя связь со всем миром.

Я получил редкий подарок — «находка!» в мусоре — книга патриарха Никона «Мысленный рай». А когда я копнул переплет, там целые сокровища: скоропись XVII в.

* * *

В нашем доме у Вагоновожатого («Вагоновожатый» — это Анна Петровна Плутицына за свой рост и тощесть необыкновенную, жильцы у нее матросы) водится хлеб и керосин. К Вагоновожатому ходит ее родственница Груша, б. горничная в меблированных комнатах на Невском, а теперь «уборщица» в советском доме. И всегда разговор о политике — «последние новости».

Я сидел у Вагоновожатого по случаю хлеба.

Говорили о яйцах: вспомнили, как на прошлую Пасху, когда каждому по карточке выдали по яйцу, Груша получила восемнадцать! — «Восемнадцать было меблирован-

ных жильцов, и все разъехались перед Пасхой, по их карточкам она и получила». От яиц, как полагается, к политике: речь зашла о ликвидации безграмотности —

— Что теперь уж по декрету обязательно заставят каждого учиться!

— И не подумаю! что я дура, что ли, учиться! — Груша с сердцем затянулась (Груша раньше не курила, только теперь, когда все стали курить!) — этому скоро конец! Ленин решил отстраниться от всяких дел: будет! «Я,— говорит,— больше не могу управлять: не могу видеть, как этот народ ходит голый, босый и голодный!» И отдал портфель. А евреи сказали: «А мы будем управлять, чтобы остаток народа перебить!».

— — —

VI

Всякий знает, что чертям дано гулять и мутить людей под Рождество (об этом у Гоголя все написано!), а на Пасху совсем не указано. Но бес и есть бес: бес исхитрился и выскочил из тартараров в самую святую полночь — и куда же? — да прямо в церковь.

Вот и послушайте!

Во время пасхальной заутрени свечка у меня таяла, я то и дело зажигал ее и тушил, хвать: нет шапки! Туда-сюда, нет нигде. И в конце концов нашел, но очень испугался —

конечно, это *он* вырвал у меня из рук, «мутчик!»

А у мальчишки, который впереди меня, шапка так и не нашлась. Но самое ужасное: обернувшись вошью, вошью ползал *он* по спинам соседей, а стояли плечо к плечу, и никак не устранишься!

На Кирочной, рассказывали, в домовой церкви вышел священник и прямо затянул «Христос воскресе». (Долго не разрешали служить и, когда разрешили, в последнюю минуту изловили какого-то попа, незнакомого, вот и напутал!) Кто-то крикнул: «Что вы, батюшка, не то!». А поп из царских врат: «Эй, черт!». И пошло — сумятица, вой, плес.

В Казанском соборе какой-то «начиненный» подросток задумал поозорничать и хотел закурить от свечки — ну, и было ж: чуть не разорвали!

Конечно, это все *его* рук дело!

VII

Второй день, как лежит С. П.: припадок печени. И нет воды. Измаялись, измучились. Не выхожу из дому, и ничего не придумаю. А сегодня выбежал в лавку. Господи! какой зеленый пух налетел и покрыл деревья. На 14-й линии трава.

* * *

Буракова все любили. За его необыкновенный рост и силу, за добродушие, за уменье все сделать. И когда что случалось — поломается или и изъяна нет, а просто остановка! — всякий схватывался: позвать Буракова! И Бураков появлялся и с прибауткой отвинчивал, вставлял кусочки дерева или ковырял проволокой — и опять машина налаживалась. И казалось, не было дела, которое он не исполнил бы, и самое головоломное одолеет, и неподступное возьмет.

Буракова далеко знали.

В революционные праздники на манифестациях обыкновенно он носил флаг, а в крестном ходу его можно было видеть с какой-нибудь тяжеленной иконой.

Бураков из белой армии, псковской, попал в плен где-то под Ямбургом и отбывал наказание в контракционном лагере, а из лагеря назначен был на общественные работы в один из советских домов, и служил он вроде дворника — «на все руки».

Как-то колол он на дворе дрова, и не знаю к чему, зашел разговор о царе: как царя расстреляли.

— Что ж,— сказал Бураков,— все это, возможно, и надо было ожидать, но только скажу вам: царь жив, и все это неправда.

— Да как же так неправда, это ж теперь все знают!

— А вы послушайте, что земляк-солдат рассказывал —

— — —

— Ехали наши солдаты из германского плена. Сели они на пароход в Стокгольме. Пароход еще не отходил, сидят они, ждут и видят — идет какой-то военный. Подошел к ним: «Здорово, ребята!». Поздоровались. А он и говорит: «Вы меня не узнаете?» — «Никак нет, не узнаем!» — «Да я же ваш царь!». Тут они вглядываться — и видят: действительно царь! только похудел, постарел, весь-то седой, с палочкой. «Ваше Императорское Вели-

чество,— говорят,— мы ваши верные слуги! Только что же это с вами такое случилось, и признать невозможно!» А он им по серебряному рублю дал каждому. И это истинная правда, потому что он мне рубль показывал.

VIII

Сижу в приемной Отдела Управления и жду. Жду поговорить. Так больше жить невозможно. И пусть нам дадут какую-нибудь квартиру: ведь у всех, кого ни возьми, хоть и плохо, а все-таки по-человечески, а у нас и здоровый-то не вынесет, дня не проживешь такой жизни. И вот я жду — — И когда же, наконец? Задержусь, опоздаю домой — пропущу час, когда в пра́чечной пустят воду, и *никто не принесет,* и останемся мы без воды! Ветер воет. Как воет! А когда шел, смотрел я на Неву — бежит. Завтра надо идти в Петрокоммуну за керосином, стоять долгие часы в очереди — а может, и откажут! По площади идти побоялся — там такой ветер. И как это мы зиму прожили! Думал иногда: нет, не вынесем! А как бы я хотел: ни у кого ничего не просить, так отдаться на волю, что будет; сгинуть — — и очень скоро. Эх, прозеваю воду! И никто ведь не принесет! Опять завыл ветер — ветер древний! Проглянуло солнце и прямо в окно — на меня. Морит. И от курева дремлется. Только часы слышу ясно — — время идет все равно! Воду — воду пропущу!! — — —

— Вы упали духом?

— Я? — вот вода у нас не подымается!

НА ДАРОВЫХ ХЛЕБАХ

«Горы мусору у нас —
Надо вывезти сейчас:
Мусор в кухне не копи,
А сжигай его в печи!»

I

НАХОДКА

Наступают теплые дни —
и весь Петербург звенит.

Цепляющийся зубильный звон, назойливый и точащий — железа о камень — звук стройки. И не найти уголка, нет такого дома — идешь по Невскому и на Васильевском, и на Песках, и где-нибудь у Покрова — звенит.
Вечером в раскрытое окно каменный дых и пар домов, и застоялая копоть труб, как глухая стена, и один — дышит один этот звук, точа — звенит.

Наступают теплые дни —
вот и белый май,
белая ночь,
цвет двух алых зорь — —
— много лет, как заглох, не звенит! —

И дети не играют в любимую игру — уцелевшие кое-где леса начатых построек растащены: печурошная железная саранча прожорливая за зиму подобрала все деревянные дома и доски. Маленькие — те еще в песке строят свои волшебные песошные города.
Дым фабришных труб — невидаль, как стройка.
Рассеялись желтые петербургские туманы.
Вечер свеж и прозрачен — какие звезды!
— и уличная тишина пустынна.

* * *

Находка — собака звонкая: ошейник на ней не простой, с бубенчиком.

И в вечерний освежительный час с высоты шестиэтажной видеть ее никак не увидишь, а слышно: звенит.

И поутру, когда колодезные жильцы спускаются во второй двор с чистым ведром в прачечную за водой, а с поганым — к помойке, и сквозь ведерный звон звенит.

Только днем не звенит.

Илья Иванович Яичкин, хозяин Находки, заведующий, и днем ему дома не сидка: дело его хлебное — в лавке.

А Находка при нем неразлучно.

Заглянешь в Управу к Девятке — сидит Девятка с Попкиным, дела решают,— народы! телефон! содом! — и вдруг через всякий звон звенит.

А это и значит, что где-то тут в какой-то из комнат Яичкин за хлебным нарядом.

То же и в лавке, стоишь в хвосте — молчим или точит зубильная жаль — и вот под стук ножа и гирь зазвенит, и все очень понимают, что это сам Яичкин Илья Иванович.

Так и в Совдепе, ищещь ли комнату — за билетиком в очередь за дровами стать, или перегоняешься из комнаты в комнату за подписями и печатью, или просто тупорылой скотиной ждешь на авось, и опять зазвенит: Яичкин и здесь.

В восемь запирают ворота — была и такая крутая пора! — и уж не ты, и к тебе никому, и телефон, пылясь, мертво молчит, раскроешь окно — там, глядишь, Галушин председатель примостился у окна — вечер теплый! — газеты: какой-нибудь уцелевший № за 13-й год,— а против в окне уполномоченный Кузин ведомость составляет: списки жильцов —

> прошел я Россию, сколько тюрем, острогов, не миновал секретной самой тесной, как мышеловка, сидел и в башнях — за какими ключами, затворами! — но такой каторжной тишины и гробового спокойствия не запомню.

И вдруг звук, как шарик, рассыплется — мелкие шарики —

> каждый шарик в орешек — стук орешек! — орешек в горошину — лоп горошина! — горох на крупинки — сей, лей, вей! —

все завьется, заструнится — звенит —

Мне-то не видно, но вижу, как Галушин и Кузин кивают: Илья Иванович Яичкин возвращается с работы — ему по его хлебному делу, как днем, так и ночью, ход не заказан.

* * *

Жаловался Яичкин на арифметику: мудра — не тверд.

Взялся за него Кузин, и одолел ее Яичкин, да так, что ни на какую стать.

С этого все и пошло.

И «Вагоновожатый» — Анна Петровна Плутицына, у которой матросы живут, жилистая и рассудительная,

именно на арифметику все и доказывала и от арифметики выводила всю Находкину бедовую историю.

А историю эту собачью все знали — от Управы и до лавки, и от лавки до Совдепа, и от Совдепа до участкового бюро, и от бюро до комендатуры, и от комендатуры до клуба, а от клуба по улице вдоль —

И даже Женя Кузин, который —

— «маленечко по нотам поет» —

и носит при себе, как трудовую книжку, пастуший билет: «пастушить ребятишек» — выдал я ему еще по весне с «обезьяньей печатью»! — и Женя может ее рассказать, и со всеми подробностями и чудесами.

* * *

Илья Иванович уехал в командировку.

И узнали это не потому, чтобы Яичкин ходил и объявлял по всем по семидесяти пяти квартирам снизу и доверху, а потому, что звон бубенчика замолк.

В последний вечер звякнул — —

Я долго в тот вечер не спал — читать не видно, так сидел —

в белой ночи по бледному небу расцветали зеленью белые звезды — камушки изумрудные, и, не игля, лились лепестками.

Долго трудился Илья Иванович над чемоданом, укладывался, потом — я ничего тогда не мог понять — разрезал хлеб, целую форму, взвесил каждый кусок и стал раскладывать по полу рядком, а потом, держа за ошейник Находку, тыкал ее носом в каждый кусок и что-то приговаривал, уча, и так раз десять на каждом куске.

Находка становилась на задние лапки, служила, смотрела — —

Илья Иванович собрал крошки, запер шкап, присел к столу, подумал — вдруг встал и, в чем-то убеждая Находку, строго погрозил.

Тут вот в последний раз и звякнул бубенчик.

* * *

Дом наш — колодезь, каменный мешок, и из всех домов, таких же мешков, самый есть тихий.

И ничего-то у нас не случается.

Как-то однажды около полуночи, когда все семьдесят

пять квартир на сон ладились, распахнулось окно над Кузиным и барышня Рыбакова сдавленно ухнула:

«Душат!».

Решили, пожар: и всякий, в чем застало, опрометью к прачечной воды набрать, чтобы тушить.

Конечно, вода никогда не мешает, но дело тут не в пожаре и вода ни при чем.

Давно подмечал старик Рыбаков, что хлеб пропадает, а жила у них еще прислуга, вот он и вышел перед сном на кухню, и что-то тут случилось —

или эти белые зазеленевшие звезды?

стал он шарить Пашу: хлеб искал. А рыбаковская Паша, всякий знает, одна на шестой этаж бревно стащит, Паша-то старика и ущемила, дочь испугалась и всполыхнула:

«Душат!»

Что еще?

Больше, кажется, ничего.

И вот — завыла собака.

Как ночь, так вой.

Не поверили, всякий сказал, косясь:

— Это там, не у нас.

А что ночь, то вой заливней.

И поверили:

— Не к добру: у нас.

Где, что, почему?

В доме собак нет — — Находка?

> Пятый день, как Яичкин уехал, а Находка при нем — неотлучно. А кроме того, никто и никогда не слышал, чтобы выла Находка, да она и не лаяла, она только звенела, а может, и залаяла бы где на солнышке, но в каменном-то мешке за такой оградой — —

Затаились, только уши одни.

И каждое окно, как ухо.

— Это у Яичкина! — первым догадался Кузин и, высунувшись, крикнул председателю.

Галушин, не замедля, откликнулся, точно и ждал того:

— Конечно, у Яичкина!

— У Яичкина! — отстенилось в колодце.

Тут уши опали.

И окна сразу закрылись.

* * *

Белые тени, белые ночи, заметались за окнами.

— К Яичкину забрались воры: чистят!

По лестнице воздушно в белой ночи: впереди председатель, за председателем уполномоченный, за уполномоченным два члена, за членами сотрудники,— и все были по-ночному налегке, и только форменные кантовые фуражки бывших ведомств с серебряными подковками и лепестками значили, что не лунатики, а домовое начальство, и в полном составе.

Я слышал звонкий голос Кузина, немилосердный стук.

И на минуту все замолкло — саплая надсадка — и, как конец, на весь колодезь треск.

У Яичкина в покинутой квартире замелькал огонек — и тотчас, как огонек, зазвенел бубенчик.

Ни воров, ничего —

одна-единственная Находка!

* * *

Полночи только и было разговору.

— Уехать и запереть собаку!

— И как она еще не сдохла?

— Человеку вытерпеть трудно, а собаке и подавно: завоешь!

— Ей камушек показали, так она, как кубарик,—

— Залаяла, ей-Богу, сам слышал.

— Не предупредить, вот чудак.

— И сколько этого г....ща, весь пол!

— Да чего ей жрать-то было?

— Нашла себе чего: чай заведующий!

— Да ведь все на запоре, не такой.

И под все суды-ряды и пересуды одиноко звенел бубенчик.

* * *

На другой день вернулся Яичкин.

Яичкин вернулся раньше срока.

Не хотел верить:

ведь он же оставил Находке ровно десять фунтов хлеба — десять равных кусков хлеба, ровно по фунту на день.

— Да столько и гражданское население не получает! — оправдывался Яичкин.

А после всяких споров, когда весь колодезь затих, я видел, как выговаривал он Находке, укоряя ее, что «все десять фунтов сожрала зараз, а не по фунту, как полагалось!» Потом, спохватившись, бросился собирать с пола все собачье, наклал доверху «скороходскую» коробку из-под штиблет и поставил на весы —

весы показали 20-ть!

И уж чего ни делал — и тряс, и дул — стрелка оставалась неколебимо: 20! — 20 фунтов!

— Откуда?

Яичкин отказывался что-нибудь понять:

— 10 — — 20 — — ?

Это было сверх всякого учета и не поддавалось никакой регистрации.

Находка стояла на задних лапах, служила, смотрела —

II

СЕРЕЖА

Мне еще очень жалко Гусева.

И оттого жалко, что вот на моих глазах за эти годы потихоньку опустился он — пропал! — и от прежнего Гусева и звания нет: борода какая-то пошла, и совсем неуместно, и загрязнился-то весь, страшно взглянуть; такой когда-то манжетистый, а теперь в ночной сорочке безвылазно. Ничего ему неинтересно, и говорить не о чем.

И когда он приходит ко мне, не приходит, а «притаскивается» с другого конца на Васильевский остров, мы сидим молча: я перебираю книги, а он что-нибудь подъедает — такое, что в прежние-то годы считалось завалящим — ест и отдыхает с дороги. А потом: или «пора домой», или ложится спать, не раздеваясь, в шубе прямо на холодный диван.

Но иногда — это когда еды больше! — мы мечтаем.

Мы мечтаем:

кого бы нам «еще» ограбить?

или — как хорошо было бы поступить нам в налетчики!

* * *

Люди разделялись на три категории:

одни получали «паек» и пользовались им ничего и, если бы еще могли где получить, не отказались бы; другие получали неофициально — правда, таких было немного — и, пользуясь всякими «индивидуальными» выдачами и благотворительными американскими посылками, осуждали тех, кто получал «в общем порядке» по службе; третьи — ничего не получали, только по «карточкам» (были и еще, но таких наперечет, это, которые из «благородства» или из «чести» отказывались от пайков, и которых обыкновенно деликатно подкармливали получавшие «неблагородно»).

Гусев получал только, что полагалось по карточке.

* * *

К Гусеву зашел «некий» Сергеев. (Гусев с некоторых пор — от всеобщего утомления, должно быть,— прибавлял к именам «некий» или, опуская совсем имя, просто выражался: «некий!»)

Этот некий Сергеев приехал в Петербург ликвидировать свое петербургское имущество: кое-что оставалось у него еще с войны. В Петербурге он жить не намеревался: и голод, и того и гляди немцы займут, нет, он поедет в провинцию, где и «сытно, и в безопасности».

Ехать в провинцию «на хлеба и в безопасность» было одно время сущим поветрием, и сколько глупого народа так сослепу-то, очертя голову, бросилось по всяким медвежьим углам, чтобы рано или поздно замечтать о Петербурге, как о рае волшебном, где при изворотливости можно кое-что и достать, а главное все-таки, в большей безопасности: ведь одна «власть на местах» вопреки всяким декретам из «центра» могла как угодно и что угодно вывернуть по-свойски. Много несчастных попало тогда в провинцию.

Сергеев «ликвидировал» свое добро, то есть рассовал вещи по знакомым: кому для сбережения, кому на продажу — или, прямо говоря, бросил свое имущество.

> В самом деле, какое могло быть бережение, когда хоть бы голову-то сберечь и то слава Богу! Всякая вещь могла попасть «на учет», и лишние, какие если завелись, надо было или прятать, а это не очень-то просто, или сбыть — а кроме того, беречь чужое можно только тогда, если своего есть что поберечь, а уж когда своего-то нет ничего, тут такой соблазн!
> — Что же касается продажи — эта операция «нелегальная», и продажа своего или чужого с риском попасть в комендатуру, а из комендатуры на Гороховую «за спекуляцию», нет, я думаю, по всей справедливости право на выручку приобретает один продавец — а кроме того, если бы и вздумалось кому из «благородства» и «чести» не истратить эти деньги, а отложить выручку, то ведь через месяц, через два, они ничего не будут стоить и, стало быть, никому уж —

Как и все отъезжающие в провинцию, и этот некий Сергеев дал маху с «ликвидацией», ну, да это неважно, не в этом дело: Сергеев был тот расчетливый дурак, которых на Руси немало водилось и до и после.

Жалко Сергееву Гусева — «Вот,— думает,— дурак несчастный! И чего торчит в Петербурге?» — и говорит на прощанье:

— Николай Григорьевич, возьмите вы мой паспорт, пропишите меня, будто я у вас живу: все-таки будет у вас лишняя карточка. А там меня знают, могу и без паспорта.

Сергеев служил в войну в земском отряде — «земгусар», и было у него, кроме паспорта, еще удостоверение личности и проходное свидетельство, да и еще какие-то документы на право передвижения — изобретение военного времени, подозрительного и расточительно документального, от которого пошла и вся наша волокита, а вовсе не потому, как это говорится, будто «в учреждениях сидят буржуазные ошмотки!»

— Так берите ж вы паспорт-то! а то ведь так пропадет, а тут — лишняя карточка.

И Сергеев положил на стол Гусеву свою паспортную книжку.

И расстались: Сергеев поехал в провинцию, где «и сытно, и безопасно», а Гусев в Петербурге остался с паспортом Сергеева, по которому —

> если прописать, выдадут продовольственную карточку, а в продовольственной лавке восьмушку хлеба.

* * *

Гусев от неожиданности и непривычки (это теперь мы с ним мечтаем!) даже и спасибо не сказал, а сергеевский паспорт с правом на продовольственную карточку ему ой как на руку: оба они, и Николай Григорьевич, и Вера Васильевна, сидели о ту пору в 3-й категории, а 3-я категория — не больно разъешься.

> 1-я категория — рабочие,
> 2-я категория — советские служащие,
> 3-я — неслужащие интеллигенты,
> 4-я — буржуи.

Буржуи, или, вернее, бывшие буржуи, получали восьмушку хлеба на два дня, интеллигенты — по восьмушке на день. Впоследствии и Гусевы, как советские служащие (понемногу все сделались советскими служащими!), переведены были во 2-ю категорию, и им полагалось по четверке в день, но пока что изволь быть доволен и восьмушкой!

Да, иметь лишнюю карточку им было на руку — только как-то неловко: ведь Сергеев-то уедет, и карточка, значит, подложная —

> значит, подложной карточкой пользоваться — обманывать!

Да, не сразу это далось — это, как и насчет дров, сначала-то очень совестно, а потом свыкнется.

> И это я не в смех, и не в осуждение: что поделаешь, видно все эти высокие «честные ценности» и «благородные скрижали», все это и хорошо, и достойно блюсти при обеспеченной, и не какой-нибудь богатой с излишествами, а обыкновенной, достойной человеческого существования жизни, и с таких «обеспеченных» при нарушении спросится, ну, а с голытьбы

последней, с гусевской, ей-Богу же, по справедливости грешно и требовать!

Гусев — это еще когда мы не «мечтали», а разговаривали, как «порядочные люди» — рассказал мне, как он тоже дрова «преодолел».

«Преодолел, как выражается Бердяев,— рассказывал Гусев,— ведь быть честным в таком понимании принятом, это, знаете, такая роскошь, и не всякий может себе позволить. Настя у нас, наша последняя прислуга, доживала постылые деньки, питаясь гласно от трех матросов, что, по выражению ее подруги Саши,— «теперь это можно!» Вот и говорит она как-то вечером: «Барин, постерегите!» Сначала-то я не понял, чего стеречь. А она показывает на черный ход к лестнице. Ну я и пошел за ней. Стал в проходе, стою, караулю. В кухне чуть такой свет — керосиновая лампочка закопченая, около носу не разберешь. А Настя вниз спустилась, понимаю — «по дрова». Наши-то дрова кончились и купить не на что. Тогда, знаете, можно еще было покупать, не запрещалось. И сколько прошло, не помню уж, очень это тяжело, и вдруг слышу — шаги. Нет, это не Настя. И не знаю, что делать, так бы и провалился на месте! А тот, должно быть, тоже — и как увидел меня, да как шарахнется — дрова-то поленья по лестнице так и покатились. А это сосед: за тем же предметом! Так с месяц и согревались. Я караулил, Настя спускалась на промысел. Сначала-то очень было неловко, а потом и ничего: преодолел!»

Гусев дрова преодолел, теперь надо было и на паспорт решиться.

* * *

Самому идти к заведующему домом Казакову просить прописать сергеевский паспорт неудобно,— Казаков, это старший дворник под названием «заведующего». (Дворники, и старшие и младшие, были тогда упразднены!)

Настю послать — ?

Еще при Керенском, когда одни стали «углублять» революцию, а другие каркать, что с революцией «Россия погибнет», Гусев как-то сказал Насте, что, если она такое услышит, пусть всем говорит, что не погибнет Россия, «потому что есть Пушкин, Лев Толстой, Достоевский». Насте легче всего дался Пушкин, Толстого она забывала, а над Достоевским мучилась припо-

миная; но в конце концов одолела.— «Почему, Настя, не погибнет Россия?» А она станет, закатит глаза: «Пушкин,— скажет,— эщэ Лев Товстой, эщэ — Достоевский». А когда большевики, как говорилось, «воцарились на престол» и так скрутило, только и слышно стало жалоба да ругаются, Гусев как-то и спросил Настю: «Кто, Настя, теперь нами управляет?». И она вдруг стала, закатила глаза: «Пушкин, эщэ Лев Товстой, эщэ — Достоевский».

Настю послать? Ляпнет еще чего или такое накурляет — да больше некого, только Настю!

Настю и послали к Казакову.

И пока Настя ходила в дворницкую — под Казакова была реквизирована квартира, и жил он не как раньше дворники и швейцары — в подвале, а как жилец, с которого «на чай» полагалось! — пока она там разговоры разговаривала, уж и страху, и опаски натерпелись несчастные Гусевы:

а ну как Казаков узнает, что Сергеев-то уехал?
а ну как Настя скажет, и совсем невпопад, что-нибудь вроде — «Пушкин, еще Лев Толстой, еще Достоевский»?
а ну как —

— И зачем это мы все затеяли?

Настя вернулась:

Казаков прописал!

— Прописал! Спрашивает: «А что ж,— говорят,— жена его, Сергеева, приехала?».

— Нет! не приехала,— чего-то оробел Гусев,— Марья Петровна не приехала!

И вдруг сообразил: значит, в паспорте и Марья Петровна записана и, стало быть, можно было бы и ее прописать,— вот и еще лишняя карточка!

— Не посмотрел,— жалко сказал Гусев,— а ведь можно было бы и жену прописать.

— Так надо прописать,— подхватила Настя,— лишняя карточка.

Но Гусев испугался и замолчал: на такое решиться сразу невозможно. Если бы заодно прописать обоих: и Сергеева и жену — дело другое. И успокоился: будет и одной лишней карточки! Но забыть не забыл, но и не поминал.

А Настя — в голову-то ей это втиснулось: «если бы

еще жену прописать — еще лишняя карточка!» — Настя терпела день, другой — «да что ж в самом деле, у всех лишние карточки, и все это знают, а тут добро само в руки лезет, а не берут, отмахиваются!» — Настя взяла тихонько паспорт Сергеева да и пошла к Казакову: «еще чего стесняться?»

Настя крепкая и упорная: когда в первый раз выехала она из деревни в Петербург,— об этом сама она часто рассказывала: — «Как села я в Витебске, а забрались мы в вагон загодя, так до самого Петербурга и не слезала с лавки; люди там по нужде выходят, а я думаю себе: нет, глупости, уж как села, так до Петербурга!»

— Жена Сергеева приехала! — срыву сказала Настя Казакову и положила на стол паспорт.

Что ж тут такого: жена к мужу приехала!

— Давно б пора! — Казаков пересмотрел паспорт: — Все в порядке.

И прописал жену Сергеева—

Марью Петровну Сергееву.

И стали Гусевы нежданно-негаданно получать по двум лишним карточкам — две лишние восьмушки хлеба.

И ничего —

Да, конечно, ничего! «И давно б пора!» и «чего стесняться-то?» Неловко? Казаков узнает? Да что ж Казаков дурак, что ли, или слепой? И какая хитрость, поди ж ты, прописать человека по настоящему паспорту, нет, вот из ничего чего устроить — а ведь целые дома прописывались с несуществующими жильцами (это впоследствии открылось), а о таком не мечтал и Гоголь! — да еще то ли будет!

* * *

С месяц все было хорошо, и на другой ничего.

Настя не выдержала — «и Бог с ними, с Пушкиным, Толстым и Достоевским: голодом пропадешь!» — собрала все свое добро и в деревню.

Да со своим добром и Сашину, подруги своей, подушку ухватила. Это потом Саша жалова-

лась: письмо просила написать Насте — «что когда *мать твоя* помирать будет, положи эту подушечку ей под голову».

Без Насти Гусевым самим оставаться больше стало. А вскоре оба на службу поступили и попали во 2-ю категорию.

И совсем уж ничего.

И вот, как на грех, случился очередной призыв красноармейцев: опять кто-то наступал — Колчак? Деникин? или еще кто? И надо же такому быть, как раз возраст Сергеева подходил под этот призыв.

Уполномоченный домкомбеда Михаил Михайлович Котохов все знает: и кто когда ложится, и у кого хлеб водится, и у кого кто живет — и действительно и так, для карточек числится.

Вон в доме Паршикова устроено в подвале вроде курятника — жерди, и на этих жердях, сидя, как куры, ночуют дезертиры. И это подлинно живые люди и лишь на ночь, на случай обыска, обращающиеся в кур, а Сергеев, хоть и прописан, а он вроде как неживой, и его на ночь на насест никак не спрячешь, и без нужды и по нужде никак не закукуречит. И это надо принять во внимание.

Котохов постучал к Гусеву.

— Сергеева надо отписать,— сказал он, не глядя,— его годы призывные. Пускай у вас одна жена его остается.

Гусев не спорил — Гусев и голоса подать не решился.

Конечно, досадно. И надо же случиться какому-то наступлению! И кого это там опять дернуло: Колчак, Деникин или еще кто?

Газеты мало кто читал: газеты не продавались, а наклеивались на углах для всеобщего пользования. Но наклеенные не всякому охота читать, да и трудно — набор слепой, да еще и от клея слилось — ничего не разберешь! Да и некогда околачиваться, ведь каждый час дорог и все часы распределены: великое всеобщее стояние в очередях за добычей! И вот, когда наступал кто-то — так уж повелось,— называли Колчака и Деникина. А уж в самом безгазетном круге, где вообще никогда газет не читали, там все валили на одного Колчака: «На одной стороне,— говорилось,— Ленин — Троц-

кий, на другой — Колчак». И всякий раз, как они начинали поединок, объявлялся призыв. Так Сергеев, попавший в призыв, должен был действительно уехать от Гусева, и его отписали. И осталась у Гусевых одна Марья Петровна, жена Сергеева,— одна восьмушка, все-таки лишняя восьмушка!

* * *

Гусевы обедали раз в неделю.

Обыкновенно в субботу обмерзлая за неделю кухня оживала. Топливом служили доски от деревянных домов — дома на слом давались на дом по числу квартирантов, которые сами должны были разломать дом и развести на себе по квартирам всякий свою часть и, дома распилив, пользоваться — кроме этих досок дожигали мебель: столы, стулья, комоды, ну, все, что ни попадет, деревянное.

Готовили оба. Наваривали вот такую мисищу из мороженых овощей — а потом всю неделю подогревали на примусе. И целую неделю овощной дух держался в комнатах, а уж в субботу до слез и чоха.

Как-то после всенощной зашел к Гусевым Котохов. Котохов изредка наведывал всех жильцов для порядку, и его всем, чем только могли, угощали: и искусственным медом, который иногда на паек выдавали да в некоторых кооперативах, и повидлой, тоже — редкая выдача! — и собственным изобретением — какими-нибудь лепешками из картофельной кожурки, и чаем, какой случался — или «кавказский», или морковный, или березовый, или, еще такое было, какавелла — ни на что не похожее, вроде спитого кофею.

Разговорились о том о сем, и «какая жизнь стала несносная, и не видно конца тяготе!» — это всегдашний запев; а припев: «наступление, которое все перевернет!» — и тут даже ставили сроки «из достоверных источников»; а другой раз и такое приплетут и тоже из верных рук, будто «Петербург объявят свободным городом». Можно сказать, за эти годы, живя только добычей, люди не теряли духа промышлять добычу — которая лишь поддерживала существо-

вание — единственно и только надеждой на какую-то перемену, верой, что что-то произойдет чудесное и перевернет жизнь или как-то изменит ее: потому что только поддерживать свою жизнь, то есть быть скотом, с этим *человек* никогда не помирится! И это только потом уж, вспоминая, не пожалеешь, что жил в эти грозные грозовые годы, где бывало и такое, не только в страх, а и в смех.

Котохов рассказывал о предполагавшихся обысках — Котохов все знает!

— Будут продовольствие отнимать — муку, если у кого свыше пяти фунтов, и сахар, если у кого найдется.

Советовал даже и меньшее количество припрятать.

— Лучше всего на верху печки.

От обысков к жилищной тройке по уплотнению квартир. А от уплотнения к политике — Ленин — Троцкий, и, как полагается, какое-то наступление: Колчак, Деникин. А от политики к пению.

Котохов пел в церкви на клиросе.

Гусев был большой любитель церковного пения, и его сочувствие настроило котоховское сердце на чувствительный лад.

— Посмотрю я на вас,— сказал Котохов,— ну как вы живете-можете! И эта восьмушка ваша несчастная! Если бы нашелся у вас знакомый доктор и согласился, например: Сергеева ожидает ребенка! — 1-я категория: фунт хлеба.

— Фунт хлеба, ловко ли? — вздохнул Гусев.

А получить лишний фунт хлеба очень было бы ловко!

— Чего ж неловко-то? Со всяким может случиться.

— Так все-таки ребенок, куда же мы его денем? — заплетающимся языком сказал Гусев и от неожиданности, от всей несообразности предложения.

— Так ведь это впоследствии, такое не сразу. А пока только: ожидается, понимаете?

Как не понять — мысль изумительная! — и почему в самом деле Марья Петровна Сергеева не может ожидать ребенка?

И весь следующий день — воскресенье — Гусев звонил знакомому доктору.

Телефон, к счастью, действовал после долгого безмолвия — обыкновенно же при всяких на-

ступлениях (Колчак, Деникин, Юденич) или угрозах наступления телефоны выключались, или не выключались, а что-нибудь испортится «по линии», и уж не дождешься, когда исправят.

И дозвонился: доктор обещал только на завтра.

Не прежнее время: сел в трамвай и приехал! — да и мало было докторов — кто уехал, а больше того перемерли в тиф.

* * *

Доктор Забругальский старый знакомый, но все-таки сразу Гусев не решился прямо сказать о своей просьбе. А начал пространно свои наблюдения о притуплении чувств или, как сам он выражался, об «ослаблении проводника любовной эманации» —

что вот никто и не женится!

и, должно быть, от постоянного недоедания — проголоди! — и любовное желание прекращается, оставляя одно лишь воспоминание.

— А холод держит все члены в некотором как бы оцепенении... но бывают случаи и обратные.

Гусев любил подобие Гоголя, усвоив у Гоголя, впрочем, так всегда и бывает, не гоголевское кованое серебро слов, не наполнение «предметностью» фразы, а лирический словолив.

— Например, Марья Петровна Сергеева, вы ее у нас встречали.

— Не помню хорошенько, какая это Сергеева? — Позвольте, маленькая хромая?

— Да нет! Марья Петровна на балерину похожа!

Но доктор никак не мог припомнить. Потом из вежливости, что ли, я не знаю, отчего это иногда делается, вдруг сморщился:

— Припоминаю, на елке у вас...

— Марья Петровна Сергеева ожидает ребенка! — выпалил Гусев и, насколько позволяли средства, покраснел.

— Вот какая история, ну вот видите, а вы «притупление эманации!»

— И ей необходимо докторское свидетельство о беременности.

— Беременные — 1-я категория — 1 фунт хлеба! — сказал доктор и причмокнул от удовольствия,— из-за одного этого следовало бы.

— Так вот я насчет свидетельства,— Гусев подложил листок,— сделайте милость, очень вам буду благодарен: на третьем месяце беременности Марья Петровна Сергеева, у нас прописана.

Доктор чего-то подумал —

> или понял и соображал, ловко ли? или нужна была какая-нибудь замысловая фраза? или так полагается докторам: прежде чем писать рецепт или свидетельство, всегда обязательно подумать, хотя бы для виду.

— Ну, давайте.

И свидетельство было написано:

> «гражданке Марье Петровне Сергеевой, находящейся на 3-м месяце беременности, для усиленного питания».

На прощанье, как бы оправдываясь, сказал доктор:

— Я не обязан помнить всех моих пациентов. И вы не беспокойтесь: кушайте 1-ю категорию.

* * *

Месяцы идут — время бежит, прямо непостижимо! 1-я категория — лишний фунт хлеба! Добрый-то человек надоумил! Да уж скоро у Марьи Петровны и дите на свет появится.

Письма редкие: редко о ту пору писали, еще реже доходили письма. Получилось письмо от Сергеевых — писала Марья Петровна:

> жилось им не больно-то, а все-таки не голодали.

Раз Гусевы посылку получили от Марьи Петровны — крупа, а в крупе, крупой закрыто, нелегальная мука — муку запрещалось посылать.

Вот добрые-то люди!

Вот счастье-то, и не ждешь, а само и привалит: и 1-я категория, и посылка дошла, и главное в целости — и крупа, и мука!

А в один прекрасный день — срок кончился — и у Марьи Петровны Сергеевой родился сын.

> В очередную ведомость на получение продовольственных карточек Гусев вписал в графе

проживающих у них жильцов — Марью Петровну Сергееву с сыном.

— Как у Сергеевой сына-то зовут? — отгрызнулся Котохов: Котохов для порядку, такая деловая повадка, говорил с огрызом, и это всегда очень пугало и привычного и непривычного, и даже тогда, если все было по-правильному.

— Сережей,— пролепетал — Гусев,— Сергеем.

— — —

И стали Гусевы получать, кроме своих двух четверок, еще и по 1-й категории «кормящей матери», и по детской карточке А.

И знаете, как-то для Сережи выдали им варенье — а давно не ели! — ой, с чаем-то вкусно! — они и блюдечки облизали: «Спасибо!»

Вот она, Сергеева-то какая — Марья Петровна! — спасибо! — и за что это им такое?

* * *

Три месяца прошло, и за эти три месяца, кроме варенья, еще и конфеты, и селедок выдали для Сережи, и Гусевы так привыкли, что у них растет мальчик, так уверились верой своей голодной, что, ей-Богу, случись присяге, присягнули б.

Но, как это всегда бывает, даже и звезды крошатся, стираются горы, пропадают народы, и всякому человеческому благополучию наступает конец, а порядку — революция, пришел Котохов и, не глядя, сказал:

— Чтобы получить детскую карточку, впредь надо нести ребенка в Совдеп, показать.

— А как же Сережа! — у Гусева похолодели руки.

— Детскую карточку иначе выдать невозможно.

— — —

Да если уж так надо, Гусев готов сам нести Сережу — «закутает его хорошенько и в Совдепе в очередь станет — и будет куковать —»

— — —

И Сережа «помер»,— ничего не поделаешь!

И остались Гусевы с одной Марьей Петровной — и уж не 1-я категория, а 3-я — не 1 фунт хлеба, а восьмушка.

Помню, когда в эти годы я публично читал «Царя Максимилиана», всякий раз на словах

царя затюремному сторожу о продовольствии сына Адольфа подымался несмолкаемый хохот — «Поди и отведи моего сына Адольфа в темницу и мори его голодной смертью: дай ему *фунт* хлеба и стакан воды!». Да ведь этот «фунт — голодной смерти» был бы для всех в эти годы великим благодеянием и лишиться такого — несчастье.

Вот несчастье! — Гусевы так привыкли — так свыклись с мыслью, что с ними живет Сережа! — и очень жалели, а ничего не поделаешь.

А когда пришла весна — весна после ледяной зимы теплом как взбесит! — и надо и не надо пошли жениться, и это не только в Петербурге, а и по всей России в третью весну после революции.

И там, в медвежьем углу, где когда-то вкусную пастилу делали, а теперь не делали, весна и без пастилы взяла свое, и Сергеев, как и многие прочие, поддался.

Сергеев тоже задумал жениться.

А женатому, чтобы жениться, надо развод, а развод это очень просто, лишь бы паспорт, а паспорт-то у Гусева: надо, значит, затребовать у Гусева паспорт.

«От всеобщего *потрясения,*— писал Сергеев,— задумал я жениться, и с Марьей Петровной вынужден развестись: необходим немедленно паспорт!»

Ничего не поделаешь: надо послать паспорт.

И вот с последней осьмушкой пришлось расстаться: без паспорта никак невозможно —

и Марью Петровну отписали.

Так «помер» Сережа и Марья Петровна «выбыла на родину».

И остались Гусевы на двух на своих законных четверках без никаких.

III

ТРУДДЕЗЕРТИР

На площадке 6-го этажа около самой дверцы лифта неизвестная собака навалила величайшую кучу.

Ее увидел первым Скворцов и почувствовал с ужасом не меньшим, то есть прямо пропорционально. И чем боль-

ше Скворцов всматривался — а он стоял над ней, как вкоп,— тем сильнее становилось его чувство:

он уж видел больше, чем было в действительности,— он смутно чувствовал и все последствия: как из кучи выкучится полный нужник, и не миновать, попасть туда — по шейку. Известно: одно к одному — деньги к деньгам, тоже и напасть на напасть! И еще: прилипнет, нипочем не отстанет! — примета верная.

Подходила очередь убирать Скворцову лестницу — по постановлению Домкомбеда все жильцы дома обязаны были по очереди исполнять всякие домовые повинности — и кучи, стало быть, никак не минуешь.

Случись это летом, за неделю подсохло б — бери хоть голыми руками! И зимою подмерзло б — и тоже труд невелик, скребком хвать — и готово. А сейчас осень — а осенью, что весной, жди когда-то еще:

«хоть бы мороз поскорее!»

Вы не смейтесь, это дело совсем не плевательное и не ждет!

Целый день Скворцов по всяким добычным делам:

добыча — единственное дело и забота.

И что могло быть другого в эти годы блокады, внутренних наступлений и «опытных» декретов!

В Севпросе («Кооператив служащих в комиссариате Просвещения Северной Коммуны») выдавали мокрую картофель и еще что-то из подпорченных овощей, а вместо обещанной повидлы искусственный мед — зависть не включенных в кооператив.

Всю эту добычу чтобы получить, нужно было выстоять в очереди немалый час и отнести мешок домой.

После Севпроса пошел Скворцов в Петрокоммуну.

Там в «отделе распределения ненормированных продуктов» стоял он в медленном, упорном и норовистом хвосте с прошением о керосине:

«для вечерних работ».

И в Севпросе, и в Петрокоммуне все одно: куча не выходила из головы — куча завалила и картофель, и мед, и все вороха бумаг — ордера.

И хотя было о чем сообразить или так спохватиться — —

ведь стоишь, бывало, час и другой и вдруг спохватишься: из-за чего? Да из-за каких-то пяти — трех фунтов керосина или из-за четвер-

ки хлеба, чтобы сжечь или съесть и опять стать в очередь и снова терпеливо стоять! И какая обидная доля — и твоя, и тех вот, попадали ж люди упора и воли необычайной! — никогда-то ничего не построить, а из ничего, всеми правдами и неправдами, добыть и распределить по декрету, чтобы сожгли или съели, и ничего — ничего-то больше — бесследно —

«Бесследно? нет — — !»

Скворцов уж прилип и ни ногой, и ни рукой, хуже: глаз-то, это наше прекрасное окно на Божий мир, попробуй-ка ты, прочисти!

«И какая это могла собака сделать? Верно, очень большая! И надо же: вбежать на 6-й этаж и около самого лифта сесть! Хорошо еще лифт не действует, а то так бы прямо ногой и попал. И странное дело: где теперь собаку увидишь? В прошлом году падали лошади, потом собаки: зашелудивит и кончится».

Скворцову вспомнилась вся лошадиная падаль, особенно на мостах, и подыхающие собаки — последние — ужасные.

«А вот и выискалась! И чего такого она могла съесть? И где? Что добыла?»

Сосед Вавилонов из Наркомзема (Народный комиссариат Земледелия) имел такую повадку — всюду водил с собой собаку. Собака его Бобик по гостям и питалась: что плохо лежит, все сожрет этот вонючий Бобик.

«Вавилонская собака Бобик? Выдачу чью-нибудь сожрала? Повидло? И почему на моей именно, на моей площадке, на самой высокой? Почему не ниже? У уполномоченного? Или у того же Вавилонова? У Сметовой, Гребневой, Алимова, Терехина? Вот бы у Терехина!»

Впрочем, все равно: лестницу-то чистить Скворцову все равно сверху и донизу, и на какой площадке накладена куча, безразлично.

Да, Скворцов прилип и нес это не в глазах уж, а где-то в самом мозгу.

* * *

Под вечер в очереди за хлебом в продовольственной лавке № 34 — очень долго пришлось ждать, все не везли

хлеба, так до вечера и дотянули! — на одном из поворотов изождавшегося притесняемого ворчливого хвоста уж совсем близко к Наталье Ивановне (Наталья Ивановна за прилавком хлеб режет) столкнулся Скворцов с уполномоченным Назаровым.

— А ничего куча,— подмигнул уполномоченный,— вот так собачка! — и добавил совсем неподходящее, но созвучное: — копровуч!

Конечно, нижние жильцы — ни Сметова, ни Гребнева, ни Алимов, ни Вавилонов, ни Терехин — не заметили б: кого на 6-й этаж потянет! А вот уполномоченный дознался. Но Назаров, хотя бы и о куче — другой, может, и позлорадствовал бы, что — «не все ж нам подчищать, а и вашей милости не угодно ль!» — нет, Назаров правильно! как и всякий на его месте, только изумился перед величием: «копровуч!»

> «Копровуч» — кооператив высших учебных заведений — никакого отношения к занимаемому предмету, но по наглядности — метко.

Наталья Ивановна желанная, ну хоть бы раз рассердилась! А ведь есть на что — у всякого нынче подозрение, а тут хлеб ведь! — так под руку и смотрят, не обделила б! А она, если попросишь, и горбушку отрежет — а ведь горбушка против мякиша куда сытнее и не так спора — только неловко просить-то, всякому хочется. Наталья Ивановна Скворцову прибавочек дала — или смотрел он очень жалостно! Или уж очень задумался? Или за шляпу, за всю его рвань и тряпье — — ? Впрочем, нет, этим никого не удивишь: все тут одинаковые — голь.

И с прибавочком у всех на виду — хлеб, как и всякая выдача, не заворачивался — счастливый! —

> у входа в лавку, чуть поодаль хвоста, стояла изнищалая больная женщина и еще какой-то старик, тихонько просили —

конечно, счастливый, а невесело в сгущающихся сумерках пробирался Скворцов к себе на 6-й этаж — мимо кучи.

И чернота сумерок была грозна, как куча.

— — —

«Откупиться?» — как электричество, которое давали на два часа, такое всегда желанное, блеснуло: «Откупиться».

«Можно хлебом откупиться: за хлеб все можно!»

Скворцов, как советский служащий, был во 2-й категории и получал четверку хлеба на день. Но хлеб выдавали не всякий день, а назад — за несколько дней по двум и даже по трем купонам — и, конечно, отдать свою долю он никак не мог. Можно по знакомству купить у красноармейцев или у матросов — им перепадало больше! — или у уполномоченных — такие были, у которых имелись «свободные» карточки! — и опять беда: купить — надо деньги, а денег-то — только жалованье, а вся половина скворцовского жалованья не покроет и фунта хлеба. Продавать же — нет ничего. А если б и было что — теперь всякая рухлядь в счет! — надо сноровку, да и неровен час облава и угодишь в Комендатуру. Можно еще — и это самое верное: на обмен. Например, зеркало или занавеску! Из деревень приезжают с хлебом — — или у такого, который в деревню ездит за хлебом, у мешочника. Да мешочного добра-то — давно все сбыто.

«Нет, откупиться нечем».

— — —

Электричество еще не зажигали. Скворцов зажег лампадку — в лампадке горело не масло, а керосин.

(За год Скворцов наловчился с керосином и глаз наметал, сколько нужно его в лампадку, а то вспыхнет!)

Карточки на керосин и мыло выдавали всякий раз, но ни мыла, ни керосина по карточкам никто не получал: не было. И это счастье Скворцова, что ему выдают — «для вечерних работ».

«А ведь керосином тоже можно откупиться!»

Но такое и в голову не приходило: лишиться света и даже такого — меньше не бывает! — нет, лучше уж как-нибудь...

* * *

Да я понимаю:

«Лучше уж как-нибудь!..»

Я тоже из «счастливых» — за все эти годы я поддерживал огонек в лампадке: чуть-чуть керосину — а перельешь, вспыхнет! И до глубокой ночи, когда во всем доме сон и холодная темь, только у меня да у Скворцова

огонек — холодный (керосин горит холодно!) и чистый (чище масла!) —

Скворцов зоолог — над «жизнью насекомых», я — мне еще снились сны! — я над моей абракадаброй.

* * *

С начала революции у Скворцова как-то само собой ясно выговаривалось:

что бы то ни было, а никогда не покинуть Петербурга!

И в этом он был не одинок — и еще кое-кто из знакомых громко заявляли о таком же своем решении, и всякий сообразуясь со своим:

у одних было много вещей — надо было все распродать; у других твердая уверенность, что все скоро кончится: кто-то придет — англичане, французы, немцы или свои — Колчак, Деникин, Юденич — свергнут большевиков, и все пойдет по-старому или во всяком случае по-другому; а у третьих — да просто деваться некуда.

А никто не приходил, а всякие «самосильные» попытки оканчивались провалом и разгромом, «опытные» же декреты забирались все глубже в самую будничную жизнь: уж продавать и покупать становилось одинаково опасным, магазинов не было, а рынки, еще не закрытые, доживали свои последние дни, а на то, что выдавалось по карточкам — на даровых-то хлебах! — и это всякий дурак понимал, просуществовать невозможно было, даже проходя чин строжайшего монастырского жития, долго не протянешь. И вот как вскрутнуло да в плюх, ногой на шею, вздыбило и носом — «домолили свободных денечков!» «добились до райской жизни!» — ну, и стали помалкивать. А потом потихоньку да полегоньку кто куда — «и пропадай добро и всякая обстановка: и с обстановкой, и с добром пропадешь!» — кто в провинцию — «там сытнее!», кто улепетнул за границу — «а там золотые горы!».

Беглая мысль — «убежать!» — это то же, что ежедневное: «добыть!».

«добыча» и «наутек» — первые и самые главные мысли, из-под всех воль и стремлений.

А Скворцов как уперся лбом — и никаких.

И, думаю я, все это по решению его, с которым мало кто соглашался:

> правильно было или неправильно, но он ни от каких «трудовых повинностей» и «общественных работ» не отказывался.

«Справедливо это или несправедливо,— так, должно быть, рассуждал он,— хорошо это или дурно, но зачем-то все это происходит и отходить, уклоняться не следует: надо все принять, все положенное судьбой, и нести, и все вынести!»

Или:

«Зря ничего не бывает. И дело вовсе не в большевиках, а гораздо глубже. И отходить, увертываться — все равно, этим ничего не поправишь, и судьба настигнет тебя и скрючит, если так надо. И надо покорно нести и все вынести!»

И когда заставляли скалывать лед и сгребать снег, он скалывал и сгребал; и когда введено было дежурство за воротами — кто-то грозил наступлением на Петербург, обещая освободить Петербург! — это в те месяцы, когда с восьми часов вечера (а часы были переведены на три часа вперед) запирались ворота и без особого пропуска нельзя было ходить по улицам, он дежурил и за воротами, и во дворе, где только указывал уполномоченный, и в любой час ночи; и когда стали назначать в порядке трудовой повинности на Неву выгружать барки, он таскал по мокроте бревна; а придет зима, дадут деревянные дома и заборы на топливо, он пойдет с ломом и потом будет возить на санках доски и терпеливо распиливать и раскалывать.

— — —

Когда то же самое делает Вавилонов или Назаров или еще кто — это большинство! — и они, живя, как в плену, как в осаде, никогда не отказываются, но совсем по-другому: большинство, к которому они принадлежат, всегда покорно всякой власти, безразлично какой, и из-под палки все исполнит, что ни велят. Алимов (это у нас анархист!) как-то смеялся: «Если бы,— говорил он,— издали такой декрет: обязательно явиться для порки в Совдеп,— и пошли бы, и стали в очередь!». Но Вавилонов и Назаров — это большинство,— не смея отказаться и все исполняя, всегда, как только можно и где возможно, старались перехитрить и уклониться.

Когда это делает товарищ Котов, что ж, и это понятно: ему надо пример показать, на то он и коммунист! Между прочим, Котов хвастал и в большую себе заслугу ставил, что он собственноручно чистил в своем учреждении фанновы трубы! Но надо принять во внимание, что для этого грязного дела он приезжал на автомобиле, как и вообще он всегда на автомобиле. И не знаю, если бы пришлось ему пешком переть с другого конца — так изо дня в день! — да еще и голодом, кто знает, не записался бы он в число «осадных» и «плененных», как Вавилонов, Назаров и прочие, покорные всякой власти безразлично?

И когда в сохранивших еще благоустройство гостиницах для привилегированных советских сановников, сами сановники, единственно сохранившие человеческий облик, самолично с настоящими лопатами вышли во двор снег сгребать, и это понятно: для прочих — сугубый пример, а для них самих просто спорт — развлечение.

И когда это делают молодые — «красная молодежь» или «буржуазная молодежь», все равно — а на Неве, когда разгружали барки, очень было весело! — и это понятно: тут и ухарство, и соревнование, и просто работа на людях.

Но скворцовское — и не «из-под палки» и не «для примера!» и не «как спорт!» и не «по возрасту!» — нет, чего-то тут мудреное.

— — —

«Трудовая повинность!» — Алимов никогда не выходил на работу: раз это обязательно и заставляют — «повинность»! — ему хоть что ни говори, нипочем. «Рабоче-крестьянская власть или буржуазная, все равно: где власть, там насилие, и нет власти, которая была бы чем-то совершенным и непогрешимым!» — и во имя своей свободы он готов был принять какие угодно названия: и «контрреволюционера» и «социал-предателя» и «оппортунистического коммуниста»,— и не боялся никаких гроз: от комендатуры до Гороховой, куда впоследствии и угодил. Не выходила на работы и учительница Гребнева: она смотрела на эти трудовые повинности просто как на издевательства. Всего раз не вышел Пузырев, вообще-то смирный человек и совсем не наскокистый, но тут, как нашло, и он заявил, что не пойдет — «во имя духа борь-

бы!» Я только одно скажу, непривычному-то, знаете, и на пустяковой работе — обожжешься! —

Когда служащих ПТО по весне выгнали в Народный Дом сортиры чистить, конечно, специалист по этой части, отходник, все это справил бы мастерски чисто, а эти — лопатками ковыряют и поддеть-то путно не могут, только размазывают, смехота! То же и с топливной повинностью — — «на заседании Комтруда был возбужден вопрос об освобождении от топливной повинности писателей, объединенных в союзе писателей, заменив им работы по лесозаготовкам повинностью по ведению культурной работы; комтруд отклонил это предложение и предложил привлекать писателей к топливной повинности на общих основаниях» — — воображаете?

А вот Скворцов из последних, а тянет —

все принять и не отвиливать, так?

Да, это у него твердо и вот —

куча — величайшая куча на площадке!

«Если бы можно было не трогать, а? И за что это ему? Какая его такая вина? Или это не по вине, а испытание? А испытать и укрепить одно и то же? Для укрепления его воли и терпения? А может, все это показалось в таком величии: может, это на камушке собака сделала и потому кажется великим? — — А уполномоченный-то? Ему-то чего? Это уполномоченный припечатал: копровуч!»

* * *

О куче знал весь дом.

Охотники залезли на самый верх — на 6-й этаж посмотреть.

И не для того, чтобы позлорадствовать, нет, это было самое обыкновенное любопытство! Признаюсь, и я не утерпел и под каким-то предлогом — да, вспомнил, надо было к уполномоченному «ведомость» на получение карточек снести! — я от уполномоченного поднялся этажом выше —

Да, знаете, по размерам трудно даже представить: подлинно — копровуч!

Кончалась неделя, а хоть бы чуточку подсохла! И если произошло что за эту неделю, так разве чуть легкая пенка.

И скажу за всех: все с нетерпением ждали субботы —

как это Скворцов изловчится и подымет такое — копровуч!

— Не отложить ли уборку лестницы на неделю? — попробовал на общем собрании домкомбеда предложить Вавилонов, хозяин Бобика, питавшегося по гостям: ясное дело, Вавилонов представлял себе всю трудность дела и сочувствовал Скворцову.

— Может, подсохло б! — вставил кто-то из соседей.

— Невозможно, товарищи, никак невозможно! — вздыбился Терехин,— ведь этак весь дом провалится от грязи.

Терехин всегда дыбился: он, по собственному признанию, как перекочевавший на этот берег с октября, стоял на страже революции и считал своей обязанностью «подтягивать»; его все побаивались, разве что Алимов да Гребнева, да матросы, впрочем все наши балтморы стояли в стороне от домовых дел и были, как «краса и гордость», уж очень неприкосновенны.

И не случись Терехина, я уверен, уполномоченный, пожалуй, и согласился бы, и уборку лестницы отложили бы на неделю.

Наш уполномоченный Назаров ладный и рассудительный и надо только, чтобы все было, как бы это сказать, не то чтобы по декрету, а чтобы оправдательный документ на все и, стало быть, в ответе не быть. Это соседний — товарищ Плевков, тот — — с тем не очень поговоришь. Товарищ Плевков самого Терехина за пояс заткнет, «мудрец»: уж примется мудровать, не отпустит, пока не изведет. В продаже, например, домашних вещей: продавать из обстановки ничего нельзя без разрешения Домкомбеда, тут все от уполномоченного! — и у нас продает всякий, кто может. А вот с Плевковым не так-то это просто: бывшего сенатора Хохлова знаете? — так вот закрутил-закрутил старика, хоть из дому выбирайся; ничего не разрешает и на всякие пустяки запрет — понесла Хохлова, дочь его, учительница, лампу

продавать, так подкараулил: она уж в ворота,— «Стой, нельзя!» — «Да, и лампу нельзя!» — «А что же можно-то? Ведь надо же как-нибудь, ведь этак просто пропадешь!» — «И пропадай — нельзя!» — Тоже и с вселением. У нас Назаров сообразоваться может, кому и что следует. А с Плевковым и тут беда: у Простякова есть и «охранная грамота» на библиотеку — библиотека знаменитая! — а Плевков говорит: «Можете и в спальне книги держать, чего там!» — и отнял комнату. И на слова у нас Назаров сдержан, ну, покричит, когда уж нужно бывает,— ведь тоже народ, сами понимаете, и хоть винить никого невозможно в таком положении, «честным» путем не проживешь, да все-таки надо поаккуратней, да и дураков учить надо! — и, конечно, прикрикнет, и даже крепко. Ну, а этот Плевков такое ляпнет — ответить ничего не найдешься: тому же Хохлову — Хохлов говорит как-то на собрании, очень уж его Плевков донял: «Помилуйте,— говорит,— ведь я же старик!». И Плевков ему: «Старик! Да, может, вы от разврата постарели!». Ну, что ты тут ответишь?

Нет, Назаров хороший человек — справедливый человек и с кучей подождал бы: ну, что в самом деле стоит неделю какую обождать, неужто дом так-таки и провалится?

Но раз Терехин вмешался — крышка.

* * *

В пятницу в сумерки — завтра суббота, завтра уборка! — Скворцов заклеивал окно на своей площадке:

высадили еще весною, но до холодов пробоина не мешала, даже лучше — вроде вентилятора, по крайней мере, проветривало, а теперь дуло немилосердно, а зимой совсем будет плохо.

Стекольщиков не было, да и стекла достать негде. Можно, конечно, по ордеру, да канитель с этими ордерами: и находишься по всяким учреждениям и контролям, и настоишься в очередях — везде хвосты — да еще и откажут. Скворцов однажды ходил по ордеру, хотел ба-

ночку чернил получить и перьев, и едва добился — а целый день ухлопал, чернил не получил, а перьев — три перышка! А ведь перо не стекло! И вот приходилось на свой страх — «самосильно» заделывать пробоину бумагой.

И тут-то вот и произошло нечто невероятное —

надо сказать, что Скворцов за неделю-то понемножку покорился — принял и эту несметную кучу! — и уж не думал о ней: завтра он все подберет, как-нибудь да устроится! И теперь, оклеивая бумагой окно, он думал не о этой куче, а как бы похитрее сделать с оклейкой, чтобы и холод не шел, и узор вышел бы, и было светло,— задача нелегкая!

И вдруг слышит —

бежит по лестнице — —

Бросил он клеить — да так и застыл на месте:

«Собака!».

— — — по лестнице вверх, нюхая след, бежала собака: в чем только душа шелудивая, замухрованная, с гноящимися глазами — — —

Скворцов подобрался весь.

— — — собака, как слепая, ничего не видя, как завороженная, бежала собака носом в пол — по следу — — —

и мимо Скворцова прямо на кучу.

Скворцов, не отрываясь, глядел — весь, как один огромный глаз:

«Опять?».

Нет, совсем не за этим—

с жадностью изголодавшейся последним голодом собака набросилась на кучу и принялась уписывать.

Не дыша, не шевелясь, следил Скворцов—

а собака, все сожрав, подлизала пол и слепо, как вбежала, теперь повернула —

— — — и по своему уж свежему следу побежала с лестницы вниз — — —

— — — —

И только когда шаги затихли, Скворцов как очнулся и прямо к куче:

а кучи, как не бывало!

бес-следно!

Подлинно, чудесный случай!

И когда на другой день после уборки Скворцов рассказал уполномоченному — Назаров не хотел верить. Да и все мы, кому только ни приходилось слышать — Скворцов охотно рассказывал этот случай! — не очень-то верили.

— Неизвестная собака по следу той неизвестной (с двумя неизвестными!) и сожрала всю кучу!

— А вы не думаете, что это та же самая собака?

— Не знаю, не знаю.

* * *

Да, подлинно чудесный случай! — «чудесное избавление!»

Но разве от этого можно избавиться? Ведь это ж вещь такая, не спрячешь! — и пусть неизвестная собака съела, но она же в свой черед — — но оно же опять обнаружится!

Когда наступила зима — моленые морозы ударили — и в уборных замерзли трубы, нижние этажи стало заливать.

И вышло постановление Домкомбеда:

«Впредь не пользоваться уборными!»

Скворцов подчинился —
«пока не оттаят трубы, нельзя!»

Да и всякий так понял. Но, конечно, при нужде соблазн великий — кое-кто, должно быть, грешил: утешал себя, авось, не заметят! А как не заметить — в нижние-то этажи протекало.

А это такая мука, я вам скажу: не углядишь вовремя — в комнату и польется. Только и знай, ходишь с тряпкой и подтираешь.

А в комнатах холодина: в ванной лед — коли, как на речке! (В ванне на верхних этажах держали воду: вода ведь подымалась только-только до 3-го этажа!)

Товарищ Плевков в соседнем доме поступил решительнее: Плевков просто велел заколотить двери в уборную — «располагайся, где хочешь!». А у нас — у нас деликатно: постановление.

На общем собрании Домкомбеда Назаров, потеряв

всякое терпение, грозил представить в комендатуру о тех жильцах, кто будет замечен. Но все мы, кто только был на собрании, все мы согласно подтвердили, что, исполняя постановление, уборными не пользуемся и что это, должно быть,—

«старые накопления, застрявшие еще с осени!»

На этом как будто и успокоилось —

угроза ли комендатурой?

(а из комендатуры прямой ход на Гороховую!)

или накопления иссякли?

(осень-то была — не разъешься!)

или морозы действовали?

(и не холодна зима, да голодному все холодно!).

Ко мне — в самый нижний этаж — прекратилось. А вот к Сметовой, она надо мной, вскоре опять потекло.

И почему-то вообрази эта Сметова, что течь — от Скворцова!

Потому ли, что Скворцов на самом на верху: изволь сверху всякий день ведро выносить,— кому хочешь опостылит! Или уж очень измучилась она и надо же на кого-нибудь — ведь подтирать-то пол, повторяю, это такая мука, и не знаю я, что еще бывает хуже: в холод с треснутыми руками —

Редкий вечер Сметова не стучала к Скворцову (электрические звонки давно не действовали!) — по стуку узнавал Скворцов, кто. И всякий раз подолгу держала она Скворцова на холоде.

Она доказывала ему:

«что уборной нельзя пользоваться!»

«что это — преступление: ее заливает!»

«и руки у нее все потрескались!».

И, доказывая, умоляла—

— — прекратить!

И слезы стояли у нее в глазах.

Скворцов, покорный по-своему, покорно принимавший все, вдруг остервенел:

— И почему вы уверены,— кричал он,— что это от меня? Почему? Почему не от уполномоченного? Или от Вавилонова? Терехина? Пузырева? Алимова?

А в ответ были одни слезы —

они говорили яснее всяких слов, почему.

Я как-то встретил Сметову на улице: она уж как остеклела — лицо вздрагивает, глаза косят. Ну, разговорились: все про это, про что же еще!

— Знаете, это-то еще ничего, а настанет весна и все ж зальет! — сказала она,— у меня одно желание: помереть бы!

— — —

Я рассказал Скворцову.

Но чем же он может помочь?

— Ей-Богу ж, я тут совсем не виноват: это — не я!

Я понимаю, и я не к тому, чтобы кого-нибудь винить, я просто — жалко!

Сметова жаловалась уполномоченному, но Назаров, по привычке, требовал оправдательный документ (он на все требовал оправдательный документ!), а на такое — где ж его возьмешь?

* * *

Еще выше 6-го этажа по черной лестнице чердак и там тоже площадка.

> В прачечной не стирали — из прачечной пользовались водой: вода в доме совсем прекратилась, и не только до 3-го этажа, а и у нас — в первом чуть только просачивалась. Чердак стоял пустой — белье не вешали. А если бы кто и повесил, и французским ключом запер, все равно стянули бы. Стирали в комнатах — в комнатах и развешивали.

И вот когда вышло постановление Домкомбеда не пользоваться уборными, охотники — ведь не всякому охота на людях в орла играть! — на чердачную площадку и стали похаживать.

И ничего — мороз! — мороз все заколит, ровно и нет ничего.

Скворцов как-то встретил: одного нисходящего, другого восходящего — это Мешков и Суров, соседи. И понял: ведь, когда придет весна, за чердачную площадку он отвечать будет —

> и уж никакой чудесный случай не спасет: ведь столько надо голодных собак! — да столько не найдется собак во всем Петербурге.

— — —

Последние дни мороза ознаменовались величайшим событием в нашем районе, об этом только и разговору.

Ни повальные обыски — это такая ерунда, о которой и говорить не стоит: оружия ни у кого нет и не было, а продовольствие, хоть и маленький запас — фунтовой, а всякий с течением времени так исхитрился прятать, половицы подымай, ничего не найдешь! Нет! Дело сурьезнее и отчаяннее:

закрыли наш единственный рынок!

И теперь, если что надобно (а как не надобно!), или тащись к Покрову (Покровский рынок еще не закрыт!), или плати мешочнику втридорога! А уж насчет продажи домашних вещей, просто и не знаю.

Ко мне зашел товарищ Черкасский.

Черкасский занимает очень большое место: «ответственный работник!»

Я рассказал ему нашу домашнюю историю: скворцовский чудесный случай и о Сметовой — «заливает!».

Но он плохо меня слушал, я это заметил: у него засело свое — не менее чудесное.—

Черкасский не похож ни на кого: ни на Терехина, перешедшего с октября на этот берег и стоящего на страже революции, ни на Плевкова, истребляющего «головку» контрреволюции и «корешки» буржуазии, ни на наших балтморов, которым до наших домовых дел мало дела, он никого не подтягивает и ни на кого не опирается, льстя «красою и гордостью», он делает только дело — осуществляет «опытные» декреты.

Вот он только что закрыл наш Андреевский рынок: «чтобы не давать волю мародерам и в корне уничтожить эксплуатацию мешочников —»

— А когда придет весна, мы снесем весь рынок и разобьем детские площадки.

И он принялся с увлечением рассказывать, как будет все хорошо — всем хорошо:

«на месте толкуна — резвятся дети!»

«а все, что нам понадобится — керосин, мыло, одежду — мы найдем в продовольственных лавках и коммунальных магазинах —»

— Когда придет весна, увидите!

А мне вспомнилось:

«Когда придет весна, зальет нас всех!».

Я верил Черкасскому — ведь, действительно, по его вере и все это прекрасно! — и веруя, я слышал остекленелое и перекошенное сметовское: «Помереть бы!».

* * *

И наступила весна.

А какая это была весна! Нигде — ни после, ни раньше, ни в тюрьме, ни после болезни, — я не запомню такого. И это не только мое, а и всех — я чувствую — всех, проживших, как и я, жесточайшую зиму.

И пусть к удовольствию мародеров и спекулянтов-мешочников закрыли наш единственный рынок (воображаю, как они хохотали над «глупостями» Черкасского!), а в продовольственных лавках пусто (да и откуда взять-то!) и никаких коммунальных магазинов, а про детские площадки, верно, забыли, все равно, весна! — а весна, что беда, и человек к человеку жмется! — барышни из Совдепа, Копровуча и других страшных названий совсем нестрашных учреждений, не дождавшись Пасхи, зарегистрировались в брачном отделе, товарищ Плевков переменил фамилию на товарища Румянцева, а Сметова вдруг посмотрела прямо.

С первыми теплыми днями закипела по дворам работа.

Да, Сметова была права: и вправду, какое-то всеобщее потечение — потоп нечистот! — из оттаявших труб, с загаженных площадок, из углов, из щелей, из пробоин — текло.

В воскресенье по постановлению Домкомбеда назначена была всеобщая чистка:

«— — — к 10-ти часам утра все взрослое население дома обязано было явиться на работу: неявившихся в — комендатуру; докторские свидетельства недействительны».

Такая крутая мера до аннулирования докторских свидетельств у нас совсем необычна, но, что поделать, иначе невозможно:

> ведь дом зальет и хуже будет — изволь выселяться! — а куда? — везде то же — во всех домах.

* * *

Скворцов вышел спозаранку.

Он пробовал заглянуть на площадку к чердаку, но подступиться нечего было и думать —

это как на пожаре: в дым и пламя!

А по лестнице стекало густыми ручейками, срываясь тяжелыми каплями в пролетах — тому, кто вздумал бы подняться наверх, непременно угодить в физиономию!

храк и плев — —

На дворе уполномоченный и с ним матросы, вышедшие нарядно щеголями, подлинно «краса» среди всеобщей голи.

Скворцова встретили весело: его чудесный случай у всех в памяти!

Но сам-то он смотрел — в чем душа! — или его и солнцем не проймет? Весь закутанный в какие-то шкурки, а поверх вязаная женская кофта и шляпа — такую шляпу в былые годы если на огород чучелой, не только воробьи, ни одна ворона не полетит.

— Товарищ Назаров,— сказал какой-то из матросов,— товарища Скворцова надо освободить.

И другие поддержали.

— Что ж, Макар Иванович,— согласился уполномоченный,— работа с таким не помощь. Только вот товарищ Терехин проверять будет.

— Чего проверять? Раз освобождаем — наше решение безапелляционно!

Но Скворцов не хотел уходить: —

он где-нибудь в кончике постоит с лопаткой —
он хочет со всеми —
он пойдет и площадку чистить недоступную —
со всеми.

— — —

Народ подходил, ежась и робко — из всех заледенелых и теперь оттаявших квартир, из уплотненных комнат, заваленных и набитых дрянью:

предстояло совершить невероятное — подлинно чудесный случай, но без всяких голодных неизвестных собак! — самим, непривычными к такой работе руками: большинство у нас «бывшие буржуи», то есть бывшие служащие в конторах, а также — свободных профессий.

Вышла и Сметова.

— Мерзавцы! — всю ее дергало и перекашивало.— Все разбежались! а нас заставили сортиры чистить!

— — —

С 6-го этажа если заглянуть во двор, ничего не увидишь, только самую верхушку арки к воротам.

Скворцов сел у окна — и любопытно! — и, хоть ничего не видать, зато все ему слышно.

На дворе кипела работа — много было и смеха, и крика.

Кричал уполномоченный («дураков тоже учить надо!»), чего-то кричал Терехин: или, проверяя, не досчитался? (ни Алимов, ни Гребнева, конечно, не вышли!) или подтягивал? («нешто это работа, и лопаты в руке держать не умеют!»).

Потом топали по лестнице — через храк и плев — неподступную брали площадку у чердака. Потом опять кричали, опять смех.

И затихло.

Чистку кончили и мусор повезли на себе к остановке трамвая, чтобы сложить все в общую кучу: завтра на площадках развезут трамваи это добро за город на свалку.

Под вечер Скворцова потянуло на волю:

он пойдет недалеко — к этой остановке трамвая, где с прошлого года висит полинялый плакат: «Царству рабочих и крестьян не будет конца!». По воскресеньям трамваи не ходят, он пойдет посередке улицы —

Скворцов надел на себя все свои шкурки и тихонечко приоткрыл дверь на волю.

А на его двери — это ему сразу бросилось! — мелом размашисто по-терехински:

Гражданин Скворцов
позор труддезертиру!

IV

ПО «БЕДОВОМУ» ДЕКРЕТУ

С революцией вся жизнь перевернулась и с каждым днем вывертывалась. Нужда вылезла из всех щелей и пошла —

нужда издавала свои особые «бедовые» декреты, перед которыми «советские» шли насмарку; нужда повелевала под страхом смерти — воровать, лгать, изворачиваться — но это еще ерунда, хуже! — доносить и предавать, или такое: загонит тебя в угол и там бросит — «все только себе и только для себя или пропадешь!» —

Советские декреты делили людей на «категории», нужда же, как назло, мешала категории, собирая людей «по беде».

Богатым, то есть бывшим богатым, жилось пока что еще ничего — как ни «отбирали», как ни «реквизировали», а все-таки кое-что у всякого оставалось, хотя бы из вещей, которых сразу-то не «унесешь», и вот те, кто не убежал или не попал в тюрьму в заложники, жили сносно, по крайней мере всегда были сыты без особого над собой выверта, сохраняя «честь».

О ту пору открывались временно, конечно, или, неисповедимым образом — частная торговля по декрету истреблялась! — всякие «Кулинары», «Лактобацилины» и в этих «кулинарах» шла съестная торговля, этой торговлей и кормились, и кормили главным образом тех, кто попал в категорию истребляемых, то есть бывших богатых. Это было и модно, и прибыльно. Но обыкновенные-то люди — не бедные и не богатые — без всяких «сейфов», а по декретным категориям, как элемент не трудящийся, то есть не рабочие, приравниваемые к тем богатым с сейфами, попали в тягчайшее положение и дни свои доживали головокружительно.

Такая становилась головокружительная жизнь у Шевяковых — дяди и тетки Софьи Петровны, «невесты Воробьева».

* * *

Софья Петровна ничего барышня, нос у нее на кончике раздвоенный. И у всех он раздвоенный в хрящике — так уж природой устроено! — только совсем незаметно, разве пальцами если тронуть. А у нее это явственно выпирает — уж как заметишь, никогда не забудешь.

А глаза у Софьи Петровны чудесные — видел я та-

кую картинку: Мария Египетская перед крестом в пустыне,— вот они откуда у нее поднебесные «египетские», и тоже, уж как заметишь, не позабудешь.

Но почему-то нос памятливее!

Софья Петровна говорит всегда очень много и необыкновенно подробно, чересчур даже, и при этом всегда с каким-нибудь «как говорится» —

«как говорится, за что купила, за то и продала!» ну, что-нибудь в таком роде ходячей поговоркой.

А вся ее речь — игра «интеллигентной актрисы», ну, какая-нибудь «барышня» из «Гибели надежды», как эту «барышню» актриса играет. И такая актриса — идеал Софьи Петровны и мечта ее жизни.

И почему-то Софья Петровна никому не нравилась. И не то, что не нравилась — никакого отвращения она не вызывала, но и не влекла — она как-то скользила мимо со своими чудесными глазами, раздвоенным носом и эмалированным белым кувшином, в котором суп носила из советской столовой.—

А известна она была как «невеста»—

«невеста Воробьева!».

Так и все ее звали, да и сама она себя так называла.

Воробьев — огромный, заросший черным волосом балтмор, один из самых молчаливейших людей, какие только появлялись когда на свет, а в такое революционное время, отнюдь не молчальное, просто нечто неподобное. Воробьев в том же самом доме, где и Шевяковы, сосед. А познакомилась с ним Софья Петровна на собрании Домкомбеда. Я присутствовал при этой памятной встрече: я тоже ждал уполномоченного, сидя в сторонке. Софья Петровна беспрерывно говорила — передать невозможно, о чем она говорила: слова и по преимуществу с «как говорится» и «настроение». Воробьев слушал молча. (И, думаю, с час так просидели: она — беспрерывно, он — воды в рот.) На лето Воробьев собрался в деревню к старикам. Еще можно было ездить без особого разрешения, и я за ним потащился: и «воздухом подышать», и «подкормиться». Воробьев пригласил и Софью Петровну: ей тоже не мешало хоть недели две пожить по-другому, не таская с со-

бой этот эмалированный кувшин с супом, но она так и не попала в деревню. Вернувшись от Воробьева, я рассказал ей, как ее там ждали — «ждали,— сказал я,— как невесту!». Она приняла мои слова восторженно. С этих пор и пошло: «невеста Воробьева». И хотя жениха больше не видели — из балтмора Воробьев превратился в черномора и уехал из Петербурга — «невестой Воробьева» Софья Петровна так и осталась, и сама она была искренне убеждена, что Воробьев — ее жених.

* * *

18-й год был убийственно голодным для бедноты, 19-й — холод и смерть.

Обыски и анкеты вымуштровали и самых расхлябанных простецов: всякий теперь исхитрялся, как бы провести или обойти предусмотрительно; а от постоянного голода окончательно обвыкли на воровстве.

Софья Петровна уж зимой начала потихоньку таскать у дяди и тетки съедобное: все-таки дядя и тетка не мать, получат по карточкам хлеб, разделят на три части и всегда себе побольше, в особенности дядя. Сначала таскала она робко и тяжело — приметно, но понемногу навострившись, стала смело и чисто. Если хватались, всю вину валили на прислугу Сашу — Саша не исключение, конечно, подворовывала, но сказать Саше боялись, а выговорить не смели — не прежнее время! Но когда пришел черед и Саша уехала в деревню, Софья Петровна при всякой хватке сочиняла разные небылицы.

И вот понемногу в доме установился какой-то воровской режим: дядя у тетки, тетка у дяди, а Софья Петровна — у дяди и тетки, каждый воровал и держался подозрительно к другому.

И не знаю, иногда мне казалось, что вся советская бумажная волокита — Совдеп с бесчисленными комнатами, Районная управа и всякие контроли, заваленные ордерами, удостоверениями, пропусками, все-таки какая-то «узда», «гарантия», и без этой загородительной бумаги, пожалуй, я уж и не знаю, все растащили б. Впрочем, это мало чему помогало,

ведь бумага! — можно при желании подделать и подписи, и печати — —

В один прекрасный день — а все ходили под таким днем — вы думаете, Шевяковых свезли на Гороховую? Нет, в больницу: тиф —

только ведь и было два пути неминуемых: на Гороховую или в больницу — арест или тиф.

В квартире осталась одна Софья Петровна.

Всякий день она ходила в больницу, навещала. А раз пропустила — в очереди долго держали: «прикреплялась» в продовольственной лавке. Приходит на следующий день в больницу — а тетки в палате нет, и сиделка другая, ничего не знает.

— Да, должно быть, померла! — говорит.

И повели ее в покойницкую — «опознать». А в покойницкой — и так лежат, и в гробах: один гроб откроют! другой — «не опознает ли?» Тетка горбатая, заметно. Нет, все непохожие.

Так тетка и пропала.

А на самом-то деле вовсе никуда и не пропадала, через несколько дней выяснилось — а за эти-то несколько дней Софья Петровна голову потеряла! — тетку перевели в другую палату «для выздоравливающих».

Много помирало тогда народу, только и слышишь, бывало: тот помер, другой захворал, третий при смерти.

А дядя и тетка выздоровели.

Дядя после болезни еще жаднее стал: после болезни по докторскому свидетельству ему, как «выздоравливающему», несколько раз выдавали шоколад, так он, бывало, получит и все сожрет на глазах.

А на тетку напал страх вошиный: ей все мерещилось — ползет! И без того аккуратная, она теперь целый день ползала по полу — мыла пол и все перетирала. И вот, ползая, должно быть, простудилась: возвратный тиф. И опять повезли в больницу. И уж не вынесла: померла.

А как тетка померла, дядя Софью Петровну прогнал.

У Ивана Васильевича давно был «грех», а тут как от тетки избавился, да весной шибануло — потекли ручейки в Петербурге, как где-нибудь в Вологде (не прежнее время, когда в Петербурге сугробов не знали, и снег лежал вот на столечко!) — он ту у себя и поселил, а Софью Петровну за дверь.

. . . .

Так и пропала с нашего двора «невеста Воробьева».

* * *

С матерью Софья Петровна никогда не жила: так уж с детства, сначала в Институте, потом у тетки.

Мать Софьи Петровны служила во временном «конфексионном» магазине кассиршей и служил там же — продавал чего-то — с необыкновенной фамилией, некто Бэзэ. И опять же эта весна — ручейки, как ручейки-то побежали по Невскому, она и зарегистрировалась с этим Бэзэ, и он к ней переселился.

Ну, и так тесно, а тут еще Софья Петровна.

Софья Петровна сразу же заметила и нисколько не удивилась, что и ее мать ворует — «с плиты»:

> кухня для всех жильцов общая, обед готовят на одной плите, ну, кто зазевается или выйдет из кухни, тут и готово: у кого супу сольет, у кого каши — это и называется «с плиты».

Софья Петровна редко бывала дома. Только ночью. Еще зимой поступила она в Театр, в контору, и в этом же Театре в театральной студии училась. И хотя после нескольких проб ей сказали, что дарования у нее нет и актрисы из нее не выйдет,— «если бы я была богатой, у меня нашли бы и дарование!» сказала она тогда, и продолжала учиться.

> А бедно очень жила Софья Петровна. Летом всегда без чулок, зимой в полотняных туфлях. И как это еще она ходила, особенно осенью в мокроту и слякоть: войдет в комнату, шлепает, все-то промочено. И этот эмалированный белый кувшин, с которым она не расстается — раньше-то служил для умыванья, а теперь для супу — этим ведь только она и питалась! Пробовала она брать на комиссию продавать на рынке — это очень рискованно, но и, может быть, очень прибыльно! — да ничего не вышло, и того, что просить надо было по расценке, и того не получила. Так и бросила. А так откуда же деньги достать, жалованье — — ?

С весной — с ручейками-то — и у Софьи Петровны поднялось что-то: вернется она домой и все е г о видит —

кто он? Воробьев? или еще кто? — видит неотступно, как покойница тетка вошь.

Мечта о любви поднялась в ней, как эти ручейки, и уж ей в самых безразличных словах слышались намеки, что кто-то, какой-то — он — Воробьев или еще кто? — ее любит.

В Студии был вечер. Играл на рояли актер Кобяков, а Софья Петровна переворачивала ему ноты. Девочка, прислуживающая в театре (парики убирала, мыла посуду в буфете), сидела во время игры в зале, и на другой день она рассказывала Софье Петровне, будто этот актер Кобяков («галчонок!») —

> «не сводил с нее глаз, когда она переворачивала ему ноты».

«Кобяков влюбился!» — заключила Софья Петровна.

А тут и другой «влюбился», тоже актер, Колпаков,— этот Колпаков очень понравился Софье Петровне! Выходили как-то из театра и, когда прощались, руки их скрестились. А товарищ Колпакова Лебедев и говорит: «Вот к свадьбе! Может, с Софьей Петровной!». А Колпаков ему: «Оставь!».

Это очень хорошо запомнила Софья Петровна и мечтала не только о Кобякове, «который с нее не сводил глаз», но и о Колпакове, с которым при прощанье руки скрестились — к «свадьбе».

Потом уж передавали Софье Петровне, что Колпаков кому-то признавался, что «он ценит любовь Софьи Петровны — хотя без взаимности».

Софья Петровна не поверила:

> когда она влюблялась, ей казалось, что и тот влюблен в нее.

Кроме Кобякова и Колпакова, Софья Петровна влюбилась в уполномоченного Максимова: она забегала к нему надо или не надо за всякими справками, и терпеливые ответы его принимала за особое внимание. И однажды, получив в театре жалованье за первую половину месяца, она на все купила розу и поднесла Максимову:

— — —

— Хорошо,— сказал он, принимая розу.

— Поцелуйте меня хоть раз! — едва слышно пролепетала Софья Петровна и смотрела своими чудесными глазами.

Но он только улыбнулся и положил розу на ордер.

«Он — женат, вот почему!» — объяснила себе Софья

Петровна, но не успокоилась и мечтала по-прежнему, уверенная, что Максимов в нее влюблен.

* * *

Хороши весенние петербургские звезды — в каждой-то блестинке по звездочке. А уж ветер, как подует над Петербургом, да как рванется в окно весенний, ничего не понимаешь. Или эти ручейки, когда тает снег —

А хороша и петербургская осень — осенние частые звезды: все налито — днем шел дождь (всякий день дождь!) — и мокрые камни блестят, как крупные звезды — свежо.

И не знаю, где этой звездности больше: в весеннем ли теплом мерцании или в сыром блеске? И знаю, мечта горит ярче весенней.

Надя и Софья Петровна мечтали о любви.

И какие это разные были мечты: в Надю влюблялись, а ведь, что говорить, Софья Петровна только сама влюблялась, а любила ее одна только ее бабушка, да и та померла.

Софья Петровна ходила по субботам ночевать к Наде: Надя единственная ее подруга,— Надя и называла ее, как когда-то бабушка, не Соня, а Сонюша,— Наде она поверяла все свои тайны:

и о Воробьеве, и о Кобякове, и о Колпакове,
и о розе Максимову.

— Тебе хорошо, Надя, в тебя влюблены были, а мне никогда никто не сказал!

* * *

Надя служила гувернанткой у Лопуховских. Когда Лопуховские «бежали» за границу, она осталась одна в их огромной богатой квартире. Почему-то никого не вселяли. Так она и жила одна. Зимой отапливала одну комнату: жгла мебель, столы, все, что только можно.

И вот однажды получилась большая посылка на Лопуховских.

А за посылкой письмо от Лопуховских, что она может этой посылкой пользоваться.

А в посылке чего-чего не было: и шоколад, и конфеты, и мыло, и печенье, и сахар.

Это было как раз в субботу, вечером пришла Софья Петровна.

И обе были счастливы: сколько всякой еды, и такой, о чем они и мечтать не могли! — ели и мечтали. И улеглись спать, а долго не могли заснуть, все разговаривали.

— — —

Софья Петровна проснулась рано.

На столе лежал сверток — это для нее приготовила Надя из посылки.

Софья Петровна сейчас же забрала сверток — и к себе в мешок. Прошла в кухню. А в кухне все остальное: Надина доля — Надя все разделила поровну — и шоколад, и конфеты, и печенье, и сахар.

Софья Петровна, как увидала — — да, что ни попало, горстями себе в мешок. Завязала мешок и хочет уходить —

Тут Надя и проснулась:

— Ты уже уходишь?

— Да, мне надо.

— Я забыла сказать: там в кухне два куска мыла, возьми один себе!

Но Софья Петровна ничего не ответила и не пошла в кухню, и тихонечко вышла.

И не домой, и не в театр пошла она, а прямо на Покровский рынок.

И сейчас же все продала — на такой сладкий нелегальный товар покупатель всегда найдется! А на выручку купила себе туфли — настоящие.

И как надела после своих холщевых-то шлепанцев, сразу поднялась и выпрямилась — и не узнать!

* * *

В субботу Софья Петровна, как всегда, пошла к Наде. Но Нади не оказалось дома. Софья Петровна оставила записку (так и раньше случалось!), что придет в следующую. Но и в следующую субботу то же.

И еще несколько раз Софья Петровна предупреждала Надю, что придет, являлась в условленный час и уходила домой — Надя ей не отворяла.

— — —

Софья Петровна шла по Таврической с своим неизменным эмалированным кувшином. И хотя на ней были настоящие туфли и она казалась и прямее, и выше, но

никогда она не была так расплющена — и мечты ее были жалобные.

Накануне вечером на именинах у Максимова — сестры Максимова пригласили Софью Петровну, Софья Петровна и пошла, и была необыкновенно оживлена и разговорчива, но тут случилось совсем для нее неожиданное: жена уполномоченного, должно быть, что-то заметила, вызвала его в другую комнату и потребовала — «или Софья Петровна, или она». И в самый разгар своего разговора Софья Петровна должна была уйти: встать из-за стола и без пирога, без чаю уйти.

Софье Петровне хотелось кому-нибудь об этом рассказать, о вчерашнем, и она пошла бы к Наде и Наде все бы рассказала —

И видит навстречу Надя.

Она к ней — —

И Надя поздоровалась, но как холодно!

И вдруг Софья Петровна поняла.

— Надя, ты меня когда-нибудь можешь простить?

— Не знаю! — и пошла.

— — —

ВИНЕГРЕТНАЯ ЕРУНДА

Письмами читателя — «откликами» я не избалован и никогда не страдал, как Леонид Андреев и Горький, «завалами», от которых можно освобождаться, лишь отвечая; не изводили меня и любовные послания, как Блока, Бердяева и Степуна; не очень-то кряхтел я от денежных, как Яша Шрейбер. Меня миновал этот славный придаток, без которого писатель не писатель и музыкант не музыкант: меня никто не спрашивал — «как жить?» — и никто не приглашал на свидание «под Эйфелеву башню» или там — на Аугсбургерштрассе «в кафе Менцеля» или там — «к Публичной библиотеке» или там — «под царь-колокол».

В допотопные времена я искал читателя Льву Шестову, Шестов — мне. И за год помню, нашел пятерых, а он

мне одного, но зато, по словам его, «самого настоящего», которого с толку не собьешь и не разуверишь.

Теперь, через столько лет, я понял, что ни Шестов, ни я, совсем мы не там искали — —Но это все не к тому, о чем речь. Скажу одно: из всех писем, полученных мною когда-либо, или в редакцию обо мне, приводимое ниже — единственное!

Подумать только: писала дама— член РКП, и притом народный судья и как раз в том самом участке, где мы жили. И попадись я в суд — все мы люди, все человеки — что бы она надо мной сделала! И думаю, не миновать мне общественных работ в «лагерях» бессрочно.

А написала эта дама — народный судья! — по прочтении моего рассказа «Рождество».

* * *

Товарищи!

Будучи случайной читательницей вашего журнала, я натолкнулась на статью «Рождество». Прочтя ее содержание, я пришла в ужас. Дело в том, что дом Комаровка, о котором шел рассказ, это дом *моего рождения,* в коем я жила 15 лет, и всех героев, указанных в рассказе, знаю, как себя самое. Но эпизодов, подобных описанию Р., я не знаю: там в рассказе от начала до конца *ложь.*

1) Герои, т. е.: как жена Макеева Тимофея Ивановича, прозванная Р. «Агафьей Петровной», в самом деле именуется Елизаветой Григорьевной.

2) Лиза, племянница швейцара, моя подруга детства, ныне известная партийная работница, член Тамбовского Губисполкома, завед. отд. социальн. обеспечивания и член Губкома р. к. партии. Там в рассказе указано, что «взмахнув белокурыми волосами — косой», но это опять голая *ложь:* у Лизы Кустковой никогда не было белых волос, а она обладала черными, как смоль, волосами.

Затем, там говорится, что дом выходит на Миргородскую улицу, это *ложь* опять же: дом этот стоит на Золотоношской улице, д. 30—4, угол Тележной улицы.

Затем портнихи Перловой, как пишет Р., в доме за все 15 лет не *проживало,* жила 12 лет, в 18-м номере портниха Ксения Степановна Степанова.

Затем, о подруге портнихи «Перловой», якобы «Наде», пишет несколько слов Р., это опять *ложь:* «Нади»

абсолютно никакой не было, а подруга — это была я маленькая, бывшая девочка, кого звали Настей.

Затем пишет Р., что «Агафья Петровна» — вернее Елизавета Григорьевна — была ионитка, это низкая *ложь:* она была просто полоумная женщина, но подобными зверями себя не выказывала.

Теперь — в конце столбца 13-й страницы говорится, «что на все расспросы Лиза начала плести такие небылицы о брюквенной каше и о советских супах, от которых будто бы полнеют». Как не стыдно вашему сочинителю — *лгуну-брехуну* врать так нахально! У Лизы родился мальчик, сын от мужа, в 1915 году около Троицына дня, т. к. я его *крестила.*

А главное, то обстоятельство, что откуда Р. мог знать, что гр. Макеев, швейцар, жил «с огородничихой Татьяной и у него был сын Колька?». Слушайте! спросите у этого идиота Р., где он выкопал такую чушь: огородов и близко тогда не было! Да и жил он не с «Татьяной», а с *верхней кухаркой Авдотьей,* без всякого сына.

Скажите, товарищи, неужели ваша редакция нуждается только заполнением страниц журнала такими халтурными *лживыми* бессодержательными статьями: написано — «Под Рождество», а одного слова нет про него! Стыдно таких писателей допускать со статьями в журнал! Неужели лучше нет. Злоба просто берет, когда прочитаешь такую статью.

Знайте! что с описанного дома Комаровки со мною вместе вышло много очень известных советских и партийных работников, коих увидя, дам им прочесть эту винегретную ерунду.

Подло такую *ложь* писать!

Член РКП, П., гор. б. № .... Народный судья 1-го отд. I город. района (Невский...).

ШУМЫ ГОРОДА

I

ЗВЕЗДЫ

Знаете, на Васильевском есть такой дом серый, тесный, изъеденный жильем, а во дворе направо и налево

хлопающие, визгливые двери и полутемные скользкие лестницы — идешь и прилипаешь.

И всякий день по такой лестнице Вера в училище ходит, разнося на ногах лестничную склизь и погань.

> И не знаю, зачем эта липкая погань, спертое тесное жилье, когда так широко ходят по чистому небу чистые звезды, и по нашей же суровой земле прозрачные текут ручьи —
> зачем эти нечистые, серые от паутины редкие лестничные окна, просаленные железные перила — —
> знаю, и золоченые перила, и мраморные ступени не отведут от обреченной души тернистого ее пути: вся изобьется, изноет и у самых прозрачных источников и даже там на звездном чистейшем просторе —
> но я никогда не мог примириться и с этой нашей гложущей болью липких лестниц и железных перил, за которые хватается рука, когда от отчаяния подкашиваются ноги — и также знаю, будь мои слова огнем — огнее огня, мои слова не прожгут сурового человеческого сердца — но я ничего не могу поделать с моим сердцем, которое захлебывается от этой гложущей боли.

Мы по той же лестнице жили, где Вера и ее мать Ольга Ивановна.

И как, бывало, встречу, просто пропал бы куда, просто сквозь землю провалился бы — помочь-то, ведь, я ничем не мог!

И там, на верхотуре нашей, куда и вода не подымалась, и только ветер ходит, суровою ночью, когда выйдут звёзды, звездам шепчу под проволочный гуд через рамы —

— звезды, прекрасные мои звезды! —

А, должно быть, и там, под нами, в такой же холодной тесноте, уложив Веру, Ольга Ивановна, изверившаяся во всякие обещания, и в ужасе, что за ночью наступит опять утро — новый день, требовательный и неумолимый, поправляя занавеску у окна, от которого несет такой холод, то же самое шепчет под проволочный гуд к звездам —

Но ей еще нестерпимей.

Отойдет, присядет к столику, а похолодевшая рука ее тянется: там, в самом углу, к стене, за коробочками есть пузырек точно с кофеем, нет, это не кофий, это такое лекарство, такое черное, как кофий, от которого навек заснешь.

Ольга Ивановна не одна, с ней Вера. Если бы была она одна, ну как-нибудь и из последних до последнего потерпела бы и потом вот как лошади падают—

ей и сена тычут, да что уж сено — «Благодарю тебя, Господи, наконец-то!» — трамвай идет, а она мордой как раз на рельсы,— галдят, понукают, оттаскивают,— как дохлая, только вздрагивает,— кто-то сапогом в живот ткнул, а уж ей все равно: сейчас — конец!

Да, если бы Ольга Ивановна одна была!

И Вере лучше будет —

А то нет никому до нее дела: говорят «не сирота, не беспризорная, мать у нее есть». А что мать, если совсем из сил выбилась!

Да, Вере лучше будет. А так и себя, и ее измучает. А без матери не оставят.

Или так надо, и иначе нельзя на белом свете? У всякого свое — свои заботы. И надо так, чтобы очень уж в глаза бросилось и только тогда — и разве Вере теперь хорошо? А когда матери не будет? Хуже не будет, лучше будет: без матери ведь!

Срок небольшой — Вере тринадцать — а кажется, всю-то жизнь прожили вместе, и вдруг: она — там, а Вера — тут, и никогда не подойдет, и никогд уж, никогда не позвать, и не взглянет.

А надо решиться.

И не от малодушия это она. Она все готова — ведь раньше-то так! — целыми ночами, не покладая рук, сидела. Но что же делать, если сил больше нет.

Надо решиться, и уж бесповоротно.

И Вере будет лучше, конечно!

Я давно замечал, встречая на лестнице Ольгу Ивановну, что уж больно задумалась, и идет, и глаз не подымет, а поздороваешься, так и вздрогнет вся.

Или так ее мысль сбила, забитую нуждой и обессиленную вконец?

Одна-единственная мысль сбила теперь все ее мысли,

а когда заполнит — как ржа всю душу проест — и тогда все и решится.

И непременно.

Бесповоротно.

У нас тоже беда — все мы тут одинаковые под одной звездой — надо мне было кипятку для грелки. Вот я к Ольге Ивановне и туркнулся.

«Может,— думаю,— какие щепки уцелели, разожгу печурку!»

Твердо знаю, да и все тут у нас по лестнице это знают, если что есть у нее, не откажет — сколько раз приходилось, из последних выручала.

> Человек-то, скажу вам, жив еще и душа живая и, пожалуй, живей еще среди погани и беды кромешной.

Постучался — не откликается.

А знаю, дома; и дверь не заперта.

Заглянул я в кухню:

— Ольга Ивановна!—

Нету.

Ну, я в комнаты.

А она стоит у столика — (раз пожар у нас случился, и, помню, схватил я что-то очень тяжелое тащить, а тут зеркало висело, в зеркале я и увидел себя, так вот лицо свое помню озеленелое) — вот такая озеленелая стоит, и вижу, пузырек с чем-то черным в руке, отпила и еще — —

Тут вот точно что и вспомнилось мне, я ее за руку —

Смотрим друг на друга — самые враги последние!

И вдруг она и говорит, да как сквозь сон, едва слова выговаривая:

— Это я,— говорит,— для Веры: Вере лучше будет.

А сама так и валится.

Я к соседям. Няньку позвал старуху, еще сестру — сестры тоже по одной лестнице с нами. И долго мы над нею бились — в сон ее ударило — размаивали.

Не хотелось нам, чтобы Вера узнала, а то испугается.

Ну, как будто все и ничего стало — отходили! — только ослабела очень.

А тут и Вера из училища вернулась.

Видит: мать лежит на кровати.

— Что, мама, худо тебе!

Поняла она что-то — или сердца-то не обманешь?

Мать открыла глаза.

— Нездоровится,— говорит,— и заплакала.

И Вера вдруг заплакала.

Или все поняла она и потому так заплакала, или от беды, уложившей мать, всю беду почуяла и вот заплакала — чужому человеку, глядя, не стерпеть —

— звезды, прекрасные мои звезды! —

II

СВЕТ СЛОВА

Все живое, от звезды и до речного голыша, а также и всякое создание — всякое дело рук человеческих, лап и лапочек — гнезда, города, дома, игрушки, машины светятся своим светом —

также и мысли и помыслы человека светятся светом, светится своим светом и слово.

Сказать о человеке хорошее куда приятнее, чем лаяться.

Да что приятнее,— больше! найти хорошее в человеке — великое счастье.

И счастье это от света.

А свет от «человечного» в человеке.

А человечное в человеке — это *желанность души,* та крепь, какою разрозненный избедовавшийся мир держится —

уста к устам
и сердце к сердцу!

Среди последнего зверства, в котором человек с человеком взапуски бегает, в бессердечии, грызне и своры, в этой тьме вдруг взблеснет она теплою искрой и озарит — идешь по Невскому в свинцовый холодный вечер и вот где-нибудь за Казанским собором расколется небо и такая разольется заревая полоса — а ведь ее-то зарь ярче и самой северной зари.

Я видел ее, чувствовал —

Я видел ее даже и в таком, зверем что в человеке зовется, и от чего сами-то звери открещиваются — волки, лисицы и всякие зайцы.

Много я видел добра от человека и в самую великую распрю на повороте жизни за все эти решающие годы.

И за эти же в десятки, а может, в сотни годов годы я, побиральщик, околачивающий пороги, терпеливо и, скажу, не без страха, ожидающий очереди в приемных, как часто, загнанный, в последнем унижении, оробелый, с приглушенным голосом, или в остервенении своем отчаянном просто пропащий, проходя по улицам и чуя свою покинутость и беззащитность, открытый для всего, с каким жарчайшим желанием думал я — — о волках, лисицах и всяких зайцах, моих братьях и сестрах безгласных.

* * *

Как-то иду я так по Литейному —

Что-то с утра, как вышел на улицу, все-то мне не ладилось: там просил — отказали; а в другом месте — просто обманули; а еще в третьем — мало отказа и обмана, а еще и, повинив во всем, выругали. И пришлось покорно и безответно принять,— не знаю уж, от зависимости ли боязливой, кабы хуже чего не сделать, отвечая-то, или — и такое бывает, отчаянное! — как в пропасть летишь и за тобой камни — так пусть же летят, все приму! — и летишь.

Так вот шел я по Литейному, сердцем — к зверям, и мысленно что-то со зверями уж разговаривал — с волками, лисицами и всякими зайцами, и вдруг точно за рукав кто дернул, замедлил я и слышу — —

А догоняли меня две женщины, так — простые.

И одна рассказывает другой о каком-то человеке,— о своем знакомом,— ясно слышу необыкновенно, точно это мне в ухо кто шепчет,— о каком-то человеке, у которого ничего-то нет ну совсем, такая последняя бедность: такая, что и «поделиться-то ему нечем» и говорит он, этот человек:

— «Ну,— говорит,— коли нет ничего, хоть ласковым словом поделиться».

«Ласковым словом надо делиться!» — и это, как в полдень, когда где на площади застигнет, ударит пушка —

«Ласковым словом надо делиться!»

И я точно проснулся —
Вижу небо, синее такое, не наше — и вся душа потянулась — не робкая, не забитая —

многорукая —

многокрылая—

И я как вырос.

И одно чувство наполнило мое, как мир, огромное сердце.

И сказалось пробудившим меня от моей падали словом — —

У меня тоже нет ничего и мне нечем делиться — я уличный, побиральщик! — но у меня есть — и оно больше всяких богатств и запасов — у меня есть слово! И этим словом я хочу поделиться: сказать всему разрозненному избедовавшему миру —

> человеку, потерянному от отчаяния беспросветно —
> человеку, с завистью мечтающему о зверях—
> человеку, падающему от непосильного труда в жесточайшей борьбе — быть на земле человеком —

уста к устам
и сердце к сердцу!

III

ЗАБОРЫ

После скотской зимы пришла весна—

Она наперекор безнадежности и отчаянию вдруг пришла такая нежданная, обрадованная и такая громкая — не запомнят! — с шумом и звоном ломающихся тяжелых, как чугун, льдов и изникающих хрупких льдинок, пришла внезапная — северная с иссиня-черным вороновым небом, обещающим теплые дни, и с теплыми сверкающими днями, сулящими звездные песенные ночи.

Я видел, проходя по улицам, как самое закорузлое, загнанное на зимовье в тараканьи щели — за суровую-то нашу зиму все тараканье, все тараканы покинули насиженное свое жилье, уступив его человеку, который ведь все вынесет, все вытерпит, как и все сожрет! — я видел, как закорузье — это съежившееся, забитое, защеленное и оскотевшее — принимало человеческий образ,

видел улыбку переставшего улыбаться соседа, слышал добрый его оклик — смотрел и не верил, слышал и не признавал.

Неизгладимую сохраню я память о единственной весне чудесной.

Но не только от чудес превращений и песни, прогремевшей тогда весенним громом — о разорванных оковах, воле, мечте и томящей любви — и не потому, что сам я, зиму живя, как скот, как зверь самый пещерный, вдруг, уж издыхая, ощутил весеннее тепло и мое затихающее сердце забилось со всей землею — с сердцем лесов, полей и гор — зверя, рыб и птиц —

чувство необычайное, острейшее пронзило все мое существо.

И это чувство раскололо дни.

Я что-то понял и человека благословил с его дерзающей мечтой.

* * *

Шел я на Васильевском по Большому Проспекту, нес тяжесть — гниль мороженую, мокрую себе в корм: капусту или еще какую помойную погань — драгоценность большую!

День несолнечный пасмурьем успокаивал мои слепые глаза и на душе теплилось кротко.

Не глядя, шел я привычно.

И вдруг визг отдираемых досок ударил меня —

доламывали последний забор!

И я сразу все увидел, весь Большой Проспект и так далеко — до самого моря.

И не узнал —

Я не узнал привычную дорогу — широкая открылась моим глазам воля.

Это заборы, которые теснили улицу,— не было больше заборов! садами шла моя дорога.

Это моя мечта расцвела въявь садами.

Я помню, ощеренные, с прогнившими досками заборы — забор и под забором упавшего человека, когда все двери перед тобой захлопнулись, а калитки и ворота под замком заперты крепко;

и эти проклятые стены, отгораживающие человека от человека — самодовольные свиные

хари, выглядывающие из-под заборов на твою беду и отчаяние;
проклятия твоего бессильного сердца;
и тупая покорность.

Я видел дальше — за море — за моря —

И в моем сердце вскипали слова: они были резче пил и тяжче молота — могли бы согнуть и железные прутья, разломать и чугунные ограды железного человеческого сердца.

И больше не чувствуя тяжести, шел я легко садами.
Так—
Так бы прошел всю землю — все земли от моря до моря—
И другие слова подымались от сердца —
— благословенные —
благословляющие. мечту человека.

IV

ПАНЕЛЬНАЯ СВОРЬ

Жил я всегда на самом на верху: видишь с голубятной высоты своей двор и что там, на дворе, громоздь и скрыть петербургских дворов, но чаще — высота такая поднебесная, что ничего уж не видно, никакого двора — ничего-то вниз, а только — прямо в лицо — косматые дымящие трубы на небо, да звезды —

Звезды — —

и звезда с звездою говорит —

Я только теперь это до боли понял, когда больше не вижу ни неба, ни звезд.

А случается подняться к соседу — всего-то этажом выше — и все по-другому, и сам я как-то переменяюсь, и без крыльев несешься —

«Мучной лабаз — Варгунин — торговый дом стиль — мебель заграничных фабрик» — все это мимо — выше —

и звезда с звездою говорит —

Я больше не вижу ни неба, ни звезд, как давно уж не присяду к столу в ясный час утра, когда мысли как огоньки, а душа горяча.

Выгнанный на улицу, с утра на ногах, с мешком в руке я куда-то иду весь пылающий, с сердцем, как огонь, иду — —

И так всякий день.

На работу? — не-ет! какая это работа, нет! а только затем, чтобы как-нибудь перебыть день и иметь хоть один-единственный свободный час, присесть к столу, но уж погасшим, с тупым проклятием этой судьбе или хуже, с покорством одолеваемого усталью человека —

еще человека,

у которого пробивается струнящийся свинячий хвост.

Но она же, жестокая моя судьба, которая выгнала меня на улицу и вконец обескровила и изморозила до кости, и как-то случаем загромоздила домами небо и звезды, она же открыла передо мной окно на улицу.

Я вижу, как по Невскому бегут, как мушки,— это беспощадный день ожесточенного от голода и гнета Петербурга с одной упорной навязчивой мыслью схватить, перешагнув всякое «нельзя», какую-нибудь съедобную дрянь, чтобы как-нибудь перебыть день,— и разрезая мушиный бег, со свистом одинокие несутся автомобили — столько не сгорит керосина или бензина, сколько ненависти и проклятия в этой подхлестываемой бедой шарахающейся отчаянной, преступной нищете — а тут прямо под моим окном выползает ничем не истребимая панельная сворь, грохочут наглые грузовики в кожаных лоснящихся куртках и не спеша уверенно подъезжают нагруженные мешками подводы, их ломовые рожи, осыпаемые мукой, подергивают вожжами.

* * *

Случилось то, чего так боялась Нюшка, слушая сказки старухи Мыслевны, даже думать боялась, что и с ней такое может случиться, как в сказках, когда Баба-Яга гонялась, настигала и ловила, чтобы «на косточках поваляться».

И все это случилось в ранний час утра, когда я с тупым покорством судьбе, немилостивой и такой щедрой — ну, разве это не щедрость! выходил на улицу весь горящий с открытыми глазами и рвущимся переполненным сердцем.

В один миг я все увидел — а это и длилось один

миг — и сразу попав в теснейший круг, различил все до мелочей мельчайших.

Нюшка в зеленой исстиранной кофте с таким же вылинявшим бархатным вишневым воротником, в черном переднике поверх белесой юбки, повязанная голубым платком с торчащими за спиной заяшными ушами, босая, стиснув крепко в ручонках коробку, завернутую в белую бумагу, металась по мостовой от панели до панели с криком из последнего крика, ни за что не поддаваясь милиционеру в защитной куртке, который с необыкновенным добродушием, смешно ощериваясь — смешно ведь, такая крохотная чудная девчонка! — гонялся за ней и никак не мог изловить.

А Нюшка ничего не видела: ни этой улыбки, ни смешно растопыренных, ловящих, как в игру играя, рук,— Нюшка, ведь она верила еще в сказки и в игры верила — в кошки-мышки! — металась, как металось в мольбе о пощаде ее маленькое, всжигнутое прямо по живому сердце, металась от Яги, или от разбойников, или от кошки и на крик кричала—

> этот крик — детский, которого нельзя человеку слышать безнаказанно, и если нет никаких возмездий и сама вековая мудрость о карающем роке вздор, я говорю: этот крик — это бешеный собачий яд, который взбесит и самое крепкое человечье мясо — слышите! — завтра ж загрызет от смертельной тоски землю.

— Оставь ее! оставь! — слышались голоса остановившихся прохожих, которые, за кругом стоя, следили за всей этой сказочной и такой правдашной игрой.

И на лицах не было никакого удовольствия, что вот случилось-таки то, что случается только в тех страшных сказках, которые любила эта несчастная девчонка, и что очень смешно, что большой взрослый человек не может поймать такую маленькую, как мышка, девчонку с голубыми заяшными ушами.

И не поймал бы, будь у Нюшки «ворота» — ведь это игра в кошки-мышки! — но еще двое в черном пересекли от Невского дорогу —

— попалась!

И с той же улыбкой, и совсем не злою, поймали девчонку.

— Дяденька! дяденька, отпусти! — зазвенело всем звоном и далеко туда — за Фонтанку — за Неву, и туда — за дома, колокольни, трубы.

Я пересек всю эту гоньбу и, выйдя из круга, пошел своею дорогой, не помню, за какой-то добычей, и прохожие тронулись по своим делам — за какой-то добычей.

Но я никак не мог забыть и не могу забыть, и не забуду до смерти, я сохраню с любимою музыкой и этот детский крик: от него никуда не уйти и никаким благовестным колоколом не заглушишь!

* * *

Вечером в тот день, присев к столу, я случайно заглянул в окно:

> среди панельной своры стояла Нюшка, в руках коробка в белой бумаге, и что-то очень такое, как сказку, рассказывала она другим Нюшкам постарше.

А я-то думал — —

Вот тебе и на всю жизнь!

Или есть еще что-то, что сильнее всяких страхов?

Или как и мне, как тем прохожим, и ей надо как-нибудь перебыть жестокий неизбежный день?

ПЕРЕД ШАПОШНЫМ РАЗБОРОМ

I

С начала лета мы на новой квартире — на Троицкой. И низко, и вода есть, и электричество горит.

Как-то ехал я по железной дороге, на остановке хочу выйти из вагона, а никак не выйти — народу набилось в проходе и дверь загородили. Прошу пропустить, а какой-то: «Это, — говорит, — вам не старый режим, товарищ, полезайте в окно!» Я покорно полез — — А тут — наоборот! — а я уж и не могу, я не могу освоиться после Васильевского острова и вдруг схватываюсь: бутылки не

наполнены! Боюсь проливать воду, дрожу над каждой каплей.

А вода идет, и электричество горит — —

Освобожденный от «водяной повинности» и выпущенный из тьмы на свет, я начал писать и опять мне сны снятся.

— — слышу звонок, окликнула С. П. Она говорит: «Звонят!» И опять звонок. И еще раз. И слышу голос: «Тут спит черт Копицын!» И это такой был голос — от стены — из стены. И в ужасе я открыл глаза.

II

А что я подумал: может быть, иначе и невозможно? Нельзя, невозможно, чтобы человеческая косная природа «двигалась» по-другому! Инквизиция — огнем, государство — законом, революция — декретом. Надо встряхнуть с корня до макушки — и пустить «на новую жизнь». Я не знаю, хорошо это или дурно, знаю, что это *надо,* и что для живого человека это очень тяжело.

— — когда я выпускал молочницу (она носит к нам молоко на обмен и, конечно, «из-под полы»), вижу, мальчик: одна рука длинная до полу, другая маленькая и весь он какой-то гадкий.

«Откуда ты,— говорю,— появился?»

«А я,— говорит,— всегда между дверями живу в кухне!»

III

Вот и вода есть, и свет. А мне кажется, что я уж не выдержу — я совсем обескровленный! И если держусь на ногах, когда весь валюсь, то лишь упорством — упором, только духом, как, безголосый, могу говорить отчетливо и громко только из какой-то внутренней силы. Иногда меня подвозят на извозчике, но это всегда очень неудобно: совестно — ездить, когда все пешком!

— — сидим в моей комнате у стола: я, С. П. и мой брат Сергей. Ночь. С улицы вызывают

из каждого дома и тут же расстреливают. Сейчас дойдет очередь до нашего дома. Чей-то голос называет (слышу ясно): «209—69». (Это № нашего телефона.) И я выхожу — через окно, но нисколько не подымаюсь, а как бы через стеклянную дверь. Дорогой обернулся — вижу: у стола С. П. и Сергей. И я поклонился им (а они не видят!) и пошел. Под аркой, где освещено лампочкой, сидит солдат. Он что-то бормочет — и я понимаю: я должен присесть, чтобы с меня сняли фотографическую карточку. И чувствую, что это не к добру: и никакая тут карточка, а просто меня расстреляют. И ясно вижу,— еще солдат светит красным, он негр — и объяснять ему бесполезно, все равно, ничего не поймет!

* * *

В продовольственную лавку привезли воз с яблоками. Когда вносили в лавку, один мешок разорвался и яблоки посыпались на мостовую. Откуда ни возьмись мальчишки и прямо на яблоки: кто сколько ухватит, того и счастье!

За большими полезли и маленькие.

Тут пущены были в ход вожжи. Мальчишки завизжали да кто куда — все разбежались. А одному голопузу (не понимает!): нагнулся он за яблоком, протянул ручонку, ловит — а извозчик мешок нес, да сапожищем ему прямо на руку. Тот так и закатился!

— Что ты это делаешь?!

— А чего под ноги путается?

IV

Приходил С. М. Алянский с рассказом об Уэлсе: как Уэлса чествовали в «Доме Искусств» —

«ели телятину с шоколадом».

— Уэлс шоколаду не ел! — сказал Алянский.

А вечером разбирали, что написал Уэлс в альбом Алянскому по-английски.

— Какая мудрость в каждой строке! — заметил Соло-

мон Каплун (Сумский). (Соломон Каплун наш сосед и постоянно у нас, много мы вместе в альбомы писали и за себя, и за других на всех языках!)

— — я подымался от Варварских ворот, от часовни Боголюбской к Ильинским воротам — только подъем куда выше! — очень трудно. А когда я поднялся, вижу, нахожусь за Курским вокзалом у Андрониева монастыря.

Н. М. Волковыский и Б. О. Харитон командуют: кому выступать. И моя скоро очередь, да не хочется мне идти. И мы уж в каком-то загоне: ждем в баню.

«Все равно, прочитать надо!» — говорит Волковыский.

«Да что читать-то?» —

«Ну, что попадется».

А я думаю: «Заставят меня читать Немировича-Данченко или что-нибудь о мужиках — — !»

И входим через потайную дверь в нашу новую квартиру.

Очень высоко, на самом верху. Во дворе сложены ящики, и угольщики разгружают подводы с яблоками. У нас одно окно. Ночь. Какой-то залез в окно — да это тот, кого я встретил, когда подымался от Варварских ворот, я узнаю его. И я схватил его — и в окно. И вдруг стало жалко: конец!

* * *

Ясное утро — так только бывает осенью ясно. Из противоположного дома вынесли гроб — деревянный некрашеный — поставили гроб на дроги. Лошадь рыжая. Только священник серебряный в серебряной митре.

Кого это?

Старуха плачет.

Лития — «вечная память!»

Возница мальчишка сел на дроги и повезли.

И ладан проник ко мне через окно.

V

Потерял мундштук — ни купить! ни достать!

Упала лампа и разбилось стекло — не знаю, что и делать!

Лопнул горшок из-под каши — где такой добудешь?

— — —

— — в Москве, пробрался в театр. Тут и Борисяк, Есенин, Якулов, и З. Г. Гринберг. Я взял стакан воды и полил Гринберга — весь стакан! И подумал: «Зачем же это я сделал?» А он ничего, молча встал и вышел, и вижу, возвращается с матерью знакомить меня. И мне очень неловко. И понимаю, это вовсе не Гринберг, а Вик. А. Залкинд. И я спустился в глубокое подземелье. Прохожу по коридорам к залу: там будет концерт! Но музыки нет: сидит один Пильняк и уписывает такую вот краюху черного хлеба. Я приоткрыл дверь. (Я стою очень низко, пол мне по шею, но вижу не только ноги, а и весь театр!) Играют такую пьесу: «как А. женится на своей дочери». Дочь играет актриса, а он сам себя.

VI

Заходил после обеда Ев. Замятин: принес мне свой старый мундштук. Ну, теперь покурим! А то никак не выходит: трубку не умею, а крученые — без мундштука невозможно.

Не могу никак вспомнить сна и только вспоминаю: дорожка очень зеленая.

VII

Наступил новый год — 1921-й — четвертый революции! Я вспоминаю эти годы — горячо прожитые, а по чувству исключительные. Слышу, звонит колокол в Казанском — мы пробираемся через сугробы в Дом Литераторов встречать новый год.

VIII

Кронштадтское восстание.— Речь Ленина о «нэпэ».— «Мюр и Мерилиз!»

* * *

Я медленно иду — — мимо проходят и говорят:

— — послезавтра ждут кризиса: у нее тиф. Конечно в дороге захворала: 45 дней из Крыма ехали! по дороге девочку восьми лет похоронила —

— — —

— — конечно, из Отдела Управления вам дадут бумажку! но ботинки в Петрокоммуне вы не получите. Получают ботинки не только они сами, но их жены и дети, их матери, их бабушки и даже их прабабушки. А тут служишь с утра до ночи, и все равно никогда не получишь —

— — —

— — — нельзя же всех расстрелять!

ОГНЕННАЯ РОССИЯ

— памяти Достоевского —

Достоевский — это Россия.

И нет России без Достоевского.

И в последний страшный час,— если суждено такому страшному часу,— во внезапную последнюю минуту на последний зов и суд — кому же? — только он, только он один выйдет за Россию, станет один, скажет один за всех — мучающихся, страждущих, смрадно-грешных, но «младенчески любящих» — за Россию бунтующую, отчаянную и несчастную (ведь разве бунтующий может быть счастлив!) за «убивца» — весь русский народ.

— Суди нас,— скажет судии,— если можешь и смеешь.

И из впалых, испепеленных болью глаз, как искра, блеснет огонь.

Какое изгвожденное сердце — ни одно человеческое

сердце не билось так странно и часто, безудержно и исступленно —

> «и чем тише был месяц — огромный круглый меднокрасный месяц глядел прямо в окно — тем сильнее стукало сердце и даже больно становилось».

* * *

Кто, откуда пришел он?

Пройдя какие квадриллионы пространств — отблеск и отвей какого страшного премудрого духа, пустынного огненного духа-искусителя, держащего ключи от человеческого счастья?

И куда?

На какую Голгофу — без срока—

Чтобы словом содрогнуть человеческие души, зажечь землю и, если суждено такому страшному часу, дать ответ за всю боль и грех человека, за бунтующую Россию.

* * *

Под разливной звон и клеп гоголевских колокольцев, сквозь пушкинскую лазурь — России бесподобной и вдохновенной, России волшебной, калядной и вийной —

> «избы черные-пречерные, а половина изб погорела, торчат одни обгорелые бревна. На дороге бабы, много баб, целый ряд, все худые, испитые, какие-то коричневые лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокая, кажется, ей лет сорок, а может, и всего-то только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках плачет ребеночек, и груди-то, должно быть, у нее такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя и руки протягивает, голенькие, с кулачонками, с холоду совсем какие-то сизые.
>
> «Что они плачут? Чего они плачут?» —
>
> «Дите, дите плачет».—
>
> «Да отчего оно плачет?» —
>
> «А иззябло дите, промерзла одежонка, вот и не греет».—
>
> «А почему это так? Почему?» —

«А бедные, погорелые... на погорелое место просят».—

«Нет, нет, ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дите, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют радостных песен, почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дите?»

* * *

И пусть все осветилось—

«Снег загорелся широким серебряным полем и весь осыпался хрустальными звездами — слышите Гоголя звон? — мороз как бы потеплел, песни зазвенели —»

Ни песен, ни звезд. Все закрыто, зачернено, приглушено. И куда ни глянь, одна костлявая неразлучная горькая разлучница мать-беда.

Придти в мир на просторную легкую землю Пушкина и Гоголя, и с первого же мига чья-то беспощадная рука хляст по глазам — «так вот она какая легкая земля!»

«Нет, если бы я имел власть не родиться, я не принял бы такого существования».

Достоевский увидел в мире судьбу человека — горше она последней горести! — и не только человека: помните Азорку — ребятишки тащили на веревке к речке топить, а помните несчастную клячу, ее иссеченные кнутом глаза, и даже неодушевленное этой стороной — Илюшины сапожки, старенькие, порыжелые, с заплатками там в уголку перед постелью —

Весь мир перед ним застраждал — неотступно.

«и чувствует он, что подымается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дите, не плакала бы и черная иссохшая мать, чтобы не было вовсе слез от сей

> минуты ни у кого, и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что со всем безудержем — »

* * *

Но что может сделать для счастья человека человек?

Страдание и есть жизнь, а удел человека — смятение и несчастие.

И самое невыносимое, самое ужасное для человека — свобода: оставаться со своим свободным решением сердца это ужасно!

И если есть еще выход, то только через отречение воли — ведь человек-то бунтовщик слабосильный, собственного бунта не выдерживающий! — отречением воли, цепным «авторитетом», беззаветным началом еще возможно в мире что-то поправить, сделать человечество счастливым.

Да захочет ли человек-то такого счастья безмятежного с придушенным «сметь» и с указанным «хочу»?

> «И сидит она там за железной решеткой семнадцатый год, зиму и лето в одной посконной рубахе и все аль соломинкой, аль прутиком каким ни на есть в рубашку свою в холстину тычет. А сидит с одной только злобы, из одного своего упрямства».

Или уж ничего не поделаешь с человеком?

Но ведь бунтом жить невозможно!

Как же жить-то, чем же любить — с таким адом в сердце и адом в мысли?

* * *

«И вдруг ударил колокол — густой тяжелый колокольный звон.

Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды, но это был не набат, а какой-то приятный плавный звон.

И я вдруг различил, что это ведь звон знакомый, что это звонят у Николы в красной церкви, выстроенной еще

при Алексее Михайловиче, узорчатой, многоглавой и в столпах и что теперь только что минула святая неделя и на тощих березках в палисаднике уже трепещут новорожденные зелененькие листочки.

Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи в нашу классную комнату, а у меня в моей комнатке сидит гостья.

Да, у меня безродного, вдруг очутилась гостья.

Я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла: это была мама —

Колокол ударял твердо и определенно, но это был не набат — —

Она вскинулась и заторопилась.

«Ну, Господи... Ну, Господь с тобой... Ну, храни тебя ангелы небесные, Пречистая Мать, Никола угодник... Господи, Господи! — скороговоркой повторяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестов,— голубчик ты мой, милый ты мой. Да постой, голубчик...» Она поспешно сунула руку в карман и вынула платочек, синенький, клетчатый платок с крепко завязанным на кончике узелком и стала развязывать узелок... но он не развязывался...

«Ну, все равно, возьми и с платочком: чистенький, пригодится, может, четыре двухгривенных тут, больше-то как раз сама не имею... Прости, голубчик...»

Я принял платок, хотел было заметить, что мы ни в чем не нуждаемся, но удержался и взял платок.

Еще раз перекрестила, еще раз прошептала какую-то молитву и вдруг —

И вдруг поклонилась глубоким медленным длинным поклоном

— никогда не забуду я этого! —

Так я и вздрогнул и сам не знаю отчего.

Что она хотела сказать этим поклоном: вину ли свою передо мной признала? — не знаю».

— — —

— — — —

Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный млечный путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна зем-

ная соприкасалась со звездною. Стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить по веки веков.

О чем плакал он?

О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны.

Как будто нити от всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала.

Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, не себе, а за всех, за все и за вся —

— — — —

— — —

И кто-то шепчет:

«Богородица — великая мать —»

«Богородица — великая мать сыра земля есть. И великая в том для человека радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть. А как напоишь слезами своими под собою землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой горести твоей больше не будет».

— — —

* * *

Трепетной памятью неизбывной, исступлением сердца, подвигом, крестною мукой перед крестом всего мира — вот чем жить и чем любить человеку.

Достоевский — это Россия.

Краснозвонная, опетая моим горестным «Словом», и новая, еще не сказавшаяся, буйно подымающаяся из праха, безудержная —

И нет России без Достоевского.

Россия нищая, холодная, голодная горит огненным словом.

Огонь планул из сердца неудержимо —

Взойду я на гору, обращусь я лицом к востоку — огонь!
стану на запад — огонь!
посмотрю на север — горит!

и на юге — горит!
припаду я к земле — жжет!
— — —

* * *

Где же и какая встреча, кто перельет этот вспланный неудержимый огонь —

— *из-гор-им!* —

Там — на старых камнях, там — встретит огненное сердце ясную мудрость.

И над просторной изжадавшей Россией, над выжженной степью и грозящим лесом зажгутся ясные верные звезды.

ПЕТЕРБУРГ

— Петрова память —

I

ПОДЪЕМНЫЙ МОСТ

— Зачинается строить через Мою-реку подъемный мост!

Напуганные «концом мира», а при всяком взрыве большого человеческого волнения для напуганных «конец мира» — и кровь, и пугало, никогда не поймут и не почувствуют подъема и одушевления при вести о новой стройке.

— Зачинается строить через Мою-реку подъемный мост!

Да еще из ничего.

Или почти из ничего: из того, что есть.

А в казенных амбарах не так-то уж много, чего есть — надо все сделать, достать, выработать.

И притом в спешном порядке — «без замедления».

Это второй мост: первый — Большой, а этот пока без названия — у Мытного двора.

Мост деревянный.

Доски — с Охты; цепей нет — цепи сделают вольные кузнецы; копры бить сваи — от архитектора (архитек-

та) Трезина; прочие припасы из Казенных амбаров от командиров: мел, обивальные нити, напари, долота, говяжье сало — от Якова Ф. Шатилова, веревка — от майора Заборовского, уголь — от капитана Милюкова.

Только вот плотников нет — не идут на работу, а у Большого моста не работают.

Зимнее время — самый злющий мороз — январь.

Да и с ковшами беда:

> «сети перепортились и земли ими таскать не можно».

Тоже вот, как со шлюзами: две сделаны, а одной нет — кирпичу не хватило и плиты для фундаменту. Еще в прошлом году требовали, а все нет. А теперь бы самая пора подвезти зимним путем и поставить у Соляных амбаров: плиты с Тосенских заводов, кирпич с Казны.

Будет, все будет, но не так скоро: невозможно, не поспевают!

Послано письмо за «подписанием Алексея Михайловича Черкасского» к архитектору Онарлеусу: Онарлеус этим ведает.

Если есть воля, а этот дар есть и величайший, воля всесильна, такая на своем поставит:

> — лежебок вскнутнет, лодырей за шиворот в работу, с таким несметных богатством — Россия! — это не то, что Голландия или там — только бы мастеров, и все на работу! и все можно — города, дворцы, мосты —

А строит мост через Мойку А. Девиевр, в помощниках — Василий Туволков.

II

МЕЛЬНИЦА

Сквозь туман петербургский вижу, как в Копорье, Дудоровке, Стрелиной рубят леса. И сквозь сосны, ели, березу — мельницы. Круть мельничная, шум воды, вой ветра.

Мельницы — крупяные, мучные, соломосечные, масленые, цементовые, каменотесные.

Вода и ветер — единственный двигатель, мельница — фабрика.

Сквозь туман петербургский видится — валят леса, крутят мельницы — взгорыхнуло! — неугомонная воля — новая Россия.

В Красном строит цементовую мельницу архитектор Ягон Кристьян Ферстер. Заведует стройкой — Евсевий Савинков.

Савинков должен достать все припасы — весь матерьял:

> приискав, приторговать сосновые леса; дуб, липу, а вместо кизиля и пальмы, зенгауту, напилив, перевезти из Петербурга от Зенбулатова, железо и сталь — из Казенных амбаров от Баранцова, железный вал, гвозди, шипы, железную доску «против моделей» с Оружейного двора от Арзухина, медные орехи — от архитектора Микетия.

И все надо «непременно» и «немедленно».

А мельничный крепкий камень сделают в Красном каменоломщики.

Дьяк Лука Тарсуков, дьяк Петербургской Городовой канцелярии, скрепив указ, отдал самому Савинкову и другие указы ему же — к командирам: к Зенбулатову, Баранцову, Арзухину.

Лука Тарсуков знает! — и не одну только свою указанную канцелярию.

— Когда в драке бьют по морде,— говорит он Савинкову в напутствие,— это ничего, подживет, а когда при этом крушат и вещи, это уж чего. Морда мордой и останется, а от вещи дребезги, куски,— пропало! А вещь — это — дух живой! И за это мало по морде.

А на взморье в избе — пять бумажных окон! — гудит ветер:

> тысячу лет гулял здесь на воле, а теперь и его в работу — изволь колеса вертеть.

— Сшибануть разве — — ! стройку?

III

БРОНШТЕЙНОВА ВЕДОМОСТЬ

И опять беда —

Петр спрашивает Кишкина:

— Зачали ль кровли и потолоки в Момплезире на палатки делать?

Семен Кишкин бывалый человек, курьером ездил от Петра к царевичу Алексею, не моргнул, ответил:

— Зачали.

Или с перепугу такое выскочило.

Какой там зачали!

«Полатный мастер» архитектор Браунштейн — еще в прошлом году требовал матерьял крыть кровлю и на подбойку потолоков (потолков) и на пол в малых палатках в Монплезире, четыре месяца прошло, а ничего еще не отправлено.

Кроме того Петр затеял сделать два люст-гауза и надо чтобы к весне было все кончено (всеконечно), а нет ни досок, ни бревен.

А в Петербурге все имеется:

замки и петли — в Казенном амбаре,
«досные припасы» — на Охте,
а если каких досок нет, можно взять от Мошкова за деньги.

— Мастеровые люди и арестанты помирают с голоду без провианта!

Вот она беда какая.

IV

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

Борис Неронов пишет князю Алексею Михайловичу Черкасскому.

Не своей рукой пишет Неронов,— доброписец из XVII века строчит! — своеручно он только подписывается.

И только однажды —

о веревках в сад Его Величества для обвязывания елей —

за подписью пристягнул:

«Отпусти спешно!»

Но и со слов писаное — живо.

Неронов послал Кишкину в Петергоф подъем (лебедку), для подъема фигур, а потом не раз писал и при

встречах напоминал Черкасскому, чтобы вернули подъем. И вот промешкали — спрашивает о подъеме государь, а подъема-то нет! —

— для милости Божьей, пошли сегодня!

Не дай Бог: схватится опять, быть грозе.

А так все мирно и тихо.

Надо две кожи — красную и сыромятную, сибирского татарина для уборки (убирания), больших собак —

— которых не потеряем!

Надо досок —

— на дело в сад государыни царицы лавок.

Надо железной проволоки «против образца» —

— для дела клетки.

У птичника Симона Шталя в птичнике завелись канарейки — это клетка для канареек. А скоро будут и «красные вороны».

Кожи, доски, проволоки, веревки отпустят из Казенных амбаров от Якова Шатилова и Заборовского.

И для медведей веревку — шестьдесят сажен веревок — от Заборовского ж:

— велено изготовить четырех медведей белых к свадьбе.

Чья свадьба? кого Петр выдает замуж? — надо свадьбу сыграть не как-нибудь, надо чтоб —

— с белыми медведями!

— Весь Петербург белыми медведями!

V

ВИНО И ТАБАК

Вино и табак — вещи соблазнительные.

О происхождении и вреде их столько написано, что, ей-Богу ж, ничего и не придумаешь.

Петр — первая табачная пора у нас в России:

> на табак была мода и создавались легенды, и были свои мученики.

А табак не такой был, не эта вот моя смесь —

> куриный помет со мхом — Huhner Unrat mit Moos, на этикетке птичка!

а горлодер — голландский.

Курил его князь Дмитрий Михайлович Голицын (теперь на Руси и князья перевелись, одни остались «обезьяньи»), и сам директор над строениями оберкомиссар Ульян Акимович Синявин, и его брат комиссар Федор Синявин.

Вино же в России искони — от Бахуса.
И первый его слуга — царь Петр.
Да и государыня Екатерина Алексеевна не брезговала.
А уж приемщику Савинкову и сам Бог велел.
Простое вино курилось дома — с Водочного двора принимайте, не простое же заморское из Голландии Любсь доставлял.

VI

ПО ПУНКТАМ И СВЕРХ

Кончилась великая Северная война.

С 1721-го — самая горячая стройка, заканчивают работы, начатые в войну.

Главные работы в Петергофе,— в «Питере», по-сокращенному.

Генерал-архитектор Леблон, строитель Петергофа, Стрельны (Стрелиной мызы), Дубков, помер от оспы. На его месте — «полатный мастер голанец» архитектор Браунштейн.

Работы делают по «пунктам» Е. И. В. и «сверх пунктов» — в совете мастеров:

— как покажет полатный мастер голанец —
— как Мишель присоветует —
— с позволения Мекентива.

Директор над строениями оберкомиссар Ульян Акимович Синявин. Под ним в Петергофе комиссары: Павлов, Карпов, Елчанинов и русский архитектор М. Г. Земцов.

Лето 1723 года.

Уж кроют свинцовыми досками каскады, площадку перед малым гротом, палаты в Монплезире.

Фонтанный мастер француз Полсолем (Солем) изготовляет эти доски: в амбаре, где работает столяр Фарсуар, поставлены станы.

Кровельный мастер — швед Константин Генекре.

Паяльщик — Потап Басемщиков.

А Монплезир кроют железом и сверх наметом —

— дабы от дождя какой вреды не было.

Еще одно лето работы и не по «пунктам», а уж «сверх» — свинцовой крышкой покроют самого, и намета не надо: вреды бояться нечего.

Спешат вовсю — «к празднику», «чтобы не упустить удобного», «к пришествию», «с неусыпным старанием», «с неоплошным смотрением» и принуждением:

— матерьял отпущать без остановок!

— быть у работы беспеременно!

— чтобы работы отправлялись без остановки!

Все отделывают совсем в отделку, последний гвоздь вколачивают —

столярные мастера Мишель и Кардасей доделывают галереи (галареи) на малой марлинской каскаде у шлюза (слюза); балясы красят пока белой краской, потом будут расписывать;

в верхних галереях полы настилают;

роют малые дождевые каналы;

набивают глиной — укрепляют — у больших фонтанов против большой, гладкой каскады, где положены чугунные и деревянные трубы;

Антон Квадрий за штукатуркой смотрит;

Кардасей белым камнем отделывает бассейн и перед каскадою;

маляр Федор Григорьев с учениками золотит урны;

дожидают живописца Короваку для малеванья;

во флигере печники делают печи из образцов (изразцов?);

как в Монплезире (по Мишелю), делают вставни или затворы в малых палатах у спальни;

отделывают каскады по лестницам и в Монплезире и расписывают;

у шлюза галереи и зымцы (карнизы) прибивают и расписывают;

Франц Циглер и Конрад Оснер привезли из Петербурга две деревянные фигуры к концам стоков, деревянного драка и две деревянные курицы (работа Пинови) — фигуры переделы-

вают, а к драку и курицам Полсолем свинцовые трубки делает для фонтана в нишелях решетчатых;
проводят от большой фонтаны (фонтана) чугунные трубы к нужнику в Монплезире: надо поднять свинцовый ящик в столчаке, чтобы из лягушек било воды одинаково.

Спешат. У мастеров — людей для работы с избытком («с удовольством»). Не проронить бы какой работы!

Оберкомиссар Ульян Синявин всегда под железной рукой: скорей!

* * *

«В Монплезире по другую сторону шайфы или чуланец, конечно, вели поставить и расписать, а в нужнике сукном зеленым столчак и стены убить. Во флигере ко всем дверям замки прирезать. И вычистить и насыпать можжевельником, садовнику скажи, подле большого пруда ров покрыть досками и засыпать землею, буде успеет сегодня, буде же не успеет, чтоб не расчинал, и рыбу, как возможно, за решетку вели сажать больше и присланную карпи вели тут же посадить. Солдат петергофской команды из Стрелиной мызы сойми, а оставь пятьдесят человек, кои у каменной тески, о чем к Бачманову присем письмо. А яхта, которая прислана от светлейшего князя, вели поконопатить и починить не вынимая, в бассейне, поваля на бок. И на всех работах, чтоб исправно было — надеюсь, что завтра императорское величество будет к Бронштейну до сих мест. Дай шлюпку и пришли ево немедленно сюда, а квартирмейстеру вели явиться у меня! Во флигире кроватей по пяти и по шти надобно изготовить и столов, чтоб было числом двадцать и с старым. А кроватей не худо б, чтобы и больше изготовить! В голореях штукаторную работу надобно конечно поспешить и очистить начисто весь сор по дорогам,— с подкреплением садовнику прикажи! Мосты в верхних голореях чтоб гладки были и крепки, где ставится будут игры. И провесть покрытый

каналец от саду мимо флигерей, чтоб вода не взливалась на мост с огороду. Учеников как на кашкадах, так на фонтанах определить лучших, отменных, и сделать им роспись и определить над ними добрых урядников и капралов, дабы всяко свое место знал и меня репортовать».

* * *

А комиссар Павлов под постоянным «на тебе все взыщется» знает, дело не убежит, и на ордера «предлагает свои известия», рассвечивая их не общим, а словом своим именным на каждую работу:

«в большом канале разломанной стены на 11 сажен, в том числе камнем выкладено и глиною набито, а дерном не выстлано на 5 сажен;

«на четвертой стороне стенки в одну линию сваи побиты, брусье наложены и щиты защают; в другую линию сваи бьют и сегодня начнут на-дво связи класть;

«от моря под фашины землю ровняют, от малого прудка речки мелким камнем выкладывают, перемиду делают.

* * *

А надо спешить — надо во что бы то ни стало исполнить все по пунктам к сроку — еще, еще одно лето! — а и загнул-таки задачу! какой там на лето! — да и средств нет —

Денег не хватает на жалованье, нечем платить —

— кровельный (покрывальный) мастер Генекре непрестанно докучает!

— резному мастеру Оснеру только в сентябре выдали 100 рублев в зачет заслуженного жалованья за прошлый год!

— мастеровые из солдат не получили за семь месяцев!

— а рекруты, «употребленные (размещенные) по шестокам» к старым солдатам, «будучи в работе и видя к пропитанию неимущество», бегут — за июль сбежало 10 человек!

А с Пудожи и из Нарвы камень везут: затеваются новые работы уж не в Петергофе, а в Петербурге — у Летнего дома и Госпиталь (Шпиталь).

И опять надо деньги.

И какой-то народ бестолковый: ведь каждому надо втемяшить в башку всякую мелочь, иначе или перепутает, или такое устроит, греха не оберешься.

В Петергоф из иностранцев — послов и посланников — никого не пускают: караул стоял в гавани и на сухом пути за мызниковым двором у моста и от Ораниенбаума (Аранибома) смотрели.

И вот, наконец, фонтаны и каскады — работа итальянцев с архитектором Микентевым — готовы.

Петр затеял выдать замуж старшую свою дочь цецаревну Анну Петровну за герцога голштейн-готторского Фридриха Карла.

Прусскому посланнику барону Мардефельду было разрешено в Петергоф, и велено для него отворить все фонтанные воды.

Старичок, скорбный ногами, этот Мордафельд, прибыл.

В приказе обергофмейстера Матвея Алсуфьева между прочим сказано, чтобы лошадям его давали овес и сено. И тут же оговорено:

«пока он в Петергофе будет».

А не оговори, с дурьей-то головы чего доброго мордафельтовых лошадей будут кормить до скончания веков лошадиных,— всего станется!

Тоже и в другом приказе.

Меншиков распорядился, чтобы всем петербургским гарнизонным полкам, что на работах в Петергоф, быть к Богоявленьеву дню в Петербурге на стоянии у воды.

Ульян Синявин в ордере к Павлову по этому случаю пишет, чтобы отобрать у мастеровых людей этих полков инструменты в казну. И добавляет:

> «А когда оные полки в Петергоф возвратятся, тогда по-прежнему им те инструменты отдайте».

Иначе может всякое быть: с великого-то ума отобрать инструменты отберут, но уж назад не жди, не получишь — «велено отобрать!».

Или все это не оттого — не потому что везде такой дурак подобрался, нет, дурак-то дураком, а это исконное наше, от «грозных» и «тишайших» столбцев идет —

необыкновенная предусмотрительность от всегдашнего подозрения в злоупотреблении: человек-то уж очень не надежен!

А тут — в «гороскат петровский» под железной рукой, в таких тисках и таком вопиющем «неимуществе» всего жди.

И все эти толковые ордера, «пошпорта», весь этот подробнейший «бумажный аппарат» вовсе не от неуменья, а от глубочайшего недоверия человека к человеку, а к русскому (к своему) в особенности. И это такое исконное русское.

* * *

Кровля свинцом покрыта, галереи расписаны, фонтаны бьют и каскады — русский Версаль готов.

Петр построил русский Версаль —

не ударить в грязь перед Европой!

Петр — «орлова полку», ни в каких столчаках, зеленым сукном убитых, не нуждался, любил море, механику — фонтаны — резь и строил, все отделывал так, чтобы как там, в Европе —

Россия, как Европа!

И это «по пунктам» —

нет, еще больше, «сверх» —

Россия удивит Европу!

VII

РЕЗНОЙ МАСТЕР

Со смерти Петра прошло несколько месяцев, работа идет, как ни в чем не бывало.

Петровский упор необычаен — надолго хватит.

Это — «воля к деянию» такая страсть — действует и тогда, если даже сам-то человек онегожен, действует и после смерти.

Петровские мастера — люди такой страсти, отчасти и зараженные или вернее завороженные Петром, его необычайным упором и кипью работы: страсть к работе заразительна, как и противоположность ее — праздная тля.

Резного дела мастер — резной мастер Франц Циглер!

Два года назад Франц Циглер сделал в Петербурге

две больших деревянных лежачих фигуры — «к концам стоков, что по обе стороны слюза (шлюза) в Большом канале». И повез их с другим резным мастером Конрадом Оснером в Петергоф вместе с двумя деревянными курицами и деревянным драком — работа резного деревянного дела мастера Пинови «для фонтану в нишелях решетчатых».

В Петергофе Франц Циглер должен был переделать по указанию Петра эти большие фигуры, при этом в его распоряжении были все находящиеся о ту пору в Петергофе резные мастера и Конрад Оснер, и Фарсуар, и Эдгар Эль-Крисар, и Кардасей, и сам мастер Сенлорам.

Из Петергофа Франц Циглер перебрался в Москву к работам на Головинский двор (дворец), а когда на Головинском дворе стройка прекратилась, попал в Госпиталь к «Гофшпитальному строению».

Он лежит в «паралижной болезнии» — руками и ногами не владеет, а образцы делает и за работами смотрит! — всегда к работам является.

Так доносит госпитальный доктор Николай Бидлоо и добавляет, что человек он нужный и «впредь к госпитальному строению нужен будет».

О чудодейственном резном мастере рассказывают и штукатуры (штукаторы) Фрол Борисов с товарищи: они работали на дворе подле Яузы, а теперь в Госпитале же — в церкви и в Анатомическом театре.

— Рукам и ногам не владеет, а образцы делает и к работам всегда является, вот это мастер!

VIII

КРАСНАЯ ВОРОНА

Анна Иоановна — самая из русских русская царица, дочь царя Ивана Алексеевича, брата Петра, и Прасковьи Феодоровны, урож. Салтыковой. Вся вширь — императрица! — ножка белого гриба с «напачканными» бровями. (При дворе такая мода была: пачкать брови.)

А круг — рощи, сады, огороды, птичники, курятники, «ранжерея».

В садах — погреба, в погребах — коренья и овощи про обиход императрицы: петрушка, постарнак (пустарнак), порей, сельдерей, морковь, репка, свекла, ондиви.

В птичнике, в железной клетке канарейки.

А живут еще в клетках же красные вороны.

Сад насадил Петр и всяких птиц вывез из Голландии и красных воронов. И на огородах петровские солдаты-старики караулят — Иван Замараев да Артемий Русинов из Батальона от Строений.

Сад разросся до невозможности.

— Решеточные ворота большим ветром сломило, и столбы у пришпехта подгнили и тоже большим ветром сломило.

Столярного дела подмастерье Димитрий Максимов ветхости все исправит — по «памяти» петровской.

А памяти идет конец — —

Нового ничего не строят, заканчивают петровские затеи, заколачивают последние петровские гвозди — через годы Екатерины, через годы Петра-внука — последний дух петровской силы.

Уж восковую персону Его Императорского Величества велено по приказу обермаршала графа фон-Левенвольда отдать в Кунсткамеру (кунштькамору) к библиотекариусу Шумахеру.

Скоро будет действовать первый русский зодчий Земцов, ученик Трезина, помощник Леблона и Мекентива, скоро приедет из Парижа Растрелли-сын и опять пойдет дым коромыслом — елизаветинская стройка!

А пока что — все в садах, огородах, рощах.

Петербург и Петергоф — курятник.

Запах помета, перьями и теплыми яйцами.

Контора Садовых дел — все.

В Петербурге в Васильевском саду садовый мастер — Яган Эйк, (Iohann Heug), в Петергофе — садовых дел мастер, Ле-ван-харнигфельт (Le van harnigfeltt) и старичок птичник «иноземец» Симон Шталь (Simon Stahl), в Четвертом «Итальянском» саду садовый подмастерье Семен Лукьянов, в Конецком огороде смотритель прапорщик Алешутин.

А над всеми — Антон Кормедон — Антон Антонович — «красная ворона»!

* * *

Красные вороны — первая птица — за ними особый уход и забота.

Живут они в клетке, сидят на столбиках (второй

столбик протоптали!), а кормятся или, как говорит любитель лесковских «письмовручительств» подканцелярист Петр Часовников, «принимают пищу» в корыте (все корыто продолбили!).

Как привезли их в Петергоф — «к пришествию в Петергоф Его Императорского Величества» — да как раскрыли клетку, все диву дались.

— Что за вороны!

— Ну, и вороны!

— Красные вороны! — сказал солдат Горохов.

Так и окрестили.

Птичник Шталь учил-кликал:

— Der Papagei. (Попугай)

Но ни садовые подмастерья, ни сама птица не откликались: птице понравилось русское прозвище.

Так и рапортовали (репортовали).

Это было еще в 1720-м году, когда верховодил кн. Алексей Михайлович Черкасский, а в подручных ходил при нем Борис Неронов.

А теперь обермаршал «его графское сиятельство и ордена святого Андрея кавалер» фон-Левенвольд, а под ним Антон Антонович Кормедон — «красная ворона».

Так прозвали Антона Антоновича все садовники до Петра Шапошника и старосты Матвея Гиллера.

Да и сам Антон Антонович любил щегольнуть русским словом:

— Ich bin russische красная ворона!

* * *

На всякое садовое «доношение», «ведение» и «промеморию» Антон Антонович кладет резолюцию.

Все равно — о еловых кольях и тычье гороховом; о досках для делания столов и скамеек (скамеяк) в сады и по рощам; о лейках для поливки (поливанья) овощей и фруктов, о колесах под роспуски и одноколок (аднаколак), на которых песок черную землю возят, также навоз и прочая; об олове, говяжьем сале, нашатыре, деревянном масле и для починки леек (леяк); о висячих замках большой руки и малой (такой размер); о дубовых кадках (катках) для держания воды в оранжереях (ранжереях); о починке чулана, в котором будут сидеть «подорожники»; о железном скребке для чистки (чиски)

в клетках, о потошниках (поташниках) для ловления птиц; о пробной лопатке и кирке — все равно, так пропишет, будто не птичник, не сад, не огород, не роща, а вся Россия в его воле и власти, и всякое дело, чтобы немедленно —

Антон Кормедон

Да, много бывало чудес на Руси, и каркать о ее погибели — только воздух портить!

Это я не вам, это я старикам петровским, огородникам-солдатам Замараеву да Русинову.

На Конецком огороде, что за Казачею, вон они пригрелись на солнышке, вспоминают крутое петровское время —

когда были настоящие комиссары:

— Обер-комиссар Ульян Акимович Синявин!

— Комиссар Федор Акимович Синявин!

— Комиссар Семен Михайлович Павлов!

— Комиссар Степан Карпович Карпов!

— Комиссар Федор Феодорович Шатилов!

— Светлейший Римского и Российского государств и главный генерал и кавалер Александр Данилович Меншиков!

— Генерал-майор, лейбгвардии майор Дмитреев-Мемонов Иван Ильич!

Настоящие комиссары, не эти:

— Поручик Алешутин? майор Коробанов? Петр Мошков... разве что полковник Андрей Иванович Брунц?

Но главное-то — эта «красная ворона», она им вот где — Антон Кормедон.

— Погубит, мерзавец!

Ну, ничего — от огородного духу ой как спится! — поворчат старички и задремлят на своем «прилежном смотрении».

А сад разросся до невозможности и все растет, овощи поспевают, птицы топчутся, несут яйца, работа идет — в Конторе Садовых дел и в Валдместерской (б. Лесных дел) пишутся донесения.

А пишут, как говорят. Читай, как написано, русскому языку научишься — русскому произношению.

К ЗВЕЗДАМ

— памяти А. А. Блока —

Бедный Александр Александрович!

Покинуть так рано землю, никогда уж не видеть ни весен, ни лета, ни милой осени и любимых белоснежных зим —

И звезд не видеть — сестер манящих — как только они нам светят!

Не видеть земли, без «музыки» — это такая последняя беда и от этой беды не уйти —

а если вовсе и не беда, а первое великое счастье?

Но почему же для вас так рано?

Это я, еще бедующий здесь вместе с веснами и любимыми вьюгами и моей серебряной звездой, это я стучу в затворенную дверь, не могу и никак не свыкнуться с этим вашим — счастьем.

В то утро — а какая была ночь — Лирова ночь! какой рвущий ветер и дождь —

ветер — —

сам щечавый зверь содрогнулся б!

ветер — до — сердца!

в суровое августовское утро, когда покорные судьбе, в скотском вагоне, как скот убойный, мы подъезжали к границе, оставляя русскую землю, дух ваш переходил тесную огненную грань жизни, и вы навсегда покинули землю.

И еще огонек погас на русской земле.

* * *

А в день похорон, когда вашу «Трудовую книжку» с пометкой:

литератор
грамотен
ПТО

отдали в Отдел Похорон, я свою с той же самой пометкой и печатью, только нарядную, единственную, узорную

по черному алым с виноградами, птичкой и знакомыми нумерами Севпроса, Кубу, Сорабиса отдал в Ямбурге в Особый Отдел Пропусков.

Счастлив ли дух ваш?

Хоть на мгновенье вы обрадовались там — вы радовались за гранью этой жизни, этой бушующей Лировой ночи?

Или вам еще предстоит встреча — счастливые дни?

> А я скажу — про себя вам скажу — ни на минуту, ни на миг. И не жду. Это такое проклятие — вот уж подлинное несчастье! — оставить родную всколыхнутую землю, Россию, где в бедующем Злосчастье наперекор рваной бедноте нашей, нищете и голи выбивается изумрудная, молодая поросль.

Помните, в Отделе Управления мы толклись в очереди к Борису Каплуну: вы потеряли паспорт — это было вскоре после похорон О. Д. Батюшкова — и надо было восстановить, а я с прошением о нашей погибели на Острове без воды и дров — помните, вы сказали, поминая Батюшкова, что мы-то с вами —

— Мы выживем, последние, но если кто-нибудь из нас...

И я в глазах ваших видел, не о себе это вы тогда.

Бедный Александр Александрович — вы дали мне настоящую папиросу! пальцы у вас были перевязаны.

И еще вы тогда сказали, что писать вы не можете.

— В таком гнете невозможно писать.

> А знаете, это я теперь тут узнал за границей, что для русского писателя тут, пожалуй, еще тяжче, и писать не то, что невозможно, ведь только в России и совершается что-то, а тут — для русского-то — «пустыня». Уйти временно в пустыню, конечно, для человека полезно, в молчании собрать мысли — ведь нигде, как в пустыне, зрение и чувства остры! — и Гоголь уходил в римскую пустыню для «Мертвых душ». Тоже и поучиться следует, и есть чему. Только вот насчет прокорму — писателям и художникам везде приходится туго! — надо какую-то работу, а всякая посторонняя работа,

вы-то это хорошо знаете, засуетит душу. И выйдет то же на то же. И если судьба погибнуть, так уж погибать там у себя, на миру в России.

* * *

Это хорошо, что на Смоленском — и проще и не суетно — и никто-то вас не тронет, не позарится на вашу домовину, и Горького не надо просить.

«Помните, как вас из вашей-то насиженной выгнали?»

А может быть, и там ваша душа проходит еще злейшие мытарства? И эта жизнь — четырехлетний опыт социального переустройства — ясно говорившая вам уж одним своим началом всеобщего уравнения, когда вы, недоумевая, спрашивали: «Нужны мы или не нужны?» (да, конечно, такие не нужны!) — эта жизнь, прицепившая к вам бестий ярлычок «буржуазного поэта» — изобретение всеупрощающее, подхваченное умом не очень взыскательным и отнюдь не беспокойным, а также примазавшейся шкурой и прихвостившейся мразью, загнавшая вас в «третью категорию» со всякими трудовыми повинностями — сгребание снега на мостовой, сколкой льда, разгрузкой барок с дровами, чисткой загаженных дворов, эта жизнь, которая не давала вам никакой воли, заставляя вас быть, как все, и, как всякий, служить, и, как всякого, без конца учитывая, регистрируя и заставляя заполнять анкеты, а за каждую милостыню — ведь ученые, писатели и художники — это вытянувшийся дрожащий хвост нищих на паперти Коммуны! — за каждый брошенный кусок и льготу (право «просачиваться!»), тычащая вас носом, как кошку, и не однажды честившая вас, как ломового извозчика,— «Мы художники-писатели, а с нами обращаются, как с ломовыми извозчиками!» — говорили вы в гневе, и наконец отнявшая у вас досуг и «праздность», это наша переустраивающаяся русская жизнь, покажется вам легким сном?

Но я верю, за ваше слово, за «музыку» и там, в норах и канавах — в безнадежном, томящем круге, в кольце ожесточившихся стражей муки, и там найдутся, кто станет за вас.

Впрочем, что это я — это я все о «гнете» — горькое слово ваше запало! — это я по-русски по закоренелому нашему злопамятью! а ведь было ж и совсем другое! и совсем по-другому!

И знаете, Александр Александрович, да это вы знаете,— и это говорю я не для пуга,— не всегда-то и Марья Федоровна может: перед уходом из ПТО какую она мне подпись подписала под прошением в Петрокоммуну — царскую! а все-таки отказали, и уж в Ревеле с вокзала я каблук в руке нес.

И Гумилева — расстреляли! — Николай Степанович покойник теперь! — и Горький не всегда может, стало быть.

* * *

Да, хорошо, что на Смоленском —

Федору Ивановичу, хоть и обидно — помните, покойника Ф. И. Щеколдина, любил он вас! — это когда с Гороховой-то нас выпустили, он вскоре и помер, на советских мостках в Александро-Невской лавре лежит,— ну, Федор Иванович поймет.

Я. П. Гребенщиков и его сестры, они на Острове, соседи наши, от них до Смоленского два шага, они-то уж как будут могилу вашу беречь, знают там каждый холмик, придут и на Радоницу — красное яичко принесут, похристосуются, и на зеленый Семик, и в Дмитровскую субботу. Я. П. Гребенщиков — книгочий, всякую вашу книгу имеет и на иностранном, он один такой в Петербурге, он и могилу не оставит, «князь обезьяний!» —

> А ваш «обезьяний знак», Александр Александрович — его ни в какой Отдел не потребуют — забыл я, с чем он? — картинка? — с каким хвостом или лапами? — у П. Е. Щеголева с гусиными лапами и о трех хвостах выдерных.

И вам будет легко лежать в родной земле.

Мы тоже коробочку взяли с русской землей —

глаза ваши пойдут цветам,
кости — камню,

помыслы — ветру,
слово — человеческому сердцу.

* * *

Бедный Александр Александрович!

Все никак не могу убедить себя, что вас уж нет на свете.

Вот тоже, когда Ф. И. Щеколдин помер, я тоже долго не мог: схвачусь и все будто папиросу ищу — сам курю и ищу, как в бестабашье.

Передали ли вам мое последнее слово?

«Что ж сказать Блоку?»

А я точно испугался — чего-то страшно стало — не сразу ответил.

«А скажите Блоку: нарисовал я много картинков, на каждую строчку «Двенадцати» по картинке».

> Пусто и жутко было в моей комнате перед отъездом. Пустые полки, и игрушек не было, пустая зеленая стена с серебряными гнездышками, и ваша «ягиная черпалка» — помните, на Островах нашли? — убралась в жестяную довоенную коробку из-под бисквитов вместе с «ягиным гребнем», и только огонек перед образом неугасимый светил, как всегда в последнюю ночь,— разбирали последнее, как после похорон.

«А это значит,— объяснил я,— за эти три месяца я думал о нем».

Евгения Федоровна Книпович так и обещалась передать.

А незадолго перед тем заходил Евгений Павлович Иванов —

«и каждый вечер друг единственный»

он, как всегда вошел боком и, стоя, завели разговоры, без слов, больше мигом, ухом и скалом, вас поминали и, как Чучела-Чумичела и кум его Волчий хвост —

шептались долгое время

Евгений Павлович Иванов тоже «кавалер обезьяний» — с лягушачьим глазом и хвостом рогатого мыша! — с Я. П. Гребенщиковым снюхаются и, пока

живы, бородатые, один рыжий, другой темный, как бесы из «Бесовского действа», дико козя бородами, станут на страже, не покинут вашего Креста.

* * *

Трижды вы мне снились.

Два раза в городе рыцарей — в башенном Ревеле и раз тут в зеленом Фриденау у Фрау Пфейфер, над Weinstube, по-нашему над кабаком.

Видел я вас в белом, потом в серебре, и я пробуждался с похолодевшим сердцем. А тут — над кабаком — вы пришли совсем обыкновенным, всегдашним и мне было совсем не страшно. Я вас просил о чем-то и вы, как всегда слушая, улыбались — ведь что-то всегда было чудное, когда я говорил с вами.

Из разных краев, разными дорогами проходили наши души до жизни и в жизни по крови разные — мне достались озера и волшебные алтайские звезды, зачаровавшие необозримые русские степи, вам же скандинавские скалы, северное небо и океан, и недаром выпала вам на долю вихревая песня взбалмученной вздыбившейся России, а мне — горькое слово над краснозвонной Русью.

Где-то однажды, а может, не раз мы встречались — на каком перепутье? — вы закованный в латы с крестом, я в моей лисьей острой шапке под вой и бой бубна — или на росстани какой дороги? в какой чертячьей Weinstube — разбойном кабаке? или там — на болоте —

и сидим мы дурачки
нежить, немочь вод
зеленеют колпачки
задом наперед.

Судьба с первой встречи свела нас в жизни и до последних дней.

И в решающий час по запылавшим дорогам и бездорожью России через вой и вихрь прозвучали наши два голоса — России —

на новую страдную жизнь
и на вечную память.

* * *

1905 год. Редакция «Вопросов Жизни» в Саперном переулке. Я на должности не «обезьяньего канцеляриста», а «Домового» — все хозяйство у меня в книгах за подписями (сам подписывал!) и печатью хозяина моего Д. Е. Жуковского, помните, «высокопоставленные лица» обижались, когда под деловыми письмами я подписывался «старый дворецкий Алексей». Марья Алексеевна, младшая конторщица, убежденная, что «Пруд» есть роман, переведенный мною с немецкого, усумнилась в вашей настоящей фамилии:

«Блок! псевдоним?»

И когда вы пришли в редакцию — еще в студенческой форме с синим воротником — первое, что я передал вам, это о вашем псевдониме.

И с этой первой встречи, а была петербургская весна особенная, и пошло что-то, чудное что-то, от чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться.

Театр В. Ф. Коммиссаржевской на Офицерской с вашим «Балаганчиком» и моим «Бесовским действом».

В. С. Мейерхольд — страда театральная.

Неофилологическое общество с Е. В. Аничковым — «весенняя обрядовая песня» и ваше французское средневековье. Вечера у Вяч. Иванова на Таврической с вашей «Незнакомкой» и моей посолонной «Калечиной — малечиной». Разговоры о негазетной газете у А. В. Тырковой.

1913 год. Издательство «Сирин» — М. И. Терещенко и его сестры — канун войны, когда мы встречались всякий день и еще по телефону часовали. Вы жили тогда на Монетной, помните Острова, помните двугривенный,— ведь я отдал его, последнее! — как вы смеялись и после, еще недавно, вспоминая.

Р. В. Иванов-Разумник — «Скифы» предгрозные и грозовые.

1918 год. Наша служба в ТЕО — О. Д. Каменева — бесчисленные заседания и затеи, из которых ничего-то не вышло. И наша служба в ПТО — М. Ф. Андреева — ваш театр на Фонтанке, помните, вы прислали билеты на «б. короля Лира» —

Комитет «Дома Литераторов» со «старейшим кавалером обез. зн.» А. Ф. Кони под глазом Н. А. Котлярев-

ского, обок с Н. М. Волковыским,— неизменные «зайцы» В. Б. Петрищева.

И через четырехлетие «Опыта» Алконост — С. М. Алянский, «волисполком обезьяний», мытарства и огорчения книжные, бесчисленные, как заседания, прошения Луначарскому, разрыв и мировая с Ильей Ионовым.

Помните, на Новый год из Перми после долгого пропада появился влюбленный Слон Слонович (Юрий Верховский) — вот кому горе, как узнает! — ведь вы первый в «Вопр. Жиз.» отозвались на его слоновьи стихи, на «Зеленый сборник», в котором впервые выступил Слон с М. А. Кузминым и Вяч. Менжинским.

Помните, чуковские вечера в «Доме Искусств», чествование М. А. Кузмина, «музыканта обезьяньей великой и вольной палаты», и наш последний вечер в «Доме Литераторов» — я читал «Панельную сворь», а вы — стихи про «французский каблук»,— домой мы шли вместе — Серафима Павловна, Любовь Александровна и мы с вами — по пустынному Литейному зверски светила луна.

Февральские поминки Пушкина — это ваш апофеоз.

И опять весна — «Алконост» женился! — растаял Невский, зваволынил Остров, восстание Кронштадта, белые ночи —

Первый день Пасхи — первая весть о вашей боли.

И конец.

глаза ваши пойдут цветам,
кости — камню,
помыслы — ветру,
слово — человеческому сердцу.

* * *

Странные бывают люди — странными они родятся на свет, «странники»!

Лев Шестов, о нем еще в Петербурге, когда он начал печататься в дягилевском «Мире Искусств», пущен был слух, как о забулдыге — горькой пьянице. А и на самом-то деле,— поднеси ему рюмку, хлопнет и сейчас же песни петь! — трезвейший человек, но во всех делах — оттого и молва пошла — как выпивши.

Розанов В. В., тоже от «странников», возводя Шестова в «ум беспросветный», что означало верх славословия, до того уверился в пороке его винном, всякий раз, как ждать его в гости, вином запасался, и всякий раз, угощая, не упускал случая попенять, что зашибает.

А настоящие люди — ума юридического — отдавая Шестову должное как книжнику и философу, в одном корили, что водится, деликатно выражаясь, со всякой сволочью, куда первыми входили мы с Лундбергом, и все приписывалось «запойному часу» и «по пьяному делу».

А дело-то, конечно, не в рюмке — это П. Е. Щеголев не может! — а если, грешным делом, и случалось дернуть и песни петь, что ж? и какой же это человек беспесенный? — дело это такое, что словами не скажешь, оно вот где —

А бывают и не только что странные... Андрей Белый —

Андрей Белый вроде как уж и не человек вовсе, тоже и Блок не в такой степени, а все-таки.

И Е. В. Аничков это заметил.

«Вошел ко мне Блок,— рассказывает Аничков о своей первой встрече,— и что-то такое...»

А это такое и есть как раз такое, что и отличает «нечеловеческого» человека.

Блок был вроде как не человек.

И таким странным — «дуракам» — и как нечеловекам дан великий дар: ухо — какое-то другое, не наше.

Блок слышал музыку.

И это не ту музыку — инструментальскую — под которую на музыкальных вечерах любители, люди сурьезные и вовсе не странные, а как собаки мух ловят, нет, музыку —

Помню, после убийства Шингарева и Кокошкина говорили мы с Блоком по телефону — еще можно было! — и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем «ужасом» слышит он — музыку, и писать пробует.

А это он «Двенадцать» писал.

И та же музыка однажды, не сказавшаяся словом,

дыхом своим звездным вывела Блока на улицу с красным флагом — это было в 1905 г.

Из всех самый крепкий, куда ж Андрей Белый — так мля газообразная с седенькими пейсиками, или меня взять — в три дуги согнутый,— и вот первый — не думано! — раньше всех, первый Блок простился с белым светом.

Не от цынги, не от голода и не от каких трудовых повинностей — ведь Блоку это не то, что мне, полено разрубить или дров принести! — нет, ни от каких неустройств несчастных Блок погиб и не мог погибнуть.

В каком вихре взвихрилась его душа! на какую ж высоту! И музыка—

«Я слышу музыку!» — повторял Блок.

И одна из музыкальнейших русских книг «Переписка» Гоголя лежала у него на столе.

Гоголь тоже погиб — та же судьба.

Взвихриться над землей, слышать музыку и вот будни — один «Театральный отдел» чего стоит! — передвижения из комнаты в комнату, из дома в дом, реорганизация на новых началах, начальник на начальнике и — ничего! — весь Петербург, вся Россия за эти годы переезжала и реорганизовывалась.

С угасающим сердцем Блок читал свои старые стихи.

«В таком гнете писать невозможно».

И как писать? После той музыки? С вспыхнувшим и угасающим сердцем?

> Ведь чтобы сказать что-то, написать, надо со всем железом духа и сердца принять этот «гнет» — Россию, такую Россию, какая она есть сейчас, всю до кости, русскую жизнь, мечущуюся из комнаты в комнату, от дверей к дверям, от ворот до ворот, с улицы на улицу, русскую жизнь со всем дубоножием, шкурой, потрохом, орлом и матом, Россию с великим желанным сердцем и безусловной свободной простотой, Россию — ее единственную огневую жажду воли.

Гоголь — современнейший писатель — Гоголь! — к нему обращена душа новой возникающей русской литературы и по слову, и по глазу.

Блок читал старые свои стихи.

А читал он изумительно: только он один и передавал свою музыку. И когда на вечерах брались актеры, было неловко слушать.

Ритм — душа музыки, и в этом стих.

Стихи не для того, чтобы понимать, их и не надо понимать, стихи слушают сердцем, как музыку, а актеру — профессиональным чтецам — не ритм, выражение — все, а выражение ведь это для понимания, чтобы, слушая стих, лишенные «уха» мух по-собачьи не ловили.

Про себя Блока будут читать — «стихи Блока», а с эстрады больше не зазвучит — не услышишь, если, конечно, не вдолбят актеру, что стих есть стих, а не разговоры, а безухий есть глухой.

У Блока не осталось детей — к великому недоумению и огорчению В. В. Розанова! — но у него осталось больше, и нет ни одного из новых поэтов, на кого б не упал луч его звезды.

А звезда его — трепет сердца слова его, как оно билось, трепет сердца Лермонтова и Некрасова — звезда его незакатна.

И в ночи над простором русской земли, над степью и лесом, я вижу, горит — —

В КОНЦЕ КОНЦОВ

Россия! — разговор на долгие годы, а спор бесконечный. Всякий тут свое — и по-своему прав.

Один жаловался:

— была у него земля — отняли, а сколько труда положено!

Другой о доме:

— дом был в Петербурге — какой домина! — и дом забрали.

Третий о деньгах и драгоценностях:

— в Банке! в сейфе хранились — большой капитал! — и все пропало

Я же сказал:

— Да, это обидно, я понимаю. А у меня ничего не было: ни земли, ни дома, ни денег в Банке, ни драгоценностей в сейфе, только эти руки да это — — и одна постоянная тревога: с квартиры погонят! У меня ничего не отняли.

— Как не отняли! — вступился еще один: этот ни на что не жаловался, этот все «объяснял», и что «землю отняли», и что «дом заняли», и что «деньги пропали»,— да вы же потеряли больше, чем землю, дом и деньги, вы лишились тех условий работы, при которых вы писали.

— Да, конечно.

И подумал:

«Да, я тоже потерял. А ведь мне и в голову не приходило! Конечно ж потерял. Ну, а мои чувства — жарчайшие чувства, и слова, вышедшие из этих чувств, и мои сны — это я получил в жесточайшие дни и пропад!»

— А знаете, что я заметил,— сказал я,— и не только на себе, а и на тех, кто пронес революцию в России, страду пережил в России — мы ведь все вроде как заворожены! — и вот чуть только повеет весть о какой-то надвигающейся в мире грозе, и вдруг тебе станет весело.

— Падаль почуяли?

— Не-ет — «падаль!» — ну, вот я по моему малокровию и смертельной зябкости, ведь я же — за самые нерушимые китайские стены: никогда не выйти из комнаты, сидеть в углу у своего стола и чтоб — —

— Чай пить?

— Да, хотя бы и чай пить — — и чтобы было все так, как есть, плохо ли, хорошо ли, только б неизменно и нерушимо! А по душевной моей недотрогости: ведь мне больно от кошачьего писка, не только там от человеческих — — так почему же мне-то вдруг становится необыкновенно весело, когда там за окном, я чую, надвигается в мире гроза?

— — — ?!

— — в мире такая теснота везде колючая — — или это? вот то, что я понимаю, и все мы понимаем пережившие в России страду! и в этом наша какая-то вера в бурю: вот надвигается в мире, идет и придет, наконец, подымет и развеет — развущит! Есть непробиваемая человеческая упрь! И все-таки, не-ет! и на тебя придет сила! — и станет тогда на земле легко —

— — ?!

— — знаю! — если бы революции «освобождали» человека, какой бы это был счастливый человек! — знаю, никакие революции не перевернут, ну скажу так: «*судьбы*, которую конем не объедешь!». И все-таки — или это от тесноты невозможной, в которой живем мы? — когда подымается буря — —

конец.

НЕУГАСИМЫЕ ОГНИ

Живо встает старая память — ночные успенские крестные хода.

Ночь — долгая служба в Успенском: темучая темь и из тьмы костер — тоненькие свечи перед образом Владимирской Божьей Матери, да в темных углах у мощей — у Ионы митрополита («пальцем погрозил на французов», так и лежит — палец согнутый!) и у Филиппа митрополита (которого задушил Малюта Скуратов!), темные вереницы через собор к мощам, старинный «столповой» распев — в унисон ревут басы, да звенящий переклик кононархов, а под конец густой кадильный дым к голубеющим утренним сводам — тропарь Преображенью —

так при царе Иване, так при Годунове, так при Алексее Михайловиче: столповой распев — костер из тьмы — голубеющий рассвет — тропарь Преображенью —

— — —

За Москва-рекой заря — по заре, разгораясь, звон из-под Симонова. Белая — заалела соборная церковь Благовещения.

Веки у меня тяжелые — вся вторая неделя Госпожинок крестный ход, ночь не спишь; глаза вспугнуты — августовский утренник, колотит дрожь; трепетно смотрю, как в первый раз: закричит серебряный ясак от Успенского, мохнатые черные лапы ухватятся за колокол — лапищей на доску плюх — — и живой стеной под перезвон поплывут хоругви — тускло золото, сыро серебро, мутен жемчуг —

«Апостолы идут навещать Богородицу!»

За Москва-реку — за Симонов — за Воробьевы горы лучевой надземницей красный звон.

* * *

А бывало, когда сил уж нет выстоять до конца службу или просто не хочется, станешь в вереницу, обойдешь мощи, приложишься к Влахернской «теплой ручке» (а и вправду, теплая, как живая!), выйдешь на соборную площадь — предутренние серые сумерки, одна из тумана глядит зеленая башня! — и пойдешь по соборам.

Благовещенский любимый (псковские мастера строили): заглянешь на кита, как проглатывает кит Иону, все нарисовано, перецелуешь все частицы-косточки (без передышки, наперегонку), поскользишь по камушкам — такой пол из красного камня, скользее льда,— и в Архангельский.

В Архангельском — к Дмитрию-царевичу, походишь около тесных высоких гробниц — от Калиты до Федора Ивановича — рядами лежат московские «великие государи цари и великие князья всея великие и малые и белые России самодержцы», просунешься в алтарный придел к Ивану Грозному (какой-то дух и жутко!), постоишь у золотых хоругвей: самые они тут золотые, самые тяжелые! — и в Чудов.

А в Чудове — Алексей митрополит лежит, и тут же знамена — от французов 12-го года, всегда поглазеешь. В Вознесенский еще рано: еще горячие просвиры не поспели, потом, после крестного хода будут.

И пойдешь под Ивановскую колокольню.

Под колокольней потолкаешься у Ивана Лествичника, а от Лествичника к Николе Густинскому; Никола там, как живой, нахмурился, а свечей костер, как перед Владимирской. Приложишься к Николе и айда, на колокольню!

— — —

За Москва-рекой заря разгорается. Звенит серебряный ясак: пора звонить.

И вдруг со звоном как ударит луч и золотым крылом над Благовещенским — —

«Апостолы пошли навещать Богородицу!»

За Москва-реку — за Симонов — за Воробьевы горы лучевой надземницей красный звон.

* * *

Но еще чудесней — незабываемо — крестный ход в субботу после всенощной.

Осенняя ночь рассыплется звездами. Как звезды, загорятся хоругви. А на звездных крестах осенние последние цветы. И живые поплывут, звеня, над головами:

«В последний раз апостолы идут навещать Богородицу!»

Над Москва-рекой, над Кремлем, выше Ивана-великого к звездам — — красный звон.

* * *

И дождешься Успеньева дня —

Ударят на Иване-великом в реут-колокол ко всенощной — ручьями побегут ревучие звоны над Москвой, над седьмихолмием, по Кремлю, по Китаю, по Белому, по Земляному за ворота и заставы. На соборной площади колокольный шум — ничего не слышно.

По зеленой траве проберусь вперед к резному Мономахову трону, стану у амвона перед Благовещением — от царских врат три иконы: Спас-золотая-ряса, цареградская, с десницей указующей, Успение — Петр митрополит писал, и Благовещение (перед ним устюжский юродивый молился, Прокопий-праведный, каменную тучу отвел от города) — жемчужная пелена под лампадами тепло поблескивает.

И до полночи, как станешь, так и стоишь в живой стене: не двинуться, не выйти.

И когда после «великого славословия», после ектеньи, запоют последнее, вместо «Взбранной воеводе», кондак Успению, одного хочется: дождаться б, когда и на будущий год за всенощной запоют Успению —

В молитвах неусыпающую
Богородицу...

* * *

Какое это счастье унести в жизнь сияющие воспоминания: событие неповторяемое, но живое, живее, чем было в жизни, потому что, как воспоминание, продумано и выражено, и еще потому, что в глубине еще горит на-

поенное светом чувство. Такое воспоминание сохранил я о Страстной неделе.

Помню годы с Великого понедельника, когда в Кремле в Муроваренной палате у Двенадцати апостолов муро варят и иеродьяконы под Евангелие мешают серебряными лопатками серебряный чан с варом из душистых трав и ароматных масл Аравии, Персии и Китая. Первые солнечные дни — весна — (а что про дождик, про холод — все забыл!) — весенний воздух и ватка, которой обтирали лопатку или край чана.

Незабываем в Великую среду (после исповеди) «Чертог Твой»; в Великий четверг «Благоразумный разбойник»; в Великую пятницу «Благообразный Иосиф».

Сокровенен на стихирах знаменитый догматик — песнь Богородице, кровной стариной веет литийный стих «Подобаше» — выйдут на литии соборяне к облачальному амвону, да в голос: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй — — »

А когда за архиерейской обедней мальчики альтами затянут «Святый Боже», и вправду не знаешь:

ли на земле ты, ли на небе!

* * *

Все остановилось. Не звонит колокол. Не сторожит лампада. Пуста соборная площадь. Пустынно и тишина.

(Как-то осенью после всенощной я помню такой пустынный час.)

«Какая сила опустошила тебя, русское сердце?»

— — —

И вот — вижу — над южными дверями от Богородицы блеснули глаза, архангелы метнулись: и все застлало тонким дымом. С тихим стуком кадил, с ослопными свечами шли соборяне — большой фонарь и два хрустальных корсунских креста — архиереи, митрополиты, патриархи длинной пестрой волной в поблекших мантиях, в белых клобуках и митрах. И я увидел знакомые лики святителей, чтимых русской землей: в великой простоте шли они, один посох в руках. Венчанные шапки, золотые бармы «великих государей царей и великих князей всея великие и малые и белые России самодержцев» — черным покрытый одиноко шел властитель «всея Руси», в крепко сжатой руке прыгал костяной посох. В медных касках, закованные в серую сталь, проходили ливонцы,

обагрившие кровью московский берег, а следом пестро и ярко царевичи: грузинские, касимовские и сибирские. Шишаки лесовчиков и русских «воров», а под ними шаршавые головы юродивых — не брякали тяжелые вериги, висело железо, как тень, на измученном теле. И в белых оленьих кухлянках скользили лопари-нойды, шептались — шаптали — и от их шепота сгущался туман, и сквозь туман: ослепленные зодчие и строители, касаясь руками стен — —

Неугасимые огни горят над Россией!

1917—1924

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ

Роман

С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ

ПЕТЕРБУРГ

Петербург — город прозрачный,
северная ясня!

Это Москва, наговорившая про него и то и се, ревнивая — Москва, где в Таганке ругают Землянку, на Землянке — Замоскворечье, в Замоскворечье — Арбат, на Арбате — Покровку, это отчаяние разглядело в нем только тяжелые туманы с бесами, с привидениями, это ожесточение «рабов Христовых Последней Руси» из земляных тюрем и с пылающих срубов пустило про него проклятую славу —«быть пусту!».

Нет, одна Нева — Нева, как море, и не гоголевскою шириною, а самой адмиралтейской, широка, и какое море солнца горит на ее глубокой голуби, без устали плывущей «на саженку».

А червонный купол Исакия собрал такой хоровод лучей — на все проспекты и линии и тракты горит — горит не золотою литой кровлей, как Московский Кремль — вся Москва, а пылающим червонным глобусом.

А если по осени наползают туманы или зимой вдруг от туманного дыму не пройти, не проехать по Невскому, а электрические фонари сквозь туманы зелеными вырезными шарами не светят, а дразнят, так ведь на всем земном шаре то же — и в Лондоне и Париже, где с разлившейся Сены такое полезет — как молоко!— и гриппом начнет душить налево и направо, или в Берлине, где от зимней туманной еди дохают, как лошади, и бегут по улицам, скорчившись, не зная, где уж найти тепло.

Да, в Петербурге туманы, но и в Лондоне, Париже и Берлине туманы — не пройти, не проехать! — но зато завтра вдруг ударит московский мороз, и вечер закутается ало-синею северною пеленой, за которой уж ночь кует крепкие крещенские звезды.

И запылают костры на снежных площадях и у белых мостов —
огнями до звезд.

* * *

Утром в Гатчине Оля выглянула из вагона — после дождей ясно, тут уж осень!

— Пе-тер-бург!

И версты побежали мигом — не уследишь:
за нетерпением, за быстротою, за вагонами, загромождающими пути во все концы.

Петербург —
Варшавский вокзал.

Багаж оставила Оля на вокзале, пошла налегке — мимо извозчиков, мимо автомобилей прямо по мостовой под лесами, загородившими весь тротуар, через разбросанные торцовые кубики под гик извозчиков, гуд и шлеп автомобилей, стукотню грузовиков и ломовой огрыз — к Технологическому институту на трамвай: трамвай на Васильевский остров.

Кажется, со всеми бы заговорила; всякому уступила бы место, поклонилась бы—

своему родному
— несравненному —
своему
Петербургу

— — —

На 3-ей линии сдавалась комната — первую попавшуюся Оля и взяла.

И сейчас же назад на вокзал. Перевезла вещи. Убралась. И на Курсы обедать.

* * *

Никогда так на Курсах не весело, как в день осеннего съезда.

Ведь столько не видались — столько рассказов, расспросов, новостей.

Каждая что-нибудь привезла:
Оля — маковники, пастилу, яблоки;
Женя Шубина — вот какие банищи с вареньем,
Варя Финикова — колобки.

И сами наедятся и отделят для передачи:

много курсисток ходят «невестами» к арестованным студентам, они и возьмут.

— Когда пришла я в первый раз «невестой» к студенту-горняку Преображенскому,— вспоминает Женя Шубина,— я взглянула на него, никогда ведь не видела, и так мне стало смешно, не удержалась да как захохочу: не могу от смеха слова сказать, хохочу. А он смотрел-смотрел, и тоже захохотал. Так все полчаса и прохохотали, ни слова.

Кто-то из «невест» вспомнил Катю Новикову — ее случай: «невеста неневестная!»—

надо было устроить свидание с Нерадовским — написали из Москвы его знакомые, в Петербурге у него никого не было: Нерадовского перевезли из Москвы, сидел он по приговору в Крестах. Предложили Новиковой. Новикова пошла в Жандармское, просит свидание с своим женихом Павлом Ивановичем Нерадовским. «С Павлом Ивановичем Нерадовским?»— переспросил жандармский ротмистр. «Да, с Павлом Ивановичем Нерадовским, моим женихом». Ротмистр подумал и чего-то улыбнулся: «Приходите завтра ровно в двенадцать». На другой день ровно в двенадцать Новикова была в Жандармском. За большим зеленым столом сидело много жандармов. И ее посадили — и на самом виду. «Так вы просите свидание с вашим женихом?»— обратился вчерашний ротмистр. «Да».—«А когда же вы с ним познакомились: жил он в Москве и уж два года находится в заключении».—«Это мое личное дело».—«А если я вам покажу несколько карточек и вашего жениха, вы узнаете, который ваш жених?»— «Конечно!» — Новикова смутилась. «Конечно, узнаю, если он очень не изменился». Жандармы переглянулись. «Невеста неневестная!»— заметил кто-то. И это замечание еще больше смутило и раздосадовало. «Так дайте же мне свидание и отпустите!»—«Позвольте, а как зовут вашего жениха?»—«Павел Иванович Нерадовский!»— резко ответила Новикова и от досады и от смущенья... Тут ротмистр взял папку «Дело Нерадовского» и, раскрыв, показал Но-

виковой. Новикова прочитала: *зовут меня Петром Ивановичем Нерадовским.* «Вот вы забыли имя вашего жениха: наверно, ему неприятно будет вас видеть. Лучше уж не дадим вам свидания».

— Я тогда, как ошпаренная, вышла: до сих пор помню вдогонку хохот.

— Это все Фролов напутал: не разобрал в письме имя, из Петра сделал Павла!

И вдруг вошла Зина —

Оля к ней: ведь целое лето!

Зина тоже — Зина, как и Оля: она только что приехала и прямо на Курсы.

Зине отделили для брата —«для передачи»—

Сергей Рашевский сидел с самой Пасхи в Петропавловской крепости, с того памятного дня для Оли, когда, попав в засаду, она в первый раз столкнулась с жандармами и провела несколько часов на Гороховой в Охранном,— многих из его товарищей выпустили, уж несколько месяцев ходил на свободе Федор Иванович Котельников, а его все держали.

После обеда Зина с Олей — к Оле на новоселье.

— Как я чувствую разницу, какая я была в прошлом году, когда в первый раз в Петербург приехала, а какая теперь. Будто после гимназии не один год, а десять лет прошло. Мы в прошлом году ничего не знали, а теперь уже знаем кое-что.

— Ничего, Оля, мы не знаем еще: мы только знаем, чего надо знать.

(Зина всегда вместо «что», говорила «чего».)

— Пойдем, Зина, по городу. Я чувствую, как люблю Петербург. Сердце сжимается, я не могу себе представить жизни без Петербурга.

— Федор Иванович говорит: если кого-нибудь или что-нибудь любишь по-настоящему, то непременно до болезненности. Значит, ты действительно любишь Петербург. Да и я тоже.

Весною часто ходили к Горному институту — к Горному институту и пошли:

там хорошо смотреть на Неву!

А от Горного через Николаевский мост.

— Здесь Каракозов стрелял! — сказала Оля.

Постояли на мосту — посмотрели на каракозовскую

часовню — на Неву к Петропавловской крепости. И Сенатской площадью —«Декабристы!»— мимо памятника Петру, мимо Исакия — на Невский.

Шли мимо Казанского собора.

— Сколько здесь демонстраций было. И после одной Вера Засулич стреляла. Может, и мы, Зина, будем в демонстрации здесь же участвовать.

Публичная библиотека.

А с нею память о занятиях —

сколько вечеров за чтением!

и как хорошо читается книга!

— Я буду заниматься философией,— сказала Зина.

— А я историей,— сказала Оля.

К сумеркам Невский наряжался в электричество.

Загорелись огнями магазины. Теснее пошел народ: кто домой, кто так.

Среди автомобилей и извозчиков прокатила коляска с форейтором на запятках в красном. А вслед карета со спущенными занавесками — политических арестантов на допрос возят.

У Аничкова дворца вдруг раздался непохожий автомобильный гудок —глубокий —

и все остановилось.

Пристав, напруженный, точно на нем не одна, а три шинели, вытянувшись, стоял у ворот с сторожами-татарами, а длинные, как фонари, городовые загораживали дорогу на тротуаре.

Из дворца выехал автомобиль и свернул на Невский.

— Государь! — кто-то сказал.

— Где? где? — повертывались посмотреть.

Но уже автомобиля не было — много было, нетерпеливо и настойчиво стучащих, вдруг остановленных, а такого не было.

И сразу хлынуло — как попало! — наверстывая потерянное на остановке, зазвенели звонки трамваев, и лошадиные морды ткнулись в спины седоков.

Оля и Зина стояли, дожидаясь, пока не установится, чтобы перейти на другую сторону.

— Из-за одного человека и все остановилось!

— Тише, Оля!

С Невского они пошли мимо Летнего сада —«где стрелял Соловьев!» — через Троицкий мост к Петропавловской крепости.

— Как это странно читать: «Иоанновские ворота!»— несчастный ребенок! А сколько здесь сидело, о ком мы всегда думаем: и Перовская, и Вера Фигнер, и Брешковская.

Постояли около ворот — дальше ходу нет.
Еще раз взглянули на Неву — и домой.
— Как я счастлива, что все это вижу опять.
— И я тоже.

* * *

— — — маленькой собачкой бежит Оля: серая, коричневая, а под горлом белое пятнышко. Бежит она —

«несет для всего мира!»

пробежала по соломе, спешит, запыхалась. Пусто кругом — пустырь. И чувствует она: кто-то и еще есть с ней, только она не видит. И вдруг — это тот невидимый — провел пальцем по ее спине — и так глубоко вдавился палец — до тела — до ее человеческого тела — —

* * *

Окна открыты, занавесы спущены.
Мимо дома по улице проходят с песнями.
Песня звучит зловеще.

ой, у лузи та и при берези
червона калина

«Умные люди по праздникам спать ложатся!»— говорит кто-то.
И от этих слов еще жутче.
В доме живет старуха, дальняя родственница: глаза черные навыкате, нос широченный, губы тонкие змейкой. Старуха все крадет: цветы, камушки.
«Миша, говорит Оля брату, давай мы с ней управимся!»
И Миша подошел к старухе, да за руку ее — и посадил на стул. Тут Оля ее за другую руку.
А старуха на Олю посмотрела:

«Хоть и одна ручка осталась, а со мной не справитесь!» Да двумя пальцами Оле в руку ногти огромные вкололись — — и прошли руку насквозь.
«Как! — крикнула Оля,— не справимся? Вон!»
А за окном еще зловещей —

було б тоби, моя ридна мати,
тих брив не давати
було б тоби, моя ридна мати,
счастье — долю дати.

* * *

Наталья Ивановна принесла вишневого варенья с косточками.
«Это последнее,— сказала она,— больше никогда такого не будет!»
И видит Оля, как от слов мамы у любимой бабушки Татьяны Алексеевны лицо стало маленькое, а глаза остеклелись и только в глубине их настоящие. Оля — в сад через балкон. Балкон в Меженинке давным-давно провалился, а вот будто целехонек.
Темно в саду. Деревья жмутся — качаются, но тихо, без шума.
И вдруг выскочила собака — не меженинская, не ватагинская, огромная, как волк — и прямо на Олю.
Оля чувствует: заворожена собака, а заворожил ее тот, кто любит Олю,— и бросилась, а не кусает, только теребит руку.
И вдруг собака поднялась на воздух — от злости поднялась собака на воздух — и там закружилась.

ИЗ-ПОД ОПЕКИ

Кровать, комод, два стола — один заниматься, другой для еды. Этажерка — книги. На комоде зубной порошок. Вместо шкапа завешено простыней в уголку. На стене Михайловский.

Чистая, светлая, теплая.

Хозяйка — Ксенья Ивановна, миллион детей — имен не хватило: и старшая дочь Леля и самая младшая Леля.

На одну сторону — глухая стена, на другую — дверь, заставленная комодом.

Через дверь — поет соседка:

высокий стройный весь в кудрях,
полукафтан на нем широкий
и шляпа черная в руках —

Придет Черкасов — и вместе пойдут в университет на заседание «Исторического общества».

— Ах, Зина, если бы мне от него избавиться: он будто какие-то права на меня имеет. И я его ненавидеть начинаю. Написал мне: будет меня ждать на своей станции, чтобы вместе в Петербург ехать, а то будто мне одной ехать неудобно. Ну, я на письмо не ответила: чтобы не мог знать дня моего выезда. Что ж ты думаешь, подъезжаю к Шумовке, его станция, вижу издали — стоит. Я в уборную спряталась. И вышла, когда поезд тронулся и полным ходом шел. Боялась, будет меня по вагонам искать.

Ну, наконец-то — — —

Зина надела теплую кофту. А у Оли шуба длинная беличья, но она — коротенькую осеннюю кофточку.

— Очень холодно,— говорит Черкасов,— надевайте шубу!

Оля продолжает застегиваться.

— Ужасно холодно, это невозможно. Скажите ж ей: ведь этак — легко простудиться!

— Да какое вам дело, в какой я кофте хожу? Ну, скажите, какое?

— Ужасный холод: я боюсь, вы простудитесь.

— Никакого вам дела нет. Захочу — без кофты пойду. Я никогда не позволю. Я наконец вырвалась из-под родительской опеки. Вы меня будете опекать? Ненавижу опеки!— Несчастней меня нет человека!— Я не знаю, что это такое!

— Оля, что ты, голубчик? что ты раскричалась так?

— И ты тоже!

— Да нет, нет, иди в этой кофте.

высокий стройный весь в кудрях,
полукафтан на нем широкий
и шляпа черная в руках—

Черкасов несет шубу —«на случай».
Оля впереди:
ей холодно, но делает вид, что ей тепло.
Утром по дороге на Курсы —
медленно идет Анна Ивановна Синицына,
медленная, одна.
«Какая она счастливая: одна! свободная!»
И вспоминаются Оле все вечера — ни одного без Черкасова, постоянно.
«А я как связанная!»

* * *

По дороге домой с реферата —
Зина Орловой:
— Надо что-нибудь такое сделать, чтобы Черкасов перестал ходить. Посмотрите, во что Оля обратилась: так раздражена!
— Тебе нет до меня никакого дела!— открикнула Оля,— ты мне, как Черкасов, надоела.
Орлова Зине:
— Вы так терпите от Оли! У вас как будто и самолюбия нет.
Зина — засопела.
И больше ни слова до дому.
У фонаря перед воротами:
— Зина, милая, пойдем ко мне ночевать! — Оля погладила ее руку.
И Зина, как озарилась:
— Вот из-за таких минут я и терплю!

* * *

«я виновата перед тобой, Зина, я это сознаю. Ведь ты меня любила всегда ровно, ты меня всегда так любила, как я *теперь тебя люблю.* Помню я один день: папа мой умер. Я шла обедать и встретила тебя. Никогда не забуду твоего лица в тот миг, когда ты меня увидала: любовь, сострадание, желание помочь — все

выражалось в нем. Мы долго ходили по Среднему проспекту. Я была счастлива в тот день, я редко бывала так счастлива, как тогда».

* * *

До петербургской встречи с Олей для Черкасова «революция» была так — никакого особенного значения.

Он не верил ни в какие «революции»: ни бомбы, ни войны, ни «покушения»— никакие социальные катастрофы, не то чтобы пересоздать человека, но и изменить его ни в чем не изменят — и злой злым «злюкой» и останется и расчетливый не сделается расточительным, а дурак умником, завистливый не станет понятливым, а хвастун скромным, царствует ли «на страх врагам» царь или станет у власти Сергей Рашевский, царская ли Россия или социалистическая — все едино.

И когда он однажды спросил Сергея Рашевского:

«А меня куда же вы денете после революции?»

Рашевский добродушно ответил:

«В каталажку посадим».

Черкасов никак не «революционер»— какой-нибудь случайный взгляд прохожего, «вскользь замечание» или «семейная сцена за стеной» для него куда значительнее, т. е. он тоже, как и каждый, верит во что-то, и именно верит в «личное», «случайное», «неважное», «мелочи», «пустяки и подробности», те подробности «к делу не идущие», но какие почему-то каждым приплетаются да и самой жизнью наматываются на так называемое «главное» и «важное».

«А когда целый народ всхлипнет «за стеной», целый народ заерзает, это как по-вашему?» — заметил Котельников, приятель Рашевского.

«Т. е. революция! Понимаю. Это — теория. Надо, чтобы тебя ущипнуло. А целый народ — это теория».

Черкасов разошелся со своими товарищами, но когда увидел, что для Оли «революция» начинает получать самый главный смысл жизни, он снова сблизился с оставшимися на свободе из кружка Рашевского: это давало ему материал для разговора с Олей и всегда предлог зайти к ней. Когда не было «нелегального»— никаких прокламаций, он приносил журналы, книги — и такие, которые трудно достать — а потом забегал спросить: прочитала ли она?

Так всякий день — ни одного вечера без Черкасова — постоянно.

— — —

— Я прошу вас — не стесняйте меня, пожалуйста! Не приставайте ко мне со своими заботами. И вообще не накладывайте руку на мою жизнь. Я не люблю этого. Я сама знаю, как мне жить. Не приходите так часто — я просто возненавидела вас!

Оля не говорила — а что-то в ней, как ножом — слова ее — нож.

Он видел: лицо ее окаменело, зубы стиснуты — вот ударит! —

или нет отвратительнее человека, который оцепляет своей любовью тебя,— без взаимной любви?

Он видел это непохожее жестокое лицо — и глядел прямо в неумолимые глаза ей, покорно, готовый —

или боль и ласка одно? Нне-ет —

И вдруг опять — он видит —«в поле блакитном»

Оля — та Оля!

— Вы не сердитесь! Мне неловко, что я так сказала. Вы не сердитесь!

— Нет — я не сержусь. Я — знаю.

* * *

Черкасов знал: рано или поздно так должно было случиться —

Оля не только не любит его — это-то он давно понял — а еще и — — и одно остается:

«Надо все забыть!»

Целый месяц он не ходил к ней — избегал встречи, как пропал.

И за этот месяц мысль его пробралась через все лазейки, которые ведут к самому мирному — к забыть —

а забыть-то нельзя!

Когда он вышел тогда, как обрадовался: уж так ясно — надеяться нечего! И вдруг почувствовал острую обиду—а мстить некому——одно осталось:

«Отрезать себя от всякой памяти!»

И он написал Оле: просил придти к нему.

И вот ждет — —

— — — —

Комната, как у Оли. Так же этажерка — книги. Только над кроватью Достоевский —

на Достоевского Оля смотрит всегда с удивлением, она прочитала его еще гимназисткой: «такого замечательного писателя сослали! четыре года в каторге пробыл!»

— — — —

Шкатулка из карельской березы — Черкасов купил ее, когда решил бесповоротно устранить всякую память и уехать из Петербурга — шкатулка ему, как гроб.

Письма Оли и карточки ее хранились в особом ящике, куда он больше ничего не клал, их было не так много, но он медлил —

бережно брал конверт, еще бережнее вынимал письмо, перечитывал.

Он никак не мог расстаться и уложить в этот гроб, что было и есть и будет для него (забыть-то, верно, нельзя!) самым святым.

Карточки он уложил в один конверт: их было десять — и гимназические и курсовые.

— Тюх-тюх! — представил он Олю:

так Оля соловья представляла: «тюх-тюх!»

И стал ходить от окна и до двери —

и от двери к окну —

В окно зеленый туман, сквозь туман электрические фонари.

«Варины именины!» — сестру вспомнил и с ней Бобровку, Нелиду Максимовну и Кушку, Федора Фаллалевича и чудесного журавля, полет к солнцу по «финикулярной» дороге, весь дом, лето — все, все, что было связано с Олей. Или никогда не забыть?

«Ах, забыл!» — и он бросился к книгам — вот-вот придет Оля! — вытащил «Лекции» Ключевского, положил к шкатулке.

Шкатулка — Ключевский:

«Слушательнице Высших Женских Курсов Ольге Александровне Ильменевой. Знание и народ — вот два слова, которыми я определяю смысл и цель своей жизни»

— Тюх-тюх — а вышло горько —

сквозь зеленый туман — «огненной пастью, в поле блакитном» —

Оля.

— — —

А уж он и не знает, как.

— Вот шкатулка.

— — —

— Там ваши письма и карточки — возьмите!

И сквозь зеленый туман:

— Может быть, мне будет легче, когда их не будет.

И вдруг испугался:

днем фонари — это страшно: только покойников возят!

— Не уничтожайте! Полежат у вас, а потом опять мне!

— — а это — это лекции Ключевского.

«Лекции» Ключевского — большая редкость!

Оля взяла шкатулку, взяла книгу —

— Посидите немножко! — загородил дорогу и так просит,— посидите у меня!

В дверь постучали.

— Я никого не пущу! — он выпрямился весь, кулаки—

если бы вздумалось кому — —

А никого не было.

Или фонарщик в цилиндре?

— Тут живет шпион! — показал он на дверь.

Эта дверь, как у Оли, за комодом.

Оля села и вдруг поднялась.

— Нет, нет,— он опять испугался,— я думаю, не за мной!

— Достаньте мне Календарь Народной воли! — сказала Оля.

«Календарь Народной воли»— еще большая редкость, чем «Лекции».

— Не могу.

И он тяжело сел.

И дав зарок, нарушил: стал говорить о своей любви — что не может унять, не может забыть; и об одном просит, чтобы сказала ему —

что она его хоть немного любит!

Оля ничего не ответила — и чего ответить?

Так и ушла.

И было у нее такое чувство:

и радость — «наконец-то свободна!»

и тяжесть непомерная — «не сбросишь!»

А он — один — и ничего — никакой памяти — зеленый туман —

остается уехать и — — конец.

И тут почувствовал он в себе, как всегда, жесточайший азартный упор — он чувствовал это всегда, когда надо было что-нибудь делать бесповоротно —

когда надо было на поезд и по часам выходило пора, он начинал заниматься всякой ерундой или просто сидит, смотря на часы и наблюдая, как с каждой минутой остается все меньше и меньше поспеть; то же и с назначенными и условленными часами, когда надо идти, чтобы встретить или застать, вообще поспеть к доктору ли на прием, в полицию, на экзамены; только другая какая-то «жизненная» сила в нем же самом сдвигала его с места, подымая из его упора.

И теперь, когда «надо было уехать» — —

* * *

Ничего Оля не умела делать, только Оля умела паску: сырную и кулич —

няньки Фатевны наука.

И затеяла Оля сделать паску.

Зина и весь «миллион» хозяйки Ксении Ивановны от старшей Лели до самой младшей Лели и Вениамин Валерьянович, сын хозяйкин, все поставлены на работу:

один — вымочив миндаль, чистил,

другой — тер миндаль на терке,

третий — засучив рукава, растирал на сите творог,

четвертый — трудился над макотрой, лопаточкой мешал тесто,

пятый — месил,

шестой — подбрасывал,

у седьмого была работа: держать макотру, чтобы не скувыркнулась,

восьмой — работал над маслом: надо чтобы масло растопилось, а не закипело (Боже сохрани, чтобы закипело!),

девятый — при яйцах находился: выпускал, отделяя желток от белка,

десятый — при молоке,
одиннадцатый — у печки, бережет духовку: чтобы было парно, но никак не жгло,
двенадцатый — бумагу режет для форм,
тринадцатый — маслом смазывает,
четырнадцатый — — всем работа, всему миллиону!

Вениамин Валерьянович не выдержал — тесто месил! — и под благовидным предлогом сбежал. Ну, и без него — Зина, сама Оля и от старшей Лели до младшей Лели без одного миллион! Самая младшая Леля натащила булыжников с мостовой: чтобы под пресс паску поставить.

И поднялся кулич: на руку — пух, откусишь — мед, а дух, никакие английские духи так не пахнут и цветов таких ни на полях, ни в оранжереях еще не цвело! и не съесть еще куска никак невозможно и нет такого азартного упора остановить чтоб; а паска — прямо на языке тает! —

няньки Фатевны наука.

Вечером Оля угощала паской Зину.

И что-то с земли, с Ватагина было в комнате и по всей квартире и соседка-жилица за дверью даже петь перестала и, напившись чаю с Олиной паской, сидела смирно и нюхала.

Ксения Ивановна постучала к Оле за йодом:

Вениамин Валерьянович, сбежавший под благовидным предлогом, чувствуя свою вину перед Олей, стругал палочку для проверки теста «на будущее время» и обрезал себе палец.

Оля рассказала, как она лечила бабу йодом —

Заболела баба-соседка. Ее дочка на ватагинском огороде работала, Евлашка. Баба Авдотья. Оля тогда на каникулы из Петербурга приехала и сразу пошла слава. Евлашка рассказала Оле о матери: больна — «в грудях колет!» И просит чего-нибудь дать помазать. «Я сейчасу приду, сказала Оля, принесу йоду!»

— У мамы много пузырьков на комоде за зеркалом на всякий случай: и сода, и мятные капли, и борная. Смотрю, большая бутылка: Йод. Я взяла бутылку и к бабе. Натерли ей спину, грудь. Вся бутылка вышла. Не пожалела.

Оля никогда не жалеет, и за что примется — вовсю.

— Все руки выпачкала. Едва отмыла. На другой день спрашиваю Евлашку: что мать? «Лучше!» — Пошла навещать. «Совсем хорошо». И поправилась Авдотья.

Прошло несколько недель, собралась Ирина ехать на вечер, а были у нее туфли бронзового цвету. «Где, ищет, мой лак для туфель?» По всем углам во всех комнатах ищет, всех спрашивает. И уж подпоследок к Оле: «Оля, не видала ли ты мой лак от туфель — такая бутылка: Йод написан?»

НЕ ИЗ ГОВОРЯЩИХ

Анна Ивановна Синицына — не из говорящих.

Бывают же такие кроткие — не говорящие, оттого и имя у них такое — домашнее, тихое, ну вот, как Анна Ивановна.

Старше Оли курсом, а по летам вдвое: за тридцать.

Полная, медленная, неповоротливая, а глаза добрые — и оттого, что рябая, еще добрее смотрят —

обыкновенно, как раз наоборот: рябой, ой!

Олю с первой же встречи стала называть Олей —

а Оля ее — Анна Ивановна.

На собраниях «Кружка декабристок» — такой кружок на Курсах: рефераты по «истории общественного движения в России» — бывала, но редко. Встречались на Курсах.

Ничего такого — Оля даже не знала, откуда Анна Ивановна и как она жила раньше, да и Анна Ивановна ничего не знала о Оле, а встретит Олю, и так всегда обрадуется, — так ласково, добро добрыми глазами смотрит.

«Она за мной никогда не поспеет — думала Оля, — но она очень хорошая!»

А Анну Ивановну Оля радовала —

— Как познакомишься ближе с курсисткой, так она и исчерпается! — сказала как-то Зина.

— Так нехорошо говорить — возразила Анна Ивановна, — у вас и Оля исчерпается!

— Да вот — не исчерпывается никак!

Неисчерпаемость эта, в которую верила и восхищалась Зина, радовала Анну Ивановну.

* * *

Час был поздний.

Анна Ивановна положила под подушку чайник — самовара больше не дадут! — и подумала: почитает книжку, выпьет чаю и спать.

Там за окном декабрь, а в комнате тепло и книга интересная: «Рассказы» Чирикова. Есть и еще: Сеньобос, «Политическая история современной Европы»,— два тома. Надо постараться.

В книге для Анны Ивановны — все.

Другой жизни у нее нет.

Анна Ивановна знает хорошо: там, где людно, там ей не место — там надо чем-нибудь брать, а ей нечем. Когда она научится, кончит Курсы —,

она будет —«культурной работницей» будет — «приносить посильную пользу народу», «незаметная труженица».

Сеньобоса «Политическую историю» она отложила: надо с выписками! — села за Чирикова.

Очень интересно —

— — стук —

Оля!

«Так поздно?»

— Анна Ивановна, дорогая, пойдемте на вечер лесников!

Оля не собиралась, ей вдруг захотелось на этот вечер. А Зину не застала. И вот она пришла уговорить Анну Ивановну идти вместе.

— Но так поздно, Оля!

Анна Ивановна и обрадовалась — она всегда радовалась Оле — и шевельнулось тайное: тянет ведь на люди! И не хочется: начала Чирикова — и все-то расстроилось.

— Да что же такого, Анна Ивановна, ну не к началу поспеем.

— Что ж, я с вами пойду, да вы меня оставите.

— Да не оставлю, Анна Ивановна. Вместе пойдем.

— Да вы, Оля, лучше у меня посидите. Напьемся чаю.

— Пойдемте, Анна Ивановна: там все в елках убрано. Ближе к природе.

— Ну, ладно,— согласилась Анна Ивановна,— да вы меня не оставите?

— Не оставлю, Анна Ивановна.

Оля была в беленькой кофточке, нарядная —

Анна Ивановна надела свое парадное синее платье.

Анна Ивановна жила на Васильевском острове, на Малом проспекте около Трубочного завода. В Дворянское собрание поехали на извозчике.

И дорогой Анна Ивановна вдруг спохватилась:

«Оля ее оставит!»

— Да не оставлю, Анна Ивановна! — повторяла Оля.

* * *

Михайловская не Тучкова набережная — на вечер опоздали. Но это ничего! Взяли «входные» билеты. Разделись под общий номерок,— чтобы уж вместе! И в зал — в толчею.

У Оли столько знакомых: один подошел, другой, третий —

Анну Ивановну и оттерли.

За разговором Оля и не заметила.

Антракт —

две волны идут! — —

Оля идет бурно в своей волне, очень ей весело. Бутоньерка с цветами еще алей цветет на ее белом. Вокруг нее столько — и лесники, и горняки, и студенты — и невозможно со всеми разговаривать.

А навстречу в другой волне Анна Ивановна —

попала в волну и движется.

И вдруг увидела:

— Оля, номерок?

И смотрит — добро смотрит —

голова набок, руки опущены.

Но волна захлестнула — Оля ничего не успела! — пропала Анна Ивановна.

Так до самого до конца вечера.

И где была Анна Ивановна — Оля ни разу не вспомнила.

Когда кончился вечер, Оля нашла ее у лестницы: стоит ждет —

без Оли ей ведь никак не выйти!

Анна Ивановна весь вечер то в волне, то в толчее, одна. А как бы тихо провела она вечер дома,— за книжкой. И не уйти ведь: без номерка платья не выдадут, номерок у Оли. Анна Ивановна роптала — голова набок, руки опущены — Господи! Но как увидела Олю: Оля глядела такая — все в ней — гори-гори ясно!

— Анна Ивановна, не сердитесь!

— Я не сержусь — Оля!

* * *

Разговор за спиной:

«Мне не нравится Оля: какая-то ханжа, зажигает лампадку и всем улыбается! И кто ее знает: кто ей нравится, кто не нравится?»

«Мне нравится: она вся — самопожертвование».

Оля слышала — это было еще в начале ее курсовой жизни — и с тех пор стала замечать за собой: улыбается она или нет.

А раньше и не догадывалась.

Когда она приехала в Петербург, она всем верила — во всех видела хороших людей и в каждом — человека, желающего ей добра. И вот, встречаясь, всем улыбалась.

Эта улыбка ее — от глубокой веры в доброту и желанность человека. А от глуби веры — свет.

Ведь вера — огонь!

Улыбка ее чаровала — привязывала.

А привязанность к ней, что покорность.

Медленная Анна Ивановна стала чаще приходить на собрания кружка.

Анна Ивановна прочитала Маркса и Николая о́на — это в основу. И много другого: от Гобсона, «Эволюция современного капитализма» до «Элементарной политики» Томаса Ралей, «Стихотворения» П. Я., «Современное положение учения о валюте» — Лексиса и статью Павловского, «Теория взаимного кредита».

Неговорящая Анна Ивановна вдруг заговорила.

Но то, о чем она заговорила, и как заговорила, привело Олю в ужас:

Оля сразу почувствовала, что Анна Ивановна «склоняется» к с.-д.

Это «склонение» обыкновенно выражалось в тоне речи: из неуверенной становилась уверенной — «марк-

систкой», а для начала говорили, будто нет разницы между с.-д. и с.-р.

А ведь для Оли — «нет разницы!» — это кощунство.

Целую ночь не могла Оля успокоиться.

И только под утро додумала. Решила написать письмо.

И написала:

«— — я вижу прекрасно, что вы склоняетесь к с.-д., и прекращаю с вами всякое знакомство —»

Утром до Курсов — к Анне Ивановне:

Анна Ивановна что-то делала, зашивала что-то.

— Вот вам письмо.

— Садитесь, Оля.

Оля села.

— — — —

— Да что вы, Оля! Я нисколько не склоняюсь!

Оля молча поднялась.

— Вы пойдете, Оля, сегодня на Курсы?

— Да.

И ушла.

А на другой день на Курсах —

Оля быстро проходит по залу —

Анна Ивановна медленно ей навстречу, увидела Олю и так кланяется — —

А Оля голову вверх:

чтобы не подумала, что и она.

* * *

Студент Фролов — самый веселый из говорящих.

Фролов: «Идеальных мужчин можно найти, а женщин нет».

Оля: «Нет, есть».

Фролов: «Ну, кто же, Башкирцева?»

Оля: «Нет».

Фролов: «Ну, Софья Ковалевская?»

Оля: «Нет».

Фролов: «Ну, кто же?»

А Оля думает: «Софья Перовская».

И не говорит, не хочет: это имя — это такое святое для нее! — и она не может так просто произнести для разговору;

как никому никогда не скажет о самом святом своем — о Пасхе: потому что засмеют.

А «Пасха» — основа ее «революции».

Еще в детстве, когда думала она о «Страстях», то много мучилась:

«Вот это было и из-за меня, потому что и за всех».

И ей казалась самая лучшая дорога в жизни — пострадать за других.

* * *

Оле было стыдно жить спокойно и хорошо, когда другим плохо.

«Не хочу быть рабою с рабами, а хочу быть с теми, кого гонят за то, что хотят устроить счастье на земле, с теми, кто за это гибнет — хочу и сама пострадать!»

С.-р. привлекали ее, потому что, как ей казалось, они не материалисты и именно хотят пострадать — погибнуть; с.-д. своим материализмом отталкивали ее и оскорбляли ее веру — ее «Пасху».

Курсистка Орлова, старшая — по летам, как Анна Ивановна,— ее Оля называла Александрой Александровной,— Орлова однажды заметила:

«Что вы, Оля, так нас не любите? И всего-то во всей России кучка людей, которые хотят социализма, и среди этой кучки ненависть».

А Оля, хоть и одолела всю премудрость от Маркса, Николая она до безымянной статьи «О народном кадастре» и «Выкупных платежей» Ермолинского, никогда не представляла себе, что можно жизнь изменить так, чтобы все были счастливы.

* * *

Женя Шубина — самая ученая.

Женя: «Я считаю, Оля, что сомневающиеся выше фанатиков».

Оля: «Нет, фанатики лучше».

Женя: «Фанатики грубее, а сомневающиеся более чуткие».

Оля: «Но фанатики непременно что-нибудь да сделают, а эти чуткие — расплывутся».

* * *

Если Анна Ивановна кажется такой необыкновенно медленной, то это только потому, что на свете есть Соня Ефимова — живая, веселая, тоненькая — ровесница Оли.

Но по привязанности к Оле ни одна не уступит:

тут безразлично — что медленный, что быстрый.

Соня Ефимова, как и Анна Ивановна, не из говорящих.

Но она ни с.-д., ни с.-р. и ни к чему не «склоняется», просто барышня.

Соня часто провожает Олю с Курсов домой. И всю дорогу громко в глаза восхищается ею.

Оле она нравилась, но как была далека!

Оля никак не могла помириться с ее полным равнодушием к самому главному — к «революции», и что для нее совсем неважно: с.-р. или с.-д.

Женя Шубина тоже, но Женя, занимаясь наукой, все-таки «склонялась» к с.-р., а для Сони все равно.

— Не будьте такой нетерпимой, Оля. Вот я люблю вас и вы мне милы просто, как человек. А вы меня так отпугиваете всегда.

Оля хотела резко ответить, но ее обезоруживали слова Сони — всегда нежные.

Но однажды ответила:

— Хорошие только и бывают революционеры.

Перед Курсовым вечером распределяли почетные билеты и большая была борьба между с.-р. и с.-д.: кому послать — оставался всего один билет —

Мякотину или Мартову?

Женя Шубина ходила по аудитории с листом и все подписывались: кто за кого.

Оля подписала на Мякотина.

И слышит — Соня:

— Я подпишусь на Мякотина, чтобы доставить Оле удовольствие.

— Как? чтобы мне удовольствие! — крикнула Оля,— вы будете подписываться на Мякотина? Никогда! Женя, вычеркни. А с вами я не желаю больше быть знакомой.

И перестала кланяться с Соней —

как тогда с Анной Ивановной.

Встречаясь, Оля так могла смотреть —
смотрела, а будто не видела.

* * *

А это потом —
Не через год, через два —
Не в аудитории, не на шумном Курсовом вечере, не в комнате на Васильевском острове, а в тюрьме — в Предварилке на Шпалерной.
В тюрьме Оля все припомнит.
Вспомнит и Анну Ивановну и Соню —
доброую медленную Анну Ивановну,
нежную живую Соню.
Соне она написала письмо — зашифровала
«— — не сердитесь, что я к вам
была резка, не сердитесь на меня».
И получила ответ — по почте через жандармов:
«я вас считаю выше всех людей!»
И с письмом — ангел: на стекле нарисован. А когда из тюрьмы выпустили, едет Оля на извозчике и близко уж от дома на Среднем проспекте —
навстречу ей медленно Анна Ивановна.
Оля схватила извозчика да что есть голоса:
— Анна Ивановна!
Та вскинулась — не верит! — а поверила:
— Оля! Вы так изменились: вы — меня позвали!

НЕЛЬЗЯ

Люди делятся: на просто хороших и замечательных —
просто хорошие — это те, кто идет на жертву за других, замечательные — кто идет на жертву до конца и ничего личного не имеет.
Например, замечательный человек не может жениться.
— Жениться или выйти замуж — нельзя!

— На Курсах был устроен «Бракоразводный комитет», влившийся потом в «Струю единения». Зачинщицы: Варя Финикова, Оля, Лида Алексеева и Нина Мавлютина. Цель комитета: предупреждать браки —

«а если не удастся, то разводить».

Когда узнавали, что какая-нибудь «стоющая» т. е. революционная курсистка выходит замуж или «стоющий» студент женится, посылалось письмо — стихи:

есть дни когда так пошл
венец любви и счастья!

Комитет действовал. Но к великому огорчению ни одного брака не предупредили и никого не развели: кому задумалось, так же женился, как и до стихов, и кому решено, выходил замуж и со стихом.

«Стоющая» курсистка Надя Ширяева вышла замуж за студента лесника Кожевникова, тоже «стоющего». Пришла на Курсы. Здоровается.

— Оля, я в ваших глазах потеряла половину?

Оля сурово:

— Нет, три четверти.

Елена Ивановна Мавлютина, мать Нины, пошла на пари с Олей:

«Если до двадцати пяти лет Оля не выйдет замуж, она даст сто рублей Оле и сто рублей Нине; если же выйдет — »

— Мне от вас ничего не надо.

А Оля:

— Лучше в могилу, чем замуж.

И одно жалеет: ждать долго — целых восемь лет! — а получить бы сто сейчас.

— Нельзя жениться и выходить замуж.

— Нельзя танцевать.

— Нельзя наряжаться.

— Нельзя причесываться по моде.

— Нельзя — — — чего еще?

Варя Финикова — законодательница «нельзя», она же и образец:

большая, белые, как лен, волосы в скобку, неизменно в черной блузе со стоячим воротничком и, хоть ей семна́дцать, как и Оле, а какая-то вся линючая, походка — углом, а в слове подчеркнуто: грубо и резко.

Финиковой старались подражать:
Женя Шубина, совсем другая,— всякий на нее заглядывал! — Женя старалась размахивать руками, когда с Варей шла по Среднему проспекту; Оля танцовала, любила танцы — перестала танцевать; Лида Алексеева — остригла волосы.

* * *

Самым хорошим в мире — святое имя: Софья Перовская и Вера Фигнер —

Вера Фигнер — потому что столько лет сидела в Шлиссельбургской крепости, Софья Перовская — повешена: принесла самую большую жертву, какую только может человек.

На Курсовом вечере в Дворянском собрании пел Фигнер.

Оля — ей очень понравилось — сидит молча. Зина аплодирует.

— Почему ты не хлопаешь?

— Его сестра — в Шлиссельбургской крепости, а он на императорской сцене: я не желаю ему хлопать.

После Фигнера Тартаков.

Оля хлопает — отбила все ладоши.

— А почему ты знаешь,— заметила Зина,— может, брат Тартакова в ссылке?

Оля очень рассердилась.

И главная ее всегдашняя досада:

что и Зина не «до конца».

Зина — самая любимая и самая близкая. И Оля часто с ней ссорится.

Первая крупная ссора из-за «нельзя выходить замуж».

Зина сказала:

она не собирается, но, может, когда-нибудь и выйдет!

Оля долго сердилась, а в день мира Зина ей подарила маленькую колоду карт — как раз любимое Олино — «маленькое».

И всякий раз, когда мирились, Зина говорила:

— Я хотела подойти к тебе и сказать: «Да ведь я — Зина! чего же ты сердишься?»

А Оля хотела, чтобы Зина так же, как и она сама, была всегда «до конца».

«До конца» в духе только у Оли — потому она и коноводит. И без всякого — в ней нет этого, ну чтобы непременно первой:

— Не все ли равно,— говорила Оля,— кто сказал, лишь бы было сказано.

А внешне — у Финиковой, до опрощения которой, как ни старались, никто не мог достигнуть —

ну, конечно, сама природа помогла ей стать образцом.

Не «до конца» — разное: не «до конца» — это большинство — это сочувствующие — это те, что шли «за компанию»:

хотели не отстать по виду и как можно дольше поберечься.

Оля проходила науки — изучала историю и философию и литературу — всякие курсы: Введенского, Гревса, Котляревского, Платонова, Шляпкина. И все это ей казалось так, между прочим, самым же главным — читать, изучать и разговаривать:

«как жить той жизнью, чтобы пожертвовать собой, и как жили те, кто пожертвовал собой?»

Оля думала об этом и додумывала до самых мелочей.

Как-то поехали в Лесное компанией. Очень проголодались. И все только об этом и говорили.

А Оля говорит:

— А как Перовская 1-го марта утром, пила что-нибудь или нет?

(1-е марта — день, когда для Перовской определилась ее жертва.)

Оля никогда не думала,

«что вот Перовская убила — »

Оля думала только о том,

«что Перовская пожертвовала собой».

Вечеринка —

Конечно, спор: спорят с.-р. и с.-д.—

взлохмаченный мужиковатый «народник» и городской уверенный, всегда хорошо одетый «марксист»,

краснощекая, пышущая паром земля и стальной мерный молот — кто кого?

Конечно, студент Фролов — танцор, спорщик, запевало («Эй вы, синие мундиры...») — «душа веселья» по словам Сони Ефимовой, всегда танцующей на вечеринках.

Конечно, песни,— революционные, студенческие и непременно —

закувала га сыза зузуля
ранным рано на зари...

что-то от «Слова Игорева», песен половецких, запавшее на скованную льдом Неву.

И непременно:

«прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми».

И танцуют.

Но вечер не в вечер и спор не в спор и прогресс не в прогресс и сам Фролов не веселье, если нет чего-нибудь такого: Чириков, например, приехал —

На вечеринке присутствовал вернувшийся из Сибири с каторги старый революционер-народоволец. Фамилию его скрывали из конспирации.

Оля была в восторге — в первый раз своими глазами она видела того, кто был на каторге.

Старик тоже заинтересовался и сказал Оле величайший комплимент, какой только она могла представить себе:

он сказал Оле, что она ему напоминает Софью Перовскую.

А на другой день пришел к Оле в гости. Расспрашивал о Курсах, о их кружке.

А Оля — о своих «кумирах»:

ведь он знал их лично!

А сама все думает, хочет узнать:

просто ли он хороший человек или замечательный, т. е. женат или нет?

А спросить неловко.

И наконец придумала:

— А скажите, сколько людей живет в том доме, в котором вы живете?

Старик расхохотался:

— Вы, наверно, хотите знать, женат я или нет?

— — —

— Я женат, и у меня дети. Вы наверно думаете, что нельзя жениться?

Оля смутилась.

Но она уж знала:

перед ней просто хороший человек, но не замечательный.

* * *

За Олей студенты ухаживали —

Черкасов, Оводов, Рашевский, брат Зины, Фрид — у всех на виду, про это знают все Курсы!

Оля видела, что она нравится —

и ей это было приятно.

Но она никогда не сознается, что это приятно.

Оля старалась думать, что это очень нехорошо, и что Варя Финикова куда лучше ее:

«потому что за ней никто не ухаживает!»

Само слово «ухаживать» зачислено было в «нельзя», нельзя было даже произносить его.

Когда Оля приехала на каникулы в Ватагино, Наталья Ивановна сказала ей:

— У нас все говорят, что Владимир Михайлович Черкасов все для тебя устраивал в Петербурге. Вообще ухаживает.

— Мама! — вспыхнула Оля,— не оскорбляй меня: за мной никто не может ухаживать. Это — у вас.

— Ну, я не знала, как это у вас называют.

* * *

Оля хотела жить по той правде, которая открылась ей от «Страстей»:

чтобы ее гнали и в конце концов она погибла.

Оля хотела найти таких же — жаждущих погибнуть по тому же.

И сначала ей казалось, что и все так. Но понемногу она стала замечать, что не все, и по-другому:

Маня Сажина хочет отомстить кому-то за все зло, за всю беду, какую она видела с дет-

ства — она жила с матерью и братом очень бедно; Лида Алексеева хочет своей гибели, пожалуй, как и Оля, но что-то и еще есть в ней, чего Оля никак не поймет, только чует: Лида кроткая, не властная, покорно готовая — — в петлю; Зина Рашевская, самая близкая и любимая — —

Оля была уверена, что и она и Зина «погибнут» — жить долго не будут.

А Зина — Зина хотела жить.

— Ну, пускай, Оля, нас хоть в каторгу сошлют, чтобы только мы жили!

* * *

На лекции Гревса по «Истории средних веков» Лида Алексеева сказала Оле:

— Хочешь увидать Ильину?

— Ну, конечно, хочу.

Оля хорошо знала «Историю революционного движения» и это имя было для нее «кумиром»:

Ильина двадцать лет пробыла в Сибири!

Целой ватагой курсисток отправились с Васильевского острова на Троицкую к сибирякам, приютившим Ильину.

Ильина встретила очень ласково.

Ильина рассказывала о Перовской и Желябове. Оля не проронила ни слова. Но не все было так, как ей хотелось: некоторые слова коробили и удивляли.

«Желябов был женат!»

Если тот старик-революционер был женат и имел детей — «просто хороший человек» — это возможно, но «замечательный» — а другим Желябов не мог быть —

— Как это может быть? — возмутилась Оля,— неправда!

— Ну, вот еще,— рассмеялась Ильина,— такой красивый, горячий, да ему хоть всякий день влюбляться, а ты ему жениться не позволяешь!

ДЕМОНСТРАЦИЯ

В воскресенье затеяли сниматься.

В Александровском саду около Жуковского — сборный пункт:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина.

Последняя пришла Варя Финикова — опоздала:

она только что встретила Брусилову, ходившую на свидание в Петропавловскую крепость с курсисткой Фирсовой.

— Фирсова отравилась в крепости уж полтора месяца. Только скрывали... отравилась она потому,— и уж не говорила, а вызвякивала Финикова,— ее прокурор изнасиловал!

— Так этого оставить нельзя! — вспыхнула Оля.

— Нельзя! нельзя! — выкрикнули враз всей компанией.

— Митюрников повесился — и это прошло бесследно. Боровкин в пролет бросился —

И Оля стала приводить примеры тюремных самоубийств: историю революционного движения она знала лучше всех.

И подожженной кипящей вереницей шумно тронулись на Невский к фотографии Жукова, чтобы затем немедленно же приступить к обсуждению:

что делать?

И без того шумно на улице — весна. А когда еще горит — ничего не разберешь: и не одну пластинку испортил фотограф, пока наконец, не щелкнул:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

* * *

Переполненная аудитория,— весенняя улица:

и рев и скребки и слит голосов.

Брусилову вытащили на кафедру:

Брусилова — первая и единственная, знавшая о Фирсовой, должна сообщить всем.

Безголосая — вряд ли услыхать и с первых рядов — застенчивая и робкая Брусилова начала.

А слабые ее слова повторялись громко и по несколько раз во все концы громким горячим кольцом курсисток:

— Фирсова отравилась в крепости уж полтора месяца —

— Только скрывали —

— А отравилась она потому —

И голоса зазвенели еще звонче:
— Ее прокурор изнасиловал —
— Так этого оставить нельзя!
— Нельзя! — подхватили, — нельзя!
— Митюрников повесился.
— Боровкин в пролет бросился.
— Нельзя! нельзя! — кричали со всех сторон и изнутри и с потолка, из самых стен.
Предложено было обсудить:
что делать?
И гудел один взрывчатый гуд:
— Нельзя — — что делать?
И в конце концов решено было известить студентов и с ними сговориться.

* * *

Второй день гудели Курсы.
Занятия прекратились. Кроме курсисток в аудиторию никого не пускали.
— Что делать? — другого вопроса не было.
Не пускали и комитетских дам: они дежурили на лестнице и отговаривали курсисток, запугивая Курсами:
«Курсы на волоске!»
«Курсы закроют!»
«Университет не закроют, Курсы закроют!»
И когда после споров и криков решили наконец отслужить панихиду в Казанском соборе — «и чтобы как можно больше народу!» — и это совпадало с решением студентов, напуганные курсистки стали вносить свои предложения.
— Отслужить панихиду в Исакиевском —
— чтобы не так заметно.
— Нет, каждый пусть отслужит отдельно от себя —
— чтобы совсем тихо.
И опять все перекувырнулось — бестолочь, смех и сердце.
— Глупости! — крикнула Оля и так крепко: она действительно была, как красное платье («когда осержусь, стану как платье!»), с ней не пошутишь.
Свистом и смехом запуганных прогнали.
Пробовала было возразить курсистка Орлова принципиально:

что буржуазная демонстрация не достигнет цели и что надо, не распыляя сил, сконцентрировать энергию на более важной работе среди рабочих.

Но и Орлова поддалась перед горячностью Оли и уступила, а к ней присоединились и другие с.-д.

Так и осталось:

отслужить панихиду в Казанском,
и чтобы как можно больше народу!

Профессоров тоже не пускали в аудиторию.

И все-таки одному удалось: это был любимый, хотя и не раз освистанный, Воркунов. И допустили его потому, что одна из комитетских дам сказала, будто «он знает и может сообщить прямое и верное средство».

Шум на минуту улегся.

— Да, это факт ужасный, возмутительный, но не этим можно помочь...— горячо сказал Воркунов.

— Какое же средство хочет сообщить профессор? — громко спросила Зина.

— Молчи! Ты ничего не понимаешь! — крикнула ей с другого конца Оля.

Но Зина не пронялась и еще раз повторила вопрос.

И еще громче и повелительнее крикнула ей Оля, заглушили все слова:

— Молчи! Ты ничего не понимаешь!

И примолкшие вдруг хлынули голоса и гулом

Воркунов так и ушел, пообещав в следующий раз сообщить прямое и верное средство.

Оля распоряжалась — за ней и перед ней живая взбудораженная стена.

Зина едва пробралась.

— Оля, почему ты не дала мне говорить?

— Ах, какая ты глупая, разве можно было об этом спрашивать? Ты знаешь, про какое средство он говорил?

— Про какое? — виновато посмотрела Зина.

— Убить прокурора — вот верное средство.

— Убить прокурора! — повторила Зина.

И так же, как Зина, протиснулась к Оле какая-то незнакомая, невзрачная, заметная только своей красной кофточкой.

— Знаете,— сказала она,— лучше бы послать письмо матери Фирсовой.

— Да ее мать — прачка: кто ее послушает! — и Оля резко отстранила ее рукой.

Но та и еще раз — все о письме.

И уж Оля просто отпихнула, ничего не ответив.

А когда стали расходиться и в аудитории остались только самые неугомонные, Оля вспомнила эту плюгавку в красной кофточке и ей захотелось отыскать ее, объяснить и извиниться.

Красная кофточка мелькала по группам.

И Оля подошла —

ей жалко было заморенную, смотревшую еще
замореннее в своем красном.

И, как только можно, ласково Оля принялась толковать ей, что письмо — бессильно, что мать Фирсовой по своему положению — прачка! — ничего не может, что ей и пикнуть не дадут.

— Да ведь она — мать, кому же ближе! — моргала незнакомая.

Но Оля уж рассказывала ей о действительно верном средстве, которое могло бы поправить что-то:

— Убить прокурора!

— Ильменева! — перебила надзирательница (эту надзирательницу на Курсах любили),— Ильменева! Подите сюда!

Оля и не шевельнулась — она продолжала рассказывать незнакомой обиженной ею курсистке о своем прямом и верном средстве:

и потому, что это так верно,
и потому еще — она хотела загладить свою
вину перед ней.

— Ильменева, я вас очень прошу! — звала надзирательница.

— Да что вам надо? — недовольно отозвалась Оля и бросила незнакомую, пошла к надзирательнице.

— А вы знаете, с кем вы обнимались?

— — —

— Ведь это шпионка.

* * *

Канун прошел в сплошном крике.

Воркунов сказал-таки о своем прямом и верном средстве.

И каково было смущение Оли, когда средством оказался совсем не прокурор — «которого убить надо!» — а старая влиятельная фрейлина Лутохина, она же и

комитетская дама, к которой советовал обратиться профессор.

Зина опоздала.

Зина вбежала в аудиторию, когда уж свистки выпроводили профессора с его верным средством, и лишь отдельные свистульки прорезывали голоса.

— Стачка среди баб! Стачка среди баб! — бегом кричала Зина и Оле и всем.

И хотя стачка у Лаферма среди папиросниц не имела никакой связи, но весть о стачке подняла дух, и еще крепче скрутило и еще тверже поставило на своем:

завтра в двенадцать в Казанский!

* * *

Как прошел вечер и ночь!

Оля и Зина выбились из сил, ничего не ели и не могли заснуть.

А наутро к полдню студенты и курсистки стали собираться в Казанском соборе — входили не сразу: Оля пришла со студентом Оводовым, Зина с Фроловым, и все так.

И собор наполнился — тесно.

Сейчас будут просить отслужить панихиду: «новопреставленная Варвара». И, конечно, откажут, тогда —

Священник отказался служить панихиду.

И тогда — а это было сильнее окрика и крепче плети! — тогда враз тронулись с места и уж не парами, а грозной стеной — к выходу. И на паперти громче весеннего стука зеленым шумом древний русальный клич —

вечная память

И покатилось — на Невский, как в разлив широкая Нева волну катит —

вечная память — вечная память.

И тут произошло, что полагается — демонстрация в Казанском соборе не впервой! — разделенные казаками у выхода разбились на три группы и каждая пошла своей дорогой.

Оля очутилась в группе самой громкой на Казанской.

И до самой Казанской части — в цепи жандармов — шла с венками под русальный гул —

вечная память

Оля была счастлива.

* * *

На опустелых Курсах большой переполох: и то, что Курсы «висели на волоске», и то, что курсисток задержали в Казанской части.

Все комитетские дамы были «поставлены на ноги».

Директор поехал к градоначальнику.

— Моих-то отпустите! — просил директор.

— Ваши-то кашу и заварили.

Пришлось воспользоваться указанием «прямого и верного средства», предложенного курсисткам профессором, и с помощью старой влиятельной фрейлины Лутохиной дело уладилось.

Поздно ночью Олю и других курсисток выпустили из Казанской части.

Курсам сделан «строгий выговор».

И стали поговаривать, что «заваривших кашу» вышлют,— а они были все налицо:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

— Что же нам делать, Зина! Нас могут выслать! Хорошо совершеннолетним: выбирай город или назначат какой, а нас ведь к родителям.

— Что же нам делать? — приуныла Зина.

— А давай сделаем, как Софья Ковалевская! — нашлась Оля,— мы можем фиктивно выйти замуж.

— Да за кого?

Ломали голову и ничего не могли придумать.

— А вот что! — обрадовалась Зина,— у меня есть и еще брат — Алексей, студент в Казани, и у него, я слышала, большой приятель — Муратов. Давай сделаем так: я за Муратова, а ты — за Алексея.

Оля согласилась.

И, не откладывая, написали письмо в Казань:

«мы две курсистки, принимали горячее участие в демонстрации и боимся, что нас вышлют. Для нас хуже всего, если вышлют к родителям — а именно к родителям нас и

вышлют! Не можете ли вы с нами повенчаться фиктивным образом, если нас будут высылать. Ответьте поскорее, потому что, если вы не согласны, мы обратимся к другим».

* * *

На Курсах, как только объявили о возобновлении занятий, решено было в первый же день после лекций выразить одобрение трем профессорам, которых видели в Казанском соборе на демонстрации.

Курсистки выстроились от профессорской — в зале, по коридору, по лестнице — до раздевальни. И когда проходили профессора, одних пропускали молча, другим же, «стоющим», каждая, аплодируя, говорила: спасибо!

А Воркунова решено было освистать: и за то, что «головы дурил» своим верным средством и еще за то, что сказал:

«демонстрация не поможет!» — и еще — «среди курсисток есть несколько террористок-революционерок, а остальные, как стадо баранов!»

Предлагали освистать в коридоре же, чтобы еще резче было после одобрения «стоющих», но «заварившие кашу» воспротивились:

Воркунов был любимый профессор!

Нет, пусть под конец его лекции войдут в аудиторию математички — это и будет сигналом.

Ожидание было ужасно.

И когда стали входить математички, Соня Ефимова не выдержала и упала в обморок.

— Вот результаты вашей демонстрации! — сказал Воркунов и вышел, как вошел.

Все были заняты Соней — хрупкая, тоненькая, позеленевшая, как стеклышко.

Так и пронесло — не свистали.

* * *

Начались экзамены.

Из Казани получилось письмо — ответ.

Писал Алексей, брат Зины, и его приятель Муратов, оба и подписались — «студенты второго курса медицинского факультета Казанского университета».

«письмо ваше получили и видим, что вы девицы молодые и неопытные. И хотим вас предупредить: во-первых, по российским законам муж имеет право требовать к себе жену, когда угодно, и даже по этапу,— хотя мы вас требовать не собираемся, но вы нас не знаете! — — во-вторых, по российским же законам, жена имеет право требовать от мужа третью часть имущества — мы просим вас, чтобы вы не требовали! Если эти два пункта, вы, обсудив, не измените вашего решения, то, когда вас будут высылать, дайте телеграмму, мы приедем и с вами повенчаемся».

Письмо успокоило — как гора с плеч:

больше бояться нечего — в случае чего...

Экзамены шли легко и весело — и все кончилось успешно: Оля и Зина перешли на третий курс.

И никого не выслали.

Все сами разъехались — в гнезда к родителям:

Оля — в Ватагино,

Зина — в Казань.

КОТЕНОК

Ватагино встретило Олю поцелуями, теплыми слезами от радости и смертельною скукою. Старики старились — им-то не видно, а Оля все замечает. Пересказываются старые рассказы с подробностями — их все до мелочей помнит Оля — и ничего не загадывается, ровно бы и мир вот-вот кончится.

«Да вот умерла и Авдотья Моисеевна — — »

И смерть пробудила память о голубом детстве — о «несознательных» днях по Олиному по-теперешнему — Оля считает начало своей жизни с Петербурга! — а мяуканье Плика кота напоминает, что ушла Авдотья Моисеевна, но не вся ушла на тот свет, а какой-то тихой своей желанностью осталась на земле в Ватагине и незаметно сторожит Олины нетерпеливые дни.

* * *

Авдотья Моисеевна с одной барбарисинкой выпивает чашку чаю.

Ирина и Миша и Оля и Лена смотрят на нее с восхищением. Сами они едят варенья помногу. Больше всех Миша. В гостях Миша не ест, всегда отказывается:

«потому что ему нужна вся вазочка!»

А тут одна ягодка — на целую чашку.

И это всегда — всеми замечено — всякий раз, когда к Ильменевым приходит Авдотья Моисеевна.

* * *

Авдотья Моисеевна соседка. За Перовым садом в саду ее маленький дом. Очень бедная, одна — и много детей. Бессменно в сером, часто вздыхает. Рот у нее так устроен, будто в ямке — Оля говорит, что с ней целоваться очень неудобно: не достанешь до губ! И вся она худая, а глаза добрые-голубые. Детей называет ласкательно: Оля, Миша, Лена. Только старшую Ирину — Ириной Александровной: Ирина сверстница ее Вари.

Кроме барбарисинки, с которой Авдотья Моисеевна может выпить целую чашку — Оля это давно заметила, первая память о Авдотье Моисеевне совсем другая:

> приехала из Киева Ирина на первые каникулы — шляпа на ней была соломенная с вишенками; шляпка лежала в прихожей; Оле и Лене шляпка понравилась, и они из прихожей не вылезали — любовались, ну, а потом добрались до вишенок, все вишенки и оторвали; и когда хватились, было уж поздно: от вишенок ничего не осталось! Огорчилась не только Наталья Ивановна и, конечно, Ирина, но и Авдотья Моисеевна —

* * *

Лена любит котов, у нее их целый завод:

> окотится кошка, всех котят бережет, никому не отдаст.

Ропщут — от котов проходу нет: Плик и Флик и другой Плик и другой Флик, Цап и Хап — пищат, цапаются. Бог знает что! Хорошо, когда летом Плик, любимый кот, спит после обеда в ямке под окном на солнышке и снится ему на загладку молоко, а другой Плик наестся

молока и спит в саду и во сне ему ничего не снится. А зимой да в погоду — не дом, а кошкин дом.

Авдотья Моисеевна просит у Лены котенка.

Лена ни за что —

Лена плачет.

Это было после обеда: Авдотья Моисеевна пила у Ильменевых послеобеденный чай с одной ягодкой вишневого варенья. Потом ушла. А вечером пришла Варя и, хоть теплынь на воле — Петровки! — закутанная, в большом платке. Посидела — о котятках ни слова — и ушла.

На другой день Лена не досчиталась котенка.

И в слезы:

рыжий, самый любимый!

Оля сказала:

«Наверное Варя вчера под платком унесла: оттого и в платке приходила!»

Оля сама не любит котов — равнодушна; не ее коты — нет у нее к ним нежности. Но ей Лену жалко. И она хочет непременно дознаться, где котенок?!

О котенках только и разговору —

весь дом окотился!

«Не брала Варя котенка!» — успокаивает Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна послала прислугу к Варе. Христя вернулась — принесла ответ:

котенка не брала!

Поверили. Да и как же иначе? — А, может, все это подстроено? И Христя никуда не ходила? А Варин ответ — да просто подучили! Нет, такой догадки тогда не могло быть. И осталось: Варя не брала.

«Но где же котенок?»

Лена плачет —

поплакала и забыла.

А Оля даже рада, что одним меньше —

но не забыла.

Варя по-прежнему бывала у Ильменевых, но никогда больше не видели на ней такого большого платка и о котятках она не заговаривала, как Авдотья Моисеевна.

В конце лета Варю понесли лошади — она упала на грудь. И всегда-то была чахлая, а тут — слегла. Стали говорить: скоротечная чахотка. Потом нянька Фатевна сказала Оле, что Варя умерла и хоронят ее на старом кладбище.

«Мимо нашего дому не понесут».

Оле жалко Варю:

> Варя была веселая и носила им груши — «вкусные!»

«Тужить нечего,— сама с собой разговаривала нянька Фатевна,— у Авдотьи Моисеевны детей много, с детьми трудно! ничего: одним меньше».

После похорон пришла Авдотья Моисеевна — она давно не была у Ильменевых — еще меньше стала она, губы еще дальше, глаза голубее. За «ягодкой», бережно отхлебывая чай, она рассказывала о Варе: как Варя болела, как из горла кровь лилась — и как перед смертью исповедалась и причастилась.

«Авдотья Моисеевна,— вдруг спросила Оля,— а Варя созналась перед смертью, что унесла у Лены котенка?»

«Перестань! глупости — — !» — строго сказала Наталья Ивановна.

А Авдотья Моисеевна сквозь слезы засмеялась.

* * *

С поступлением в гимназию для Оли открылся новый мир, отодвинул первые встречи дома, заслонил своими думами и делами раннее. Когда Оля приезжала на каникулы домой, по-прежнему Авдотья Моисеевна появлялась за чаем, но по привычке Оля ее не замечала, да и Авдотья Моисеевна была незаметна в своем сером, со своими вздохами и одной ягодкой.

Самый большой сад в Ватагине — Перовых: его не пройдешь и заблудишься. А Воронцов и сравнить нельзя, а славился грушами. К Перовым в сад ходили гулять, в Воронцов только по делу — к Авдотье Моисеевне.

Летние дни, в особенности когда зажужжат мухи, медленные, не знаешь, куда и деваться, а вечера зато на волю тянут.

Оля зашла в сад к Авдотье Моисеевне.

Дети ее, как и Оля, выросли, и не было их так много — всякий к своему прибрался, не в груде, как раньше.

Сидели на скамейке и ели груши.

А кругом груши с дерева падали — и такой особенный звук:

> «упавшая груша самая вкусная!»

Авдотья Моисеевна подбирала — и Оле.

Сидели молча.

И только рыжий кот, свернувшийся калачиком у ног,— какой-то Пли́к — мурлыкал.

«Авдотья Моисеевна, расскажите мне про папу и маму, чего я не могу помнить?»

«Ну вот однажды,— сказала Авдотья Моисеевна,— приехали ваши — папа и мама в Ватагино на несколько дней, жили они в Покидоше, и много гостей пригласили. А бабушка Анна Михайловна рассердилась, что ее не предупредили, «будто уж не она хозяйка!» — взяла заперла все комоды и уехала. Приезжают гости, мама ваша волнуется: нет ни салфеток, ни скатертей, ни ложек, ни вилок — все заперто. Ложки и вилки я принесла, а скатертей и салфеток у меня на такие столы нет. Тогда папа, приглашая гостей к столу, говорит: «Кушать подано — и теперь мода: без салфеток и без скатертей!» Это сестра его младшая Надежда Павловна постоянно настраивала против мамы бабушку Анну Михайловну».

Авдотья Моисеевна рассказывает подробно:

и какая Наталья Ивановна была красивая, и
какой Александр Павлович был хороший и
добрый,
и как у Надежды Павловны не было бровей.

И незаметно переходит к своему — от запертых комодов к запертой комнате —

как однажды к ней приехали офицеры, просятся
переночевать.

Авдотья Моисеевна пустила переночевать, накормила их и напоила, а для безопаски — неизвестные ведь! — на ночь их комнату на ключ и заперла.

«А наутро отперла. Ничего, поблагодарили и уехали. Лето было. Слышу что-то в комнатах: нехороший дух. Конечно, все на кота свернули. Всегда кот виноват! Стали по углам шарить — ничего нет. А несет. Под вечер остатки от обеда решила я в печку поставить на ночь — самое холодное место печка летом! Открыла дверцу, а там ну,— как то самое место: это те несчастные, запертые —

Оля очень смеялась:

и запертые комоды с салфетками,
и запертая комната —

Кот Плик проснулся.

* * *

И вот опять — Ватагино.

А Оля совсем большая — Оля петербургская — курсистка.

А дом — как тогда сгорбился, так и смотрит.

За послеобеденным чаем Авдотья Моисеевна — та же. И та же ее ягодка одна:

три чашки — три ягодки.

Оля с ней не разговаривала — не о чем. Так и ушла Авдотья Моисеевна.

С час прошло, уж давно со стола убрали, стали ладиться на вечер, вышла Оля: пройти по старым местам — на мельницу.

Идет она по улице — а на росстани за цвинтаром видит:

сидит на колоде Авдотья Моисеевна.

— Что это вы, Авдотья Моисеевна?

— Не могу сразу пройти столько! Вот — отдохну...

«Да ведь это так близко!» — но Оля не сказала, села рядом.

Авдотья Моисеевна говорила, останавливаясь — задыхалась: она говорила о Оле, как ее из всех любила больше и всегда ждала чего-то хорошего! оборванные вишенки припомнила — Оля тогда была совсем маленькая. Потом о своем: что умерла соседка старуха Софья Петровна и другая соседка — дом к ее дому! — старуха Анна Ивановна.

— Смерть все ближе ко мне ходит!

И вдруг засмеялась:

про котенка вспомнила — — как это Оля тогда спросила:

— «Созналась ли на исповеди Варя — — ?»

* * *

К вечеру вернулась Оля с мельницы.

Дома ее встретила новость:

умерла Авдотья Моисеевна.

— Вскоре,— говорили,— как пришла домой от нас. И вспоминали.

И «ягодку» помянули и о галушках:

ни у кого таких не было вкусных галушек — черные, облитые маслом, со сметаной и чесноком!

И как любимыми душистыми галушками Авдотья Моисеевна детей потихоньку кормила.

А про котенка и забыли.

* * *

Оля никому не сказала, что видела Авдотью Моисеевну на колоде, и сидела с нею. А то, что Оля бросила ее — не довела домой под руку, а ведь надо было предложить! — это Олю мучает.

Глаза у Авдотьи Моисеевны на колоде были совсем небесные, а рот так далеко — не видно:

тихая и незлобивая
— о ней никогда никто не говорил! —
она — со всеми и как-то отдельно жила.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Летом Оля подолгу не могла жить в Ватагине: скучно.

Оля уезжала из деревни в город и там гостила у Мавлютиных:

Нина Мавлютина курсистка — подруга Оли.

Дом Мавлютиных славился в Покидоше: говорили, как о гнезде либералов, а сама Елена Ивановна — голова либеральная или просто либералка.

Елена Ивановна и вправду, детей ни в чем не стесняла. Одно исключение: запрещалось ходить босиком и кататься на лодке. Странно: такие пустяки — лодка! — и всегда такой ужас, когда Елена Ивановна вдруг узнает, что катаются на лодке.

Конечно, и на такой запрет обход нашелся.

Поздно вечером, часов в десять, когда Елена Ивановна шла к себе спать, тихонько вылезали через окно — а там у ворот поджидают! и хоть всю ночь катайся. А под утро опять через окно тихонько.

А кроме лодки у Мавлютиных полная свобода — и дом Мавлютиных действительно «гнездо» — сбор молодежи со всего города.

* * *

Оля и Нина постоянно заняты: они «пропагандируют» —

развивают Катю, сестру Нины, гимназистку, которой только что минуло двенадцать и ее подруг-гимназисток, не старше.

В ходу все финиковские «нельзя» и особая «революционная азбука».

Гимназистки, обожающие Олю и Нину, добросовестно повторяют все их слова.

Оля: «Кто лучше — с.-р. или с.-д.?»

Катя: «Конечно, с.-р., разве можно сравнивать».

Нина: «Пойдет Россия по пути капитализма?»

Катя: «Нет».

Нина: «Почему?»

Катя: «Рынков нема».

И Катя и все ее подруги убеждены, что «рынки» — это как покидошенский базар, где летом среди гор кавунов, гарбузов, дынь и всякой цыбули не очень протиснешься, и очень хорошо пахнет травой, укропом и чесноком.

При доме большой сад.

В саду под липами собираются курсистки и студенты — все это приезжие на каникулы домой. И ведут длинные умные разговоры.

Чаще всех: студент Бордонос — из семинаристов, груб и нескладный — «Колода», и только что окончивший, высланный из Петербурга Фрид — тонкий, вылощенный, по прозвищу «Бедненький», он женат, двое детей.

* * *

После обеда тихо и мирно пили чай на балконе.

В Покидоше варенье умеют варить не хуже ватагинского. А Оля и Нина и Катя — большие лакомки. И разговор про всякое варенье: кто что любит — с косточкой или без?

«На лодке давно что-то не катались!» — так уверилась Елена Ивановна и была в особенно тихом духе.

— Будьте осторожны, Оля и Нина,— точно что вспомнила Елена Ивановна,— постоянно ходит к вам Фрид: как бы его жена не сделала вам какой неприятности. Она такая жалкая, неинтересная: наверно его ревнует.

Оля и Нина враз покраснели под — варенье.

А Катя — Катя смотрит на них с завистью: «вот они уж курсистки — взрослые, серьезные, участвовали в демонстрации и к ним приходят студенты и они имеют какие-то важные дела, за которые их могут в тюрьму посадить и даже наверно посадят!» — Катя важно заметила:

— Как ты, мама, странно рассуждаешь: неужели ты думаешь, что можно влюбиться в Олю и Нину?

Елена Ивановна громко захохотала:

— Ну, и Катя! — повторяла она, хохоча до слез.

А Оля и Нина очень довольны: Катя за них заступилась!

А еще больше довольны, что Катя усвоила все их «нельзя».

— Нет, сурьезно, будьте осторожны! Особенно вы, Оля: Фрид все с вами бывает.

А на пороге — легок на помине! — Фрид и с ним Бордонос. А за ними — Надя Лопухова, Вера и Петя Курдюк (Курдюк влюблен в Надю) — самые всегдашние и неразлучные.

И, как всегда, начались умные разговоры.

А за разговорами незаметно песни.

Незаметно под песни кончился вечер — в черную летнюю ночь перешел, такой, Бог его знает, до конца на все готовый, и загорелись звезды, как эти песни.

* * *

Незаметно под липами в саду очутилась Оля и с нею Фрид.

— Я вам хочу сказать,— начал он,— я люблю вас. Я жену свою оставлю. Я всегда хочу быть с вами.

— Нет,— остановила Оля,— я: с.-р., вы с.-д. Мы вместе быть не можем.

— Что вы говорите! Я люблю вас и так это неважно: с.-р. и с.-д.! Я оставлю жену. Я ей уже сказал об этом. Я оставлю ее потому, что встретил и узнал вас. Я не

могу жить во лжи. Я жену свою не люблю. Я вас люблю. Подумайте об этом.

Фрид сорвался — и канул.

Оля одна —

Под липами ночь еще черней, только взлизы луны по дорожке —

и жалко Фрида: «бедненький!»

и радостно: «вот из-за нее человек жизнь меняет!»

и жутко: «ведь Анна Исааковна любит ее, всегда ей посылает с мужем конфеты, апельсины!»

И жалость и чего-то приятно и жуть вызвали отдельные мысли и не могли разрешиться одной общею мыслью.

Оля думала и никак не могла додумать.

И вдруг окликнули — кто это?

«Колода» —

— Вы тут сидите, а теперь три часа ночи. Я в сад перепрыгнул через забор. Я вам тайну открою. Только вы никому не скажете?

— Не-ет, никому.

— Я як черт втрискався в Нину Хригорьевну.

И также канул, как и Фрид.

А Оля скорей из саду в дом и прямо к Нине в ее комнату —

а Нина спит.

— Вставай, Нина! — тормошила Оля,— пойдем на балкон: что я тебе расскажу.

Босая, в одной рубашке, Нина, еще не проснувшаяся, пошла за Олей.

Над балконом сторожила луна — покидошенская классная дама? нет, финиковское «нельзя». Тихо в саду. Теплая ночь. Теплые полные капли росы с деревьев.

Оля все рассказала — и о Фриде, что ей Фрид говорил, и про «Колоду».

— «Я як черт втрискався в Нину Хригорьевну!» — повторила Оля Колодину тайну.

Нина тихо сказала: — Помнишь, как мама хохотала на слова Кати?

И Нина захохотала громко — до слез.

* * *

В Покидоше гостила Ильина.

Оля и Нина часто с ней виделись.

Как Оля и Нина — Катю и ее подруг, так Ильина — Олю и Нину:

> они все ей рассказывали, а Ильина, уча, много внушений им делала.

Ильина полюбила Олю —

> и за горячность
> и за готовность все отдать.

Оля ничего не берегла и все отдавала:

> Меженинская любимая бабушка Татьяна Алексеевна подарила ей деньги с надписью на конверте — «Олины деньги», а Оля сейчас же отдала их на «революционные дела».

Оля бралась за всякое рискованное дело и выполняла точно и конспиративно:

> «конспирация» — хитрая наука, хитрее всех «нельзя» и всякой «азбуки», и Оля ею прониклась до конца.

Ильина за все это и любила Олю.

Но Ильина хотела непременно, чтобы Оля вышла замуж за студента Оводова:

> «потому что он, любя Олю, страдает, и потому слабеет для революции, а если женится на Оле, будет сильнее».

— Выходи за него замуж! Он за тебя десять раз душу готов отдать.

Оля несогласна, но Ильина никаких доводов не принимала.

Все в ней ключом кипело.

— Да, ты осторожней: Фрид влюбился в тебя. Это с одной стороны хорошо: он — с.-д., а из-за тебя, конечно, будет с.-р. А с другой стороны ты его ослабляешь для революции: личные страдания.

А после объяснения под липами — Ильиной все известно, от Ильиной ничего не скроешь.

— Я тебя предупреждала о Фриде,— кричала она,— теперь он со мной сурьезно, откровенно говорил. Если ты сама не хочешь выходить за человека замуж, то и не разговаривай с ним много: ты от дела отвадишь неразделенной любовью. Ты должна быть осторожна с мужчина-

ми. Не забывай: ты молодая, здоровая, красивая. А Фрида я не прощаю тебе!

Оля заплакала.

Оля пошла к Нине:

— Иди к Наталье Васильевне. Объясни, что я не виновата. Ты ведь все знаешь.

И осталась ждать на балконе.

Долго ей показалось —

промелькнул в саду «Колода», озирнулся, но, не увидев Нины, пропал в кустах и — застрекотал.

Луны не было. Просто ночь. Ночь — пой стозвонный в каждой травке, в каждой букашке, в стрекозе, в жуке, в «Колоде».

Наконец-то Нина вернулась — расстроенная, как и Оля:

Ильина и ей все выговорила про Олю — очень сердилась.

— А потом,— рассказывала Нина,— замечаю: Наталья Васильевна на меня сердится, меня ругает. «Наталья Васильевна, говорю, ведь Фрид в Олю влюбился, а не в меня!» «Это тебе на будущее время, крикнула, с тобой то же может быть!»

И обе всю ночь проплакали.

И наутро плачут —

не виноваты!

В слезах пошли к Ильиной — плачут:

— Наталья Васильевна, что нам делать?

— В наше время не плакали, а дело делали,— сказала Ильина,— переплетному мастерству учитесь!

ИДЕАЛ

Наталья Васильевна Ильина — Аграфена ткачиха. Под таким именем вышла она «в народ» с мешком — прокламациями, объявлявшими народу «землю и волю». А когда ее арестовали и урядник читал вслух прокламацию, крестьяне крестились: «земля и воля!»

Ильина — «замечательная».

«Ильина,— говорили,— хоть и была замужем, но мужа бросила для революции».

Ильина — «идеал».

«Идеалом» конспиративно называли Ильину Оля и Нина, как «Бедненьким» — Фрида, а «Колодой» — Бордоноса.

Тридцати лет Ильина была арестована и с тридцати трех после тюрьмы жила в Сибири на каторге.

«Ты пишешь,— писали ей из дому на каторгу родители,— что тебе хорошо, а каково нам, ты не подумала: как мы страдаем!»

И это ей было очень тяжело. И много еще другого тяжелого «каторжного» выпало ей — путь ее тягчайший! — но она не променяла бы своей этой жизни на другую:

— потому что так важно все сознавать.

Похожее слышала Оля на лекции Лесгафта:

«Надо уметь думать, и тогда не повлекут ни Аркадии, ни Ливадии, ни вилла Родэ».

Только Лесгафт имел в виду — «знание», которое победит всякую бедовую «случайность» жизни и освободит человека, а Ильина — «революцию», которая даст народу «землю и волю», а с землей и волей счастье.

Первое слово Ильиной:

— Что вы сделали для народа?

* * *

Народ — это бедующий мир от несправедливости и несчастий;

революция — освобождение этого мира от бед;

революционер — «погибающий» за освобождение мира.

— Революция — все и выше всего.

* * *

Ильина рассказывала об одном старом революционере: редкая была любовь между мужем и женой, его приговорили к каторге и жена хотела следовать за ним.

«Нет,— сказал он,— пусть один будет в неволе, а другой должен продолжать дело революции!»

Жена осталась. А он пошел в каторгу и там сошел с ума.

* * *

— Революция — выше всего:
для революции все, сама любовь.

* * *

Ильина хотела, чтобы Оля вышла замуж за студента Оводова: потому что Оля мучила его и он пропадал для революции.

«Или пусть Оля держится подальше!»

Оля и Нина видели, что Ильина не разделяет финиковское «нельзя» о замужестве, но они не раз слышали от нее же: что семейные заботы мешают революции, что с детьми человек выходит из строя.

* * *

— Революция — все, революция — выше семьи:
революционер, «все сознающий», действует в жизни «до конца» — до своей гибели, и все, что отвлекает его силы от дела революции, только помеха.
— Революция — долг.

* * *

Оля слышала, как Ильина говорила Арбузовой, вернувшейся из ссылки: Арбузова хотела ехать за границу, и потом уж, «посмотрев, как там люди живут и что людьми сделано», идти на революционную работу.

«Кто из ста восьмидесяти миллионов русского населения,— говорила Ильина,— имел возможность, как ты: окончить гимназию в губернском городе, окончить курсы в столице, просидеть одиннадцать месяцев в тюрьме в прекрасном обществе, пробыть три года в ссылке в великолепном обществе. А ей все мало!»

Ильина — странница: куда она приходила, ей все давали — и накормят, и белье, и она уходила, ничего не имея, только что на себе.

* * *

— Революционер — странник:

только странник, бродя по миру, ищет правды и чуда, а революционер идет в мир с чудесной правдой, возбуждая к борьбе за эту правду.

* * *

Ильина выносливости необыкновенной — «железная», а речь — слово ее — гору сдвинет.

В Покидош приехала украинская труппа. Оля и Нина взяли себе на галерку. Рассказали Ильиной. Ильина тоже захотела с ними. И полезла — места — стоячие. Толкают. Какой-то прет, локтями расталкивает.

«Что вы толкаетесь? Видите: я старуха, а со мной две барышни. Затолкать нас не велика хитрость!» — Ильина сказала это строго, внушительно, но нисколько не сердито, сказала-выговаривала.

И тот подобрался и уж куда толкать, уступал место. И так до самого конца. А пьеса, как всегда, долгая с разговорами-танцами-песнями. Ильина всю выстояла до конца.

В погоду, в ночь можно было встретить Ильину — и как ни в чем.

Из Ватагина до Хомутов на лошадях — Хомуты узловая станция. Как-то Оля собралась в Петербург, приезжает в эти Хомуты и видит, сидит на станции Ильина: ждет поезда. Ильина позвала Олю с собой в Покидош. Дождались поезда, а ждать сутки! — и поехали. До Покидоша узкоколейка. В вагоне тесно, жестко. Всю ночь ехали. И ничего.

Раз только видела Оля Ильину нездоровой.

Ильина жаловалась, что у нее болят почки. Оля сама ничем не хворала и представить себе не могла, что это за болезнь такая: почки. А тут еще и мигрень.

Ильина лежала с закутанной головой.

Оля стала перед ней на колени.

«Наталья Васильевна, что я вам могу сделать, скажите?»

А та заплакала —

единственный раз видела Оля: Ильина заплакала.

«Я тебя очень люблю, Оля, возьми от меня все хорошее — — »

И это она сказала от самого сердца, с болью — «все хорошее» передать хотела: свою веру и завечное дело революции —

которая выше всего
и ради которой все.

* * *

Ильина ходила просто — странницей.

Но и в таком незаметном всегда ее можно было отличить от всех.

Две знаменитые покидошенские сплетницы: Анна Ермолаевна — «Ермолаевский листок» и Анфуса Сергеевна — «Сергеевские ведомости»; одна — во дворе у тетки Марьи Петровны Вольской на самом видном месте, другая — на конце города за Семинарией; но и той и другой все известно и видно, как с каланчи, и, конечно, не пропустили бы они так Ильину, приклей она себе хоть бороду.

Но Ильина была вне покидошенского житья-бытья и то, чем жили или вынуждены были жить в Покидоше, ее никак не касалось:

ведь она для себя ничего не собирала и не домогалась никаких удобств жизни.

У Анны Ермолаевны в «Листке» снимала комнату знакомая Ильиной и к ней Ильина ходила. И вот Леночка, двоюродная сестра Оли, мало чего замечавшая, глядя с балкона совсем на другое, заметила Ильину.

«К нам, к Анне Ермолаевне, ходит старуха,— рассказывала она Оле,— я такой никогда не видала: простая деревенская, а так смотрит, таких не бывает!»

Тоже и Соломон Катцман, сын переплетчика, у которого Оля и Нина переплетному мастерству выучились. Пришел он вечером после работы — Нина учила его русской грамматике — и встретил Ильину. Нины не было, только Оля. Ильина шепнула Оле называть ее «тетей». Урок не состоялся, так пили чай. Ильина расспрашивала Катцмана. И сама рассказывала. А после Соломон сказал Оле:

«Ну, и тетя у вас — замечательная! Таких не видывал».

* * *

Человек отличается от человека — по уму: по способности разбираться (дурак тем и хорош, что все невпопад!); но мало ума, надо и еще чего-то, а это что-то — вера:

а вера — огонь!
и этот огонь — светит.

И никак ты не скроешься и тебя не обойдут.

* * *

Ильина для Оли — вся чистота революции,
которая все и выше всего.

Как-то Ильина сказала Оле:

— Все мне в тебе нравится: ты хорошая. Одно только у тебя — и это может помешать — нездоровое начало есть: мистическое.

ТАКОЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В Покидоше возле Почты жили две курсистки: Лида Пряничникова и Ира Беляева — дом против дома.

С детства Лида и Ира все вместе — неразлучны. И где появлялась Лида — за ней следовала Ира; и где видели Иру — непременно встречали и Лиду.

Странные они были: сверстницы Оле, а такое говорили, тоска всегда после...

Оля никогда бы с ними и не встречалась, но и Лида и Ира, хотя никак не были «стоющими», т. е. революционно настроенными, но не были и похожи на тех курсисток, обыкновенно очень пугливых и житейски рассудительных, которых называли «барышнями»: в Петербурге жили они вместе, и когда уходили обе на целый день из дому, давали свою комнату для конспиративных свиданий. А делали они это не потому, что сочувствовали «революции», а просто по равнодушию ко всему, что совершалось и чем жили вокруг них.

Родители их состоятельные люди, и обе ни в чем не нуждались — нужда, этот первый кулак — бил да мимо,— и никакого любопытства к жизни. Обе собирались кончить самоубийством; и когда кто из них уезжал, по-

сылали друг другу телеграммы, чтобы знать что еще живы.

Вера их была самая отчаянная и самая безнадежная:

> людям ни в чем нельзя верить — ни одному человеку; все, что делают люди, все только из корысти.

«Любовь — это физическое. А дружба всегда непостоянна».

«Ну как же вы можете так говорить? — возражала Оля, — да вы же друг друга любите. Разве это не любовь?»

«Да — — но это привычка».

«Но ведь вы со мной так не дружите?»

«А это потому, что мы живем друг против друга. Это случайность. С детства еще: тетрадку, бывало, взять, карандаш, все у Иры, а Ира у меня. Близко. Так и привыкли».

И так на все — беспросветно.

* * *

Поздно вечером Оля возвращалась домой — к Нине. По дороге один единственный огонек — в Покидоше рано ложатся! — и зашла к Прянишниковым ночевать.

Лиду и Иру застала она за книгой:

> читали вслух Э. Т. А. Гофмана «Эликсир сатаны».

Оля больше всего любила Толстого — не один раз прочитала «Войну и мир»; и Пушкина — «Евгения Онегина» знала на память все восемь глав. Но ее тянуло к Гофману:

> таинственность и чудесность, на первый взгляд не вяжущаяся с «революцией», волновали ее, и чувство было так же остро, только в самой тайне, как от «Дела 1-го марта», — переплетенного Олей в синий — сокровенный — цвет.

Лида и Ира читали все, что ни попадалось. Попался и Гофман, «Эликсир сатаны» — — И после Гофмана те же разговоры, от которых тоска.

— Внушить людям, чтобы они относились друг к другу участливо, невозможно. А если участливость где-нибудь и замечается, то не надо обманывать себя, все из выгоды и корысти.

— Люди, которым до других есть дело, таких не бывает.

— Страдать за людей — это несчастье: ведь от этого никакой никому пользы, да и не стоит.

— Хорошие люди?! Да есть ли такие «хорошие» люди? Много ли таких, которые никогда не обманывали и никогда не корыстничали? А если еще больше требования предъявлять — если искать людей, которые помогут другому ради этого другого, а не из-за своей прихоти и не для собственного успокоения? Таких нет.

— Все зависит, чего от людей спрашивать! Среди воров просто плохенький воришка будет честным человеком, и среди самых отъявленных негодяев обыкновенная немудрящая душа покажется праведником. Все зависит от того, чего ждешь и требуешь.

Оля рассказала им об Ильиной:

о ее вере — о ее бескорыстном самоотверженном деле.

Лида и Ира слушали с большим вниманием. Их особенно поразило, что столько лет Ильина живет такой жизнью.

— Но это исключение! Так долго — бескорыстно. Это большая редкость. Любопытно увидеть такой экземпляр!

* * *

— — — идет Оля по Николаевскому мосту — серый такой день, такое хмурое утро, таким безнадежным утром везли на казнь Перовскую, Желябова и Рысакова на Семеновский плац. На мосту часовня — «Каракозов стрелял». Оля перекрестилась —

Едут мимо возы с кладью, на возах дюжие ломовики трясутся. Один кудлатый зло что-то кричит, за грохотом не разобрать, одно ясно: кричит-угрожает, что вот Оля перекрестилась. А другие молча сочувственно ему щерются, подмигивают.

И Оля перекрестилась еще раз и еще раз. И за каждый ее крест тот кричит, и все кричал, грозя, пока не скрылся из глаз. А Оля крестилась. И крест ее был так крепок — пламя вылетало из-под крепко сжатых ее пальцев.

«Нет, никому не отдаст она креста своего — готовая умереть за свою веру!»

* * *

В коридоре на Курсах. Проходят курсистки. И все смотрят на Олю. «Какая, говорят, хорошая!» Оля поднялась на 2-ой этаж. На площадке тоже курсистки, только сидят все, ждут чего-то. Навстречу Оле незнакомая: брови сросшиеся, очень широкий нос, глаза, как камушки, сверкают. И идет она прямо на Олю. И когда она была совсем близко, кто-то невидимый ударил ее по голове и так крепко — голова хряснула, она схватилась и руками закрыла побелевшее лицо. И Оля точно так же руками закрыла себе лицо. И все, кто сидел на площадке, курсистки закрылись. А та незнакомая стала медленно падать — и никто не поддержал — упала лицом на землю.

* * *

Погасло электричество. Оля знает: в комнате кто-то есть. И тихонько пошла искать Зину. Зина спала. Оля дотронулась до ее лба — разбудила.

«Пойдем, Зина, тут кто-то...»

Но Зина не успела ответить.

«Эй, кто там,— крикнула Оля,— выходи!» И на ее голос из тьмы выступила большая, вся в белом, очень похожа лицом на Веру Стрешневу. И Оля почувствовала, что «страшное», что было в комнате, это и есть эта женщина. Оля бросилась и, обхватив ее, пригнула к земле. И сама легла на нее и стала трясти. Но сколько ни трясет, той ничего не делается. И видит Оля: Вера Стрешнева стоит тут же. «Вера,— обрадовалась Оля,— ложитесь вы на меня: я одна не справлюсь». «Боюсь, Оля, я вас задушу!» — говорит Вера. А та вдруг подняла голову, да Олю за руку — два пальца так — —

НЕДОБИТЫЙ СОЛОВЕЙ

Оля получила записку от доктора Перепелки:
доктор посылал за ней лошадей, просил ее сейчас же приехать —
«По важному делу».

Андрей Федорович Перепелка в Кочерах — от Ватагина близко.

Оля немедля собралась — «важное дело!» — и поехала. И всю дорогу думала: что бы такое могло случиться важное, может, арестовали в Покидоше Ильину или что с Ниной?

А приехала в Кочеры — вот уж негаданно! — встречает Варю Черкасову: Варя ждет Олю, плачет — просит ехать с нею в Лубенцы к Ксаверию Матвеевичу.

— С братом беда: убежал из Бобровки в Лубенцы. (Лубенцы от Бобровки в сорока верстах.) Очень плохо.

Так вот в чем дело: никто, значит, не арестован! И это Олю успокоило. Но другое: Черкасов! — камнем легло.

— Сначала-то он был тихий,— рассказывала Варя,— потом стал заговариваться. Поминает какого-то Оводова, с.-д. и все вас зовет, Оля. Вы единственный человек! вы его успокоите. Вы спасете его.

Невозможно было отказать. Оля согласилась. И сейчас же поехали.

Ехали полем. На поле снопы лежат — хорошо улеглись! Солнце заходит — прохладно. Навстречу девчата с работы с граблями.

«Какие они счастливые,— думает Оля,— ничего-то у них нет такого! Идут с поля мирно!»

И ей казались все счастливыми, кроме ее доли.

В Лубенцы поспели в сумерки. Поджидавший Лампад предупредил не ехать прямо во двор.

— Остановитесь в саду у пруда. Черкасов буйный: все бьет и ломает. И страшно свистит.

И Лампад вроде как посвистал — — но у него ничего не вышло.

Тихонько прошли в сад во флигель. Там Александрия Кенсориновна. Вышел и сам Ксаверий Матвеевич и Асклиподота. Говорили шопотом. К чаю приехал из Кочеров доктор Перепелка. И чай пили, все шопотом.

Окна в доме открыты и далеко слышен свист:

свистел Черкасов —
а свистел он, потому что он соловей:
«Раньше пел у пруда, а теперь здесь поет:
зовет Олю!» — так сам он объявил.

После чаю доктор прошел в дом посмотреть — и скоро вернулся.

— Зрачки —,— и так показал,— — ! Ничего не остается: завтра надо везти в город.

Тревожная прошла ночь под жуткий свист.

А наутро, когда Оля проснулась, Асклипиодота ей рассказала, что Черкасова увезли в город: повез Лампад.

— Пока еще сидел смирно, ничего, а потом пришлось связать.

Варя плакала — просила Олю ехать вместе и все выяснить.

— Поезжайте,— уговаривала Олю Александрия Кенсориновна,— даст Бог и успокоится.

— Роман в лицах! — удивлялся Ксаверий Матвеевич,— все девчата понимают.

* * *

И в Сумасшедшем доме Черкасов свистел — звал Олю. Но Олю к нему не пускали: боялись, что свидание еще больше расстроит.

Как-то в обеденный час Оля и Варя проходили по больничному саду и видят:

внизу в окне за решеткой сидит Черкасов
и ест котлету — очень страшным показался
он Оле — в белой рубахе, желтый, заросший
весь, а глаза такие — !

Он узнал Олю — и котлету ей через решетку:

— Олинька, на!

— — —

Оля скорее из саду и больше никогда не ходила: очень было страшно — и глаза — и как это он сказал — —

Оля обвиняла себя, что из-за нее все так вышло и не видела никакого способа поправить.

В Покидош из Бобровки приехала Елена Степановна. Федор Фалалеич, сопровождавший ее, предупредил Олю что —

Елена Степановна проклинает ее за сына.

— Постарайтесь с ней не встречаться!

Федор Фалалеич был все такой же: он с благоговением и восторгом смотрел на Олю. Федор Фалалеич искренне боялся неприятной встречи, хорошо понимая, что винить Олю напрасно — ни он, ни Варя ни в чем ее не обвиняют!— но что и мать жалко: сын так мучается.

А тут еще и Варя захворала: надорвалась.

Обыкновенно Оля ходила в больницу справляться всегда с Варей. Варя лежала. Пошла Оля одна.

И вот когда она отворяла калитку и, войдя, хотела закрыть за собой, калитка никак не закрывается — а оттого не закрывается, что сзади еще отворял кто-то.

Оля обернулась — перед ней Елена Степановна:

Елена Степановна тоже шла в больницу за справкой.

Оля поздоровалась.

Елена Степановна ей ответила — строго. И пошла по мосткам —

а Оля так у калитки и осталась: ей идти неудобно!

Елена Степановна приостановилась и назад к Оле:

— Оля,— сказала она,— что мне передать от вас Владимиру?

Оля вдруг:

— Скажите — — я за него выйду замуж!

И заплакала —

она все себе представила — осень — Курсы — лекции — разговоры —«революцию»—и увидела себя, как сидит она в Бобровке на балконе и он с ней: желтый, заросший и глаза такие — а в саду только ветер воет,

Елена Степановна, оставив Олю, подошла уж к больничной двери и вдруг повернула и шла по мосткам быстро назад.

— Нет,— услышала Оля,— так нельзя делать. Я ничего не передам. Если любишь и выйдешь замуж, и то трудно бывает, а без любви — —

И пошла.

Оля этого никогда не забудет.

* * *

Из больницы Черкасова отвезли в Бобровку.

А в Покидоше заработал «Ермолаевский листок» и

«Сергеевские ведомости». Только и разговору, что о Оле и о Черкасове —

Олю обвиняли в бессердечии.

И каждый считал своим долгом и правом узнать от самой Оли, как она ко всему этому относится?

Нина, у которой жила Оля, подарила ей колечко с маленьким рубином: Нина хотела чем-нибудь развлечь Олю. Подцепили и это колечко:

уверяли — из самых верных источников! — что «свадьба на носу и вот доказательство: кольцо».

— Черкасов,— говорили,— перед отъездом в Бобровку подарил Оле кольцо с крупным бриллиантом, посередке изумруд!

Но главное: встреча Оли с матерью у калитки в больнице, о чем выражались, «что сговориться — так не встретишься!» — эта встреча не прошла незаметной —

случайно видела все Анна Ермолаевна («Листок»), но, увы! слов она не слыхала, и что говорила мать? и что Оля? — так и осталось неизвестно.

Но Анфуса Сергеевна («Ведомости»), которая только видела собственными глазами, как Лампад вез связанного Черкасова в больницу, ссылаясь с чего-то на фельдшера Виталиса Виталисовича, настаивала —

что Елена Степановна отдавала Оле всю Бобровку, но что Оле показалось мало...

— И тогда Елена Степановна вернулась, подарила Оле кольцо с бриллиантами в изумрудах, и Оля заплакала.

Фельдшеру Виталису Виталисовичу не давали покою.

И соблазнившись — не всегда же ловко ссылаться на незнание: незнай, что дурак, прозовут, оправдывайся! — Виталис Виталисович дал некоторый «информационный материал» ни к селу ни к городу.

Но чем невероятнее, тем вернее и надежнее.

Пройдет не один год — еще долго будут вспоминать, судить и пересуживать по «Листку» и «Ведомостям», а при упоминании об Оле непременно справляться:

«Эта та самая Оля Ильменева, из-за которой Черкасов сошел с ума?»

И, конечно, обвинять — в чем только может обвинить человек человека — и в бессердечии и... в жесточайшей корысти. А если усумнишься и попробуешь возразить,

заткнут тебе глотку последним непререкаемым **говорят**.

* * *

Ну, будет! больше не буду о покидошенском «говорят», суде прошедшем и канувших пересудах,— в наши дни, вы себе представьте, когда ученые сигнализируют на Марс, а в институте доктора Ришэ фотографируют духов, да, духов, не фокуснических, а «страстных», «грешных», как живой человек, витающих совсем близко около нас в земной сфере, встревающихся в нашу жизнь так же «по долгу и праву», как и всякий, кому не лень, в жизнь соседа, а дикий свист джаз-банда (я всегда слышу свист ковылевых степей России!) вихрем подхлестывает весь мир пуститься в размеренный крутящийся танец и, чем теснее, тем четче, готовый разместить весь мир уже не на четырех шагах — предельной могильной мере, а на нашей калужской курячьей жердочке; когда в мировом городе (постаревшем, сгорбившемся за эти годы, мне иногда чудится, что под Парижем земля вскоробилась, выпирает и проваливается, и парижские камни под ногами мягче!) на самом высоком холме из холмов, на Монмартре — на Place Pigalle у увеселительных заведений «кабаков», где вы увидите знакомых с Соболевки, стоецких, вышибал, а под крутящимися и звенящими огнями всех, какие только есть огни, угрюмые красные такси Рено с шоферами — неудачливых (а может, самых цепких) из бывших русских, пошедших на труд ночных, обслуживающих «благородную валюту» господ мира, (не знающих, что еще придумать, и куда деваться), электрификация так ахова и звучна — ритм част, боек, перебоен — не ускакать и самому из самых однозначных и кратчайших «а», и «ah» протянется слишком медленно и долго, как «ой-ля-ля» — в наши дни и Анна Ермолаевна («Листок») и Анфуса Сергеевна («Ведомости») живы, живут себе и процве-

тают, как никогда еще, и каланча, около которой во дворе у тетки Марьи Петровны Вольской ютятся «Ведомости», стала куда выше Эйфелевой башни да и самых американских небоскребов с сильнейшим в мире радио на вышке, так что все эти кричащие гиганты, если заглянуть с каланчи вниз, покажутся не больше кузнечика; а Семинария, соседка «Листка», на окрайне, отошла от центра — пожарной каланчи так далеко, как Лондон; да, здравствуют и «Листок» и «Ведомости» и как же иначе, такое интересное время, столько событий — — но, неужто, как и тогда, в допотопное в «дореволюционное» время, и вот теперь при всех самых неожиданных обстоятельствах и потрясающих переменах есть еще легковерные люди, которые слушают, одобряя и сочувствуя, и неужто ни война, повалившая уверенную гордую Европу, оправляющуюся с таким непомерным трудом, с таким отчаянным усилием пробующую встать на искалеченные обескровленные ноги, ведь нищета лезет из всех углов и прорех, и элегантный француз только необычайным искусством, математическим мастерством — какой-нибудь яркий платок или разноцветный пошетт! — прикрывает лохмотья, а расчетливый немец старается не обращать внимания, что вместо душистого традиционного кофейного духу с утра по Берлину подымается дохлый пар эрзацов, и неужто ни эта война — ведь, кажется и дураку ясно! — ни революция, ни беда беженцев, а беженцы засорили весь мир, беженцы всех стран и народов, ни труд покорно несущих строй жизни, а жизнь стала еще тяжелей (знаете, в Европе можно просто пропасть у себя в комнате и без всякой огласки и шума и никто не схватится и никого не удивишь!), да! все это — ничто из этой «мировой катастрофы», которая у всех на глазах, за эти годы, за эти столетия, прошедшие в годах, не перевернуло хоть столечко в мозгу человеков, чванящихся развитым своим мозгом перед безмозглой человекообразной обезьяной — и самое роковое событие

и самый искреннейший поступок человека
(никто не убережется!) залепят грязью!

* * *

Оля жила у Нины.

Помня завет Ильиной, Оля за три недели переплела много книг. За ней не уступала и Нина. Так в работе молчаливо прошли дни.

К именинам Натальи Ивановны Оля поехала домой в Ватагино.

В Хомутах она увидела из вагона поджидавшего ее Мишу и еще с ним кто-то в шляпе с широкими полями, сразу не разобрать. Но когда поезд остановился, Оля испугалась:

с Мишей стоял Черкасов.

* * *

Черкасов появился в Ватагине неожиданно — он прибежал из Бобровки тайком:

его караулило четверо сторожей ночью, представившись спящим и выждав минуту, когда сторожа заснули, он ушел.

Появление Черкасова в Ватагине перевернуло всю жизнь.

С утра начинал он свою, только ему понятную, работу: он переставлял мебель. И всякий день по-новому все переставлялось, а то и на дню по несколько раз. И за несколько дней переломал все стулья.

Вид у него был зверский: глаза налились кровью, зрачки вкось.

А ни уговорить, ни остановить не было никакой возможности. Он ругательски ругал всех, кроме Оли, да смягчался еще к Лене:

Наталью Ивановну он невзлюбил за то, что она говорила — «Оля — ее»;
Мишу — за то, «что плохой хозяин»;
Ирину — «потому что лицо нехорошее».

Обедал он отдельно. Оля или Лена, чаще Лена, приносили ему обед, другим не позволял. Напряжение в доме дошло до крайности и как-то Лена не выдержала и, выйдя из его комнаты, грохнула поднос с тарелками и расплакалась.

Но беспокойнее всех было Оле. Он следил за ней и ни на шаг не отпускал. И когда Оля все-таки уходила, просил Лену узнать: где?

— Оля спит,— говорила Лена.

Он спохватывался в величайшей тревоге:

— Идите, сторожите: а то ее во сне могут убить.

Ни о каких именинах нечего было и думать. Приехала в Ватагино двоюродная сестра Натальи Ивановны, с детьми, но и дня не пробыла — девочку ничего, а мальчика Черкасов сразу возненавидел, «потому что хлыщ!» и стал придираться, ну та и уехала в Меженинку к любимой бабушке Татьяне Алексеевне.

Бабушка очень была недовольна —

«и что это, писала она, сумасшедший в доме!»

А в Бобровке хватились и, хоть ясно, куда мог убежать Черкасов: или в Лубенцы или в Ватагино, больше некуда,— все-таки дали знать в полицию.

В Ватагино приехал становой.

Оля как раз проходила по двору, и с ней Черкасов с топором.

— Будьте осторожны,— предупреждал становой,— ведь это сумасшедший человек!

А Черкасов сам из осторожности не расставался с топором: топор на случай —

ведь Олю могли убить всякую минуту и во сне и наяву!

Черкасов вдруг потребовал, чтобы его везли в Кочеры к доктору:

рука болит!

Оля и Миша поехали с ним. Но в Кочерах он о руке ни разу не вспомнил. А к вечеру стал проситься в Ватагино.

На обратном пути сначала все было мирно, но вдруг он велел остановить лошадей, вылез, пошел пешком —

и пропал.

Ждали — ждали — нету: не возвращается!

И только слышно, свистит —

жалобно.

Вылез Миша, пошел искать —

а он залез в болото и там свистит — всхлипывает.

Стал его Миша уговаривать — куда! и слышать не хочет. Пошла Оля.

— Владимир Михайлович, пойдемте!

А он из болота:

— Здесь нет Владимира Михайловича — здесь есть недобитый соловей!

* * *

Из Бобровки приехал Федор Фалалеич.

Черкасов согласился ехать домой, но только по железной дороге. А всякий раз, когда надо было выезжать к поезду, на него нападал его всегдашний азартный упор: он необыкновенно медленно укладывался и, хотя у него ничего не было (прибежал он в Ватагино в чем был!), он изобретал самые долгие, самые дальние сборы — подолгу перетряхивал одеяло, тщательно складывал и, уложив в Мишин чемодан, вдруг вынимал — —

«можно ли, спрашивал он, взять ему одеяло с собой?»

то же и с полотенцем и с платками. И не было никакой надежды вовремя поспеть к поезду.

Решено было ехать всем вместе на лошадях:

поедет Оля и Миша.

Черкасов остался очень доволен и вовремя был готов.

Ехали на двух бричках —

Федор Фалалеич с Мишей впереди,

за ними — Оля и Черкасов.

Когда ехали полями — ничего, а когда выехали в лес — Черкасов забеспокоился: ему стало казаться, что Олю кто-то хочет украсть, и потому надо хорошенько смотреть по дороге. Он поминутно выскакивал, заходил вперед, глядел — и, убедившись, что никого нет, опять садился, чтобы через несколько минут повторить то же.

Потом ему показалось, что одна из лошадей враждебна к Оле — и выпряг лошадь: и уж ехали на паре —

а Федор Фалалеич с Мишей на четверке.

А потом заподозрил и другую лошадь — и ее выпряг: и потащились на одной —

а те на четверке, сзади пятая.

И когда, кажется, некого было подозревать: и впереди — никого и лошадь одна! — он заподозрил Федора Фалалеича, будто бы Федор Фалалеич в уговоре с лошадьми и теми неизвестными, кто хочет украсть Олю, и что Федора Фалалеича надо убить.

Вот тебе и раз! — На Федора Фалалеича напала медвежья болезнь: не удержаться!

А Черкасов давно и забыл — Черкасов опять поминутно вылезал: потому что тяжело было ехать. Вставал и кучер, вставала Оля —

ведь одна лошадь!

И Федор Фалалеич поминутно вылезал:

— Господи, хоть бы домой поскорей!

Поездка не из веселых.

Ехали, ехали — конца нет! — и только совсем ночью добрались до Бобровки.

В Бобровке пошло то же, что в Ватагине.

Черкасов переставлял мебель и всех ругал — и Федора Фалалеича и Нелиду Максимовну и Пахомыча и Терентия и повара Лаврентия Мокеича и садовника Григория, всякого, кто подвернется, но больше всех доставалось матери.

Единственная — Оля.

Жарко, а он станет у колодца — головой под солнце.

— Оля,— просит Елена Степановна,— скажите ему, чтобы надел шляпу.

Оля скажет — он послушает.

Или начнет полы мыть по-своему: ведро воды на пол — целое море.

— Оля, скажите, чтобы перестал.

Сад в Бобровке сдавали — Черкасов тихонько брал деньги у арендаторов. А потом сядет на крыльцо, вынет деньги — разрывает и под крыльцо.

И одна только Оля остановит.

Доктор Перепелка советовал отвезти его в Петербург в лечебницу. И само собой, ехать в Петербург с Олей, иначе не уговоришь.

За обедом Оля сказала:

— Я сегодня еду в Петербург.

— И я тоже! — обрадовался Черкасов.

— Ну и мне надо,— сказал Перепелка,— так вместе и поедем.

И до Петербурга дорога была нелегкая. Черкасов выходил на площадку, садился к буферам: спустит ноги и свистит. Все просил, чтобы и Оля с ним села. Страшно было в дороге.

Недалеко от Петербурга он снял с себя часы и подал Оле:

— Возьмите,— сказал он,— храните на память: от сумасшедшего друга.

В Петербурге был предупрежден двоюродный брат Черкасова, он и встретил на вокзале и повез к себе на Сергиевскую. А после чаю поехали будто кататься, а на самом деле на Таврическую — в лечебницу.

А там ждали — все было приготовлено.

Доктор попросил Олю отворить дверь в комнату. Оля отворила —

Черкасов, уверенный, что пойдет с ним и Оля, вошел —

И дверь за ним захлопнулась.

* * *

Оле попался извозчик — белая лошадь.

— На Колтовскую!

И поехала.

А как сворачивать с Кирочной на Литейный, извозчик обернулся и Оля заметила: извозчик без носа. И стало ей душно, как во сне: все перекосилось, неровно, плывуче — дома, мостовая, прохожие — один звук — один шум — и только безносый и белая лошадь.

И вдруг лошадь сцепилась со встречной взбесившейся лошадью — и загрызлись.

Это было одно мгновенье — все покачнулось — еще... и Оля очутилась бы на мостовой — да соскочивший с извозчика офицер шашкой ударил лошадь и лошадь упала.

Как из сна, как бы из воды, уже захлебываясь... как от пропасти — вот сорвется! — встала Оля, заплатила извозчику и пошла пешком.

Оля едва отыскала Котельниковых: на Колтовской в самом последнем дворе квартира без номера.

Людмила Николаевна была дома, очень обрадовалась и сразу же по лицу почувствовала, что с Олей произошло что-то.

Не расспрашивая, она стала перед ней на колени, обнимала ее, заплакала.

Все слова — да слов таких нет! — и вот вместо слова — заплакала.

Тепло и свет окутали душу — и Оля как очнулась.

Котельников — бельмо у жандармов.

И в университете его арестовывали и вот кончил, служил у присяжного поверенного, а нет-нет да и потянут. Высылать его не высылали, «дела» Котельникова не было: его арестовывали всегда при ком-нибудь — в последний раз «по делу Сергея Рашевского».

Все тюремное ему известно, как никому. И он умел устраиваться в тюрьме, как дома. Вышел он из крайней бедности и с детства узнал дома такую нужду, при которой тюрьма кажется «уютным уголком».

«Я и не вырос, очень плохо жили!» — объяснял он свой маленький рост.

Частое сиденье в тюрьме дало ему возможность «подумать». И много чего, что за суетой — а всякая деятельность суетлива! — ускользает, тут он по косточкам перебрал и обдумал. Служи он только у присяжного поверенного (а много любопытного узнал он из разных «дел»!), ему некогда было бы, а вот тюрьма освобождала его. Много он в тюрьме читал, а не резрешали книг — думал.

И никогда ему не было «скучно». При всех обстоятельствах, во всяком положении он находил себе «полезную» работу. В этом он был похож на Ильину. Но Ильина старого закала — вулкан, а он выдержанный и от молчания (в тюрьме не поговоришь) слова его совсем не огненные, а тихие, напоенные: когда слушаешь, понимаешь, что не зря это, не с бухты-барахты, а по каким-то раздумным желобкам идут его слова. И вот почему с горечью говорил он о человеческом «легкодушии» и «легкосердечии» — в самом в нем «поверхностности» и звания не было.

Больше известен был Котельников не по фамилии, а как Федор Иванович. Федором Ивановичем называли его и Оля и Зина.

Так с разговору — с виду какой же он был революционер! Ничего ведь такого резкого, какого-нибудь «сильнодействующего средства» он не указывал и не возглавлял никакого кружка и ни в чем его нельзя было уличить — при обысках у него никогда ничего не находили. Но жандармы не такие дураки: он действительно был «бельмом», и неисправимым.

Сидя постоянно в тюрьме, он свое додумал и твердо.

Сама жизнь его была «неисправимым бельмом», самая его жизнь никогда не могла успокоить его. И в своей жизни он соединял многих — очень многих, которые только не могли высказаться — не умели выразить своего самого бедового.

* * *

«Нет, я не говорю, чтобы бедность, и с нею беда были бы тем желаемым, чего пожелаю всякому —

«нет, как раз наоборот, наша жизнь есть то, чего и врагу не пожелал бы —

«нет! — ведь и все революции к тому, чтобы такую жизнь «предать забвению» и сделать людей не то, чтобы богатыми (это только по наивности или по пылкости так ляпнет другой!), а сделать жизнь достаточною. Ведь, средства-то жизни — от труда! И всякий трудящийся имеет же право на такую достаточную жизнь, которой вот мы лишены! —

«Я знаю, при материальных недостатках, с постоянной нуждой, мелочные заботы засоряют дух. Да, дух! — вот то самое, без чего человек и на человека-то не похож. Затеняют дух житейский мелочами. И уж как бы ты поступил — да, конечно, по-другому! — если бы был сыт и жил бы в тепле и с «удобствами», а не как свинья или крыса в норе, не бегал бы за добычей, не повторял бы одних и тех же просьб, не дожидался бы в прихожей или в приемной, все равно — для нас, известно, всегда «подожди!»,— не молчал бы на глупости, которые предшествуют разговору о твоем деле, не тащился бы больной и в погоду к черту на рога, потому что тебе туда назначено и не придти ты не можешь, а пожалуй и не приходи, очень-то ждать не будут и без тебя обойдутся, тебе же делают одолжение — всегда «одолжение»! Недаром же в античной трагедии действующие лица «цари», т. е. люди, освобожденные от материальных забот,— взят «дух» в чистоте без примеси какого-нибудь студня или картошки с солеными огурцами, дан человек, который имеет возможность думать и не только о дровах, которых нет и надо добыть, и то вот вы пришли, а и сесть-то не на чем, а завтра Людмиле Николаевне надо на урок идти наниматься, а ей и выйти-то не в чем, да и Наташе надо — ведь ей надо! — она не понимает, мы-то как-нибудь обойдемся —

«Да, я знаю, много отрицательных сторон «бедности», с которой об руку нужда ходит,— и врагу не пожелаю! —

«Да в нужде и раздражение — сама жизнь колет! — как же тут быть ровным? Да и сердце надорвано — тихих слов не скажешь. И где больше крику?! — конечно, в нужде, да и не только крику! —

«Да, это хорошо, завидно всему миру улыбаться — видел я такие рожи на фотографиях, рожи с золотыми зубами! А ты вот попробуй поживи-ка без номера на третьем дворе на Колтовской и без дров, когда не то что золотой зуб вставить, а запломбировать и рад бы, да даром-то ведь не станут, а скуло вот-вот разнесет, ты попробуй-ка улыбнуться не миру, а вот хоть — —

«И мещанство, т. е. мелочная расчетливость. Оно у нас-то мещанством не называется! Ведь «мещанство» — это когда человек с карманом начнет в мелочах рассчитывать да копейку обшаривать и — — осуждать тебя, если ты взял, да на последние и купил, вот эти калачи купил и чай пьешь. А ведь ты не имеешь право чай пить —

«Пошел я недавно в театр на Шаляпина, надо же хоть раз послушать, и все деньги истратил на билет. В коридоре сталкиваюсь с моим патроном — удивлен и потрясен: «Каким образом вы попали?!» «Таким же, говорю, как и вы». Понимаете, как же это я,— а он хорошо знает, в каком я положении! — и вдруг на Шаляпине! Да ведь я же не имею права слушать Шаляпина, как и чай пить с калачами —

«Да, мещанство — это мелочная расчетливость, ей-Богу, другой раз из-за сломанной спички, из-за сметенного окурка такое подымешь, точно у тебя, я уж и не знаю что отняли! И, конечно, нарушение самых простых требований общежития: ложь, обман, воровство — все эти «грехи» бедняков —

«Ну, скажите, пожалуйста, ну как же и не соврать? Ведь я же могу говорить правду только тому, кто поймет меня со всей этой моей жизнью, а поймет только свой человек, сам живущий, как я. А скажи по правде человеку, который только представляется понимающим, там — — «все понимают»! — да он все в расчет возьмет: ну вот мы и чай пьем и калачи есть и — самый из ужасов — ветчина, ветчины я купил, сейчас принесу, вот память-то! «Как! у вас ветчина: так дорого!» Ему-то самому можно, хоть и дорого! Или: «Вы занимаете такую квартиру, так дорого!» Но ведь сам-то имеет куда лучшую квартиру и платит

действительно дорого — ему можно, а тебе: крысиную нору, так, что ли? и тогда он успокоится или — ну, как же я с таким буду говорить по правде? —

«То же насчет и украсть. Ну, и украдет — у соседа нельзя, а у того, кто подальше. Впрочем, расстояние вещь относительная, и не в том дело, у кого украсть — —

«Я думаю, что качества т. н. «хороших людей» только и возможны и сами собой появляются только при достатке человека, когда человек становится на человека похож. И такой может быть «честным» — держать слово! — и «милосердным»! Ну, а как тут чего уделишь, когда у самих нет, из ничего — ничего и будет! И как тут не обмануть, когда такая всегда недохватка —

«Люди же сытые, избалованные жизнью (ну, разве не баловство: родиться богатым!), люди, имеющие возможность быть «хорошими», требуют от нас, от бедноты такого, что им совсем легко — «раз плюнуть», и тычут «нравственными понятиями» —

«Да, все революции сводятся к тому, чтобы сделать людей похожими на человека,— дать человеку какой-то достаток жизни, при котором он будет иметь возможность исполнять заповеди «общежития». И это первое и самое главное и без этого ничего невозможно — никакие политические (ничего не ровняющие!) равенства и никакие (от ничего не освобождающие!) свободы. Но пока такой революции не произошло — а к ней, только к ней и устремлены сознательно или бессознательно все помыслы людей, обреченных на трудную жизнь! — пока все на своем месте «по уложенью» и по «предначертанной судьбе» и люди делятся на бедных и богатых, есть какая-то «нравственность» бедных и есть богатых, и общего между ними ничего нет —

«Я всегда буду обращен сердцем к бедным, к которым принадлежу. Я знаю все отрицательные стороны бедности, которой не пожелаю и врагу, но скажу так — я только среди бедноты видел при всей нашей отвратительной злой нужде такие качества духа, какие нигде не видал, или какие и бывают — все бывает! — но только у избранных там — там, где нас никогда не поймут —

«Если богатый бросит обглоданную кость или заваляющий кусок хлеба, который для меня-то будет «насущным хлебом», а кость «наваристой мозговой костью»,— для него это плевое дело, а если бедный это сделает, «поделится» — то это уж от самого тела оторванный кусок и кость от живых костей, от «состава»; и сделает это по «сочувст-

вию», богатый же — чтобы не «приставали»; и бедный забудет, что поделился, а богатый всю жизнь будет помнить и, если по той же нужде ты вздумаешь и еще раз обратиться к нему, он тебе напомнит. Впрочем, есть всякие очень хорошие и чистые способы, чтобы не только во второй раз, но и вообще не обращаться. Я как-то получил письмо от одного товарища из ссылки, просит прислать денег, а что мне послать? — вот я и думаю, и придумать ничего не могу! А мой патрон и говорит: «Да не отвечайте на письмо!» «Как, говорю, не отвечать?» «Да будто ничего не получили, я всегда так делаю». Это, оказывается, один из способов и очень распространенный — —

Рассказывал он случай из «истории революции» — вычитал в каком-то историческом сборнике в тюрьме. Обыкновенно о революциях рассказывают или «ужасы», или легенды о героических подвигах, а в этом случае ни ужаса, ни легенды, просто живая жизнь. В каком-то мексиканском городе взяли верх революционеры, а жил там молодой богатый граф мексиканский и, конечно, этого графа первым должны были уничтожить революционеры. И вот, простой человек из мексиканских же рабочих, бывший каторжник, стоявший во главе революционеров, пожалел этого молодого графа и, когда пришел день суда, спрятал его и потом много приложил усилий не дать в руки своим же «обреченного» «классового» врага. Но, как везде, ничто не вечно и нет ничего постоянного и всякие власти человеческие кончаются, так и тут случилось, пришли другие мексиканцы, сторонники графа: революционеров посшибали, а главного бандита, каторжника-то, первого наметили к истреблению. И вот этот самый граф мексиканский в самую критическую минуту и укрыл его у себя. А когда первая вспышка прошла и чувство мести и «справедливой народной кары» улеглось, граф тихонько выпроводил его из города — и уж в другом городе его прикончили. Но это не важно: на то и шел! А граф, видя — не дурак был! — что и эта власть, дружественная, как и всякая, непрочна, перекочевал на верблюдах к какому-то Навуходоносору, который в ту пору травы еще не ел, и было в его цар-

стве пока что тихо и смирно. И там, у Навуходоносора, рассказывая среди друзей и прихлебателей историю своего чудесного спасения и как он сам изверга укрыл и тем спас жизнь, совершенно откровенно заявлял: «Я укрывал его, потому что не хотел, чтобы у него осталось, будто он мне одолжение сделал, и я ему обязан!»

«Так вот, значит, спас этот граф изверга только потому, чтобы в долгу не оставаться. А ведь изверг-то, каторжник-то спас его без всякого расчета, просто пожалел. Нет, даже и спасти-то человека они так не могут и никогда не поймут, что спасать другого можно из-за самого прекрасного чувства «спасти» —

«Да, все революции исходят из первого и самого главного: сделать людей похожими на человека,— а это возможно только при достаточных средствах к жизни. Но пока все остается неизменно и помириться нельзя. И невозможно. И это не то, что увлекся и разочаровался, нет,— это сама суть нашей тягчайшей жизни, ее зов! —

«Все это я грубо говорю. Я и о другом думал — знаю и извивы и изломы человеческой жизни. Знаю, все гораздо сложнее и запутаннее. Но вы поймете: о самой сердцевине нашей беды иначе и нельзя сказать —

«И скажу еще: до тех пор не замирится земля, пока не будет достигнута возможность вести человеческую жизнь — быть действительно человеком: не терять никчемуненужное терпение, не унижаться, не принимать молча оскорбления. В духе человека скрыты великие возможности, а уродливая несправедливая жизнь вот столечко дает ему простора развернуться, все остальное убивается на мыканье и терпенье.

«Да, пока жив человек, будут на земле революции. И только мертвые, окончательно забытые жизнью, не пошевельнутся, да подчинившиеся своей доле — норе крысиной — останутся равнодушными.

«Пока жив человек — пока он хочет перемены в своей жизни (в общей жизни, с которой его жизнь связана!), будут революции. А революции всегда ужасны. Действующие — не машины, а люди со страстями и грехами. А кроме того, орудием и средством революции всегда будут люди наиболее грубые, нечувствительные, отчаянные и озлобленные. Вдохновители же, наиболее из них человечные, на черную работу не пойдут, да если бы в порыве и захотели, не годятся. Вот вы, например — —

* * *

Жизнь Котельниковых была бедовая и чудесная. Только чудом они были на свете. И особенно когда Федора Ивановича в тюрьму сажали, и Людмила Николаевна оставалась одна с Наташей.

Людмила Николаевна брала белье стирать,— этим и жили.

Оля часто заходила к ним. Доставала им денег, нянчилась с Наташей.

В Людмиле Николаевне много было материнской нежности. Федору Ивановичу многое можно было поверить: конспиративную науку и со всей точностью он прошел до конца.

И всегда у них в их беднеющей квартире, где вместо стульев стояли просто пни, было столько душевного тепла, совести и света.

* * *

А это потом —
Через год —
Не на Колтовской в квартире без номера, а в тюрьме — в Предварилке на Шпалерной. В тюрьме Оля горячо вспомнит и Людмилу Николаевну и Федора Ивановича и Наташу. Чаще всех передача — от Котельниковых. И если нечего — совсем, стало быть, денег нет — то так что-нибудь незначительное: кусочек пирога от Филиппова. Иногда же (чудесным образом!) жареная курица: и всегда курица без крыла. Оля понимает: крыло — Наташе; и еще понимает до слез, что для себя-то они никогда такого не сделают — целая курица!
На Троицу Людмила Николаевна принесла в тюрьму березки, перед Рождеством — кутью. А на самое Рождество Оля получила карточку: Наташа. А на обороте письмо:
«Дорогая тетя Оля, я так давно не вижу тебя, не слышу твоих песен. Мне скучно, так скучно, что хоть и сильный мороз, а я иду к тебе, чтобы встретить с тобой праздники. Мы вместе будем петь Коляду, я уж умею петь и бегать тоже. Крепко целую тебя, дорогая тетя Оля. Твоя Наталка».

У́ЖЕ

После лета первая встреча на Курсах с Зиной:

— Ты страшно переменилась, Оля.

— Как?

— А теперь никто не скажет: «Оля — девчонка!»

На собрании в Кружке Маня Сажина:

— Надо быть у́же: только одним и интересоваться, а все остальное оставить.

Оля, подумав:

— Да, надо быть у́же.

Оля ходила на Курсы, слушала лекции, но когда пропускала, не схватывалась. Некогда было. Все время — на революцию. («Надо быть у́же».)

Не было свободной минуты для себя. С утра начиналась беготня, езда на извозчиках по делам. И не просто надо было ходить, а осматриваться, чтобы увернуться от шпионов. И разговоры.

> Если и разрешено, подумайте, сколько тратится сил и времени на всякие организационные собрания, а когда еще надо прятаться, тут часов не считают; и при этом много всяких побочных дел обстановочных, точности и памяти; да и без дурака нигде не обходится, стало быть, путаница непременно, которую всегда надо распутывать.

Особенно горячка была осенью.

Затеяли типографию. Оля ездила в Харьков, привезла шрифт. Надо было печатать прокламации.

К этому же времени «Бракоразводный комитет», за недостижением целей, преобразовался в «Струю единения»: эта «Струя» должна была объединить курсисток-бестужевок с курсистками других высших учебных заведений — с педагогичками и медичками, заправилы же оставались все старые знакомые —

> Оля, Лида Алексеева, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

«Струя единения», «Кружок декабристок» и конспиративные дела — так все время, ни минуты.

* * *

В начале зимы стали поговаривать,— что «дело» Сергея Рашевского подходит к концу — сидел он два года!

И действительно, были признаки: его перевели из Петропавловской крепости в Предвариловку на Шпалерную.

На свидание ходила Зина и Федор Иванович.

Было условлено: когда узнают о приговоре — сколько лет ссылки, столько бы яблоков и принесли для передачи.

Разными путями и ходами добились — узнали: Зина понесла в тюрьму для передачи восемь яблок —

восемь лет ссылки в Восточную Сибирь!

Начались хлопоты через двоюродного брата Черкасова, который занимал большое место, чтобы не по этапу ехать Рашевскому, а на свой счет с сопровождающим. И когда получилось разрешение, выяснился точно день отъезда.

Зина и Оля приехали на Николаевский вокзал — Рашевского привезли: с ним был «сопровождающий» и Федор Иванович. Решено было ехать всем вместе до Бологого.

После двухлетней тюрьмы Рашевского все удивляло: глаза, привыкшие к стенам, а слух к тишине, живо действовали на разнообразие окружающего. Он точно открывал новое:

— И лес растет!

— И дети кричат!

«Сопровождающий» не мешал разговору: он залег на верхнюю полку и никак не отзывался — может, за столько лет вытянулся; шпионская-то должность, не посидишь на месте, не развалишься?!

Вышли на площадку.

На площадке можно было обо всем говорить.

Вспоминали — вспомнился и день ареста, третий день Пасхи, и как Оля попала в засаду на Захарьевской.

— Утром меня разбудила Зина: у нее был обыск. Просит пройти на Захарьевскую и узнать, как у вас. Я поехала на Захарьевскую. Там у ворот увидала много городовых и в штатском. Я вошла во двор и, не обращая внимания, прямо к тому подъезду, где, я знала, вы живете. Мне из окон стали махать. А я ничего не понимаю: тоже платком помахала. Возле подъезда жандармы — я мимо них по лестнице. Догнал меня жандарм в штатском, д. б. сыщик. «Какую квартиру вам надо?» «Рашевского»,— говорю. А тот так вежливо: «Пожалуйте!» И в комнату с городовыми меня запер. Городовой сначала молчал, потом разгово-

рился: рассказал, что в ночь много арестов было — «больше ста рублей на кареты истрачено!» Я просидела до шести часов вечера. Вошел какой-то штатский и стал меня спрашивать: кто я и зачем пришла? Я сказала, что пришла просить к экзамену книгу: Логику. Штатский ушел. Еще просидела сколько — с час. И меня повезли на Гороховую в Охранное.

— А ведь я видел, как вы входили: меня еще тогда не отвезли.

— На Гороховой жандармский полковник сказал,— продолжала Оля,— что обвиняюсь «в близких сношениях с политическим преступником Рашевским и не в каких-нибудь личных, а по общему делу». И так как я «очень молода и, очевидно, не боюсь жандармов», он меня отпускает. Этот полковник ужасно мне был отвратителен. И я до сих пор с неприятностью вспоминаю, как он разговаривал со мной.

— Это Струнский,— сказал Рашевский,— негодяй!

В Бологом Рашевский стал просить проводить его до Москвы — и так незаметно доехали до Москвы.

Не на вокзале же ждать поезда — пошли ходить по улицам. В первый раз Оля увидела Москву! Добрались до Тверского бульвара.

— Памятник Пушкину!

Но тут «сопровождающий» запротестовал: по городу ходить не полагается. И опять на вокзал.

— Проводите меня еще немножко!

— Я поеду,— сказала Оля.

— И я с тобой поеду.

Федор Иванович простился: он должен в Петербург. А Зина и Оля поехали с Рашевским. И до Серпухова — не заметили, в Серпухове вышли.

Поднялась метель — летел снег, ух, как в ладошки хлопал — и! как! весело.

Рашевский был в большой шубе, и от шубы он казался еще больше. Прощаясь, он двумя руками с шубой взял Олину руку.

— Я готов сделать какое угодно сальто мортале, чтобы только опять увидеть вас.

А снег так и засыпал, захлопал — и! весело!

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— Я прекрасно знаю, что Сергею и не надо было, чтобы я его провожала,— говорила Зина,— но куда же ты одна денешься в Москве!

В Москве Зина повела Олю ночевать к знакомым. А наутро поехали в Петербург.

— Сергей убежит, я знаю! — сказала Оля.

— Трудно,— Зина не верила.

— Ну, такой найдется! Не будет же он корпеть восемь лет без дела.

БЕСПОРЯДКИ

Всего два дня не были на Курсах, а Курсов нельзя узнать: сразу же почувствовалась «атмосфера беспорядков».

Лекций нет — в чем дело?

Варя Финикова, особенно возбужденная, бегала из аудитории в аудиторию.

— Да в чем дело?

— Курсистку — не знаю фамилии — поцеловал профессор Дадыкин, когда она пришла к нему за книжкой,— и Финикова зазвенела,— так этого нельзя оставить?!

— Нельзя! — подхватили,— нельзя?!

Профессор Дадыкин — у него большая библиотека — давал курсисткам читать книжки; розовенький, пухленький, с необыкновенно мягким голосом и очень вежливый до стеснительности и робости, и уж куда там поцеловать, да он просто как-нибудь посмотреть не решился бы, всегда с книгой и в книге, и сам вроде сафьянового корешка книжного.

— Нельзя! нельзя! — звенело и задорно и колко.

Тут Оля увидела, что и Лида Алексеева, и Маня Сажина, и Нина Мавлютина не менее возбуждены, и это передалось и ей и Зине.

А в математической аудитории собирались и почему-то не шли, а бежали, и с бежавшими бежал и крик и звяк взволнованных голосов:

— Это неправда.

— Надо его освистать.

— Дадыкин поцеловал.

— Так этого оставить нельзя.

— Нельзя! нельзя!

— Позвольте,— выступила Женя Шубина,— только что получено известие: профессор Дадыкин сошел с ума и его поступок не зависит от акта сознания.

— Ну, и что ж, поцеловал? Неизвестно, как было: может, совсем с другими целями.

— Не может быть.

— Неизвестно, как это было: сама курсистка могла подать повод.

И тут-то вот вылезла, стала на стол маленькая кругленькая, носик шишечкой — курсистка Мизюкина.

— Нет,— сказала она,— это все неверно, других целей не было и повода я никакого не давала. Это было со мной.

И она начала рассказывать, как ее поцеловал Дадыкин.

Оле было неловко слушать — —

— — потом вышел он на площадку,— отчетливо выговаривала Мизюкина,— и сказал мне, что он ко мне придет.

— Так этого оставить нельзя! — крикнула Варя Финикова.

— Нельзя-нельзя! — подхватили со всех концов.

И когда, сорвав сердце, выкрикнулись, и понемногу стали расходиться, медленно вошла в аудиторию Анна Ивановна Синицына.

— Четыре года на Курсах,— сказала она,— каких только беспорядков не было и из-за студентов, и из-за нагаек, но чтобы из-за поцелуя, такого не бывало.

* * *

На другой день с утра поднялось вчерашнее — опять стали собираться в аудиторию, опять крик, опять нет лекций.

И, как всегда в таких случаях, комитетские дамы забегали по коридору и зашуршало из всех углов:

— Курсы на волоске!

— Курсы закроют!

А курсистки кричали:

— Так этого оставить нельзя! — выразить протест! Какая-то нестоющая курсистка — «барышня», начиненная курсовыми дамами, особенно горячо возражала: голос ее раздавался в аудитории и в коридоре.

— Это личное дело,— говорила она,— Мизюкина и должна выразить протест. И никакого общественного значения не имеет.

— Не трепайте фамилию! — крикнула ей Оля.

Окрик Оли произвел некоторое впечатление и на время барышня замолчала. И осталось единодушное: «выразить протест».

По обыкновению на Курсах появился любимый профессор Воркунов, но в аудиторию не пошел.

— Удивляюсь,— говорил он в коридоре,— ведь надо видеть Мизюкину: как ее еще городовой не поцеловал!

* * *

И на третий день было не меньше крику, чем в первый.

Опять выступила «барышня», доказывая, что этот поцелуй общественного значения никакого не имеет и что Мизюкина должна сама выразить протест.

— Не трепайте фамилию! — по-Олиному, только тоненько крикнула Соня Ефимова.

— А зачем же вы, как выражается Ильменева, трепаете имя Дадыкина!

Но тут вступилась Варя Финикова: она дошла до последнего ожесточения и уж сама с собой повторяла —

«так этого оставить нельзя!»

— «Выразить протест!» — откликнулась аудитория. И вынесли постановление:

1) на курсовой вечер Дадыкину почетный билет не посылать;

2) при первом удобном случае освистать;

3) все книги, какие взяли у него, вернуть.

И написали коллективное письмо:

«считаем оскорбительным для себя брать книги и возвращаем».

И все подписались: Варя Финикова, Оля, Зина, Лида Алексеева, Маня Сажина, Нина Мавлютина — и те, кто никогда никаких книг не брал у Дадыкина, просто из протеста.

Вот какой вышел лист!

* * *

Федор Иванович только смеялся над всей этой историей с «поцелуем».

— Это не в первый раз,— говорил он,— это, когда я был на втором курсе, Дадыкин тоже курсистку поцеловал, и тоже были беспорядки!

ПОД СТУК

Шпалерная: камера на 4-м этаже № 23.

Дверь захлопнулась — и Оля осталась одна.

Первое: стук — стучат со всех сторон —

Оля сняла ботинок и каблуком стала колотить в стену.

— — — — — — — — — — — — — —

В коридоре поднялся шум, вбежала надзирательница:

— У нас стучать не позволяется! Пойдете в карцер!

Оля надела ботинок и стала прислушиваться:

стучали со всех сторон — стук глухой, а сверху ясно:

— Кто?

— — —

«Конечно, надо стучать чем-нибудь легким!» — поняла Оля, вынула шпильку и шпилькой постучала обыкновенной азбукой медленно:

— И-л-ь-м-е-н-е-в-а

И стуком ей ответили:

— Разделите азбуку на шесть частей — в каждой части по пяти букв.

И уж по-новому выстукала Оля и совсем просто:

— Кто?

И просто разобрала ответ.

— Игнатьева. Сегодня большие аресты.

Так Оля и научилась и стала стучать-разговаривать азбукой, которой перестукиваются.

И пошла ее тюремная жизнь — дни и ночи под стук.

Оля была арестована совсем неожиданно — впрочем, ожиданно ничего не «случается»! После шевченковского вечера, на котором была и Зина, Оля вернулась домой поздно. А дома: жандармы — уж обыск сделали. Так прошла ночь. Утром повезли на Шпалерную в Предвариловку. Везли на извозчике два жандарма. Весна — март — солнце. Встречаясь, незнакомые студенты махали шапками и провожали особенным взглядом: всякому было понятно, что арестованную везли в тюрьму.

Через несколько дней стучит Игнатьева:

— Вам кланяется Рашевская.

— Она здесь?

— Да. От меня через камеру.

Игнатьева перечислила всех — все были здесь:

Лида Алексеева, Маня Сажина, Нина Мавлютина, Варя Финикова.

Оле хотелось поговорить с Зиной, но как это сделать: на другой этаж через камеру в угол — далеко.

Соседка Лаптева:

— Вы можете стучать по водопроводной трубе, когда тихо. Надо в углу стучать. Через камеру слышно. Можно разговаривать со всей тюрьмой.

Оля пробовала и сначала было трудно — очень стучали! — но и эту премудрость одолела.

И стала перестукиваться с Зиной.

* * *

Первое время Оля разговаривала с соседками:

наверху — с Игнатьевой,

слева — с Лаптевой,

(справа сидела Федорова, не любила разговаривать: работала — вязала),

внизу через камеру — со Степановой, но главное — с Лелей Корн — прямо под камерой.

И со всеми подружилась, а с Лелей особенно.

— — весна — пароходы на Неве стучат — на воле веселое время — —

Каждый вечер Степанова выстукивает Оле:

— Крепко целую и горячо обнимаю.

— И вас! — отстукивает Оля.

А когда Степанова захворала и ей разрешили вино, она стучала:

— Пю за ваше здорове.

(В азбуке, которой перестукиваются, нет ни Ъ ни Ь).

Все соседки — с.-д., а из с.-р. близко: Маня Сажина и Лида Алексеева.

Маня Сажина все болела — мало разговаривала; и не долго ее держали — выпустили. Но уж воля не для нее — так и померла.

Лида Алексеева тоже хворала — ее в лазарет перевели. В лазарете окна большие, Оля ее в окне увидала. И стали они переговариваться палочкой: Оля махала палочкой буквы — и Лида ей отвечала так же.

— — весна — пароходы на Неве стучат — на воле веселое время — —

О весне, о Неве, о пароходах, о воле — Оля и разговаривала с Лаптевой.

И вдруг стук быстрый:

— Меня освобождают!

Оля всего раз ее за месяц видела — издали, а привыкла, как год годовали вместе!

уж потом Оля ее увидела — на ту весну, когда так же пароходы на Неве свистели, когда Олю выпустят.

* * *

Вся весна, лето — до осени прошли под стук Лели Корн.

Из всей тюрьмы лучше всех стучат: отчетливо, мягко и быстро —

Оля и Леля.

— Попросите у дамы ножницы и делайте дырку в полу около трубы: там есть щелка! — постучала Леля.

(«Дамами» называли курсистки тюремных надзирательниц, на манер курсовых дам.)

Ножницы Оле выдали, и весь день она трудилась.

А вечером после поверки стучит Леля:

— Лягте на пол.

Оля легла — —

и вдруг слышит настоящий человеческий голос:

— Вы меня слышите?!

А Оля только смеется от радости:

настоящий человеческий голос!

— Да, да, слышу.

— Давайте разговаривать!

И с тех пор всякий вечер после поверки Оля с подушкой укладывалась на пол (Леля научила: «на пол головой не ложитесь, пол асфальтовый, можно простудиться, а подложите подушку!»),

а Леля становилась на стол, на книги.

И разговор был самый близкий, только что друг друга не видят.

Леля рассказала всю свою жизнь — она тоже из-под Киева, отец немец, принял русское подданство, и она рус-

ская. И Оля ей рассказала о себе и самое сокровенное свое — о своей вере.

— Давайте я вас буду называть Олей, а вы меня Лелей. И как в брудершафте: обнимем — — трубу.

Оля согласилась: Оля поднялась с пола и обняла трубу (радиатор) —

Леля спрыгнула со стола и тоже обняла радиатор.

И теперь всякий вечер после поверки стучит Леля:

— Я иду к тебе!

И вспрыгивает на стол на книги —

а Оля с подушкой укладывается к радиатору.

— Давай, Оля, передавать друг другу из передачи. И книжками меняться.

— А как?

— Разорви простыню, сделай веревку, привяжи и спускай в окно.

Оля разорвала простыню, скрутила веревку, привязала конфетов и — в окно —

Леля веревку поймала, конфеты отвязала, а привязала яблоко —

Оля потянула — яблоко очутилось у нее в руках.

Так и передавали.

И что принесут Оле, она отделит и вечером на веревке Леле —

И Леля тоже бережет к вечеру свое для Оли.

— Есть у тебя, Оля, Леонид Андреев?

— Есть.

— Дай мне. И напиши: «отречемся от старого мира» — все слова.

Оля написала Марсельезу, вложила в книгу, дождалась вечера, отворила форточку и стала спускать на веревке книгу — — и тут что-то произошло: не то книга тяжелая (в переплете!), не то рука дрогнула —

веревка выскользнула —

тррах!

Оля с окна — бац.

Леля на пол — цаб.

Да скорее на кровать, улеглись — и словно спят давным-давно.

А всю ночь не спали:

известно — такая книга находится у Оли, и Олин почерк — записка «отречемся от старого мира».

Часовой ли попался хороший — все обошлось: и о книге никто не хватился.

Леля выдумщица — для развлечения затеяла представлять музыку: стучать враз по-разному — стучала Оля, стучала Степанова, стучала Леля и совсем слабая, больная, переведенная из лазарета, Лида Алексеева; ее попросила Оля и она, хоть и трудно было, Оле не могла отказать.

Лида: раз —
Оля: раз-раз —
Леля: раз-раз-раз —
Степанова: восемь раз — раз —

И такая музыка гремит до тех пор, пока надзирательницы с ума не посойдут — и сразу все обрывалось.

Или скуки ради Леля с Олей представляют, будто новых привезли арестованных —

обыкновенно, когда привозили новых, слышно было, как хлопали двери, все настораживались и начинали стучать по стенам.

Хлопать дверью ни Оля, ни Леля не могут, но вызвать стук — можно:

они нарочно стучали неумело обыкновенной азбукой и часто зачеркивали (резкий стук поперек), что означало «не понимаю».

И все, конечно, думали, что привезли новых, верили — и тюрьма оживала.

Всякий вечер Оля разговаривает с Лелей —

они слышат настоящий человеческий голос!

— Почему бы, Оля, не разговаривать нам, сидя на стульях!

— А ты можешь себе представить, Леля, выйти на прогулку без дамы?

— Ты согласилась бы, Оля, повенчаться: после венчанья три часа можно сидеть вдвоем, такое правило.

— Только-то три часа — — !

— А ты знаешь,— вдруг обрадовалась Леля,— форточку в двери на день не запирают. Пойдешь на прогулку мимо, толкни.

И на следующий день после прогулки, проходя мимо Лелиной камеры, Оля, к ужасу надзирательницы, крепко толкнула форточку —

Форточка раскрылась — и Олину руку резко пожали тоненькие пальцы.

А это такое счастье: пожать живую человеческую руку в одиночной тюрьме!

Оля ходила по двору на прогулке и видит:

кошка погналась за воробьем и задушила его.

Оля подняла воробья — нигде ведь, только в неволе так жива жизнь, и все погубленное близко, как свое! — вырыла ямку, закопала воробья и цветы положила —

каждый раз, как Оля на прогулке, Зина ей бросала цветы.

Оля, конечно, простучала Леле о воробье, как погиб, и о могилке воробьиной.

Лелю это очень растрогало и она написала стихи: у Лели душа такая и вот просится, а слов-то нет и ничего не выходит.

Оля ей Кузмина прочитала:

Воробушек, птичка малая,
О чем щебечешь в плену?
Тоска небывалая
Приводит все песню одну.

И каждый вечер Оля ей стихи читала — Оля знает на память много.

А Леля ей рассказывала сказки — русских она не знает — Гримма, Гауфа.

А это такое счастье: в неволе слово — стихи и сказки!

И только раз поссорились из-за какой-то мелочи самой мелкой.

И днем Оля ей не стучала, Оля перестукивалась с соседкой Лели — Струковой.

Струкова стучала топорно — —

И вдруг ворвался легкий, мастерский стук Лели:

— Тише, начальство!

А когда в тюрьме все стало по-обыкновенному, Леля:

— Я иду к тебе!

Так и помирились.

На Олю напало: как ночь, не спит, а утром до одиннадцати в кровати.

Леля:

— Я придумала: ты обвяжи себе ухо ниткой и протяни нитку в окно, я в шесть за нитку дерну, ты и проснешься. А на следующую ночь заснешь крепко.

Но Оля не согласна: очень мудрено.

И опять Леля — еще выдумала:

— Давай мыть пол: от этого сон хороший.

— Я не хочу мыть,— сказала Оля.

— Ну, я еще что-нибудь придумаю.

— — —

Тюремные надзирательницы делились на «дам хороших», как Екатерина Ивановна: такие предупреждали разговаривать тише — не стучать, когда появлялось в тюрьме начальство; и никогда ни о чем не предупреждавших, напротив, это «дамы гадкие», «ведьмы».

И однажды гадкая ведьма застала Олю и Лелю за разговором.

Что только было: крик и гроза —

«донесу!»

А хорошая ведьма после и говорит:

— Вы хоть бы поосторожней были, когда дежурит Марья Петровна. Мне тоже попало: опоздала я на дежурство и всего-то на одну минуту — так она на меня, будто я виновата, и что вы разговариваете.

Леля и по этому случаю стихи написала:

о злой ведьме, которая стережет арестантов.

Только у Лели вышло, что нет злых ведьм, есть одни добрые, а злыми они становятся:

потому что, если исполнять устав при таком нарушении всегдашнем — эти стуки-разговоры! — то и самый добрый человек озлится.

Как-то сейчас же после поверки Леля неспокойно простучала:

— Я иду к тебе.

Еще рановато, но Оля взяла подушку и к радиатору.

— Оля, меня завтра выпустят.

— Откуда ты знаешь?

— Мне сказала Екатерина Ивановна.

(Екатерина Ивановна — «добрая ведьма».)

И всю-то ночь проговорили.

— Оля, будешь ли ты вспоминать меня — мой голос из могилы? Ведь я под тобой, как в могиле!

— Буду, Леля, всегда.

— И я никогда не забуду твой «с неба». Мне, Оля, страшно хочется жить. Я люблю всю жизнь. Всякую травку. Я и дождик люблю, Оля.

— Вот на воле ты завтра —

— Я знаю... Но мне чего-то горько. В лесу я смотрю на корни, на листья — осенью особенно, когда в лесу тихо. Осенью особенно. И так бы все всосала в себя...

Зажмуришься и не шевельнешься. И чего-то горько.

— Это ты в тюрьме, а как выйдешь —

— Нет, Оля, это что-то другое.

— А какая ты, Леля, расскажи!

— Завтра увидишь.

— А почему у тебя такие худые руки?

Леля не сразу ответила.

— Такие уж — — А ты сильная, Оля, я знаю. По голосу, по шагам. А какие у тебя глаза?

— Меня, когда я была гимназисткой, называли «совой».

— Да, да, я вижу... Я тебя, Оля, никогда не забуду.

Леля приготовилась к завтрашней воле. Оля дала ей всякие поручения: и куда пройти и что сказать. А прошел день — не выпускают. И неделя — Леля сидит. Месяц кончается —

Когда Лелю повели на прогулку, она, улучив минуту, спросила «хорошую даму» Екатерину Ивановну:

— Почему вы сказали, что меня выпустят?

— Да возле вашей камеры ножницы упали!

— — —

И еще прошел месяц. Начался сентябрь.

Лелю выпустили внезапно — крепкий стук к Оле в неурочный час днем:

— Я иду к тебе.

Оля взяла подушку и к радиатору.

— Меня выпускают.

— Леля! до свидания!

— До свидания! — и Леля спрыгнула...

А Оля стала на стол к окну: с четвертого этажа ей виден тюремный двор —

подъехал извозчик,
вынесли вещи,
вышла Леля —

Так вот она какая! Оле показалось:

— — тоненькая, мордочка остренькая, лисичка!

И она стала ей махать.

А Леля — тоненькие руки свои так крестом и к Оле от самого сердца, точно хотела все сердце отдать маленькое Оле —

Оля никогда не забудет.

В первый раз она ее увидела и больше не увидит: вскоре после тюрьмы Леля померла от туберкулеза.

Извозчик скрылся.
Один пустой тюремный двор.
Оля осталась одна.

— —

Воробушек, птичка малая,
О чем щебечешь в плену?
Тоска небывалая
Приводит все песню одну.

Оля очень горевала, так горевала, точно кто помер близкий. Безумная была тоска. И никак не могла успокоиться.

Поздно вечером все ей кажется, кто-то кашляет в камере — в «могиле», где сидела Леля.

— Леля?

А в ответ ей только смотрят пустые, непреклонные стены.

— — —

Обыкновенно время в тюрьме шло быстро: от понедельника до понедельника — не заметишь. В понедельник моет пол «уголовная», переводят в пустую камеру и оттуда можно стучать, этим стуком и начинается неделя.

А теперь от понедельника до понедельника дни бес-ко-нечные!

* * *

В «могилу» на место Лели посадили Смолину: ее уж во второй раз сажали, теперь по приговору на два месяца.

Смолина научила Олю передавать записки в переплете.

И еще посоветовала:

что хорошо в тюрьме изучать какой-нибудь иностранный язык.

А когда подошел срок ее тюрьмы, Оля дала ей поручение к Федору Ивановичу.

Ф. И. Котельников тоже был арестован по «делу» Оли и, как всегда, его подержали несколько месяцев и выпустили. У него ничего не нашли, как и у Оли ничего не нашли, и улик не было, а против Оли были показания Хвостова, в которых он много чего напутал.

Чтобы поверил Федор Иванович, Оля дала Смолиной такой признак:

пусть она напомнит, как Оля ночевала у них, когда жили они в Лесном, в той комнате, где солнце с пяти светит.

— А когда выпускают,— спросила Оля,— что же бывает?

— Везут в карете в Жандармское, там подписать надо бумагу об освобождении, и на извозчике с вещами домой. И кажется, все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, и дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости.

Смолину выпустили.

И вскоре Оля получила от нее бутылку супу, а в супе — записка. А от Федора Ивановича учебники: французский и немецкий.

* * *

За одинокие месяцы без Лели Оля много передумала.

Оля вспомнила Соню Ефимову и приняла ее —

ее слова, как она сказала, что «ей мила Оля, как человек, и не важно, с.-р. или с.-д.»

Соне Ефимовой она тогда и письмо написала, просила не сердиться.

— Да, важно, чтобы в человеке был человек.

Ведь все, кто ей помогали, были с.-д.:

и Игнатьева, которая научила ее азбуке,
и Степанова — «крепко целую и горячо обнимаю»,
и Лаптева, с которой Оля первое время перестукивалась,
и Смолина,
и Леля —

Единственная Белкина, она сидела вместо Лаптевой —

ей на свидании сказали, что ее выпустят на днях, и об этом она постучала Оле.

— Можете передать на волю зашифрованное письмо? — спросила Оля.

— Если там не будет с.-р'ского содержания.

— Лежачего не бьют,— резко простучала Оля,— у нас тут не такой порядок: все друг другу помогают, не рассуждая, кто с.-р. и кто с.-д.

— Нет, дайте, я передам! — спохватилась Белкина.

— Ни-когда.

Да, в тюрьме не было различия: с.-р. и с.-д. Никогда никто не отказывал друг другу.

Больше всех помогала Лаптева:

> она сидела два года, каждую неделю у нее было два свидания; кому угодно она помогала, все ей стучали, безразлично — какие шифры, все, что хочешь.

Оля не помирилась с «материализмом», но с человеком — —

* * *

В начале зимы приехала из Ватагина Ирина: ей дали свиданье с Олей в Жандармском.

«Дело» Оли вел тот самый полковник Струнский, о котором у Оли осталась неприятная память — разговор его тогда по поводу ее ареста, и как он отпустил ее, потому что «она очень молода и не боится жандармов». Тогда Оле было шестнадцать лет, а теперь девятнадцать. Тогда Оля даже не знала, «чего надо знать», а теперь она знает.

После свидания с Ириной, полковник Олю допрашивал и, как всегда, без толку.

— Я думал,— сказал полковник,— на вас хоть свидание с сестрой подействует!

И еще раз дали свидание с Ириной, но уж в Предварилке.

И полчаса — срок свидания — показались Оле за минуту.

Все земляное — черная ватагинская земля, сад — густой, заросший, с грушами, с вишнями, с яблонями, с барбарисными кустами, все кровное, крепкое, как эта теплая черная земля, ощутилось так близко, так захватывающе — до боли.

> От Натальи Ивановны долго скрывали. И лето прошло, а Оли все не было. Выдумали, будто Оля к кому-то на урок поехала. Олины письма из тюрьмы, что желтым перечеркнуты — цензурованные жандармами,не передавали. И только те, где жандармы забывали перекрестить желтым, показывали. Но скрыть уж нельзя было.

Беспокоилась и любимая бабушка Татьяна Алексеевна, что нет и нет ее Оли. И в один прекрасный день, не выезжавшая век из Меженинки, она собралась и вместе с Анной Павловной нагрянула в Покидош к Марье Петровне Вольской.

«Покажите мне газету,— сказала Татьяна Алексеевна,— не написано ли там, что Олю арестовали?»

«Вот еще что выдумали! Да разве про это пишется?»

Татьяна Алексеевна в тот же день уехала в Меженинку. Да, больше невозможно было скрывать. И сказали: и Наталье Ивановне и бабушке.

Наталья Ивановна очень тревожилась: ей представлялось, что Оля сидит в арестантском халате, в подвале, как рисуют на картинках. А бабушка, тетушка и Анна Павловна — молились.

Перед Рождеством и еще раз дали свидание с Ириной и она уехала в Ватагино.

Оля, захваченная памятью о доме, думала, что никогда уж она ни с кем из домашних не поссорится: уступать будет — никогда ничем не огорчит ни Наталью Ивановну, ни бабушку, ни Ирину, ни Мишу, ни Лену.

И вспоминая всех — все обвиняла себя, что мало любила их.

Душа ее горела и жестоким судом над собой и любовью к ним.

И, когда под Рождество от Котельниковых с передачей принесли ей карточку Наташи, она так обрадовалась и порывистым стуком простучала соседке:

— Я умерла — —

* * *

Трудно было стучать к Зине наверх через камеру. Оля ей всегда стучала, и когда Леля была, стучала, а теперь, когда Лели не было, все — для Зины.

Ведь Зина понимала Олю, как сама говорила, по движениям ресниц, и всегда говорила, что любит Олю больше,чем Оля ее. Так и все говорили. Так и сама Оля думала.

И теперь Оля часто об этом думает и обвиняет

себя, что меньше любит ее, и всегда меньше любила, а когда ссорились, первая подходила Зина. И раз после такой ссоры карты подарила, игрушечные карты, чтобы что-нибудь подарить, на большее денег не было.

А отчего ссорились?

Или оттого, что душа ее как-то по-другому? Вот Леля и с.-д., а по душе куда ближе. Нешто Зина скажет, как Леля, «что она — — и дождик любит»! Зина иногда говорила такое, отчего было досадно на нее: очень как-то грубо и не в слове, а в самой мысли — —

Трудно было стучать Зине — только по трубе.

Оля выдумала особенную азбуку —

чтобы никто не понимал их разговор.

Стучит она по вечерам, как когда-то Леле.

Зину раньше должны выпустить: ее и меньше обвиняют и меньше ей придают значения.

— Я, Оля, не хочу, чтобы меня выпустили.

— Почему, Зина?

— Что ж я на воле без тебя буду делать? Если ты будешь сидеть, то мне и воли не надо.

И однажды после такого разговора Оля спросила себя:

согласилась бы она быть на воле, когда Зина сидит?

И ответила:

«Согласилась бы».

И стала обвинять себя.

Но что же поделать-то, когда ясно говорится в душе:

да, согласилась бы!

«А Зина вот говорит, нет!»

Летом Зина всякий раз, когда Оля гуляет, цветы из окошка бросала ей.

Если на прогулке случалась надзирательница «добрая ведьма», Оля поднимет цветы и унесет в свою камеру. А когда «гадкая ведьма», Оля только смотрит и улыбается от радости:

Зина помнит, это слова ее — как цветы.

— Ты, Оля, тоже в две косы волосы заплетай и ходи так, чтобы мы с тобой были одинаковы. И кофточками давай поменяемся: ты в моей кофточке, а я в твоей.

Оля заплела две косы и ходила так — как Зина.

В пятницу Олю водят в баню и она оставляет там, припрятав, свою кофточку для Зины. А через неделю — в пятницу находит, тоже спрятанную, кофточку Зины.

И они, как одна, одинаково ходят — в две косы:

на Зине — красная кофточка Оли,
на Оле — голубая Зины.

В разговоре часто вспоминают Сергея, брата Зины: проводы до Серпухова, метель и как потом ждали письма —

Зина была тогда уверена, что Сергей напишет или ей или Федору Ивановичу, и ходила всякий день к Федору Ивановичу справляться, а получила-то первая Оля: «Многоуважаемая и милая Оля!» — начиналось письмо. «Кто получил первое письмо?» — задорно спрашивала Оля. «Да ты, ты!» — как детям, отвечала Зина, глядя с восхищением на Олю.

Как-то под вечер, когда зажгли электричество, раздался по трубе сильный стук.

— Прощай, Оля,— стучит перепутывая буквы Зина,— меня выпускают.

— Пр — — Оля только и успела простучать две первые буквы и услышала резкий звук крест-на-крест: значит; вошла надзирательница, собирают вещи.

А вот и дверь стукнула —
шаги по лестнице.

Оля к окну —
зима — темно на дворе, едва различает:
карета — это для Зины, в Жандармское повезут!
карета пропала —

И темная темь закрыла окно.

Оля представляет себе:
как Зина в Жандармском —
подписала бумагу —
отдали вещи —
извозчик — едет домой.

«И кажется,— вспоминаются слова Смолиной,— все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, и дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости».

А в камере пусто и одни стены сурово.

Оля нет-нет да и подойдет к трубе, послушает: не стучат ли? — нет, не стучат! Постучит — нет, никто не отвечает. Вот будто она закашляла... нет, это показалось.

По ночам часто снится Зина:

то будто через Неву переезжает с ней Оля,
то будто Шевченковский вечер, и опять они
вместе, и очень весело.

Оля получила передачу от Зины и в передаче записка:

«— для меня нет воли, пока ты сидишь в
тюрьме!» —

А прошла неделя и нет ни передачи, ни писем.

— Значит, Зину выслали!

* * *

В тюрьме все знали, что делается на свете.

Постоянно входили новые — через расспросы да через передачи все и узнавали.

К концу зимы всех выпустили, кто был с Олей, и только одна осталась в тюрьме Оля.

Оля занималась французским и немецким, как ей посоветовала Смолина, и это помогло ей заполнять длинные одинокие дни. Времени было очень много — на перестукивание уходило все меньше и меньше, и только книга: Оля читала и думала.

«Вот у меня все отняли, что есть жизнь,— думала Оля,— а за то, что хотела отдать себя для воли других. Тюрьма не несчастье, тюрьма только неприятность, надо вынести эту неприятность и тогда еще светлее и радостнее будет начатый путь. А Хвостов на воле: он достал себе волю тем, что других лишил ее надолго!»

— — — — — — — — — — — — — — — — —

На тюремном дворе лежит снег.

Стоит недоделанная снежная баба:

эту бабу Оля давно делает и не может окончить:
прогулки коротки.

Оля взяла полную пригоршню снегу и взглянула вверх —

небо!

кусочек неба и звезды!

«Вот чего от меня не отняли! Неба не отняли! И никто не властен его отнять. А вот Хвостов сам от себя отнял: для предателей нет неба!»

— — — — — — — — — — — — — — — — —

Оля вернулась в камеру

В глазах ее было небо и звезды.

Она его видела и такое звездное еще в детстве: так же снег лежал, стояла снежная баба, а она с отцом шла в церковь ко всенощной.

«Оно вечное. Его люди не могут отнять. Только сам человек может его уничтожить. Да, тюрьма не несчастье, а несчастье — вот когда неба не будет».

— — — — — — — — — — — — — — — —

Оля стала молиться.

На воле редко она молилась, а тут целыми часами выстаивала на коленях.

Не по молитвеннику, своими словами она выговаривала свою молитву:

и благодарила — за волю,
и просила — о воле.

* * *

По обыкновению Оля встала в семь, до десяти убиралась, села заниматься.

Неожиданно вошла надзирательница:

— Собирайте вещи, вас освобождают!

— Передайте это в № 16! — Оля показала на книги, и еще кое-что было у нее из передачи.

— Я не могу.

— А тогда я не выйду! — Оля сказала твердо.

— Хорошо, хорошо, я передам.

И пошла, а Оля стала одеваться.

И стены вдруг как осели, просетились — не узнать, и не поймешь: и было и не было, как во сне.

Олю повезли в Жандармское.

И когда она подписала бумагу и вышла: у подъезда ждал извозчик с вещами — —

«Когда выпускают,— вспомнилось,— кажется, все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, а дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости».

Но где же? где же все это? — и такая весна, а из души угрюмо смотрят серые каменные стены — ст...

И Оля заплакала.

ПРОЩАНЬЕ

Оле разрешено было остаться на месяц в Петербурге: держать выпускные экзамены.

Выхлопотал любимый профессор Воркунов: Олю считал он коноводом всех курсовых историй и беспорядков, но горячность ее и убедительность и как говорила она — «всегда на суть и во всеоружии» — покорили его, он смотрел на нее с улыбкой, прощая ей все ее выходки.

А не Воркунов, Олю тотчас бы выслали.

За месяц — Оля была убеждена — к экзаменам она подготовится и, когда кончится «дело» и выйдет приговор, поедет она в ссылку с дипломом.

Этот месяц Оля жила у Котельниковых.

Книги, о которых так беспокоилась Оля, к великому ее счастью, оказались все целы: сберег Федор Иванович.

> «Куда пропали мои книги? — писала она из тюрьмы,— это ужасно! самые дорогие для меня книги пропали: Некрасов, П. Я., Гревс, Николай — он,Ключевский, может быть, и еще пропали какие-нибудь. Нина не пишет, с ее стороны это просто коварство, ведь она знает, как беспокоюсь о них, особенно здесь,в тюрьме, где у меня одна отрада — книги, и она мне не пишет. Ужас! Я считала ее добрее, но теперь вижу, что и в ней так же, как и во всех людях, ошиблась. Все люди гадкие, только малая крупица хороших. Это я умом знала уже давно, но только здесь, в тюрьме, я это поняла, потому что почувствовала, насколько мерзки, мелки, изменчивы, самолюбивы люди, о, как я их ненавижу!»

— Ну, вот видите и нечего было так сердиться и тревожиться!

А когда Оля рассказала о Леле и о других своих соседках, с которыми она перестукивалась за свой тюремный одиночный год, а рассказывала Оля с любовью —

— А вы писали, что и людей ненавидите,— заметил Федор Иванович,— нет, если вы и ненавидите, то лишь мелкие черты человеческие: трусость и самолюбие. А ведь это и сам человек в себе ненавидит!

* * *

После тюрьмы Оля никак не могла успокоиться.

«Что же это такое она оставила в тюрьме и чего не было на воле?» — спрашивала она себя.

«Там хорошо думалось, это первое, и еще — —, и она долго не могла себе сказать, какая там еще отрада была? — — а вот в чем: не знаешь ведь, как жить, а там ждешь освобождения. А теперь — чего ждать?»

Экзамены шли хорошо.

Не экзамены, а вот это мучило Олю:

«чего ждать — чем жить?»

«Буду ждать приговора,— решила Оля,— а выйдет приговор, буду думать, что дальше делать?»

На этом и успокоилась.

Но тут все перевернулось.

В день своего освобождения Оля послала телеграмму Зине: «Здравствуй, родная!» — это и означало, что Оля вышла на свободу. И вот получился ответ — трудно было поверить, что писала Зина.

Оля перечитывала и глазам не верила:

сухое официальное письмо!

Что же такое произошло?

— Да какие-нибудь мелочи,— сказал Федор Иванович,— что-нибудь такое передали ей: на самолюбие ее. Помните, еще Орлова удивлялась ей, что она безропотно принимает от вас всякую резкость. Ну, и тут что-нибудь сказано было. А она поверила.

Возможно, что Федор Иванович был прав.

Да, там так хорошо думалось: там я думала — судила себя — обвиняла и оправдывала, там мне сны снились веселые, там я молилась... а на воле опять будет стыдно молиться. Я скрывала от всех свою веру в Бога и очень редко молилась, а в тюрьме... свободно целыми часами стоишь на коленях и молишься. И еще не умею сказать, какая отрада была в тюрьме, почему мне ее так жаль. Один голос говорит: «Жаль тех, кто там остался». Я радуюсь этому голосу, он меня подымает в собственных глазах. Но другой голос против: «Не в этом дело, говорит, жить как, ведь не знаешь, а там ждешь освобождения; чего теперь будешь ждать?»

Ночами она ходила по комнате, как в своей тюремной камере, не могла спать.

— — —

«Так, стало быть, она меня не любит? А казалось-то, все так думали, и она сама так думала и я так думала, что она меня любит гораздо больше, чем я ее. Как же это так? — — И значит, не любила? А если не любила, то кто же любит-то? Или правы неразлучные Лида и Ира, когда

объясняют свою неразлучность, «не потому что любовь, а привычка — с детства жили, дом против дома».

Письмо Зины больно ударило, сильнее всех бедовых тюремных дней, вскрывавших и предательство и трусость — все те мелкие черты человеческие, что и сам человек в себе ненавидит.

«А ведь будто и любила? А может, и любила, да верности не было!»

Оля страшно мучилась, ночей не спала.

— Мне важно, как Бог все видит — сказалось у ней и успокоило: — я верю только Богу.

* * *

Оля вернулась с экзамена поздно.

А без нее приходила Лаптева: Лаптева, узнав, что Олю выпустили из тюрьмы, непременно хотела ее видеть. Но ждать не могла:

она сегодня уезжает с отрядом «на голод» и очень просила Олю придти на Николаевский вокзал в одиннадцать часов.

Оля никогда не видала Лаптеву, только перестукивались. В тюрьме Оля многому от нее научилась. И все, кто сидел за эти годы, много добра от нее видели.

Оле непременно захотелось ее увидеть.

— Какая же она? — допытывалась Оля у Людмилы Николаевны.

Людмила Николаевна последние недели все дома: Наташа лежала больная. Людмила Николаевна разговаривала с Лаптевой.

— Очень хорошая, только измученная.

— Еще бы: сидела два года!

— А сколько человек поднять может! — заметил Федор Иванович,— после тюрьмы и на голод: а это не легко.

«А ведь это все вера, которая движет и творит, вера — помочь другому — что-то пересадить, кого-то поднять вот этими руками, этой волей, в мире, устроенном судьбою непреклонно раз и навсегда — великое человеческое сердце, для которого нет никаких граней, никаких стен, никакого закона!» Так этого не сказалось, но так прошло сквозь мысли, и стало бодро и надеянно

в комнате, где помирала Наташа, которая так недавно еще, на Рождестве Коляду пела, вспоминая Олю.

Оля очень усталая, а пошла на вокзал.

И они узнали друг друга, поздоровались.

— А я думала, вы гораздо больше! — сказала Оля.

— Это я в тюрьме так изменилась.

Оля дождалась третьего звонка. И пока поезд из глаз не скрылся, все стояла, провожая: вместе с Лаптевой укатило с огоньками и еще что-то — тюрьма — тюремное — самые первые дни тюрьмы были связаны с ней.

И больше не с кем уже встретиться и вспомнить — все давно разъехались.

И у Оли — последние дни: скоро кончится срок — месяц, последние экзамены.

* * *

А последние дни — была такая необыкновенная весна — весна ведь только в России, потому такая и Пасха только в России — уж ночи забелели, белая ночь над Петербургом и маленькие звездочки.

Померла Наташа.

Наташа померла от туберкулеза в три недели: трудное очень было время, Людмила Николаевна ходила на работу, а Наташа у соседей; а там больной был. Как потом выяснилось: подбирала она конфетные бумажки и в рот,— так и заразилась. Как из тюрьмы Оля вышла, подарила Наташе Э. Т. А. Гофмана, Щелкунчик, с картинками. И читала ей — Наташе очень понравилось. И в самые последние дни все разговаривала, все мышиного царя поминала и какую-то еще мышку: мышка к ней приходила с огоньком, как голубая веточка. А совсем перед смертью она вдруг вспомнила, как Оля говорила ей — Оля, прочитав у Толстого, что в наше время человек порядочный только в тюрьме и может быть со спокойной совестью (и это ей очень понравилось!), сказала Наташе, что все хорошие люди сидят в маленьких комнатах, и будет ли она, Наташа, сидеть в такой маленькой комнатке —

в тюрьме? — «А что такое, в тюрьме?» — спросила тогда Наташа. «Такой большой дом гадкие люди построили». «Из кубиков?» — и вспомнив все эти слова, сказала, точно хотела Олю обрадовать: «Буду, Оля, буду, в маленькой комнатке вот — — в такой». И растопырила пальчики, как кубик представила. А такой — оказался для нее гробик, Оля его цветами убрала и, как птичку положила ее, как того Лелиного воробушка на тюремном дворе. И с ней любимого ее лягушонка — — единственную ее игрушку.

И с Наташей отошло от Оли и еще что-то — какая-то жизнь дотюремная, какой-то Петербург — Курсы, дни,когда Оля еще не знала, чего надо знать, и всем верила.

На другой день после похорон, получив диплом об окончании Курсов, Оля уехала из Петербурга.

Котельниковы на вокзал ее проводили: одни они оставались в Петербурге — и Наташи нет и Оля надолго: когда-то вернется!

Федор Иванович хотел было крикнуть: «да здравствует революция!» — а сказал кротко:

— Не забывайте, Оля, пишите!

И Оля долго видела, как они стояли, прощаясь, одни на земле с своей верой и сердцем, для которого нет никаких граней, никаких стен, никакого закона,— память о них Оля сохранит на всю жизнь.

ЧУПЕРАДЛО

Не заезжая в Ватагино, Оля проехала прямо в Покидош —

ей надо было получить в Полиции временное «проходное» свидетельство, по которому она и будет жить до приговора.

Когда Оля вышла на станции и садилась на извозчика, она вдруг увидела Черкасова: он стоял у выхода из вокзала — тоже увидел Олю, снял шляпу и кланялся.

Оля очень обрадовалась: и потому, что здешним повеяло, и видно было, он нисколько не сердится на нее — а ведь Олю мучило: как тогда в лечебнице на Таврической она отворила дверь, «заманила» его и дверь за ним захлопнулась! — и еще показалось ей, как будто чем-то был он занят, и ей подумалось, что старого не повторится.

И с извозчика Оля с ним ласково поздоровалась.

Оля поехала к тетке Марье Петровне Вольской: Оля знала, что Марьи Петровны нет в городе, квартира пустая и только что прислуга осталась. И это хорошо, Оля может тихо прожить неделю, а потом и домой в Ватагино:

о Ватагине — о доме Оля думала, зажмурившись, и особенно сад — так бы сейчас и прошла по дорожке —

Оставив вещи у тетки, Оля вышла неподалеку — к Марине Заветновской.

Марина Заветновская была первая подруга Оли: все первые гимназические годы жили они вместе, все страхи и все проказы вместе — это Марине, живя в пансионе Линде, Оля затеяла сделать длинные ресницы и вымазала мазью по рецепту Веры Сахаровой и княжны Шах-Булатовой, так что и последние выпали.

Марина уж вышла замуж за студента Соловьева, товарища Черкасова, и ожидала ребенка. Она была одна в доме. Как обрадовалась Оле!

Марина все знала о Черкасове — больше, чем весь Покидош знал! — она знала его еще черненьким гимназистом, у которого была «симпатия» Оля. И когда Оля рассказала ей, как встретила Черкасова, как с извозчика поздоровалась —

— Что ты, Оля, ведь он же мог подумать — — !

И только что за стол сели чай пить, звонок.

Марина постеснялась выйти, пошла отворить Оля.

А это Черкасов —

Совершенно случайно, так объяснил он, он и не думал встретить тут Олю!

И голос его подтвердил Оле ее первое чувство, что Черкасов здоров, совсем оправился и о старом не может быть помину.

На расспросы Оли он отвечал толково и ясно: он рассказал о смерти Федора Фалалеича, как это все случилось необыкновенно.

— Чудак, вообразив себя журавлем, отказался от обыкновенной еды и понемногу навострился клевать зерна, как сам журавль, но голод не тетка, соблазнился блинчиками, ел блинчик, вилкой попал в нёбо, прикинулось болеть. Так и помер с одним носом и глазами.

И еще рассказав и уж не такое происшествие, а обыкновенное из бобровской жизни, стал расспрашивать Олю о тюрьме, о Рашевском.

Слушал он внимательно, горячо и только, когда Оля рассказала, как вместе с Зиной провожали Рашевского до Серпухова, он вдруг переменился: насупился, подавленный мыслью.

И скоро вышел.

За разговорами с Мариной прошел весь день: весь год Оля никого не видела, а за этот год много чего случилось — сколько подруг Олиных вышли замуж: —

> и Катя Козловская и Лида Оленина и Маруся Иванович и Лиза Милорадович и Шах-Булатова.

— А ты помнишь бабушку, на Бабу-Ягу похожа?

— Помню, конечно.

— Померла в день свадьбы: от огорчения, говорят, очень любила внучку, а другие говорят, назло.

Да, много чего было и помянуть и узнать.

Оля и обедала у Марины и после обеда пила чай и только под вечер вышла.

И только что она вышла, смотрит, а за углом Черкасов: стоит, ждет.

— Я вас все время тут ждал,— сказал он, и стал просить Олю пройти с ним в Казенный сад соловья слушать.

И, как когда-то, Олю охватила ненависть: опять какие-то права следить за ней.

— Нет, я не пойду! — резко ответила она.

Он проводил ее до дому.

И уж совсем по-другому, не как встретя, Оля простилась с ним — и это так само собой вышло.

А с тех пор всякий день Черкасов караулил Олю: он выстаивал часами, дожидаясь у ворот или за углом, и всякий раз провожал ее до дому:

> он опять говорил ей, как ее любит, и как еще гимназистом, когда она была совсем девочка, он в первый раз увидел ее в церкви и с первого взгляда полюбил ее, теперь он понимает, и чего ни захотела бы она, он все для нее сделает.

И, как тогда летом, в глаза ему было жутко смотреть.

На Олю это страшно действовало и однажды она ему сказала, сама переменившись, как когда-то в Петербурге, когда он всякий вечер заходил к ней:

— Лучше, я думаю, нам никогда не встречаться.

От постоянного раздражения — и так после тюрьмы расстроенная — Оле стало чего-то страшно в пустой квартире у тетки, и она перебралась к Нине Мавлютиной.

Черкасов, верно, уехал в Бобровку — больше Оля его не встречала.

Другая беда: всякий день к Мавлютиным стал приходить студент Оводов — «Чуперадло» —

это так, как Фрид — Бедненький, Ильина — Идеал, Бордонос — Колода, а Оводов — Чуперадло.

Оводов не раздражал Олю, как Черкасов, но надоел с разговорами ужасно. И не было минуты остаться вдвоем с Ниной.

Оле хотелось, хоть последние дни, провести тихо и спокойно, и она упросила Елену Ивановну:

когда явится «Чуперадло», сказать, что ее дома нет.

Елена Ивановна согласилась. А чтобы все хорошо вышло, решили, не предупреждая Олю, сделать репетицию:

за Оводова звонила Катя, а отвечала сперва Елена Ивановна, потом стала Нина.

Оле это слышно — и раз поверила и другой раз поверила, а потом не обращает внимания, думает: репетиция!

И вот слышит: опять звонок — и голос Елены Ивановны:

— Оли нет дома.

А Оля, не придавая значения, правда это или неправда, распахнула дверь и — отступила:

в прихожей прямо против нее стоял «Чуперадло».

«Чуперадло», дико взглянув на Олю, замотал головой и, бормоча какую-то ерунду, скрылся.

Елена Ивановна напустилась на Олю.

— Вы меня лгуньей выставляете! Я больше никогда не буду за вас. Как хотите, так и делайте. А то я: «дома, говорю, нет». А вы тут — высунулись. Это невозможно.

Елена Ивановна очень сердилась.

И хотя Нина и Катя уверяли, что «Чуперадло» ничего не заметил, но Оля-то была убеждена, как и Елена Ивановна, что видел и, должно быть, обиделся.

На другой день Оводов пришел уж безо всяких.

Нет, он не обиделся, хуже:

— Я, кажется, схожу с ума,— сказал он,— у меня начались галлюцинации: я всюду вижу вас, вчера я заходил к вам, говорят, нет дома, и вдруг стена раздвинулась и вы появились на пороге. Я хотел крикнуть, а вас уже нет. А сегодня, иду мимо каланчи, задрал голову посмот-

реть и опять вы, отчетливо вижу, но тут кто-то окрикнул, и все рассеялось, никого нет.

— Вы не должны меня так часто видеть,— сказала Оля.

А вечером весь мавлютинский дом помирал от смеху: и кто больше всех смеялся — Катя, Оля, Нина или сама Елена Ивановна?

Елена Ивановна пересердилась и готова была что-нибудь еще сделать такое для Оли.

* * *

Последний вечер Оля провела с Ниной.

Оля узнала от Нины такие покидошские новости, какие не могла ей передать Марина:

Фрид — «Бедненький» уехал с женой за границу; гостила Ильина и куда-то опять поехала, очень хвалила Олю за то, как в тюрьме себя гордо держит на допросах, и думает, что Олю вышлют куда-нибудь на север — в Архангельскую губернию или в Вологодскую, куда подальше, и одно ее смущает, она боится, что из Оли не выйдет революционерка до конца: «червь у нее есть мистический и это помешает!»

— Рашевский из Сибири убежал,— рассказывала Нина,— и как ведь все вышло: добрался до самой границы — сколько месяцев! — а там его и арестовали; теперь назад по этапу идет, но не как Рашевский, имя он скрыл, а как бродяга Иван Непомнящий. Вот это настоящий революционер!

— И опять убежит,— уверенно сказал Оля.

— А как нам — что делать?

— Надо дождаться приговора,— сказала Оля и словно чего-то не договорила,— и тогда решить.

* * *

— — — Оля отворила калитку. И очутилась в саду. И пошла по дорожке к дому. Дома за деревьями не видно — дорожка привела ее к дому. Она растворила дверь и остановилась —
— — в углу под лампадками у образов сидела старуха в черном. Окна раскрыты: тихий теплый

яркий день. И от яркости дня еще изможденнее и бледней показалось лицо старухи. Старуха подняла глаза — о чем-то думала — глаза посмотрели на Олю такие большие и такой жгучей тьмой.

«Что ты, Оля, боишься,— сказала старуха,— или не помнишь?»

И по голосу Оля все припомнила: да ведь это бабушка княжны Шах-Булатовой! И в памяти прозвучали слова, как тогда сказала старуха: «ты должна посвятить себя Богу — —»

«Ну, здравствуй, Оля, а я тебя как ждала! Когда-нибудь пожалеешь».

«Я хочу жить по правде!» — сказала Оля. И сделала шаг к старухе — — и костлявая рука старухи опустилась ей на плечо: пуды легли.

* * *

— — — по лугу шла Оля по цветам. Тихий теплый яркий день. По дороге яблоня в цвету и в каждом цветке огненный язычок. И вдруг по небу стая лебедей. И все ближе. И один лебедь отделился от стаи и прямо к яблоне. Коснулся крылом, и, вспыхнув, понесся вверх. И горящий — крылатый огонь! — плыл по небу — — — — И упал.

* * *

Чуть рассвело — поезд подошел к Хомутам.

На станции Олю встретил Миша.

Оля от радости горела, и как когда-то, она всем улыбалась; и не могла слова выговорить, спросить Мишу, но сразу же почувствовала, что все, все ждут ее.

Вещи взял Миша на телегу — их повезут отдельно. А Оля с ним в бричке.

— Ну, как ты теперь? — спросил Миша.

— А на, посмотри!

Оля вынула из сумочки свернутую четвертушку — свое «проходное» свидетельство:

— — — что Ольга Ильменева «обязана нигде не находиться, а в случае неисполнения этого

требования будет отправлена по этапу»
А в особых приметах значилось: «лицо приятное».

— Нигде не находиться! — рассмеялся Миша.

Оля уселась в бричке и смотрела по сторонам, здоровалась: и с тополями и с тем бесконечным полем, над которым серый еще копошился рассвет.

— А знаешь, Оля,— Миша подобрал вожжи,— застрелился Черкасов.

И в ответ — она почувствовала, как прошел холод — и на миг все пропало и тополя и поле —

— — —

Оля глубоко перекрестилась.

Лошади тронулись —
бесконечное поле!

А в копошащий серый рассвет чиркнул луч — и все зашумело, и какая-то птичка зачивкала, неугомонная из всех шумов земли и травы, и всех ближе, птичка-пересметушка.

ГОЛОВА ЛЬВА

КАК УЛЕТАЛИ ПТИЦЫ

«В сумерки он шел по пыльной улице, я видел, как его воздушное тело, перевитое дымом, бросало от тына к тыну, от осокоря к вишне, от вишни к тыну. «Нет ли тут колыбельки?» — спрашивал он. И просит у Бога указать ему маленькое сердце: «и самое беспокойное я успокою». Его жалобный голос выблескивал из черных коп выплывавшего месяца: «вот я дую и вею — и мои веки отяжелевают; я подымаю звезды — звезды летят, и когда последняя серебряная в моих глазах погаснет, я тихо засыпаю».— — «Сон,— позвал я его,— иди к нам: у нас есть колыбелька и в колыбельке Оля».

Так нашептывала над Олей вещая, как самая черная земля, ее старая нянька, Татьяна — Фатевна. Но Оля этого не помнит.

Самая давняя память у Оли — первая — ощущение

тепла и ласки: любимая бабушка берет ее, сонную, к себе на руки и несет на кроватку.

Ближе — память о страхе: Оля помнит зимний вечер, в доме у них гостит любимая бабушка, с чего-то Оля посмотрела в окно и видит — снег и там, ей кажется, где-то волки, и стало вдруг страшно; и еще: все дети — и сестры и брат Оли — сидят на ковре, и нянька, не Фатевна, а молодая, младшей сестры нянька, Маруся рассказывает сказку,— и тоже ощущение страха, как от тех призрачных волков, которые ходят где-то там по снегу вокруг дома; и тот же самый страх чувствует Оля, когда ночью не спится, и слышно, как в окно ударяет ветка, или вдруг покажется, будто кто-то стоит за спиной. Потом уж — и это тоже из ранней памяти — это ощущение первого страха оказалось словом: «страх смерти» и «страшный суд».

Оля помнит вечер, все сидели на диване в столовой, брат Миша играл со стульями в «лошадки»: стулья стояли как раз под стенной лампой. Взмахивая кнутом, он ударял по лошадям, и вдруг раздался странный звук и вспыхнул огонь. И Оля подумала, что это «страшный суд»: потому что огонь и этот треск и отец всплеснул руками и сказал: «сын мой!» — так необычно торжественно обратился отец к Мише.

После «тепла и ласки», после «страха» память о первом возникшем вопросе: «откуда люди?» И с этого начинается «мысль». И как тайный гнетущий страх станет неотвязчив, так мысль — беспрерывна. Оля помнит, как, держась за руку с братом, такая еще была она маленькая, она спросила отца: «откуда люди?» И отец рассказал о Адаме и Еве.

Черниговская бабушка Анна Михайловна рассказывала детям о Робинзоне; любимая бабушка — костромская — Татьяна Алексеевна, про серого волка. Если бы любимая бабушка рассказывала не о сером, а о тех, которые выходят из ночи и бродят по снегу, было бы нисколько не страшно, а Робинзон — любимый рассказ: Оля постоянно просит бабушку повторять о том, «кто жил один». Оля помнит вечер: бабушка сидит у стола, а она рядом, в руках у нее горшочек из ее игрушечной посуды, и она спросила: «такой ли горшочек делал тот человек, что жил один?» — «нет,— смеясь сказала бабушка,— гораздо больше».

Кто-то из взрослых рассказал о войне, и этот рассказ вызвал страх, куда волки, страшная Марусина сказка, ночью стучащая в окно ветка и огонь и треск разбитой

лампы. Оля, чтобы утешить брата, а наперед утешить самое себя, сказала себе и потом брату, что «все это было при Адаме и Еве», и уж само собой разумелось, что никогда такого не будет.

Начавшаяся вопросом мысль не замедлила, показала себя.

За обедом мать сидит на одном конце стола, бабушка Анна Михайловна на другом; к киселю подали молоко, налили Оле в тарелку, и у бабушки полная тарелка. Ложка у бабушки не такая, как у других, а круглая с золотом. Бабушка вдруг говорит Оле: «Дай мне молока из твоей тарелки!» Оля своею ложкой ей дала — несколько ложек — и не поняла, почему это надо? А вот она и понимает: она заметила, что мать и эта бабушка не любят друг друга, и бабушка, подозревая мать, хотела проверить,— то ли молоко ей дается, что и детям, или снятое?

Как-то поздней осенью Оля влезла на комод и увидала на яблоне-кислице — не было ни одного листа — на голой ветке яблоко. Не зная, как достать, Оля принесла палку и ударила по ветке — яблоко упало. В саду в груде желтых листьев Оля нашла это яблоко,— оно было очень вкусное. И Оля подумала:

«Значит — и кислица бывает вкусная, если так долго висит».

В сумерки залаяли собаки, как на чужого. Мать, глядя в окно, сказала, как это говорится всегда, когда никого не ждут: «Кто это там?» А отец, проходя по комнате, сказал: «Это за моей душой!» И Оля подумала: «Кто же за душой пришел?.. может быть, ангел? собаки лают на ангела?» А отец вышел в «хозяйскую» и там говорил с кем-то. Потом Оля услышала, что это приходили просить отца на свадьбу посаженым отцом: невесту звали Машей.

Оля помнит, как Маша пришла к ним — и показалась такой красивой в малорусском костюме, и отец дал ей золотых денег — и деньги показались красивыми. А скоро после свадьбы Маша умерла: Фатевна сказала — «от непосильной работы». И эти слова няньки, как выжглись в памяти Оли, и со временем ее беспокойная мысль зацепит их и вынесет на свет.

К Ильменевым в Ватагино приехали Краснопольские — Лиза и ее мать, которую Оля называла «тетей»: она была двоюродная сестра отца. Лиза только что окончила институт. Они приехали вечером, чтобы переночевать и на

следующий день уехать в город. Лиза показывала свои платья — вынимала из чемодана: Оле особенно запомнилось шоколадное. А тетя рассказывала, что у Лизы был жених, сватали ее, но она не вышла. И Оля с ужасом подумала: «Как можно жить после того, как сватали?» С этим словом «сватать» почему-то соединялось у нее какое-то позорное дело, или она и не то, что поняла, а только почуяла все унижение для человека, которым торгуют, как вещью. Наталья Ивановна, занимая гостей, затеяла показать альбом и сказала тихонько Оле: «Не говори, где Ирина, узнают ли?» Старшая сестра училась в институте и ее не было в Ватагине. Оля и хотела сделать так, как просила мать, но всякий раз, как открывали страницу, где была карточка Ирины, Оля, обрадовавшись, кричала: «Ирина!» И когда показывался альбом тете и когда Лизе, она не могла удержаться и своим громким радостным восклицанием предупреждала. Наутро, проснувшись, Оля узнала, что отъезд Краснопольских отложен до завтра, потому что в соседних Лубенцах живет бывший тетин жених в очень плохом положении, и тетя хочет его видеть и помочь ему. Это рассказала нянька Фатевна и не Оле, а при Оле. Фатевна ворчала, что «пьяницам и сумасшедшим нечего помогать». Когда стало смеркаться, тетя предложила Мише и Оле поехать с нею в Лубенцы. Ехали в экипаже Краснопольских на их лошадях с их кучером. И это было очень интересно. Лиза осталась дома. По дороге Оля увидела двух в белом с огромными ушами и носами: они показались ей очень страшными — они сидели неподвижно в одних длинных рубахах. Они и вправду были страшные, потому что тетя сказала: «Не смотрите, дети». Оля подумала: «Может быть, это волки переоделись в людей — очень длинные носы и уши!» В Лубенцах остановились перед избой и тетя туда вошла, а Оля с Мишей остались в экипаже. Тетя не долго пробыла и вышла, плача, а за нею, кланяясь ей в пояс, маленький седенький в эполетах. И всю дорогу тетя плакала. А этих страшных на дороге больше не было, а Оля очень боялась, что опять увидит. Дома Оля все рассказала Фатевне: и про страшных и про старичка в эполетах. А Фатевна объяснила, что страшные — вовсе не переодетые в людей волки, а два сумасшедших брата, тихие, по дорогам ходят, а старичок — пропоица.

* * *

Оля росла «задумывающейся» — мечтательной. Первая это заметила мать. Обыкновенно, уезжая в город и не сказываясь, что едет, иначе поднялся бы крик, мать сажала Олю около ее кроватки — такая желтая с ящиком, где хранились игрушки. Наталья Ивановна пробудет в городе с час, но могла бы и дольше: вернувшись, она найдет Олю на том же самом месте у кроватки — весь этот час Оля «продумала». Весь этот час ее мысли шли от предмета к предмету увлекательно, иначе бы стало скучно, и она подала бы голос — закапризничала. Потом уж эту свою способность к сосредоточенной мысли Оля назовет: «думать до конца».

Оля росла непохожая ни на сестер, ни на брата. Рано пробудилась ее мысль — слишком рано стала она замечать и, различая, уж не мыслью, а каким-то сердцем расценивала. Оля давно заметила, что много говорят «неправду», и оценила: «так не надо» — и когда она сама вырастет, никогда так не будет делать.

Непохожее вызывает удивление, но чаще насмешку. И это тоже из первой памяти: когда Оля была маленькая, над ней всегда много смеялись, и Олю это очень обижало — хотелось ей спрятаться. А спрятаться — охраниться — ей было никак и некуда.

* * *

Этот день был особенный, точно все сговорилось.

В столовой сидела мать за самоваром и с ней гости — две соседки. Когда вошла Оля, одна из говоривших, поджав губы, заметила:

— Потом скажу, здесь печка.

А Наталья Ивановна, взглянув на Олю, приказала:

— Ольга, выйди.

Оля не знала, о чем шел разговор, но поняла, что «печка» — это про нее; а не говорят при ней — боятся, что она расскажет.

«Я никому ничего не расскажу, мне надо верить!» — поднялось в ней из ее самого сердца крикнуть и так, чтобы все знали, но она, приглушив в себе этот крик, молча вышла:

«Как бы она хотела... никогда не вернуться!»

Оля вошла в комнату к отцу. Отец читал книгу. Оля постояла, но отец не обернулся. И она поняла, что она лишняя, и сейчас же вышла из комнаты. Пошла в сад.

На воле было свежо по-осеннему, деревья без листьев, но еще очень тепло на солнце. На скамейке сидела старшая сестра Ирина с двоюродной сестрой, своей подругой.

Ирина и ее подруги всегда над Олей смеялись. Они потихоньку расплетут ей косу и очень довольны, глядя, как Оля ищет ленту. Когда Оле дарили конфеты, она, не тронув коробку, положит в свою шкатулку к другим подаркам: она все бережет и совсем не из скупости, а потому что ей хотелось иметь свое,— и вот тихонько вытащат у нее из ее шкатулки коробку, Оля хватится, а им того только и надо, очень довольны, думают, что Оля не понимает. Но Оля все понимала, только не могла сказать: стеснялась.

Оля села возле них на скамейку. И, боясь их насмешек, вспомнила свою любимую бабушку, которая никогда не смеялась над ней и никогда не прогоняла от себя. Оля вспомнила эту бабушку и, как бы ограждаясь, сказала:

— Я похожа на бабушку Татьяну Алексеевну.

И на это поднялся хохот: и сестра и ее подруга со смехом стали уверять Олю, что она нисколько не похожа на бабушку Татьяну Алексеевну, а похожа — как две капли воды — на портрет, висит в гостиной: это какой-то прадед Ильменев — нос крючком вниз и рот изогнутый — Оля не любила этот портрет.

Едва сдерживая слезы, Оля поднялась и пошла из сада на сенокос:

«Как бы она хотела... уйти навсегда!»

И вдруг увидела: высоко, на самой высоте, над головой стая птиц — их было много, и одни летели быстрее, другие отставали.

И глядя, как улетали птицы, Оля говорила:

— Птички дорогие, прощайте!

И до какой глуби ее сердца был ей в эти покинутые минуты близок — и этот прозрачный воздух и эта воля — она следила, провожая далекими глазами: одни летели быстрее, другие отставали.

С тех пор Оля очень полюбила птиц.

СУПИРЧИК

Первую «неправду» Оля почувствовала в очень раннем детстве.

В Ватагино приехал из Киева дядя, брат Натальи Ивановны, с сыном, сверстником Оли. Играли в саду. Оля привыкла лазить по деревьям и быстро влезла на яблоню, где должен быть «наш дом». А Костя не может за ней: цепляется руками, а все на одном месте, ему непривычно. Оля давно сидит на яблоне. К Косте подошла гувернантка, подсадила его. И, когда он с ее помощью влез, сказала:

— Вот герой нашего времени!

И все говорили, какой Костя ловкий — как на яблоню влез.

«Почему говорят и судят не по правде,— думала Оля,— и какой же это герой, когда без подсадки влезть не мог? а уж если кто герой, это она — но ее никто так не называл, а все говорили про Костю, какой он ловкий».

С пяти лет Оля начала читать книги. И в семь лет много прочитала из всяких приложений — и романов и повестей и рассказов без выбора, что попадало под руку — никто из старших не обращал никакого внимания. Оля прочитала Лермонтова «Герой нашего времени» и Пушкина «Евгений Онегин». Чтение было для нее упражнением мысли и слов. В стихе о Ленском: «поклонник Канта и поэт» — имя Кант она принимала за «кант» — выпушка на кофточке.

К этому времени относится одно загадочное явление, описанное Гоголем: окликающий голос, который преследовал Олю.

«Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя,— рассказывает Гоголь из своего детства,— день обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду» А страх этого «таинственного зова» был ни с чем не сравним и только встреча с живым человеком изгоняла «страшную сердечную пустыню». Народное поверье, по Гоголю, объясняет этот окликающий голос тем, что «душа стосковалась по человеку и призывает его, и после которого неминуемо следует смерть». Такой голос слышит перед смер-

тью Афанасий Иванович в «Старосветских помещиках».

Но Оля была девочка здоровая: зубы у нее крепкие, ровные, белые — и чистить незачем, и ноги крепкие, и ногти розовые ровные, и никогда никакой золотухи не было, уши никогда не болели.

«День был тих и солнце сияло» — Оля шла одна по саду и думала, а думать ей всегда было о чем: и свои ранние наблюдения над повадкою живых людей и все эти романы из приложений и только что прочитанный бесконечный «В двух частях света», а думала она так, что и живой оклик часто могла не услышать — «Олю не дозовешься!» — и вдруг слышит, кто-то окликнул:

— Оля — Ольга,— и с двойным вздохом протяжно: — гха — гха...

Оля вздрогнула от этого жуткого пробудившего ее зова и обернулась — в саду никого не было.

— Боже тебя сохрани, никогда не отвечай,— сказала Фатевна,— или молчи, или скажи: «Фатевна, это ты?»

И когда вскоре после этого, проходя по саду в такой же безоблачный полдень, Оля снова услышала окликающий ее голос: «Оля — Ольга» — и с этим душу выворачивающим двойным вздохом, она сделала так, как учила нянька,— «Фатевна, это ты?» И понемногу привыкла: не обертываясь, откликалась она окликом, называя то Фатевну, то сестер и брата, и спокойно продолжала идти со своей не отпускавшей ее никогда мыслью.

От черной ли земли исходил этот призрачный зов, как немые лунные призраки у Океана от красного, завеянного лиловым вереском, каменного поля в Карнаке? Только ли знак «смерти» эти голоса, как и зеленые огоньки вкруг выветренных вековечным ветром менгиров и дольменов? Фатевна знает тайну своей черной земли — своей черной дышащей жирной земли в жарких красных маках, по которой ходит ковылевый степной ветер,— «и не только — говорит она,— этот голос к смерти...» — и что «не всякому дается этот голос слышать» — и не все своим откликом-окликом имеют власть развеять «сердечную пустыню». Так что Оля испугалась: «стало быть, не всегда можно и Фатевной огородиться?»

К этому времени относится и первая острая обида — первый безответный вопрос: «за что и для чего?»

Наталья Ивановна подарила Ирине браслет, а тетка,

жена ее брата, часы. А Оле очень хотелось кольцо и она сказала матери: как ей хочется иметь колечко.

— Ты еще маленькая! — сказала Наталья Ивановна.

А любимая бабушка, которая это слышала, говорит:

— Я поеду в Киев и куплю тебе супирчик, ты его будешь носить.

Оля была уверена, что бабушка непременно исполнит, и все мечтала, какой это будет у нее супирчик.

И вот бабушка собралась и поехала в Киев к своему сыну, пробыла там с месяц и вернулась, не забыла, привезла Оле супирчик: это было тоненькое золотое колечко с эмалью — черной и синей.

Оля была в восторге и не расставалась с колечком. Оно ей было широко и она очень боялась потерять.

По случаю каких-то именин всем домом поехали к соседям Лупичевым на бал. Старшие танцовали, а Оля с Леной Боровой, ее подругой, занялись играми — играли в учителя и ученицу: задавали задачи, экзаменовали, ставили друг другу единицы — ни Оля, ни Лена еще не поступали в гимназию.

И захотелось им выйти. И Оля подумала, что это никак невозможно идти туда с супирчиком, и сняла его, положила на скамеечку перед дверью. А после хватилась: колечка на скамеечке нет.

Оля плакала и всех тормошила. Только это и слышалось: где колечко? И где-где ни искали, и в доме по всем комнатам, и в саду по дорожкам — нигде не было супирчика.

Оля вернулась домой в отчаянии. И не могла ничего придумать и ничем утешиться: куда мог деваться ее супирчик? А в воскресенье за обедней Оля увидела его на мизинце у Марьи Викторовны и глазам не поверила. Всю обедню Оля глядела, проверяла: нет, не ошиблась, ее был супирчик — черное с синим.

Была такая старая дева из дворян, нигде не учившаяся, очень некрасивая, с огромными толстыми губами и почти без волос, она везде втиралась, была и у Лупичевых в тот вечер на именинах. Никаких супирчиков у нее не было, а вдруг появился.

Оля не сомневалась, что ее супирчик у Марьи Викторовны.

И вернувшись с Фатевной из церкви, Оля рассказала матери: Оля была уверена, что Марья Викторовна вернет ей ее любимое единственное колечко.

Мать сказала:

— Смотри, Ольга, если ты такую вещь напрасно возводишь, я тебя накажу.

Но Оля твердила:

— Мой, мой супирчик, я его видела.

Наталья Ивановна поехала к этой Марье Викторовне и спросила ее: не нашла ли она как случайно Олин супирчик? И по ее ответу поняла, что врет, и Оля права: супирчик ее украли.

— Да, она украла твой супирчик,— сказала Наталья Ивановна Оле,— но ничего нельзя поделать.

И Оля, содрогаясь, думала, что вот можно взять у человека самое его любимое — и ничего нельзя поделать. И из ее терзаний выходил безответный вопрос: «за что же и для чего понадобилось отнять у нее ее единственное любимое колечко?»

Оля долго помнила: перед ее глазами навязчиво подымалась безволосая толстогубая и стояла, как за обедней стояла тогда, подразнивая супирчиком — ее обида.

БУКЕТ

У Миши каждое лето был репетитор: Миша плохо учился.

На Пасху приехала из Меженинки любимая бабушка. Бабушка сказала Наталье Ивановне, что один богатый меженинский крестьянин просит, нельзя ли взять на лето репетитором его сына восьмиклассника-гимназиста: отлично учится; а просит взять его репетитором,— «чтобы сын научился господским привычкам».

Оля не знала, как решит мать, а когда вернулась после экзаменов в Ватагино, увидела в доме этого гимназиста: его звали Максим Федорович.

Максим Федорович ходил в серой гимназической форме, робкий, очень стеснялся, особенно за обедом. У Ильменевых часто за обедом бывали чужие — гости, и тогда жалко было смотреть на него. Все над ним подсмеивались и в глаза, но больше за глаза: легкая тема для разговора, когда не о чем говорить.

Оля заступалась. И тогда стали смеяться над Олей: «уж не влюбилась ли она в него?» Оле было тринадцать лет. И Оля перестала заступаться: молчала, когда смея-

лись над ним. А смеялись, как он много ест — он и действительно больше всех ел, ведь он не привык к цыплятам! — и как он вилку держит и как он кланяется.

Миша его совсем не слушался. Заниматься с Мишей ему было трудно. Оля видела, что он смотрит на нее, будто понимает, что Оля не смеется над ним и жалеет его.

На Олины именины много съехалось гостей. И обед был особенный: были пирожки с говядиной и со свежей капустой — любимое Олино, а на загладку самое любимое — мороженое: земляника на сливках. После обеда пошли гулять в поле — в это время складывали снопы в копны, хорошо было в поле.

— Максим Федорович хороший, он только вас, Оля, одну не боится, поговорите с ним! — сказал двоюродный брат, Саша Краснопольский.

Максима Федоровича на прогулке не было. После обеда он ушел домой в Меженинку и вернулся только вечером, принес Оле огромный букет: там были ромашки, колокольчики, пионы и много разных красивых трав.

Оля поставила букет у себя на столе. И долго он у нее стоял — какие красивые колосистые травы!

С этого вечера Оля стала разговаривать с Максимом Федоровичем. Бывало, увидит его в саду на скамейке с книгой и понимает, что он хочет убежать, окликнет: «Максим Федорович!» — он и останется.

Оля не знала, о чем с ним разговаривать. Она спрашивала его, что он знает по-латыни и по-гречески. И он ей наизусть говорил из Цезаря и из Гомера. Научил Олю шараде: «es ra-ra-ra (es terra) et in ram-ram-ram (in terram) ibis» — «земля ты и в землю пойдешь». А однажды, когда Оля разговаривала с ним об уроках, он поднес ей лодочку: сам сделал из древесной коры; и другую — поменьше.

Осенью Оля уехала в гимназию и за весь год ни разу не вспомнила о Максиме Федоровиче. А летом, когда вернулась домой в Ватагино,— Оля перешла в шестой класс,— у Миши был другой учитель.

На рожденье любимой бабушки все были в Меженинке.

— Тот Максим Федорович, который у вас жил в прошлом году, умер от чахотки, завтра его хоронят,—

сказала бабушка,— говорят, что заучился, оттого и помер.

Оле вдруг стало жалко. Она вспомнила стесняющегося гимназиста в серой курточке, над которым все посмеивались,— Максима Федоровича, стихи из Гомера, и Цезаря, шараду «земля ты...» и две лодочки.

На другой день, не сказавшись, Оля пошла в церковь,— а сначала в бабушкином саду нарвала цветов: ромашки, пионы, колокольчики, только трав тех красивых в ее букете не было. И этот букет положила в гроб.

Максим Федорович показался Оле еще больше стесняющимся: лицо сморщилось в кулачок, а волосы были примазаны, как крестьяне себе мажут в праздник.

Только Олины — больше не было цветов.

Его мать голосила: в ее словах было — что от учебы умер, что не крестьянское дело учиться. Так всю обедню — в торжественные молитвы с обещанием жизни — бесконечной, без печали и без тревоги, этот точащий, безутешный человеческий вопль о погибшей, и печальной и тревожной, но единственной и неповторимой погубленной жизни — «не крестьянское дело учиться!»

Когда гроб вынесли из церкви, Оля хотела идти домой — и вдруг его мать, вдруг утихшая, подбежала к Оле и поклонилась ей до земли:

— Спасибо, барышня, что принесли моему сыну цветочки.

И Оля не знала, что и ответить: и от неожиданности, и какое-то чувство, как от стыда, смутило ее — за этот глубокий до земли поклон. И уж не могла идти домой. Пошла за гробом — проводила до кладбища.

Перед раскрытой могилой, когда опускали гроб, Оля заметила: его отец стоял суровый, крепкий.

«И неужто это правда, что от ученья сгинул?» — думала Оля, глядя на этого непохожего человека.

Оле было жалко Максима Федоровича, и она очень мучилась: ее терзала вина перед ним, что не заступалась — молчала тогда... и, терзаясь, всем существом своим восчувствовала, поняла всей ясной своей мыслью и повторила твердо из сердца вышедшим словом навсегда, что никогда — «никогда нельзя молчать и ни из-за чего, когда надо заступиться за человека».

СВЯТОЙ

Из русских святых Феодосий Углицкий для Оли особенный: с детства с чистым сердцем она ставила ему свечи.

Обычно называлось: «идти к святому».

Редко кто знал хоть что-нибудь о его жизни и даже то церковное «житие», из которого ровно ничего не узнаешь,— и это общее имя «святой» было значительнее собственного. Болен ли кто, уезжает ли,— всегда надо пойти к «святому» и поставить ему свечку. А главное — экзамены.

Если для взрослого человека в минуты покинутости и неизвестности не было другой дороги, как к святому, то можете себе представить, чем этот святой был для детей — каким добрым волшебником жил он в их сердце, живое продолжение любимых сказок.

Перед каждым экзаменом идут к святому все — и гимназистки, и гимназисты: если экзамен страшный, ставится толстая свеча; если экзамен легкий, ставится тоненькая свечка,— но непременно ставилась.

Однажды перед экзаменом русского языка Оля зашла поставить тоненькую свечку — Оля по русскому первая, она наверно знала, что получит высший балл. И вот она пришла в собор и ставит тоненькую. А рядом ее двоюродный брат Саша Краснопольский ставит огромную, толстую свечу. Оля сразу сообразила:

— У вас сегодня греческий экзамен?

— Да,— ответил Краснопольский,— а у вас русский?

Так по свечкам безошибочно определяли.

Плохие ученицы, ставя свечку, громко выговаривали:

«Феодосий Углицкий-Черниговский-Чудотворец, дай мне вытянуть пятый билет!»

И случалось, что этот единственный и вытягивали. А если проваливались, шли перед переэкзаменовкой с такой же свечкой и той же просьбой. И если и тут ничего не выходило, шли на второй год — — ведь без чудесной силы или веры в чудесную помощь и не только плохие, а и самые хорошие ученицы и первые ученики могли так ни за что срезаться.

Олины именины летом. И всегда Оля досадовала, что не во время учебного года: именины — законный повод пропустить уроки. Идет Оля в гимназию и встречает какую-нибудь именинницу: счастливая, возвращается

она от святого и в гимназию не пойдет и скрываться не надо; а когда вернется именинница домой от святого, тогда ей дарят именинные подарки.

С Олей в одном классе была очень бедная гимназистка Люда Резилова, ее мать служила надзирательницей в пансионе Пенкиной. С этой Людой, когда она была совсем маленькая, совершилось чудо: умирающую принесли ее и положили к святому, и у нее, как говорили, «пленкой подернулось отверстие на шее»,— она почувствовала себя лучше и поправилась.

Оля смотрела на Люду с удивлением, как на особенную — «чудесную»: тоненькая с длинной, тонкой шеей — шея с перевязочкой, больные глаза — изнутри измученные, как бывает от перенесенной боли или от большого горя, большой голос, но неприятный, как скрипка, и очень робкая. Люда участвовала с Олей в одном гимназическом кружке, много читала и больше всего исторические романы, и потом поехала за Олей в Петербург и поступила на Медицинские курсы. В Петербурге еще больше оробела и Олю стала бояться — боялась, что вышлют за знакомство с Олей. И в Петербурге умерла от чахотки.

Тетка Марья Петровна говорила, что и с ней тоже было «чудо».

Марья Петровна подлинно все знала, все видела и даже предвидела, и было бы неестественно, если бы чудо ее миновало. Марья Петровна очень хотела иметь детей, но из-за необыкновенной пронырливости и непоседливости все ее ожидания оканчивались несчастно. И доктор, приглядевшийся к ее нетерпеливому характеру, посоветовал ей, как единственное верное средство, чтобы все девять месяцев она лежала. И она лежала. Можете представить, какой это был подвиг! — и уж без движения она и сна лишилась. И вот приснился ей сон:

«Вижу,— рассказывала Марья Петровна,— говорит мне святой, чтобы ребенок обязательно был крещен у него, и тогда будет жить».

Двоюродную сестру Оли крестили в соборе. И она жила себе, поживала, хотя, по словам тетки,— «родилась Леночка едва живая». Ну, за Марьей Петровной не угоняешься! К Марье Петровне сам губернатор с визитом ходил, и святому, по правде сказать, к ней совсем не путь, но без «святого» и ее жизнь не была бы полна — и вот эта живая ее единственная дочь Леночка

подлинно чудо с Марьей Петровной. Ведь у нее за девять-то лежачих месяцев внутри все ходуном ходило — такая ее беспокойная природа, и уж тут доктор ничего не может! Марья Петровна тогда, по случаю чуда, заказала образ святого в рост новорожденной, образ она всем показывала: так незначительных размеров, но ничего особенного. Впоследствии свою чудесность Марья Петровна перенесла на Леночку; по мнению Марьи Петровны, чудесная Леночка была неотразима: если молодой человек ходил к ним в дом, значит, влюблен; если же, познакомившись, не приходил, то означало, что влюблен, но борется с собой.

Город маленький, все друг друга знают, и всякий все о тебе знает, и если не мытьем, то катаньем друг друга изводят и подсиживают, и никому нельзя верить, так и жди, или подведет, или обманет, и уж по одному этому «святой» был как-то особенно близок всем. А больше всех детям — гимназисткам и гимназистам: и к кому было обратиться им со всеми своими тревогами, ведь большим только в смех, а, кроме того, от больших-то и шла гроза, и вот шли они к святому — в именины, пропуская уроки по уважительной причине, и перед экзаменами, и ставили тоненькие свечи и толстые,— нет, это не была торговля, и как же иначе выразить степень трудности и верную свою последнюю надежду!

Когда Наталья Ивановна, побыв в городе, уезжала назад в Ватагино, а Оля оставалась в городе, она, крестя Олю, говорила:

«Феодосий Углицкий-Черниговский-Чудотворец, тебе поручаю, сохрани ее!» И всегда оставляла Оле образок святого.

И это осталось неизгладимо. И потом в самые тяжкие и в самые радостные и в путаные минуты жизни, вдруг вспоминая, Оля говорила:

«Феодосий Углицкий-Черниговский-Чудотворец!»

Оля знала, что этот святой ее детства считает ее своею: столько ведь было мольбы к нему от самого чистого и совсем непорочного сердца.

БАРРИКАДНЫЙ

В одиннадцать лет Оля много прочитала всяких книг, в доме у них большая библиотека, а за чтением никто

не следил. Из Достоевского она прочитала рассказы, изданные для детей, про Толстого часто слышала от отца. Слышала имена и других писателей, но про Чехова ничего.

Перед Рождеством отец приехал в город за Олей. Радости ее не было конца, а пуще нетерпению: поскорее домой. Вместе с Олей отец взялся отвезти и соседнюю девочку Марусю: Маруся старше Оли, ей было лет четырнадцать, а по классу на один выше: и поздно отдали в гимназию и неспособная; Оля ею командовала, как старшая.

Дорогой поднялась метель, долго плутали, наконец, выбрались в какое-то село, и пришлось остановиться на постоялом дворе. Оказалось, что не их только, а и еще какого-то загнала метель на этот постоялый двор и надолго загородила путь, а может быть, и на всю ночь. Это был высокий, таким он показался Оле, и в пенсне.

Когда подали самовар, отец пригласил его чай пить. За чаем он разговаривал с отцом, расспрашивал и Олю с Марусей, но больше обращался к Оле. И что особенно занимало их — и не как он, морщась, отхлебывал чай, а то, что часто вынимал записную книжку и что-то записывал. Маруся, разливая чай, тихонько подкладывала в его стакан сахар, да и сам он, конечно, положит, и получается не чай, а чайный сироп. Перемигивались друг с дружкой. Или он отвернется, а они за его спиной такие гримасы сделают и потом примутся хохотать. Стал и он с ними смеяться.

А уж близко к ночи, и надо бы ехать. А метель словно только-только что началась. И как ни смотрели в окно, ничего не видно. Пришлось остаться ночевать.

— Как же мы будем ночевать: комната одна! — сказала Оля.

И на это смешной спутник, записавший что-то в свою записную книжку, может быть, о сахаре, который в метель бывает слаще, чем обыкновенно, нашелся.

— А мы сделаем баррикаду! — сказал он.

О баррикадах ничего еще не знала Оля, а Маруся и подавно. И сначала не поверили, но когда разъяснилось, обеим страшно понравилось: оказывается, веселое это дело — строить баррикады!

Натащили стульев, передвинули столы, на столы

взгромоздили стулья, а стулья заставили чемоданами и шубами, и такое получилось загорождение, разве что мышка проскочит. А что творилось во время стройки: не то пожар начался, не то постояльцы повздорили; хозяин человек строгий и благочестивый, не раз тихонько приотворял дверь и в полноса заглядывал, но не разобрать было, кто больше дурачился, дети или этот — в пенсне.

Баррикада готова — спать пора! — и улеглись.

А долго не могли заснуть: и смех не сразу унимается и разговор никогда не кончишь. А говорили о «баррикадном», как назвала его Оля. Услышат, кто-то кашлянул.

— Нет, это не папа! — скажет Оля.

— Ну, значит, баррикадный,— отзовется Маруся.

И снова начинается смех.

А как бы им хотелось узнать, что такое он записывал в свою книжку!

На всяких догадках и застиг их сон, тихо заснули и не заметили, как и ночь прошла, а за ночь, перебесившись, и метель успокоилась.

А когда наутро Оля проснулась, видит: отец один за самоваром.

— А где же баррикадный? — первый вопрос Оли.

— Это писатель Чехов,— сказал отец,— чуть свет уехал, а я пожалел вас будить.

С этой метели Оля знает имя: Чехов.

И потом, когда читала она Чехова, ей всегда вспоминалось: и ее счастье и ее радость и ее нетерпение ехать с отцом домой на Рождество; метель, постоялый двор и «баррикадный», записывающий в свою записную книжку; и как она и Маруся, куда-то потом пропавшая, слившаяся в общей деревенской жизни, потешались над ним,— и было такое чувство, что не из книги она читает, а слышит, как сам он ей читает из своей таинственной записной книжки.

А догадывался ли когда-нибудь Чехов, как однажды в метель на постоялом дворе каким был он развлечением для детей и скоротал неизбежную их скуку, а главное, нетерпение, когда так бы, кажется, поднялся на воздух и в самую метель с самой метелью улетел домой!

ИЗДАЛИ

Самое счастливое время для Оли Пасха, которую она проводит дома в деревне.

И в эту Пасху Оля была счастлива.

На Страстной она говела, в Пасхальную ночь была у заутрени, потом у обедни. А какая весна! В саду птицы — их Оля всегда любила, распускаются деревья — крохотные «клейкие» листочки, на дорожках еще лужи, надо надевать калоши, но солнце греет и все горячее, а петухи поют по-весеннему, будто вздыхают.

Наталья Ивановна собралась в гости и берет с собой Олю: навестить соседей — сын у них болен.

— Наверно, умрет Ваня,— сказала Наталья Ивановна.

Ехали по нарядным улицам: по обе стороны разряженные девчата и парни — бусы, ленты, цветы, венки; или поют, или лущат семечки. При их приближении христосуются — и Оля, и Наталья Ивановна всем отвечают: «воистину воскрес!» Оле было ехать очень весело.

У соседей встретила сама хозяйка Марья Николаевна Сахновская. И сидели одни в столовой. Вани не было.

Не Ваней, а Иван Васильевич зовет его Оля: он студент, хорошо играет на рояли и «бунтарь» — сидел в тюрьме за студенческие беспорядки. Олю называет он Олей, как и все: Оле пятнадцать лет.

Оля знает, что всю зиму Иван Васильевич прожил дома, в университет не поехал, что у него чахотка и его поят кровью, когда режут курицу или теленка,— и для этого режут. Оля всегда с ужасом думает, как это он пьет кровь!

Оля одета была по-праздничному: голубое легкое платье, украшения вафлями: материю подарила любимая бабушка, а шила портниха Ольга Павловна. И в этом нарядном платье, сшитом не как-нибудь, а на любимую Олю, Оля еще цветущее и еще светлее.

Оля не заметила, как вошел Ваня — Оля вдруг взглянула на него, и стало ей совестно и за свое голубое платье, и за свой румянец, и за всю свою весеннюю радость: в комнате было натоплено по-зимнему, а Ваня — в шубе, худой, одни кости, и бледный. Но особенно поразила шуба...

Он подал Оле руку — холодная и влажная. И, обра-

тясь к своему товарищу, с которым вошел,— Оля раньше никогда его не видала,— сказал, представляя Олю:

— Ольга Александровна.

И от этих слов Оле стало жутко: это в первый раз он ее так назвал. Оле показалось, что он издали откуда-то говорит — где нельзя произносить уменьшительное имя, а можно только полностью: «Ольга Александровна».

Просидели с полчаса и домой той же дорогой — нарядными улицами.

Но Оля была не такая: на душе было больно и совестно. Все ей вспоминался прерывистый голос, звучащий откуда-то издали — где ничего нет обычного, домашнего, никакой весны, ни песен, а только важное, как в церкви. А это значит, что Ваня, если еще и не умер, то и не живой в своей шубе, он перешел грань жизни, и оттуда этот его голос. И одно утешило Олю, что когда-то и Ваня воскреснет.

Ваня помер через неделю.

ЗАКРЫЛА ОКНА

У ватагинского батюшки о. Евдокима две дочери: Маня и Саня.

Старшая Маня — про нее говорили, что она что-то вытворяет, и осуждали ее всегда; смеялись и осуждали, например, за то, что она венчалась не в белом, как полагается, а в голубом шелковом платье. Строили по этому случаю какие-то двусмысленные догадки — но Оля никаких намеков не поняла. А сама Маня ни с чем не считалась и даже, может быть, нарочно иногда делала наперекор. Маня много читала. А замуж вышла по любви. Она была гораздо старше Оли и с Олей возилась, как с ребенком, выбрав ее из всех детей, из которых ни на кого Оля не была похожа.

Совсем другая Саня. Простоватая, без всяких стремлений, она и училась мало, взяли ее из четвертого класса гимназии; она еще училась на рояли, но ничего не вышло. С тех пор, как Маня замужем, а тому десять лет, Саня жила неотлучно с родителями и была к ним привязана, и они явно ее любили больше Мани, которую они, как и все, тоже осуждали.

Саня никогда не сделает наперекор, всегда поступит

так, что ее и попрекнуть не в чем и осудить не за что, тихая, покорная и очень домашняя: любила вышивать и вязать — этим заполнялся день. И замуж она вышла, потому что надо,— ей двадцать шесть лет, нельзя же оставаться старой девой. А вышла замуж за кандидата в священники,— она его совсем не знала.

Свадьба была летом, когда Оля проводила каникулы дома. После свадьбы Саня с мужем жили у родителей месяц, и вот она уезжала далеко навсегда: муж ее получил богатый приход.

Саня старше Оли на десять лет: Оле шестнадцать, и Оля ей никак не подруга. Саня привязалась к Оле и любила ее, как сама не раз говорила, за ее «веселость», от которой всегда бывает хорошо и мирно. К Оле всегда тянулись простые люди, слепо их вело на ее свет, и даже таких, совсем не подозревавших в ней и никогда бы не разделивших с ней ее самого главного, чуждых и ее тревоге и закипавшей в ее сердце тайне, высвечивающейся словами — потом она их встретит у Достоевского в устах совсем непохожего, но в духе и не чужого ей Коли Красоткина: «о, если б я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду!».

Саня просила Олю непременно придти вечером — в этот последний вечер: и хочется ей проститься с ней и еще потому, что своей «веселостью» Оля хоть немного развлечет ее родителей.

* * *

У о. Евдокима, кроме Оли, в этот прощальный вечер были гости: родственники — тетки и двоюродные сестры Сани, и соседи. Ужинали и пили чай. Очень было грустно. Особенно грустила мать, худенькая старушка, она в этот вечер называла дочь то Саня, то Саша; а раньше всегда Саней.

После чаю к крыльцу были поданы лошади. По обычаю, все присели, потом поднялись, перекрестились; родители стали благословлять и крестить Саню; мать от слез не могла произнести слова.

Все вещи вынесены и уложены. Саня перецеловалась с гостями, еще подошла к отцу и к матери,— долго ее обнимала. И выбежала на крыльцо.

И вдруг через минуту Саня вбежала опять и стала за-

крывать окна,— окна выходили в сад, оттуда смотрели деревья, и воздух был наполнен летним жужжанием. Она закрыла все окна и, не оглянувшись, выбежала из комнаты, села в экипаж — и лошади тронули.

* * *

Что ж тут особенного: Саня вдруг вспомнила, что без нее, может быть, окна всю ночь не закроют, ведь это она всякий вечер их закрывала. И вернулась закрыть.— — — И как она их закрывала, в ее движениях с головы до ног было столько тоски и такая любовь.

После отъезда еще с час сидели с закрытыми окнами, не расходились, старались говорить о постороннем — развлекать стариков.

Когда Оля вернулась домой, гостившая у них в Ватагине тетка Марья Петровна набросилась на нее, как на халву.

— Рассказывай, Ольга, скорее, что было: страсть как я люблю душераздирающие сцены.

Оля сказала:

— Она так закрыла окна.

И на это тетка откачнулась, как от коробки, где, вместо халвы муравьиное гнездо. И потом Оля слышала, как тетка говорила:

— Ольга ужасная чудачка, и ничего не добьешься от нее: про какие-то окна.

Но ведь эти окна, в которые смотрели деревья, под чьим глазом прошла вся жизнь Сани, теперь навсегда их покидавшей, были в этот ее прощальный вечер все — Саня так сама не подумала, закрывая окна, что-то глубже думалось в ней, вдруг вернув ее с крыльца и бросая от окна к окну с такой отчаянной тоской.

Но ведь эти захлопнутые окна — Оля не знала еще никакой горечи расставания — окна загорелись перед ней, как самый жгучий, жуткий образ разлуки.

И ВСЕ ТАК

Во время обеда Оля пришла в пансион Сверчковой к своей однокласснице Анюте Силич. Анюта выскочила из-за стола раскрасневшаяся, продолжая не то спорить,

не то возмущаться с другими гимназистками: крик стоял на всю столовую. Анюта, запыхавшись, набросилась на Олю: такой необыкновенный случай —

— Вера Аларева проглотила булавку! доктор сказал, чтобы ела много хлеба!

Оля с тревогой осматривала выходящих из-за стола гимназисток, Оля думала, что эта Вера Аларева ест хлеб и сейчас умрет.

— Да вот она! — показала Анюта.

У окна стояла высокая гимназистка и спокойно ковыряла в зубах булавкой,— это и была Вера Аларева.

Такой увидела ее в первый раз Оля.

Вера Аларева дочь клинковского батюшки о. Алексея, в гимназию поступила из духовного училища по настоянию своего брата-семинариста, она была старше Оли классом, а по летам года на три. В гимназии скоро она сделалась знаменитостью: «знаменитая певица,— говорили про нее гимназистки, — «си!» вытягивает, без нот берет»,— и это был высший аттестат и силе голоса, и умению петь. Валя Шалаурова — «абсолютный слух» дирижировала гимназическим хором, а Вера Аларева — солистка. На гимназическом вечере она пела арию Марии из «Мазепы», а на гимназическом утре, устроенном для высокопоставленных лиц, «Матушку-голубушку»; начальница гимназии Марья Ивановна, считая неприличным слово «сосет», велела заменить словом «щемит», Аларева должна была петь, «словно змея лютая сердце мне щемит», и отлично справилась с этим невыпеваемым «щ».

Вскоре после случая с булавкой Аларева перешла от Сверчковой в пансион Линде, где жила Оля. В пансионе Линде на четырех отводилась комната, и Аларева поместилась с Олей. Аларева была старшая в комнате, и перед ней Оля, Марина Заветновская и Катя Осмакова казались еще моложе. Аларева любила рассказывать и рассуждать, а слушательницами ее были Оля и Марина. Катя не считается. Катя, заткнув уши, всегда что-нибудь зубрила,— как-то Оля тихонько подошла к ней проверить: Катя надсаживалась, повторяла одно и то же по-зубрильному,— «сражение при Риме», а в учебнике-то оказалось «сражение при Рымнике»,— вот как она зазубривала, да и лежа в постели, все еще что-то губами шевелила, не слыша и не слушая.

О. Алексей привозил Вере из Клинков яблоки. И на

ночь она оделяла ими своих младших подруг. Сразу после яблока не заснешь, тут и начинались рассказы. Вера рассказывала о своем отце, о матери, о двух бабушках и о своем брате-семинаристе, который был самый умный,— «и когда окончит семинарию, поедет в университет». А еще рассказывала сказки — очень длинные. А то просто рассуждает: можно ли, например, поссориться с человеком? — нет, она ни с кем не поссорится —

— Но, если бы кто-нибудь мне сказал «дрянь», я с тем навеки поссорилась бы.

Сделавшись знаменитостью, как первая в хоре, Аларева в пансионе Линде сблизилась со старшими гимназистками — с Верой Сахаровой и княжной Шах-Булатовой, которые считались первыми красавицами во всей гимназии и самыми озорными. А озоровали эти «красавицы» не только в гимназии и на улице, но и в пансионе. Самым их любимым занятием было изводить младших гимназисток: они мешали заниматься — вырвут из-под носа тетрадь или книгу или пристают с вопросами. Аларева очень была им под руку, уж по одной своей способности без конца рассказывать.

Оле было очень тяжело: ей мешали думать — ее непрерывно дергали всякими вопросами, перебивая ее мысли. Оля никогда не любила, когда ее допрашивали, и когда это делали большие, она ничем не могла защититься и только молчала, но когда свои, хоть и старшие, лезли и тормошили ее, она не хотела уступать. Оля писала переложение к завтрашнему уроку, а Вера Аларева стояла над ней и задавала ей, в который раз повторяемые вопросы, вроде — «отчего у тебя такие белые зубы?» — «чем ты красишь брови?» — и Оля хорошо понимала, что все это делается, чтоб мешать и, скрепя свои мысли, сначала отмалчивалась, но вдруг, вспомнив рассуждения Веры после яблоков, что такое ее может поссорить с человеком навеки, подняла глаза от тетради, положила ручку и, глядя в глаза Вере, сказала:

— Дрянь.

И Вера тотчас замолчала.

Или и вправду это слово, сказанное в упор, но без всякого сердца, а только чтобы Вера отстала, было самой Вере не булавка и вошло в самое сердце?

С этого вечера они не разговаривали друг с другом.

Оля очень мучилась, что обидела Веру, но что же ей

было делать: если не остановить и все терпеть, на голову сядут, а так побоятся.

Да так оно и было.

Оля хорошо училась и хорошо играла на рояли — на гимназических вечерах она играла Мендельсона. Но стала известна на всю гимназию и попала в знаменитости, как Валя Шалаурова с «абсолютным слухом» и Вера Аларева «знаменитая певица», за свою смелость: на уроках Олю вызывали при всяких ревизорах, и никакие «значительные» лица, ни самые головоломные вопросы ее не смущали,— учителя Олей гордились: не подведет. И старшие гимназистки в пансионе Линде, отчаянная Вера Сахарова и озорная Шах-Булатова, больше не мешали ей заниматься и ее, единственную из всех младших, допускали к себе в свою комнату.

Ссора с Верой началась с осени, а после Рождества сердца уж никакого не было. Какое уж там «навеки»! — Вера понимала, что только с Олей и можно ей рассуждать, ведь другие глупые, ничего не понимают или не задумывались ни над чем, и рассказать Оле всегда интересно. А Оля, как услышит, как поет Вера, всегда схватывалась: ведь столько она мучилась, что обидела,— и зачем же так: «навеки»? Если случалось идти парами,— на молитву ли или на прогулку, они всегда друг друга внимательно оглядывали и, если кто-нибудь из них заметит непорядок,— «вот вам булавка, приколите!» или тихонько снимет с платья пушинку, а в пансионе сколько раз Вера, подойдя к Оле: «у вас есть перочинный ножик?» И обе только и ждали, когда это, наконец, случится, и снова заговорят друг с другом.

В этом маленьком мире было все так же, как и в нашем: чего-то недостает человеку,— подойти друг к другу и сказать прямо все, что на сердце, а ведь на сердце была только любовь, или есть какие-то сроки, по которым люди — и иначе нельзя — разойдясь, снова встретят друг друга.

Весной, по случаю царского дня, в городе была иллюминация: пускали ракеты. Все гимназистки пансиона Линде высыпали во двор смотреть. Оля стояла с Верой.

Оля в первый раз видела ракеты и искренно была поражена, глядя, как летали разноцветные шары.

— Вот как странно,— сказала Оля,— и там люди летают!

— Ты думаешь, люди? — и Вера стала хохотать. Так вот и помирились.

Вера переехала из пансиона Линде к родственникам. Но с Олей у нее навсегда осталось: Оля была для нее единственная, кому бы могла она доверить и самое свое заветное.

Оля никогда не видала брата Веры семинариста, но от него Вера передавала Оле книги из семинарской библиотеки. Оле осталось в памяти «Некуда» Лескова: ей очень понравилась Лиза — этот чистейший образ мятежной души, может быть, самый близкий русскому сердцу.

Вера кончила гимназию. А Оля перешла в восьмой. После летних каникул Оля приехала из Ватагино, но, по случаю эпидемии,— дифтерит, занятия в гимназии были отложены. Вера пригласила Олю к себе в Клинки,— Клинки в двадцати верстах от города.

И, как еще в пансионе Линде после яблок на ночь рассказывала Вера о доме, об отце, матери и о бабушках, так все оно и оказалось, только брата не было, уехал в Томск в университет. Обе бабушки,— как бы сказать, не то, что каждый уголок, а и каждую щелочку в доме, как гнездо, свили. Пахло уж очень хорошо.

По случаю именин Веры был у батюшки «бал». Приехал и соседний понуровский молодой священник со своей матушкой. Вере было неловко встречаться.

— Хотел на мне жениться, но я отказала, очень неловко: ведь человек тебе жизнь предлагал!

— Это неважно,— сказала Оля,— ведь он женился.

О. Алексей все шутил с Верой, а Олю называл «будущая курсистка». В доме у них было очень мирно и большой порядок, да эти бабушки,— какую они благодать развели — с молитвой и по солнцу, несомненно, да тут жизни, казалось, на тысячу лет было! Хороша была и осень, гуляли по полям.

— У меня есть жених,— сказала Вера,— я его очень люблю: студент Яворский — в Нежинском институте кончает.

Перед Рождеством Оля получила от Веры письмо. Должно быть, это от сказок, которые еще в пансионе Линде любила она рассказывать после яблок на ночь, усвоила она такой склад.

«Ко мне теперь применима пословица,— писала она,— дела и случаи совсем меня замучили. И, правда, мои дела, как сажа бела, а тут еще один случай, ты мне можешь помочь, я приеду».

А на другой день и сама явилась. И ведь что оказывается, совсем она растерялась, никак не может решить, в чем дело: стала она получать странные письма от своего жениха, и думает, что единственный способ проверить — ехать в Нежин и объясниться. И чтобы ехать вместе с Олей.

Брат Натальи Ивановны, Алексей Иванович — доктор в Нежине. Оля могла остановиться у дяди. Оля бывала в Нежине, дала адрес гостиницы, где остановиться Вере. И поехали вместе.

В Нежин приехали вечером. А через день рано утром Вера подняла Олю. Вера переложила ее платье на диван, села в кресло и заплакала.

— Я была у Яворского в общежитии, он вышел — не может со мной — все кончено. Потому что он болен. Я говорю, ну что ж, я буду ухаживать. Он страшно побледнел и все повторял: я болен.

И из ее глаз слезы так и лились, и не было больше слов,— слезы душили ее,— и голос пропал. Оля принесла воды. Вера понемногу и успокоилась:

— Ну, как ты думаешь, как понять: он хочет отделаться?

— Да, наверное, чтобы отделаться,— сказала Оля.

Оля рассуждала так же, как и Вера: болезнь не может изменить чувства, и ссылка на болезнь только предлог. На этом и решили. И Вера сегодня же уедет домой. Оля обещала придти проводить ее.

За обедом Оля спросила дядю, чем болен студент Яворский. Дядя, как всегда, все обратил в шутку: здоровых вообще нет, а есть только больные, и все больны одной болезнью — любопытством, а в возрасте Оли это — эпидемия. А тетка полюбопытствовала, почему Оля спрашивает,— этот студент ее знакомый? Оля сказала, что и не знает его, а что он жених Веры Аларевой.

— Яворский? — переспросил дядя и, словно вспомнив что-то, нахмурился.

И стал пространно рассуждать о легкомыслии современной молодежи, и сколько так зря гибнет честных и способных. И Оля подумала, что у Яворского чахотка.

Вечером Оля пошла к Вере в гостиницу. Еще в коридоре она услышала пение: пела Вера. Оля без стуку отворила дверь. Вера стояла над раскрытым чемоданом,— обернулась и, глядя на Олю сухими переплаканными глазами и руки так прижимая к груди,— она была в белой кофточке,— продолжала петь, и ее прижатые руки на белом пламенели, точно этими крепко сжатыми руками она хотела погасить вырывавшееся пламя,— «я любила его жарче дня и огня»,— какой огонь был в ее голосе и какое горе!

Оля подошла и поцеловала ее — и белым жарким пламенем своей непреклонности погасила ее жгучий огонь.

— Вот что, Вера, поедем вместе на Курсы,— сказала Оля,— так все это отвратительно, там будет другая жизнь. Будем учиться.

— Да, хорошо, я поеду.

И Вера опустила руки.

И тихие слезинки вырвались из ее глаз.

* * *

В восьмом классе Оля считала месяцы, потом недели, потом дни, когда поедет в Петербург на Курсы. С Верой ей не приходилось встречаться. Вера жила в Клинках с бабушками. И как-то так случалось, что когда она приезжала в город, не заставала Олю. И только раз весною Вера сказала Оле, что писала брату в Томск, и он ответил, что никогда не думал, что она собирается в Петербург на Курсы, и что жизнь там «идейная».

Больше всех возмущалась тетка Марья Петровна: со всей своей неиссякаемой энергией и решительностью она готова была на все, лишь бы помешать Оле; а будь она на месте правительства, она запретила бы и самое слово «курсы» и вычеркнула бы всякие «идеи», сохранив, пожалуй, и то для назидания, лишь бледные «понятия». Перепробовав все воздействия, как-то уж в конце выпускных экзаменов, она, с неподдельной радостью, объявила Оле:

— Вот твоя подруга Вера Аларева,— ты говорила, что она хочет ехать на Курсы. Я ее спросила: «Поедете ли вы на Курсы?» А она сказала: «Нет, не хочу расстраивать маму...»

— Стало быть, она не очень хочет ехать,— ответила Оля.

* * *

Из примечательностей города, в котором не последнюю роль играла всевидящая и всезнающая «чудесная» Марья Петровна, следует отметить семейство Скорохвостовых как по количеству детей, так и по качественному подбору,— все, как с картинки, а уж глаза,— то, как самые разнебесные, то, как море, глубокие, синие, а, в смысле «умственного развития», или просто говоря, по глупости, образцовые: несмотря на всякие протекции, гувернанток и репетиторов, никто из Скорохвостовых дальше четвертого класса не пошел: Петя, Лиля, Маня, Шара, Ляля, Любочка, Окочка и Жокочка (близнецы), Танечка и Тунечка. Оля училась с Лялей и заметила еще во втором классе, что никогда эта фамильная природная глупость так ярко не обнаруживалась, как во время молитвы, когда Ляля смотрела своими синими бездонными глазами в никуда. И все они говорили как-то снисходительно и, вместе с тем, возвышенно с растяжкою вроде тех актрис, что произносят «мошный», вместо «мощный». А еще замечательны Скорохвостовы были тем, что не только в городе, а и в гимназии говорили, что у мадам Скорохвостовой с батюшкой Аристотелевым роман, и ссылались на то, что видели их вместе в Городском саду. И Скорохвостова и сам Скорохвостов по картинности не уступали детям, а батюшка Аристотелев, законоучитель и в женской, и в мужской гимназиях, всего его знали, и при самом отчаянном воображении, какое было у Вали Шалауровой, влюблявшейся буквально во всех, немыслимо было представить себе влюбиться в батюшку, да просто этого слова не существовало, когда произносилось его имя. Но что поделаешь, тетка Марья Петровна повторяла свое излюбленное авторитетное «говорят», и всякий должен был поверить, «потому что говорят».

Скорохвостовы устраивали у себя вечера. На одном из таких вечеров была Оля,— это было в последний ее гимназический год. За Олей ухаживал Есимовский, какой-то важный чиновник, Оле было очень неловко, и она не знала, что с ним говорить, он ей казался очень старым, ну, ему было лет тридцать. Он и за ужином си-

дел с Олей, а с другой стороны Оля посадила с собой Лялю с самыми разнебесными глазами. Ляля угощала Есимовского вином, повторяя врастяжку по-своему, что вино «терпткое», и что она очень любит «терпткое». Оля не понимала, какое это значение «терпткое», она была рада, что сосед ее занят, и не надо поддерживать чужого и совсем ненужного разговора. Был за столом и батюшка Аристотелев, и вокруг батюшки повторялось с такой же растяжкой «терпткое», и батюшка, услышав, как Ляля, обращаясь к Оле, назвала «Ольга»,— вдруг каким-то неурочным сладеньким голосом заметил: «равноапостольная Ольга великая княгиня Киевская» и прихихикнул, что было для Оли совсем неожиданно. В это время Есимовский упомянул какую-то Катечку.

«Катечка,— с растяжкой ответила Ляля,— была два года в связи со студентом Ставровским, а потом разошлись».

А после ужина сама Скорохвостова, она сидела близко и все слышала, заметила Ляле при Оле, что так нельзя говорить, что это очень нехорошо, а надо было сказать, что Катечка и Ставровский были два года женихом и невестой и потом разошлись. «Да я это и хотела сказать!» — оправдывалась Ляля, глядя своими самыми разнебесными глазами, как на молитве, в никуда.

Когда Оля приехала из Петербурга незадолго до своего ареста и зашла к тетке Марье Петровне, тетка ей напомнила этот «терпткий» вечер, рассказав последнюю городскую новость: Ляля Скорохвостова вышла замуж за Есимовского.

— И еще приходила Вера Аларева, оставила свой адрес, она очень хочет с тобой повидаться.

В этот приезд, точно предчувствуя и прощаясь со старым, Оля много видела всякого народу и даже таких, с кем и не думала встретиться. А с Верой ей было любопытно. Прошло три года, Оля жила своей новой жизнью, такой чужой и далекой от этой, что же сталось с Верой?

Они встретились, как и прежде, нет, еще горячее. Оля сразу заметила перемену, но, может быть, это оттого, что Вера была в темном.

— Ты довольна, что на Курсах? — спросила Вера.

— Да,— сказала Оля.

— А я вышла замуж.

— Влюбилась?

— Второй раз нельзя полюбить,— сказала Вера,— я хорошо отношусь к мужу, но любить... да и все так!

Оля ничего не сказала. Но ее серые глаза, как сталь, кипели, но она не смотрела: ведь это «и все так» — это то — то самое, что слышала она еще с детства, и было ей с детства как последняя грубость, это опорачивание всего, что есть лучшего и человеческого в человеческом сердце, это «и все так», т. е. «все равны», т. е. «все подлецы», нет, не все! нет, и не все так! да, это то самое растлевающее, что убивает человеческую душу,— гад! и если бы был камень, она расплющила бы этого гада,— вот когда дышать человеку нечем.

— Но мне так скучно жить,— сказала Вера,— если бы у меня были дети, я бы занялась детьми, а то и на кухню нельзя войти, я бы и пирог испекла, не принято,— говорят, не мое дело, хоть об стенку головой! — и она прижала руки к груди, как тогда, и, крепко прижимая, глядела на Олю, но эти руки были на темном мертвые.

— Помнишь Катю Осмакову — «Рымник», она тоже приехала с мужем. Я сделала ей визит, пять минут просидела, и она была у меня тоже с визитом. Может быть, что-нибудь и выйдет...

— Какой это ужас,— сказала Оля,— так выходить замуж! — и в первый раз посмотрела на Веру, на ее мертвые, прижатые к груди руки,— впрочем, совсем не надо выходить замуж. Я никогда не выйду.

И Оля ничего не спросила, ни кто ее муж, ни где они живут, ни города, ни фамилии, и ничего о себе. И простилась с Верой, как с мертвой,— холодным, осторожным поцелуем к ледяным губам.

ТРИ ПЛАМЕННЫХ СЕРДЦА

К любимой бабушке в Меженинку приходила из Киева монашка. Все ее звали Александра Амосовна. Трудно было отличить ее от мужчины: усы и какие-то волосы на подбородке, очень большой нос, и в очках. Александра Амосовна всегда вязала чулок, ухаживала за больными, и что-нибудь помогала по хозяйству.

Оля любила слушать, как она рассказывает про угодников — тихим тонким голосом. Этот тихий тонкий голос

при усах производил особенное впечатление. Оля думала, что она «святая».

Когда Оля просилась в Петербург на Курсы, ее не пускали.

— В Петербурге такой плохой климат,— сказала как-то Наталья Ивановна,— получишь чахотку и умрешь, как твой дядя.

Этого дядю Василия Павловича, брата отца, Оля никогда не видала, но из всех он больше всех ей нравился: с детских лет сложилось у нее убеждение, что он «ничего не боялся», и с детства, как помнит себя Оля, ей приводили его в пример,— «как не следует делать», или ее «самовольство» сравнивали с ним; а известен он был тем, что в одну ночь проиграл в карты какой-то Трокский замок, родовое Ильменевых.

И Оля ответила,— ей показалось, что мысль ее, точнее нельзя, выражена стихами:

— «Что жизнь для нас, когда там гибнут братья!»

Мать промолчала: ее ли сердцу не чуять, что на своей воле много встретится горя, и она боялась.

— Вот то самое, что надо говорить! — сказала Александра Амосовна, одобряя Олю.

Оле было очень приятно, что Александра Амосовна поняла своим «святым» сердцем ее заветные желания.

В первый свой приезд из Петербурга домой Оля, прежде всего, поехала к любимой бабушке в Меженинку. Дома за своевольный петербургский год помирились с Олей, а бабушка никогда на нее не сердилась.

Бабушка позвала Олю вместе с собой к соседям Топоровым. Оле очень не хотелось, но, чтобы не огорчать бабушку, пошла с ней.

Старинный дом Топоровых, Бог знает, сохранившийся с каких веков, хранил в себе вместе с гостиной, с колоннами какой-то ползучий, ничем неистребляемый дух плесени — Оле не нравились эти Топоровы.

Бабушка с гордостью представила Олю. Оля была в своем летнем сером платье и без всяких украшений, совсем не по дому. И, когда пили чай, бабушка старалась вставить об Оле,— обратить внимание.

У Топоровых было трое: старшему восемь. Оля с детьми возилась.

— Лучше чтобы дети оставались маленькими,— сказала хозяйка,— не дай Бог, как ваша внучка, поедут в Петербург на Курсы...

Бабушка поджала губы:

— Моя внучка умница, потому и поехала.

И хозяйка не посмела возразить бабушке да и неприлично: в своем доме.

А Оле было очень приятно, что бабушка за нее заступилась.

А вот на другое лето Меженинка опустела. Бабушка умерла весной. Оля получила от брата письмо, что все они находятся в Меженинке: и у матери, и у бабушки,— воспаление легких. Оля сейчас же поехала. Дорогой из Петербурга в первый раз она видела, как по пути уходила зима, уступая теплу, и на станции ее встретила весна. Не давая знать к бабушке, наняла лошадей и приехала в Меженинку. Но бабушку не застала,— бабушку похоронили. И почему-то все были очень удивлены приезду Оли: зачем? —

Как?! — — как была Оля одинока... ее любимой бабушки не было. И Александры Амосовны не было: она жила в монастыре в затворе, и нельзя ее было видеть.

На всю жизнь осталось Оле: и как заступилась за нее бабушка и как одобрила ее монашка,— теплая и беззаветно любующаяся любовь и это тихое и тонкое, как голос, святое сердце, благословляющее,— и на крест.

НЕ СЧИТАЕТСЯ

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии...» — с этого начинается Гоголь. С этого начинает свой день Василий Антонович Боровой или капитан Боровой, которого выгнали постоять на крылечко, потому что Варвара Петровна затеяла какое-то такое нежное тесто ставить, что даже присутствие в комнатах Василия Антоновича, который вообще «не считается», может помешать, и тесто не подымется. А от последней ступеньки лестницы Борового крылечка до верхушек тополей, караулящих дом — выше Василий Антонович заглядывать не решается, щадя глаза,— стоит тысячеголосый звон, и это звенящее улетает туда поверх тополей и разливается струящимся на весь мир солнцем.

О Гоголе Василий Антонович ничего не слыхал, но его чувства к этому «упоительному и роскошному» дню

гоголевские. А о Толстом слышал от о. Евдокима, что граф Толстой в Бога не верует. И удивительно Василию Антоновичу, как и почему это граф, когда и простому человеку явственно, что без Хозяина никак не управиться в таком преизбытке и изобилии, и кому-то надо ведь и погодой распоряжаться, и кто-то дает тепло и посылает такие дни «и упоительные и роскошные».

Василия Антоновича могли бы забыть на крылечке, да тетка Варвары Петровны Александра Александровна непременно хватится. И Василия Антоновича возвращают в дом неизменным окликом, напоминающим хозяйский, не то на кур, не то на свиней. И на весь день ему занятие — играет с Александрой Александровной в дурачки. И совсем незаметно «усталое солнце, пропылав свой полдень, уходило от мира и угасающий день пленительно и ярко румянился»: самая пора посидеть у ворот на лавочке.

Проезжая вечером через Ватагино, вы непременно увидите Василия Антоновича на лавочке у ворот в своей неизменной тужурке с золотыми пуговицами, и он с вами раскланяется и, если даже вы незнакомы, с кем-нибудь вас спутает и посмотрит, как на знакомого. Прогонят по улице коров, пробегут овцы, холодком с поля повеет, а там, глядишь, выглянет звездочка. А как легко дышится после знойного дня! И опять Василий Антонович задумается, как и почему с графом такое затмение и не спутали ли Толстого с другим графом: ведь, небось, тоже сиживал у себя в Ясной Поляне на лавочке и видел это небо, когда Хозяин удаляется на покой, а «ангелы Божии поотворят окошечки своих светлых домиков и глядят на нас, на нашу землю».

Окликом, как всегда, куриным или свинячим, переходит Василий Антонович с лавочки в комнаты, и наступает единственный час, когда ему разрешается подать голос. И он этим пользовался: за ужином он рассказывает новости — не проехал ли кто и куда и зачем, не говорил ли о чем прохожий, или сосед шел и сообщил что-нибудь. Рассказы Василия Антоновича принимаются лишь к сведению, так как слава путаника за ним твердо установлена и без проверки ни одна из его новостей не имеет никакой достоверности; капитан часто просто занимался сочинительством — Гоголь в нем сидел неподдельный.

Василий Антонович — отставной капитан из кантонистов, ранен в бедро или, как говорили, «сидел в кукурузе». Раз в месяц ездил он в город получать пенсию. На Новый Год в мундире и во всех орденах приезжал поздравлять к Ильменевым и всегда из кармана давал детям конфеты — конфеты известны были под названием «этих конфет есть нельзя» — и это Оля запомнила со своей первой новогодней памяти. Все остальные дни Василий Антонович проводил дома, лето и зиму днем играя в дурачки с Александрой Александровной, теткой. А Варвара Петровна целый день суетилась, перебегая из дому на кухню и из кухни в дом: она умела делать необыкновенные коржики и еще славилась куличами, но секрета никому не говорила, и все, что она ни делала, все у нее было «лучше всех».

В саду у Боровых были замечательные яблоки. Сад сдавался «русским» из-половины, и это считалось самым выгодным и самым надежным — «русские» крепко караулили и опасаться воров нечего было. Свою часть яблок Варвара Петровна продавала в Нежин; обыкновенно возила яблоки экономка Катя. Но однажды повез Василий Антонович: еще дорогой стал он хвастать замечательными яблоками и раздавал на пробу, а на месте окончательно все роздал да и сам полакомился и вернулся из Нежина без яблок, без денег и весь расстроенный.

Над Василием Антоновичем свои постоянно смеялись и в доме он «не считался». Торжественно праздновались именины и рождение Варвары Петровны, Кости и Лены, и не так торжественно тетки Александры Александровны, и даже экономки Кати как-то выделяли именины, но Василия Антоновича никогда. Как-то Василий Антонович не то что обиделся, а просто спохватился — слава Богу, достиг до капитана и в боях участвовал и большую пенсию за бедро получает, а именин никаких — — ?

— Не считаются,— заметил кадет Костя,— ваши не считаются.

И Костя и Лена в глаза отца никак не называли, да и вообще не разговаривали, а за глаза называли «батько», что равнозначуще здешнему выражению «предки» — я не раз слышал от избалованных единственных изнаглевших сынков и от холеных беспардонных дочек.

Когда устраивались какие-нибудь торжественные ве-

чера, на которых Варвара Петровна показывала свое печеное, слоеное, сдобное или заварное искусство, Василия Антоновича прятали. А если он все-таки появлялся, все только и ждали, когда он скроется. Дети затевали игры: в «море волнуется», «веревочку», «рубль искать», «свои соседи» с ходячим соседом и сидячим — и обыкновенно Костя или Лена говорили: «Батько уйдет, подождите!»

Варвара Петровна все делала для детей — детям все позволялось, дети — ее страсть и гордость. И удивительное дело, они были похожи на отца: нос Василия Антоновича, который различишь и сквозь самую густую коровью и овечью вечернюю пыль, когда рассаживается Василий Антонович на лавочке по сбору новостей, перенесен был и на Костю и на Лену: Косте достался он в еще больших размерах, а Лене поменьше. И единственная Маня в мать, но померла трехлетней к великому горю Варвары Петровны, которая в первую Пасху после ее смерти всю ночь пролежала на свежей могилке.

Для развлечения детям, чтобы посмеяться, Варвара Петровна любила рассказывать, как она вышла замуж; а было ей тогда лет за тридцать и уж выбора не могло быть.

«Прошу вашей руки и сердца»,— рассказывала Варвара Петровна, представляя Василия Антоновича,— а я говорю: «у меня ничего нет!» — а он: «да черт его бери!» Так и повенчались».

Василий Антонович безропотно принимал свою участь, никакой злобы, никакой обиды не было ни в его лице, ни в словах — рассказах, разрешаемых ему за ужином. И только раз за всю свою жизнь, да и то это было так давно, что только Варвара Петровна помнит и, чтобы посмеяться, детям рассказывает, как Василий Антонович возвысил голос.

Постоянные насмешки и в глаза и за глаза и на глазах пробрались и кольнули и такое забитое муштрой сердце.

«Мой пансион!» — сказал Василий Антонович, вызывающе глядя на Варвару Петровну, готовый и на еще, а на что, неизвестно, но уж кричать.

«Моя худоба!» (имение) — оборвала его Варвара Петровна и посадила на место.

С тех пор Василий Антонович, как шелковый.

Никто никогда не слыхал, откуда он взялся и как попал в Ватагино. Говорил он по-московски, но ничего не имел общего с теми «русскими», съемщиками сада — такая кротость, уступчивость и добродушие не в московском укладе хитром и жестоком. Никому он не писал писем, а у него оказались родственники в Рязанской губернии — через много лет дошло до них, что Василий Антонович женился, и они о себе известили, но письмо их осталось без ответа.

У Василия Антоновича было общее с Афанасием Матвеевичем Москалевым из «Дядюшкина сна» Достоевского: заробелость и подчинение. Но у Варвары Петровны, первой по кулинарии в Ватагине, и у Марьи Александровны, первой дамы в Мордасове, разве только это первенство. Варвара Петровна суетливая или как называли ее в Ватагине, «торопленная», ни над кем не командовала, только на кухне, и думала и жила детьми, а Василий Антонович просто не считается.

Лена Боровая подруга Оли. Оле всегда было неловко, когда Лена пренебрежительно отзывалась о отце. Оля давно поняла, что Василия Антоновича не любят, и не могла понять, как можно и как это живут люди друг с другом, не любя.

Варвара Петровна приходила к Ильменевым с Костей. И сначала этот Костя был просто носатый кадетик, а с каждым летом он подымался все выше, перерос отца, потом мать, потом стал верстаться с тополями. И уж один без Варвары Петровны появлялся у Ильменевых: он не входил в дом, а шел прямо в сад и ложился на траву: голова у амбара, а ноги в сажалке. Проходя садом, непременно наткнешься, и он всегда скажет:

— Так сказал граф Толстой.

Однажды Наталья Ивановна спросила его, почему он не входит в дом, а лежит в траве.

— Я дома не могу лежать,— ответил Костя,— потому что мне не нравится нос моего батьки.

Впрочем, належавшись в траве, иногда он входил и в дом, но не с крыльца, а через балкон, собаки его знали и не лаяли, он проходил прямо в гостиную и садился в глубокое кресло. И к этому тоже привыкли, никто не обращал внимания, да и он не беспокоился. Всем, кто появлялся в гостиной, он говорил одно и то же и оно

звучало так же, как из травы «так сказал граф Толстой»:

— Так-перетак — растак. А-переа — разъа...

Еще носатым кадетиком в Киеве Костя влюбился в сестер Коровиных. И об этом он всем рассказывал: сестры, по его словам, были больше чем взрослые, две сестры. И рассказ его производил впечатление самым соединением слов: «сестры Коровины». Потом он влюбился в гимназистку, потому что у нее было «удивленно-глупое лицо», потом в дочку единственного ватагинского лавочника Улю. И с Ули начинаются его романы.

День належавшись в траве или насидевшись в кресле, Костя шел к соседям Манковским. Дом Манковских был самый богатый в Ватагине, с бесконечным садом и бесчисленными комнатами — хозяину предписаны были доктором ежедневные трехверстные прогулки: чтобы не выходить из дому, был вымерен ковер в столовой,— и по этому ковру и совершались прогулки. А славились Манковские необыкновенным вареньем и частыми пирами: хозяева были помешаны на всяких именинах, рожденьях и свадьбах. И всегда гости. Костя танцовал, влюблялся и ухаживал.

Костя влюбился и в подругу Оли, гимназистку Катю Рогачову, которая в последнее гимназическое лето гостила у Ильменевых. А когда Оля приехала в первый раз из Петербурга курсисткой, Костя влюбился в Олю.

Костя кончил кадетский корпус и собирался в Петербург, в военное училище. Оля его пропагандировала.

— Разве можно так жить,— говорила Оля,— надо все переделать.

— Да чего ж беспокоиться,— отвечал Костя,— ведь комитеты за границей работают.

— Каждый должен,— сказала Оля, а сама подумала: «ну, и дурак!»

И все-таки продолжала — Костя смотрел влюбленными глазами и со всем соглашался; он называл имена своих товарищей, среди которых он может организовать кружок.

Осенью, когда Оля уезжала в Петербург, Костя приехал на станцию провожать. Но Оля была со студентом Черкасовым, который ехал тоже в Петербург,— какие уж там разговоры с Костей! И Костя обиделся.

В Петербурге Оля получила письмо от матери: Наталья Ивановна наказывала Оле быть осторожней — Костя рассказывает о ней всякие небылицы, вроде того, что она сидела в Петропавловской крепости, и там ее остригли, но главное, как Оля его пропагандировала; Наталья Ивановна приводила Оле ее слова.

Олю это страшно возмутило: рассказы Кости очень могли помешать ей.

Идя с лекции к себе, Оля рассказала Жене Шубиной.

— Неудавшееся миссионерство! — сказала, улыбаясь, Женя: Женя Оле сочувствовала.

Оля никак не могла успокоиться: если бы это была сплетня, но ведь в письме матери приводились слова Оли, сказанные Косте! — и возмущению не было конца. По дороге Оля и Женя купили хлеба и сыру. И за чаем, продолжая возмущаться, Оля стала резать сыр и отхватила себе кусок от пальца — след на всю жизнь.

Оля жила на Васильевском острове у Берты Федоровны. Эта Берта Федоровна добрая и тихая, и когда топит печку, любила рассказывать: она за вторым, и от первого мужа детей у нее не было, а как вышла за другого, у ней «кожный» год, и всегда умирают. А ходил к ней «кожный» день Herr Pappendick — и утром и днем и вечером. И однажды на звонок, когда Берты Федоровны не было дома, Оля отворила, и вошел не Паппендик, а Костя — расфранченный, в форме и с саблей.

Оля ему все и сказала.

— Да это не я,— оправдывался Костя,— это все Ольга Павловна.

А эта «Ольга Павловна», на которую так неумно свалил Костя всю свою болтливость и бахвальство — Ольга Павловна, ватагинская портниха, могла сочинить какую угодно любовную историю, но о революции... да она такого и слова не слыхала! — Оля, вспыхнув, объявила Косте, что прекращает с ним всякое знакомство. И вгорячах хотела сказать само собой навертывавшееся «вон!» — но, вспомнив всю ту праздную и пустую жизнь и издевательства над этим забитым добродушным стариком, над отцом Кости, Василием Антоновичем, не удостоенным даже имени отца, а «батьки», сказала то, что подумалось:

— Знакомство с вами не считается.

Это было последнее слово Оли, а сказано так, что Костя сию же минуту вышел — и эта его дурацкая сабля хлопала за ним вдогонку: «не считается».

Больше Оля никогда не видала Костю.

А судьба ему выпала своя, да так оно и надо было ждать, и все это не по каким-нибудь соображениям и высшим мотивам, а вроде возгласа из травы «так сказал граф Толстой», просто, что очень зорко заметил Достоевский, «с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут». Костя был за что-то разжалован и опять произведен в офицеры; домой он никогда не писал — в отца, узнавали с запозданием через других. Так узнали и о его конце: становой привез бумагу много спустя — где-то далеко от своих мест повесился.

НЕКУДА ДЕВАТЬСЯ

Пансион Линде — огромный дом с огромным двором, а дальше большой сад,— Оле, вспоминавшей свой ватагинский, не казался таким, но всегда говорилось: большой. В конце двора флигель, во флигеле живет хозяйка дома Вера Харитоновна. Всякое утро из окон пансиона видно, как идет она, пересекая двор: злая, рыжая старая дева.

В пансионе была гимназистка Машенька Фитингоф, племянница начальницы гимназии Марьи Ивановны. И Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна, начальницы пансиона, ухаживали за Машенькой: они и ее фамилию произносили, не как других, а с именем: не Фитингоф, а Машенька-Фитингоф. И выходило много путаницы и смеха.

Гимназистки затеяли сниматься. Снимались каждая отдельно. Фотограф, сняв, спрашивал фамилию, а отвечала Паулина Викентьевна, сопровождавшая гимназисток. И все было хорошо: Ильменева, Аларева, Осмакова,— но на Машеньке Фитингоф фотограф посмотрел, как снимающийся смотрит в аппарат: «не понимаю». И Паулине Викентьевне пришлось не раз повторить и она повторяла нераздельно, как какую-то мудреную арабскую фамилию или замысловатую составную на манер старинных французских: «Машенька-Фитингоф». Жаль, что очередь Машеньки была последняя, а то бы

какие вышли смешливые лица — ведь открыто смеяться никак нельзя было.

Машенька-Фитингоф училась хорошо, но откуда в ней была такая плюгавость, и совсем не вязавшаяся с ее немецкой фамилией: маленькая, белобрысенькая, а глаза, как две волчьи ягоды, и не красные, а белые, которыми медные тазы чистят. Машеньку называли «тунгус в юбке». Находясь в привилегированном положении,— Машенька и спала в одной комнате с Розалией Викентьевной и Паулиной Викентьевной,— знала она много такого, что для других оставалось скрытым. Да и мизерность ее помогала ей быть во всех комнатах одновременно и совсем незаметно; и в доме и на дворе и в саду и во флигеле она все видела и все слышала.

От Машеньки-Фитингоф Оля узнала, что Вера Харитоновна очень скупая, прислуги у нее нет, а вся работа лежит на ее племяннице — гимназистке Сане Мавольской, а эта Саня в четвертом классе, но совсем большая — в каждом классе сидит по два года. А вскоре Оля встретила в гимназии Саню: и вправду, она была совсем большая и показалась Оле очень хорошенькой: такие длинные сросшиеся брови.

От Машеньки-Фитингоф Оля еще узнала, что Вера Харитоновна плохо обращается с Саней, а заступиться некому: нет у Сани ни отца, ни матери. И Оля представила себе, как это было бы, что никого нет: ни любимой бабушки, ни мамы, ни папы, а живет она у тетки и стало ей жутко, и пожалела она эту Саню, за которую заступиться некому.

От Машеньки же стало известно после экзаменов, что Саня Мавольская так и не перешла в пятый класс и ее исключили из гимназии.

А как-то осенью, в самую дождливую пору, когда по ночам холоднее, чем в самые морозы, Машенька-Фитингоф объявила, и все это слышали, что Саня сегодня утром прибежала босиком от Веры Харитоновны. И с этого дня Саня стала жить в пансионе: она помогала по хозяйству. Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна звали ее Сашенька, а гимназистки — Александра Григорьевна.

Как и чем изводила Саню Вера Харитоновна, Оля не знала, но в пансионе жизнь Сани была у всех на глазах. Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна — живое воплощение аккуратности и точности — требовали

работу, а пансион большой — без дела не посидишь, да и на минуту присесть не было времени, и так всякий день с утра и до позднего вечера без перерыва, ну, конечно, не обходится и без замечаний, ведь и машину захлестывает, как другой раз не ошибиться. И эта непрерывность тоже может очень извести человека и без всяких криков и попреков и понуканья.

И однажды вечером Саня вошла в комнату к гимназисткам и без слов заплакала. Все притихли, а она плакала. Потом сквозь слезы стала читать: «я молился сейчас пред иконой святой...»

— Вот и я так! — сказала Саня, окончив стихотворение, прочитанное отчетливо и с чувством — в чувство поэта, на словах которого отводили душу столько страждущих и обремененных.

Этот вечер с трогательными стихами Надсона — громкой исповедью перед всеми, ведь исповедь не только покаяние, а и жалоба; этот вечер с долгим плачем без слов на глазах у всех, ведь плач на людях это тоже жалоба, как исповедь, был прощальным вечером Сани.

Приехала какая-то дама и взяла к себе Саню в качестве бонны. Оля слышала, как Розалия Викентьевна, прощаясь, сказала:

— Сашенька, двери нашего дома всегда открыты перед вами.

И эти напутственные слова были хорошим знаком: Саня расставалась мирно. Оле очень было жалко Саню, и никогда не забыть Оле своего жуткого чувства: некому заступиться.

А, должно быть, жизнь в качестве бонны оказалась не слаще пансионерской: не прошло и месяца, как Саня опять появилась в пансионе, и началась с утра и до позднего вечера работа по хозяйству непрерывно.

На Рождество приехал сын Паулины Викентьевны, доктор Виктор Густавыч, и скоро стало известно, что Саня выходит замуж. О замужестве Сани только и было разговору — весь пансион обсуждал судьбу Сани.

Гимназисткам Виктор Густавыч показался очень некрасивым — «рожа», а Саня была для всех «хорошенькая». И все говорили, что по-другому она поступить не могла: и не согласись она, не стали бы держать ее в пансионе, не велика нужда, ведь вот с месяц и без нее управлялись, найдутся и другие Сашеньки —

— Сане некуда деваться, оттого и выходит.

— Я бы никогда не вышла,— сказала Оля,— и пусть бы меня выгнали, я бы ушла и на холоде умерла — замерзла. И это лучше.

Машенька-Фитингоф, от которой и шли все новости и которая была голосом своей благоразумной тетки — начальницы гимназии, не соглашалась с Олей: Саня поступает правильно, и в ее положении так и следует.

— Сане некуда деваться и другого выбора у нее не может быть.

До лета Саня оставалась в пансионе. Летом должна была состояться свадьба. Саня теперь называла Паулину Викентьевну — мама, а Розалию Викентьевну — тетя, и продолжала по-прежнему свою изводящую работу с утра и до позднего вечера непрерывно.

И все-таки эта непрерывная работа была тишиной и миром сравнительно с тем, что было у тетки во флигеле. Вера Харитоновна в свое время намудровалась над Саней — это теперь понимали все подросшие гимназистки. С Верой Харитоновной, встречаясь, никто больше не здоровался, все равно, она никогда не отвечала, она смотрела так, будто всякая встреча была ей поперек. А ведь это все были дети, и ни у кого не было никаких злых мыслей, они и здоровались весело и приветливо — от души.

Валя Шалаурова пригласила Олю к себе на вечер. Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна разрешили, но чтобы вернуться в десять. Оля и вернулась точно в десять. Но калитка-то оказалась заперта. Олю провожал брат Вали: и Оля и Петя стучали без конца. И тогда Петя перелез и с другой стороны открыл калитку. Стук слышала Вера Харитоновна, но не отозвалась: она вышла только посмотреть. И потом донесла. И за это Олю не пустили на вечер к Берсеневым. Это случилось на масленице и Оле очень хотелось. Каким длинным ей показался вечер! Был мороз и звезды. Подходя к окну, Оля видела эти предвесенние ясные звезды, но и эти самые ясные застилались, Оля видела, как простоволосая рыжая ходила по двору под окнами Вера Харитоновна и что-то вкусное пережевывала — маковник ли это медовый, или сладкая смоква.

Да, это был живой «ананасный компот», о котором рассказывает Достоевский, исповедуя в Лизе Хохлаковой свой тайный злой помысел, да, это было повторяемое

у Достоевского злорадство, испытываемое человеком при виде беды другого человека, да, это было — бывает и такое человеческое сердце, для которого отыскать вину в человеке безвинном — удовольствие, а наказание за эту мнимую вину — наслаждение.

За эти последние месяцы Саня привязалась к гимназисткам и часто выручала.

Вера Аларева и Катя Осмакова потихоньку ушли из пансиона. Розалия Викентьевна шла с Саней, а навстречу извозчик, а на извозчике эти самые гимназистки. Розалия Викентьевна остолбенела: «Аларева и Осмакова?!» — «Что вы, тетя,— сказала Саня,— это губернаторские дочки, посмотрите, и калоши с опушкой!» Но уж смотреть не на что было — проехали. И ведь до чего Саня уверила этими «опушками», Розалия Викентьевна потом сама при всех рассказывала, как она губернаторских дочек приняла за Алареву и Осмакову.

И Розалию Викентьевну и Паулину Викентьевну легко проводили и сами гимназистки, но бывало, как этот случай с «опушками», без Сани никак не прошло бы. В Сане много было расположенности, все издевательства ее тетки и эта дергающая непрерывная работа не озлобили ее истерпевшегося сердца, и беззащитного.

Все понимали безвыходность Сани и жалели. И Оля, жалея Саню, не переставала свое думать и на своем стоять, что лучше замерзнуть, но никогда не соглашаться.

«И разве может такое пройти так человеку?» — но это не Оля, за Олю, над Олей кто-то спрашивал и тайно бередил беззащитное сердце покорившейся перед безвыходностью Сани.

После летних каникул Оля не вернулась в пансион Линде. И больше не встречалась ни с Розалией Викентьевной, ни с Паулиной Викентьевной, ни с Саней. А потом как-то слышала, что пансион закрыли, а Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна переехали в маленькую квартирку и с ними Виктор Густавыч и Саня.

Оля жила у тетки Марьи Петровны. От тетки она и узнала, что умерла Паулина Викентьевна. Оля пошла на панихиду. Паулина Викентьевна лежала на столе и с тем самым выражением, с каким повторяла когда-то непонимавшему ее фотографу: «Машенька Фитингоф».
С Олей стояли гимназистки, все смотрели на Паулину

Викентьевну, но смешливых лиц не было: Паулина Викентьевна была добрее Розалии Викентьевны. Розалия Викентьевна и Саня плакали.

Это была последняя встреча из той жизни, которая для Оли кончилась с гимназией, а начавшаяся в Петербурге новая на курсах была занята и деятельна, и даже вспомнить было некогда.

И вот совсем-то не думая, а думая о своем, Оля вошла в трамвай и увидела Саню: по бровям узнала — такие длинные сросшиеся, и Саня узнала Олю. И затащила Олю к себе.

Саня жила с мужем, который был теперь петербургский доктор, и с ними Розалия Викентьевна. Виктора Густавыча не было дома. Розалия Викентьевна еще больше согнулась. А Саня — хотела ли она рассказать о себе или спросить Олю... ничего не выходило: Саня беспомощно, безнадежно заикалась — понять ничего нельзя...

Оля, глядя на ее мучительную безвыходность — слова судорожно бились на языке, а никак не выговаривались! — вдруг живо по своей резвой памятливости представила ту жизнь, и ту, отчетливо говорящую стихи Саню, и свое непреклонное «скорее замерзнуть, чем...», а то, что когда-то спрашивало за Олю, над Олей, заговорило в Оле, и она все поняла.

И разве может что-нибудь на свете пройти бесследно!

НЕ ДОЖДАЛАСЬ

Жили-были две подруги, как в сказке, Олеся и Гуня. Обе учились в гимназии в одном классе и однолетки: и той и другой двенадцать исполнилось. Одна была очень богатая, другая очень бедная. Если бы они были взрослые, такого различия никогда бы не случилось: из любви и дружбы, какой были связаны подруги,— Олеся помогла бы Гуне, ведь это только в нашем холодном мире, встречаясь, ничего-то друг в друге не замечаем! Или не так: будь они взрослые, и совсем бы не могло быть никакой дружбы — да и где бы им встретиться! а если б и встретились... но это не зря сказано: «легче борову свиному проткнуться в игольное ушко, чем богатому проникнуть к сердцу бедного».

У Олеси все: и дом и сад и лошади — единственная она — и для нее все, и по фамилии-то Олеся — Цвет, первые купцы в городе. А у Гуни — — отца она не помнит, давно помер; отец ее итальянец, мать русская; ее мать — заведующая городской школой, и заработок ее — все.

Гуня Польлио, но считает себя русской, хоть и никак она не похожа на вздернутую белую, узкоглазую Олесю: Гуня в отца — темная, не по северному солнцу открытая, и как клюв у нее над полным розовым ртом. Многое уж за эти розовые годы понимала Гуня в холодном синем мире и, гордая, никогда не ходила по гостям к богатым подругам, и только к Олесе. А Олеся ничего еще не понимала, ей и в голову не приходило хотя бы спросить у Гуни, почему это ее мать все одна и никогда нигде не бывает?

Гуня жила с матерью в школе. И гимназистки любили бывать у ней: гимназисток занимала школа — можно было скакать по пустым партам, разрисовывать рожами доску или про учителей вымелить на доске такую надпись, не поздоровится, и за это не попадет. Но ни с кем не чувствовала себя Гуня так, как с Олесей, и когда мать уехала в Киев — операцию ей будут делать — Гуня только к Олесе и только одной Олесе она могла рассказать самое свое заветное — она уж понимала, и что одинока мать, и всю их бедность,— и вот как она любит мать: «больше всего и всех на свете!»

Это случилось осенью, когда Гуня в первый раз осталась одна без матери. Невыносимо было ей одной — «точно не жила она!»,— а по ночам страшно: прислуга, которой наказано было спать с Гуней, и не думала, а с вечера уходила на ночь со двора. С отъездом матери Гуня начала дневник: и как мать вернется, не рассказывать ей, что без нее было, а дать прочитать — ее дневник всякая мелочь, и всякая мелочь не забудется.

В дневнике она рисовала картинки из «Тысячи и одной ночи», ей особенно нравились волшебные сказки про джиннов, и она рисовала и «правоверных» и злых — «маридов», и всегда у нее выходило, что все «правоверные» были, как Олеся, со вздернутыми носами, а «мариды», как она сама, горбоносые; еще рисовала она талисманы — красных и белых змей, белых петухов с раздвоенным гребнем, и оборотней — облезлых обезьянок, которые неожиданно чем-то напоминали Олесю. Гуня

мечтала встретить такую обезьянку — марида из маридов — и чтобы полететь на ней к звездам — «и неужто,— думала она,— это правда, эти мерцающие наши звезды на глубоком синем небе такие грозные, раскаленные горы, тесно прижатые друг к другу, а выше — еще не видно, но слышно, как ангелы поют?» — и полететь бы еще в медный город, над которым не восходит солнце! Гуня рисовала, и как летит она на мариде, крепко ухватившись за его шершавую, как у обезьянки, с теплым перекатывающимся горлом шею, и самый медный город: в этом городе она с матерью будет жить, туда переедет и Олеся, втроем — она уж поняла, что в их городе, над которым восходит солнце, люди... нет, люди совсем не злые, а успокоенно-равнодушные: сколько раз она слышала, как говорили про ее мать и про нее, что они устроены, что мать получает жалованье, и что «чего ж им еще нужно?» — и редкое утро, чтобы не видела она согнувшуюся мать над починкой белья,— ведь на них ничего нет целого, все-то заштопано и в заплатах, только что не видно! — и редко, чтобы ночью не просыпалась она вдруг, как уколотая, от тяжких вздохов матери — днем, при свете, многое можно скрыть, а ночью и без слов все наружу и все узнаешь,— и эти ночные вздохи стояли у нее в ушах, но чем она могла помочь? — или только своей наперекор всеобщему успокоенному равнодушию беспокойной любовью? своей мечтой о медном городе, над которым не восходит солнце?

Я не знаю среди книг, с какой еще можно сравнить — ничего нет более грустного, чем эти сказки «Тысячи и одной ночи», и этот грустный свет их проник из Алеппо в веках по всему миру, отсвет его я чувствую и в безумном отчаянии Достоевского, и в сияющей вере Толстого, и в единственной бедности среди волшебного Божьего мира кругом покинутого Гоголя.

Кроме «Тысячи и одной ночи», Гуня рисовала Робинзона, но не приключения среди людоедов, как «диких», так и «недиких», а его брошенность и мечта о свободе, вот что ее трогало,— ведь, это было так близко ей, когда она осталась одна, и ждала мать: Робинзон в воображаемой одежде, хоть и с длинными усами Тараса Бульбы, похож выходил на даму; подпись: «Робинзон на необитаемом острове питается черепашьими яйцами».

Осень — дождик, а выпадают удивительные дни — и тепло, и ясно, и в такие дни не надышишься и не на-

смотришься,— в эти последние дни, в которых гораздо больше значенья, чем думается, и что открыто только несказываемому чувству — живым лучам древней памяти человека. Накачавшись на качелях или набегавшись на гигантских шагах, Гуня рассказывала Олесе о своей матери.

Гуня получила письмо из клиники: операция прошла, но еще три недели мать должна оставаться в клинике для поправки и тогда вернется домой; она привезет Гуне подарок, она заказала: тоненький золотой браслет с двумя шариками — заказала через сестру милосердия, чтобы к отъезду был готов; и еще купит что-нибудь — из клиники она выйдет утром, а поезд уходит вечером, вот перед поездом — целый день! — что-нибудь сама выберет и купит; а заказала бы она и не такой тоненький и не с двумя, а с пятью шариками, да денег не хватит: ведь еще три недели!

У Олеси много всяких браслетов и серег и брошек — она слушает Гуню и понимает, как любит мать Гуню, ее тоже любят ее мать и отец, но никак не может понять, как это, если болен человек, и ему не хватит на поправку... И Гуня понимает, что Олесе не понять, но Гуня чувствует, что Олеся что-то чует, и, самое главное, сочувствует,— как ждет она мать.

Гуня написала на листке дни и числа, и всякий вечер вычеркивает — так скорее время проходит. А время, вот когда она поняла, как медленно идет время. И все-таки не три недели, а восемь дней осталось. И страшно ей по ночам — не спит, и от нетерпения еще: ждет — всякий день прибирает комнату, готовится к встрече и, хоть продолжает дневник, но есть у нее и еще, чего никак не напишешь и никакими картинками не нарисуешь, и что она, глядя в глаза, тихонечко скажет — она скажет, как любит, и как всегда любила, но только теперь особенно поняла.

Это так — как другой раз поймешь и не от своей, а от чужой беды, как это я теперь понял, и вдруг вся моя жизнь осветилась, и точно в первый раз я увидел мир: «и в самой тягчайшей беде есть выход для человека — служение миру — всем страждущим в этом холодном синем мире!» И вот уж стала для нее неправдой горчайшая правда: «кто другому помочь может?..»

* * *

Жили-были две подруги, как в сказке, Олеся и Гуня. Одна была очень богатая, другая очень бедная. А судьба их была одна, как их любовь — одна и неразлучна.

Гуня пошла узнать к Олесе: что случилось, и в гимназии не была, и не известила. Но Олесю она не могла увидеть. Встретил ее отец, и сидела Гуня в столовой: к Олесе нельзя — захворала. Гуня заметила, что в доме большая суетня: ждали доктора. И Гуню не задерживали. А, когда она проходила двором, подъехала пролетка, и Гуня догадалась, что это доктор. А через два дня все узнали, что у Олеси скарлатина.

А ещё через день, что Олеся умерла.

Гимназию закрыли: боялись — в городе эпидемия.

Гуня была совсем одна — эти три дня, как была она в последний раз у Олеси, ей показались томительнее всех дней и, как тогда, по отъезде матери, поняла она, как любит мать, так теперь поняла, как любила Олесю. Места не находила себе, и ни на чем она не может остановиться; все валилось из рук, и сама она валилась.

Вечером, как всегда, она хотела записать в дневник, но не могла ухватить и высказать мыслей и, вместо букв, у нее выходили крестики, и из этих крестиков, как вырвалось, одно только слово: «поскорее». Она вычеркнула день — остается пять дней: еще пять дней! И легла спать, но не спала она. И не от страха — ей больше ничего не страшно, но не может она остановиться: она все вычеркивала дни, чтобы «поскорее»,— и тогда вернется мать! — но сколько ни вычеркивала, оставалось пять дней. Время остановилось. И тогда на нее нашло то, чего с ней никогда не бывало: страшная злоба поднялась в ней — и углем, горящим углем она стала выжигать дни, но сколько ни жгла, оставалось пять, и эти огненные пять красными и белыми змеями горели здесь — над бровями, и здесь,— но не змеи, горячие руки обняли ее сзади за шею и душили, и, задыхаясь, она вдруг узнала, что эти, горящие змеями, тугие руки — Олеся.

И тот же самый доктор, которого Гуня встретила, возвращаясь в последний раз от Олеси, приехал к ним в школу, но Гуня его не узнала: задыхаясь, она не по-

дымала глаз,— трудно ей было смотреть на свет, и только схватывалась, как в бреду: «поскорее!».

А когда приехала мать, Гуню уже похоронили.

Гуню похоронили накануне — в тот день, как она померла: нельзя было ждать — боялись. И никто из гимназисток не провожал ее. Так и похоронили — похоронил отец Олеси на дорогом кладбище рядом с Олесей, и крест на ее могиле, как у Олеси, и на этих двух одинаковых крестах такие разные карточки...

А мать Гуни привезла ей, кроме тоненького золотого браслета с двумя шариками, еще черные часики — мечта Гуни, и несессер: нитки, иголки, наперсток, ножницы,— только в медном городе, над которым не восходит солнце, там этого ничего не надо. И самой бедной девочке — ведь всегда найдется кто еще беднее тебя! — отдала она в память единственной, самой любимой «больше всего и всех на свете». И тем, что она вспомнила в своем горе о чьей-то чужой беде, она, как воскресла,— это свет чужой беды согрел ее оледенелое от тоски сердце.

НАПЕРЕКОР

Оля дружила со всем классом, а с Зиной Разумовской особенно. Почему-то друг другу понравились. Зина училась хорошо, как и Оля. И обе считались смелыми — на уроках их вызывали при всяких ревизорах: никакие «значительные» лица, ни головоломные вопросы не смутят их. Обе принадлежали к «задумывающимся» — по Достоевскому и к «убежденным» — по Блейку. Такими они на свет зародились.

Оле хотелось сидеть с Зиной на одной скамейке, а рассаживали по росту — и Зина всегда сидела впереди Оли: Зина маленькая, меньше всех, а по глазам — огромные черные — ни у кого таких, и нельзя от таких отвернуться. Оля всегда с Зиной: на большой перемене обыкновенно дети бегают, ловят друг друга и визжат, а Оля и Зина, обнявшись, скакали по залу. У Зины распущенные волосы, завязанные бантом.

Дружба началась со второго класса, когда Оля жила в пансионе Пенкиной. В пансионе на завтрак ничего не давали, и Оля покупала себе за три копейки ватрушку. Зина из дому приносила бутерброд с вет-

чиной и яблоко. И стала приносить другое яблоко — для Оли.

У Зины почерк косой, буквы слитны, Оле трудно было разбирать ее записки: Зина писала Оле, когда пропускала уроки. Однажды Зина просила прислать русскую тетрадку с объяснениями: в гимназию она не придет,— «у меня камень и насморк». Оля много раздумывала об этом загадочном «камне», который оказался просто «кашель».

Разумовские самые важные в городе, значительнее всяких губернаторов и попечителей. Дом их, как дворец, и простому смертному никак не попасть. Оля была всего раз. Ее пригласили с другими гимназистками, жившими в пансионе Пенкиной: у Зины Разумовской две сестры — одна в восьмом, другая в шестом.

Пили чай в столовой. Оле запомнилось: высокие стулья и мать Зины — большая и черная. Были и гимназисты. Но Оля и Зина после чаю ни разу не заглянули в залу, где старшие танцовали: Оля и Зина были заняты игрой в гостей — приглашали друг друга, угощали конфетами и всякими сластями, которых им много дали. А когда наигрались, захотелось спать. Но Оле одной без старших, которым ее поручили, никак нельзя было уйти. И они устроились тут же, где играли: поставили стулья и, каждая на своем, одна свернулась ежичком, другая калачиком, и крепко заснули.

И такой это был сон, как Божий рай, тихий и безмятежный, никогда уж так не спала Оля, да и Зина не помнит. Когда Олю разбудила одна из танцовавших гимназисток, она долго не могла понять, где находится, точно провалилась во что-то сыпучее и никак не выбраться — сон не отпускал ее. И едва шла она по улице — непреодолимо клонило, и все сердились на Олю.

И потом Оля вспоминала Зине этот вечер, а Зина потом уж, вспоминая свое детство, писала Оле из ссылки все так же неразборчиво, косо и слитно, что «такой дорогой подруги у нее никогда не было».

И еще раз, но не в доме, была Оля у Разумовских. Оля шла с экзамена и по дороге ее окликнула Зина: «Зайди хоть в сад!» — позвала Зина. И Оля зашла в их сад, и сад этот был, как Божий рай. И Зина среди высоких деревьев и густых кустарников и всяких цветов такая маленькая с огромными черными глазами — светящимися, как зверек.

На уроке французского языка вошла классная надзирательница и позвала Зину:

— Идите, за вами пришли из дому.

Зина вышла, и за ней учительница мадам Вьейяр. А вернувшись без Зины, мадам Вьейяр сказала:

— Ее отец умер.

Тетка Марья Петровна, любительница раздирательных сцен и всяких скандалов, рассказывала по городу, и про это слышала Оля, что на похоронах мать Зины, большая и черная, показывая на какую-то серенькую женщину, стоявшую тут же за гробом, громко сказала: «Дети, смотрите, вот виновница смерти вашего отца!» Оля ничего не поняла, только было ей очень страшно.

После смерти отца Разумовские переехали в деревню. Зина захворала, говорили, что у нее «анемия мозга», и год она пропустила в гимназии. А когда снова вернулась, дружба с Олей пошла по-старому.

Обе читали книги и передавали друг другу. Зина дала Оле «Ниву» за несколько лет с романами Саллиаса и Соловьева, а Оля прежде всего свою любимую в шоколадном переплете золотыми буквами — «Русским детям Достоевский», прочитанную еще во втором классе в пансионе Пенкиной.

Ни Неточка и Катя, ни Нелли, а рассказ из «Подростка», названный «В барском пансионе», вызвал тогда бурные, изливавшиеся со дна сердца, горячие слезы: в рассказе ничего не было, что хотя бы отдаленно напоминало судьбу Оли, кроме пансиона, но, переговаривая слова Достоевского о униженной матери, Оля представляла свою мать, и это были первые слезы.

Год в шестом классе Оля прожила в странной семье Берсеневых, где после смерти матери отец не говорил с детьми, и где все было странно до жутких зеркал и жутко потрескивающего по ночам паркета. А Зина у французской учительницы мадам Вьейяр.

И Оля и Зина «обожали» учителя словесности Павла Николаевича Соловьева. Оля получила от Зины записку, как всегда, косо и слитно, но все разобрала:

«У мадам Вьейяр будет Соловьев, приходи!»

Пропустить такой случай — такая редкость: поздороваться с Соловьевым за руку, сидеть с ним за одним столом! — Оля едва дождалась вечера и в своем легком сером платье, а в таком неформенном гимна-

зисткам не позволялось ходить по улицам, помчалась к Зине.

И обе с нетерпением ждали, когда мадам Вьейяр позовет их чай пить. А какими счастливыми вошли они в столовую, где уж сидел учитель Соловьев. К чаю, конечно, они не притронулись и ничего не ели.

— Что вы читаете? — спросил Соловьев Олю.

— «Преступление и наказание».

— Вам рано,— сказал Соловьев,— не можете всего понять.

Оля вспыхнула: она — не все понять?!

И Оля была права: большие произведения тем и большие, что есть в них много окон и много дверей, и в какое окно ни заглянешь и в какую дверь ни войдешь, останется, что видел все; это все — в меру каждого глаза, для четырнадцатилетней Оли свое, для учителя словесности свое, но чувство одно: видел и все понял.

Не пауки Свидригайлова, глазатые и тысяченогие, ткущие жизнь и распределяющие долю живому без пощады и милосердия по своим каким-то соображениям; не баня с пауками — этот образ то-светной вечности и того неожиданного и поразительного, что откроется человеку, освобожденному от чувств в его смертную минуту; не разожженный уголек в крови Свидригайлова — этот гвоздь всяких романических трагедий, такое совсем чуждое существу Оли, и надо всеми словами сказать, что не только этот один единственный разожженный уголек светит и цветит жизнь человека, а есть и еще что-то, какое-то другое «начало» жизни, с чем зарождаются люди и проходят свою жизнь и в цвете и в свете! — — — не сыскные фокусы Порфирия Петровича — охота человека на человека — эта душа авантюрных произведений, а бедовая, ничем не оправдываемая судьба погибающих от «непосильной работы» — слова старой няньки, сказанные Бог весть когда, и оставшиеся у Оли живыми на всю жизнь; бедные люди, унижаемые праздными и сытыми. И не убийство старухи процентщицы, не Раскольников, прячущий свою преступную тайну под камень на Вознесенском проспекте, а Раскольников терзающийся, его кругом одиночество; и не ницшенианские рассуждения Раскольникова о «сверхчеловеке», которому все позволено, а слова Раскольникова перед решением повиниться: перед кем повиниться? — Оля с

детства видела и оценила эти суды праздных и самодовольно-легких людей, ищущих денег, славы и покоя ценою лжи, клеветы и помыкательства, суды того круга, в котором она жила и где ей назначалось жить! И наконец прожигающее слово Достоевского «сметь» — посметь взять все это за хвост и стряхнуть к черту! А ведь это самая сердцевина ее «настойчивой и пламенно-настроенной воли» и самый глубокий и властный голос ее «врожденной любви к правде».

Нет, Оля все поняла — она увидела больше, чем видят четырнадцатилетние глаза. И учитель был не прав. Но Оля не возразила — но ей было обидно.

— Я вас обеих завтра буду спрашивать,— сказал Соловьев.

И Оля и Зина приняли за шутку — как это можно после того, как сидели за одним столом и «разговаривали»? Но учитель оказался выше житейских предрассудков и на следующий день в порядке «педагогической дисциплины» вызвал сначала Олю, потом Зину.

В седьмом классе после каникул Зина сказала Оле:

— У меня есть жених, он был летом репетитором моего брата, необыкновенно умный, он «деятель» (т. е., занимается «революцией»). Прочти «Обыкновенную историю» Гончарова, там сцена в саду с Наденькой, и у нас то же было.

Оля прочитала «Обыкновенную историю» и поразилась: в этой сцене Адуев и Наденька целуются. Странно было подумать, что это — Зина! Для Оли казались так же невозможными и недопустимыми эти поцелуи, как невозможной и недопустимой представлялась ей в детстве война, которую она и перенесла в допотопное время — при Адаме и Еве.

И это так понятно: Оля по существу своему была «непохожая» и то, что казалось Зине «обыкновенным», для Оли было «неестественным и отвратительным», подлинно уходящим корнями к Адаму и Еве в мрак животных зачатий — — всеми словами повторяю, корни жизни человека в этом заложенном в кровь угольке от Адама и Евы, но зарождаются люди, жизнь которых и цветет и светит, от какого-то другого начала.

Оля была поражена признанием Зины — так ей это все было чуждо.

— Как же это бывает? — спросила она Зину.

— Да так — как вот с тобой! — ответила Зина и крепко поцеловала Олю.

Зина не кончила гимназии и наперекор матери, наперекор всем родственникам, вышла замуж за Алпатова, репетитора ее брата, только что окончившего студента, и через год поехала за мужем в ссылку в Сибирь.

А Оля кончила гимназию, наперекор всем уехала в Петербург, окончила Высшие курсы, и, когда после своего тюремного года перед ссылкой приехала на старые места, Зина с мужем вернулась из Сибири. Сколько прошло, а как ничего не было: Зина была та же, те же огромные черные светящиеся глаза.

Алпатовы жили очень бедно: и так было трудно, да еще дети — у Зины было трое.

Зина никогда не думала, что у нее будут дети — ее старшая сестра очень хотела иметь детей, но доктор сказал, что не может быть. Зина думала так и о себе.

— Первого я родила,— сказала она Оле,— с изумлением...

Зина советовала Оле выйти замуж за студента Черкасова. По словам Зины, большей любви она не видала, что он любит «без меры до невозможности» и, когда при нем говорят о Оле, тень проходит по его глазам.

Оля и сама видела, но ее это только мучило. Оля не выдумывала, не представлялась, не лицемерила: она не знала и не находила в своем сердце этих желаний — она не «мечтала», не готовилась к замужеству, а тем более быть матерью, как Зина, которая, хоть и с «изумлением», по существу своему была матерью. Душа Оли была взрощена совсем из другого, а все существо ее было не Зинино.

Что же повлекло их друг к другу с самого детства — чем и почему они понравились друг другу? И Оля сказала себе: «смелость», «наперекор» — да, это было в духе Оли и в духе Зины — и еще: «революция».

Как о двух началах света и цвета жизни — о «разожженном угольке» у одной и о белом — самом жарком и самом пронзительном, свете, окрашивающем помыслы другой, надо всеми словами сказать, что то чувство, которое побуждало «заниматься революцией», исходило из самого высшего источника духа и, если говорить по Евангелию, надо сказать, что «занимавшиеся револю-

цией» и были те «ищущие правды», и горе тем, кто с юности со старым, но не мудрым сердцем, смирившийся, не знал этого пламенного чувства.

БЕЗ ПРЕДМЕТА

(Стихи)

Стихи самое что есть живое не только в литературе, а и в жизни — сказки Шехеразады расшиты стихами. Пока мир будет стоять, будут выходить стихи. А уж дальше пойдет то самое замерзание — дышать нечем! — о котором говорится в естественной истории, и, наконец, взвихренная земля сотрется в космический порошок.

Критика — гонители стихов и с ними актеры, «декламирующие» стихи, как прозу, нарушая глубокомысленными паузами ритм, и не защелкивая рифму, подлинно закоренелые изверги — «враги рода человеческого», отворачивающиеся от самого живого в живом. Уж одно необычное расположение строчек в стихах, постойте! — и читать не обязательно: при одном взгляде зазвучит. А этот стихотворный ритм и есть сам звук жизни.

А ведь жизнь — ее природа, ее глубочайшая скрытая завязь — «это всесильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы» — этот огромный и отвратительный тарантул Достоевского, этот приземистый, дюжий, косолапый человек в черной земле с железным лицом и с железным пальцем — гоголевский Вий — — для живого нормального трезвого глаза, не напуганного и не замученного, никогда не «тарантул», никогда — «пузырь с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал, на которых черная земля висела клоками», никогда никакой не Вий с железным пальцем, нет, никогда не это, а все, что можно себе представить чарующего из чар, вот оно-то и есть душа жизни.

И есть такие люди, одаренные воздушными песенными чарами — так не пройдешь, не заметив. Мало того, даже не чувствуя в себе никакой словесной склонности, при взгляде на них начинаешь сочинять стихи. И такие люди вовсе не какие-нибудь «роковые» и «демонические» вроде гоголевской «сверкающей» панночки, и совсем не подстать подмосковной пололке с «инфер-

нальным изгибом» — Грушеньке или Катерине-«хозяйке», и ничего в них мучительного, как в Полине и в Катерине Ивановне, и ничего мучащего от Лизы Хохлаковой,— ничего от Достоевского.

Валя Шалаурова старше Оли классом, подруга Оли,— Оля больше дружила со старшими. Если про Марину Заветновскую или Зину и про Олю говорят: «два экземпляра», что и было очень близко к правде, трудно себе представить большей противоположности по существу и в духе, чем Оля и Валя.

«У меня все вдруг»,— могла бы повторить Валя за Хлестаковым, и это было в самой ее стихии: легкость и бесследно.

Валя никаких загадок не загадывала, и никто никогда из-за нее не вешался, не травился и не стрелялся. Единственный случай: гимназист Бурнашов, бравший у нее Лермонтова, подчеркнул красным все любовные строчки и на полях против стиха: «в любви и злобе я неизменен, я велик» — красным написал: «кровь»; и все поверили. Но скоро обнаружилось, что на пальце размазывается розовым — ясное дело, красные чернила.

Валя была необыкновенно музыкальна — абсолютный слух: она управляла гимназическим хором, пела и училась на рояли. И смеялась она неподражаемо — она как-то «пырскала» так заразительно смешно, что невольно и сам засмеешься, хотя бы и не до смеху. А какие она рожи строила во время молитвы! Сама спиной к начальству, ее не видно, а хор весь на глазах, удержаться невозможно, и за это влетало, а ей никогда; да и не догадаешься — после всех своих рож и гримас она особенно истово крестилась.

Это ее озорство и еще чудачества — не менее увлекательнее ее смеха; вернувшись осенью после летних каникул в гимназию, она перемутила весь класс — она всем и каждой, под страшным секретом пообещала открыть после уроков какую-то важную тайну про себя, и сколько доверчивых и любопытных клялись ей, что не выдадут, все ожидали чего-то особенного, а что ж оказалось? — «привезла целый мешок орехов!» Неловкая — ну, кто это упадет в лужу, ведь о таком только так говорится в иносказательном смысле, а вот она умудрилась: она проходила мимо дома, где жил гимназист Дарьяльский, ей захотелось показать, как она грациозна, она

«вспорхнула» перед его окном, да не рассчитала и шлепнулась прямо в лужу. А ноги у нее крепкие, и уж никак не скажешь, как о Полине, «следок ноги узенький и длинный — мучительный», и руки тоже крепкие — всех поставит на колени, а ее никто, и голос крепкий — мальчишеский, без всякой вибринки.

Ей очень шло голубое; голубого платья у нее не было, она всегда в коричневом гимназическом, но платок или шарф — и она казалась еще розовее. И не было гимназиста, который бы в нее не влюбился. И кто ей только не писал стихов! И это ее голубое звучало на ней стихами.

В Валю все влюблялись и потом бесследно забывали, и даже остававшиеся стихи ничего не говорили памяти — как пролетело, или вернее, из головы вылетело. И Валя во всех влюблялась и потом тоже никого не помнила. И ничего мучительного в этой любви, как от нее, так и у ней. Такие бывают мотивы, идешь по улице, прислушаешься — музыка! — и вдруг захватит и, кажется, только этот мотив один и заполняет душу, а вернешься домой и все позабыл.

Брат Вали Петя погиб «случайно»,— вот уж судьба! Гимназисты играли с револьвером, думали, незаряженный. Петя наставил себе в рот и вдруг револьвер выстрелил. Страшно было, когда Петю привезли домой — — мать упала на него без чувств. Была осень, убрали Петю астрами и барвинком, товарищи несли гроб, а за гробом ехала мать и с ней Валя и старшая сестра Таня. Мать не могла идти, оттого и ехали. И народ шел — весь город: в маленьких городах все друг друга знают. Мать с тех пор стала седеть,— мать никогда не утешилась, сестра Таня долго помнила, а Валя скоро развеселилась — сердце у нее легкое.

В гимназии Валя получала награды, и Лермонтов с искусственной «кровью» тоже награда. На улице ее называли «хорошенькой», в гимназии «чудачкой», а сама она о себе ничего не думала: она была всегда влюблена.

Когда Валя начинала дружить с какой-нибудь гимназисткой, она, прежде всего, спрашивала: «В кого ты влюблена?». И это она говорила по себе, она не могла себе представить ни одного дня, чтобы не быть влюбленной или, как говорилось среди гимназистов и гимназисток, без «предмета». И «предметов» у нее бывало ни-

когда не один, а по нескольку, и ни одного особенного, как и сама она — для всех и ни для кого вся.

* * *

В первый раз Валя влюбилась, когда ей было четыре года. Она влюбилась в большого гимназиста Юру. «Влюбиться» — она слышала от матери и сестры Тани, и поняла, что влюбилась.

Быть влюбленной значит думать про человека, что он лучше всех — лучше всех Вале казался Юра, потому что он был веселый и шумливый и, само собой, красавец. «Предмет» всегда красивый, и никакой другой «беспредметной» красоты нет. Про свою любовь Валя всем говорила, и над нею потешались, но этого Валя не понимала. Мать Юры, заходя к Шалауровым, всякий раз приносила Вале яблоко или шоколаду и всегда, шутя, говорила: «Это тебе Юра прислал». И Валя верила, как верят дети в «таинственного зайчика», который только и занят, чтобы промышлять детям гостинцы. Юра был лучше всех еще и потому — ведь кто еще так о ней заботится: это яблоко и шоколад! Но как бы обиделся Юра, если бы узнал, что в него влюблена такая козявка: сам он был влюблен в учительницу французского языка мадам Вьейяр, старше его лет на двадцать, да он и гимназистку-восьмиклассницу Веру Сахарову считал девчонкой, а такую, как Валя — это очень обидно.

Два года длилась любовь к Юре. Самая долгая — первая, но и самая она легкая, бесследная, исключение у Тургенева в его «Первой любви». А сущность всякой любви: овладеть и... «сожрать», все равно, так или в «высоком» смысле, кому как нравится, но это так. И Валя, влюбленная в Юру, совсем не заботясь, само собой, достигла цели: Юра был ее раб — яблоко и шоколад получала от него Валя, как репарации.

Но и яблоко и шоколад приедаются, и Юра примелькался со своею веселостью и шумливостью. И в один прекрасный день лучше всех и, конечно, самым красивым стал для Вали брат Юры, Ваня. И она объявила, что она теперь поняла, что влюбилась в Ваню. Много над ней потешались, но она не понимала.

Ваня играл на рояли. И когда у Шалауровых собирались гости, Юра танцовал, а Ваня никогда: он усажи-

вался за рояль и играл до тех пор, пока Валя могла смотреть на него, т. е. до тех пор, пока ее не уводили спать.

Любовь к Ване была короче: за зиму Валя взяла от Вани всю его музыку — все мотивы и все приемы, и ей стало скучно. И в первый же свой гимназический день Валя влюбилась в учительницу географии Зинаиду Кирилловну: Валю поразил цвет глаз и светлые волосы учительницы. И она, не отрываясь, глядела на нее, по-своему какими-то своими словами вышептывала за Достоевского: «такая красота — сила, с такой красотой можно мир перевернуть!»

У Достоевского всегда все «предметы» необыкновенно «красивые», даже «демонически красивые» или, вернее, «чарующие» — да иначе и невозможно, ведь только «очарование», сделавшее по Гоголю наш мир адом, только очарование может не только перевернуть этот мир, т. е. нарушить всю математику, а и спасти от «страха и боли» и даже от неизбывной «злой памяти».

Наглядевшись на «красавицу» учительницу, Валя влюбилась в учителя словесности, все чары которого заключались в одном лишь обычае: так повелось, что все гимназистки влюблялись в Павла Николаевича Соловьева. И его «красота» или красота «традиции», т. е. сила очарования этой традиции затмила чары «красавицы» учительницы.

Учительница Зинаида Кирилловна очень любила детей и со всеми была внимательна, притом отличая каждого, а это очень важно; Павел Николаевич был со всеми вежлив и никого не отличал, а это уж плохо.

Но и нельзя было винить Соловьева. В чем мог он отличать Катю от Сони, Соню от Веры?

Катя читала «с **Мошей** тащится букашка»; Соня, не без гордости представляя самозванца из «Бориса Годунова», неисправимо заносилась: «царевич я, довольно стыдно мне пред гордою полячкой унижаться»; Вера, говоря «тиха украинская ночь», читала вместо «луна спокойно с высоты» — «луна **с покойной** высоты», Вера — дочь батюшки, этим все объясняется. «Моша», «довольно стыдно», «покойная высота» — вот и все отличие: Катя, Соня, Вера. Следует еще упомянуть Люсю: тише ее не было во всей гимназии и говорила она робко с передышкой и всегда в «зреешь ты на солнце, колос наливая», выговаривала вместо «зреешь» такое... начальница,

дама благовоспитанная, пришла в ужас и уверяла, что такое грубое слово в первый раз слышит, и не понимает, как могло оно на язык попасть примерной тихой Люсе, а сама Люся ничего не видела несообразного — мало ли чего не бывает на солнце, и что в ее хрестоматии так и напечатано. Соловьев вежливо поправлял и «мошу» и «довольно стыдно» и «покойную высоту» и Люсино «зреешь».

Павел Николаевич Соловьев был самым лучшим, самым «красивым», но ведь только глядеть на него, этого мало, надо чтобы и он посмотрел. Как же овладеть такой бесчувственной стеной?

У Соловьева родилась дочь. Мать Юры, по-прежнему баловавшая Валю яблоками и шоколадом, и всегда с неизменным «Юра-прислал», так что и прозвище ей в доме было «Юра-прислал», рассказывала за чаем, как была она у Соловьевых и какое у них семейное счастье.

— Сам целует у жены руки, мать целует дочь и тут же на подушке пищит новорожденная.

— А как назовут девочку? — спросила Валя: она вдруг вся преобразилась, точно от этого имени зависела ее судьба.

— Не знаю,— сказала «Юра-прислал».

— Анна Ивановна, попросите, пожалуйста, чтобы назвали Валентиной. Только ничего про меня, просто передайте, что одна гимназистка просит.

Но стена оказалась непрошибаема. Во всей гимназии была только одна Валентина. Соловьеву нечего было и догадываться. И он сказал «Юра-прислал»:

— Передайте Шалауровой, что имя Валентина претенциозно и нарочито.

И скоро стало известно, что у Соловьевых дочь окрестили Еленой.

Все было кончено. И что было еще делать, какие еще чары?.. Но тут произошло одно потрясающее событие, и учитель Соловьев позабыт был до «невоздержанности», т. е. до отрицания всяких достоинств вчера еще первого, лучшего и единственного: на гастроли приехал Шаляпин. И одно это имя — «Шаляпин!» — поразило Валю до сердца. Мне кажется, если бы Шаляпин перестал петь, ему достаточно было бы только выйти на публику — и эффект получился бы тот же, что и с пением: такой величайший заряд его песенных чар.

Традиционный гимназический бал и на этот раз исключительный: на бал приехал Шаляпин. Валя — первая музыкантша, «абсолютный слух» и она по праву из всех гимназисток, хотя и пятиклассница, пригласила Шаляпина на третью кадриль.

Кто из писателей — славы русской литературы — и Толстой и Писемский — не описывал этой третьей кадрили, ее фигур — «полных значенья», где весь Чайковский со всей своей томностью очарованья и щемящей болью неоправдавшейся надежды!

Валя была в восторге. С первых же слов она объявила Шаляпину, что она в восьмом классе — да она и смотрела совсем не пятиклассницей, нет, больше — она никогда так не смотрела. И что такое «претенциозный» Павел Николаевич со своей «нарочитой» Еленой; сам Шаляпин танцовал с ней и, говоря, «стрелял» ей в глаза.

«И времени больше не стало».

А между тем пробило двенадцать.

А по гимназическому правилу после двенадцати имели право оставаться только шестиклассницы, семиклассницы и восьмиклассницы. Среди фигуры подошла классная надзирательница Марья Терентьевна, никогда не расстававшаяся с часами, и объявила Вале, что двенадцать, и ей пора домой. Но главное было то, что, извиняясь перед Шаляпиным, упомянула об этом правиле, что пятиклассницы, как Валя, дольше не могут оставаться. И Валя должна была, не окончив фигуры, и не простившись, уйти.

Какое это было страшное горе — позор!

И на другой день Валя не могла успокоиться, плакала. Это были первые ее слезы и единственные. И эти слезы раскрыли ее сердце. И с тех пор ее раскрытое сердце только и дышало влюбленностью; и оттого, что было неутолимо, оно колдовало — и не было гимназиста, который бы не влюбился в Валю.

Шаляпин уехал в Москву, встретиться с ним не было никакой надежды, но у Вали была его карточка — «Мефистофель». Валя глядела на нее во время уроков и всем показывала на переменах — пока не вышло от начальницы запрещения. И это страшно возмутило Валю.

— Почему Пушкина карточку можно иметь, а Шаляпина нет?

На это ответа не последовало, но и держать на парте Мефистофеля все-таки не позволили.

А и в самом деле, почему нельзя — ведь Шаляпин был для Вали, как разве для какого-нибудь омшелого пушкиниста Пушкин или для песочного дантетиста Данте?

С Шаляпина начинается неистовство влюбления и влюбленных. И в таком головокружении проходит шестой, седьмой и восьмой класс. И только природной беспамятностью и колдующей неутоленностью сердца можно объяснить, что и через три года Вале было все то же — «все вдруг», и сама она все та же чудачка с заразительным пырскающим смехом.

В доме бывало много молодежи, теперь после смерти Пети ходили подруги Вали, но с Валей никто особенно не дружил, а всегда и совсем незаметно сближались со старшей сестрой Таней, непохожей на Валю. Даже и для никакой-нибудь особенной дружбы Валя была слишком легка, и это всеми чувствовалось с полслова. Но сама Валя не нуждалась ни в каких дружбах: она была всегда влюблена и в нее были всегда влюблены. И о ее влюбленности и влюбленных все говорили, и эти постоянные разговоры еще увеличивали и раздували пыщащий круг ее неутоленного сердца. Да, это была какая-то бесконечная живая мелодия — музыка, которую не можешь не слушать, а прослушал, повторить и не вздумается, забыл.

А влюблялась Валя всегда чем-нибудь пораженная: надо было непременно что-то такое, что бы затронуло ее. То же бывало и с разочарованием: у гимназиста Кутузова весной появились веснушки, и Валю от него, как отрезало, имени его не могла слышать, а ведь зиму как была влюблена!

Валя шла в солнечный день по набережной. Гимназисты, поснимав с себя куртки, прилаживали лодку, и один красненький гимназист, что-то делая с веслом, пел по-цыгански:

Лови, лови часы любви,
Пока огонь кипит в крови...

И это пение и слова были так неожиданны, Валя сразу влюбилась. И не могла понять, как она раньше не замечала красненького гимназиста. А красненький гим-

назист только и ждал своей очереди влюбиться в Валю и невпопад повторял: «лови, лови».

Гимназист Лелевич с лошадиным лицом — ведь карикатурно и Блок с лошадиным [illegible] танцевал с Валей. И ничего особенного, никакого впечатления. В перерыве он вел ее под руку по коридору; на ее замечание, что у них очень много уроков задают, он, нагнув к ней свое лошадиное лицо, сказал деловито:

— Какие там у вас уроки, я думаю так: первое — рукоделие, второе — рисование, третье — вдыхание чистого воздуха, четвертый — пустой, вот у нас...!

— Что же у вас? — и «что может быть больше, чем у нас?» — подумала Валя и вдруг увидала всю неожиданную лошадиность своего спутника, который с этой минуты стал для нее первым и лучшим.

Валя влюбилась в гимназиста Мстиславского исключительно и только из-за его необычного имени: Мстиславского звали Нарцис Иваныч. Нарцис — первый танцор, дирижировал на гимназических вечерах, и все понемногу были в него влюблены, но Валю танцы не занимали, она танцовала только потому, что во время танцев можно было глядеть в глаза и говорить с очередным из бесчисленных своих «предметов», и Нарцис своим искусством ее не мог тронуть. Но достаточно было Вале узнать его цветочное имя, и он стал для нее первым и лучшим.

Какую власть имеют имена! Сколько есть пустых слов, но с магической традицией: говорят же — «бессовестно», когда в сущности никакой «совести» в человеке и не найдешь; говорят и повторяют — «преступно», когда воистину, возьмите на проверку, «все позволено?». А между тем, если подсчитать действие таких слов в человеческой жизни, я не знаю, с чем еще можно сравнить?

И даже для Вали «Нарцис» оказался самым глубоким, и влюбленность ее самой длительной — а все из-за имени! А сам-то Нарцис был под стать Вале.

Валя влюбилась сразу в нескольких, то же и Нарцис: влюбившись в Валю, он в то же время влюбился в Соню и еще в Веру. И Соня и Вера скоро отшибли у него Валю: он танцовал с Соней и Верой и никогда с Валей, и не встречался с Валей в городском саду на прогулках. Но Валя не могла его разлюбить — Нарцис! И он оставался среди других первым — Нарцис! И эта беспримерная верность тронула Нарциса.

К Вале подошла сестра Нарциса Янина. С Яниной Валя не дружила: Янина была совсем еще девочка — «приготовишка».

— Мой брат просил вам сказать,— стесняясь, сказала Янина,— «скажите ей, что пламенной душой к ее душе стремлюся я».

— Передай твоему брату,— ответила Валя,— «все осмеяно, поругано, забыто, погребено и не воскреснет вновь».

На следующий день Янина опять подкараулила Валю и шепнула ей:

— Брат просит вам сказать: «да, все осмеяно, поругано, забыто, погребено, но... душе блеснул знакомый взор, и зримо ей в минуту стало незримое с давнишних пор».

— Подожди,— сказала Валя,— я тебе сыграю на рояли, ты и передай.

Янина девочка умненькая, слушала внимательно и сейчас же побежала к брату. Нарцис играл на рояли. Янина пробовала ему напеть мотив, но догадаться было очень трудно, а и легко ли передать 15-й Прелюд Шопена! Нарцис наитием сыграл все прелюды, но Янина от волнения 15-го не узнала. Повторилась история чеховского рассказа, но развязка другая: Нарцис так и не добился ответа.

А Вале было уж не до Нарциса: Валя влюбилась в иподьякона Мишу. Она не пропускала ни одной архиерейской службы, и ей приходилось вставать рано — дорога до монастыря далека. Но она не чувствовала усталости: наяву и во сне она видела золотой стихарь Миши, глядела и не могла наглядеться в его звездные глаза.

По восторженности ее взгляда Миша должен был ее заметить, да он уж заметил; но глаза их еще не встретились... Да этого и не могло случиться: как раз в то время Коля Бурлистров выпустил книгу стихов — все стихи посвящены Вале —

Так говоря и очень горько плача,
Она исчезла в треске камыша,
Меж тем вдали чернели лес и дача
И ночь была довольно хороша.

Валя в стихах не очень разбиралась, но звучность ценила. И «треск камыша» покорил ее — Коля Бурлистров стал и первый и лучший.

На золотом стихаре Миши и на трескучих стихах Коли Бурлистрова кончила Валя гимназию. И никогда она не была такой «чудачкой» и такой «хорошенькой», как в этот последний гимназический месяц. Да и было отчего: весна, Пасхальные службы, выпускные экзамены, стихи — —

Шалауровы жили на конце города. Отец Вали помер до Юрина яблока. Валя отца не помнит. Мать служила в Управе; старшая сестра Таня давала уроки. У одной из теток была усадьба, к ней-то в деревню на лето и ездили сестры — вот откуда таинственный «мешок орехов». Жизнь Шалауровых была без всякой надежды на какой-нибудь достаток. Управа и уроки — только б свести концы с концами. Разве что Валя поступит в консерваторию, сделается знаменитостью... Мать думала проще — устроиться бы Вале, всем она нравится, может, и найдется не бедный! Но старшая сестра Таня верила в Валю — в ее музыку.

У Вали три парадных платья: белое с голубыми цветочками — мягкое шерстяное, в нем она нежная, как Янина, вся светящаяся звучащей волной, и самого бесчувственного, вроде учителя Павла Николаевича Соловьева, способная захватить и заставить сочинять стихи; другое — черное газовое, в нем она и выше и строже, в нем она та, какой представляется Тане, когда Таня мечтает о ее славе; третье — коричневое, переделанное из старого платья матери, в нем она всегдашняя, «чудачка» с крепкими ногами и крепкими руками, и всегда влюбленная.

На первом вечере уж не гимназисткой Валя была в белом с голубыми цветочками. Купфер, чиновник при губернаторе — молодой человек без всякого бурлистровского «треска», но тоже писавший стихи — с первого взгляда влюбился в Валю. И на другой день после бала Валя получила аккуратно выписанные, для экономии на служебном и, как полагается, перечеркнутом бланке, поэтические строчки, от которых у Вали прошло по сердцу знакомое и приятное —

Виновна ль роза, что красива,
И взоры всех к себе влечет,
Или мимоза, что стыдлива,
И лепестки свои свернет.

Я вам обязан вдохновеньем
Примите ж мой привет,
Его приносит с восхищеньем
Плененный розою поэт.

Купфер стал бывать у Шалауровых каждый вечер. Валя его невеста. Купфер ждет только прибавки жалованья, и тогда свадьба.

Мать была очень довольна. С консерваторией еще неизвестно, а тут — «факт на лицо»: молодой человек с положением, чиновник при губернаторе! Таня негодовала: с консерваторией кончено и впереди никакой славы и никуда «абсолютный слух» и мечтать не о чем.

— Не подходят они друг к другу,— говорила Таня в настоящем горе,— Купфер карьерист, а Валя... да вы поглядите на нее, ну что общего?

А Валя ничего не рассуждала: Валя была влюблена в Купфера, и для нее Купфер был, хоть и не единственный, но первый и лучший... до рождественских каникул, когда съехались студенты. И вот на глазах у Купфера первым и лучшим как-то внезапно сделался студент Ушаков — «хорошенький».

* * *

В первый свой приезд из Петербурга курсисткой Оля встретила Валю. Валя как раз приехала с ребенком погостить к матери. Жила Валя в другом городе, где ее муж занимал большое место начальника. И жила она куда лучше, чем ее мать и сестра Таня. Бедность никак не скроешь, но и достаток из щелочек голос подаст. И как она была одета, все показывало, что живет хорошо.

Но как она изменилась! И не платье ее так изменило — все движения не ее были: она сидела по-другому, ходила по-другому, смотрела не по-своему — и ничего не осталось от чудачества, все, как — ну, как у всех, как следует. Или этот год ее так вышколил — под служебный, аккуратно перечеркнутый бланк мужа?

Валя жаловалась матери на свекровь — должно быть, эта свекровь и занималась ее воспитанием.

— Муж по-прежнему ревнует? — спросила мать.

Она вспомнила ту историю на Рождестве, когда еще женихом, ожидая прибавки жалованья, Купфер приревновал Валю к студенту и объяснялся с ней, а Валя

уверяла его тогда, что ревность вздорная, неосновательная, потому что на Фунтикова, такой был жалкий невзрачный студент, никто не обращает внимания.

— Но это был совсем не Фунтиков,— сказала Валя,— я тебе тогда соврала. Да и он мне тогда врал: говорил, что идет к губернатору, а я стала его дневники читать, и оказалось, что весь вечер провел у Сахновских, знаешь: Нюта и Лида.

Так и заговорили о старине.

Валя взглянула на Олю, лукаво подозвала ее в сторонку.

— Знаешь,— сказала она, и знакомая искорка мелькнула в ее глазах,— приехал из Москвы студент Кулаков и прислал мне стихи. Я их привезла сохранить у мамы, чтобы Александра Федоровна не докопалась. Хочешь прочитать?

И подала Оле листок:

Вот в тебе ничего нет поддельного
И порывы прекрасной души—
Простота, доброта беспредельная,
Как они у тебя хороши.
Даже слово Создателя мира
Забываешь, смотря на тебя,
И, создавши земного кумира,
Поклоняешься, тайно любя.

— А твой муж пишет теперь стихи? — спросила Оля.

— Куда там,— сказала Валя,— он слишком важный для этого.

— А ты играешь на рояли?

— Куда мне: мне некогда.

И Валя перешла к столу. Продолжался разговор о свекрови и о муже: Валя рассказывала, как однажды они возвращались домой из гостей и с ними знакомая дама, муж из вежливости предложил руку знакомой даме.

— Они идут впереди, а я сзади, как дура; скольжу по льду, ноги во все стороны, досада берет и злость.

Нет, это было совсем другое лицо, не прежняя Валя, единственная, смешливая и рассмеивающая чудачка, и слова другие — и куда все пропало? И Оля поняла, что эти стихи Кулакова — последние, и уж началось то, что говорится в естественной истории,— больше дышать нечем, конец.

НА ПАМЯТЬ

Володя — «мамин любимец». И он любит мать больше, чем Варя. Варя тоже любит, но она может целый день проводить без матери за уроками или в саду с подругами, а Володя — никогда. Володя ни на шаг не отходит от матери.

Елена Степановна сидит в кресле: принимает гостей,— а Володя возле ее кресла, прислонившись. На диване сидит какой-нибудь важный гость: или Гореславский, бывший земский начальник, большая пегая борода и на волосатом пальце черный перстень, или предводитель Витколов с женой — оба длинные и худые, как «ободранные туши». Елена Степановна, когда разговаривает с гостями, не обходится без французских слов — Володя ничего не понимает, но ему очень нравится. Потому ли, что звучат необычно, или потому, что в непонятном есть что-то завлекательное, как во всякой непостигаемой тайне.

Гостей надо непременно принимать в гостиной,— чтобы они посидели на диване, а затем можно пригласить в столовую чай пить или ужинать — такой ритуал. Как-то Анна Васильевна Непряхина, соседка Черкасовых, необыкновенно напоминающая жареную сардинку, свой человек, приехала во время чаю и ее пригласили прямо к столу, а случившаяся в этот же вечер «ободранная туша», после сказала Елене Степановне, что «сардинка» очень обиделась: «не в гостиной приняли!».

И Володя понял, что «сардинка» права, что это действительно очень обидно миновать гостиную: в гостиной постлан такой пушистый ковер и скатерть на столе бархатная с кистями — когда Володе было три года, мать возила его в лавку, и сам он выбрал эту скатерть! — и еще в гостиной зеркало от потолка до полу, и перед окнами и по углам в тяжелых кадках и лето и зиму зеленые деревья, а на Рождество и Пасху еще и цветы, и если в столовой летом пахнет сеном, а зимой поджаристым вкусным, в гостиной и лето, и зиму цветами.

Когда нет гостей, Елена Степановна «тупает» — наводит порядок: роется в шкапу, в комодах, в кладовой вместе с экономкой Нелидой Максимовной. А подали из прачечной белье, белье разбирает. Володя любит смотреть: ему нравится такое — с кружевами и прошвами, и особенно белье сестры все в кружевах и дырочки — в эти

дырочки Елена Степановна продевает разноцветные ленточки. Володя всегда жалеет, что он не девочка — были бы у него такие красивые панталоны с дырочками.

Володя всегда с матерью. И на ночь его кроватку Елена Степановна придвигает к своей: а то Володе страшно. И все в доме, начиная с экономки Нелиды Максимовны и дядюшки Федора Фалалеича до сестры Вари и ее подруг, называют Володю «прилипа» — от матери не отстает, как прилип. Володя на «прилипу» обижался, но, что было обидного в прозвище, он не мог сказать, как не мог объяснить своего ночного страха. Или тут не в названии было, все равно, как «туша» и «сардинка», а в насмешке — как произносилось это безобидное слово, как и страх ночи, всегда теплой, тихой, убаюкивающей бесчисленными котами, но и всегда разлучной.

Только деревья в гостиной никогда не изменяются, всегда зеленые — или не замечает Володя, что и деревья растут, а садовник Григорий подрезает у корней треснувшие посмурелые листья и выбрасывает? — не замечает Володя, что он вырос и ему пора учиться. И это как-то само собой к Володе ходит учитель — «Тихий океан». И Володя не так часто с матерью.

Володя не любит учиться — Володя мечтает. Но о чем он мечтает, никак не скажешь, а скорее всего ни о чем, так — и разве нельзя так сидеть без всякой развивающейся и уводящей мысли, которую можно повторить, записать или вспомнить? Или, может быть, привязавшись к какому-нибудь слову, хотя бы к своему имени, и, в тысячный раз повторив это слово, он следит за звуками, как чередуются они в разлагающемся и слагающемся слове? Да так оно и бывало. Когда «Тихий океан» объяснял какую-нибудь задачу или рассказывал о городах Западной Европы, Володя вдруг принимался стучать ногами об пол, припевая свое имя, отчество и фамилию — «Владимир-Михайлович-Черкасов».

— Владимир Михайлович Черкасов! — раздается по всему дому, пугая и ко всему привыкшую белоснежную Кушку: «и поспать не дадут!» — жалуется старая дворняжка, между собачьих слов ловя зубами шалую муху,— Владимир Михайлович Черкасов!

Единственный товарищ Володи — соседний мальчик Макаша. С Артюшками, Куземками, Евгеньками и Васютками Володе не позволяют водиться. Володя с каждой весной вытягивается — «подсолнух», а Макаша с

каждой весной раздается — «лопух». Володя быстрый, легкий и шумливый; Макаша коротенький, сидень и все тишком. Володя коноводит, но без Макаши ему никак не обойтись: Макаша добросовестно и терпеливо исполняет все его затеи. О Макаше говорят, что из него выйдет хозяин, про Володю — сорвиголова.

Когда Володя рассказал Макаше, какие красивые панталоны у Вари, Макаша заплакал — у Макаши никаких сестер, только маленький брат — Макаша тихо плакал и безутешно и долго не мог успокоиться: и не потому, чтобы хотелось ему быть девочкой и носить с дырочками кружевное белье в разноцветных ленточках, нет, он плакал от обиды, его глубоко оскорбило нарушение какого-то его мужского права — ведь, оказалось, что и девочки тоже носят штаны! «Штаной» окрестил Володя своего товарища, поддаваясь домашнему обычаю давать всем прозвища, и с этих пор Макаша на «Штану» откликался.

День — учитель «Тихий океан» и Макаша «в штанах», уроки и игры. Но спит Володя по-прежнему с матерью: на ночь его кровать придвигается, иначе он не заснет. И не от того, что он боится — Володя ничего не боится — а по привычке.

Ночью Володя вдруг проснулся: мать стоит на коленях перед образом, шепчет, крестится и кланяется в землю; лампадка освещает ее — на ней красная, от огонька лампадки густая, цвета раздавленной вишни, фланелевая широкая юбка. Володя никогда не видал мать такой среди ночи. И долго он следил за ней, и ему показалось: в глазах ее было знакомое — запомнившийся взгляд Макаши, с каким слушал Макаша его рассказ о красивых с дырочками панталонах сестры, и Володя понял, что матери очень тяжело, только она не плачет безутешно, как плакал Макаша, а шепчет и крестится и кланяется глубоко в землю. Но отчего тяжело ей?..

Володя непоседливый. Засядет за уроки и, кажется, сидит прилежно, а хватятся: книга на полу, а где сам бегает или на какой дороге искать, не придумают. Пахомыч и Терентий, старые седые слуги, с ног собьются — нету. Или видели, как в доме скользнул через кухню — а нигде нету! «Сущий вьюн»,— говорит повар Лаврентий Мокеич и поддакивает ему полповар Кондратий, сказал бы и поваренок Асташка, да боится. И кличут, не отзывается. Страсть как боялась Елена Степанов-

на, пошлет искать к пруду, всех на ноги подымет, сам Федор Фалалеич ищет — не дай Бог! — а он сидит себе в гостиной за цветами — мечтает. От этой глупой повадки прятаться много было горя Елене Степановне.

Однажды вечером, после основательной прятки за цветами, изведшей весь дом, Володя вьюном скользнул в соседнюю комнату и от неожиданности — он был уверен, что никого — остановился, став вдруг прозрачным — лунный луч через ставню: в комнате была мать и учитель; учитель держал в руках две книжки — обыкновенную в синем переплете и желтую маленькую из папиросной бумаги «очень красивую» и, передавая книги матери, сказал: «на память».

— «На память!» — как когда-то свое имя, отчество и фамилию во время объяснения учителя, в тысячный раз выпевая «на память», Володя бегал по зеленому лунному двору от крыльца до широко распахнутых ворот, не Володя — дикая лошадь.

Игра в лошадей — представлять дикую лошадь — любимая одиночная игра Володи, а с Макашей — в палочку-застукалочку.

Хоронясь от Макаши, не дыша, Володя пробирался в саду между кустами и вдруг увидел: в окне стоит мать, а из сада отец протягивает ей руки — «Елена, не покидай!»

И почему-то слова отца вскипели в его ушах, так что он вздрогнул — но тотчас, изогнувшись в ветку, юркнул в кусты — ему почудились настигавшие сопящие шаги Макаши! — и вьюном заскользил в траве, чтобы первому поспеть — найти «палочку».

А на другой день к великому удовольствию Володи «Тихий океан» не пришел. И больше никогда не появлялся в их доме. Володе сказали, что учитель уехал в Москву. А скоро появился новый «Гвадалквивир» — впрочем, все учителя одинаковые.

И не заметил Володя, как из «вьюна» и «дикой лошади» превратился он в «черненького» гимназиста. И живет он в городе, а домой в Бобровку приезжает только на праздники и летом. У него своя комната — та самая рядом с гостиной комната, где он застал мать и учителя, но это так давно было, а главное, столько есть интересного в его новом гимназическом мире, что ни разу он и не вспомнил. Сперва умер отец Макаши — Виктор Макарьич, а за ним отец Володи — Михаил Дмит-

риевич. Старики всегда помирают. И это случилось зимой. А летом все было, как было, и в доме и на воле — благословенная черная земля, голубые лунные ночи и серебряная гоголевская песня.

Домашние, вспоминая, как Володя был маленький, смеялись над «прилипой» и сам Володя смеялся — ему трудно было себе представить, как это он был маленький. А мать смотрела на него неизменно, как будто для нее никаких лет не вырастало и годов не проходило и Володина кроватка все еще придвигается на ночь к ее кровати. Володе по ночам страшно — Елена Степановна боялась за каждый его шаг и все остерегала, и теперь не Володя ходил за матерью, а мать за Володей.

В доме не было уголка, который бы не знал Володя. Это началось, когда еще он прятался от Макаши, играя в палочку-застукалочку, или когда пропадал «мечтать». У Елены Степановны в спальне около ее кровати, стояла заветная шкатулка, с нею Елена Степановна никогда не расставалась. И эта шкатулка — единственное, чего еще Володя не трогал.

И вот, однажды, когда Елена Степановна вышла к соседям, Володя занялся ее шкатулкой.

Среди писем он нашел две книги — и по цвету узнал: это те самые — он очень хорошо помнит — учитель — «Тихий океан» — дал матери, одна обыкновенная, в синем переплете, которая оказалась редкое издание Шевченко, Кожанчикова, а маленькая на желтой папиросной бумаге — «красивая» — запрещенные стихи Шевченко. И по этим книгам вспомнив вечер, окно с закрытыми ставнями, учителя и мать в комнате и ясно прозвучавшее «на память», он вспомнил ночь, когда мать молилась, вспомнил с той же отчетливостью до ее красной, от огонька лампадки густой, цвета раздавленной вишни, фланелевой широкой юбки, и ее взгляд, просящий пощады, и отца в саду у окна перед матерью, его слова, вскипевшие в ушах до дрожи — «Елена, не покидай!»... И Володе стало все ясно — вся тяжесть жертвы: он понял, что значило, что учитель «уехал в Москву». Бережно уложил он письма и эти заветные книги. И поставил шкатулку, как она стояла. И тайна, которая не была тайной для Володи, осталась для всех по-прежнему тайной неприкосновенной шкатулки.

Еще маленьким гимназистом Володя видел Олю в

гимназической церкви и влюбился. И с каждой весной любовь его разгоралась. А когда студентом он познакомился с Олей, Оля стала для него единственной и ближе ничего в мире для него не существовало. Как когда-то к матери, он «прилип» к Оле.

И этим решилась его судьба: уж на его дорогу вышли три страшные встречи — безумие, отчаяние и смерть. Ведь его мать пожертвовала для него своей любовью, а Оля готова все отдать, но не человеку, а ради той «правды», без которой, посмотрите, как пуст и ужасен мир человека! Если бы он чувствовал эту «правду»... а все, что он ни делал, делал только потому, что это нравилось Оле: Оля для него была этой «правдой».

Ему захотелось подарить Оле самое дорогое — чего достать невозможно. И, вспомнив редкое издание Шевченки и «красивую» маленькую книгу из желтой папиросной бумаги — запрещенные стихи,— книги по-прежнему лежали у матери в ее неприкосновенной шкатулке около кровати,— он украл у матери эти заветные единственные книги и отдал Оле:

— «На память».

Только потом Оля узнала от сестры Черкасова Вари, что эти редчайшие книги, которых «достать невозможно»,— «мать не дарила сыну»: Елена Степановна догадалась, кто мог взять и для кого эту ее единственную память, и вот она попросила Варю. И Оля через Варю вернула Елене Степановне ее заветные книги.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ

Читая роман Писемского «Люди сороковых годов», Оля почувствовала, как близки ей и слова и чувства Вихрова-Писемского, мечтавшего в гимназии о Московском университете, и перед которым путь в Москву оказался заказанным, как у Оли по окончании гимназии путь в Петербург.

«Да, не легко выцарапаться из тины, посреди которой я рождена!» — повторяла Оля, ходя по зеленому двору и глядя на поля и луга, по которым она когда-то так весело бегала и которые теперь ей были враждебны.

Оля поехала в Петербург не из Ватагина — из Ватагина нечего было и думать! — и не из города, а со станции за двадцать верст от города. А выбран был такой окольный путь из предосторожности, чтобы пронырливая тетка Марья Петровна, дознавшись, как-нибудь не остановила на вокзале: с Марьей Петровной все могло статься, да ведь и Оле-то было всего шестнадцать лет и, кроме аттестата об окончании гимназии, никаких разрешений.

Первые дни Олю водил по Петербургу студент Черкасов. Оле все было странно: стоя, есть пирожки у Филиппова, и обед в столовой на Васильевском острове — Оля любила крем, но там его дали так мало.

По совету Черкасова Оля поселилась в одной комнате с Верой Горлиной. Горлина старше годом Оли, тоже кончила гимназию и собиралась поступить на медицинские курсы, а пока что ходила «пробовать голос» — и пела в украинском хоре.

Поселились они на Знаменской у хозяйки Варвары Ивановны Дешевой. И у Варвары Ивановны все казалось странным: Оля очень удивилась, когда узнала, что у хозяйки суп варится на два дня; и в первый раз от прислуги Оля услышала слово «жилица» — это сказано было про какую-то женщину, которая жила тоже у Варвары Ивановны в отдаленной от них комнате. Варвара Ивановна их не стесняла, позволяла играть на рояли в своей комнате — Вера Горлина пела и утром и днем и вечером, а Оля ей аккомпанировала. А так Оля совсем забросила рояль: — «надо развивать ум, а не пальцы!»

Оля и Вера пили чай дома, а обедали в Нормальной столовой — там на столиках была надпись: «Хлеба и квасу можно употреблять сколько угодно». И Олю очень удивило, когда студент Курилов сказал студенту Финтикову: «Что ж! пообедаю в Нормальной столовой, а вернусь домой, и опять есть хочется!» А бывали дни, что и совсем не обедали, а покупали они селедку и потом пили чай.

У Оли и Веры бывало много народу. Однажды собралось очень много. Все студенты и курсистки, и начали говорить про других студентов и курсисток: смеялись и осуждали. Оле делалось не по себе: все ей напомнило тетку Марью Петровну,— ведь Оля думала, что в Петербурге так не говорят.

Кто-то предложил пойти на набережную послушать часы на Петропавловской крепости. И все вышли.

Дорогой студент Финтиков спросил Олю: почему она такая печальная? И Оля сказала, что ее расстроил разговор:

— Будто где-то в гостиной у тетки.

— Да, я вас понимаю,— ответил Финтиков,— чаще надо вспоминать, что есть Данте, Гете и Шекспир, тогда не захочется болтать.

Это было как раз накануне — наутро Олю ждал сюрприз.

* * *

В последний гимназический год на одной вечеринке, устроенной гимназистками и съехавшимися на каникулы студентами — такие вечеринки устраивались вскладчину и особенно возмущали тетку Марью Петровну: «вечер без старших»! — с Олей познакомился студент-медик Аксенов. Узнав, что Оля хочет ехать на курсы, он обещал прислать ей проспекты разных курсов, и чтобы она переслала его двоюродной сестре, которая окончила гимназию и тоже собирается. И действительно прислал, и Оля сделала, как он просил: переписав, послала проспекты его двоюродной сестре. В ответе Аксеновой был какой-то вопрос, Оля ей сейчас же ответила. Так началась переписка. В письмах перешли на имена: Оля писала «Паша», Паша называла ее Олей. И подружились. Письма оканчивались: «крепко целую». А сколько было мечты в этих письмах: обе стремились поступить на медицинские курсы, только для Оли это никак по летам не выходило — на медицинские курсы принимали не моложе двадцати лет, Паше как раз исполнилось двадцать, но Оле-то было всего шестнадцать. Оля читала, что из знакомства, начавшегося с переписки, выходили необыкновенные встречи и дружба на всю жизнь, и решила, что в Петербурге они будут жить вместе, и написала Паше — Паша «с радостью» согласилась.

В Петербурге Оля не забыла о Паше — не забыла о своем решении, но за этот месяц что-то ее стало смущать и, иногда думалось, что, пожалуй, было бы лучше, если бы Паша совсем не появлялась. И вдруг поутру звонок: студент Аксенов прямо с вокзала:

— Приехала Паша.

Дворник внес вещи, а за ним — Паша.

Оля и Паша поцеловались.

Так, должно быть, по объявлению встречаются. И Оля вспомнила свою гимназическую подругу Зину Разумовскую, как когда-то неизвестно почему без слов они потянулись друг к другу — —

Паша стала раздеваться.

И вдруг Оля увидела в ее высокой прическе искусно приколотый серебряный полумесяц. И сразу как отшатнуло — так это ей не понравилось!

И сама Паша Оле совсем-совсем не понравилась: Паша оказалась то, что называлось среди курсисток «барышня», и эта ее фокстротирующая жеманная походка, точно только что отлипла от кавалера и вот-вот опять завьется; что-то в ней, во всем ее складе, и в голосе, и в приемах, напомнило Оле оттуда — подруг сестры Ирины институток, в ней все было, как следует,— сама Марья Петровна не осудила бы.

Оля не знала, куда деваться. Ей как-то невозможно было смотреть на Пашу — всегда встречала она ее серебряный полумесяц. И ничего не оставалось, как самой уехать.

Так Оля и сделала.

«Почему, что?» — Паша искренно недоумевала.

А ведь тоже и сказать человеку никак не скажешь: убери с «гнезда» полумесяц или, что все равно — переродись! А переродиться не всякий может, даже если и захотел бы — ну какая гимнастика исправит эту фокстротирующую повадку? или что надо, чтобы встряхнуло человека, и он хотя бы раз — возмутился?

Оля наняла себе комнату на 2-й Рождественской. И одна жила без Веры — без любимых песен утренних, дневных и вечерних, и без тех расстраивающих разговоров, когда не вспоминают ни Шекспира, ни Гете, ни Данте.

А с Пашей только в первый год еще встречалась и то очень редко — нет, должно быть, одной переписки мало, чтобы полюбить человека — принять его и прямо смотреть ему в глаза. И, что стало с Пашей, Оля не спрашивала. Но серебряный полумесяц остался в памяти — это был знак той враждебной призрачной жизни, из которой с таким трудом вырвалась Оля.

БЕЗ УКАЗКИ

Второй приезд Оли из Петербурга на каникулы, когда Оля перешла на третий курс, остался навсегда памятен: так много мыслей прошло за это лето, точно в первый раз Оля взглянула на свет — и вот мир стал другим через эти мысли.

За это лето Оля много думала и не так, как привыкла в Петербурге — над книгами и программами, над всем тем, что составляло жизнь Оли на Курсах в революционных кружках.

Там была теория — там жизнь рассматривалась книжным глазом; при каких-то предполагаемых «равных условиях», делались выводы со всеобщим значением о каждом, как о всех; а тут были отдельные случаи, под которые нельзя было подводить всех и заключать о всех — тут была та самая «живая жизнь», любимое выражение Достоевского, который этим словом обозначал своеобразное и всегда наперекорное всеобщему отдельное человеческое действие, или, по Лескову, тут выступала «бьющаяся живая жила», заявляющая о себе, вопреки всяким рассуждениям, и как часто ни с чем несообразным, неожиданным действием, тут выходило на свет основное гоголевское: «поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!», или знаменитое, легко принимаемое, глубочайшее хлестаковское: «у меня все вдруг».

Ни что такое человек, а чем бывает человек? И ни что есть человек человеку, а что такое бывает человек человеку? Так и только так можно говорить о «живой жизни» и об ее «бьющейся живой жиле», заявляющей во весь голос:

«Я хочу и буду поступать так, как поступаю; я хочу и буду жить без указки всегда и во всем!».

В гимназии среди гимназисток был кружок «Союз дружбы». Всех участвовавших соединяла настоящая дружба: Нина и Катя Муравицкие, «чудесная» Люда Резилова и ее сестра Надя, Вера Горлина и Нина Мавлютина.

Теперь Нина Муравицкая и Вера Горлина на Медицинских курсах. В гимназии одноклассницы, и дружба их считалась примерной: на уроке рукоделия, если Нина забудет наперсток, Вера ставит свой на стол, и обе шьют без наперстка, а учительница рукоделия злится на обеих.

А вот как будто ничего между ними и не было, никакого наперстка: Вера Горлина — с.-д., а Нина Муравицкая только учится, не принимает никакого участия в кружках. А «чудесная» Люда тоже на Медицинских, в кружках не участвует, как и Нина, но и с Ниной не дружит. А Надя, сестра Люды, где-то в Курове учительницей, и про нее никто ничего не знает и не интересуется, да и сама она не подает голоса.

«Как-то странно все на свете,— думает Оля,— был этот «союз дружбы», а прошло два года, и каждая из этого «союза» ближе со мной, чем друг с другом»!

В это лето умерла Катя Муравицкая, одна из участниц «Союза».

Кате девятнадцать лет, умерла она от чахотки. Катя хорошо играла на рояли и, больная, все говорила: «кому я передам свои руки для игры?» И все смотрели на ее руки — на ее тонкие, бледные с синими ногтями пальцы, бессильные — Катя больше не играла, и передавать-то ей уж нечего было, ее искусство давно пропало; и если она так говорила, в ней говорила еще не угасшая память, и от этих слов ее было особенно жалко. Ее повезли в Крым: с ней ездила ее сестра Нина и Павловский — Павловский жених Кати. И вдруг — назад привезли: в Крыму ей стало совсем плохо. А вскоре она и померла. Ни мать, ни сестра так не горевали, как Павловский: он переехал к Муравицким, чтобы быть всегда в той обстановке, где все было близко Кате, купил ее рояль, хотя ни сам и никто в их семье не играл на рояли, и шесть месяцев не произнес ни одного слова,— он только кивал головою, отвечая на вопросы. Жалко было смотреть на него. Вот как долго живет память!

Оля познакомится с Павловским потом в Петербурге и узнает на его руке Катино кольцо. А потом уж узнает, что он женился на Логоватой, тоже бывшей гимназистке, которую не любила Катя,— оборот поизвилистей описанного Гоголем в «Старосветских помещиках» в судьбе «страстно влюбленного», предмет страсти которого тоже «поражен был ненасытною смертью». Но сейчас перед Олей был только пример знойной памяти и «палящей тоски», которую не может погасить время.

«Вот как может любить человек!» — думает Оля.

В это лето Нина Мавлютина, тоже из «Союза дружбы», выходила замуж. Нина собиралась на Курсы, но не

поехала, отложила, и вот свадьба. Оле было жалко Нину: Нина добрая и умная — Оля ее любила, а жених Нины Оле не понравился,— «либерал», т. е. болтающий. Молодость с ее крепкой силой и уверенностью хочет решительного крутого дела и неотложного, и всякая оглядка — расчет и соображения принимаются за слабость, а когда еще словесно совпадают цели, вызывается раздражение. Так и для Оли «либерал» был синонимом «болтовни» и притом вредной, потому что эта «болтовня» усыпляла и «дела» не делалось. Оле было жалко Нину: ведь любовь Оли представляла Нину способной что-то «делать», а не только говорить — «болтать», как ее жених.

«И как могла Нина полюбить этого Жовницова, неужто прекрасным словам его могла верить?»

В это лето сошел с ума студент Черкасов. Сумасшествие Черкасова — редкий случай, известный, как «сумасшествие от любви», в русской литературе встречается однажды: у Писемского в «Водовороте» — судьба Григорова. Черкасов не принадлежал ни к каким революционным кружкам, он был только сочувствующим во всем Оле, перед ней не скрывал этого, но в своем безумии выкрикивал слова Оли, спорил и нападал на воображаемых противников, как будто сам был самым ожесточенным с.-р.-ом или уверенным и несомненным с.-д.-ком. Главный его «пункт» заключался в том, что Оля окружена врагами и ее жизни грозит опасность, и он не расставался с револьвером, которым впоследствии и убьет себя,— «он лежал распростертым на канапе, кровь била у него фонтаном изо рта, в правой и как-то судорожно согнутой руке он держал револьвер», это из Писемского, но так будет и с Черкасовым: ведь это его страсть окружала Олю, его страсть была тем самым врагом Оли, которого он так ненавидел и подстерегал с револьвером. Оля чувствовала глубокую жалость к Черкасову, а за этой жалостью скрывалась какая-то вина: Оля чувствовала, что она чем-то виновата, и не могла найти, в чем именно ее вина. Оля ничего не делала, чтобы привлечь к себе Черкасова, в ней не было никакого «кокетства» — в Оле не было и никаких «инфернальных изгибов», по терминологии Достоевского, тянущих человека в пропасть. Русский народ, и это заметил Лесков, различает: есть «любовь», а есть «любва», глагол «любить» и глагол «любиться»: Грушенька — это «любва», Оля — это «лю-

бовь». Олю можно было полюбить, и только полюбить. И вот оказывается, что и там, где «любва», и там, где «любовь», вешаются, стреляются, режутся и травятся, а также... и режут, и что самые знойные песни сложены не только про «любву», а и про «любовь».

Варя, сестра Черкасова, сказала Оле:

«Ни я, ни мои братья вас ни в чем не обвиняем, только мама и тетка. Я непременно хотела вам это сказать. И еще хочу вам сказать: не дружите с мужчинами, у них как-то по-другому, вот и несчастье случилось».

Варя сказала за всех. И Оля должна была принять этот приговор: да, она невиновна. Но Оля знала, что причина такой муки и горя — в ней, и это ее мучило: как бы хотела она что-нибудь сделать, чтобы облегчить.

Никогда не забыть Оле своей встречи с матерью Черкасова у калитки в больницу, куда перевезли его из Бобровки. На вопрос матери, что передать от нее сыну, Оля вдруг сказала: «скажите, что я за него выйду замуж»— и заплакала. И мать поняла эти слезы: «я ничего не передам,— сказала она,— если любишь и выйдешь замуж и то трудно бывает, а без любви...»

Оля шла домой. Эта встреча бурей наполняла ее душу. Тут было все — и судьба матери, о которой она слышала от самого Черкасова — «если любишь и выйдешь замуж и то трудно бывает...», и предостережение Вари — «у них как-то по-другому», и вырвавшиеся слова — голос желания поправить что-то, а как это она неосторожно сказала: «выйду замуж!»,— и ответ матери.

Олю окликнул Оводов. И пошел с ней проводить ее: Оля жила в пустом доме у тетки — Марья Петровна на лето переехала на дачу.

Два года, как Оводов кончил университет и служил в управе. С Олей он познакомился, когда Оля кончала гимназию. От первой встречи с Оводовым у Оли осталось смешное воспоминание, совсем невяжущееся с тем, что Оля думала о нем: Оводов, как и муж Зины, Алпатов — «деятели», т. е. занимаются революцией. Оля пришла с Ниной Мавлютиной приглашать Оводова на вечер к Мавлютиным. Жил он в пустом доме, и много у него было яблок,— присылали ему из деревни, целая комната завалена. Сидели в яблочной комнате, на воле смеркалось. «Какие вы любите, сладкие или кислые?»,— спросил Оводов. «Кислые»,— ответила Оля. «Я так и ду-

мал»,— сказал Оводов и, выбрав кислое, подал Оле. Оля откусила, а яблоко оказалось червивое: ничего не остается, как выбросить в окно. Оля и бросила,— да попала Оводову прямо в очки, и разбила. В первый год курсисткой Оля, приезжая в город, не встречалась с Оводовым, а в этот приезд уж несколько раз: всякий раз, как устраивались катанья на лодке, в которых принимала участие Оля и другие курсистки, непременно бывал и Оводов. Из всех он казался Оле самым настроенным революционером, и, хотя Нина Мавлютина как-то сказала Оле, что Оводов «революционер» только при Оле, Оля ей не поверила. Да, Оля не поверила бы, если бы ей сказать, что вот и сейчас Оводов встретился с ней совсем не случайно.

— Как страшно жить на свете! — сказала Оля, так в ней сказалась, наконец, ее душевная буря, но о встрече с матерью Черкасова и о самом Черкасове она промолчала,— умерла Катя,— помолчав, сказала Оля,— а вот Нина выходит замуж, весь этот «Союз дружбы» вразброд, а ведь прошло всего два года.

И как бы в ответ на это «страшно на свете», Оводов всю дорогу рассказывал о своей сестре.

У Оводова была еще сестра Надя, померла после родов, а вскоре помер и ее муж, осталась дочь — племянница Саня, и эта Саня жила у Оводовых. Воспитывали ее дома. Сестра Маня влюбилась в учителя, и между ними было согласие: Маня выйдет за него замуж. Она сказала отцу, но отец против и учителю отказал. Учитель — Костобобров. Перед отъездом Костобобров виделся с Маней: Оводов устроил это последнее свидание, он и письмо передал сестре от Костобоброва, и сторожил их, чтобы отец не узнал. И на этом прощальном свидании они решили обоим застрелиться через три дня одновременно в пять часов дня — Костобобров уезжал далеко, а, чтобы ровно в один час, сверили часы. Костобобров уехал. Прошло три дня, и Маня, как было условлено, ровно в пять часов выстрелила себе в голову, но осталась жива: пуля застряла в ухе. Маня навсегда оглохла: вынуть пулю опасались. Первое, что она спросила — о женихе: она была в отчаянии, она была уверена, что его уж не было в живых. Оводов поехал в город к Костобоброву и там узнал, что с Костобобровым ничего не произошло: не застрелился и не думал стреляться. Если бы он застрелился, для Мани было бы ужасно, но то, что он

и не подумал стреляться, и роковой день провел, как все дни, было еще ужасней: она не хотела верить, а когда поверила, человеческий мир для нее пропал.

— С тех пор Маня сделалась очень странной,— рассказывал Оводов,— никуда не выходит, ни с кем не разговаривает, ничем не интересуется, целый день она возится с курами и утками.

Подошли к дому.

— Можно вас о чем-то спросить?

— Пожалуйста.

— Правда, что вы невеста Черкасова?

— Никогда не была и не буду. А можно вам что-то сказать?

— Пожалуйста.

— Зачем вы возитесь с либералами: как вам не надоедят слова?

— Вы правы: я перееду в Петербург.

Оля до конца не могла представить и не почувствовала, что это значит «перееду в Петербург», и что с переездом Оводова в Петербург его заботливость о ней обернется в мучительную опеку, на которую без всякого спроса имеет права только любовь.

Оля думала о сестре Оводова Мане, для которой человеческий мир пропал, и остались куры и утки:

«Несчастная! — Оле было жалко Маню, обманутую и так жестоко обманувшуюся,— и как могла она не почувствовать, что за человек возле нее..?»

Оля была уверена в себе: она не могла представить, чтобы с ней могло что-нибудь такое произойти. Ведь так отвести глаза человеку и чтобы он крепко поверил, надо или быть очень ловким, или имеь дело с очень простым. А никакая человеческая ловкость не обманет ее чутья — в этом Оля была уверена.

В это лето умер отец Оводова. А был он странный человек, не как все. И вовсе не самодурство руководило им — ни это «здорово живешь» — самое страшное, как и все, где не можешь ответить «почему». Александр Петрович задумался, как надо людям жить,— и по-своему понял Толстого. Сосед Оводовых Корецкий, у которого старшие сыновья кончали университет, тоже начитавшись Толстого, свою младшую дочь не отдал в гимназию и вообще решил не учить, убедившись, что «просвещение» принесет только вред — Толстой прав, Оводов же не видел ничего вредного в ученье, но считал для каждо-

го обязательным уметь все делать своими руками. Сам, не молодым уж, изучил все ремесла и заставил сына и дочерей выучиться, и дети наловчились по всякому, например, Сергей Оводов мог сделать фаэтон. Кроме этого практического убеждения, у Александра Петровича была страсть: лошади. И лошадей он жалел больше, чем домашних: лошадь пальцем не тронет, а детей бил. Дети его боялись: если надо было ехать в город, кто-нибудь отваживался и спрашивал, можно ли взять лошадей, а другие с трепетом ожидали ответа, стоя около двери. Мать тихая и добрая всегда за детей заступалась, и дети не раз слышали, как отец стучал кулаком по столу: «молчать!» Дочери не позволил выйти замуж не потому, чтобы почувствовал, какой это подлец Костобобров, а просто потому, что Костобобров бедный, а значит, дрянь.

Смерть отца нисколько не тронула Оводова: когда он был маленький, отец однажды жестоко избил его.

«Я бы тоже никогда не забыла,— думает Оля, — и не могла бы любить».

В это лето умер дальний родственник Ильменевых Сташкевич. Оля помнит из раннего детства, как приезжал к отцу бритый и грузный — это был предводитель Дорохов. Оля думала, что Дорохов «вроде женщины». А между тем у него было много дочерей, и одна из них была замужем за братом Натальи Ивановны, за доктором Алексеем Ивановичем — тетка, а старшая ее сестра от другой матери за Сташкевичем. Вот какая это родня — Сташкевичи, хотя Лена, подруга Ирины по институту, и Соня считались двоюродными сестрами и часто бывали у Ильменевых, а Ильменевы у Сташкевичей.

Сташкевич поляк, и его родные были против его женитьбы на русской. На свадьбе никто из них не был и никто никогда не приезжал к Сташкевичам. Сташкевич говорил всегда по-русски, но оставался католиком и перед смертью попросил свою старшую дочь Лену читать отходную по-латыни. И когда он умер, послали телеграмму в Варшаву. На похороны приехал брат. Хоронили по католическому обряду в имении за пятнадцать верст от города. За гробом ехали на лошадях, брат ехал в экипаже со вдовой, и все пятнадцать верст упрекал ее, что она вышла замуж за его брата, а дети их — русские.

Оле это очень понравилось.

«Значит,— думала она,— не легкий человек: не забыть столько лет!»

И, вспоминая Сташкевича — красивый старик, любил хорошо поесть, и верный: ради любви пожертвовал своей родиной, но есть выше родины — вера, и своей вере он никогда не изменил! — Оля вспоминала жену его, молчаливую и сурьезную, не суровую, и не болтливую — противоположность тетке Марье Петровне, и какой у них был мир в доме и еще, что так редко бывает, все вовремя.

«Между ними была настоящая крепкая любовь!»,— думала Оля.

И когда она думала о Сташкевичах, об их крепкой любви, ей вспоминался Голенковский. Голенковского Оля не видала, но слышала, как рассказывали: никогда он не был женат, а каждый день ездил к соседке Уласовой — всю жизнь. И почему не поженились, а жили врозь? — все недоумевали. Но это-то непохожее, по-своему, это и нравилось Оле.

Оле не нравилось в Голенковском «ничегонеделание». Голенковский был известный «либерал», как и брат его Илья Илларионович, дядя Черкасова. Этого Голенковского Оля видела в Бобровке у Черкасовых. Потом уж, когда Олю арестовали, с ним встретилась Наталья Ивановна: узнав у нее о судьбе Оли, он крепко пожал ей руку. И этот жест и «прекрасные слова» для «революционерки» Оли были синонимом «ничегонеделания». Оле ближе были «черносотенцы», как старик Оводов или Сташкевич: они ничего такого не говорили, они говорили ясно и определенно и открыто действовали, как враги, но эти «только говорящие либералы», соблазняющие словами без дела, давали постоянный повод к возмущению. Узнав, что Сергей Оводов выступал на собрании в городской библиотеке, как «крайний левый», Оля негодовала: «перед кем и с кем — с либералами?»

У Ильи Голенковского было две дочери: Катя и Саша — двоюродные сестры Черкасова. Судьба Кати была самая обыкновенная, и о ней ничего не говорили, а о Саше много говорили, больше осуждая ее, чем сочувствуя. С памятью о Голенковских вспомнилась Оле и эта Саша.

Саша вышла замуж и у нее родилась дочь; повезла она ее гостить к дедушке, думала на лето, а вышло —

навсегда. Чтобы не огорчать старика, который привязался к внучке, а еще больше привязалась старшая сестра Катя, никак нельзя было ее взять домой: тысяча предлогов. И кончилось тем, что дочь Саши сделалась дочерью ее незамужней сестры Кати. А чего только не говорили про Сашу: будто подкинула она своего ребенка, чтобы самой было свободнее жить, и что не мать она, а какой-то выродок — «нешто мать так поступит? да я бы на ее месте...» — любимое заключение осуждающих.

Оле все это было очень далеко, но, судя по тому, как их всех детей любила мать, и с какой легкостью всегда судят о человеке, и как легко осудить человека и особенно это безответственное «я бы на ее месте», судьба Саши вызывала самое горячее сочувствие у Оли, и только одного Оля не понимала, зачем Саше надо было иметь ребенка, зачем вообще дети?

В это лето Анюта Воронцова, подруга Ирины, вышла замуж за офицера. А вышла она замуж не потому, что влюбилась, а потому, что ей исполнилось двадцать четыре года, а сестра ее, моложе ее, кончила институт и стала навиду — невестой.

— Это еще что,— смеялся Миша, брат Оли,— один мой товарищ женился, потому что в его комнате не было центрального отопления, а другой,— чтобы самому не считать для стирки грязное белье.

«А вот Лена Сташкевич так и не вышла,— думала Оля,— ее жениху не позволили на ней жениться, и все-таки Лена его любит, но, по-моему, такого послушного можно только презирать».

Когда Оля была совсем маленькая, однажды взяла ее Наталья Ивановна с собой в город за покупками. Оле наскучило в лавке, она и выбежала. И видит, у соседней лавки сидит старик и смотрит в бинокль. «Куда вы смотрите?» — спросила Оля. «Я смотрю на мир и на людей»,— сказал старик. Оле показался он очень добрым. «А как вас зовут?» — спросила она. «Я апостол Павел»,— сказал старик, не отрываясь от бинокля. Оля побежала к матери, очень ее удивило: апостол Павел жив! А Наталья Ивановна только улыбнулась. Потом об этом забыли, забыла и Оля.

В конце лета перед отъездом в Петербург Оля познакомилась с Надей Мудрогай: отец ее, купец, торговал в городских рядах. Надя собиралась на Курсы и пригла-

сила к себе Олю. И когда Оля пришла к ней, вышел старик, отец Нади, и Оля узнала: это был апостол Павел.

«Как это странно,— думала Оля,— и тогда он мне показался стариком».

Тогда Оле было шесть лет, а теперь исполнилось восемнадцать.

Апостол Павел и без бинокля смотрел с такой же добротой — на мир и на людей.

И этот апостол — последняя встреча памятного лета.

И когда осенью Оля приехала в Петербург, ее любимая Зина сказала:

— Ты очень выросла, теперь никто не может сказать: «Оля девчонка». Ты взрослая.

СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ

Все говорили кругом, что Рашевские живут между собой плохо. А дети словами не высказывали, но были веселы только тогда, если в доме бывал кто-нибудь один: или мать или отец. Только тогда дети чувствовали свободу и мир. Мать почти не выезжала. Все за детьми — девочкам причесывает волосы, так хорошо оправляет их юбки и так крепко целует, прижимая к себе, как никто, словно боится, что детей у нее отнимут. Когда умер Ваня, самый младший — как-то неисповедимо, вопреки зоркому глазу матери, простудился, получил воспаление легких — мать плакала неутешно: сидит в кресле возле окна и заплачет: вспомнит ли что-то о Ване — и долго-долго плачет. Мать верит в сны, спрашивает старую няньку: нянька все сны знает. Мать рассказывала сон, когда в комнате была Зина. Зина, занятая своими мыслями, сна не слышала, а только вздрогнула, когда нянька, значительно посмотрев на мать, сказала:

— А будьте осторожны, барыня.

— Почему осторожно! — крикнула Зина.

— Чтобы не упасть,— сказала нянька.

Но Зина поняла, что нянька не то сказала, и стало ей жутко — казалось, что что-то слепое внезапно войдет в дом, застигнет всех, кто как был, и сделает свое страшное и непоправимое, как с Ваней, и никакая осторожность не убережет.

Вера, старшая сестра, приезжает летом из инсти-

тута. Вера — любимица матери. «Не Веру красит шляпка,— говорит мать,— а Вера украшает шляпку». И все соглашаются, любуясь на Веру, и только молчит отец.

С годами дети отходят от отца: редко, очень редко говорят с ним. Дети убеждены, что отец их не любит. И отец все реже обращается к детям. Все один, и голоса его почти не слышно, он как и не живет в доме. И это никого не беспокоит, напротив, как-то странно бывает, когда он вдруг появляется в комнатах, и еще страннее, если о чем-нибудь спросит. Зину отдали в гимназию. Первое время она очень скучала о доме — это тоска, собирая все ее мысли о матери, о домашних, изводила ее разлукой. В город неожиданно приехал отец и зашел к Зине.

— Папочка! — крикнула Зина, и столько было горячего чувства в ее голосе, в ее взгляде, в руках ее, обнимавших шею отца.

И никогда она не видела его таким — его руки, его глаза, его лицо. Это был совсем не тот, с кем дома по утрам она молча здоровалась и молча прощалась, как принято, перед сном. И потом летом отец, кому-то рассказывая о своей поездке в город, сказал:

— Зина крикнула: «папочка»...— и посмотрел на Зину.

И Зина поняла по голосу, по глазам, по лицу его, вдруг осветившемуся, что этого он никогда не забудет, и что взрыв ее радости — слово ее, вдруг вырвавшееся из ее нахлынувшего чувства, осветило тогда и будет светить ему на всю жизнь. Мать дети называют «мамочка», отца — «папа», и вдруг — в первый раз «папочка». Зина много поняла, когда отец рассказывал, вспоминая, и ей было нестерпимо жалко отца, и она очень мучилась, желая и не находя, как поправить их жизнь, которая, она давно заметила, а теперь ясно видела, шла вразлад. Но только потом уж, в другие дни, и сама Зина другая, поймет она, что поправить ничего не поправишь, и проклятие и тягота жизни в том и есть, что не только черствость и вероломство — этот обычай жизни, а и все то мелкое раздражение, какое вызывает один в другом и не почему, а только из-за несхожести в самом своем существе, ведь нет ничего одинакового! — гасят в человеке его единственную и последнюю память о свете, проникающем всякую жизнь, и который есть везде — и в земле,

в ее цветах, и в детях, и в улыбке, и... в догадливом взгляде собаки, и что сказка Шехерезады о «бедняке и собаке», об умной собаке, указавшей лапой голодному на свое золотое блюдо с кушаньем, вовсе уж не такая сказка.

Так и жили с любимой матерью и нелюбимым отцом. Зина сама по себе и из всех настойчивая — своевольная. И кругом говорят: «не Зина зависит от обстоятельств, а обстоятельства зависят от Зины». Говорят в насмешку. Так повелось, что все, что «само по себе», не «в ряд», не «свое» — вызывает недоверие и опаску, и отсмеиваться и высмеивать — самая легкая и верная защита перед непонятным и подозрительным. Над Зиной с детства смеялись, и с первой своей памяти она чувствовала себя каким-то «гадким утенком». Но за эту же свою непохожесть Зина и нравилась. Дома об этом никогда не говорят — дома восхищаются Верой — но Зина заметила это еще маленькой гимназисткой, и в этом было для нее большое удовлетворение, а неминуемо и боль. Зина на Рождество была у тетки, была и старшая сестра Вера, и было много гостей. И все ухаживали за Зиной. Когда затеяли прогулку, Зина не пошла, хотя ясно было, что и вся затея-то была для нее; и как ей было идти, она видела, какими глазами смотрит на нее Вера! А когда вернулись с прогулки, Вера подошла к ней, обняла ее и поцеловала — Вера не могла скрыть своего чувства, так она была довольна, что Зины не было с ней, и жалко ей было Зину: так было весело на прогулке, а Зина проскучала дома со старшими. Так случилось однажды на людях, но потом и без всех уж, оставаясь одна с глазу на глаз с Зиной,Вера так на нее смотрела, как будто не на Зину все смотрят, а сама она и показывается — в глаза лезет, а на нее никто не обращает внимание, не замечают. А это и есть зависть: зависть смотрела глазами Веры, и зависть, она жгучая, сушила слова ее, обращенные к Зине, и от этого было больно и Зине и Вере. Зина ехала вечером полем, кругом были сложены снопы, солнце садилось и было прохладно в поле после дневной жары. Навстречу Вера на велосипеде. И они поровнялись.

— Зиночка,— ласково сказала Вера,— который час? у тебя часы.

И вдруг Зине вспомнилось, как когда-то так вот сама сказала она отцу: «папочка». И этот прохладный летний вечер, снопы по дороге и необычный оклик Веры врезал-

ся ей глубоко в память, коснулся самого сердца и прошел глубже в глубь его тайной жизни.

Умер отец. Хворал он недолго. Но как и все самое важное в жизни, так и конец ее, вдруг — вдруг перед чем-то слепым, что не ждет и не спрашивает, опустились руки, и кто-то взял и легко придушил, как моль. Отец лежал на столе в белом, и лицо его было так прозрачно, точно вывернув, как перчатку, вымыли и вычистили его с лица и с изнанки,— молодой, как брат Володя. И что странно, мать, которая его не любила и всю жизнь тяготилась и, может быть, не раз в тоске в бесконечные ночи от своей безысходной горечи горькими словами обращалась к Богу, прося освободить ее, наконец — сил больше нет! — ждала этой смерти, теперь, когда совершилось, плачет. Или было и у нее в памяти такое, как Зинино однажды «папочка» и Веры «Зиночка» в прохладный летний вечер? Отец был «сам по себе», не «свой», а это очень не просто прожить жизнь с человеком, который живет «по-своему» и иначе не может,— и вот вся тягота, все раздражение сожглось перед единственной памятью, и остался только этот голос сердца, его глубочайшее вдруг вырвавшееся пламя.

Зина не так поражена была смертью отца, а вот то, что мать плачет — и эти слезы выговаривались в душе Зины словами о всей жизни.

«И может быть,— думала Зина,— в последние дни жизни на земле, когда при мигающем свете звезд и комет вылезут голодные кроты из своих жилых могил, эти последние обреченные — когда в земле не осталось ни одного червя! — и прикрывая острой медвежьей пятерней свое свиное рыльце, заплачут от радости: больше не светит солнце и вся земля обращена в могилу! в эти последние дни все сожжется, но только не этот голос — пламя сердца, и Дух Божий, а Дух Божий это и есть пламя сердца, один будет носиться над пеплом, чтобы в свой срок, затосковав, начать творить новую жизнь другую — «по образу своему и подобию» без этой слепой тяготы, от чего тупо и безнадежно страдал человек на земле, что было не в воле человека и человеку было непоправимо своей волей».

Зина учится в Петербурге на Курсах. Ее любимая подруга — Оля, такая же своевольная, как и сама она, и с Олей ей никогда не в тягость, и все Олины «капризы» — ей очень понятны и не вызывают никакого раздра-

жения, она только не может поспеть за Олей, но и только с Олей может говорить прямо, без оглядки. И то самое, за что ее осуждали дома, тут, на глазах чужих, тянет к ней: в нее влюбляются и ей ничего не надо, только быть собой, чтобы смотрели на нее и слушали, и слушались. А вот Веру никогда никто не осуждал — «положительные люди» говорили, что она клад, что из нее выйдет хорошая хозяйка, хорошая жена и мать, но никто в нее не влюблялся, так и не вышла замуж. У Веры с детства была необыкновенная привязанность к дому, к семейным вещам, к их роду, и она не могла представить, чтобы расстаться с домом, вырваться из которого было не только освобождением для Зины, но и началом ее настоящей жизни.

Судьба Зины — своя. Как тогда, так и теперь, да видно и везде и всегда так, в России ссылали не только за преступления — ну, какие преступления Зины! — а именно за то самое, что было так характерно Зине, за ее «свое», что не «под всех», и за ее мечту — только за эту мечту о какой-то лучшей совершенной жизни, которую, она верила, люди с такой же горячностью и волей, как и она, могут устроить и непременно устроят на земле. Зину, продержав в тюрьме, выслали.

Зина вышла замуж. И уж не Рашевская, а Рогоза, жила она с мужем в Москве. И муж ее, тоже бывший ссыльный, как и сама она, никак не могли они устроиться. И жили очень бедно. «Положительные люди» вовсе не такие дураки, как это казалось когда-то Зине, они очень разбираются в жизни и зорки к людям, и разве когда-нибудь они предсказывали Зине легкую и обеспеченную жизнь? У Зины родился ребенок и отвезла она Мишу на лето к матери, думала до осени. Но когда пришло время назад в Москву отвозить, не отдают: привязались за лето — и для бабушки и для тетки в их безрадостной одинокой деревенской жизни этот Миша стал тем самым светом, какой просиял и в Зинином к отцу «папочка», и когда окликнула ее Вера «Зиночкой». Зина через силу, а все-таки уступила. Но, оставшись одна, поняла, что не может жить без Миши, не может победить в себе той тянущей душу тоски — ее знают и поймут только матери, у которых отняли ребенка — а это — да это такие черные дни, а еще чернее ночи — все съедают они в человеке: его улыбку, его смех, его желания, оставляя одно, и только одно, и это одно — мысль — как обнажено и обожже-

но: вернуть! За зиму нельзя было узнать Зину. И было твердое решение: настанет лето, поехать в деревню к матери и взять Мишу, несмотря ни на что. Но всякий раз, как Зина хотела взять Мишу, ее уж не уговаривали, а грозили смертью матери, что мать не вынесет — «и без того из-за тебя много страдала!», и все делалось, чтобы помешать — а изобретательность в таких случаях безгранична, и еще — и уж против что скажешь? — «в деревне Мише лучше для его здоровья, чем было бы в Москве!» А когда мать захворала, нашелся новый предлог: Мишу не отдавали — «потому что мать скоро умрет» — «и пусть Миша будет ей последним утешением». И никто не подумал... да Зине легче было бы, если бы даже помер Миша: ей невыносимо мучительно приезжать было в деревню и видеть Мишу — Миша чуждался ее. А когда умерла мать и больше никаких поводов не было задерживать Мишу — Миша был совсем чужой, за годы его научили быть чужим, и оставалось только одно: насильно увезти его. Забыть? —Миша и забыл.— Но разве может позабыть мать? Зина видит его таким — его первые годы, когда он был ее, вспоминает глухие ночи: он разгуливается по ночам и не хочет спать, и она носит его по комнате, и он, глядя на нее, ротиком делает, как рыба глотает воздух, но никаких еще слов. Никаких слов, чтобы вспомнить, и только это молчаливое неоступно мучает ее память: «ротиком, как рыба глотает воздух». Если бы она плакала, как плакала ее мать после смерти Вани! Зину осуждали: «мать бросила своего ребенка!» В глаза ей не говорят, не смеют, но за глаза всякий. И она это чувствовала, как оскорбление — и никто не заступился.

И вот наступило — пришло внезапно и застало всякого, кто как был, и было вовсе не страшно. Зина рада была — а это было то самое слепое, что почувствовала она еще с детства, как неминуемую судьбу. Зина обрадовалась революции. Революция делала свое страшное и непоправимое, карая своим беспощадным судом — оттуда! И Зине казалось, эта революция — против всего, что так оскорбило и оскорбляет ее — против легкого и жестокого, безответственного суда, каким каждый считает себя вправе судить другого; революция — против того, что так легко и бездушно отняло у нее ее ребенка — против этой «слепой любви». Вспоминая прошлое, Зина видела, что тягота жизни была именно от этой слепой любви:

мать любила ее — но подумала ли о ней, как и что лучше для нее, когда не отдавала ей Мишу? и сестра, теперь она видит, она тоже любила ее, но разве когда-нибудь подумала о ней? И ей вспоминалось, это еще когда Миша тосковал без нее, Вера носила его к ворожее привораживать... и даже брат, который с детства был ей ближе всех — что он сделал для нее? А с какой радостью сама она приезжала в дом, но когда хотела что-то сделать от себя, передать свое, что было не только эти бесчисленные поцелуи, а от души — с каким пренебрежением отталкивали ее от себя, и все ее самые горячие слова, как сковывались. И сама она, когда в первый раз, уступая матери, оставила Мишу — не ради ли этой любви? Но и революция — а Зина так ей поверила! — революция шла тем же самым путем «слепой любви»: революция, к горю Веры, разрушила родовой деревенский дом, куда все равно никогда бы не вернулась Зина — ведь там жил чужой ей ребенок! — эта революция... и разве она разрушила легкий и жестокий, безответственный суд человека над человеком? — Эта революция, которая поставила непререкаемым законом свое последнее: «все для человека вне человека»? — и вот начала свою железную работу, ломая и втискивая живую человеческую жизнь без всякого глаза на человека.

ДВЕ — ЛИРЫ

С Фридом Оля познакомилась, когда была курсисткой. И на всю жизнь сохранила о нем память. А с последней встречи прошло немало. И сейчас, когда сестра милосердия назвала его имя: «звонил по телефону Фрид и просил кланяться»,— он — из такого далека — а как живой стал перед ней. Она увидела тонкого, всегда очень чисто одетого студента, он только что окончил университет и выслан из Петербурга, и себя увидела Олей во всем своем революционном жаре, светящемся «правдой» и «самопожертвованием».

Летние вечера в памятном ей по гимназии городе, и только этой памятью неизменно живом. Съезжавшиеся на каникулы студенты и курсистки. Катанье на лодке по Днестру. Однажды после катанья разбрелись по берегу, и Фрид оказался с нею. Он ей говорил о себе: он женат, и у него трое детей, а женился, когда ему было восемна-

дцать лет, жену он больше не любит, но не может освободиться. Очень это ее удивило: непонятным казалось ей — желать освободиться, а жить по-прежнему? Единственное объяснение: его деликатность и уступчивость!— но воля?

«Жить во лжи непростительно»,— сказала она.

Он ничего не сказал.

А после одной такой же прогулки — памятный вечер — он сказал ей, что любит ее, и что это она открыла ему глаза на ложь его жизни.

«Не из-за меня вы должны освободиться,— сказала она,— а во имя правды».

До мелочей вспомнилось это последнее свидание.

После катанья на лодке пошли на кладбище. Кроме Фрида, Нина и студент, по прозвищу «Колода», влюбленный в Нину. Яркая лунная ночь и тихо, как бывает на кладбище, и только деревья шумели. Как ей не понравилось, когда Нина у могилы своего отца продолжала громко разговаривать:

«Будто не у могилы, а у себя в столовой!» — подумала она про Нину.

Она шла с Фридом. Нет, у нее не было к нему никакого чувства, ей только было его очень жалко. Ей захотелось отыскать могилу своего брата, она его никогда не видала, умер до ее рождения, но с которым связана была память — слова матери: однажды, и это случилось еще в детстве, она была на кладбище с матерью, мать плакала и потом рассказала ей, какой был Ваня, как она его любила, и заболел он — кровавый понос — не вынес, и как она после его смерти не могла утешиться и очень желала ребенка. «Через полтора года ты и родилась!». Из этих слов было ясно, что родилась она желанной: она заменила матери любимого сына — принесла мир в неутешное сердце.

Отыскивая могилу брата, вдруг заметила она склонившуюся у креста — и узнала: это была Саша Товкачева, а могила ее сестры Сони; Саша, крадучись от матери, ходила на кладбище, вот почему так рано, еще только три часа!

Судьба Сони: повесилась через три недели после свадьбы — и на кресте надпись: «Софья Николаевна Товкачева, по мужу Кольчевская».

«Под этой надписью какая-то тайна,— сказал Фрид,— пойдемте тихонько, чтобы она не заметила!»

И они незаметно прошли. Рассветало. Петухи пели. И какие-то кургузые птички, ранние, первые проснувшись, перепархивали с ветки на ветку.

На другой день она уехала к себе в деревню, а Фрид вскоре эмигрировал.

И теперь, вспомнив эту ночь, она сказала себе, как тогда, что у нее не было любви к Фриду, а только сожаление, и прозвище она дала ему — «бедненький». Но из всех, с кем за всю ее жизнь сталкивала ее судьба, он был самый нежный и какой-то неключимый в своей любви к ней, он ничего не требовал, ни на что не претендовал и только смотрел печальными глазами. «И что сильнее «правда» или «любовь»? — спросила она себя.

«Да, конечно, любовь».

Теперь ей ясно, только любовь дала ему тогда волю освободиться и начать новую жизнь, и его эмиграция вовсе не потому, что был он таким уж революционером: эмиграция для него — единственный возможный способ выйти из «лжи» во имя... «любви».

Оля была тяжело больна, выздоравливала и все это время при ней неотлучно была сестра милосердия. Всякий день Фрид справлялся по телефону — подходила сестра. А когда Оля поднялась и подошла сама, слышит:

— Как здоровье Оли?

И не узнала голоса:

— Кто говорит?

— Ваш старый знакомый.

И она поняла: Фрид.

В тот же вечер он пришел. Как изменился! Он напоминал библейского пророка. А из его печальных глаз светилась неизменная любовь.

Тогда же, а иначе и не могло быть, после той памятной ночи — признания, и ей это было известно, он разошелся с женой, и все годы эмиграции жил с ним в Париже его любимый сын Коля, которого он называл Кот. С Котом он и приехал в Россию.

— А Кот теперь важный,— рассказывал Фрид,— ночевали мы в гостинице, слышу, упало что-то. «Кот,— говорю,— что это такое?».— «Одеяло,— говорит,— упало».— «А ты сам?». А он отвечает: «Я тоже».

Всякий день приходил Фрид. Сколько любви внес он с собой в дом: светящаяся и согревающая чувствовалась

она в каждом его взгляде, в каждом слове, в каждом движении. Говорили и о важном — это было в разгар революции, и о мелочах. И, может, нигде так не чувствуется дыхание этой любви, как в житейских мелочах!

Когда Оля стала выходить, как-то вечером она пошла с Фридом на собрание. Возвращаясь, почувствовала усталость.

— Надо взять извозчика! — сказал Фрид.

— Так близко?

Это было на 9-й линии, а Оля жила на 14-й.

Но Фрид настоял — извозчики тогда еще существовали, доживая последние дни.

* * *

Перед отъездом к отцу в Киев Фрид пришел проститься. За краткий срок этого последнего свидания он понял, что дни, проведенные с Олей, были самое лучшее, что было в его жизни.

— Мне хочется что-нибудь оставить вам на память! — сказал он, прощаясь.

Но ничего такого не было, чтобы дать. И вдруг он обрадовался: в кармане совсем позабытая оказалась новенькая — две-лиры — итальянская память.

— Ну, вот, эти две-лиры — серебряная, пусть они вам напоминают обо мне.

И когда Оля пошла проводить его, на лестнице он повторил:

— Самое лучшее воспоминание всей моей жизни — вы.

И глядя на его печальные, вдруг загоревшиеся счастьем глаза, она поняла, что больше они никогда не увидятся.

Времена тогда были такие: уехать уедет человек — и редко кто возвращался. Так и с Фридом — чувство ее было правильно: Фрид не вернулся: в дороге заболел — тиф — и, по приезде в Киев,— никого, и отца не узнавал! — умер.

А его память — две-лиры — Оля хранила все годы военного коммунизма, а это не легко было, когда при всяких обысках искали оружие, продовольствие, а заодно, на что упадет глаз.

Эта серебряная монета — две-лиры говорили ей о че-

ловеке, который ее любил тихо и незаметно, неизменно всю жизнь, о нежном человеке — чистом — серебряном, как его память, и что этот человек не был счастлив.

«И Кот не будет счастлив!» — вспоминались слова Фрида.

Но в какой-то срок подкралась и вошла в дом — такую ничем не умилостивишь: ошарила все углы, уголки — она куда зорче бывшей прислуги, особенно лютой при обысках! — это нужда добралась и до заветной серебряной монеты. Пришлось продать — много ли? — все равно, только б на сегодняшний день.

Но серебряная память — она и без серебряной лиры и чиста и неизменна и сияет здесь, куда не доберется ни одна живая сила в мире, чтобы отнять. И только когда огонь жизни погаснет — — но я не могу не верить, я верю, этот серебряный свет отойдет в вечность, светя — пусть даже из самой черной и тесной «закоптелой бани, по всем углам пауки».

ЗЕМЛЯ И МОРЕ

Как было не любить Оле благословенную черную землю, черные теплые черниговские ночи, перелетную прозрачную осень, белую с жаркими огоньками зиму, воркующую весну, летний окликающий полдень, широкую и задумчивую степь, и лошадей, и собак. И земля, ее вынянчившая и зарумянившая, как свой сад, щадила ее.

Гимназисткой третьеклассницей Оля приехала домой на Пасху в Ватагино. А обратно в гимназию решено было отвезти Олю на лошадях: ехала Маруся, племянница соседей Лупичевых, старшая гимназистка, и ее тетка Анна Ивановна; тетка ходила на костылях, но была очень добрая и веселая.

Оле было обидно, что не свои провожают, а поручили чужим — если бы только знали, сколько было пролито слез прошлой зимой над книгой Достоевского, посвященной детям, и что все эти слезы — ее память о доме! И дорогой Оля плакала, не замечая дороги. И вдруг — эти слезы ее или поворот крутой — бричка наклонилась и Оля тихо выпала в канаву — — и видит она, как выпадает Маруся, и подвинулась, чтобы не упала на нее.

И Маруся пришлась рядом и тоже, как Оля, не ушиблась. А тетка Анна Ивановна на костылях удержалась в бричке — чем она держалась, неисповедимо: сидит, смеется. Добрая ли душа ее и веселость духа удержали ее в воздухе, а ведь дряпнись она с костылями, и здоровая кость хряснет, а костылями задавила бы.

В гимназии все удивились: так Оля загорела,— а это солнце и слезы! И потом с лица слезла кожа. Но на теле никакого следа, как и не падала.

* * *

Летом в Петербурге Оля была всего раз, потом уж целое лето проведет в тюрьме... А ездила Оля летом в Петербург не одна, а с Черкасовым: Черкасова везли из Бобровки, чтобы поместить в психиатрическую лечебницу. А согласился он ехать в Петербург только потому, что вызвалась ехать Оля. Для Оли это было очень тягостно, но без нее ничего нельзя было сделать.

И вот она возвращалась из Петербурга домой, теперь одна, измученная; все ее измучило: и дорога и эти дни в Петербурге. И особенно конец в лечебнице: чтобы заманить Черкасова, и это был единственный способ, Оля должна была сказать ему, что хочет войти в комнату; Черкасов всегда забегал вперед, чтобы чего-нибудь не случилось с Олей, и на этот раз поспешил войти, предупреждая ее, и дверь за ним захлопнулась. Эта захлопнувшаяся дверь не выходила из ее глаз, а звук захлопнутой двери, разделившей его навсегда от Оли, стоял в ее ушах.

От станции Оля ехала на лошадях, не замечая дороги. И как ей было помириться с этой навязанной ей ролью — «ведь он ей не мог не поверить, и вот дверь за ним захлопнулась!» — повторялось укором. И ее терзания, что она в чем-то виновата и нельзя вернуть! — и ее негодование, почему ей такое? — с дорогой не только не утихли, а раскалились.

Между Ватагином и Лубенцами лошади вдруг испугались и понесли. Оля очутилась на земле. И легко поднялась она и, крестясь, посмотрела кругом в ночь — лошади мчались с кучером и скрылись из глаз. Одна она стояла среди поля и не было конца ночи. Потом уж показался кучер: он шел по полю — его тоже сбросило.

До Лубенцов было ближе и пришлось идти в Лубенцы. И пока-то добудились хозяина, стало рассветать. С рассветом доехали до дому. А лошадей на другой день за двадцать верст поймали — бричка была разбита.

Благословенная черная земля щадила Олю и Оля ее любила. А в Петербурге она узнала море и полюбила море, как свою черную землю.

Олю с детства тянула вода, любила купаться и научилась хорошо плавать, а любимым ее развлечением было кататься на лодке. А с тех пор, как однажды Оля чуть не потонула, и ее откачали, глаза у нее словно прояснились и, серые, они то зеленые, то голубые, и темные серые под упорною думой и непреклонным решением.

Весною в Петербурге Оля очень тосковала. А весна была страдная — экзамены. Заботы начинались с утра.

Не успела Оля чаю напиться, пришла Женя Шубина: они вместе пойдут в Публичную библиотеку, сядут рядом и будут помогать друг другу делать выписки,— так и день и пройдет, а завтра экзамен.

И они вышли на улицу. А солнце — только в Петербурге бывает такое весеннее: и от Невы и от взморья и от белых ночей.

— Давайте покатаемся на лодке, так близко! — сказала Оля: Оля жила на 3-й линии, пристань рядом.

— Давайте,— согласилась Женя. Женя очень кроткая, и Оля ей очень нравилась, и никак она отказать не могла.

Наняли лодку: одна за рулем, другая гребет — в переменку. Так и катались. Так весь день и прокатались. И ни разу-то не вспомнилось о экзамене. И только на пристани, выйдя на набережную, поняли, что ничего-то не приготовлено, да и поздно.

Законодательница чего «нельзя» — Варя Финикова, можно поручиться, что у нее-то наверняка все готово. Идти к Варе и попросить выписки, но уговор, о лодке не сознаваться. Так и решили.

Но стоило только переступить порог, и Варя, взглянув на Олю, расхохоталась: ну, конечно, не библиотека, а только Нева с ее блестящей синей широтою, только весеннее взморье так зарумянило Олю. И пришлось признаться.

Над образцовыми выписками Финиковой Оля и Же-

ня просидели ночь: на экзамене они ответят на все вопросы.

И больше никакой тоски — это море! — море тоже любило Олю.

С ГОРБОМ

Я думал о моей безвыходности. Знаю, не надо об этом думать, иначе никак не выкличешь выход. Ведь если до конца додумывать, то потеряешь и последнюю бодрость, и откроется единственный выход — смерть. Подумать только, сама наша жизнь — этот круг, где нет ни за, ни выше... человеку дано сознание, и никаких средств что-то изменить самое важное в жизни, да и сознание-то не Бог весть какое!

И вот было решено, что я должен кончить жизнь самоубийством. Я шел около трамвайных рельсов, высматривая, где бы половчее попасть под трамвай; я выбрал этот способ, потому что никому в голову не придет, что найдется такой дурак — броситься под трамвай. Но на мое горе улицы оказались пустынными, ни одного трамвая; и, не находя другого выхода, я стал подыматься по стеклянным площадкам какого-то огромного дома и поднялся к самым трубам и вдруг увидел, что нахожусь над трубами и не иду я, а лечу — и подо мной улица, трамваи и автомобили. И с ужасом подумал, как же это я буду спускаться? — я не переношу ни высот, ни провалов! — и при этой ужасной мысли упал на землю. И прямо в «кав» — черный подвал. В руках у меня шнур с электрической лампой, все ниже и ниже по каменным ступенькам спускался я, освещая выступы: я знал, что где-то в этом «каве» спрятана и хранится века лампа и, как в арабских сказках, никому эта лампа не дастся, только мне, я должен найти эту лампу, это и будет тот талисман, который откроет передо мной все дороги. Но когда я раздумывал о заколдованной лампе — и почему-то я знал, что лампа однажды мне принадлежала, когда я в какой-то прошлой моей жизни жил в Польше — вижу и, как это случилось, не знаю, я уж не в «каве», а стою я на пустынной площади у лотка, разложено мясо,— красное, парное большими кусками, и я выбрал себе почки — любимое кушанье людоедов! — вспомнилось из Робинзона. Но тут какие-то ру-

ки нахально разобрали весь лоток. И я ни с чем, и одна мысль — ледяная, она опускалась до самого сердца — это мысль, что нет мне выхода. И вдруг увидел похоже на Place Denfert-Rochereau, Бельфорский лев, и не один, а два. И когда я проходил мимо львов, один лев подал мне лапу. И я очутился в саду у колодца — надо вертеть колесо, чтобы достать воды, и я взялся за колесо, но с водой вспыхнул огонь, и я видел, как вода заливала огонь. И кто-то сказал: «это оттого, что вы обращаетесь не к одному».

На этом и кончились мои ночные приключения, мало чем отличающиеся от дневных, тоже полных всяких чудес, боли и отчаяния. На душе, как и во сне, была одна мысль,— она не отпускала меня,— ледяная, опускалась она до самого сердца: я думал о своей безвыходности. И совсем невольно от своей перешел я к судьбе других, обреченных на ту же ледяную мысль.

* * *

Раиса Кочуева поступила в седьмой класс гимназии из какой-то шестиклассной прогимназии. И сразу все почувствовали, что она другая, особенная, ни на одну из гимназисток не похожая.

Кочуева — горбатая, и не тот у нее горб, какой бывает от перелома, это и не горб, а при маленьком ее росте над шеей возвышение, а кажется, что горб: последствия тяжелой болезни в детстве, что-то с позвоночником, когда дети обречены бывают годы лежать и не двигаться. Синие глаза, тяжелые черные косы, и еще что-то... что-то в лице ее было старообразное. И весь класс невольно ей стал говорить «вы», когда друг с другом всегда на «ты».

В первый раз про Кочуеву, что она особенная и кажется намного старше всех, первая сказала Лиза Куманина. Лиза сама была не как все, хромая: одна нога короче другой,— не могла танцовать, и не бегала, когда была маленькая. Лиза ее первая и заметила и определила.

Оля пришла к Лизе перед экзаменами помочь ей по русскому. И вот Лиза говорит:

— Ты замечаешь, что Раиса Кочуева будто старше нас всех?

И Оля сразу поняла всю непохожесть Кочуевой. И с этих пор хотела подойти поближе к ней. Но это было нелегко сделать, а если и удавалось, не успевала сказать и слова: Оля всегда была окружена подругами, а, кроме того, приготовишки, и особенно Вера Ястребова и Сима Мотылева бегали, не отставая, и вешались, и липли.

Раиса Кочуева на переменах стояла в углу между роялем и окном — это ее всегдашнее место — и пристально смотрела на бегающих в зале гимназисток и на улицу, и ее тяжелые черные косы, казалось, давили ее, и эта тяжесть выражалась в напряженном взгляде; а когда с кем-нибудь разговаривала — редко она разговаривала — эта тяжесть черных кос выражалась в улыбке: она тихо и жалко улыбалась.

Весной на большой перемене гимназисток выводили в сад — это был большой фруктовый сад, примыкавший к гимназии. Однажды в саду Раиса подошла к Оле и, как всегда, пристально глядя своими синими глазами и жалко улыбаясь, сказала:

— Оля, пойдемте я вам покажу: солдат повесился.

В конце сада была уборная — туда и повела Раиса Олю. И, забежав вперед, раскрыла дверь — и Оля увидела: в уборной стоял солдат с синим лицом.

Но, должно быть, хватились — и это было одно мгновенье: набежавшие одна за другой классные дамы отогнали Олю и Раису.

У Оли белым железом выжглось в глазах, и только одно она видела: перед ней стоял солдат с синим лицом. Душа ее хлебнула этого синего ужаса — синей ледяной мысли отчаяния, и не могла успокоиться. Ночами Оля не могла заснуть, а днем плакала.

— Не плачьте, Оля,— сказала Раиса,— у вас есть папа и мама, а вот у меня, как у того солдата, никого.

И Оля узнала, что Кочуева живет на квартире, за нее платит опекун. И вдруг поняла, что синее лицо повесившегося солдата — синяя ледяная мысль самой Раисы, и теперь она видела то же синее лицо в ее пристальных синих глазах. Но не страх, жалость сковала ее,— но этого она не смела сказать, не зная, как и чем помочь.

И это была последняя встреча в гимназии: Кочуева вдруг исчезла.

В первый свой приезд из Петербурга летом Оля встретила Кочуеву на улице. Раиса остановила Олю.

И они пошли вместе. Раиса расспрашивала Олю о ее жизни в Петербурге. И хотя Оля чувствовала к ней глубокую жалость, но близости не было, да и прошло два года — Оля ее стеснялась и отвечала обще: о Курсах, о лекциях.

Кочуева снимала комнату у Нелли Руновской. Нелли, бывшая гимназистка, старше классом Оли. Никаких отношений между Олей и Нелли никогда не было. Оля знала, что Нелли из очень бедной семьи, отца нет, а мать сдает комнаты, а в городе и в гимназии шла слава, что Нелли очень красивая. Кочуева привела Олю в свою комнату, там была Нелли, и Оле показалась она действительно красивой.

За чаем говорила Нелли. Она рассуждала о богатстве. Ее цель добыть богатство, и она добьется богатства: с детства она видела много нужды и не согласна жить в нищете.

Бедность Нелли привлекала Олю, вся душа ее была к ней, но Оле странно и чуждо было слышать эти рассуждения о богатстве — как избыть бедность, но перед упорством и бесповоротностью Нелли Оля не находила слов возразить ей. Раиса, пристально глядя своими синими глазами, тихо и жалко улыбалась: в ее глазах светилась та же упорная мысль и бесповоротно — но как ей было избыть свое безвыходное несчастье.

Олю возмущали слова Нелли и жалко было Раису.

Раиса все угощала Олю апельсинами и конфетами.

А через год Оля узнала от своей всезнающей тетки, что Нелли Руновская вышла замуж за очень богатого старого генерала Френсдорфа: муж ее почти слепой после какой-то болезни. И когда однажды Оля проходила мимо ее теперешнего огромного дома — лучшего в городе, увидела Нелли: нарядная, расфранченная, она садилась в экипаж — рыжие лошади, рысаки, и с ней в военной форме старый-престарый мухомор; Нелли торжествующе смотрела, кивая Оле, и рукой показала на своего слепого спутника: она достигла цели, и ее желание исполнилось.

Потом уж в свои третьи каникулы от той же всезнающей тетки Оля узнала, что у Нелли родилась девочка.

— Но все говорят,— объяснила тетка,— что эта девочка — дочь сына ее слепого несчастного мужа.

Оля мало обращала внимания на теткины «все говорят», да и не было ей никакого дела до Нелли: более

чуждой, чем Нелли, она не могла и представить себе — и эта ее пустая жизнь, может быть, и очень счастливая, но каким проклятым счастьем лжи и обмана!

И в тот же год Оля в последний раз встретила Кочуеву. На узловой станции, дожидаясь петербургского поезда, Оля заметила Кочуеву: она сидела в уголку и дремала. Оля подошла к ней.

Если у Раисы и всегда было что-то старообразное в лице, теперь трудно было сказать, что она ровесница Оле: это была совсем старая женщина, сморщенная, с поблекшими усталыми глазами, и какой чугунной тяжестью казался ее горб.

Оля — вся в другой жизни, стала ей рассказывать о борьбе, чтобы сделать человеческую жизнь человеческой, чтобы не сила и страх, а разум, совесть и воля управляли жизнью. Оля думала распропагандировать ее. Оля рассказывала о людях, которые сидят по тюрьмам и страдают за правое дело.

Раиса слушала внимательно.

— Сидеть в тюрьме,— сказала она,— это не несчастье, это только неприятность. А несчастья, я думаю, вы еще не видели.

И Оля поняла, что Кочуева говорит про себя.

И ей вспомнилась Нелли, ее неизбывная бедность,— «но теперь-то она богатая!»

«А как поправить непоправимое, найти выход и успокоиться — избыть горб Раисе?»

В гимназии с Олей училась Саша Харькевич. Во всех классах она всегда была последней ученицей. И не потому, чтобы была неспособная или больная, а просто не хотела учиться. И только благодаря настоянию своей тетки она кончила гимназию, чтобы никогда больше не брать в руки никакие учебники, и никогда не ходить по улицам города. Город и гимназия у нее соединились в одно —самое ненавистное. В семнадцать лет она поселилась в деревне и жила безвыездно. Она занималась хозяйством в имении своей тетки, которая ее воспитала и для которой она была единственной в мире.

Однажды в Петербурге Оля получила письмо от Саши. Письмо начиналось: «дорогая Александровна»,— и дальше шло объяснение, почему только отчество. Да так, оказывается, надо по-народному,— и чтобы Оля называла ее «Андревной». Потом следовало признание, что она не променяет свою жизнь ни на какую другую, что

она счастлива следить за переменами времен года и величайшее счастье испытывает, когда несет на плече поднос с только что сорванной малиной. И заключение: так как Оля не хочет выходить замуж, то она предлагает ей в своем доме угол, когда Оле это понадобится.

А между тем то деревенское счастье, которого после мытарских семи лет гимназии достигла, наконец, и которым наслаждалась Саша, вдруг ей изменило: с каждым свежим утром на деревенском воздухе она стала таять и все глуше кашляла. И сначала встревожилась любящая ее тетка, а потом и сама она спохватилась. И то, что казалось ей невозможным, стало необходимым: Саша приехала в Петербург показаться доктору. И разыскала Олю.

Перед Олей была не Саша, а Андреевна: от гимназической Саши, «последней ученицы», ничего не осталось — это была приговоренная к смерти чахоточная женщина.

Рассказывая о своей счастливой жизни,— о весне, лете, осени и зиме — о малине, яблоках, Саша упомянула Раису Кочуеву. Оля очень заинтересовалась. Синее и безысходное вдруг вспомнилось ей, да оно было и в глазах Саши, только Саша этого не замечала.

Раиса вышла замуж: ее муж их сельский священник — простой батюшка.

— И у нее родился сын.

Оля насторожилась:

— Как же она теперь?

— Умерла, после родов,— сказала Саша,— и совсем уж слабая попросила показать ей ребенка: хотела удостовериться...

Оля посмотрела — и не на Сашу, выше — выше, как однажды взглянул Гоголь из своего безмятежного «рая» (Пульхерия Ивановна) и однажды Достоевский из своего «ада» (Соня Мармеладова): одна была пламенная мысль и одно единственное слово уверенное, молящее и грозное «Бог не допустит» — и этот взгляд на один миг — но если бы дана была человеку бесконечная жизнь, этот единственный взгляд остался бы на веки веков.

— И умерла счастливой,— поспешила Саша,— у ребенка не было горба.

И Оля почувствовала, как вдруг стало ей на сердце тепло, и синее ледяное — синее лицо повесившегося сол-

дата, неизгладимо связанное с синими глазами Раисы, разошлось, как тяжелый туман, и еще глубже в памяти тихо засияла лазурь ее родной черной земли.

ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ

По заразительному смеху, с каким появлялась Анка Дударева, ее можно было узнать в любой толпе на демонстрации. Да и так — там, где было жарко, там, значит, и Дударева. Глядя на ее необыкновенно белые зубы — самый нерешительный поддавался и осмелевал. Высокая и легкая, шла она напролом. Так в немирной обстановке. Но и в затишье — в песенные кануны, она была приметна. Голос небольшой, но крепкий: в хоре на студенческих вечеринках, она всегда вторит и голосом приковывает к себе. И уж не эти белые зубы, а видишь глаза — голубые... да, что-то от чистого поля было в их цвете и колдовской тишине. Еще надо сказать, и тут эту паспортную примету не обойдешь: нос — нос у нее широкий — бабкой, очень по-русски; должно быть, форма от наших северных кочек, как и светлые ее волосы от тонких зорь белых ночей.

И что странно — для Оли было очень странно: там, где появлялась Анка Дударева, тут же была и Маргарита Беликова. Или и так: где Маргарита, там и Анка — они всегда вместе. Но большей противоположности трудно себе представить, и во всем разные. Крупная, черная Маргарита с фамильной белизной кожи — Беликова! и эти толстые губы, которым не до улыбки и не до смеха, и эти ее серые глаза с тяжелыми веками, как опухшие, всегда притупленные — так ли бы она видела, если бы они вдруг раскрылись... и уж, конечно, не так бы она смотрела! — с такими глазами не говорливы; ее нос очень нравился Оле: прямой, но не клювом, а короткий и кажется задорно вздернут. И никакого задора, и ничего от имени — Маргарита, и ни воздушного и горячего от неразлучной Анки.

Еще в гимназии Маргариту часто вызывал учитель математики, и это объясняли тем, что где-то этот учитель Световидов отозвался о Беликовой, что она красивая. Но студент Королев при Ильиной выразился не так: «Беликова просто безобразная». Но «бабушка» возразила: «Раз за ней ухаживают, стало быть, она красивая».

Да, стало быть, для кого-то красивая. И Оля считала Маргариту красивой.

«Если бы я не знала тебя,— сказала Оле окончившая курсистка Шапошникова; Шапошникова когда-то училась с Олей в гимназии: Оля была в приготовительном, а Шапошникова кончала, потому и «ты»; — я подумала бы, что ты говоришь «нарочно»: есть такие женщины, которые говорят друг о друге нарочно».

И Маргарита, и Анка сочувствовали с.-р.-ам. И обе не пропускали ни одной вечеринки, ни одного доклада. На эти вечеринки с нескончаемым пением и на эти доклады на необыкновенно скучные темы — Оле особенно скучными казались по аграрному вопросу, Оля еще на первом курсе к концу года перестала ходить. С Маргаритой Оля училась на одном курсе, с Анкой познакомилась у Кашиных.

Кашин — директор завода в Мурзинке, либерал. И жена его тоже. Оля попала в их дом через Шапошникову, которая познакомила с Кашиными не только Олю, а и еще многих молодых курсисток, в числе которых была и Анка. Хозяевам, должно быть, доставляло удовольствие присутствие молодежи. Принимали очень радушно. По душе Оле они были совсем чужие, ей было холодно с ними, но обстановка из «того мира» наперекор всему примиряла. Оле было приятно посидеть в кресле,— и все было прибрано и подано,— и рояль, и ковры,— такое непохоже на петербургскую комнату, в которой проходили дни. У петербургских хозяек была такая мода — топить печку через день, а это очень чувствительно, особенно утро в день топки! И Оля иногда ездила за Невскую заставу «погреться».

Оля возвращалась от Кашиных домой с Анкой. Путь долгий — времени для разговора сколько угодно. И первое, что Оля спросила Анку — это свое недоумение о дружбе Анки с Маргаритой.

— Вы дружите с Беликовой?

— Да,— ответила Анка,— но не все гладко, как зеркало.

Значит, действительно, между ними была дружба, хотя и не «зеркальная». Но что связывало их, Оля так и не спросила: неловко. И стали говорить о экзаменах.

А вскоре Оля узнала от Зины Рашевской, что и Беликова и Дударева влюблены в одного студента. Так все

и разрешилось: их соединяет любовь. Но кого из них выбрал студент, Маргариту или Анку? — Зина не могла сказать.

Было три студента сибиряка: Королев, Громов и Колычев. Жили они вместе в одной комнате. Их комната по лютости была самая холодная, подлинно, сибирская. У каждого на столе стояло по лампе — три лампы, как три печки; хозяйка никогда не топила. Все трое сочувствовали с.-р.-ам. С Королевым и Громовым Оля познакомилась в Нормальной столовой. С ними иногда бывал и Колычев, но всегда в штатском: рыжеватый, с ямкой на бороде — получивший прозвище «студент, социальное положение которого только что выяснилось»; однажды он явился в столовую в студенческой тужурке и этой тужуркой решил, наконец, для Оли и Зины, кто он; они принимали его за горняка.

Оля обещала Анке свои записки к экзаменам и сама понесла ей. Анка своей не считалась, она была только «сочувствующая», но живостью и горячностью всегда тянула к себе Олю и еще тем, что была «хорошенькая» — какая-то чистая вся, нравилась Оле. Анка, провожая Олю, попросила ее зайти вместе к одному студенту: что-то надо было Анке взять у него. И они зашли. А это и была та самая «сибирская» комната, а таинственный студент — Колычев, «социальное положение которого только что выяснилось».

Оле он показался и в словах, и в манере типичным студентом — таких можно найти у Чехова, а до Чехова у Лескова: эта покоряющая искренность, горячее сочувствие и обязательная театральность делали такого студента в одиночку очень скучным, а в массе — про таких-то и сложена была песня «нагаечка». И что поразило Олю: его необыкновенная бледность, а ямка на бороде, как защипка на тесте, совсем черная. Колычев тоже готовился к экзамену и просиживал ночи напролет, а на воле — белый май!

И теперь Оля рассказала Зине, как была она с Анкой у студента, «социальное положение которого только что выяснилось», но не может сказать, как он относится к Анке, а скорее капризно — и, стало быть, Анка не та, и вот откуда «незеркальность» дружбы.

Все это, конечно, неважно и мимолетно для Оли: Анка и Маргарита со своей сдружившей их любовью и Колычев со своей. А это так — бывает так: и самая мель-

чайшая мелочь — отзвук или тень какой-нибудь другой жизни — вдруг займет твою мысль, хотя бы на мышиную единицу в бесконечности всей жизни.

Летом после экзаменов Оля поехала домой. В деревне долго она не могла жить: скучно. А в ближайшем городе — неинтересно. И всегда Оля ездила в Киев: там новости. В первый же день в Киеве Оля встретила курсистку Груздеву и от нее узнала, что в Киеве и Маргарита, и Анка, а приехали они из-за Колычева: Колычев лежит в больнице, у него был тиф, и уж стал поправляться, но произошло какое-то осложнение, и, должно быть, не выживет.

Известие это нисколько не взволновало Олю, ну, жалко — и только. И, может быть, так бы и вернулась она домой, и никогда бы не вспомнила о Колычеве, но на улице же столкнулась с Маргаритой: Маргарита шла в больницу и повела ее с собою.

Еще несколько дней назад Колычев, оправляясь, вдруг стал тяжело дышать,— слышно было даже за дверью — и по его словам,— он еще говорил — хотел он дыханием своим пробить стену, а со вчерашнего дня лежал пластом: ни ногой, ни рукой, и говорить не мог. Но по взгляду и по каким-то никому не заметным движениям и стону, только одна Маргарита понимала, что он хочет. Суровая, с тяжелыми веками, еще отяжелевшими за бессонные ночи — и, смотрит ли и видит ли она что, не поймешь! — не спускала она глаз с больного и видела, чего никто не видел. А в другой комнате Анка плакала: Анка не понимала Колычева.

Через три дня Колычев умер.

Оля пошла на похороны, чтобы было легче Маргарите и Анке. Анка крепко плакала — так, как, бывало, смеялась. А Маргариту Оля не видела — не смотрела на нее; да такие и не плачут, но и лучше не смотреть на них. Народу было очень мало. Какие-то чужие кладбищенские старухи мышами шмыгали из углов. И одна мышь, незаметно подойдя к Оле, сказала:

— Какой узкий гроб и так бедно.

И Оля вздрогнула — ей жутко стало от этих слов. В первый раз поняла она, что о таком — и уж, кажется, где все расчеты кончены — о мертвом можно судить и рассуждать так же, как о живом.

Похоронили Колычева там, где указала Маргарита,

на берегу Днепра: там у него были свидания с Маргаритой.

Так и последнее недоумение Оли разъяснилось: избранной оказалась Маргарита, а не Анка. И теперь был еще вопрос: кто же сильнее любит, Маргарита или Анка? Казалось бы, Анка — ее горячность и беззаветность и эти ее слезы — безутешны... но и тяжелые веки, скрывавшие глаза Маргариты, и Бог знает, что там еще таится! глаза, которые видели то, чего никто не видел, и ее суровая молчаливость, ведь это такая крепь...

После похорон Оля узнала, что делали вскрытие и нашли в мозгу что-то, от чего Колычев и не мог говорить. На вскрытии присутствовала Маргарита. Но не Маргарита, киевские студенты рассказывали Оле. Киевские студенты проще петербургских и московских и большие остряки. Студент-медик Смирнов заявил Оле, что в анатомическом театре с трупами он «запанибрата».

Лето было в разгаре. Днем невыносимая жара, а вечерами чудесно: луна и огромные тени от деревьев. Эти лунные ночи Оля провела в разговорах со своими новыми знакомыми, и Смирнов на прощанье подарил ей свою карточку с надписью: «Ольге Александровне Ильменевой от Б. Смирнова на память. Подробности см. на обороте». С этой карточкой «на обороте» Оля вернулась домой в деревню. В ее памяти осталось: «запанибрата» — слова Смирнова о мертвом Колычеве, и еще напугавшая ее на похоронах мышиная старуха с ее рассуждением о мертвом, как о живом.

Осенью в Петербурге Оля первую увидала Маргариту: Маргарита как-то переменилась — или эта ее суровость, дошедшая до жестокости? Разговор о дороге: Маргарита рассказывала, как, возвращаясь в Петербург, она в вагоне видела — барышня, ее соседка, вытирала пыль со своей шляпы...

— Так вытирала, как будто шляпа ее была живая, и очень удивилась, что я свою бью об окно, как ковер,— сказала Маргарита и заплакала.

И в первый раз Оля увидела ее глаза — серые, они светились нараставшими слезами; может быть, в первый и единственный раз эти тяжелые веки поднялись, чтобы дать слезам выход и сквозь слезы открыть правду о мире, где нет ни мертвого, ни живого, а есть только чувство живое и мертвое. Толстые ее губы были смочены, а слезы наливались и лились.

Оттого ли она плакала, что, увидев Олю, вспомнила последние дни в больнице, свою любовь, которая видит, чего никто не видит, и понимает без всяких слов; или живая шляпа соседки напомнила ей вскрытие — она этого забыть никак не может — мертвого Колычева, с которым обращались «запанибрата», как она со своей шляпой, выбивая ее, как ковер. Она плакала о своей любви, плакала над тем когда-то живым, который неизгладимо стоял в ее глазах, но не живой, а ссохшийся, свернувшийся, как заяц, с красным, распутно раскрашенным лицом — завтра оно будет синим — и с рассеченным черепом, где клубком маслянистых червей серел мозг, она плакала в первый и последний раз. Такого плача, когда захлебываются и нельзя остановить слез, Оля никогда не видала.

Потом Оля встретила Анку. И как будто ничего не произошло; Анка так же смеялась. И, глядя на нее, на ее белые зубы, не хотелось отходить. Между лекциями Оля ходила с ней. И Анка рассказала Оле, что теперь у них дружба с Маргаритой зеркальная, и что у каждой на столе стоит портрет Колычева. А вдруг появившаяся Маргарита — рядом с Анкой показалась Оле страшною. И ясно было, что Маргарита любила сильнее Анки.

Но чья же любовь крепче?

У Оли была своя жизнь и по-своему. И эта жизнь заслонила ей на долгие годы жизнь Анки и Маргариты. Но то, что случайно однажды приоткрылось перед ней, вошло в ее мир, как живое и мертвое — вошло любовным чувством, по которому неодушевленное видится как живое и мертвое живет.

После ссылки Оля побывала проездом в родном городе, где прошло ее детство до Петербурга. Сколько воспоминаний!

Маргарита уже не Беликова, а Окорокова. Муж ее — известный с.-р. И сама она из «сочувствующих» перешла в разряд «деятельниц» и, хоть не состоит в партии, но по мужу занимает высокое место. У нее двое детей — два мальчика.

О Колычеве Оля не напомнила: неловко. Не заметила и портрета на столе. Но на столе Анки? Оля спросила: где Анка?

— Замуж она не вышла,— сказала Маргарита,— живет безвыездно у брата в деревне.

И почему-то Оле вспомнилась курсистка Волкова:

как эта Волкова, сочувствовавшая с.-р.-ам, стала ходить с курсисткой с.-д., и Оля говорила ей: «Мария, бедная Мария...». И теперь, слушая Маргариту и вспомнив «зеркальную» дружбу Маргариты с Анкой, повторяла себе этот стих. И какой зеркальной поднялась перед ней Анка со своей живой-животворящей любовью, для которой нет ни мертвого, ни вещи, а только жизнь, нелюбимая Анка, для которой само смертоносное жало не смертельно.

«А что же смертельно? — спросила себя Оля,— какое жало могло убить эти бесслезные, вдруг налившиеся слезами глаза Маргариты — плач о любви?»

И в ответ прозвучали слова из ее верного сердца и от чистой мысли — той несмертной части смертного тела...

«Измена».

ЛЕПТА ИЗ ВЕЧНОГО

Оля всегда огорчалась, когда ей в чем-нибудь отказывали, ссылаясь, что она младшая: «Не виновата я, что позже родилась!» — говорила Оля. А однажды заявила, что она тоже большая. «Кто же это тебя большой считает?» — «Швейцар в гимназии!» — ответила Оля. Ее ответ подняли на смех. А вот Оля и для всех стала большая: ей девятнадцать лет, и ее уж не называют Оля, а Ольга Александровна.

* * *

Оля познакомилась с Шидловским на пароходе. И Шидловский и Оля, оба ехали по «проходному» свидетельству в ссылку на Печору. Путь от Вологды пять дней. И самый молчаливый за такой срок разговорится. Шидловский всю дорогу не оставлял Олю.

«Он хороший,— подумала Оля,— только мало культуры».

Под Рождество Оля ходила с Шидловским ко всенощной. Была сильная метель — едва можно было открыть церковные двери — ветер рвал. Но и каким волшебством и какой жгучей радостью отозвалась в ее сердце рождественская песня! Из церкви Шидловский

проводил Олю домой и, прощаясь, поцеловал ей руку. Оля не обратила внимания, а Шидловский не спал ночь. И наутро, только что Оля успела одеться и заварила чай — самовар кипел, явился Шидловский, но не вошел в комнату, а сел на пороге:

— Ольга Александровна,— сказал он,— я подлец.

И в голосе его было столько страдания, но сказано крепко и решительно.

— Что с вами? в чем дело?

— Я осмелился поцеловать у вас руку, я — подлец: я не смею даже мечтать поцеловать вашу руку, а я...

Оля его успокаивала: Оля говорила, что ничего она не заметила и что он хороший.

— Вот вы так и говорите,— сказала Оля,— потому что вы хороший.

И только тогда Шидловский вошел в комнату и за чаем долго и много — бессвязно — говорил Оле, и все его путаные слова были к одному, что всю жизнь он будет служить Оле и чтобы она его не отгоняла.

И Оля всегда была к нему внимательна — ей легко было с ним: он весь был перед ней в огромной шубе — отцовская память — большой и крепкий, суровый, еще суровее от заросшей бороды, и не было в нем никакого лукавства, никаких «двойных мыслей» и никакой тайны, одна была мысль, а это и была его тайна: сделать для Оли что-нибудь такое, чтобы ей было приятно.

В ссылке Оля была самая молодая из ссыльных.

Шидловский приносил с почты письма: зная, как Оля ждет, он летел с ними, и никакая сила не могла остановить, даже сугробы, которые за какую-нибудь ночь ровняли все дороги в бездорожье. Ссыльный Оводов, ревниво заботившийся о Оле, не мог не заметить и говорил, что Шидловский летит с почты, как пуля, и называл его «пулей», и в этом была правда: огромный, медведем пролезавший по ярко-заросшим топким моховым берегам, превращался он ради Оли в эластическую пулю.

Шидловский — революционер. И, недаром, до ссылки держали его в тюрьме «на режиме»: ни курить, ни писать, ни читать; только мыло разрешалось выписывать в обертке, и эту печатную рекламную обертку он прочитывал сотни раз.

— Что же вы делали? — спросила Оля.

— Ну, похожу,— не спеша отвечал Шидловский,— посижу — — полежу — —

И так изо дня в день. И, очутившись на свободе после «режимного» года, он купил папирос и закурил — и как будто этого году не бывало.

Много было в человеке терпения. Но как всякой силе, так и терпению приходит срок, и тогда получается — революция. И все удивляются: как, почему, откуда? — так безнадежно беспамятен человек.

По вечерам, а зимние вечера, когда нет и проблеска дня, бесконечны, Шидловский заходил к Оле. Молчаливый, он мог часами сидеть, не давая о себе знать, и это молчание не беспокоило: ведь за его суровостью ничего не скрывалось, а было, как чистое поле, а в глазах — беззаветная верность.

— Я буду вышивать,— скажет Оля,— а вы мне читайте.

Так прочитали Лермонтова «Герой нашего времени».

— Когда-нибудь я вас встречу,— сказал Шидловский,— как обрадуюсь, а вы скажете, как Печорин Максиму Максимовичу: «да, что-то припоминаю».

После Лермонтова Оля выбрала Достоевского: «Преступление и наказание». Но с Достоевским дело не пошло. Чтение было прекращено на той сцене, где изображено последнее унижение «бедности», на решающей для Раскольникова встрече на Конногвардейском бульваре.

«...выглядывая скамейку,— читал Шидловский,— Раскольников заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину... Она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи (матерчатое) платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое, а сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клок отставал и висел, болтаясь. Маленькая косынка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны...»

— Не могу больше читать,— крикнул Шидловский и бросил книгу,— не могу вынести.

Или этот образ человеческого позора обжег сердце, раненное однажды, или в этом образе позора оскорблена была его беззаветная и безоглядная любовь к Оле — этот чистейший образ недоступной и недосягаемой, гордой и правдивой.

Достоевского Оля заменила Писемским.

Вопиющее надругательство человека над человеком и человека над самим собой — вот закон «ошибочного» мира, и никто не нес его в себе так полно, как Достоевский,— потому-то от его признаний и такая жгучая боль. У Писемского с его полетом, как сам он о себе выразился, не орлиным, но и не лживым, этот мир — не «ошибочный», а только «привычный», а ведь если привычный, то его и нарушить можно и переделать, и потому самые возмутительные сцены из жизни этого «привычного» мира — «картины нравов нашего времени, где собрана вся ложь России», читались гладко и увлекательно, как исторические романы.

В «Взбаламученном море» особенно поразили Шидловского слова Сабакеева — Сабакеев революционер: на уговоры сестры, остерегающей брата — покинутой мужем сестры, для которой гибель брата равна гибели ее детей а, значит, больше ее собственной — «очень жаль,— ответил брат,— и если б от этого в самом деле погиб я сам, мать, ты, дети твои, все-таки, я ни на шаг бы не отступил».

А лирические «хоровые» концовки — Писемский ученик Гоголя, как и Гоголь, любил театр, и после Гоголя, как чтец, первый — нравоучительные и мечтательные концовки трогали. И особенно растрогал запев старой крепостной песни — Шидловский повторял его сотни раз за белокурым студентом, который в московской биллиардной, опершись на кий и подобрав высоко грудь, пел чистым тенором:

Уж как кто бы, кто моему горю помог...

С первым пароходом к Оле приехала Лиза Хворостинина.

Хворостинины соседи Ильменевых. Но Ильменевы, как и ближайшие Черкасовы, «расточали» и постоянно нуждались в деньгах, Хворостинины же вели большое хозяйство и не только никогда ни у кого не занимали, а сами ссужали соседей и не без выгоды или, как говори-

ли, «не по-Божески». Лиза Хворостинина училась в Киеве, много слышала о Оле, и очень хотела познакомиться, но все не решалась: по сердцу добрая и вот было же в ней что-то, что повлекло ее к Оле, но, в противоположность Оле, очень покорная. И когда, наконец, состоялось знакомство, и, под влиянием Оли, затеяла Лиза и ее сестра Соня ехать в Петербург на Курсы, и родители согласились, но «чтобы одна которая-нибудь», Лиза уступила Соне. Перед отъездом в Петербург Соня захворала тифом и умерла. Случилось это в городе, и была при ней только Лиза. Оля приняла большое участие: по ее зову на похороны собрались все какие только были студенты и курсистки. Такое внимание Оли еще больше привязало к ней Лизу. На Курсы Лиза не поехала, нельзя было оставлять отца и мать, да и вообще о Курсах больше не могло быть разговору: из Петербурга тетка ее писала, что «все эти курсы затея Ильменевой, а надо хорошого жениха искать», Лиза подчинилась, но навсегда осталось для нее недосягаемым — Оля. Лизе хотелось что-нибудь сделать, чтобы было похоже но Олю,— когда ее выделят, Лиза отдаст все деньги на революцию, а пока она займется отцом: и она говорила с отцом, убеждая его, со слов Оли, и отец, под влиянием ли семейного несчастья и что Лиза единственная осталась, как будто согласился — и понизил процент на свои ссуды. А когда Олю выслали, Лиза выпросила позволение у отца проехать к Оле на Печору.

Приезд Лизы — большой для нее подвиг, а Оле — она за несколько дней надоела.

Оводов, наблюдавший Олю еще до Петербурга, заметил в ней одну черту и говорил ей об этом: к Оле влеклись безотчетно и такие, которые не имели о ней никакого представления, и Оля никого не отдаляла от себя, и от несхожести всегда начинались недоразумения, Оле было это очень мучительно — «если бы у ней не было этой черты, ей бы жилось легче».

Про Лизу нельзя было сказать, чтобы, очарованная Олей, она не имела о ней понятия, но уж одной своей покорностью как далека она была Оле. Чтобы не раздражаться и не огорчать Лизу, Оля придумала поручить ее Шидловскому. И Шидловский со всей своей угрюмой молчаливостью неделю возился с Лизой: катал ее на лодке, водил в лес, все делал, чтобы только не оставлять

ее с Олей,— для Шидловского это был большой подвиг.

А как ему хотелось что-нибудь подарить Оле, чтобы было надолго и памятно. И к именинам Оли он выписал из Москвы «Словарь» Павленкова и надписал из Евангелия о «лепте вдовицы»; у него это вышло совсем непосредственно, таким он был весь, и глубоко правдиво: он жил только на те шесть рублей казенных, какие получали ссыльные.

КОСТОЧКА

Следующий год Оля жила ближе, где было много ссыльных. За Олей переехал Оводов и Шидловский. И на новом месте все оставалось неизменным: Оля была под глазом Оводова и всегда при ней был Шидловский. Шидловский по-прежнему старался делать все, что было бы Оле приятно,— кроме писем, он приносил Оле кедровые орехи: Оля полюбила кедровые орехи.

Оля любила Мушку — это была трехлетняя чудесная девочка ссыльных Булашевичей, а настоящее ее имя — Янина. Мушка часто ходила с Олей к Смелковым, и это называлось на Мушкином языке — «идти в маленький домик». Смелковы — две устьвымьские барышни, очарованные Олей и беззаветно ей преданные: Оля их учила — и одна мечтала сделаться учительницей, а другая фельдшерицей. К Смелковым Олю всегда сопровождал Шидловский.

Оля спросит тихонечко Мушку:

— Хочешь?..

— Не-ет! — Мушка никогда не скажет «да» и непременно напустит себе в штанишки.

Мокрую ее несет Шидловский. И Оля не может удержаться от смеха, потому что Мушка каждый раз говорит, обращаясь к Оле:

— Ты меня опять поведешь в маленький домик?

А Шидловский за Олю отвечает:

— Что-то твои ревизиты плохо кончаются.

— Не-ет,— говорит Мушка и лукаво смотрит на Олю.

Мушка ничего еще не понимает, не поняла она и когда осенью в их семье произошло большое несчастье: ее мать выписала к себе брата гимназиста, чтобы подго-

товить в другую гимназию, она выбрала этот город за тишину и много ученых среди ссыльных; один ссыльный задумал охотиться, и этот мальчик-гимназист с ним, сели они в лодку, а ружья поставили сбоку, гимназист взялся за весла, зацепил ружье,— вдруг выстрелило и его убило; а как горевала мать Янины!

Не поняла Мушка и когда в жизни Оли произошло большое событие, осветившее перед ней высокую любовь и на всю ее жизнь отбросившее тень: весной отравился и умер Заруцкий.

Заруцкий, немного старше Оли, единственный из всех ссыльных, который был ей всех ближе, и полюбивший ее не то, что беззаветно и безоглядно, как Шидловский, и не ревниво-кровно, как Оводов, а сужено, т. е. как будто бы родился с этой любовью,— и вот за какую-то измену этой суженой любви он должен был и не мог не погибнуть.

В любви есть много ступеней, и на каждой ступени своя тайна, а там, где тайна, там и таинство ничем неумолимой и неизбывной силы — трагедии. И на самой первой ступени, в том, что русский народ называет **любва**, а не **любовь**,— против рожна не попрешь, раз режутся и режут, значит, трагедия. Но я сомневаюсь, можно ли всурьез принять и самые бешеные любовные страницы Карамазовых и вообще всю литературную перлюстрацию потаенной жизни: и разве не чувствительно через невольную улыбку или нетерпение и даже скуку или просто разочарование неудовлетворенного любопытства, что на этой первой ступени, где страждет только тело горящее, дышащее и поющее со своей знойной «любвой», больше комедии — классической комедии, веселого водевиля, а чаще — фарс.

Шидловский всю ночь оставался в больнице, куда отвезли отравившегося Заруцкого, и во всю неделю не покидал Олю. И когда Заруцкий помер, привел Олю из больницы домой. Только его глубокое настороженное молчание могло не ранить измученное до отчаяния сердце. И на Пасху, после пасхальной заутрени, он провожал Олю на кладбище на могилу.

Наступили белые ночи, белые — не петербургские, сочащиеся зеленью, а белые, как медь. В такие медные ночи с огромной белой перекошенной мертвой луной на Шидловского находила черная тоска. Одному оставаться не под силу, и он приходил к Оле: страшный, всклоко-

ченный, лесным пугалом стоял он перед ней и, глядя исступленными глазами, которые давно не знали сна, просил решительно и твердо:

— Спасите меня, не могу жить!

Оля давала ему шоколадку, как Мушке, когда та начинала капризничать, говорила с ним — ведь это пугало было ее собственной тенью и его глаза — ее глаза, не находившие себе сна! — разговаривала и жалостью отвевала от его бедного сердца гнетущую черноту.

Нет, Оля больше не могла жить в этом городе.

И на третий ссыльный год Оле разрешили переехать еще ближе, где было гораздо людней и почта приходила не дважды в неделю, а всякий день.

Накануне отъезда ссыльная колония устроила в честь Оли прощальный вечер. На таких проводах, всегда очень грустных и для уезжающих, и для тех, кто оставался, пили чай и ожесточенно спорили: одной какой-нибудь теории никогда не было и не было согласия, но мысль была одна; как переделать окаянную жизнь,— и заветным неизменно была революция, в которую все верили при всяких разногласиях.

Была белая медная ночь.

Шидловский провожал Олю домой: еще свирепее казался он от ночного медного света.

— Можно мне зайти к вам важное сказать? — сказал он и, войдя за Олей в ее комнату, остановился, закрыв собой дверь.

В глазах его было столько страдания, но в голосе неколебимая твердость:

— У меня большая просьба... я отрублю себе палец и выварю, чтобы одна косточка осталась, и дам вам на память. Я тогда буду знать, что вы меня не забудете, а у меня не будет хватать одного пальца, мне будет хорошо, что он у вас.

От неожиданности Оля забыла и шоколадку дать, как всегда бы это сделала. Только зачем же отрубать палец, она и без косточки верит ему и не забудет. Но он смотрел упорно, не видя ничего, и повторял о пальце и косточке, готовый отрубить себе не один, а все пять.

Оля долго его разговаривала и, наконец, не вытерпела:

— Да не возьму я вашего пальца! — сказала она строго.

И под ее властным голосом, которому он не мог не повиноваться, он вышел из своего костяного столбняка: он себе палец не отрубит и косточку не выварит, но он об одном просит — дать ему на память что-нибудь свое, что Оля носила:

— Лучше всего грязный чулок.

Сам он, при всей своей крайности, донашивал белье до выброса, и в этой просьбе его было последнее смирение и высшее слово любви, что вот и самое ничтожное, но только Олино, он сохранит, как драгоценность.

Оля вынула из корзинки чистую кофточку белую с голубыми цветочками. И с какой бережливостью взял он ее — единственную и последнюю память — и, вдруг, как осветило лицо его, и Оля увидела: слезы.

Он вышел, но не ушел, и, стоя у порога, долго махал шляпой,— пока Оля не закрыла окно от комаров.

Была белая медная ночь.

Оля думала, как неизменно думала все эти месяцы о жестокой судьбе и бедной человеческой доле: решившись умереть, Заруцкий сказал ей, что он болен, а произошло это до встречи с ней, и теперь единственный выход — смерть.

Когда в первую встречу,— вспоминала Оля,— они ехали вместе на пароходе, была такая же белая ночь, и река такая спокойная, загустевшая от двух слившихся зорь, и вдруг на мгновенье все, как остановилось, и это мгновенье было не временное, а из вечности. И когда она стояла с ним на мосту и было тихо кругом и вдруг оба они замолчали, она почувствовала, что и это молчание не простое. И когда шла она с ним по дороге к кладбищу,— в ее комнате был угар, и надо было отдышаться на воле, а на воле снег и лес и небо, как снег,— и вот словно кто-то прошел между ними, и это было тоже из вечности. «Из вечности» — это покой, ясность и сознание неизбежности совершающегося, и, как будто, оно уже было когда-то, и другой человек не только не мешает, а еще глубже и острее от его присутствия это чувство. И когда провожали на кладбище несчастного мальчика гимназиста, Заруцкий сказал Оле: «первый обряд, где мы с вами встречаемся!» — и его голос прозвучал среди ясности и чистоты осеннего дня,— и это тоже из вечности. «Да, хотел убить утку,— сказала Оля, думая о гимназисте,— а должно быть, пожаловались, и сам убился».

И потом, когда в эти медные ночи она представляла себе, что Заруцкий встанет и вдруг придет к ней, и что она ему будет говорить, и как дальше пойдет жизнь — эти ее исступленные мгновенья — мечты о невозможном, но мысленно как осуществимые и даже когда-то раз осуществленные, эти мгновенья были тоже из вечного. И когда однажды луна упала косяком и в лунном серебре задрожала тень — — «Но Оводов,— спросила себя Оля,— ведь больше заботиться, чем он, кто еще может?» Но она ничего не могла припомнить из «вечного», ни одного мгновенья, чтобы вдруг открылся этот покой и ясность и сознание неизбежности совершающегося и память, как о чем-то уже бывшем когда-то; Оводов бился головой об стенку, в буквальном смысле слова, и это было очень страшно, Оля не знала, что и делать, но это было здешнее, не «оттуда», могло и быть и не быть: Оводов весь был как бы продолжение ее рода, ее дома, где родилась она, Ватагино, откуда ушла она, здешнее, кровное, и ничего-то от того существа ее, осененного белым светом, самым жарким и самым пронзительным. Оттого-то она и не могла полюбить его,— она за многое благодарна ему, но «своим» никогда не чувствовала. «А Шидловский?» — — На столе лежал еще не уложенный в корзину «Словарь» Павленкова и эта «лепта» напомнила Оле бесконечные зимние вечера, чтения с Шидловским и как бросил он Достоевского и, растроганный Писемским, повторял запев песни, которую белокурый студент в московской биллиардной, опершись на кий и подняв высоко грудь, пел чистым тенором:

Уж как кто бы, кто моему горю помог...

И, не говоря, Оля перебирала сухими губами, повторяя слова, как свои. И вдруг перед ней мелькнула «вываренная косточка», которую только что упорно и так решительно предлагал на память Шидловский, и вот уже месяц не улыбавшаяся, Оля в первый раз улыбнулась.

И я скажу за Олю — эта ее улыбка — это отсвет беззаветной и безоглядной любви, когда любят не для самого себя, а для того, кого полюбил, и эта улыбка — как суженое слово и как судьбинное молчание — из вечного.

СКВОЗЬ ОГОНЬ СКОРБЕЙ

ЗА ЗЕЛЕНОЙ ОГРАДОЙ

ОЛЯ

«Голова львова сера, космата с огненной пастью в поле блакитном». Под этим знаком вся история Оли: ее детство, отрочество и юность.

«Оля»: В поле блакитном. Доля. С огненной пастью. «Голова львова».

Этот львовый знак — фамильный герб Задоры Довгелло. Оля — Серафима Павловна Довгелло и повесть «Оля» написана с ее слов. И имя Оля взято от нее: в детстве она мечтала о какой-то заветной подруге, которую будут звать Оля.

И что странно, это имя за последние годы повторялось у нас чуть ли не всякий день или по воспоминаниям о Ольгах или приходят и все Ольги: «Оля» кружилась над домом.

Есть в именах тайна. Знать имена, значит владеть их силой: на этом основаны заклинания. Именуют человека неспроста, все равно по календарю или по пристрастию: в имени знак его сил и судьба.

Произошла перемена: пламенная Серафима в лунную Ольгу. Ольга вышла из мечты Серафимы. Стало быть, такое превращение возможно в свете и цвете жизни.

Неделимую единую любовь делят на высокую и простую — Divina et l'amore profane,— так можно говорить и о неделимом едином источнике жизни, о двух началах ее цвета и света: «разожженный уголек в крови» и белый, самый жаркий пронзительный свет. Одни родятся для земли, другие на земле для неба. Есть «любовь» и есть «любва», «любить» и «любиться», и знойные песни сложены как на любовь, так и на любву, и умирают из-за любви и равно из-за любовы.

С кем идет Оля в русской литературе? Да такой нет, одна. Но есть же кто-то ей не чужой, кого она могла выбрать себе в подруги?

Вспоминаю Лизу — «Некуда» Лескова и тургеневских: пламенную Марианну «Нови» и Елену из «Накануне».

Оля любит переговаривать Татьяну. Или оттого, что образ пушкинской Татьяны, единственный, овеян таким горьким светом, недаром и вызвучено Чайковским. Горький свет — цвет человека неужившегося со своей судьбой. А верность слову, перед образами или в мэрии, исполнение долга, вызвавшее восхищение Достоевского, да это как-то само собой и не имеет значения: Татьяна не собачонка, что можно приласкать, но можно и турнуть.

Оля задумывалась о судьбе Лизы «Дворянского гнезда» — говорю за Достоевским о Лизе после гордой Татьяны — Лиза отходит от своего счастья, Лиза уступает и идет в монастырь на казнь: от любви никуда не уйти и нельзя позабыть. Лизу жалко, как жалко Анну Каренину, обманувшуюся, поверила в какую-то докончательную любовь какого-то верхового пентюха, оскорбленную и покинутую.

Но кто Оле чужд, это все зверовидное тургеневское: Одинцова, Полозова, Лаврецкая, Ирина, и толстовская Элен, а у Лескова Глафира («На ножах»), у Писемского Екатерина Петровна («Масоны») и конечно, Саломея Вельтмана.

Чужды Оле и карикатуры с «инфернальным изгибом», что представлено у Достоевского как «бунт и соблазн крови». Не свое, конечно, и такое трогательно «животное», как добродушная Тетеся Квитки-Основьяненки. А надо сказать, что эти бессловесные Тетеси всю жизнь льнули к Оле, как и любимые — все эти безумные, блаженные, юродивые и ни на что не похожие.

* * *

«Люди мои, братья мои, я прожил весь в тоске и неудаче. Но я люблю вас и не хочу вам того горя, какого слишком много понес на себе. Вот что: любите жизнь. Любите ее до преступления, до порока. Все — к подножию Древа Жизни. Древо Жизни — новая правда, и это одна правда на земле. И до скончания земли. Ничего нет священнее Древа Жизни. Его Бог насадил. А Бог есть Бог и супротивного наказует. Только его любите, только им будьте счастливы, не отыскивая других идолов. Жизнь — в самой жизни. А выше ее нет категорий, ни философских, ни политических, ни поэтических. Тут и

мораль, тут и долг. Ибо в Древе Жизни — Бог, который насадил его для земли. Я со всеми людьми ссорился, потому что все люди не понимают Древа Жизни, разделясь на партии, союзы, царства, школы, когда всего этого и нет под Древом Жизни, все это оскорбляет собою Древо Жизни. На самом деле и в бесконечности ничего и нет, никого и нет, кроме Бога, благословляющего единое Им насажденное Древо Жизни, коего люди — частицы, клеточки, точки. И они все могут — кроме уныния и тоски. Я был тоскующий человек, но я хотел бы быть последним на земле тоскующим человеком, и хоть с неба посмотреть на счастливое и беззаботное человечество, на зеленое человечество с одною только радостью, и без всякого дыма, горечи, злобы, злодеяния и отравы. Этого не надо, воистину — не надо...» (В. В. Розанов, о К. Н. Леонтьеве — 1831—1892. Новое Время, 23 февраля 1917 г)

«Василий Васильевич! Ваша мечта, новая правда: жизнь, потому что вы прожили свою жизнь в тоске и неудаче. Но кого вы сунете под ваше Дерево в беззаботное зеленое человечество? Я их всех вижу и первую вельтмановскую Саломею, а за ней тургеневских и толстовских зверовидных, и кобылиц Достоевского с Аглаей и Грушенькой, все они с «угольком». К ним в «союз» вы присоедините зеленых с Сингапура из края роз и яда. Сам я там не был, а знаю от И. А. Гончарова, пишет с Фрегат Паллады: «Как ни приятно любоваться на страстную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко-дышащим ртом, с волнующейся грудью, но видеть перед собой только это лицо, никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали — устанешь и любоваться».

«Василий Васильевич! Мою Посолонь я вам читал на все «гласы», вы знаете, как я люблю природу: весну, осень, траву, деревья, цветы, зверей и птиц — «жизнь», но больше недели прожить на лоне природы не в состоянии. Все вокруг топчется и всякие мелкие зверки и букашки и толкачики — все они родятся «на радость», а мне хочется книжку почитать, «помучиться», и затоскуешь. Я родился с «подстриженными глазами» и природа с ее разнообразием меня утомляет. На вечерний закат — кто только не восхищается! — или как англичане, не отрываясь, смотрят из автокара на бретонские морские сверкающие переплеты, но мне достаточно только гля-

нуть и отвернусь. Люблю грозу, северное сияние, пожары, но какие могут быть пожары под Древом Жизни? Уж очень под вашим Древом Жизни благообразно, Лермонтов от скуки просто разложит костер и подожжет — туда и дорога и со всеми райскими плодами. Я понимаю, откуда ваша мысль, да вы и не таите: «истосковался, неудачи!» — вы мечтаете о рае Божьем. Древо жизни! вы сами знаете, не знай с которой стороны подойти: дети хворают и редко не услышишь жалобу: у кого спина, у кого печень и постоянная зависимость от погоды и со всех сторон тиски, я говорю о внешнем, осязательном, не о душе — там ад без срока. Человек выбрал другое дерево и свою волю не уступит до смерти. А хочется тихо в своей норе посидеть, и чтобы было тепло, главное, натоплено, а по Достоевскому еще и чаю попить, а по мне и с баранками, и без всякого Лермонтова, вообще без «человека», а только домашние животные допускаются, пускай себе лают и мяукают и, если охота, топчутся на здоровье. А людей «лунного света» и с ними Олю? Помните, как в первый раз заглянув ей в глаза, вы, обратясь ко мне, сказали: «Серафима благородная, а мы с тобой...» Я понял, о чем вы хотите сказать.— Олю вы не принимаете под ваше Дерево, в ваше цветное Телемское аббатство? Но если Бог кладет в человеческое сердце раскалённый уголек, Он же озаряет и белым, самым жарким светом — Древо Жизни многолиственно и много поясов, оно покроет с головой ваше зеленое и среди них вы первый заскучаете и, как было в жизни, поссоритесь и полезете вы туда, где Оля. Оля — это мечта, «без которой ни Бога, ни Его Древа Жизни».

* * *

В детстве Олю встретила Норна — одна из трех и открыла ей путь.

«Оля,— сказала она,— ты должна посвятить себя Богу».— «Да»,— твердо ответила Оля.— «Тебе надо левую грудь отрезать и положить под образа». Оле вдруг стало страшно и она ничего не ответила. «Ты согласна?» — Оля молчала. «Левую грудь надо отрезать и положить под образа, согласна?» — «Согласна»,— сказала Оля. «Подумай об этом и приходи!» — и она поцеловала Олю.

Все это рассказывала Оля просто, как такое, что не тайна и рассказывать можно, и не заметила, что мать поднялась и вся изменилась.

«Мама, я готова, я посвящу себя Богу».

И все, кто подходил к Оле, обжигались о ее пламя посвященной. И чем ближе подходили, тем раскаленнее становился огонь, и не жгло, а палило. Судьба их была предрешена: смертный приговор. Одни кончали самоубийством, других подстерегал случай и та же совершалась расправа.

Скопческой порочице не удалось совершить над Олей «крещение кровью», но не все ли равно, если сама Оля говорит от всего сердца несомненно и твердо: «я посвящу себя Богу».

И новая правда жизни, прозвучавшая под Древом Жизни:«любите до преступления, до порока» для Оли беззвучна и непонятна, хотя сказано по-русски.

На ее пламя влекло и ее пламя было ей оградой: пламенные силы хранили Олю.

С ПЕРВОГО ГЛАЗА

Я еще ничего не печатал, а про меня идет слава: писатель декадент. О декадентах все знали по статье Н. К. Михайловского в «Русском богатстве».

«По Пензенскому делу непартийный с.-д. писатель декадент», что означало «никуда»,— мое написанное проходное свидетельство в Усть-Сысольск.

* * *

Пройдя через Вологодскую тюрьму, пять суток плыл я по Вологде, Сухоне и Сысоле. На медовый Спас — 1 августа (1900 г.) рано утром под звон колоколов — звонили к ранней обедне, пароход причалил к пристани, дальше ехать некуда: Усть-Сысольск, по-зырянски Сыктывкар.

Я поднялся на высокий берег и с легкой ношей — этапный мешок за плечами, пошел в город.

Приютил Федор Иванович Щеколдин, староста и казначей, старейший из ссыльных, учитель, подобие Варлаама индийского. Имя мне известное — на Москве

слышал: Щеколдины миткальщики, Ивановское село Гольчиха, потом я узнаю его «житие»: родственники считали его юродивым, а он родственников прокаженными; с.-д., соблюдавший посты и церковные праздники — такие попадались на Руси среди революционеров «служители всему миру».

К раннему чаю собрались другие ссыльные: приезд нового — событие, и любопытно: такого еще нигде не водилось: декадент!

Настоящие люди, попадая в такие края, справляются у старожил про охоту. Дрианского я читал — первый по богатству слов и зверя знает, как родного брата, а я и в лесу никогда не был и слова из словарей выписываю, мне охота, как апельсин корове, мне бы до книг добраться.

И тут я услышал о Оле.

Ольга Александровна Ильменева из Петербурга по делу с.-р.; год держали ее на Шпалерной в предварительном заключении, с месяц как приехала в Усть-Сысольск В ссылку привезла много книг.

Я подумал: «стало быть, нас вместе арестовали в марте: ее в Петербурге, меня в Пензе».

После чаю решено было идти к Оле. Щеколдин взялся меня проводить. Кстати, ему нужно по своему делу.

* * *

Было крепкое осеннее утро, погожий день. По реке, за рассеянным белым туманом, разливались красные с золотом лебяжьи плывучие перья; за краткое буйное лето перепеклось солнце и освещало землю, не нагревая.

Лес неприступной стеной на том берегу: ни к нему, ни сквозь.

Я смотрел кругом — какая нависшая грусть над притаившейся пустыней. Я узнаю прародину человечества, крайний камень откуда выйдет и пошел, разбредется по лицу земли, человек. Я вижу первого человека, зверей и духов под пологом двух слившихся зорь. И читаю древнюю память человека о создании мира — о природе жизни из отчаяния и восторга.

Щеколдин заглянул на почту, и я за ним. С почты начинается оборванная жизнь, но ни я, ни мне: я еще в

пустом пространстве, открытый всем ветрам, а памятью в веках.

Почта меня отрезвила и я стал раздумывать, не повернуть ли? Но Щеколдин шел уверенно, он не из любопытства, а по делу, для которого нет ни рано, ни поздно, а только надо, суровый Варлаам индийский.

Оля жила на другом конце, за Собором, далеко, а пришли.

У Оли сидел Оводов и она была недовольна, что так рано. А Оводов нарочно пришел пораньше и возился у Олиной хозяйки: он сделал для Оли стол и полку — он все может сделать, а для Оли даже и такое, о чем никогда в голову не приходило.

Оводов лесник, кончил Лесной Институт, ему все лесные породы, как мне «кикиморы», он охотник, читал й Дрианского, только оценил его не за слово, а за охотничью точность и разнообразие охоты. Оводов сосед Ильменевых, знает Олю еще гимназисткой и все ее привязанности и причуды. Сегодня медовый Спас, он достал мед и готов, если пожелает Оля, проводить ее к обедне, и нет такого, на что он не был бы готов для Оли. Его ревнивая забота, в ней было что-то от родного дома, всегда раздражала и тяготила Олю.

Сегодня праздник. Оля в своей вышитой белой малороссийской кофточке, на шее янтарные бусы. Янтари запутались в ее тяжелой косе. Нетерпеливо Оля распутывала, да не легко было высвободить. Новый стол и полка помирили ее, и она не сердится ни на любимые янтари, ни на Оводова.

Слышно было, как на кухне загудел самовар.

Оводов поставил на новый стол тарелку с медом — мед, как Олины янтари, соты. И рассказал новость: с пароходом приехал новый ссыльный с.-д., иронически добавя: «декадент Ремизов».

Из сотов вылетела пчела. Оля вскрикнула.

Оводов, он все может, не разгоняя, сейчас же вытурил в окно напугавшую пчелу и пошел на кухню за самоваром.

И несет, начищенный бузиной, блестящий, полный до краев, выбивавшийся паром и песней. В это время за дверью раздался стук. Оттого ли, что Оводов, второпях, не глядел себе под ноги, или от неожиданности, или просто загляделся на Олю, самовар выскользнул из рук и

тарарахнулся, со всем своим кипятком и раскаленными угольками.

Стоя за дверью, я слышал шаги — мне казалось много народу и ходят. Двери не картонные, а за ними крепкие сени и еще дверь, режь, не услышат. Щеколдин продолжал стучать. И я подумывал: «пускай один Щеколдин, я лучше тут подожду».

Дверь отворил Оводов: мне показалось, весь он во весь свой рост промокший, черные спутанные волосы закрывали лоб, очки запотели, в руках тряпка и течет.

Я уверен, будь Щеколдин без меня, так бы и пошел, приложившись к двери, но как было поступить со мной? А если Оля скажет, зачем не пустили и будет мучиться, что не пустил? И как тогда поправить?

И мы вошли.

Я сразу увидел: Оля недовольна. И хотя в ее крепкой руке я не почувствовал нетерпения и улыбнулась, но досаду не скрыть — а может, это вовсе не на меня?

И тут я все заметил: и богатую косу, и какие ровные зубы с чуть выступающими клычками и оттого так тонко очертание рта, и золотой крестик лопастком из-за ворота под янтарями, а в серых глазах по-детски промелькнул испуг, а все завеяно — голубое.

Оводов по полу с тряпкой. Я стоял. Оля отвечала Щеколдину резко: надоел он ей. А Щеколдин говорил с ней не так, как со мной: так его миндовские дяди миллионщики говорили с бесчестной казной — с дедушкой Коноваловым. И я почувствовал, что у меня нет пылу так сразу и попросить книгу.

В комнате хозяйские вещи, но было и свое — на комоде коробочки и книги в переплетах — Михайловский. Я протянул было руку, но Оля заметила, я это почувствовал, и как отвечая Щеколдину, отошла к комоду.

И когда я заговорил о книгах, она ничего не сказала, для меня неожиданно, стесняясь.

И я представил себе, как она тут беспомощна и одинока среди ссыльных. И жалость смутила меня. И я продолжал о книгах, но не выпрашивая, а предлагая ей.

— Мне обещали,— сказал я,— присылать все новинки французских символистов — прямо из Парижа.

Оводов без тряпки, прислушиваясь, отвечал Щеколдину обрывисто и сухо. А я, прихвастнув Парижем, одно думал, как бы поскорее уйти. Щеколдин мямлил о очередном взносе в кассу.

— А скажите,— Оводов обернулся ко мне, глаза его нехорошо смеялись,— Ремизов! вам не родственник Ремизов у Горького?

Я не сразу сообразил: «у Горького»? Но почувствовал ревнивую неприязнь.

— Нет, не родственник,— ответил я растерянно, как пойманный.

— У Горького дважды,— продолжал Оводов,— в «Вареньке Олесовой» Сашка Ремизов конокрад, а в «Фоме Гордееве» золотопромышленник.

Щеколдин прощался. Оля предлагала нам чай с медом.

Мне было очень грустно.

— Сюда мне не дорога,— подумал я и мое, извечно наперекорное, глубоко повернулось во мне.

— А по-моему, Ремизов повар,— сказал Щеколдин,— не то в «Троих», не то в «Исповеди».

НЕПОПРАВИМОЕ

С Олей я не встречался в Усть-Сысольске. Оводов оберегал ее. Я сидя в своей кикиморной норе, с кличкой «декадент», за самый короткий срок превратился из Ремизова конокрада, золотопромышленника и повара в Басаврюка Подстрекозова. Как-то к разговору о жизни ссыльных, Горький рассказал мне обо мне такие истории, впору Вечерам Гоголя: и волшебство и безобразие; я помалкивал — кому же не хочется быть и краше и богаче!

Оля научилась переплетать и однажды Щеколдин предложил мне, будто бы от Оли, переплести что-нибудь; и дал Историю философии Люиса. И не скоро, а вернулась ко мне книга в переплете — «декадентский», не смеясь смеялся Щеколдин: одна сторона синяя, другая желтая, а корешок красный под кожу в пупырушках. Храню эту единственную память, пусть сделанное на смех, но я и такого не заслужил.

С первым пароходом Оля переехала в Сольвычегодск. Были проводы, но меня не позвали, хоть Ще-

колдин и настаивал «в порядке товарищеской дисциплины».

Так бы, казалось, повесть о Оле кончилась, а на самом деле начинается трагедия.

* * *

Его я знаю по портретам и рукописям — тетрадь с рассказами. Заруцкий поляк из Ломжи, тонкие черты — печать духа и культуры. Учился в Дерпте. По-польски начал писать еще студентом, стало быть, с тюрьмой лет пять и с год по-русски — для Оли.

Почерк мелкий убористый — латинский без усов. Лирическая проза — осенний день, печальный вечер, а ночью метель, а во сне распятая дорога, полевые цветы. Его учителя Красинский и Норвид, а путь Марлинского, русского ученика Сенковского — польская руда в русских ладах, как Киевский распев.

Оле было свое и эта извечно-предопределенная польскому народу, подымавшаяся до небес, Тоска со всей страдой выраженная не воздушно закатывающимся вальсом Шопена, а широким звучащим простором Чайковского и сверкающей глубиной глаз неутолимой печали Врубеля.

С Заруцким Оля никогда не скучала и его забота не тяготила. Его печаль проблескивала улыбкой, чего не было у Оводова, всегда озабоченного: Оводов не любил шутить и сам не мог.

И для Заруцкого и для Оводова Оля — все. Это были ее два рыцаря, которым Оля могла все доверить и быть уверенной в их любви. Только Оля это не так понимала, как ее рыцари.

И что было для Оли удивительно, Заруцкий, в свои последние отчаянные дни, говорил ей обо мне, советуя познакомиться поближе, а знал он меня только по слухам: Подстрекозов.

Заруцкий отравился, он не Оводов, не земляной, а воздушный и все чувства его больнее.

Смерть Заруцкого потрясла душу: Оля обвиняла себя, как однажды в смерти Черкасова: застрелился. Но в чем она могла упрекнуть себя? И все-таки все произошло из-за нее. Стало быть, есть что-то в существе ее. Что же такое существо ее?

«Верую во единого Бога Отца...» — читала Оля символ веры, свое неразделимое от ее существа и вдруг вспомнилась ей скопческая пророчица, слова ее, и Оля отвечала убежденно: «я посвящу себя Богу». В этом и было существо ее. «И разве можно заставить себя что-нибудь любить?» — спрашивала она себя и возмущалась нашептыванию голосов, которые осуждали ее. А перед глазами возникал, все заполняя, образ человека, который любил ее и не вынес своей жгучей любви. И чувство вины и непоправимое терзало ее.

Я встречу еще одного человека, тоже обнаженная совесть, это А. А. Блок. Мне говорили, таким был Глеб Успенский.

* * *

Месяц как Оля в Вологде. Ее комната на Желвунцовской, близко от меня. Обедает она у Савинковых. Всякий день я встречаю Олю за столом. За месяц я не сказал с ней слова, кроме каких-то столовых. В разговорах она отсутствует: слушает и не слышит, а другой раз просто сидит в столбняке и если спросят, она как проснется, и не сразу ответит. Встречал ее и на улице: она шла в такой глубокой задумчивости, когда на оклик вскрикивают.

О самоубийстве Заруцкого я знал по слухам, а слух всегда, я это давно понял, как кому хочется и приятнее, а тут «любовная история», простор воображению. Я не разбирался и было одно только: жалею Заруцкого и Олю.

Раз случайно я слышал, как Оля смеется: она играла в соседней комнате с детьми: какой это беззаботный, крепкий смех, и я подумал: «хороший голос!»

А в этот день она была сама не своя, в первый раз вижу, гнев горел на ее лице и вся она вздернута и голос другой и акцент: не Москва, не Савинкова Варшава, свой черниговский. Она от губернатора. Срок еще не кончился (ей было дано разрешение на два месяца), а Муравьев, вице-губернатор, требует немедленно вернуться в Сольвычегодск и грозит отправить этапным порядком. И когда она возразила, что пароходы не ходят и ехать пятьсот верст на лошадях она не может — «и почему?», Муравьев сострил: «за такое распоряжение вы должны

благодарить своих товарищей ссыльных». На такое нечего ответить и это оскорбило ее.

Муравьев замечателен был своим тупым ничтожеством: его распоряжения вызывали смех, а чаще досаду.

— Глупый малый,— заметил Щеголев,— ему б в полиции вторым помощником письмоводителя или на каланче.

Савинков одобрял Олю: не подчиняться.

А я подумал: «Все это хорошо, когда все хорошо». Но какой найдет себе выход Оля не подчиниться, я не догадывался.

Обыкновенно после обеда Щеголев читал вслух Чехова. И стихи декадентов — 1902 год — Бальмонт, Брюсов, а из старых Фет. В этот раз Бодлэр, перевод П. Я. (Мельшина-Якубовича). Хорошо читал Щеголев, отчетливо.

Зажгли лампу. Самая осень. Слякоть и ветер. Помню число: 26-ое октября. Для Бодлэра подходит.

Я попросил книгу себе на вечер. И прощаясь, заглянул проверить: книга не Щеголева, а Оли, и посвящение.

* * *

Жил я один в доме — почему-то называлось «семейной квартирой»: комната с печкой и кухня, заставленная кроватью. В комнате два окна: на улицу и в дерево; и в кухне окно — в сад.

Под дождем обнаженные деревья скрипят с натугом, в стекло стучит ветка — длинные усталые пальцы, с улицы швыряет ветром.

На ночь я приготовил самовар и читаю Бодлэра. Угольки из печки с теплом поблескивают.

Еще самовар не допел свою песню, слышу стучат.

«Кому, думаю, верно, угорелый сосед?» Со мной был случай, на четвереньках выполз и не кулаками, головой стучал в соседний дом.

Но это был стук не головной.

Я отворил и не верю глазам: Оля. Ее зеленая кофточка была вся исполосована черным дождем, а на голове поблескивали дождинки.

Она пришла за книгой. Она видела, как Щеголев дал мне на вечер, книга память, а от Щеголева назад не получить.

— Прочитайте мне что-нибудь! — сказала она и села у печки.

И я начал из «Непоправимого»:

Властны ли мы заглушить неотступную старую
Совесть?
Живучая, извиваясь и киша,
Она питается нами, как червь мертвецом,
Как гусеница дубом.
Властны ли мы заглушить неутолимую
Совесть?

И я почувствовал, как под моим голосом она вся вздрогнула. Я закрыл книгу и подал ей. Но она с удивлением посмотрела на меня. И тут я заметил, что лицо ее пылает и волосы спутались и она все поправляла, точно хотела снять с головою.

Я пробовал о Бодлэре, но она никак не отзывалась, да она и не видит меня. Я отошел к окну, поправил вздувшиеся занавески и все думаю, что нет у меня ничего к чаю — угостить.

Но ей ни до чего было, она сидела как будто спокойно, но глаза ее закатывались и стиснутыми зубами, как бывает от досады, так резко — этот звук нельзя слышать безразлично.

Я налил ей горячего чаю, думаю, согреется и отойдет. И вдруг она изменилась: она смотрела в меня и просила, но я не мог понять, что ей нужно. Я даже спросил. Но она не ответила и только глядела с такой болью и стиснутыми зубами — этот звук, от которого падает сердце.

За окнами вышептывало из ночи. Их было много, они раздували занавеску заглянуть. Я поправлял, переходя от окна к окну. А она сидела, не шевелясь, то с горечью глядит, прося или напомнить хочет? — то уйдет — белые глаза.

Я вышел в кухню подогреть самовар. Надо было что-то сделать, и не знаю. Перемыл посуду и вернулся.

На мои шаги она поднялась. Она была не та: с лица сошла краска и белое до сини переходило в синь — или так гляделось моим глазам? Она заторопилась, но что-то задерживало: хотела ли она сказать мне о своем решении, ведь надо ж кому-нибудь сказать, и мучилась, не могла выговорить. Книгу она не взяла. Так и ушла в черный дождь.

* * *

Помню наутро: укор — разве можно было так бросить человека? — но что же мне было делать? — откором глушило совесть.

За ночь все переменилось — кончилась осень — подсушило дорогу и серые тучи несли первый снег.

«Как это хорошо, зима!» — подумал я и снова глубоко резануло: о ночи.

Олину хозяйку я застал встревоженною, она махала руками, повторяя: «несчастье!» Это одно слово распахнуло тайну ночи: утром Олю свезли в больницу.

Хозяйка повела меня в комнату Оли. И сразу я узнал знакомое по первой встрече в Усть-Сысольске: те же в переплетах книги и на комоде всякие коробочки. А на столике, около кровати, развернутые порошки.

— Ими! — показала хозяйка и всплеснула руками.

— Отравилась! — сказал я и острой жалостью обожгло меня.

* * *

На третий день опасность миновала и меня пустили в больницу. Я подошел близко — как мне обрадовалась Оля! Никогда она так не смотрела — с такой любовью. А в словах ее было такое, будто мы век знали друг друга. И на лице ее, светясь, светилась ее улыбка, которая погасла в ту ночь.

И что удивительно, потом я заговаривал о этой ее ночи, но она ничего не могла вспомнить. Эта ночь прошла для нее, как глубокий сон, что тоже смерть.

Оле надо было умереть, чтобы под другим именем начать жизнь — свою страду.

НАТАША

Теперь, когда все кончилось и я говорю о призраках, дойдет ли мой голос и ответ получу ли я? Скажут ли мне — ошибся, или скажут — прав, что изменит мою, призрачную для них, жизнь? Или поправит непоправимое их жизни?

Прямо скажу, не с 3 июня 1940 года, не с бомбардировки Парижа и разгрома нашей квартиры началась катастрофа, а с той минуты, как Оля решилась вопреки существу своему, ею сознаваемому и однажды Норной открытому, выйти замуж.

Ее решение порывом — всем пламенем сердца, души и воли, в которой нет середины, а только «да» и «нет», и только «всегда» и «никогда».

Оля решила для себя бесповоротно выйти замуж по чувству, впервые пробужденному в ней и подчинившему своей власти, как однажды, отравленная «непоправимым», решилась бесповоротно умереть.

«Умереть» и «выйти замуж» — да ведь это в судьбе ее одно и то же.

И тотчас, как она решила, и там, в ее судьбах ответило своим решением бесповоротно. Ее ограждали пламенные силы, карая смертью всякого, кто приблизится, а теперь они завели свою игру беспощадно. «Мне отмщение и аз воздам!» — так прозвучал бы их голос — глас Господень. И горькие слезы зальют краткие улыбки жизни.

Люди белого, самого жаркого пронзительного света, посвященные Духу, родятся на земле, как и те с «угольком», и природа со своими дарами их не обходит, они не какие ублюдки, а люди.

Оля — последняя из матерей великомогучих Задор.

И «силы природы» — есть разрушающий Тарантул, а есть и заботливые лесавки — они в своем зеленом кругу, судьбою закрытом для Оли, слышат ее голос — этот голос им внятен — и вышли в заповедную рощу строить зеленую колыбель.

Есть на земле великая радость — она и горькая и полноцветная, ярче и тоньше всех цветов, а по теплоте несравнима ни с каким солнцем — радость матери.

И эта радость дана была Оле. Она приняла ее со всем своим пламенем. Тут-то и протянулись когтлявые руки «страшной мести»: они подкарауливают тех, кто тронул что-то недозволенное или взял да не свое: быть матерью не всем отпущено на долю — матерями родятся, а стать матерью — так не проходит.

И вот что произойдет: чтобы глубже, но и больнее врезать в сердце единственную материнскую память,

Олю разлучат — смерть ее Наташи была бы легче.

Разлука! Это ведь только отходит, но как бы ни зашло далеко, мысленно всегда на глазах и живет, а вернуть не вернешь: дразнящий призрак.

* * *

Мы всегда были богаты бедностью. Как мы прожили в Одессе и в Киеве — только молодость, да говорят еще, что я родился счастливый. И никогда не расставались с Наташей. А в Киевский пожар я вынес ее на руках через огонь — безумные и дети огня не боятся.

В 1905-м году министр внутренних дел кн. П. Д. Святополк-Мирский разрешил нам въезд в Петербург. В Петербурге начинался толстый журнал «Вопросы Жизни», редактор Н. А. Бердяев, издатель Д. Е. Жуковский. «По протекции» Льва Исааковича Шестова и самого Николая Александровича, оба отлично понимали, что плутуют, я получил место заведующего конторой.

При редакции нам две комнаты: в угловой Серафима Павловна с Наташей, а тут я ючусь, и тут обедаем и чай пьем и Наташу купаем. А на кухне в кутке Ганна, берестовецкая девочка нянька, очень скучала но малороссийскому салу, и поет над Наташей про «Гули, сиры гули, во червоных, во чоботах...» Сорок рублей жалованья в месяц, и почему мне такое число мучеников, так и осталось тайной, а прибавки я не дождусь: к новому году все вместе с журналом вылетим в трубу.

К вечеру, как зажигать лампы и служащие разойдутся из конторы, а редакционный прием кончился, я брал на руки Наташу и выхожу в зал и начинаем игру: Наташа порядочно кукует, чище часов с кукушкой, лукаво показывает язычок и ловко пальцами строит нос, а к Пасхе и говорить научу, то-то сказки скажутся!

Мы весело жили.

Я был не только заведующий конторой, а и всем редакционным хозяйством — дворецкий — домовой.

Образцовый порядок, каждая вещь на своем месте, бухгалтерия, по бумажным и типографским счетам без задержки, а гонорары выплачивались до выхода книги после верстки и редко за кем из сотрудников не числится аванс, конторские барышни блестят, как паркет и все двенадцать окон, конторские мальчики, нагуляв себе ро-

жи, наскакивали, лупя друг друга, как жеребята, ни одной жалобы, ни косого взгляда, в комнатах тепло, полное освещение и смех.

Но существо дела — расчетливость и коммерческая сметка — мои торгово-промышленные и биржевые родственники от меня открестились бы, да и сам хорошо понимаю, какой я хозяин! скажу наперед: и году не протянули, сорок тысяч ухнули, когда при расчете можно было двадцать ухлопать.

Часто заходил в редакцию А. А. Блок, студент в голубом. Если случится меня позовут по хозяйству, я не кликал Ганну, а Блоку передаю Наташу нянчиться. Бережно и нежно брал он ее себе на руки и она, глядя в его лунные глаза, показывала перед ним мою науку или тихо сидит, зачарованная голубым.

Забежит из «Нового Времени» В. В. Розанов и всегда ручки поцелует.

А что Сологуб, что Мережковский — звери и дети чуют, я и не навязывался с Наташей.

Д. С. Мережковский, глухой к музыке, терпеть не мог детей и с каким-то гадливым страхом сторонился.

Начитавшись всяких житий о старцах, как старцы с медведем ладили и детей не отгоняли, однажды Мережковский, побуждаемый высокими чувствами — да ведь и в Евангелии сказано! — победив в себе омерзение, посадил на колени Наташу. Наташа не брыкалась, но что-то поняла и носиком стала такое выделывать, как тужится. Тут Мережковский вдруг опомнился и возопил, именно возопил: «Зина, убери, огадит!» А случившийся В. В. Розанов, лукаво подмигнув, заметил: «Дмитрий Сергеевич свои, им самим зас...ые, штаны бережет.»

Наташу называли «редакционное дитя», но секретарь редакции Г. И. Чулков (имя то историческое, по грамотам XVI века великие сутяги!), «мистический анархист» к рукописям близко ее не подпускал, да она и не стремилась, ее занимал бряз и лом, из которого морды смотрят. Понемногу стала она различать и говорить не покукушечьи, а слова. И какая оказалась привязчивая, вцепится ручонками: «Папочка, не уходи!» А станешь объяснять ей и как будто все понимает, а сама опять свое: «не уходи!»

По ночам не спит, и чтобы с ней разговаривать и не

слова, мои лады слов — она вслушавшись вся, всем, я видел по глазам и как складывает губами: «еще!»

«Наташа! в те ночи сколько сказок мы с тобой насказали. Ты жила тогда в сказочном мире, а я из того мира никогда не ухожу».

Хозяин Дмитрий Евгениевич Жуковский, издатель неподъемных кирпичей Куно Фишера, философ, сам не писал, а любил в философских разговорах вставить замечание о трансцендентном, по образованию зоолог. У Дмитрия Евгениевича была страсть покупать имения: осмотрит, приценится и соображает, чтобы в следующее воскресенье или на неделе еще куда в Смоленскую катнуть и там осмотреть другое и прицениться. Исколесил всю Россию, сюжет Гоголем не предвиденный: не мертвые души, а земля и со всеми угодьи и хлебом стоячим и молоченным.

Помню, вернулся Жуковский из своей чичиковской поездки и не заезжая домой, на Мытнинскую, прямо в редакцию. Был Бердяев. Встречаем хозяина: Бердяев с «трансцендентным», я с бухгалтерией. И видим, сияет. «Нашел, говорит, подходящее, но цена!». Никогда этого подходящего имения он не купит, а решено закрыть журнал.

Так и кончились «Вопросы Жизни» и все кончилось: наши комнаты опустели.

* * *

Из редакции, Саперный переулок, мы переехали на 5-ю Рождественскую; с Песков на Кавалергардскую, к Пундику в новый дом просушивать боками стены: за квартиру цена дешевле и дров жечь сколько влезет.

Серафима Павловна вернулась из Берестовца и опять одна без Наташи: Наташу не отпустили, чтобы не скучать бабушке, да и опасно — в Петербурге скарлатина.

А было все приготовлено; и кроватку я поставил и игрушки около, и сказку про «Зайку» сочинил: не

будет Наташа спать ночью или будет «рыбку ловить», я ей и расскажу про Чучелу-чумичелу и про злую Буробу.

За первый месяц на нашей новой квартире не хватило и я просил Пундика подождать. Пундик согласился, а не прошла и неделя, вызывают к мировому за «неплатеж».

Единственное мое спасенье «Мышка-морщинка»: «Мышку» взял «Шиповник», будет издана с картинками М. В. Добужинского, и выдали мне из 25 рублей гонорара 15 аванс.

Я и пошел к мировому с этой мышью казной и рассказал все без утайки о новой кроватке и игрушках для Наташи и как меня выручила мышка. Мировой — человек справедливый принял от меня мышкины 15 рублей и безо всякого штрафа, и только внапуть сказал мне, впредь чтобы платил за квартиру в срок без задержки.

И прямо от мирового пошел я опять в «Шиповник» клянчить рубль в счет гонорара. И проваландался из-за рубля целый день: понятно, только что пятнадцать дали и какой же еще рубль — этак все можно, до выхода книги весь гонорар забрать! Зиновий Исаевич Гржебин выручил: этот — добрый человек.

Осень течет и хлюпает. Двор, как была стройка, еще не убран, из желоба вода хлещет к подъезду, на лестнице известка, темно и гудит ветер.

Не зажигая свет, я прямо прошел в комнату Серафимы Павловны: она сидела около кроватки и не замечала меня, я это видел по ее глазам. Я окликнул. И она резко вздрогнув, как проснулась, и крепко сжимая глаза, тихо заплакала.

Я зажег свет. И при свете она рассказала мне, как только что видела своего отца, он взял ее на руки, как детей берут осторожно и заботливо, и обнес кругом.

«Папочка, не уходи!» повторяла она.

И было в этих словах столько покинутого и такая горечь, не слезы, непроницаемая тоска застлала свет.

А Пундик нас все-таки выпер: за зиму стены высушили, ну, и проваливай! а квартиранты найдутся и подороже и не надо таскать к мировому.

А кроватка так всю зиму оставалась около кровати,

и игрушки, и теплые платьица, и штанишки, вязала Серафима Павловна все, как только что положено, и ждет.

* * *

Надо было перевезти вещи в комнату на хранение, квартиру будем искать потом, как вернемся осенью из Берестовца с Наташей. Денег никаких и не только квартиру нанять, а и на дорогу, да и за комнату надо вперед. Я заложил золотую ризу «Трех радостей» — дали у Пяти Углов семьдесят пять рублей. То мышка, то икона — мне всегда везет.

Я хорошо помню этот день нашего переезда с Кавалергардской.

Рано утром один воз поехал: книги, и я пошел сзади с лампой. Склад на Загородном. А остальное: столы, стулья, полки, кровати и кухонную мелочь — воз пойдет с нами, как на вокзал поедем.

Я вернулся с Загородного. Серафима Павловна одета в дорогу, сидит на табуретке около кроватки. «Сейчас едем!» — говорю. А она молчит. И вдруг губы у нее задрожали и, крепко сжимая глаза, так сжимают только от жгучей боли, заплакала. И сквозь слезы что-то сказала, я сразу не понял, а потом догадался: ей есть хочется. А я забыл совсем, что с утра, как стали укладываться, даже и чаю не пили. У меня хлеб с собой и ветчина завернута в дорогу. И подал ей. И прочитал в ее глазах другое: ей было страшно ехать, ее пугала встреча с Наташей — она теперь видела, что вернуть нельзя и что месяц, который мы проведем с Наташей, будет тягчайший, возможно, что Наташа и не узнает ее, а если и узнает, захочет ли ехать с нами — едва ли.

И хлеб в ее руках был мокрый от слез.

МАТЬ

Что бы ни случилось в мире — пускай рушатся горы, звонит, надрываясь, вылитый из серебра — ревет тяжелый чугун и разметывает медную взвучь — кремлевский вестовой ясак,— не слышно; и пусть муча душу, взвывает полуночница — пугало набатная сирена, — не

чутко; только чутко, только слышно и через черный вопль и проклятия — и я не могу позабыть: разлученная мать — ее голос вопиет на небо. Это голос озвучен полной мерой внятно через века. Когда последний на земле человек-дикобраз — морда вепря, медвежьи лапы — бродивший при свете дня по темным подземным лабиринтам, этот гигантский крот — косматое сердце, с погасшей мечтой и заглохнувшей песней, выйдет в пятигорскую ночь подышать на звезды, звезды, наливаясь тоской, взблеснув, вдруг осияют его колыбельной:

«стану сказывать я сказки»—
и он ее вспомнит и ответит воплем
осужденного
родиться на земле с памятью человека.

* * *

Я последний и нежеланный, роковой.

Моя мать из «Некуда»: Лесков для своего романа пользовался хроникой «Богородского кружка» московских нигилистов.

Моя мать из богатой московской семьи вышла замуж не по расчету — революционерка не продается, и не по любви, другого она любила: художник семейный, имя не громкое, она вышла замуж — «назло». Так словом «назло» прозвучал ее ответ, но не людям — ей что мнение? она нигилистка, и не ему — — оказался так себе, нет, *туда,* в черные судьбы жизни, в тайное, по чьей прихоти содрогнулась моя душа и в моих глазах пустырь. Она взяла на свою душу неподъемную тяжесть: месть. И пять лет она держала зло на сердце.

Нас пятеро, осталось четыре: одного из братьев она сама кормила, и он помер, отравленный ее молоком. Я последний — из какой пучины злой тоски я родился!— с моим появлением больше она не выдержала — я освободил ее душу. Без повода, без объяснения она уехала и всех нас увезла с собой из отцовского дома. Отец был ей за няньку — так до смерти и осталось для него тайной: за что?

Она взяла нас с собой, чтобы начать новую жизнь.

Но не радость принесли мы ей, наши восемь рук оковали ее по рукам и ногам, а глаза ее, встречая нас, пробуждали память о ее черной злой мести — каждый из нас воплощал все то зло, которое она держала на сердце пять лет.

Она затворилась от нас в своей спальне, а мы наверху над ней в детской с нянькой. Поутру мы сбегали вниз в столовую чай пить, встречая, здоровались, говоря ей «вы», и целовали руку. И на ночь, после ужина, она молча, спеша, крестила каждого и каждый целовал ей руку. Мы ее и называли не по-русски, без всякой детской нежности: «муттер».

К ней, в ее спальню, нас не пускали. Я подсмотрел: читает. Потом я буду ходить в библиотеку менять для нее книги. Книгами она убивала время. Бывали недели она не выходила к нам. Когда нас уложат, на кухне ужинает прислуга, все спят, а я прислушиваюсь: я не мог понять, что говорилось о матери, но мне было чего-то беспокойно.

Оттого ли, что в судьбе матери я последний камень, но который камень свалил с ее сердца зло, или потому, что единственный вышел похожий на нее, я, один из всех братьев, встревался в ее заключенную тайную жизнь.

Походя она учила меня немецким словам, откуда и имя «муттер». Сама она окончила немецкую Петропавловскую школу и для нее немецкий был как русский. Она хорошо рисовала — вспоминаю ее ученические альбомы, которые она мне показывала. Но главное не в этом, а в моем «бесновании», на что я всегда был готов.

Рано я наловчился писать и умел по-разному — любую подпись могу подделать. Недаром, значит, память, как когда-то с Ванькой Каином ходили в заворуй.

Когда и самое верное средство погасить отчаяние не действовало — отдаленным огоньком стояло оно в глазах, дразня, и она, впадая в исступление, кликала меня, отвести душу.

Тут-то и заварится каша — затеи, которые я подхватывал со всей страстностью — игрока и мошенника.

Я садился за ее стол. Она диктовала мне адреса, а я надписывал конверты, подделывая почерк под учителей и знакомых. «Московский листок» за месяц мы разрезали на четвертушки и разложим по конвертам, одиноким

поменьше, семейным, чтобы на всех хватило, а кому поважнее — с излишком. И не наклеивая марок, запечатаем конверты и я, с этой горячей ношей, побегу на Камушек опустить в почтовый ящик. То-то наутро подымется на Москве штраф, фырки и досада и пойдут бесполезные догадки, а никакому сыщику не придет на ум поискать следы на Земляном Валу в доме Найденовых.

На узеньких листках красным заглавив «о здравии» и черным «о упокой», без умысла перевирая трудно выговариваемые и смешные для нас имена римских мучеников по святцам, с непременным заключением о здравии персидского Ксеркса и Артаксеркса и вавилонского Навуходоносора, а в «упокой», болярина Каина и Авеля и всех сродников их. В воскресенье поздняя обедня в Андрониеве; на заупокойной ектинье очередной иеродиакон перед царскими вратами, давясь и поперхиваясь пособачьи, будет стараться над замысловатыми именами и заключит к всеобщему соблазну, а кто не удержится, фыркнет, велигласно Каином и Авелем и всех сродников их.

После такого вселенского расплева и насола, наступало временное успокоение. Но мне не терпелось чего-нибудь еще поделать чудного — я так понимал это. И заглядывая в глаза матери, я напрашивался, напоминая.

И видел, что она ничего не помнит и ждет нетерпеливо, «когда я провалюсь».

«Когда ж ты провалишься!» — с сердцем говорила она или чувствовала, куда и на что я, как бес, подталкивал ее.

Когда я перешел от чистописания к книгам, редко, а удавалось заговаривать с ней о книгах. Не легко это было: очень подозрительная — ни во что не веря и не доверяя никому, она, как я о себе в шутку: «я всегда провожаю гостя до дверей не из почтения, а Бог его знает, стянет еще чего!» Я узнал от нее и о Лескове и о первых нигилистах.

«Назло» — это не мое, но отчаяние... я получил этот дар от матери.

«Надо как-нибудь прожить!» слышу свой голос, захлебываясь, выговаривается: я знаю ее тайну.

Мне ее было до боли жалко, и досадно — за ее, за нашу общую судьбу.

О матери я прочитал у Достоевского в «Подростке» и у Толстого «Анну Каренину». И у Достоевского и у Толстого очень похоже. Я себе ясно представил «Мать». Но почувствовал всю силу этого слова через Олю, когда Оля, переступив за заповеданное ей, превратилась в Серафиму Павловну. И по ее разлуке с Наташей и по ее чувству ко мне и моему к ней. Я как бы снова прошел свои первые годы под ее материнским глазом.

Она меня учила моей любимой русской словесной грамоте: слова, корни слов, история языка. Она была моим учителем — сорок лет,— и цензором в литературе и в жизни. Сколько бы я наделал глупостей — к своему часто бываешь и слеп и глух — ни в чем не зная ни меры, ни удержу, и при моем безграничном доверии к человеку, и воображению — видеть не то, что есть, а то, что тебе хочется, и всегда нарядное, увенчанное, в «розовом свете». Она предостерегала меня и, как мать, выговаривала.

У меня такое чувство, что всю мою жизнь я делаю не то, что нужно, и говорю не так, как следует: она хотела, хоть десять шкур содрать, а сделать из меня человека. И огорчалась: она видела, чувствовала и понимала, что быть уверенной нельзя, я непременно в чем-нибудь да прошибусь... Но ведь так думают все матери.

Всякое Рождество у нас зажигалась елка — о рождественской елке я знал только по «Щелкунчику», да заглядывая в освещенные окна на Маросейке в Москве.

Она показала мне синее море — Океан и белую звезду под звездами — Эльбрус.

Я кочевник или поневоле или в снах, попадая в Сферическое пространство Лобачевского, а в простом Эвклидовом мире я сидень и один так всю жизнь и просидел бы в своей комнате за книгой. Все, что удалось мне в жизни увидеть, а не вычитать, все по ее воле и выбору.

А мои сказки — мои неправдашные рассказы, она слушала с улыбкой и никогда не пробуждала окликом трезвого и черствого сердца: «неправда».

Она показала мне веру человека: по ней я узнал, какой это дар веровать — силу и чудо веры. Она показала весь свет и цвет своей души.

Она все для меня делала: берегла во мне мое. Не слепая любовь, когда любя не думают о человеке как ему лучше, а только о себе, как будет мне приятней — не злая воля, по слепой любви и Наташу с ней разлучили. Ее любовь зоркая. И всю жизнь я служил ей, как матери.

Моя жизнь шла кувырком, но я свой за зеленой оградой, а она только через меня сюда, и вся жизнь ее была пронизана горечью жить у чужих.

И когда со слезами просила она отпустить ее — вся душа ее изнывала, так из неволи рвется человек, а она из-за зеленой ограды, я давно все понимал, да не вернешь! И куда отпустить — на погибель? И сама она понимала: «ну и погибну».

Мне ее было до боли жалко, и, не прячась за судьбу, я во всем виню себя: слепой, не узнал.

ВСТРЕЧИ

Встречи, заколдованные места, вещие дни и сны, роковой час, полдень и лунные ночи, кому выпало на долю испытать на себе их силу и чары, в памяти не канет.

* * *

Мы жили на Оландских островах: остров Вандрок — северная хмурая пустыня: скалы и море.

Обойдя остров, спустились мы со скалы и вышли на берег моря. День был прозрачный — ранняя осень.

На сыром песке, задрав лапы, серый тюленыш, а около, на камне, птичка: она что-то печальное переговаривала, причитая. И мы стояли, втянутые в круг их тайны.

И мне почуялось, что птичка мое сердце, я смотрю с камня и мне видно: там у леса на жарине брусника. И чувствую, как мое сердце влетело в ее сердце — в тот миг и она смотрит с камня и видела: там у леса на жарине брусника.

Если бы слово, в один бы голос сказалось, когда это было. Но и без слова в нашем одном сердце прозвучало птичкой о отдаленной в веках встрече у моря.

* * *

Мы проходили по старой Аппиевой дороге — римским придорожным кладбищем забытых.

День был горячий, но не жгло. Чуть продымленная завеса, и с края до края небесная синь сияла песней.

По старым могилам от камня до камня, шаг за шагом — в вечность.

И вдруг остановились — остановил камень: наша дорога кончилась...

Время стерло историю и только имя: Sergius — русское имя Сергий. Кто был этот Сергий, что было в судьбе этого римлянина, что соединяло нас с ним и нас друг с другом?

Чувство было одно — смутное, как эта завеса над звучавшей синью — память о Риме, о встрече на старой Аппиевой дороге.

* * *

В чаще леса, под дубом, непробудно спит зачарован Мерлин, тут и его меч, там и легенды о Круглом столе, о рыцарях, о Граале, святой чаше.

Все я вспомнил и в моих глазах оно было не как вчера, отдельно, а со мной сейчас.

В Карнаке застигла гроза.

Стуча громом, сыпал дождь: вода в три ручья, залило, в тумане путь. Только к ночи, втемную, мы устроились.

Среди ночи я поднялся и — к лунному окну.

Луна ныряла в море ветра: она показывалась всем своим лицом и погружалась с головой, прорывая блеском черные вороха облаков.

«Крест на могиле зашатался и тихо вышел из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самых пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне, душно!» простонал он диким, нечеловеческим голосом: голос его, будто нож, царапал сердце».

Я отшатнулся. И на мой шорох она проснулась.

— Страшно! — говорила она,— мне приснилось, как у Гоголя — Страшная месть.

— Но тут не Днепр, не мертвое поле, а берег океана, живые камни!

И я, очнувшись, погасил в себе лунную память.

* * *

Утром мы вышли на каменное поле.

Поле залито солнцем, и камни, бесформенных форм, сияли. Под ногами лиловый шуршал вереск — цвет старой земли: ей снится поле — перевернутый геометрический каменный сон.

Пройдя солнечным коридором, мы стояли под куполом Кромлеха. И лучи, пронзая, осветили нас.

А в сердце пробудилась одна единая память. И открыв дорогу, повела глубже в века над пропастями — в Египет.

Как давно мы знали друг друга!

Наши глаза, наши руки, наши сердца спаяны,— перевивались лучами.

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ И ВСЕХ МЕРТВЫХ

Черным обита наша входная дверь — подъезд 7, улица Буало — серебряный карниз и по черному серебряный герб: «голова львова, сера космата с огненной пастью в поле блакитном».

Редкий день такое не увижу, раскрывая поутру ставни моего окна, а это значит, еще одна жизнь человека окончилась на земле.

И все мы, переминаясь, ждем чтобы, осторожно раздвинув тяжелые суконные занавески, войти в дом смерти.

Весь наш Отей от Эглиз д'Отей до Суханова — все знакомые, наш обязательный утренний выход на добычу,— вшивое отрепье — люди сороковых годов (1940—1943).

«Пузырь» и ее мать с тугими руками, плотнее кнопок, нагружены тетрадями, блокнотами, конвертами и разно-

цветной промокательной бумагой. Кремовый Сервант, Мадам и ее сестра — кассирша и обе шоколадные тянучки — заварная в прошлом году померла — с блестящими конфетными коробками, печеньем и развесным кофеем, мера нашей нищеты. Бюралист Андриё, глухой без пиджака, весь обсыпанный и нюхательным и «серым», и его суровая жена — белые камни на шее под янтари, и их дочь — читает книжки, и гарсон Луи, сияющий кофейник. Черноусая «оса» (гэп) в белом пружинном халате — молочница Жирар с бельевой корзиной — картонные «су» для безответственной сдачи без задержки, и дурак, Гэпов муж, особенно дурак, когда в шляпе. Рыбаки, неунывающие братья — коли рыбы нет, пучок морской травы положат: они с травой без рыбы. «Тоненькая Шейка» и ее Жак с лицом Шейки, но еще без лисьего нюха, засыпан подозрительной мукой, а она в чешуе бывших круасанов. Итальянец — человек-рогатка, печальный цирковой змееглотатель и итальянка — черненькая бородавка и их «русская» Елен с пустыми руками, нет товару, а припрятано — не считается. Мадам Бельгёль, мясничиха, не сразу скажешь, где «нуа де во» (телятина) и где сама, и с ней ее помощники: Андрэ, длинный с детской головой, уписывает говядину сырьем, и старый Ахилла — зачервивел от перееденного мяса — весит куски не на весах, а на ладони. Семейство Мартире — масло, сыр, яблоки, кочаны и две пугавки: та, что муху проглотила, и та — яйцо, такой она скорлупчатой белизны. Наш сапожник, впрочем, все сапожники на одно лицо или, вернее, колодку. Прачка — глаза, в которых кануло мое белье. И та, старая Незабудка, натянутый на юбку горб, а приползла прямо с лавочки с припека от кинематографа. И все четыре парикмахерши: гречанка Жанина, луковая Одет, конеобразная Симон и корсиканка Жаннет. А вот ковыляет и черный жуковый Вэнсен — покойник, Хопля, увешан счетами, счета, как свитки у грешников, ведомых копытчиком на истязание — картошка, сырки, яблоки.

«Люди мрут как мухи! — говорит ненасытный «клиент» из русского ресторана и с присвистом здоровается с Хоплею, как с собакой.

И не Хопля, а Иван Павлыч Кобеко, дергаясь, вытащил из проломного кармана свою проутившуюся зажигалку и, закурив полынную смесь, заметил:

«Сыроватый».

«Еще бы,— подумал я,— не май, шесть месяцев про-

шло со смерти». И понял, почему Одет такая луковозеленая, а Иван Павлыч, поношенная желтая перчатка в драповом пальто, и дышит.

Да это вовсе не улица Буало, посмотрите, откуда такой желтый туман?

Где-то на втором дворе не то Гороховая не то Фонтанка у Обухова моста — места памятные по Достоевскому, а мне особенно по «Крестовым сестрам».

Вдоль панели белый, пальцем страшно тронуть, такой чистоты белый снег. А в засырелом каменном углу сквозь белое резкая зеленая струя и выброшенная из окошка ветка. Туман срезал верхние этажи и из черного фонарь с болью вскипает, наливаясь апельсином.

Она шла издалека, торопилась поспеть идти вместе со мною. Она издалека видит меня, прижавшегося к сырой стене, и прямо и уверенно идет. И когда она подошла совсем близко и мы очутились глаза в глаза, я узнал в ее губах свое и серые, такие гляданные ночь и день, ее, единственные для меня, глаза.

«Ты маме положил от меня цветы».

И я почувствовал, как, услыша свое имя в моем голосе,— «Наташа!» — она вздрогнула. И, кутаясь в звучавшее облако, стала подыматься над землей.

ЗАЛОМ

ВЫВЕРТЕНЬ

3 июня 1940 г.— в памятный день для Парижа и роковой для Франции, Мамченко вышел в полдень из своей Медонской землянки в садик, нарядный, как там, в Запорогах, в Никополе, в свой цветник с приблудными и подобранными ранеными зверями, зверьками и пичужками. Много у него зверья перебывало, накормники, а самый главный среди всех птиц, был заяц: усатый, и только что молчком, а все понимал, и как слушает внимательно, суча волосатыми ушами, когда Мамченко сам с собой стихи читает,— и ласковый, что-то лопотал, мордочка ежиком. «Не всякое поймет, все-таки звери». И всякий раз я повторяю за Мамченкой: «звери!» — «звери родятся на безмятежную радость», а вот зайца и обидели, а шел Мамченко по лесу, шишки собирал и видит, лежит под

кустиком усатый вверх-брюшкой, плачет. Вспомнил ли Мамченко Зосимино слово: «не мучьте, не отнимайте у них радость, они безгрешны» или просто жалко, и подобрал его. И с тех пор живет у него заяц, в его землянке, как самый верный человек.

День был блестящий, июнь. И такая полдневная тишина, кажется, сама земля приникла и все остановилось, и один только Бес-полуденный, давясь «осанной», один каменный, томился над Нотр-Дам,— над всем Парижем. И слышит Мамченко, как побежала б волна,— волна за волной,— шелестящий, подгрудный стук. Сбросил он зайца на землю и к небу, посмотрел, и заяц уперся на задние лапы, перекинулся, и сел на корточки, уши настороже,— и видит, птицы, не простые, серебряные птицы, они тянулись по воздушным блестящим путям, спеша: и одна стая отделилась на север, а другая на юг, а третья направила на восток. С восторгом, не отрываясь, смотрел Мамченко на этот серебряный полет, провожая глазами диковинных птиц.

И та стая, которая спешила на восток, летела в огненном блеске к нам, на Ситроен,— но, не долетев до Ситроена, чугунно дыхнула — и это был не вздох, не песня, а бомбы. Первые бомбы брошены были на нас, на нашу тихую, славную поэтическим именем rue Boileau, «L'Art poétique».

И вдруг, переменившись из серебряных в черные, черными птицами полетели они, подымая стеклянную метель в голубе дня.

Две бомбы ухнули в соседний № 9, стеной к стене с нашим, и одну саданули в покинутую клинику, теперь госпиталь, в здание, где ютились монашки — как раз против наших окон. Слепые, остервенелые осколки, изрешетив стену монашек, вскочили в парикмахерскую Жанины — и мигом зеркала в-бряс, и под брезгливый стон стекла они метнулись в сторону вверх и, надрываясь свистом, врезались, визжа, в выступ стены у окна, где нас застигла сирена.

Отбиваясь от осколков, мы в коридор, а в коридор уж сыпались стекла из другой противоположной комнаты. А выйти на лестницу невозможно: дверь на ключ, а ключа нет, отбросило вихрем. Ну, некуда. Некуда было деваться, и вдруг, как в мышеловке, сузилось пространство, и много пронеслось — но грохотом глушило мысль и секло все слова и было одно чувство, взрыв чувств —

ужас: этот крутящийся, взывающий вихрь и это белое, кипящее пламя сквозь кровь.

С очков капала кровь, я нащупал на полу ключ и отпер дверь — а там с воем крутила стеклянная круть, и звеня, синий «катедраль» засыпал осколками лестницу, по ступеням на волю. А соседняя дверь, где жили собаки, а теперь пустая, настежь — и там бушует. «Затворить эту дверь»,— толкнула меня странная мысль и обеими руками я схватился за скобку — и кровь ослепила меня.

Окровавленный, липкими пальцами вытаскиваю из головы и с лица осколки, и странно, ничего не больно, а Серафима Павловна за руку тащила меня сесть. И вдруг у нее подкосились ноги, точно кто ударил ее, и она опустилась на ящик с газетами, а я ощупью пошел в ванную под кран промыть глаза. И тут я понял, что меня ударило в левый висок и в бровь.

А когда я вернулся, она сидела на ящике и кровь капала со щеки. Буря утихла и только взрывы,— по соседству горели автомобили,— да сигналы пожарных. Все кончилось.

Блестящий был час, и все блестело от стеклышек. Серафима Павловна с трудом поднялась. И с этого часа начинается страда.

«Кукушкину» комнату нельзя было узнать: разбросано, перевернуто и везде осколки, и на столе,— все рукописи и книги на полу — блестит стекло, и один только Feuermännchen: он сидел на столе, на своем месте, не пошевельнулся, но какой убитый, какая грусть в его заботливых глазах, и черный колпачок спустился на нос: в дом вошла беда.

Ее обуял страх, места не находила укрыться, пустые окна ужасали ее. Спала она — если можно сказать это слово «спала» — не в комнате, а в коридоре. А я на полу в уголку. Ночи были ужасны.

Не забыть мне этой ночи... последней, в последний день — Париж.

Париж — «это вечное, волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещения, мод, изысканного вкуса... великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невиданных углах Европы, трепет и любимая мечта двадцати-

летнего человека, размен и ярмарка Европы». С каждым днем Париж изменялся, не кричали его шумные улицы, а окна в жалюзиях, оловянные глаза домов, наводили мрачную скуку, и бешеные бабы, бесясь, выбесивали свои дикие вести из «собственного глаза» и достоверно: страх на страхе. Гоголь не поверил бы, увидев когда-то блестящий, блистающий Париж — **пусто место!**

Какая сила гнала эти тысячи нагруженных вещами и людьми автомобилей, этих пешеходов с вытаращенными глазами, эти допотопные повозки со скарбом и детьми?

Я никогда не думал, что можно так безнадежно терять голову. Или, действительно, страх посетил душу и безголовым подхлестывал ноги? Гаражистам никогда не подсчитать слипшихся бумажек — недосчитанные, уходили в их руки из трясущихся рук: только б поскорее! Не могу поверить, что потому, что велено было — нашелся дурак, поверил! Были, конечно, послушные — всегда будут послушные,— им рассказали из детских вечеров старинные сказки о войне, все, что изображено на старых гравюрах, зверства сарацин и турок — и они бегут, чудаки, вон уж там, по дорогам, бросают бомбы и без всякого насилия — зверства теперь другого рода,— и даже не метясь... И куда девалось чутье деловых людей и счетчик — глаз купца? Бежать! И одна только грозная воля: беги! И ноги — единственное, что что-то еще значит, ноги,— преимущество давно исчезнувших скороходов и состязающихся для забавы бегунов — стали первым, а все от головы — так. Уж подгибаются, и горят мозоли, и больно в пояснице,— все равно, бегут.

Или это было нечеловеческое? Грозная неумолимая судьба повелевала волей: очистить от живого, опустошить этот застроенный на Сене кусок земли, очаровательный, великолепный, единственный из городов, неповторимый Париж,— **пусто место!**

Не забуду я ночи, когда из гаража умчались последние автомобили. Наши окна без стекол, настежь, мы живем, как в чистом поле, всякий звук внятен и все видно. День был непохожий, ярко светило солнце и вдруг, я думал туча, но ни о какой грозе не было слышно, это дым стеной поднимался вокруг Парижа; потом, говорили, видно было, как с разных сторон выбивался огонь: что-то жгли; а за дымом невидно пришли настоящие тучи и пошел мелкий черный дождь. На какой-то краткий срок

прекратилось электричество. А когда восстановили, пришло в голову запасаться водой, и хватали спички, где можно, спички исчезли. И черная ночь заволокла Париж.

И что это было — какая бурная без бури, и летящая без аэропланов ночь. Все небо наполнилось странною жизнью: выло, с болью больно рвалось, и, щемя и глушась, высвистывало сквозь гул: «отпустите! остановитесь!». Они собирались к Монмартру и от Сакрэ-кёр летели к заставам. Какое «святое сердце» напутствовало их? Они летели к заставам, а с застав разлетались по знакомым уголкам Парижа и кружились над домами, где сгорела их жизнь, и еще теплился трепет, чтобы лечь в домовину на «вечный покой», и своей беспокойной волей побуждать открытые к трепету души и бередить остывших. Я чувствовал, и только не мог еще назвать имена — «дорогие могилы», было все вместе, знакомое с детства и, как свое, там, с Белого моря до Черного, с Волги до белых гор Кавказа и там — по дремучей Сибири. Гул заглушал мой слух. Как я тужил, что нет никого сейчас, кого бы спросить, и беззвучно под гул я звал: Paulhan, Parain, Reneville, Drieu, Arland, Chuzeville; Pascal — André Gide, Supervielle — Breton, Eluard, René Char, Lely — вам тут, не мне, каждый камушек чуток!

Всю ночь мы не спали. Не спали и наши соседи в опустелом гараже напротив: стеклянная крыша гаража вся была выбита, как наши окна. Говорил чей-то голос, порусски говорил, чувствовалось, ему было страшно. И чтобы страх разогнать, рассказывал страшные случаи из своей жизни и из жизни знакомых или что слышал. Самые страшные страхи рассказывают у Гоголя в Вии, как идти Хоме Бруту в церковь читать над панночкой. Это верно: молчание ужасно. А когда он окончил последний памятный ему случай, что-то похожее на легенду о Лилит-панночке, превращающейся в собаку, и о заезженном панночкой псаре — рассказ Дороша, он перешел к воспоминаниям о праздниках, о Вербном — как у них под Вербное, как на Николу, дарили детям: с вечера положат, а наутро — какая была радость. И слышу о земле, весна пришла, и лето — полевые цветы, колокольчики, и зеленые волны колосистой ржи.

А они все летали, и одни летели к Порт д'Отей, другие к Порт д'Орлеан, и было щемящее до боли в их свисте и завывании.

И я стал различать ритм: это Villon, это Racine, это

Rimbaud, это Villiers, это Hugo, это Baudelaire, я все прислушивался, это Mallarmé, и вот слова перешли в музыку — это были «Страсти св. Севастьяна» и я повторяю за Debussy, мое сердце, вдруг освобожденное, звучит, а это — и оно как врезалось трехсаженно и все покрыло — и я узнал Rabelais. И с трепетом я узнавал все новые и знакомые имена.

Высоко над Конкорд на фонаре, раскачиваясь, висел он: его голова уходила к звездам, а руки, через Триумфальную арку и Лувр обнимали заставы; под его ногами площадь лежала впусте, Сфинкс был его стражем. И вдруг сорвался, какая поднялась круть, темный полуночный ветер, таившийся на крови, на камнях Конкорд, взвихрившись, звенел, и сквозь круть, кровь и звон я различил ритм: Nerval'я. И в зеленом зазмеившемся кольце взблеска — Вестрис, Дюпор, Альбер, Поль и Перро: они взлетали к звездам и звездною метелицей развивались на землю. И снова все затаилось: «куда еще лететь, кого остановить?» и только стукало подошвами, и под зловещий стук, так с лопат стучит земля в могилу, я услышал,— я узнал этот голос, он пел один над пустынным покинутым Парижем: Мусоргский: Шаляпин:

— «Душа моя скорбит»—

В ночь с 13-го на 14-ое, в час, под пушку немцы вошли в Париж. «Париж в руках наших!» — так однажды, в 1814-м, говорилось по-русски, а в 1940-м — по-немецки. Но никакая рука не вынет душу... Вольтер — Стендаль — Рембо — Бодлэр — Шекспир, Данте, Гете, Толстой, Достоевский. Да, все мы ходим под Богом, а человеку мудровать над человеком — позволено все.

В БЕСПАСТУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Большое разочарование. Бешеные бабы даже обиделись: беременным не взрезали живот и хоть кто бы ни будь рассказал о изнасиловании! И отводили душу — и тут была правда: «дороги к Парижу завалены трупами». Без дела шатались люди, еще не уверенные: прятаться или смелеть? И вовсе никакая не «пятая колонна», как тогда говорилось, а все это были из щелей, дешёвое, которым некуда было бежать и незачем. Почему-то предупреждали, чтобы русским не очень-то соваться и

высовываться, лучше сидеть себе по домам. Большое было оживление у блядей. Последняя отставная перекрестилась: всем найдется работа. И вспоминая Блюма,— единственное, что от прежнего осталось: свобода в понедельник! — она передернула плечами, как когда-то в свой расцвет, и засеменила на Шан-з-Елизэ, где без толку мчались грузовики с солдатами, а над Триумфальной аркой, над «неизвестным солдатом», низко кружили, гремя, как каркая, тучные аэропланы. Какое ослепительное зрелище. И стоило ли из-за этого ломиться в Париж!

С перемирием («армистис») солдаты разбрелись по казармам, стали и беглецы по домам возвращаться, вышли газеты, открыли магазины, укоротили день, чтобы оглядеться в чужом городе и обжиться, потом понемногу прибавят, и наступили будни.

И я пропал в очередях.

Поиски еды, стояние в очередях — сначала у немецких казарм, потом к Матэо ходил, для «беспризорных», а кончил русским рестораном на нашей улице: давали суп навынос.

Стояние за молоком в несметном хвосте у «диспансера» — пример образцовой распорядительности: сообразительные монашки завели такой порядок, чтобы сначала за билетиком на очередь, затем новая очередь за молоком и третья очередь платить за молоко. А когда ввели карточки, стоял в сливочной — хвостили за всем одновременно: и за маслом и за сыром и за вермишелью,— хвост начинался от Николя. Стояние в мэрии за ордером или, как тут говорят, за «бонами»: со временем утряслось, стояли легче — в школах, где выдают теперь продовольственные карточки.

Два основных стекла вставили в августе «главные водопроводчики», как почтительно называла их одна из наших безумных — «Блаженная», она же и «Кошатница», а остальные стекла только в ноябре. Для затулы от ветра я сделал тридцать витражей на картоне — площадь выбитого стекла. Снаружи часовня, а в комнатах, как пошли дожди, к вечеру ледник. Зябнуть стали загодя. И наступила зима, из зим за двадцать лет в Париже, никто такой зимы не запомнит. Наш дом без каминов, центральное отопление не действовало, жгли духовку, хоть в кухне в тепле отсидеться, но вышли ограничения и духовку запретили. И только к январю могла осуществиться установка электрической печки — радиатор.

Рваные ботинки, продранные чулки, сырость, везде течет и лопнули трубы — подтирай пол, а за водой — в соседний, а дают неохотно. Но в России «стены» — помогали, а тут чужой. В России у меня был вызов — все принять: судьба ли меня согнет или я ее измором возьму. А тут была одна оборона, и единственное всем повторял я: «не обращайте внимания».

Я никогда не чувствовал себя тем запуганным: им отвод для растерянной души — каркать, они воображают себе всякие грядущие беды и с поджатым хвостом пугают и себя и других: «плохо, говорите, еще хуже будет!»— вот их припев. Мне всегда казалось, что если чего-нибудь и не будет, ну чаю, кофею,— и разве в этом все? Я соглашался и на «армуаз» (полынь) без табаку, всегда где-то уверенный, что все будет, и всем повторял свое неизменное «не обращайте внимания».

Вспомнился мне,— в Житии протопопа Аввакума читал,— юродивый Федор; обвык он босиком ходить, трудно было, а победил, и так притерпелся, что и никакой огонь не берет: «в Чудове в хлебне после хлебов в жаркую печь влез, и голым гузном сел на поду и, крошки в печи подбираючи, ест». Чернецы ужаснулися, а ему ничего. Тоже и старец Епифаний,— это когда на Париж напали блохи, и в хороших домах от блох житья не стало, и только и разговору было, что о блохе,— старец Епифаний на муравьиную кочку садился, усядется поудобнее, норовя голым гузном в самую едучую кишь, спервоначала — очень, а притерпелся и ничего. А муравьи не блохи — жало-игла, и блошиные кусатые ноги перед муравьиными клещами — тряпка. Жаловался Пьер Паскаль: очень допекают, и от холода коченеет рука, перо скачет, а я ему о Федоре и Епифании напомнил: Паскаль в нашем «огненном» веке свой. А другим я повторял одно и кратко, как на блоху, так и на холод: «не обращайте внимания».

И еще о эту пору с какою-то жгучестью я вспоминал карлика, давняя память, карлу Ивашку. В моровое поветрие в 1654 в Москве царь Алексей Михайлович с царицей покинули Кремль и с Москвы съехали, пока не уляжется, а во дворце в Потешной Палате остался истопник и карлик — карлику поручили от царицы из хором «четырех попугаев, а пятого старого»; на истопника выписали корм с Хлебенного и Кормового дворца, то же и птицам, а карлика забыли. И всю зиму — 20 недель —

жил карла Ивашка без корму и за птицами наблюдал. Миндаль и калачи купит птицам сторож Дементий, и всякий день карлик накормит птиц и клетки почистит, и, если остался жив, спасибо истопничему: Александр Борков кое-что даст от себя, а то без корму очень затруднительно: птицы, хоть и не скажут, а таскать у птичек тоже нехорошо. Близко к Кремлю никто не подходил: с каждым днем наметало сугробы и белая стена белее стен Китая подымалась вокруг дворца. Карлик зябкий, кутался в выброшенные «подержанные» царские набрюшники и подгузники, и это червчатое на его лазурном кафтане красило его птицей. Карлик накормит птиц и присядет к окну — только белый снег — посидит-посидит и опять к птицам: разговаривал с птицами, сказки им сказывал. А в окно только белый снег. Карлик поднялся, стиснул свои кулачонки: «забыли!» — и тоненько завыл собачонкой. А истопник Борков думал, что птицы запели... «всякие бывают птицы, а царь и царица птиц не гонят, да скоро и весна»! — и, пригревшись у печки, вспомнил, как царь намедни очки надел — такие стекла на глаза и сквозь стекла книгу читал и тихо смеялся,— «медвежья комедия или про охоту!» И, сладко зевнув, Борков перекрестил рот: «поужинаю, да и на боковую». Бедный карлик, мне никак невозможно, мои рваные ботинки потонут в сугробе, а я бы непременно поднялся к тебе, я очень люблю слушать сказки... я, карлик, как ты, сижу один у окна, только не белый снег, а беспросветная ночь.

Пещерная жизнь — черные дни.

Я не запираю наружных дверей: дверь всегда приоткрыта. Но тут я хорошо помню: захлопнул. И слышу кто-то вошел. Я поднялся, хотел заглянуть в кухню, а дверь не отворяется, так забухла с вечера, такая сырость. И много я старался: какая-то сила держала ее. А когда все-таки справился и вошел в кухню, за мной следом вошел карлик: но это был не карла Ивашка-лазоревый в красных сапожках, это был тощий, в чем душа, и на его толкачике голове острая черная аракчина, как колпачок на моем Feuermännchen'е, и весь в черном, блестящий, как высеребряный. И лицо — он так смотрел на меня зорко — блестело: глаза и острый нос и дергающиеся уши. Он мне подал кувшинчик, полный зеленоватым. «Неужто молоко?», — спросил я карлика. «Лунное,— сказал он,— а это жар-птица»,— и он протянул ко мне книгу в золотой парче. «А это что на тебе?» — «Черный

шарф,— сказал я,— называется «Марья Александровна», очень теплый». Карлик засмеялся, что так зовется по-человечески, и что теплый, и своими детскими ручонками снял с меня этот теплый человеческий шарф, и я почувствовал, как меня встряснуло: холод побежал по мне. А он взмахнул шарфом и я, как ухнул в пучину, и поднялся через кипящую чернь вверх — думал, что уж Бог знает куда попал. А там все обыкновенно: холодно, улица, и у лавок бесконечные хвосты. «Гретхен» — Софья Семеновна, наша соседка, когда-то в допотопные времена пела Маргариту в Большом Театре, она, что-то уж получила, в обеих руках тащит. «Как вас Бог носит? — говорит она,— а сама на эту свою ношу, должно быть, творог (такая редкость!) косится. А я ей отвечаю: «Бог не выдаст, свинья не съест». А сам думаю: съеден на девять десятых, я не забытый Богом, все-таки, на ногах, но почти забытый: как я мечтал, вот напишу что-то, а и на мечту не остается, и не только писать, а и на чтенье не остается часа. «Душу мою освободите!» И как бы в ответ мне она раскрыла свой горшочек и я увидал — и совсем это не творог, а мой черный теплый шарф «Марья Александровна».

Да, когда-то я во сне видел рыб и их явление было живое — серебряные в прозрачной воде, а вот как-то приснились сардинки в масле и без косточек: значение не предусмотрено ни в каком соннике и ничего не известно Мартыну Задеке.

Или — а это тоже новейшего изобретения: две золотые раки: мощи не то митрополита, не то какого-то князя — мощи «под спудом». А как вскрыли, оказалось — через золотые кованые стенки вижу светящийся рубиновый цвет: ветчина. И все стали в хвост, двигаются за кусочком: великолепная ветчина! И я устремился за своей долей без тикеток. Думаю, как удивлю Серафиму Павловну, ведь, забыли и вкус ветчинный. Но я шел последний,— я сослепу стоял не там, где нужно,— все расхватают, и мне не достанется. «Душу мою освободите»! И с горьким чувством проснулся.

Мои ботинки текут, сапожник не принял: никуда. И вот мне срезали подошвы, я взял в руку и замечаю, с краев они розоватые, а вгляделся: да это сливочное масло.

И даже в литературу вплетется наша жизнь, где ничего не осталось, только корм.

Я его встретил под живой зеленой аркой, такие помню в Фриденау, но еще выше, гуще и живее. И кто-то тонкий, высокий — его спутник — промелькнул в зелени арки, он, видимо, идет впереди, отыскивает... (как потом выяснится: корм).

Я шел с ним по берегу Яузы от Андроньева к Земляному валу. На нем был зеленый мундир с желтым воротником и фуражка с желтым околышем. Мы идем плечо к плечу, я заглядываю ему в глаза, хочу напомнить о себе, но в его глазах «кремнистый путь блестит». Так прошли мы бани, Полуярославский мост. И я тужил, что нет у меня слов,— и все стихи его я вдруг забыл. Тут появился его спутник, на нем была та же форма, но солдатская, и был он куда выше и очень стройный, что-то знакомое показалось в нем — я видел его совсем близко. Но он обогнал нас и, крикнув «Жорж», пропал. И на его окрик из бурьяна поднялся и все выше, высоко над репьями повар Рыбенцов. (Рыбенцов студентом в Москве написал исследование о Лермонтове, а в Париже повар «Жорж» в русском ресторане на нашей улице). Скрестив руки, приветливо глядел он на нас, и на его благообразном лице сияли стихи. «Михаил Юрьевич!»,— сказал он и окликнул: «Александр Александрович!» И я догадался, что спутник Лермонтова Бестужев-Марлинский. И вдруг в глазах «кремнистый путь» Лермонтова потеплел. И я понял, что и Лермонтов и Бестужев шли к «Жоржу» обедать и что Жорж подложит им в суп «косточку», как мне подкладывает всякий раз. И теперь, не чужой, я шел с ними. И они о чем-то оживленно говорили... но только различаю ясно: «косточка — кость — кастрюля...».

И все мне кажется, живые эти речи
В года минувшие слыхал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

Первое время я все радовался: часы остановились, услышу, где-то бьют, и обрадуюсь; или кто-нибудь принесет папиросу или даст несколько кусков сахару или получу у Тоненькой шейки хлеб по тикеткам или добьюсь получить у рыбаков рыбу без номера — и на все обрадуюсь. Что это за акафист такой: «радуйся! радуйся!» или это так разменялась радость и скоро за право дышать станет радостно.

Когда-то я изучал философию, перевел с помощью Бердяева книгу Леклэра «К монистической гносеологии»

и одолел речь философов, но сколько ни пытался философствовать, ничего не вышло: какая-то паутина с застрялыми мухами, так путался я в словах. И осталось только мое пристрастие к «философствованию»: люблю слушать, как Иван Александрович Ильин, самый блестящий из московских учеников Гегеля, разговаривает.

Из философов огнем застряли в моей памяти Гераклит и Эмпедокл. Из семи мудрецов меня особенно поразил Фалес своей бездонной памятью, он помнил Океан — живой: водный и воздушный, верно и о рыбке той помнил, самой первой, о которой я услышал на первой лекции по анатомии: по ее строению все мы, люди, звери, рыбы и птицы. И, конечно, оставил память Пифагор числами и своей судьбой — о жизни древних вообще никто ничего не знает, все пропало, а говорю по Сенковскому; барон Брамбеус и не то еще знает: как мечтал и просился Пифагор воплотиться в собаку — высшее и верное воплощение, а определено ему было жевать траву, и он воплотился в корову. А по моему званию? — мне полагается где-нибудь приткнуться около Плотина. Когда-то Шестов напечатал статью о Плотине, находчивый редактор в последней корректуре заметил и исправил шестовское «и» на «о», и вовсе не для безобразия Плотина превратил в Платона. А «для безобразия» был грех, но только со мной: И. А. Давыдов написал рецензию на книгу Рожкова, Рожков известный петербургский «экономист», Серафима Павловна служила корректором в «Вопросах Жизни», принесли корректуру и я заметил, что вместо Рожков набрано «Розиков», и, не показывая Серафиме Павловне, исправив на свой страх опечатки, но не трогая «Розикова», отослал в типографию, да так и вышла книга с «Розиковым». Хохоту было, но и обида: этой рецензии Рожков ждал, а Давыдов старался, и ведь все в похвальных выражениях: «Розиков — Розиков — Розиков». Я тогда совсем забыл, что ведь все падет на корректора, ну мне за это и отплатилось и через много лет, тут уж в Париже: самый лучший отзыв о «Крестовых Сестрах» появился в женевской газете, но вместо Ремизова напечатали жирным шрифтом: **«Ремозоль»** и в заглавии и в тексте и вовсе не «для безобразия» «Ремозоль». И вспомнив, я подумал, от беды не увернешься, и неизвестно еще, отчего все так бывает и за что. Так и я расфилософствовался. А было над чем: разорение и беспелюха; а в нашей жизни: пропад.

Я верую в пепел. И когда курю, сыплю на пол, не в пепельницу, и на рукопись, и куда попало, серый пепел. А исповедую огонь. Тогда в «огневице» и мысль родится и воображение. И весь мир «в жару» цветет. А из пепла первой же воскресной весной восстанет жизнь, верю и пропада не боюсь, подойдет оно и подымет. Кто оно? Пламя — желанное сердце. А люблю я осеннюю дорогу, палые листья, вой ветра, круть ветра,— это дыхание жизни, смерчом задушит, а других оживляет. В вое ветра я научился различать: темный, на-голос гулко опевает меня — мое самое главное пропало! А над темным другой поет-убаюкивает. Люблю шум, тесноту, безобразие; люблю и тишину, когда мысли идут, как попало, и музыку: в ней и прошлое, в ней и о будущем. А настоящее? — с 8 утра до 9-ти вечера, а бывает и до 10-ти, в очередях и на кухне. И чему же я все радуюсь, чему, чему?

Так было первое время, пока не обвык.

Четыре часа собираю воду, ползая на корточках после всех дневных моих стояний, и в коридоре ледник: в уборной засорились трубы и, когда наверху спускают, в раковине подымается и на пол: осьмиэтажная застарелая моча. Мне ничего не давалось так: еще в детстве «из какой руки?» спросят, и я всегда назову ту, в которой пустышка, и только трудом я что-то достигал. С промокшими ногами я продолжаю работу и голова болит: накануне вечером с час трудился. И уж не радость, что подотру, и больше не будет течь, и не отчаяние — зальет, а любопытство, что дальше, когда меня зальет. А поутру снова: кухня и коридор — вода, и какая! боялся подтечет в комнату, и кого я только ни просил, и консьержа, и консьержку, и жераншу — посмотрят, постоят — и за дверь, и только один умный Утенок — ему вода своя стихия,— напялил свои лягушачьи зеленые перчатки и, сверкнув бриллиантовыми глазами, пошел за мной с тряпкой. До полдня трудились. Да все равно без водопроводчика не справишься. А как бы, еще недавно, я обрадовался, когда пришел, наконец, водопроводчик, веселый и быстрый и за пять папирос глотком высушил залитый пол и тряпку выжал.

Какие тупые беспросветные будни, день-деньской на ногах, и не костлявыми пальцами, а как мои пальцы,— если случайно притронусь, человек вздрогнет,— моими пальцами впившись в мои плечи, давит Забота; и так таскать не по силам, а она тяжелее тяжестей, сумку я на

стул положу, а она не отпустит. Но как бы суровы ни были будни, в них неизбежно и смех и горе,— горе и чары. Смотрите, уж раскрываются «врата огня»— под землей, в воде и в воздухе.

СВЯТЫЙ ВЕЧЕР

Я не помню Рождества, чтобы не было у нас елки. И в самые тиски, зажим и всполох, в вое гудящих сирен — утренние, полуденные, вечерние, полуночные — под этот адов, взмывающий душу будильник, на все на весну — переломы солнца, неизменно зажигалась в нашем доме рождественская елка.

И даже — когда ничего не остается и только бросить дом, выйти на волю и на молитву — все молитвы за противоречия их т а м давно похерены,— а под нос себе оробелое бормоча «елки-зеленые», бежать в лес к зверям или в пустыню, в горы к диким зверям от человеческой мерзости — мудрый Буало, в сатире на Человека, вы и не догадываетесь о последнем преимуществе перед наивными чистыми зверями этого бесстыжего зверя, которому зверю все позволено безнаказанно! — так опозорить и загрязнить землю, такое сделать — скрыть от глаз небо, звездную ночь — мог только человек-бестия, украшающий себя игрушечными высокими символами для отвода глаз порабощенному человеку, жаждущему не крови, а теплоты сердца, милосердия и воли.

Горькой памятью вспоминаю вас, «Безумная» и «Блаженная», вы красили наши рождественские елки, вы, покинутые счастливой судьбой, за что вас замучали?

И еще в моей памяти жарко: наша первая в войну елка. Под елку забежал и остался караулить на серебряных шарах черный барсук. Наяда привела с собой и барсука и — с первого прикосновения я узнал ее, сестру лесных ручьев, блестящую из сказочного мира Э. Т. А. Гофмана, и наша елка вдруг осветилась таким волшебным светом, хоть не зажигай свечей.

И все-то развеялось. Остался черный барсук, своей горькой тоской он не покинул наш дом — какие уж там сказки под «зенитный» оглушающий грохот! А Наяда — она обернулась в черничку и ушла в свою черную келью: не заглянет к ней солнце, не покроет лунная тень. Так было бы в сказке, но в нашем суровом беспесенном дне,

хотя всякое утро солдаты, не наши, нагло горланят песни, какая там романтическая черная келья! — окандаленная голодом, потащилась Наяда на «египетскую» работу при полном освещении, без ограничения электричества.

В последнюю нашу елку в дом наш вошла Мэнада — она тоже оголодалая и тоже «египтянка». На ее лице — на куньей мордке — жаркий поцелуй печенежского солнца, в синь горящие раненой олени глаза, огненное, черным огнем пожираемое сердце; я дал ей русское имя «Дорога»: нет ей и не было нигде покоя, она не может нигде ужиться и ни с кем ладить, она всегда в дороге.

Бродя по дорогам, эта «разрушительница очагов» собрала стену тяжелых веток с елок — не для нас приготовленных. К сторонке я подвинул мою гору рукописей — и поднялась на моем столе елка, эта наша искусственная последняя елка, как китайская беседка, а в высоту — под потолок.

От елки лучами протянул я к передним углам комнаты и к полкам с книгами серебряные нити. В последний раз из зимних коробок вышли игрушки и заняли собой всю елку и все подвески.

И когда зажгли свечи — свечи тоже Мэнада собрала по «дорогам», тоже не для нас приготовленные — и в свете свечей над крестом елки взошла рождественская звезда, вся комната осеребрилась.

И в розовом блеске сквозь серебро вскинулись воздушные мосты и, как лунный луч, тонко заузорились дуги; лесенки, обручи, пилы, пояса, папоротники, весь чудесный лес «морозных» цветов. А стена с Пифагоровым «числом и мерой» — мои цветные геометрические конструкции, сверкая серебром, раскрылись вглубь, как настежь весною окна, и приблизили дали — «сущность вещей» и всея природы.

И кукушка — пришла ее пора! — закуковала: она куковала от всего, согретого свечным теплом, механического сердца, путая бой, не замечая. Ее трепетное сердце без зари бьет двенадцать часов, и за полночью с обрадованным передыхом вечернюю зарю.

А перекуковав все часы — всю долю человека — кукушка угомонилась, и только слышно, только чутко свечи дышат.

Серафима Павловна радовалась, как дети — только дети так смотрят и смеются так. А я, Дроссельмейер

из «Щелкунчика», накануне бессонно сочинял всякие елочные затеи и украшения, я радовался, что удалась елка. И чувствовал, напором темная волна плыла, заливая мою радость: наша последняя елка!

Свечи кротко горели. Во всей красе красовалась елка. И сидеть бы, не гасить часами в этом мерцающем свете. Такой мир и тишина и какая-то память о немерцающем свете там, на родине «начал и жизни», откуда пришли мы на землю, а уйдем ли туда, не знаю.

Гадали на Рафлях: я подбрасывал кости и по выпавшему числу читаю судьбу. Раскладывали карты Сведенборга. И с Рафлями и со Сведенборгом я, как всегда, плутовал: у Сведенборга подменивал счастливыми угрожающие — а этого противного «Хорька» я готов был бы разорвать, да жалко карт, а из Рафлей вычитывал счастливую судьбу — о «соколах», о «зайце»... несчастье ведь и так придет, не спросит, а я желаю людям только счастья!

А когда стали догорать свечи и который-нибудь — мне все представлялись в святочных масках — клеватая птица с шипом леопарда или слон, без клыков, хобот и хвост лисицы, потянется гасить своей осаленной рыбной пастью (мыла нам не выдавали!) или пальцем, за наши скотские годы потерявшим чувствительность, деревянным. Серафима Павловна, как всегда, пугалась. Ее пугает 13 — не вышло бы тринадцать свечей: 13 — ее роковое, тринадцатого и придет ее час — кто-то смилостивится, придет снять с нее все ее горе, всю ее тревогу — черную тоску.

Со свечами обошлось благополучно и я читал Гоголя «Ночь перед Рождеством». Так в рождественский сочельник и на Святках с Петербурга, когда справляли три кутьи: «постную» под Рождество, «богатую» под Новый Год и «голодную» под Крещенье,—я читаю Гоголя.

А с Гоголем не все прошло ладно. Впрочем, что и спрашивать от человека, обреченного на «египетскую» работу: с первых же строк, даже в моем чтении, оживляющем всякую букву, «египтяне», не меняя положения, погрузились в вещие коровьи сны фараона. «До следующего раза!» — и я закрыл книгу, и подумал той своей наплывающей черной думой: «этого раза никогда не будет!» Да и пора расходиться.

Мы живем под бомбардировкой и под надзором, и

вот уже три года, как на нас наложен пост и запрещение — прославленные синайские постники, если с нами сравнить, попадут в «обжоры», а их подвижничество в «рассеянный образ жизни»,— милость великодушного победителя!

Гости, поснимав с себя «страшные» маски «лютых зверей» и обернувшись в затравленных насторожившихся человеков, оставили нас, спеша до роковой полночи домой по своим холодильникам. И мы остались вдвоем, как вот уже сорок лет, одни.

В выгоревшие гнездушки я вставил все, что осталось: пять свечей. И снова зажег елку.

— Ну вот мы и одни,— сказал я и не договорил: «в последний раз».

Много тайн и чар открыто было Серафиме Павловне: тайны ее черной земли и чары звездного неба. Еще знает она много колядок — величальные рождественские песни — а знает их с голоса берестовецких дивчат. Я знаю немного, кое-что о силе «черной свечи» (свеча с кровью) — вычитал у Новалиса, Тика и у нашего Ореста Сомова, а колядки — из сборника Потебни.

Из колядок меня заняли древнейшие песни: и по времени и по имени — о ремезе-птице.

Есть таинственная птичка и имя не простое: по-арабски: «ремз» — тайна. О ней сложено немало колядок; конечно, поменьше, чем Богородице — «Матерь Света — Мать сыра-земля!» — да ремез и понимает, ведь она только самая счастливая из птиц, единственная: она щедро раздает свое счастье, и кто б ни попросит ее, если и очень трудно, она только крылом так — отсветит: «ну, скажет, берите!» Счастливая счастьем, а себе ты нашла на земле счастье?

— свя-тый-ве-чор —

Притаившись около елки с горьким черным барсуком и моим верным Фейерменхеном (сегодня он именинник!), я, напуганный нашими пожарами (трижды горели), всегда под страхом: вот вспыхнет. Свечи у меня в глазах.

И следя, как Серафима Павловна смотрит, как слушает, прислушиваясь в елочную тишину и в этот мерцающий свет, я слышал, что она слышит: оттуда — из

России доносит ей голос... тесно усевшись на скамейке, поют дивчата; в печке потрескивает и ухает солома, а за окном, опушенным теплым снегом, горят рождественские, такие гоголевские, кованные к празднику диканьским кузнецом набожным Вакулой, ясные, как твои глаза, звезды — —

— свя-тый-ве-чор —

И вот веки железом упали на светившиеся чистотой ясные глаза и детская улыбка скорбью окостенела, а тревожное сердце затихло.

Куда все девалось? Куда уходит красота живого человеческого существа? Неужто пропадает? А если и живет — живо только в памяти человека — какая короткая память. Короче моей жизни!

Нет — или нет, как может пропасть? Она разольется в этом прекрасном мире: помыслы — облакам, улыбка — заре, цвет чистоты — цветам, теплота сердца — весеннему вею, а мечты — вам, звезды!

Она проникнет в свет самого жгучего, белого, цвета, войдет в этот единственный мир — в нем рождается человек на свет. И пускай боль и страх и неутолимая скорбь — в жизни пролиты кувшины слез! — но как трудно, как невыносимо трудно расстаться с землей и, кто знает, может быть, томиться там — —

И в моих глазах... я различаю, перегудно звучит Чайковский — «Горними тихо летела душа небесами — —».

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Ночью они приходили ко мне на кухню: две беспятые — анчутки и с ними, поджав хвост, Епишка носатый.

«Спит ли не спит?» — они не говорят, я по их глазам читаю.

— Не спит,— говорю и стараюсь о другом думать. Епишка облизывается.

И по тому, как устраивались они на табуретке, я понимаю, что расположились на всю бессонную ночь.

Епишка к анчуткам хвостом, поджав хвост между ног из опаски отдавят или придет блажь хвостом его поиграть. Косясь в мою сторону, Епишка подмигивал — он читает мои сокровенные мысли.

А они сидят скучные, две востренькие беспятые анчутки — неизменные мои ночные гости, спутники Епишки. Много ль они понимают? — а ведь что-то да чуют.

Я выхожу в соседнюю комнату наведаться. И сейчас же возвращаюсь на кухню.

«Не спит?»

Они не спрашивали, но я читал по их глазам этот единственный вопрос ночи.

И начинается моя ночная жизнь.

Их ничем не спровадишь и до утра они на кухне со мной.

— И вам не скучно со мной? Или это не в вашей воле придти или не приходить к человеку? И вы привыкли? А я к вам не могу привыкнуть.

Перекашливаясь, Епишка подмигивал.

Он думал о блестящей синей Кумаке: лунные тени на своей томящей волне привели ее к нам на елку в лунную ночь. Я помню: переступив порог, она вдруг загорелась, это я коснулся ее плеч, потом горящая, затаясь, она ушла. Винила ли она себя?

— Ни в чем не виновата,— говорю,— ни ты, ни я, и разве может быть сердце виноватым, что вспыхнув, светит в ночь?

Но он, помахав хвостом, уж думал не о синей чаровнице, да ему это все равно, он хорошо знает, что эта ее вспышка только на мгновенье, а дальше — ночь. Он думал о моих черных, как мои ночи, днях.

Да, хорошо, когда удастся взять у ночи свободный час. А сколько сгорит ясного утренних дум, дневного наброжья и жгучего наплыва дымящихся вечерен — потом не соберешь. И все только для того, чтобы спуститься в лавочку, чего-то купить и на краткий час заснуть. Я, как автомат: завели машинку — спи! И я сплю без мечты.

— Мертвым сном! — продолжает мое носатый Епишка, охвостя сонных беспятых анчуток.

— Сегодня,— говорю,— какой печальный день, а вчера январь, и как будто пришла весна!

И мне хочется, и я готов рассказывать о вдруг закипевшей во мне весенней жизни, о буре под этим тихим теплым дождем.

А он наперекор: не синие бури, он говорит о пропаде, о неизбежном — то самое перед чем стою я без ответа, на что надеяться и откуда ждать.

Остроносые беспятые анчутки дремлют, в дреме клюя сонные пуховые подушки. Хороший знак: скоро все успокоится и я тихонько выйду из кухни и ткнусь под «кукушку» в пасть мертвого сна.

Я подымаюсь. Неверно следя паутинными глазами, иду по коридору. Чьи-то меткие руки подбрасывают мне камушки под ноги.

ЗАПАДНЯ

За собой перемены не замечаю, разве что не пишу. Но трудно было узнать, так она изменилась за эти годы: другой человек.

Где ее буря. Ее беспощадная требовательность. Ее прямое резкое слово и осуждение всяких человеческих слабостей, что в старину оправдывалось соблазнительной мудростью: «не грех, токмо падение». Вспомните, с каким негодованием встречала она перелетов, шатунов, этих туда-и-сюда, «кривых» и малодушных.

А как стали отходить вещи и мир погасал, кротость и покорность заполнили ее душу.

Усмирило ли ее что или вознесло на такую вершину, откуда и эта покорность и кроткое снисхождение к человеку, к его слабостям — демонам: они сожглись в ее свете.

И вот обнаружилось ее сокровенное, что светило из глаз и светилось в улыбке: непорочность — ее детское, с чем пришла она в мир, и что влекло к себе простое и не простых и раненных душой.

И внешне она изменилась: она стала похожа на детей, за которыми надо ходить и смотреть.

Наяда, так оно к имени и подходило, взялась ее вымыть — Наяда взяла на себя непосильный человеку подвиг.

Довоенный горячий кран закрыт, кипяти воду на газе, а газ ограничен, тоже и с посудой: много ль в кастрюле, а тазы текут; и как и где посадить без ванны, и холодно.

Не с любопытством, с нетерпением я следил. И видел, как на моих глазах совершалось чудо. Наяда, победив все трудности, мыла ее — она ее мыла не как взрослого,

а как детей, что отражалось во взгляде, в улыбке, в движении пальцев, и мне почудился нежный материнский подшлепник.

А как радовалась С. П.: в нашей-то парше и изъеди вдруг почувствовать себя чистым. И потом долго — вспомнит и обрадуется.

А я говорю: «еще и еще раз придет Наяда, не оставит, купать будет».

Больно было смотреть, подумайте... как больно будет трогать покинутые, осиротевшие вещи: они как живые — этот с орех глобус, заигранный мячик, бисерные шкатулки, бусы, янтарная память любимой бабушки, кораллы, гребешки, кофточки, платья, стол, кровать, книги, рукописи, альбомы, слоненки, часы, крестик, все они будут смотреть на меня, веря, что я что-то могу сделать, верну...

Я что мог, все делал, да и С. П., насколько руки хватало, все прилаживалась себе теплое шить, да путного что-то не очень, все путалось, а я, и не раз, доставал запрещенный тогда, одеколон. За что это, за какой грех на человека такая кара?

И эту кару чувствовал я, свидетель человеческой муки, а со мною все, как и я, кто должен был только с болью смотреть, бессильный помочь.

* * *

А как она радовалась, когда кто-нибудь приходил. А надо сказать, все реже заглядывали в наш обреченный дом.

Иван Павлыч («Не правда ли?») всякую субботу ходил на мое чтение, а уж и третья прошла, а его нет. Овчина всякое воскресенье, и тоже пропал. И Наяды нет.

В последний раз была Наяда на Рождество, розовый гиацинт принесла, а мне стоеросовую трубку под горькую полынь. А скоро и Пасха, трубка застряла, гиацинт завял.

С. П. очень затревожилась: не случилось ли чего — «Наяда померла». Только и разговору из вечера в вечер.

— Для чего Наяде помирать,— говорю,— а померла б, Орел известит.

— А может, и Орел помер?

— Ну, Зайцев.

В те времена исчезали без всякого извещения.

Хорошо что заехал Чижов. И успокоил: ничего особенного не произошло, Наяду он встретил в их шоферской столовой: «ест котлеты».

Чего я только не придумывал, почему у нас никого, и всегда обещаю, что все придут в воскресенье.

С. П. не очень доверяла моим предсказаниям, а сам я вовсе не верил.

И она начинала мечтать, наполняя дом гостями. Она мечтала, как приедут с острова Олерон все Черновы (Ольга Елисеевна, Андреевы, Резниковы, Сосинские): дети и их родители, девять человек, и все поселятся у нас, и как хорошо тогда будет. И Иванов-Разумник с Варварой Николаевной и Таня Унгебаун.

«И Петр Маркович Костанов» — говорю (П. М. Костанов учитель музыки).

«И Петр Маркович, конечно».

«Да куда же мы их денем?»

«Да как-нибудь устроимся».

И улыбается.

Эта улыбка превращала наши заставленные комнаты в деревенские хоромы. Так улыбалась ее любимая костромская бабушка, когда в черниговские Прохоры съезжались на именины все ее внуки и их отцы, их матери, с тетками и двоюродными братьями и сестрами.

Я знаю, знал своим каким-то знанием, голос которого слышу, но никогда не слушаюсь, что иначе не могло быть и не будет: это обреченность отваживала от дому.

С потолка повисла паутина — пауки по углам ткут ее день и ночь; с вечера скребется мышь и на ночь, поблескивая, вылезут они из нор и когда камнем повалюсь я на свой диван, только двум сесть, бегают по мне, изгрызли мое теплое вязаное одеяло, я не чувствовал, я не чувствую, но непременно проснусь на блошиный налет — волна за волной — никакого отбоя.

В вымерзлой «кукушкиной» Фейерменхен — мой спутник цверг по-прежнему сидел над запыленными рукописями, опустя нос — печаль без сказки не разговоришь, я пробовал. А кукушка сама собой без завода вдруг закукует и опять насторожена, молчит. На стене ясный цветной бисер и образ в жемчугах и золотая риза, нет, это сплошная черная стена и черный красный угол.

Незадолго до Пасхи, с год не появлявшаяся у нас,

пришла Мэнада: она затеяла, не по имени своему Мэнада, уборку. Ее не остановило, что при всем желании перед этим непроницаемым паутиным перепутьем у человека опустятся руки. Я вошел к ней посмотреть: она подметала пол в коридоре и, взглянув на меня и туда в комнату, заплакала. Показалось ли мне или на самом деле она заплакала, но эти слезы выговаривали громче всяких слов.

* * *

А когда С. П. еще одна выходила, давно это, но я все помню, память моя — мои цепи.

Она спокойно шла, держась за стенку. Самый дальний путь парикмахерская Одет, авеню Мозар против Вилла Флор. Последний ее самостоятельный выход особенно запомнился и мне никак не забыть.

Вернулась она с прогулки и, как всегда, не с пустыми руками: полный сверток — всякие баночки с кремом, пудра. Этого добра у нас заваль, но всякий раз ей подсовывают.

Как укладывать спать, вспомнил я о «тэрме» — с «тэрмом» всегда было трудно, а в то время только чудом! — взял я бисерную шкатулку, нашу сберегательную, и вижу что-то очень мало. И вдруг подумал: не обсчитывают ли С. П? Куда девались деньги?

Был случай с очками: Лисак такую оправу ей поставил, десять очков купишь. То же и с этими кремовыми баночками. И я решил проверить. И спрашиваю, как было у Одет? Считаю и вижу, что трудно ей отвечать, путается. А сам я со счета сбился, и уж позабыл, зачем все это затеял. А все считаю — и все не хватает. «Да там, говорит, еще в сумочке есть». А в сумочке-то одна мелочь. И я понял, что считай не считай, а деньги истрачены, а завтра «тэрм» и платить нечем.

Я вышел на кухню. Очень мне было досадно и не могу придумать, как поправить: за эти годы не было никого из знакомых, кому бы я не был должен, я чувствовал, что становлюсь всем в тягость.

Когда-то тоже, в Одессе, жили мы в щели на Молдаванке, тогда родилась Наташа. Что было делать? И я написал Льву Николаевичу Толстому и Иоанну Кронштадтскому, ответа не получил: первый мудрец и первый святой на мое не откликнулись, и как это меня

угораздило, ведь я писал не о Боге и не о совести, а только о своей беде. То же из недавнего, когда нас турнули из Булони и мы очутились без крова, я обратился к знаменитому музыканту и получил отказ: он помогает только через организации. И во французском союзе писателей отказали.

Припоминая только свое «безвыходное», я курил мою горькую полынь, и в глазах у меня темнело.

Всю жизнь меня тыкали: пишу непонятно и не гожусь или «не подхожу к нашему читателю». А издатели не принимали моих книг: «я не самоокупаем». И те из пишущих, кому помог в ремесле, стесняются моего имени или просто плюют на меня. В газетах меня печатали из милости. Можно ли привыкнуть просить? Нет. Скорчась — я ведь и горбатый-то от попрошайства — я попросил бы, да нынче нету газет, некуда сунуться.

И вспоминая только свой пропад, я обходил, я не спрашивал: да ведь кто-то же меня выручил! Я все забыл в эти злые минуты — все доброе, какое делали мне люди, и имена их забыл. И чернота кутала меня. И, должно быть, долго я сидел, завешенный едкой тьмою.

В комнатах было что-то очень тихо: то ли мыши совещались, чего им эту ночь грызть, то ли еще кто, притаясь в углу, высматривал и только ждет...

Я поднялся наведаться.

И вижу свет: С. П. не спит. И я хотел было готовить себе логовище, так называю я этот свой сторожевой диван с изгрызенным мышью одеялом и наваленным скомканным тряпьем. И вдруг слышу:

«А ты прости меня!» — сказала она.

И эти слова ее обожгли меня: во мгновенье я мысленно прошел все ее мысли и понял, как она поняла меня. И осудил себя, что мне не надо было, и пусть только для проверки, мучить ее допросом, и ведь наверно, считая и недосчитываясь, смотрел я с укором. Повторяю, я совсем забыл, для чего затеял все эти расчеты и обвинил ее, а не тех, что, пользуясь случаем, видят — больной человек, безответный и давай драть втридорога. Но даже, если бы было и не так, а просто забыв, она истратила эти нужные, эти необходимые деньги... И я вспомнил, вы помните из «Преступления и наказания» случай, совсем не то, конечно, и не так, но чувство и еще что-то глубже: Соня вынесла отцу на похмелье все, что у нее было — 30 копеек — «ничего не сказала, только

молча на меня посмотрела — так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют. И это больнее, это больнее, когда не укоряют!» — повторял я себе уж. И вдруг свет осветил меня, глаза мои открылись и я увидел — я уж вижу какую-то дорогу, путь: она приведет меня и все поправит. И как все просто: одно это слово, и даже не слово, а одна буква... «а ты прости меня!» и вся моя запутанность, вся темнота и горечь канули бесследно.

И я успокоил ее — в свете, который осиял меня, возникали колыбельные слова. И она заснула.

Но я не заснул: свернувшись, я повторял эти ее всеразрешившие простые слова и не мог простить себе свои, замучившие ее. И во всю ночь, прислушиваясь, легко я вскакивал на окрик, легко нагибался кутать в одеяла, чтобы теплее было, или чтобы поднять палку — палка у изголовья всегда падала; зачем-то выходил в нашу холодную кухню. Я готов был не десять, а сто раз подняться, не говорю, чтобы вернуть или поправить, разве можно такое поправить, нет! а оттрудить — отмучиться.

* * *

Было у нас ожерелье, но не то, что бабушка из Таинственного зайчика показывала Оле изумрудное, то Оле не досталось и погибло в пожар, в революцию, как в войну пропал золотой медальон — герб Задоры: «голова львова сера космата с огненной пастью в поле блакитном». Ожерелье, которое берегли, не родовое, а свое — цепь из пасхальных яичек, тридцать и три года низалось — вся петербургская литература: Блок, Белый, Сологуб, Вяч. Иванов, Гумилев, Кузмин, и Мир Искусства: Сомов, Кустодиев, Чехонин, Добужинский — христосывались, и оставалась пасхальная память. На Пасху и до Троицы носила С. П. это, с каждым годом удлинявшееся, ожерелье, всем показывала, называя имена, сама радовалась и все любовались — в Петербурге, в Берлине, в Париже.

Я отобрал самые знатные — золотые и серебряные. И говорю С. П., боялся встревожить. И вижу, посмотрела она, как дети смотрят — я встречал больных детей и беззащитных.

«Ну, что ж»,— говорит.

За полторы тысячи продал, и все на «тэрм» ушли — три месяца ни о чем не думай.

* * *

Да вот еще, как такое забыть!

Другой раз часами стою в очереди и не в одной стою очереди, а вернулся домой с пустым мешком — мои глаза, мне бы под землею, а я толкусь среди зрячих — что разгляжу? — а это я вижу, тут не надо ни зоркости, ни проворства, что человек есть хочет.

«Ничего, говорю, нет у нас — ничего, а завтра непременно достану!»

И она покорно смотрит и только свое:

«Ну что же».

И еще и такое бывало: плакать ей вдруг хочется. Спрашиваю. А она и сама не знает, отчего ей так плакать хочется.

Прощалась ли она с белым светом, не часто, а говорила, или такое, что и словами не скажешь, этот горький корень жизни в человеке... все в ней плакало. А слез не было.

Я выбирал самое жгучее — и самый упорный камень треснет — из Достоевского и Толстого, а слез нет — слезы подходили к ее глазам — и в глазах сжигались.

Верю и люблю сказки, часами могу слушать, не надоест, а держусь по Писареву Пятикнижия: Бюхнер, Фохт, Малешот, Фейербах, Милль. Много я наблюдал, что бывает от печени, от желудка, и что такое слепой и что такое зрячий, что такое холод и есть хочется, тепло и замерзаю, спал ночь или которую и на минуту не удается.

Вычитал у Дружинина (А. В. Дружинин, наша «эстетическая» критика, «англичанин», основатель литературного фонда, хороший человек) — вычитал я не из знаменитой «Полиньки Сакс», а из кавказских рассказов: «жертва ему вот куда! и он спрашивает: что есть человек? — и пишет: «дрянь» и тут же о судьбе, что есть и такая, все устраивает, но не к хорошему (толстовское «образуется») а все к худшему». О судьбе я согласен, но «дрянь», в первый раз слышу, единственное в русской литературе и сказано от сердца учеником Лермонтова, я что-то и понимаю и про что это, но так огулом... Бюхнер, Фохт, Малешот, Фейербах, Милль — и когда чело-

веку есть хочется, а слышишь покорное и кроткое на «нет ничего» — «ну, что же!» — понимаешь, что человек переходит грань живой жизни.

Меня сперва смущало — меня многое смущало и только потом я понял... не поздно ли? — не хотел верить глазам, а чутья не достало. Ночью, когда в какой-то десятый раз я вскакивал и уж с остервенением принимался кутать в четыре тяжелые одеяла и если случалось на что-нибудь ответить, я слышал свой голос и не узнавал, кричу, а она смеется — конечно, вид у меня был смехотворный. И вдруг я понял, что вовсе это не смех, она не смеялась. Так что же? Слезы? Слезы давно все иссякли, выплакались, а осталось сухое, как ожог, рыдание. «Не рыдай мене, мати...» — это куда глубже, чем сказать: «не оплакивай».

И однажды на мое нетерпение она сказала сквозь этот смех-рыдание, что «плохо с ней обращаюсь».

От стыда я и сам готов был так же засмеяться. И мысленно взглянув на себя, спросил: а уж не прав ли Дружинин?

А когда пришли нас описывать за неуплату налога, я очень боялся, что войдут к С. П.: в ее комнате все, и икона и стена в бисерных картинках — записывай да оценивай. К счастью обошлось, спасла ошибка: по моим квитанциям выходило, что я больше заплатил, чем у них записано; опись отложили проверить и ушли.

С. П. слышала, что на кухне кто-то и разговаривают, и подумала: посылка из Праги от Зарецкого, мед. И очень обрадовалась.

И когда я вошел к ней с рассказом о Питоне, фамилия юиссье, и понятых; заседателях нашего бистро, я был тоже очень рад, что все так кончилось, но меду у нас никакого и варенья нет. И выслушав мой рассказ, она засмеялась, как ночью надо мной. Да, «не рыдай мене, мати», это совсем не то, что «не оплакивай».

Надо было подумать чтобы не случилось повторения: проверят и опять явятся. А была у нас икона, ее С.П. очень любила, «Трех Радости» (Богородица с Младенцем, Иосиф и Иоанн Креститель), московский образ, золотая риза.

У меня только и есть выбор: или эта икона или мое золотое обручальное кольцо. И она попросила икону оставить, не трогать пока...

«Если можно!»

ОТХОДНАЯ

Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашел и не застал опять меня,
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном...

В наше последнее Рождество утром я отворил дверь идти, как всегда, в очередь за молоком. У порога на коврике сверток, и сразу я понял, только что положен, взял в руку и вижу, кто-то согнувшись, спускался по лестнице — «человек, одетый в черном». Не окликая, я вернулся в кухню.

Сверток не по размеру завязан грубой бичевкой, у меня сказалось: канат. Я развязал и под бумагой вижу: коробка со стеклянной крышкой, на крышке елочная ветка — крест. А в коробке на черной ленте медальон: живая алая роза залита стеклом. Никакой записки: ни кому, ни от кого.

Я взял в руки эту алую розу и через мои пальцы она как бы вошла в меня: мне стало очень смутно — я что-то вспомнил и что-то понял, что сказалось заполнившим меня словом: «человек, одетый в черном».

И с этих пор эта алая роза до последнего дня не выходила у меня из глаз.

Чтобы развлечь, я передал медальон С. П. И оба мы гадали, перечисляя знакомых, кто б это прислал и в такой тайне? И потом всем показывали: вещь оказалась самой модной, а по цене никому не по карману.

Несколько раз С. П. надевала медальон, а как-то упал он на пол, я поднял и положил на стол к любимым «птичкам» — такая дешевая брошка.

А скоро и забылось, С. П. не вспоминала о медальоне. А я каждый день невольно глазами встречал — вещун алую розу: ее дадут мне живую — у раскрытой могилы.

* * *

Вот уж три года, как я ничего не пишу. И только снится: кто-то с глазами полными слез стоит передо мной.

И я начал себе «отходную», что был человек, был обуян слово, маниак, и все кончилось, ушли слова и осталось порожнее место, засыпано цифрами продовольственных карточек, и очень хочется спать. Отходной я не кончил, вместо слов пошли рисунки, так легче, и втянулся, по-лошадиному засыпаю в очередях, стоя.

Все реже удается читать. Нет времени. В последний раз начал «Юлию» Дружинина — Дружинин ученик Лермонтова, не чета другому ученику, более известному, автору «Тамарина» — Авдееву.

С. П. последнее время на память читает «Онегина» и предсмертные стихи Сологуба: «Подожди еще немного», и по-польски из Мицкевича. А за неделю до смерти попросила меня прочитать ей вслух «Наймичку» Шевченки. Это и была «Отходная» — мое последнее чтение: страда матери, в жизни не узнанной сыном и только в час смерти она открывает ему, что она его мать.

Для моего московского трудное чтение, но С. П. сказала, что услышит и через мое, как бы сама она говорит:

Прости мене! Я каралась
Весь вік в чужой хаті...
Прости мене, мой сыночку.
Я... я твоя мати!

«Наймичка написана 13 ноября 1845 года» — С. П. переспросила.— И я повторил: «13-го».

Выслушав свою «отходную», она поднялась, она, с трудом, но еще могла передвигаться, и пошла из кухни в свою комнату, повторяя: «13-го».

В день Страшного суда — так по откровению — когда Архангел протрубит с небеси, похоже на сирену, но еще пронзительнее, и голос-оклик его, выворачивающий душу, острастив последних на земле, проникнет в землю к сухим костям человеческим и пеплу. И в тот судный час, вместе с усопшими матерями и сестрами, она подымется из своей землянки и станет перед Лицом Судии такой, как нарядил я ее в последний путь: она будет в черном сарафане, белая, ею вышитая берестовецкая кофточка,

кипарисовый крест на шее и в руках материнское благословение — образ Богородицы.

Прижимая к груди образ Богородицы, скажет словами своей последней предсмертной молитвы:

Суди меня и спаси меня,
если можешь!

ПРОПАД

Страх понемногу отпустит — она уже не будет так беспокоиться: сирена и выстрелы не будут так встрясывать душу, как раньше; и недавнего ужаса не стало и следа. А с ногами плохо: шаг все короче, пространство все уже. Когда-то затеяла подсчитать города, где побывала: в ее записной книжке выписано — 175; трудно поверить, что это было когда-то. Кое-как добрела до Знамения, по дороге сидела, конечно,— а это рукой подать: Микель-Анж за Молитором, по соседству, ну, а потом две недели лежала. И это было в последний раз. Я свыкся, но не все понимали, и такая опытная массажистка — она массировала ногу: затеяла было вымыть в бане — баня на рю Пуссен, за Сухановым, недалеко, дорога знакомая, исхоженная, но уж путь был заказан, я-то знал, не дойти.

Выйдет на улицу посидеть на лавочке у кинематографа — кинематограф на рю д'Отей против рынка — а уж дальше: самое дальнее Авеню Мозар, Одет, парикмахерская, но это тоже было когда-то! — вижу, идет, как пьяная, за стенку держится. А вернется: какое измученное лицо. Сначала через день выходила, потом через два, потом через неделю. И уж ни на Пасху, ни на Рождество, о церкви очень тосковала и особенно под праздники. И уж без меня теперь ни на шаг.

А какая была мука спускаться с нашего 2-го этажа и опять назад лезть — 39 ступенек и 2 площадки — было б, конечно, куда проще по лифту, да не разрешают, больной не больной, а кнопка выключена, очень у нас зверские порядки, и до войны и в войну одинаково. И уж одной ей без поддержки никак. Да и моей помощи мало, а поводырку — чтобы мне помогла — не скоро нашли.

Однажды на короткой прогулке, а по часам долгой — и как это пронесло, один Бог знает! — чувствую, нет моих

сил удержать, а стоим среди улицы и кругом одни, и я, оглянув, голосом обратился, по-русски сказать: «Люди добрые, помогите!» И тут какая-то дама — откуда? — взяла ее под руку и легко перевела к самому дому. Я хотел поблагодарить, но ее уж не было: как появилась, так и пропала; одета она вся в белом, я полуслепой, а и сейчас вижу и узнал бы — глаза, какое участие! и светящееся легкое дуновение вокруг, дышать легко. Я не раз вспоминал этот чудесный случай. И теперь, в сумерки, когда прохожу по нашей улице, я тайно думаю, что встречу — она где-то тут близко, я чувствую, а может быть, и не тут...

А вскоре и другой случай: переходя нашу улицу и как раз от тех дверей госпиталя, из которых дверей только выносят, а уже были сосчитаны дни, как и ее вынесут, вдруг, вырываясь, она побежала. Очень было трудно, и все-таки я сдержал ее, но удержать не было сил, и в тот миг я чувствовал, как ноги ее подгибаются и вот сейчас упадет, и какой-то, как та дама,— откуда? — и я вздохнул, он взял ее под руку — глаза его светились, в самой глуби глаз горел уголек — и легко довел до дверей. И я потом всем рассказывал, говорил, что это был не человек, а демон, но себе... я узнал его — «человек, одетый в черном»...

До последнего дня всякое утро она читала Евангелие и потом писала, но это был не дневник, а молитва: она писала письмо Богородице:

«Матерь Божия, возьми нас под кров свой, избави нас от напасти, избави меня от напасти, спаси, сохрани, помилуй нас! — дай мне здоровья, дай мне выздороветь совершенно, дай, чтобы ноги не болели, исцели мои ноги! — дай, чтобы ноги мои отпухли, дай провожатого, дай научиться ходить, дай дойти до Одет, до рю Лафонтэн, дай благополучия, дай мне спать хорошо, спаси, спаси, спаси.

Матерь Божия — Исусе Христе — пошли нам помощь денежную, дай нам денег — спасибо! — пошли нам помощь денежную, дай мне одежду,— спаси-спаси-спаси!!! Помилуй-помилуй! Спаси-спаси-спаси!»

Три года запись — три года молитва; в последнем письме строчки недописаны, писала из последних. Она родилась с верою и через всю жизнь неотступно пронесла ее, пламенную и несомненную.

«И услышала Пресвятая Богородица голос из пучины

человеческого страдания»,— так в «Хождении Богородицы по мукам», где говорится о всех страждущих, озлобленных и помощи требующих,— развернула она свой затканный звездами голубой покров, звезда надзвездная: и вот в глазах взблеснули белые крылья, и отекшие холодные ноги вдруг потеплели, и без помощи, а как когда-то легко, поднялась она, стала на землю...

СИРЕНА

А в то время, как приближались последние минуты, я все еще гадал о завтрашнем дне. В марте закрыли за перерасход газ, и много я намучился со спиртовкой — ведь надо было все успеть приготовить и как всегда чтобы. И теперь, напуганный, хотя, кажется, ничего не угрожало, я хотел поскорее заплатить по счету и за газ и за электричество: 400 франков. А денег не было. Но мне обещали эти 400 франков: в понедельник утром или в четверг до четырех. И я решил не откладывать до понедельника, уже один понедельник пропустил: получу и вернусь в госпиталь, еще поспею.

Я пришел вовремя, а не легко было отыскать с моими глазами, во много дверей стучал, пока не нашел: меня записали в очередь первым. На Вожирар выдавали пострадавшим от последнего налета. Я хоть и не бомбардированный за последние годы, и все-таки как когда-то «потерпевшему» мне обещали.

Да, Дружинин прав: и такая есть судьба, что устраивает не к лучшему, как принято думать, а к худшему. Я ждал по крайней мере час, сколько прошло народу и всех приняли, а меня не выкликают. Не знал, что и думать. Забыли? Да так оно и выяснилось, когда я о себе напомнил. Не дай Бог попадать первым,— если второго зачеркнули, и пошла черта за чертой, тебя уже не существует, заштрихован. Теперь переписали 13-ым. Серафима Павловна всю жизнь боялась 13-ти, для нее это черный камень, а для меня белое — 13-е — удача.

С воскресенья четыре ночи я не спал, и спать мне не хочется, но все во мне звенело. И когда очередь дошла до 13-го и меня выкликнули — смутно помню, как меня что-то спрашивают, и я отвечаю, по лицу догадываюсь, не к делу говорю и невпопад, а в конце концов дали мне эти 400 франков. И я уж подходил к двери, чтобы скорее до мэтро Порт-де-Версай — я все еще надеялся, что в

госпиталь поспею! — и, как на грех, вдруг слышу знакомую песню: сирена. И под ее стенания я вернулся в приемную ждать конца, когда соблаговолит — завопить отбой.

Когда-то, а как давно это было, я любил сирену... Когда в Париже в канун войны по четвергам неизменно ровно в полдень, разворачивая уличные звуки, заводила она механической пастью свинцовый вой — эти катящиеся металлические ленты с завитком — беспутные песни, я спешил проверить часы: будильник и кукушку — будильник за неделю всегда отстает, и я передвигаю стрелку на полдень, а кукушку, всегда торопенную, ловлю за маятник, передохнуть. А если, случалось, сирена застигала на улице — ее голос не впивался и не давил мне сердце, я только вспоминал о моем будильнике и о моей кукушке: о будильнике-трескуне неистово-быстром и неугомонном, щадившем мой сон и немудро любящем — сколько раз по его милости я опаздывал, и о кукушке, беспощадно торопящей мой отмеренный срок. И я всегда думал, хорошо, что завели сирены, эту морскую корабельную машину, и пускают для порядку разглашать воем не тревогу, а обеденный час, и не над невольной волной, а над свободно текучей улицей Парижа. И вдруг все переменилось, и не та сирена. Значит, надо было нарушить какую-то меру, температуру, порядок, чтобы другое открылось слуху, не этот «глагол времен», четверговый механический оклик проверить часы — железные звенья моих цепей, оклик, принуждавший меня считать часы и минуты и оставаться в необходимом кругу последовательно равных падений в вечность минут мне отмеренного дыхания сердца, жизни на этой чудесной земле, расцветающей и увядающей, радующейся и радующей. Стало быть, как всегда, только выверт, «преступление», вольное или невольное, разорвет завесу, и тогда наступит... И вот в первые дни войны меня разбудил голос. В первые дни войны, когда размеренная жизнь хряснула, задумалась, я затаился — с моими гномическими глазами и единственным оружием — словом, мне нет и не может быть места ни в каких поединках — и никогда еще я не чувствовал себя таким покинутым, как в первые дни войны. После дневных «окапываний» — работа с заклейкой стекол, наступала ночь со своей жизнью сновидений, они тоже необычны и ярки в переломы, и меня вдруг разбудило, но не рассеяло. Откуда-то из-за домов звучал ее голос и

чувство мое было не судорога, а что-то торжественное, не леденящее сердце, а разливающееся по сердцу, и я почувствовал, что с этими звуками закатывает мою душу. Очарованный, с волнением я слушал ее. Она будила во мне старую память, вспоминал ли я «Фауста» или другое, подымающееся из тьмы моих жизней. Я слышал плеск волн — где это? у берегов Сицилии или на островах Архипелага? И видел ее: она сияла из ночи,— «и душа моя тоской сжималась». Одних она убивает, другие бегут с леденящим сердцем, а я очарован, и мое чувство так остро, я как выдрался из сновидений и лечу за ней, за ее уплывающей, дразнящей, полной звуками тенью на «воздушном океане». Спускаясь по темной лестнице в «абри» («убежище»), я слышал через плеск волны и взрывы вихря знакомый голос. Я простоял три часа и не заметил. А Серафиму Павловну она испугала: не сирена, я разбудил ее и надо было спешить одеваться, спешить вниз, а это очень трудно, когда бегут и перегоняют с вытаращенными глазами. Да, когда-то я любил слушать сирену, а потом — теперь забота оглушила меня, и я смотрю через ее растопыренные пальцы, сплющенные на моих глазах.

С этой первой сирены надо и начинать и — до воскресенья. И день за днем с воскресенья перелистывался передо мной, как страницы,— за эти дни в тысячный раз я читал эту книгу и с той же неутихавшей болью, как в первый раз. Все во мне звенело.

В воскресенье, как всегда в последнее время вечером, Серафима Павловна вышла в кухню — ее самая дальняя и единственная прогулка.

Взятое на прокат кресло стояло без употребления: погода все не налаживалась, то дождик, то ветер, то холодно. И только под Вербное я катал ее по улицам до Знамения. Помогала мне Биярда — наконец-то послал Бог поводырку. Эта поворыдка существо кроткое, безропотное и, как сама заявила, «ничего не боится», это очень важно, мало ли что, не растеряется. А прислала ее нам черная: по нашей лестнице встречал, ходит убирать. А жизнь поводырки, сразу понял, нелегкая, и одета: пальто рыжеватое, цвета давности, и только шелковый белый платок заколот на шее. Говорила, «ничего не боится», а вот и сама не заметила, как забоялась: а случилось это в позапрошлое воскресенье, попала она на Лоншан, на скачках, под бомбы, да не одна, а со

своим Жан-Клодом, мальчишка вроде моего Петьки из «Петушка», вихрястый и озорничать горазд. Приводила мне показывать — называет она его «монстр»; его от взрыва закатало в листья, так он не хотел из листьев вытаскиваться, не дается да и только. «Я, говорит, бомба»,— и чтобы его все пугались, губы надул, страх представляет, а глазенки сквозь листья зверьком поблескивают; тоже очень испугался.

Днем Серафима Павловна ждала поводырку, хотя и было условлено, что кроме воскресенья, и собиралась написать своей любимой крестнице Олечке на остров Олерон, и в Киев Наташе.

Вечером накормил ее. Вымыл посуду. И мечтали: завтра будет хорошая погода, завтра придет поводырка, и мы поедем кататься, я довезу ее и до Одет и на Ля-Фонтэн, где шерсть покупала. Я кипятил оранжевый чай — дух апельсинный, но без сахара дерет.

К чаю пришла Листин, художница, ее «кумир» — Лифарь, и за два года, как она в Париже, она не пропустила ни одного балета, нарисовала тысячу Лифарей в тысяче поз; теперь не так часто, а в лютую зиму она приходила к нам каждый вечер, и на уме и на языке у нее Л., только о нем и разговору. Я всегда думал — на наших глазах проходила ее жизнь: комната без отопления, и всегда голодная — вот пример жертвенной рыцарской любви, забытой и не восстановимой — или существо человека изменилось... «все для того, кого любишь, и никак, ничего для себя». Наши соседки, если застигал «алерт» (всполох), побаивались Листин: всякий раз, когда она, поминая Л., произносила свое единственное заветное имя, немедленно же раздавался выстрел,— а это значит — такая была сила и упор ее любви, магия ее любви. И вот она достигла: после всяких неудач и сколько труда зря, все-таки будет издана книга с ее рисунками. И в десятый раз она с восторгом повторила: «Вы, сказал ей Л., героическая женщина». И как всегда стала раскладывать карты Сведенборга: она, по Сведенборгу, Амазонка, и, как всегда, по левую руку от Амазонки лег ее защитник Лев, по правую Гишпанец: Лев — это хозяин кинематографической студии, где она теперь работает, «огонь и сталь», как она выражается, и тоже не без восторга, но... Гишпанец — сам собой и некому больше, как Лифарь. В толковании карт ей помогала Серафима Павловна.

«У Серафимы Павловны глаза были ясные, а улыбка ласковая»,— так вспоминала потом Листин.

Было около одиннадцати.

Я хотел почитать немного и как раз к случаю «Шарлотту Ш-ц» Дружинина: рыцарская любовь с ее жертвой доведена до последнего — Шарлотта для предполагаемого счастья своего Генриха приносит последнюю жертву: самоубийство. Я рассказал содержание повести, и как все оказалось зря,— и жертва не помогла, стало быть, жертвой ничего нельзя создать, и Генрих так и остался недоноском.

Я заметил, что Серафима Павловна устала, и сейчас же пошел в ее комнату приготовить ей постель и все, что нужно для ночи. Когда я вернулся в кухню, она дремала. Тихонько я разбудил ее. И она хотела подняться, но сколько ни пыталась, ничего не выходит: Трудно было, но с моей помощью поднялась, стала — нетвердо; с болью прошла несколько шагов к ванной. Я подал зубную щетку и воду. Она вычистила зубы и потянулась к полотенцу, но я увидел, что дальше она идти не может, упадет, Я прислонил ее к двери — так мне казалось, прислонил, и тут же из кухни скорее стул и, обняв ее плечи этими моими жалящими пальцами, приподнял ее — что-то во мне хряснуло в спине,— а посадил. И стал двигать по коридору в ее комнату, к кровати. А положить ее на кровать — не справлюсь. Так и осталась на стуле.

Холодно было. Я зажег радиатор на тысячу и стал за стулом. Она пыталась подняться и не раз, и все зря. Так началась первая ночь.

Я выходил на кухню, курил свою горькую полынь (армуаз) и опять становился за стулом. Очень мне было холодно. И когда я так стоял, съежившись и таращa глаза, чтобы не заснуть, мне показалось, что у правой руки Серафимы Павловны, как бы из рукава — присоединилась скрипачка Иоланта Мириманова, наша соседка, года уже два как померла в Марселе. Иоланта смотрит на Серафиму Павловну, вижу глаза ее переливаются, и все лицо просвечивает, а волосы на голове еще чернее, смазаны арашидом, блестят. Я смотрел на Иоланту и говорю себе, что это мне кажется, но сколько я не уверял себя, Иоланта не пропадала: она сидела, пришипившись к рукаву Серафимы Павловны, и странная световая струящаяся жизнь играла на ней. Было бы совсем

просто протянуть руку и потрогать ее, но непреодолимая сила сковала мои руки, а окликнуть боюсь, испугаю.

И мне вспомнился случай с Ваталиным: Ваталин одаренный и зоркий — или оттого, что стихи его, как и у других, он бросил писать стихи, а после трепанации совсем как издох: после трепанации черепа бегала у него в правом глазу мышь, сидит ли на Монпарнасе в кафе и она тут, около столика бегает, а выйдет на улицу, и она впереди по тротуару, точно собачонка, и все, как полагается, с хвостиком. Советовал приятель с Монпарнаса, тоже «поэт», завести кота, хотя бы на краткий срок — котов он стал мучительно бояться и даже избегал кошачьего разговору, но чудак не сообразил: может, все это и верно, но кот не капли, в глаз не впустишь. Другой мудрец оказался более «здравых понятий», посоветовал завести пелеринку, в таких пелеринках в Петербурге щеголяли факельщики похоронных бюро. А уж тому мышь житья не дает, на все согласен, и на пелеринку. И как надел он себе ее на шею — представьте себе такую сосульку в пелерине! — ну, мышь и ушла. Стало быть, надо сделать какое-то движение, как, должно быть, Ваталин, в своей пелеринке, заглянув на себя в зеркало. Не спуская глаз с Иоланты, я наклонился над Серафимой Павловной: она не спала, сидела покорно и кротко и мне было больно смотреть на нее. А когда я поднял голову, Иоланты уж не было. И все мои мысли сошлись к одной мысли: дождаться утра, пройти в гараж, попросить, чтобы пришли и положили на кровать. Такие случаи не впервой, и хозяин гаража никогда мне не отказывал. И когда, наконец, рассвело и начался день — ведь месяц май — и отворили гараж, а выйти мне из дому не легко было: боится остаться одной. Десять часов просидела она на стуле в эту первую ночь.

С понедельника на вторник вторая ночь.

Днем, когда ее уложили на кровать, наша соседка Унбегаун напоила ее **настоящим** кофием, и это ободрило ее, и она стала ждать доктора Аитова, двадцать лет лечил ее, как в Париж приехали, она ему верила. И перед Аитовым она поднялась. Вечером опять, как утром, приходили из гаража, чтобы положить на кровать. Да положили на левый бок — и что меня поразило, она уверяла, что она так всегда и спала на левом боку, а на самом деле она всю жизнь спала на правом. И все порывалась подняться — и у меня не было сил помочь. А как было бы

все просто, если бы я был похож на **человека,** ну как хозяин гаража, или как его товарищ, приходил с ним помочь. И я в первый раз за все эти годы — за все эти ночи возроптал: «Господи, за что это мне!» — я чувствовал свою полную беспомощность,— а это и есть самое что ни на есть страшное, беспомощность. И она слышала, и на мой ропот говорит твердо и властно: «не надо роптать». И я вдруг очнулся и мне было очень стыдно; чтобы оправдать свое малодушие, такой уж подлец человек, и успокоить ее, я вспомнил ей из «Хождения Богородицы по мукам» о ангелах, «стерегущих муку грешников», о их муке больше обреченных мучиться: видеть все, чувствовать, хотеть помочь...

А в ночь со вторника на среду, в третью и последнюю дома перед госпиталем, ее последняя молитва-разговор с Богом: голос ясный и твердый, такое не выдумаешь и никаким голосом не передать, так говорили Пророки. «Суди меня и спаси, если можешь!» А какое после ее слов: «спаси!» — какое это было молчание. И в ответ на это молчание снова: «если можешь»! Тут человек поднялся во весь рост, человек за что-то обреченный на боль: — «если можешь»! И потом совсем человеческое, из самого корня существа беззащитно человеческого: «мне страшно».

Со среды на четверг четвертая ночь — я был уже один дома: своей волей как бы держал я натянутые нити и не мог отпустить, ночь я не спал.

И переговорив себе в который раз все эти ночи, вспомнилось ее тяжелое дыхание — вот только что в госпитале, такое дыхание, я заметил, бывало и в эти ночи, это всегда после встряски, когда ее клали на кровать, но потихоньку переходило в ровное и спокойное. «Если бы я был около нее, так я думал, она бы и теперь успокоилась». «Да я еще успею, думал я, и она успокоится». И сам боялся взглянуть на часы.

И когда, наконец, я услышал сирену, кончилось, и все встрепенулись, я поспешил на улицу — нелегко это мне, тыкался по коридорам, пока выход нашел. Все-таки я сообразил, что на Порт-де-Версай — там теперь труба, а пойду на Вожирар, и пока добреду — толпа схлынет. И пошел. И уж как подгонял, ноги захлестывало, а все кажется, медленно и далеко что-то, совсем не так, как представлял,— дорога не неизвестная. И когда увидел метро Вожирар, а там оказался плотный хвост, и я было

стал, постоял-постоял, не двигаемся, и вышел. «Пешком пойду, не так уж — по Конвансьон через мост, Чижов ходит, ничего». Только иду, замечаю, и все нет рю Саразат, Лев Шестов жил. «Прошел, верно, плохо я разбираю надписи, не доглядел». И дальше иду. И жарко мне стало, я в своих зимних шкурках, и пить хочется. «Ну, думаю, скоро и мост — Пон Мирабо». А странно, когда дошел до моста, Сена вдруг пропала, и какие-то загородки, переплеты, и переходы, и деревья — и я еще подумал: «как высохла Сена». И вижу надпись. Подошел поближе и читаю: «Порт де Версай». Оглянулся, а в глаза метро: Порт де Версай.

«И уж ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно: в ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля, и все, что ни на есть перед глазами, покрывается как бы паутиной. Вскочив на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная, для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая, пора бы ему давно показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей: но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город, но не Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противоположную сторону и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе колдуна, а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море» («Страшная месть»).

КОНЕЦ

С глазами, запутанными паутиной, я вернулся домой не в три, как думалось, а в восьмом. В госпиталь поздно, не пустят. Оттого ли, что я что-то сделал: эти самые четыреста франков,— я их завтра же пошлю за газ и элек-

тричество, успокоили меня. И завтра же я пойду в госпиталь, и никуда больше, и расскажу о своих мытарствах. Я так был уверен. И до чего это странно: чужая собака в гараже, Мишка, воет, а я успокоился.

Я начал было надписывать денежные переводы в Газовое общество и Электрическое, как вошел знакомый еще по Москве, большой книжник, вот уж такому никак не успокоиться, нынче много на свете таких бедующих, гонимых! И положил на стол сверток: «Туфли, сказал он, для Серафимы Павловны». И меня вдруг кольнуло: «туфли!» — но вспомнив, что у нее не было туфель, ее отвезли в госпиталь в одних чулках, я вдруг обрадовался: будет мне что отнести завтра. Поблагодарил я доброго человека, пожелал ему успокоиться, сам успокоенный и уверенный: и деньги и эти туфли. А должно быть, он что-то заметил — и что безголосый я и что в простых словах запинаюсь и путаюсь — не задерживаясь, ушел.

Не вскрывая свертка с туфлями, я дописал переводы и слепо потянулся к нашему древнему гаданью «Рафлям»: эти «Рафли» осуждены на Стоглавом соборе, отмечены вопросом в Стоглаве (1551 г. Гл. 41 в. XVII), «быть от царя в великой опале, а от церкви отверженному»,— ответ. На себя я никогда не испытывал судьбу на этих волшебных Рафлях, как никогда не беру билет в лотерею. Бросил я кости: легли — 611.

«Святый Федор Тирон взял с собою сокола-птицу и сяде на коня своего и поехал в чистое поле, и поимает сокол сокола ж птицу, и возрадовася Федор улову своему. Тако и ты возрадуешися орудию своему, Бог тебе на помощь; аще о болезни или о пути — в пути тебе радость; аще ли хощеши долг взяти, и ты возьмешь, только хлопотно, а врагов своих одолеешь».

Уверенный, еще больше уверившийся в своем «орудии» (деле), вышел я на кухню. «Только хлопотно» — да и как не хлопотно: 400 франков не легко мне достались! Мелькали отдельные слова: «чистое поле»— «сокол сокола ж птицу»: мне было так же трудно думать, как и говорить.

С понедельника она ничего не ела, я давал ей с ложечки кофий и белое вино с сахаром — ей трудно

было глотать, но не потому чтобы горло болело, а очень неудобно лежала: порываясь подняться, она сползла с кровати на мои сложные сооружения из всяких валиков и подушек и лежала чуть-чуть не на полу; и вот тут я заметил, что ноги у нее холодные. Какое уж там есть! А про себя не скажу, не помню, а должно быть, что ел. Есть мне не хотелось. Было б поставить чайник, да я и поставил бы... да рано еще: без четверти девять. Я присел на табуретку «подумать».

За эти годы мне никогда не удавалось что-нибудь до конца додумать. А теперь я был один и никакой оклик, от которого, бывало, падает сердце, ни птичья приманка, вроде свистульки, завел, чтобы не вздрагивать и выходить спокойно на «птичку», не могли прервать мои мысли. О чем я думал? Я думал смутно, истомно — клубок спутанных мыслей: сегодня — вчера — третьего дня — завтра, что было, что будет, что может быть; но не было мысли «конец».

Я дверей не запираю вот уже три года, и только когда дома, я захлопну, да и то не всегда. За моим гостем я не затворил двери, и потому без стука и звонка вошла наша соседка. Вчера она помогала, когда тащили везти в госпиталь,и была единственная, последняя, с кем говорила Серафима Павловна, лежа в амбюлансе, когда я, как всегда, путаясь в расчетах, расплачивался за амбюланс. Анна Николаевна пришла справиться и рассказала про вчерашнее: она заметила,что у Серафимы Павловны не было в лице ее детскости, очень была перепугана; и на ее, что будет хорошо в госпитале, Серафима Павловна ответила: «не знаю, не хуже ли будет».— «Я помолюсь за вас»,— сказала Анна Николаевна.— «Помолитесь-помолитесь!» — и это было сказáно с порывом: так говорят, когда ничего не осталось и ни в чем никакой уверенности и единственное — «помолитесь». А я подумал: «А мне и не пришлось ничего ни спросить, ни сказать, и даже проститься из-за этого расчета с амбюлансом, а сегодня... опять деньги, ну завтра!» И я хотел рассказать, как сегодня я метался, как колдун из «Страшной мести». И хотя дверь была не закрыта, позвонили.

Наш консьерж баск, что-то от лопаря, от лопарского нойды — такой нойда предсказал Ивану Грозному его Кириллин день — консьерж, извиваясь, подал мне письмо.

И я испугался: письмо без марки: опять подумал,

какие-то деньги — за газ? за электричество? или штраф? А это было не про деньги, это был печатный бланк из госпиталя. Я понял. Но перечитывал. И не то, что не верил глазам, а от неожиданности: ведь, кажется, все было сказано, а нет... несмотря ни на что, я так был далек от мысли, что так скоро, так чересчур быстро, и недопустимо, невозможно, немыслимо, так сразу наступил —

«Madame Remizov Séraphine est décédée à 20 h. 15 le 13 Mai 1943».

Было девять часов, прошло три четверти: «еще не остыло». И еще светло. И первая мысль: идти сейчас же в госпиталь. Не пустят? На бланке ясно: я все перечитывал — от 2-х до 4-х. Стало быть, только завтра: еще ночь и целых полдня.

Однажды — по призыву в прошлую войну, как ратник ополчения, я провел на испытании в военном госпитале 40 дней и 40 ночей, сколько померло на моих глазах, я все знаю, что будут делать, знаю всякую мелочь и подробность, знаю, как покинуто безразлично лежит под простыней только что умерший, и только завтра...

Отчего в этот час не оказалось около меня никого из «безумных»: ведь, для безумного нет и не бывает нашего «нет»: не пустят? Ни Анны Безумной, ни другой, Любови, эту звали «Блаженной». И где, на какой земле или в какой больнице пропадала несчастная Безумная? А «Блаженная», мать и пастух беспризорных котов и кошек, с год как из Sainte Anne схоронилась в землянке на «немецком», как она называла, кладбище Bagneux. А Серафима Павловна, как бы она поступила? Да, конечно, как Безумная и как Блаженная.

В последний год войны, в августе мы жили в Ессентуках, пришло известие о смерти ее матери, и она поднялась, сейчас чтобы ехать. Сейчас? И мне много стало уговорить: война, из Ессентуков до Крут сколько будет пересадок, здоровому не выдержать, а она лечилась, и сколько времени займет дорога? И Короленко приходил разговаривать, и доктор Зернов, в его санатории мы жили... А ведь тут: всего дорогу перейти. Не пустят?

Паутина, которая днем кутала мне глаза, теперь опутала мои ноги. Я как сел, так и сидел у стола в кухне и писал письма. Наша соседка Половчанка, она тоже

вчера помогала, когда тащили везти в госпиталь, а сегодня ходила со мною в госпиталь — я ведь один ничего не могу! — поднялась к себе на пятый телефонировать, кому можно. Анна Николаевна пошла к Ивану Павлычу: у меня смутно было такое чувство, что если бы пришел Иван Павлыч... И уж совсем стемнело, теперь и для безумных захлопнулись все двери, приехал учитель музыки и Телепень-Овчина.

Я писал письма на бумаге, подарок «Берлиоза», непишущей, что выговаривалось шершавой, на шершуне, перо зацепляло, царапало и брызгало, чернила расплывались.

Телепень-Овчина (его предок Иван был отцом Ивана Грозного от Елены Глинской), князь Андрей с лицом Ивана Грозного складывал, как лоскутья, эти мои невнятные письма в самодельные шершавые конверты и, зачем-то послюнив, заклеивал липким подозрительным гуммиарабиком, путая адреса: «Зайцеву Паскаля, а Паскаля Зайцеву, а кому еще и вместо кого, не знаю. Учитель музыки — а для него, по его хворости, что он вышел в такой час из дому, поступок героический — стало быть, можно сделать и что-то сверхъестественное и даже без всякого «безумия». А как радовалась Серафима Павловна редкому его приходу, и всегда его вспомнит за его «чувствительность», как она называла, чего как раз нет и никогда не было у меня; за его верность: как он годы ухаживал за своей матерью, отказавшись от всего; за верность, потерянную в нашем мире, как и чутье; за инструментальную ясность души, учитель музыки! Костанов, усевшись на «Комедию», от взволнованности, должно быть, а он, я знаю, потерял настоящего верного друга, говорил что-то несообразное. Или мне так послышалось. И, конечно, это не он, а во мне говорилось, выговариваясь сообразно с адресатами: ведь каждый имеет свое лицо, свою душу, свои чувства, будь он выродок, выкидыш или девятимесячный, и у каждого своя отдельная обстановка, несовпадающая с другими, и всякие пристрастия, своя боль, свой страх, своя песня: я продолжал писать письма.

Вернувшаяся Анна Николаевна без Ивана Павлыча, измаявшаяся за день, с выбившимися прядями, позевывала, прислонясь к запрещенной, а когда-то теплой, духовке: она ждала, когда кончу письма, чтобы опустить. Половчанка, телефонировавшая с час и по нескольку

раз одним и тем же лицам, склеивала тем же «оболенским» гуммиарабиком самодельные конверты, но без предварительного прилиза. А я поминутно схватывался, не забыть бы кому, и в то же время, зачем я все это делаю, и что все это неважно и не имеет смысла, и не все ли равно, напишу или не напишу, и вдруг промелькнуло, что я давно уже пишу эти извещения, они *давно написаны мною,* и я только припоминаю.

ОМУТ

После одиннадцати все разошлись. И я остался один. Я часто думал, как это бывает, когда остается человек один в таких случаях, и мне всегда представлялся омут, в котором он барахтается и тонет и снова выплывает, чтобы тонуть.

Я пошел в «кукушкину» комнату, развернул сверток и надел «смертные», не мне предназначенные, оленьи туфли. И меня клонит, и нет сил сопротивляться. И было такое чувство, и это как бы пóдстель к моей непродуманной и еще не сказавшейся, а только беспокойно мелькавшей мысли:

«Что есть срок человеческой жизни, люди, звери, рыбы и птицы? Люди, звери, рыбы и птицы, всем нам и каждому отмерен свой век и отпущена своя доля: одним на счастье, другим, как мне, на горькое счастье, а третьим на радость. Ворон живет 70 лет, слон 100 и гусь 100 («коли вóвремя не зарежут!» — ворвался насмешливый голос), медведь 50, продолжал я, лисица 20 («очень нервная, да и с этаким хвостищем!» — заметил кто-то), а пескарь, сереброчешуйный наш пескарь, где-нибудь в подмосковной за Яузой, по желтому песку, в серебряной Синичке, целых 300 годов!» («На наш век если, так всего на 13 лет будет моложе царя Ивана Васильевича, так?»)

Но мысль о госпитале пламенем слизнула все мысли и ясно увидел я в палате № 5 в углу под простыней...

«Я помню, кто-то будто повел меня за руку, со свечой в руках, показал мне какого-то огромного отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо — которому все подчинено от гориллы до человека и от человека до Сына человеческого, этого самого высшего и совершенно-

го, что только дано было землей на земле,— и смеялся над моим негодованием».

«А по Гоголю это и есть Вий, темная, наглая и бессмысленно вечная сила»,— перебил я Достоевского. И ткнувшись в ворох бумаги, в которой были завернуты «смертные» туфли, вдруг я очнулся.

В моих глазах все было скомкано, стиснуто, сдавлено и перевернуто; все казалось разбросанным, раскиданным и рассыпанным. Я не хотел тушить свет,— «но почему же?» — и щелкнул. В темноте, не раздеваясь, я прилег на этот свой диван, на котором провел, потом я подсчитаю, 1075 ночей «ночного дежурства» без перерыва или, как теперь говорят, «без выходных».

И вдруг мне вспомнилось, как однажды, это было зимой незадолго до войны, утром я проходил по двору госпиталя (тогда самая дорогая клиника); из главного здания, где бюро, служители в белом тащили кровать и на кровати, прикрытый одеялом, лежал — и я подумал: «так легко простудиться», но это тащили шакалы и не в другое здание, а в мертвецкую; лицо мне показалось очень знакомым по портретам, только не мог вспомнить, и сказал себе: «шикарный француз!» А теперь я понял, необыкновенное сходство: Мюссе — Alfred de Musset. Стало быть, подумал я, завтра надо пораньше встать и прямо идти в госпиталь и никуда там, только к лестнице главного здания, и как вынесут, я увижу и пойду сзади тихонько, никому не мешая, это не предусмотрено и часов на такое нет, не отгонят же, я им все скажу, в самом деле, я не собака, и как же так, даже если бы и собака, собака тоже понимает и чувствует, а как чует! звери, они чище нас, разве звери мучают друг друга. Альфред де Мюссе, «La nuit de Mai», Жорж Занд, Шопен, Равель — Равель помер в этом же госпитале, тогда клиника, и Лев Шестов, и я не раз ходил навещать профессора Легра — после «второй» операции у него появились странные замашки, прыжки и ужимки, он мне читал свои переводы из Гейне. «Кто-то постучал в окно. Какое бледное лицо! Кто ты? — Я май»... И я иду по зеленой дороге — зеленая земля кусками влажная — «сырая», присел на дерновник подумать: «куда мне теперь идти?» А надо куда-то, вон и автобусы. Только это все не наши, нам в другую сторону. И откуда ни возьмись Анненков, в руках зеленая папка: рисунки к «Ревизору». А «Ревизора» и нет никакого, это Евреинов, на ногах рыжие потрепанные бо-

тинки, каши просят. «А крысы холодные,— нагло сказал он, поддразнивая кого-то,— когда на голое тело прыгнет, холодная!» Но не успел я подумать, что в «Ревизоре» про крыс не так, из папки механически поднялся Михаил Струве в валенках, лицо Рылеева и что-то от Котофея, нет от Миши: поблескивал медвежьим глазом и покачиваясь, как тень отца Гамлета,— и мне послышалось, что он сказал, и я, сделав страшное лицо гофманского крысиного короля Кавдаллара, повторил за ним эти страшные, понятные только мне и моему озабоченному «Фейерменхену», и само собой и Достоевскому: «Ich bin alles zermalmendes Raubtier!» («Я всесокрушающий лютый зверь») и вспомнив массажистку, она меня массировала после «зоны», и за свои крепкие руки называла себя «лютая зверь», я схватился, не пропустить бы в госпиталь! — и со всей осторожностью в полутьме, держась за перила, спустился по лестнице и совсем незаметно мимо консьержки вышел на улицу и прямо к госпиталю. Чуть еще рассветало, и с моими глазами я как плыл. Калитка была не заперта, и я прошел во двор и прямо к главному зданию, где бюро, и у лестницы притаился. За дверью не заметно было никакого движения — или очень рано? — и бюро закрыто. Я стал всматриваться в дверь и выше — смотрю на лестницу, и через коридор, и вдруг вижу в углу на кровати в зеленой кофточке турецкими бобами — вчера я ее заметил, когда внесли Серафиму Павловну в эту палату — она похожа на «безумную», которую называли «блаженной» — черненький зверек на кривых ногах; она приподнялась на локтях — так приподнимаются звери настороже, чтобы или броситься или улепетнуть; она меня еще не видит, но чует мои глаза. В это время дверь отворилась, и шакалы в белом тащили кровать — но теперь через открытую дверь она увидела меня, и я встретился с ней глазами, и не испуг, не ненависть я почувствовал в ее глазах, а сверлящий укор. И проснулся.

В окно, в щели занавесок глядело солнце. Незаведенный будильник остановился. Я сразу сообразил что поздно, проспал. И вдруг услышал — а как медленно и неуклонно звонили часы: 10 часов. И в другой школе прозвонили, и опять — 10 часов. И слышу, это далеко, на Eglise d'Auteuil чуть доносит, а ясно — 10 часов. И не зная, куда девать мне глаза, в смятении я поднялся. Все кончилось.

ТУДА

В четверг 13 мая 1943, в неделю «Жен мироносиц» (3-я по Пасхе) в «отдачу часов дневных» — на закате солнца, в госпитале «Ambroise Paré», 12, rue Boileau, XVI, в общей палате № 5, после трехлетней, с кротостью оттруженной страды, тихо скончалась Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, проведя одну ночь вне дома, 7, rue Boileau, XVI, без меня, без моего глаза и моей воли, без своего креста и Евангелия, вне своих бисерных и книжных стен, где три весны загорался в окне белыми рождественскими свечами зеленый каштан и три коляды горели рождественской звездой на елке и три красные Пасхи трижды пропели «Христос Воскресе», где в черные дни и беспросветные бессонные ночи и в самую ледяную, не парижскую, зиму оберегали ее от отчаяния ее любимые книги: Пушкин, Толстой, Достоевский, Тютчев, Лермонтов, Некрасов, Блок.

Не забыть мне холодное нестерпимо-блестящее утро — 16 мая, день похорон. Нет, я не проспал: я ведь все мучился, что просплю и опоздаю на вынос, со мной все может стать. И как с вечера взял в руку кипарисный крестик и образок, чтобы в гроб положить, так и заснул темным приглушенным сном. Нет, никто меня не будил. С солнцем я поднялся — беспощадный блестящий свет рассеял сон. И всю мою жизнь, всю нашу жизнь, я увидел до мелочей — и самое мучительное, самое яркое, самое кричащее погасло и затихло, как срезало. Остался вчерашний день. И какое оно было долгое, это вчера, оно одно только и было — последний день. Свет, осветивший мою — нашу жизнь, обнажил меня, и чувствую, как и кожу с меня сдирают, а не жжет, только холодно очень. И вдруг я почувствовал, что я как бы вырвался из себя: странно, но это так, я уже наблюдал над собой. И на́с стало двое, я видел его — себя, он был совсем обескровлен, кусок худого мяса, и все-таки повелевать ему я не мог.

Когда пришла Пелагея Ивановна — это видение из блоковской «Незнакомки» — с ней и ее семьей у нас много прожито, очень — и горького и надежд, — я так и думал, она придет, я ее ждал, она очень удивилась, что он уже готов. Она застала его на кухне с зажатым в руке

крестиком и образком. Кутаясь в эмпермеабль — подарок первого танцовщика Опера̀,— он жаловался, что ему холодно, руки у него посинели, и не опоздать бы. Он все смотрел на часы, чтобы не опоздать.

И я вспомнил — очень давно это было, в Пензе, в мою первую ссылку,— такой же блестящий май, чуть только солнце взошло; мое окно во двор — и там кто-то помер из соседей, сегодня день похорон; а проснулся я ни свет ни заря, странная ритмическая речь разбудила меня: это был не плач, не рыдание, а разговор с самим собой, выбивавшийся ритмической речью. Слов я не мог разобрать, но и теперь во мне звучит эта разговорная нить, как бы я сам говорил. Как бы я сам говорю.

И они вышли: «Незнакомка» из Блока и он в эмпермеабле первого танцовщика Опера́. Торопились. Я несся вслед и наблюдал за ними. Как выгонят зверька из норки — бежит такой, хвост поджал — так шел он: все отняли, иди куда знаешь — и он идет, ничего не поделать, глаза не в землю, глаза не в небо, а так вразбег, и кто-то подхлестывает и грозит: «молчи!» Надо покориться, ведь это такое, ничем не умилостивить и нет никакой надежды поправить,— «молчи!» И некуда больше пойти спросить, как последнее спрашивают: «так как же?» — «Молчи!» Не знаю, что и делать... Они остановились: налево или направо? Сюда.— И уж некому сказать это! «Господи, за что это мне?» — потому что не человек его выгнал, и никакой другой зверь его не турнул, и хочешь не хочешь, а нельзя не...— «молчи!» Молча они вошли в мертвецкую.

И он сейчас же о крестике и образке, но никак не могу завязать крест — очень высоко, и уж крокмор — сторож, как вчера на Костанове развязавшийся галстук, легко завязал на шее крест и положил на грудь образок. Да, ему никак не достать! Он потянулся рукой и погладил ее по голове: волосы были сырые, расчесаны — «Ну, вот!» — сказал он сухими губами.— И все».— «Нет, не все! — я крикнул ему — это прикосновение ТУДА...» Он вздрогнул, и не понял, но я-то знаю, вспомнит... когда-нибудь в веках при встрече вдруг вспомнит и узнает. И когда священник вполголоса — не разобрать слов — прочитал молитву и благословил последним, ему привычным, благословением, я видел, как он — священник посторонился — подошел поближе к гробу и, точно держа в руке пуды, с усилием поднял руку, и медленно, так

медленно — тяжесть-то какая! — и неловко перекрестил. Как чугун, черный висел этот крест в воздухе — я все видел — и не пропадал над еще открытым, еще живым гробом. И тут мне послышалось, что-то как бы крикнуло и оборвалось — а это задвинули крышку гроба: небо закрылось. И все поплыло как-то само собой впотьмах. Он подошел еще ближе и стал рассматривать надпись на крышке гроба: ему так не написать! — но его оттеснили. И когда несли гроб из мертвецкой на улицу к автомобилю, ему казалось, что он бежит: вид у него был нищего и «шикарный» эмпермеабль танцовщика не красил, а еще более выделял его нищету.

Это было утром в воскресенье — 16-го мая. И после обеден, в 3-м часу дня в нижней церкви на Рю Дарю отпевание. Пел хор Афонского — 3-й глас.

Когда запели «Христос Воскресе», меня полыснуло. Я никогда не думал, что можно так крепко ударить. И, как от толчка, я пришел в себя. И слышал, как под трехкратное, щемящее сердце «Христос Воскресе» завыла сирена. Прежде я непременно бы подумал, что и она отозвалась, но теперь, как завеса закрыла все, мне было очень смутно. А как стал на колени — «Со святыми упокой», лопнула у меня подошва, это я понял, и это было единственное из жизни. И опять слышу сирена — конец, и под сирену опять «Христос Воскресе». И до чего все скоро — вот и конец. Это было, как в сказке: прошли три года, а показалось за три минуты.

И когда перед гробом я в землю поклонился — на Воздвижение, как крест выносят, на «Господи помилуй» полагается сто поклонов, по поклону на каждое «Господи помилуй», а это была — так я чувствовал — тысяча в моем одном — за все, что мне открылось в моей жизни, в нашу жизнь, и за науку — верю, и Там...— просил простить, если можно... за все — и за то, чего не сделал, забыл или не успел сделать, и за то, о чем вовремя не догадался или сразу не понял. И не холодный камень плиты, к теплой черной земле прикоснулся я всем лицом, всю-всю-всю я ее тронул, «сырую землю».

Кто-то, подойдя ко мне, сказал, и слово его прозвучало мне, как приговор: «несчастный!» И я глубоко затаил в себе это слово, как Раскольников свое «убивец». С народом я вышел из церкви покурить, очень было мне зябко.

И опять дорога. Когда ехали из мертвецкой в церковь, только и заметил: Триумфальная арка — Этуаль; а из церкви на кладбище — порт д'Орлеан. Должно быть, всегда такая спешка: рожать и умереть, на свет и с глаз долой. У остановки автобусов приостановились. «Покойника везем»,— подумал. И дальше — к кладбищу. По дороге подобрали троих, кое-как разместились: кто на одной ножке, кто плюхнулся на колени,— и дальше, так скоро, так скоро; ни одной мысли, и только это «скоро» в лад с автомобилем.

Могила смотрела совсем не страшно, вот уж никакая «вырыта заступом яма глубокая». И земля — песок. И тишина. И была она ничуть не грозная, а тихость.

И когда в могилу опустили гроб так же легко и тихо, без всякого бодлэровского жгута веревок, мне подали алую розу — и я узнал ее, эту рождественскую, вещую алую розу, кто-то тогда зимой мне принес... («человек, одетый в черном»). И вдруг я увидел высокие «ослопные» свечи в церкви по углам гроба — торжественный взлет к небесам,— мои глаза без «вчера» и «завтра», как во сне, насквозь, и я бросил ее на гроб — на грудь к затихшему сердцу, эту алую живую воду. Телепень-Овчина — русскую землю, берегли 22 года, из Таврического сада, и щепотку с Москвы. И почему-то очень долго закапывали. Семеро нас — мы нетерпеливо стоим вокруг могилы.

Прощаясь, я подумал: «теперь и у меня земля под Парижем», правда, на пять лет, но не все ли равно, ведь это срок испытаний, мера пробы — «пять» и по Гоголю и по Достоевскому, значит, по-русски — «навечно». И как в мертвецкой на крышку гроба, так на могиле я заглянул на крест, и надпись меня остановила. И я подумал: «И это все, что осталось от человека, эта одна, да и то только мне звучащая надпись!»

Дома, не раздеваясь — я все еще, как утром, в эмпермеабле первого танцовщика — я вошел в покинутую комнату: все та же бисерная стена и книги, образа в углу, стол, кровать, «Я вернулся,— сказалось во мне,— а она не вернется, неизвестно, куда ушла, и никогда не вернется!» И в первый раз я так глубоко заглянул — какая беспросветная пучина: никогда.

Еще в церкви Резников передал Телепень-Овчине *настоящего* чаю и табак. Резниковским чаем и поминали. И я курил. К вечеру Ростик Гофман прислал блинов из

настоящей белой муки. И все, кто заглянул в этот день в «кукушкину» — а кукушка остановилась, не кукует,— получили по блину. Блины я смазал медом, правда, не на все попало, но на всех был дух медвяный. Хожу из кухни в «кукушкину» и из «кукушкиной» в кухню, и сам не знаю, чего ищу.

И когда я остался один, было очень тихо, только не скажу, чтобы была тихость. Да и вообще никакой тихости не было, я теперь это понял, а затаенность до столбняка. Я пошел опять в ту комнату, присел на свой просиженный, пролежанный диван. В окно заглядывал слепо погасающий вечер, стекла не светили.

В комнате было темнее, чем на воле. И в сумерках по углам затаилось, они мне виделись из каждого угла: одни указывали на меня пальцем, другие серыми волосатыми мордами, скорчившись, делали «моську» — их вытянутые губы бледно алели; третьи — гладкое, как страусово яйцо, на вздрагивающих тоненьких ножках, они равномерно подымали и опускали свой липкий хвост; четвертые сидели на корточках, подперев скулы, если бы им был дан голос, они бы скулили; пятые — с продолговатым редькой лицом, птичий нос и острые серые глаза: они читали мои мысли с первого дня до сегодняшнего и, пристально глядя, допрашивали меня, я и без слов понимал их,— «да-да-да, отвечал я, но что же я могу сделать? и разве можно что-нибудь вернуть?» И тут один вышел, подбоченясь, волк, а из пупка спиралью пучок седых волос: «Что же, собственно, произошло — в конце-то концов? — стащили в госпиталь, чтобы передохнула ночь, да неизвестно, как еще передохнула? — и он, давясь, высунул острый алый язык,— чтоб на следующее утро стащить в мертвецкую, а из мертвецкой, отпев со свечами и ладаном, на автомобиле шикарно примчать на кладбище и там бросить в яму»:

«...со святыми упокой...»

И разом всем паучиным сдохлом метнулись они под потолок и потемнели и, наливаясь тьмою, тяжелые, грозно протянули руки: и это были не волосатые лапы сумерек, а человеческие живые карающие руки. Я поднялся и, крепко сжимая себе руки, пошел к двери: «я тоже больше сюда никогда не вернусь!»

В «кукушкиной» я «закамуфлировал» окно,— задернул все занавески, зажег свет, сделал себе постель на

сомье, в углу под кукушкой. И хотел записать в дневнике — начал я его, как отвезли Серафиму Павловну в госпиталь, для нее: встречи и сны,— взял я эту тетрадку и остановился: писать больше некому. И положил тетрадь к моей «Отходной». А любопытно было, и я заглянул на последнюю страницу этой «Отходной». Рисунок: лежу, как в гробу; и подпись: «лежу на правом боку, за левым ухом бутылка, «двойное» вино — с горлышка красное, со дна белое, и не одинакового качества». И другой рисунок: птица летит: и подписано: «птица, длинный зеленоватый хвост, алая грудь, ее посадили в кастрюлю с водой, я ее вынул, погладил: крылья у нее сырые». И вспомнил: «волосы сырые, расчесаны». И в глазах остановилось — в гробу: что-то торжественное и нарядное. И что-то досадное — «какая сила дала вам так распоряжаться человеком? Вы!» И как бы в ответ мне туловище без ног и без головы вдруг вскинулось в глазах и кивает: «Мы! мы!» И я закрыл «Отходную».

Да, вспомнил, надо хоть какой-нибудь порядок навести,— весь мой стол завален и все перевернуто. И я шарил по столу. И попался листок, не моя рука: «приход-расход» — Чижов распоряжался похоронами; и вижу, на «приходе» первым мое обручальное кольцо написано — 500 франков. Какая судьба: венец и гроб. Что-то от Шекспира, роковое. И в глазах: старая тесная Всесвятская церковь, горячее июньское утро, все золотое, старинные распевы, «Исайя ликуй» с хождением «посолонь» вкруг аналоя, красное вино — мы венчались в единоверческой церкви. И это как один кратчайший миг. И снова вижу: то же солнце, но не жаркое лето, а «веселый май», все золотое, колыхаясь, несут к могиле гроб; так медленно... до веку неизбывно.

А какая долгая была эта моя первая ночь: я все схватывался — чего я не сделал, забыл или не успел сделать. И, забываясь, вдруг пробуждался и слышал — я слушал, как кричало голосом «Детской» Мусоргского откуда-то из подушки, из самой под-подушки, беспощадно.

ДУПЛО

Наступили будни. Предстояло самое для меня мучительное: хождение в мэрию и префектуру; и там поиски комнат — с лестницы на лестницу и из коридора в коридор — и, конечно, попал не туда; или от стола к сто-

лу, не понимая вопроса и отвечая невпопад; и еще мне предстояло отвечать на праздные вопросы: еще когда Серафима Павловна лежала в мертвецкой, меня спрашивали: «собираюсь ли переезжать на другую квартиру или остаюсь?» — и советовали, не помню, что советовали. Я был в мэрии, сдал продовольственные карточки, но какую-то забыл, и завтра мне опять идти; уходя, я каждый раз замечаю и комнату, и коридор, и лестницу, а непременно спутаюсь. Разбирал вещи, тихонько разговаривал — Francis Jammes меня поймет. Да, вещи живут: одни я боялся тронуть, а других чуть касался — по ним восстановляю жизнь.

В глубокие сумерки, проходя по коридору, я вдруг почувствовал у дверей покинутой комнаты — что-то загораживает мне дорогу и, вздрогнув, поднял руки — тень, темнее сумерок, рассеялась. Мне было не страшно, а очень трепетно. И я стал ходить тихонько, и если бы говорил, то шепотом.

Скоро полночь, я собрался ложиться: мне надо непременно выспаться. И прибрав на кухне,— вымыл посуду, поставил чайник,— я вернулся к себе, в «кукушкину». Я зажег на столе лампу — зеленый абажур при бомбардировке развалился и только к лицу целый, и получается двойной свет: ко мне зеленый, а туда — в глазах рябит,— и обернулся. И вижу, на белой двери через коридор тень — моя тень, и вдруг увидел: другая тень, она крылом покрывала меня, чернее моей.

На третий день я получил в госпитале крестик и, завернутые в головную сетку, четыре платка и белый гребень — все, что осталось. В обеих руках нес я от госпиталя через улицу домой и дома положил себе на стол этот с крестиком комочек — все, что осталось.

И в эту ночь, когда я погасил лампу и лежал, не закрывая глаз, вдруг над столом осветилось — и белый блестящий шар, вспыхнув, погас. И я погрузился в глубокий сон.

Комната с бисерной стеной, полки с книгами по стене и стеклянный шкап с книгами, но все гораздо обширнее и потолок выше, а окно во всю стену и из окна далеко даль и в самой дали над крышами, трубами и пустырями разливается трепещущее зарево. В соседней комнате — мне и это видно через стену: Чижов с Бутчиком, Чижов еще выше — под потолок, а голова у Бутчика, как цифра «8», оба в серых мышиных халатах, над книгами что-

то делают — два тяжелых длинных ящика. И знаю, чего-то они боятся, или, что это ночь и свет: такой — лунный. Чижов, согнувшись, входил в комнату и, не глядя, еще согнутее, незаметно пропадал. Мы стоим рядом лицом к окну: она в белом и вся светится: платье, лицо и руки — приподнятые руки — глаза и улыбка — в розовом блеске, такой блеск я помню у Рублева. И одно мне странно,— ведь стоим рядом и, кажется, плечо к плечу, а вижу ее, как издали, и не подаст голоса.

Через 40 дней. Как быстро прошли эти «мытарские» 40 дней и 40 ночей! На могиле цветы засохли и один только черный «казенный» крест на сером песке — перепевшая песни черная птица — сторожит. Все эти дни и все ночи я писал — очень трудно после трехлетнего перерыва, слова не поддаются, а потом когда и приходят, разве это то? — и сколько такого, чего и не выговоришь.

А кладбище — Bagneux — и вправду «немецкое», наши московские Введенские горы в Лефортове: последнее, самое бедное место: дивизион 70-й, а все те же цветы, как и там, у бессрочных в 1-м, и птички какие-то перекликаются, даже больше их тут, там камень и плиты пугают, и твердо.

После кладбища всю дорогу навязчиво повторялись стихи Андрея Белого, их когда-то в Петербурге пел Андрей Белый, а сколько раз потом читала Серафима Павловна: «я вышел из бедной могилы»...

Я сел на могнльный камень...
Куда мне теперь идти?
Куда свой потухший пламень —
Потухший пламень нести...

Я шел пешком, устал и не помню, что и приснилось. Только в эту ночь, в первый раз за все 40 ночей вдруг слышу — так ясно и просто зовет...

И уж наяву, прислушиваясь к моей звучащей памяти и в ней различая этот голос — он звал меня так ясно и просто,— я подумал: «вот однажды на оклик проснусь, и все, что было, окажется только сон был». И это так, как с болью когда-то думалось, что вот проснусь и окажется: Россия — я в России, а все эти годы здесь лишь сон был.

Но странно, или так всегда бывает и иначе не мог бы человек вынести разлуку, с годами этот сон, я чувствую, меня окутал, и все плотнее, и порой мне снится, что Россия — это только мой волшебный сон.

ПОД ОГНЕННОЙ ПОТРАВОЙ

Есть две памяти: красочная — глаза, и звонкая — слух. Глазатая память моих «подстриженных глаз» опасна, не всякий вынесет, немудрено и «изойти». Меня спасает мой вглядчивый слух: и как услышу голос и тотчас вернусь к жизни — и мертвое в моих глазах оживет.

* * *

Из какого далека глядит на меня Розик, а вижу его, как перед собой.

Розика все знали и не только на нашем дворе, а и за воротами до Камушка — камень такой лежал в Сыромятниках на тротуаре около мелочной лавки, черный хлеб покупаем. Откуда к нам попал Розик, не могу сказать, но сразу обратил на себя внимание. Все про него говорили: «аккуратный», и в пример ставили. И правда, от него в доме у нас точно вымыто — чистота поддерживалась этим Розиком.

Лисья мелкая мордочка на пружинных ножках, и никогда не бегает, а идет, и всегда осматривает, проверяет порядок, и сам такой блестящий — на нем все чисто вычищено. И поздоровается, встречая — так своей звериной грустной мордочкой поводя, наклонится: «здравствуйте!» И пойдет себе.

Розику был коврик, и на этой теплой подстилке он отдыхал после обеда. Тихонько я подхожу и присаживаюсь на корточки около. Если спит, всегда проснется и глазами так сделает — узнал! — и подвинется: он чувствовал, что я к нему в гости пришел. Я с ним разговаривал — поглажу его по брюшку или за лапку возьму, коготки чистые: «где был, спрашиваю, что видел»,— и о своем ему, о своих «походах», и о раздумьи своем. И в глазах его вспыхивала понятливая искорка.

Розика никогда никто не трогал. Даже в сердцах, когда человек и в самого себя готов пырнуть или шваркнет чем ни попало. Что-то останавливало, и другой раз этот сердцовый толчок угодит в кастрюлю, кочергу, табуретку и совсем не близко от Розика, стало быть, сама рука отвела.

Шел Розик по двору и, как всегда, внимательно приглядывался, а какой-то был у нас дурак верзила, Дрока

кличкой, ухватя полено, здорово-живешь в Розика, прямо по ноге ему хвать с размаху.

Вечером Розик лежал на своем подвернувшемся коврике; за день и поправить ему не было ни сил, ни охоты, он и к еде не притронулся: очень больно. Лунный студеный вечер плыл за окном. Я наклонился, подул теплыми губами, потом погладил его больную лапку — горячую. И он, вздрогнув, посмотрел на меня — глаза полные слез. И эти слезы, не иссякая, кипят в моих глазах.

Она стоит на углу 14-ой линии и Большого проспекта, ее лицо открыто — русское, глаза нездешние и сразу скажешь, больна: по отеку, и ни кровинки, и ноги, чай, опухли. Она очень бедно одета, но «аккуратно» — все-то на ней подштопано и приглажено. Ее тонкие белые губы крепко сжаты, она ничего не скажет, она только смотрит. И не было человека, кто бы проходя ни остановился подать ей, и в самые злые тиски, когда нечего и самим было, ей подавали. А потом она пропала, долго ль больному надо? такая была ледяная стужа — 1919-й год, Петербург.

И вот опять она на своем старом месте, стоит.

Я видел проходя, как какая-то — конечно, одна из тех, что навещала в леднике ее, рассказывает что-то свое и с такой мукой рассказывала, сводя горькие брови. И она ей что-то ответила, слова не долетели до меня, но ясно вижу, как тонкий луч засветился в этих нездешних глазах, и та, которая с такой мукой о своем рассказывала, тихо заплакала.

И я, весь подтянутый, отошел, почти не касаясь земли, боялся, шагами своими спугну этот свет. И этот свет сияет в моих глазах.

И я пронес через всю мою жизнь и этот живой свет и те замученные слезы. И вот, под огненной потравой, все погасло: мертвое лицо закрытыми глазами смотрит на меня из ночи...

* * *

После трех лет невольной передышки я набросился писать. Сначала было очень трудно, понемногу вошел, и все лето и осень пишу, не прерываясь. И пока писал, я видел перед собой живого человека, слушал и отвечал,

но как только я кончил, и тотчас очутился в мертвецкой. Дверь за мной закрылась, и я почувствовал, что на волю мне никак не выйти. Мертвое лицо неотступно в моих глазах.

То, что совершилось, так тому и надо было быть; и наша жестокая судьба, но так, значит, оно и должно было быть — а принял сорок лет нашей жизни, а не мог помириться с пятью последними днями: со среды, как повезут в госпиталь, и до утра воскресенья, когда из мертвецкой в церковь.

Переговаривая и передумывая эти дни, я осуждал себя за то, что не сделал или не успел или не так сделалось, не по-моему. И, пусть этих дней вернуть нельзя, мысль о этих днях, как о вернувшихся, не останавливается.

Перед сном, лежа, я читал часа два. И весь был в книге. Но как только погашу свет, я попадаю в мертвецкую и, под мертвыми без взгляда глазами, оживает мысль о непоправимом. Так из ночи в ночь. Бьют часы, разговор на улице, но и самое неистовое — огненный громых по аэропланам, меня не освобождает. Только под утро провалюсь в сырую яму мутного сна. И целый день потом брожу заморенный, засыпаю где придется и как попало, крутя папиросу, вдруг или с зажженной спичкой в руке. И только пью, с жадностью глотая кипяток, ненасытная жажда.

Человек может вынести даже сверх своих сил, тут какой-то закон ссуды, что потом непременно взыщется. Но есть предел всякому терпению. И когда последнее, уже сверхмерное, исчерпается, тут или глухая черная пропасть или какой-то взвих и выход из себя, раздвоение, но не двойник, а над моим же растерзанным «я» взблеск моего властного неколебимого «и-а» (я).

Я видел, как лежал он с открытыми глазами, упорно всматриваясь. Ярко падал свет на его лицо — всеми мускулами напряженное к слуху: он прислушивался к шороху, окликам и затаенному нашептыванию ночи, которая никогда не кончится; ему что-то смутно звучится. И вдруг его губы ярко окрасились и беззвучно зашевелились. И розовые капельки взблеснули на его лбу и на груди.

Я следил — все мои чувства превратились в глаза: это я — сам я лежал, прислушиваясь. Я больше чем он, я дальше вижу и знаю глубже, моя память бездонна.

И эти взблескивающие розовые капельки на его лбу и на груди, я помню.

И глядя в глаза ему, я читал слова Лескова о исступлении человеческой воли перед непоправимым, напряженнейшей до кровавого взблеска — вернуть.

«Да, эта красная влага, которою была пропитана рыхлая обертка поданных мне бумаг, была не что иное, как «кровавый пот», который я, в этот единственный раз в моей жизни, видел своими глазами на человеке. По мере того, как этот худой, изнеможенный интролегатор (переплетчик) размерзался и размокал в теплой комнате, его лоб, с прилипшими мокрыми волосами, его скорченные, судорожно теребившие свои лохмотья руки и особенно обнажившаяся из-под разорванного лапсердака грудь,— все это было точно покрыто тонкими ссадинками, из которых, как клюквенный сок сквозь частую кисею, проступала и сочилась мелкими и росистыми каплями красная влага... Это видеть ужасно!»

«Кто никогда не видел этого кровавого пота, а таких, я думаю, очень много и есть значительная доля людей, которые даже сомневаются в самой возможности такого явления, тем я могу сказать, что я его сам видел, и что это невыразимо страшно. Это росистое клюквенное пятно на предсердии до сих пор живо стоит в моих глазах и мне кажется, будто я видел сквозь него отверстое человеческое сердце, страдающее самою тяжкою мукою — мукою отца, стремящегося спасти своего ребенка... О, еще раз скажу: это ужасно! Я невольно вспомнил кровавый пот Того, Чья праведная кровь... и собственная кровь моя прилила к моему сердцу и потом быстро отхлынула и зашумела в ушах. Все мысли мои, все чувства точно что-то понесли, что-то потерпели в одно и то же время и мучительное и сладкое. Передо мною, казалось, стоял не просто человек, а какой-то кровавый исторический символ».

Ай-и люли да ще люли,
Прилетели сиры гули,
Да посели на воротех,
Во червоных во чоботех...

Он провел рукой по горящему лбу, не стирая розовых блестков, а точно опрастывая место для встрепенувшейся мысли — далекая память: Петербург.

Осень — серый вечер — над опустелой детской кроваткой (Наташа не с нами). И разве мать может забыть? И разве я могу забыть материнскую боль, ее разлуку? Ганна, девочка-нянька поет, тоскуя по своей черной земле: «Ай-и люли»... И эти слезы — это горе — эта завязь боли.

Я следил за ним — за его мыслью.

Его измученная мысль была на верном пути: пробивая дальнюю память, звуча, неслась она сюда — последние земные дни. Он лежал как звереныш, щуля уши в густой перепадающий туман звуков.

Самое дальнее за эти годы: «Нувель Ревю Франсез» и «Комедия»: Марсель Арлян, Дрие и Полян — моя единственная связь с миром. Я без сроку в очередях по лавкам в кругу бешеных баб: добываем себе корм — все мы, я чувствую, не больше как запуганные голодные скоты.

И всякий раз, как мне уходить в тот другой мир — человеческий — не ближний конец, С. П. очень беспокоилась.

Незадолго до Пасхи, после большого перерыва, я собрался в свой дальний путь. И, как всегда, на прощанье крестя, она остановилась. И вдруг с необыкновенной силой, горячо и крепко и с какой-то едкой болью, точно отрывая живое, повторила, трижды крестя большим крестом, по-русски: «Христос с тобой!» И это было ее последнее мне в путь — ее последнее благословение и завет чистого сердца.

«Христос с тобой!» — прозвучал голос, и мертвое лицо осветилось живым светом.

И тогда двери мертвецкой распахнулись и на волю освобожденный я вышел: в глазах был не мертвый, живой образ и живой голос звучал последним напутствием на лад и путь — простор.

* * *

Этот голос я слышу и поутру и на ночь, в вечерний смутный час и среди бела дня вдруг. Или когда что начинать или в трудное раздумье. Я знаю, мой прощальный взгляд — его покроет этот материнский голос в последний путь.

ЗАДОРА

ЗАДОРА-ДОВГЕЛЛО

По отцу «Оля» — Серафима Павловна с Литвы, Довгелло. Герб Задора: «голова львова, сера космата с огненной пастью в поле блакитном».

Трокский воевода, староста Виленских замков, Явнулло — с него и начинается родословие — держал сторону Ягайлы в войне с Кейстутом; крестился в 1386 г. в Кракове, а до тех пор, как все литовцы, исповедывал веру друидическую кельтов. Память о нем хранит сооруженный в Вильне костел св. Михаила, имеется доска.

Сын Явнуллы Ян, литовский хорунжий, участвовал в войне Сигизмунда против Свидригайлы, отличился в битве под Вилькомиром и получил прозвище «Довгелес», что значит «великомогучий». От него фамилия Довгелло.

Брат Яна Довгелло Александр, кастелян виленский и гетман литовский, погребен в Виленском кафедральном костеле, в пределе св. Троицы, сооруженном его сыном.

Довгеллы держались своего литовского корени. Их родня Гедройцы, Гастольды, Нарбуты, Добжинские, Мицкевичи, Бошовские. А с веками (XV, XVI, XVII в.) украинизировались, породнясь с черниговскими соседями: Лизогубы, Скоропадские, Кочубеи, Василенки, Милорадовичи, Товстолесы, Отрады, Ковалевские. Говорили не на языке «смердов» — просторечии Шевченки, а на высоком книжном Памвы Берынды.

Родовая вотчина Довгелл, жалованная Ягелло, село Берестовец, Борзенского уезда Черниговской губернии. В соседстве с Батуриным, столицей левобережной Украйны. Места, описанные Нарежным в «Барсуке» и отчасти Гоголем в «Вии».

На селе старинный замок, по-восточному, с башнями. В одной из башен архив и библиотека.

Архив разнообразный, среди фамильных документов попадаются и сторонние — из Батуринского дворца. Королевские привилегии, царские грамоты, семейные письма, деловые бумаги: позовы, указы, формулярные списки, сговорные, судебные выписки, купчие, квитанции, свидетельства, заменочные письма, объявления.

Библиотека — богатое книгохранилище, собранное по-

колениями. Книги польские и русские. Польские по-латыни и по-польски.

Из старых польских: Нарушевич, Красицкий, Немцевич — о них поминает А. Бестужев-Марлинский в письме к матери из Полоцка 1821 г.: «учась по-польски, разрабатываю новую руду для русского языка».

Киевское цветоречие — «трубы словес»: Петр Могила, Захария Копыстинский, Кирилл Транквилион-Ставровецкий, Исаия Копинский, Лазарь Баранович, Иоаникий Голятовский и сам Памва Берында: «Лексикон словено-русский, Киев, 1627 г.» — тоже новая руда для русского языка — корень серебряной гоголевской речи. (Проза Марлинского и Гоголя из польской памяти!).

Со временем книжная казна пополнится новиковскими изданиями: «Древняя Российская Вифлиотека» для познания отечественной истории; и мистические книги для умудрения сердца: Яков Беме, Сведенборг, Сен-Мартен, Эккартсгаузен, Юнг Штиллинг, «Сионский Вестник» А. Ф. Лабзина. Один из Довгелл масон — его печать в особом ларце среди берестовецких сокровищ: гетманской серебряной чаркой и поясом.

За Новиковым современники Пушкина. Издания Смирдина и сборники: «Северные цветы», «Полярная звезда», и журналы: «Северная пчела» Фаддея Булгарина и «Библиотека для чтения» Сенковского.

(Тоже новая руда: Сенковский учил польскому Марлинского, а Марлинский исправлял русское Сенковского, для которого легче было писать по-турецки, чем по-русски).

Любопытен черный подбор: «Черная женщина» Н. Греча, «Черная курица» Погорельского, «Черный год» Полевого, «Черная немочь» Погодина, «Черные перчатки» Одоевского, «Чернец» Козлова; потом добавят: «Черные маски» Леонида Андреева. А я бы еще подложил для «безобразия»: «Черный плащ и кинжал» Анны Крутильниковой — воображение Петербургского туриста И. А. Чернокнижникова (А. В. Дружинина).

Особое собрание книг духовных и по истории. Журналы. А все завершилось высокой беллетристикой: Толстой, Достоевский, Гоголь, Лесков, Мельников-Печерский, Тургенев, Гончаров, Писемский.

* * *

Книжная башня особенно памятна Оле. Вопреки запрету и всяким страхам, забегала она по трясущейся лестнице и на самый верх — ее тянуло как на какой-то таинственный зов — затаившись, она просиживала часами, заворожена книжными переплетами, золотым тиснением корешков. А потом, когда научилась читать, за первою книгою.

* * *

В роду Довгелло значатся воеводы — Трокский замок принадлежит Довгеллам. Был и протопоп: Почийский (Погаевский), каноник Смоленский, Николай Довгелло, был и писарь (секретарь) канцлера литовского Кристопфа Паца — Станислав Довгелло.

По женской линии известна дочь Яна, первого с именем Довгелло, Баалла Довгелло (начала XV века), замужем за Гастольдом. Семейные предания наделили эту Бааллу всеми дарами волшебства и чарования: она последняя от друидов, литовский извод, религии кельтов. В хронике Страсбургского собора упоминается ясновидящая с Литвы: жила при соборе и пророчествовала.

Не оттого ли Серафима Павловна нигде себя не чувствовала «на своей земле», как только на Океане, в Бретани — на земле друидов. Оба мы полюбили Океан. Только у меня другое — мое подземное: Москва — на дне Океана.

За литовскими воеводами пойдут войсковые, бунчуковые и значковые товарищи левобережной Украины. И только один не гарцующий на коне: штаб-лекарь Шостенского порохового завода — Николай Довгелло. Оля с гордостью выделяла его: доктора!

* * *

Павел Иванович Довгелло, отец Оли, Серафимы Павловны, и младший его брат Иван Иванович продолжали военную карьеру своих дедов. Оба участвовали в Севастопольской и во Второй турецкой войне 1877—1878 гг. Павел Иванович в чине генерал-майора вышел в отставку и поселился в своем Берестовце, а Иван остался в полку. Служил он на Кавказе. И оставил по себе память

за смелость и необыкновенный азарт: в одну из пятигорских ночей он проиграл в карты родовой Трокский замок. Это был любимый дядя Оли: ни с кем не было ей так весело, как с ним — живой и море по колено. Умер он сравнительно молодым — «чахотка», небывалый случай в роду Довгелло.

В воспоминаниях Н. И. Греча, «Записки о моей жизни», Academia, М-Л., 1936, есть меткие слова о декабристе Батенькове, их я могу повторить о Павле Ивановиче Довгелло:

«Он приобрел славу умного, знающего, полезного, но *беспокойного* человека,— титул даваемый всякому, кто не терпит дураков и мошенников».

Случай дополнит этот титул: Павел Иванович вздумал было отказаться от выкупных при освобождении крестьян и получил непререкаемое: «беспокойный и сумасшедший».

Хозяйство велось по-заведенному. Любил лошадей. Но, главное, башенное книгохранилище — книги отрывали его от хозяйства, семьи и соседей.

* * *

И когда я увижу, как Серафиму Павловну, втиснув на стул, потащут с лестницы, чтобы положить у дверей дома на носилки и везти в амбулянсе в госпиталь; когда я увижу перепуганное насмерть лицо, и как она кричала — «ее тащили шакалы на тот свет: там будет спокойнее!» — я вспомню рассказ ее о отце.

Скрученного веревками, отбивавшегося, тащили его из дому, чтобы на зеленом берестовецком дворе положить на подводу и на любимых его лошадях везти за семьдесят пять верст в Чернигов в Заведение для умалишенных.

Говорили, от книг — «в книгах зашелся» и вообще «беспокойный». Но, судя по уцелевшим листкам его дневника, было и еще что-то. Или это «книжное» и «совестное», что мучило его, упало на разлаженную, неусмиренную, бурную его душу? Его отец, дед Серафимы Павловны, зарезался в «меланхолиевом черном недуге» — душевная болезнь «черная немочь», от которой своею смертью помер кн. Д. И. Пожарский.

И в госпитале в единственное и последнее наше свидание — Серафима Павловна лежала необычно, навзничь, с тяжелым торопливым дыханием и поворачивая глаза, глаза были мутные — она смотрела и не узнавала. В головах я заметил аппарат с кислородом, а в ногах — лед. Только одеялом покрытая, без рубашки,— я спросил: «не холодно ли?» — «Нет»,— сказала она, не открывая глаз. Наклонясь, я заглянул поближе и мне бросилось в глаза: под грудью иодом вымазано. Потом я узнал, что это не от уколов, а порезь — это когда тащили ее по лестнице и клали на носилки, чем-то ранили. Да и тогда, как привезли в госпиталь и положили на кровать, последнее, что я слышал стоя в дверях: она вскрикнула — ее начали обмывать перед осмотром доктора и верно дернули жестким по живому содранному.

И опять я вспоминаю ее отца. Когда «усмиренный», он вернулся домой из больницы, он людям, которые его вязали, показывал на руках и ногах рубцы от веревок — незажившие раны, и благодарил их — «потому что и у Христа были раны».

ИЗ ДНЕВНИКА ПАВЛА ИВАНОВИЧА ДОВГЕЛЛО

31 Августа 1881 года. Был в церкви, стоял сзади всех опершись к стене. Заметил, кто молится за царя: из панов и офицеров только двое — старик седой, который стоял впереди всех и одного офицера, родившегося в Борзне. Из простых: баб, стоящих сзади всех панов, одного у.-о., 3-х-4-х солдат. За офицера я помолился, чтоб Бог ему послал разум; всмотревшись в его лицо, прочитал доброту. За царя я помолился, а также и за всю царскую фамилию. Когда пели «Святейший Синод», явился вопрос, почему он «святейший»? Явился ответ: такой дом и в нем заседающие не святые. А когда начал писать «дом святой»,— так как его освящали. Затем явились еще несколько мыслей и пропали. Еще в церкви пришла мысль познакомиться с офицером, и к концу приблизился к нему, но не успел в церкви сказать, догнал и сказал: «позвольте спросить вашу фамилию». Сказал, что эта фамилия мне сродни может быть,— прочитал на лице неудовольствие. «Позвольте с вами познакомиться!» — «Очень рад».— «Вам некогда, так я

после с вами поз.» Офицер побежал строить солдат, вышел и я заметил, что...

Дал совет Софии Николаевне молиться со слезами на глазах, она не заплакала. Какая-то мысль явилась и умерла. Опять мысль умерла. Драгун, семечки и две девки работали, развлекли. Мысли умерли. Встаю ходить. Волы сено крадут, а человек не позволяет. Пришел Лизогуб: «можно?» — говорит; стучит кто-то в фортку, смеюсь. Новая мысль умерла. «Не оживет аще не умрет». Мысли явились и умерли. Опять меня не понимают. В другой комнате Глушановский бурчит и смеется. Я его лаю часто в глаза, называю «лысый хвост». Когда пишу, то мысли одна другую гонит. Послать в «Неделю» все, что пишу. Сегодня умерла мысль. Для передачи фамилию забыл, думаю и никак не могу припомнить. Благодарить «Неделю» за то, что она меня сделала лучшим. Я это засчитаю в душе. Думаю, совсем мысль умерла. 13 лет, кажется, читаю «Неделю». Когда шел в церковь, то говорил с мужиками и советовал лавочникам не торговать. Они сейчас все закрыли и кажется, на меня не сердились. Комиссионеру, мною произведенному в этот чин из факторов в прошлом году, советовал ему, чтобы он присмотрел за этим... мысли умерли...

Ты, П. И., получивши письмо от своей сестры, писанное 29 генваря, рассердился за ее советы. За что ты рассердился? Разве ты не знаешь, разве тебя Господь наш Иисус Христос, а также Матерь Господа Нашего Иисуса Христа, до сих пор не уразумили? Стыдись, П. И., думать так, как ты думал. Проси Бога и Матерь Божию, чтобы они изгнали эти мысли, которые к тебе приходили, а помогали бы тебе делать, помышлять, говорить и писать, что им угодно, до конца жизни твоей. Ты знаешь, что люди часто делают по незнанию. Разве твоя сестра знает лучше твою жену, чем ты, и знает тебя? Вот тебя понимает, и ты ее, та женщина, которая того же числа, как писала к тебе сестра, говорила: «мне жаль покойного, Царство ему небесное, Савича, что он застрелился. Я была сама в таком положении, люди мне советовали, и то и другое, а не знали, что я хотела лишить себя

жизни». Тебе пишут: «отдай все жене своей энергической, тогда будешь счастлив», но ты знаешь, что счастье на этом свете — живая вера в Христа. Ведь тебе сестра советовала перестать и молиться Богу. Разве она понимала, что говорила? Ведь ей наговорили, вероятно, врачи, что ты, П. И., психически расстроен. Разве ты не знаешь, что врачи знают столько же психиатрию, сколько ты китайский язык. Правда, ты знаешь китайского мудреца Конфуция, который до Р. Х. жил и уверял своих учеников, что придет с неба святой и всеведущий и получит всякую власть на небе и на земле. Ты знаешь и греческого мудреца Сократа, который счастья семейного, как и ты, не имел.

Но умер с надеждою и уверенностью в лучшую жизнь. Ты знаешь Сократа, ученика Платона, который признавал эту жизнь приготовлением к будущей жизни, лучшей жизни, где наказывается зло и награждается добро, и ученика Платона, Аристотеля, который искал живого Бога, что видно из его слов: «если б были существа, которые бы в глубине земли жили в домах, украшенных статуями, картинами и всем, чем в богатом изобилии люди владеют живущие роскошно, если бы потом эти существа узнали о господстве и могуществе богов и через открытые отверстия расселины вышли из своих сокровенных жилищ в места, где мы живем, и увидели сушу и море и свод небесный, посмотрели на солнце в его величии, по наступлении ночи увидели звездное небо, луну, восход и заход звезд: тогда они поистине сказали бы, что есть боги и что все это величие их дело...»

Ты знаешь, что Спаситель мира, которого ожидали и Персы и Индейцы, приходил на землю во плоти и, умирая на кресте, просил Отца Своего за своих врагов. Апостол Иаков, сброшенный в Иерусалиме с храма, настолько имел сил, что сказал: «Господи прости им, не ведают, что творят». Иван Гус, сожженный в Праге, просил о той женщине, которая подложила дровец под его костер. Ты, П. И., понимаешь, что зло делает и посылает такие мысли, какие к тебе пришли, враг рода человеческого. Нет, П. И., ты чаще молись Богу и Матери Божьей, чтобы они отгоняли эти злые мысли. Ведь ты знаешь, что есть люди, которые признают, что Бога нет

и что с концом этой жизни, по их мнению, все для человека кончается, а потому будем есть, пить и веселиться; которые, изучив строение человека, прочитавши Дарвина, Ренана, Страуса, Геккеля и Вольтера, воображают, что они мудрецы и S. Разве ты не видишь, что они больше страдают, чем веселятся. «Горе миру от соблазнов, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит...» Скажите этим мудрецам, что есть черт,— Дух Святый с нами! — Разве вам поверят, когда они не знали, не читали и не верят тому, что написано в Евангелии. Евангелие есть столбовая дорога, а они идут проселком. Но, Боже милостив, буди нам грешным! Вы соль земли, священники, а вас какая буря застигла, что вы, большинство, заблудили. Вы тоже только и думаете, чтобы хорошо есть, пить, по моде одеть своих жен и детей, а на себя надеть шелковую рясу с белой подкладкой, а на пасомых смотрите, как на своих рабов, как вы сбились с истинного пути! О! вы слепые, припомните Спасителя слова: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму...»

(О смерти отца С. П. узнала только через месяц, говорили, что «опять сошел с ума».)

ГЕТМАН

Со стороны матери «Оля» — Серафима Павловна гетманского роду: ее предок Иван Самойлович — гетман (1672—1687).

Умер Иван Самойлович в ссылке в Сибири. Его сын Григорий — у Пушкина — украинский патриот:

«Что ж, гетман? юноши твердили,
Он изнемог: он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко
Иль Самойлович молодой,
Иль наш Палей, иль Гордеенко
Владели силой войсковой;

Тогда б в снегах чужбины дальной
Не погибали казаки,
И Малороссии печальной
Освобождались уж полки».

Семья гетмана из Сибири попала в Кострому. И там началась их новая жизнь.

Довгелло через матерей украинизировались, а Самойловичи на Костроме обрусели. (Один из Самойловичей, не знаю который, выставлен в романе Писемского «Люди сороковых годов».)

В Борзенском уезде земля гетмана Самойловича досталась Мазепе, уцелели только Прохоры, ближайшее к Берестовцу, Довгелл.

Марья Михайловна Самойлович по смерти мужа приехала из Костромы в Борзну вводиться во владение, привезла с собой и дочь. Произошла встреча соседей — Павел Иванович Довгелло женился на Алексадре Никитишне Самойлович. Земля соединила Довгелл и Самойловичей, они и в прошлом были соседи и только время событиями заглушило, но не стерло память. А Марья Михайловна, любимая бабушка Оли, так и не вернулась в Кострому и осталась до конца жизни в Прохорах.

Брат Александры Никитишны, дядя, доктор в Нежине, там же и родовое Самойловичей — вотчина гетмана, от Берестовца не дальний конец.

Что Самойловичи, что Довгелло под стать рослые. Доктор Иван Никитич на голову выше Шаляпина, а примерно с Кирилла Григорьева, сын художника, и у которого при себе невыемно свидетельство из Префектуры: «в метро не пущать».

Я встречал и двоюродного брата Серафимы Павловны, Андрея Самойловича: он не такой великан, как отец, но таким я вижу пушкинского Григория — «иль Самойлович молодой»: эти темно-серые глаза, с длинными, как стрелы, ресницами и вдруг черные, чернее сорочинского дегтю.

ПОСЛЕДНЯЯ «ЗАДОРА»

У «Оли» — Серафимы Павловны была старая нянька, она и отца Оли выходила. От этой няньки Татьяны (Фатевны) с первых лет набралась Оля всяких вер и поверий и не только черниговских, а и киевских и полтав-

ских: нянька все святые места обошла, не миновала и «заколдованные».

А тут еще и дивчата с песнями, колядками, и диды с думами, и ведьмы с ворожбой и заговорами — Берестовец ведьмами славился.

Мне посчастливилось, видел я этих берестовецких ведьм — они все те же, как здесь у Океана в Бретани: далекие глаза — и глядят, глотая. Все те же приемы и те же сроки — часы и дни колдовства, а в заклинаниях ритм и одинаковое в словах.

Ведьм боятся, а зовут, когда аптекарские лекарства не помогают. Я не раз был свидетелем чудесных случаев с людьми и с животными как в Берестовце, так и в Бретани, да и слышал рассказы. Но говорят, бывает и «наоборот», и непременно укажут на какого-нибудь Хому, а тут на Пьера: «пропал!».

«Пропал, скажу за Гоголем, потому что забоялся».

«А если бы не боялся, ведьма ничего не могла бы с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет» (Вий).

Оля переняла от дивчат, дидов и ведьм простую речь Шевченки и с детства говорила, как черниговка, словами черной земли, выросшими вместе с маками и мальвой в синюю украинскую ночь.

Серафима Павловна считала себя русской, объявиться «украинкой» — без Пушкина, Толстого и Достоевского, ей было бы и тесно и бедно. А кроме того, она любила свою костромскую бабушку Марью Михайловну Самойлович, урожденную Ратькову, и с детства считала, что похожа на эту русскую бабушку.

Серафима Павловна была похожа на отца: литовская крепь, мужество и буря. С отцовской стороны от Задор ее открытость к тайновидению: вещие сны, предчувствия и чувство на расстоянии, когда совершающееся за глазами мысленно проходит, как перед глазами,— ясновидение Бааллы Довгелло.

От украинской бабушки Ковалевской, открывшей Оле «таинственного зайчика» — реальность ее веры без всяких туманных абстракций и словесно-беспутного Богословия — простая вера с гоголевскими «заколдованными местами» и «святой землей».

А от костромской любимой бабушки приветливость и хлебосольство.

А все вместе — да это и есть русское.

Но было и еще, с чем пришла она в мир, пусть как завершение — венец Задор, и тут совсем неважно — литовское, украинское или русское — это чистота ее помыслов — чистая мысль и глубокая память.

* * *

Год Рождения Серафимы Павловны не могу сказать точно; 1880 или 1883.

Когда Серафима Павловна объявила, что выходит замуж, весь Берестовец поднялся против и чтобы помешать — наивные люди! — спрятали ее метрическое свидетельство. Серафима Павловна не свое, так старшей сестры своей взяла метрическое, и увезла с собой. А я подделал — это мне как раз по руке. И в Херсоне, где мы венчались, Всесвятский дьякон, цыганские глаза, а ничего не заметил — то ли я моими «подстриженными» отвел его цыганское, то ли мое «мошенническое искусство» затуманило?

Серафима Павловна родилась 4-го июля на Андрея Критского — гимнограф, известный своим каноном Марии Египетской, «Марьино стояние» — среда пятой недели Великого поста. Она появилась на свет на восходе горячего дынного солнца в Чернигове на Гончей улице. Из Чернигова перевезли ее в Берестовец в дедовский замок Задор под глаз головы львовой серой косматой с огненной пастью в поле блакитном и старой няньки Татьяны (Фатевны). А везли ее на любимых отцовских лошадях, правил кучер Алексей — ведьмак. Этот Алексей славился на весь Берестовец уменьем «засекать» — заблудишься среди бела дня, будешь у своего дома ходить, а дом пропал, не найти; умел и глаза отводить: в праздник соберет дивчат и только скажет: «берегись, вода!» — и те, как чумные, задерут подол, а в глазах вода все выше, по пояс дойдет, смех!

На пятом году началось ученье. Учительница, старшая дочь берестовецкого батюшки отца Евтихия Бардоноса Марья Евтихиевна Лукашева.

В семь лет Черниговская гимназия. Окончила с золотой медалью и самовольно — ей исполнилось шестнадцать, боялись одну отпускать — тайком она уехала в Петербург и поступила на Бестужевские Высшие Женские Курсы.

И начинается самая счастливая ее жизнь: наука и

«революция». Конец — окончание Курсов, одиннадцать месяцев одиночной тюрьмы, и ссылка — три года в Вологодской губернии: Усть-Сысольск, Сольвычегодск, Вологда.

* * *

Профессора на историко-филологическом отделении Бестужевских Курсов: Н. И. Кареев, И. М. Гревс, А. С. Петров. Ил. А. Шляпкин, С. Ф. Платонов.

После ссылки она поступила в Петербургский Археологический Институт и окончила с дипломом «действительного члена Института».

Профессора Археологического Института: Н. В. Покровский, Н. Веселовский, Н. Карпинский, Н. П. Лихачев, В. Майков, Н. Середонин, Гольдштейн («Польско-литовские древности»), А. Марков, Ил. А. Шляпкин.

У Шляпкина она начала заниматься историей русского языка. Война (1914) расстроила работу. С отрядом Евгениевской Общины сестрой милосердия Серафима Павловна поехала на фронт в Варшаву. В канун революции вернулась в Петербург. А в революцию помер профессор Шляпкин.

В годы военного коммунизма до нэпа (1921 г.), она служила в библиотеке Наркоминдела (Министерство Иностранных Дел) и преподавала русский язык морякам II-го Берегового Отряда, бывшего II-го Гвардейскго экипажа.

И как однажды своевольно уехала она из дому в Петербург, так и 5-го августа 1921 г. не спросясь и не сказавшись, она уехала из Петербурга за границу.

* * *

Она прошла путь русской интеллигенции — явление единственное и едва ли понятное в Европе.

Революционность не от теории, не от «экономической необходимости» и не от страсти к авантюре, не из честолюбия.

Коля Красоткин у Достоевского:

«О, если бы я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду».

В «Подростке» такое душевное расположение названо «всемирным болением за всех».

Жандармский полковник Шмаков, который допрашивал ее, никак не мог понять, в чем дело, и держал ее в тюрьме. А потом ссылка.

Прочитайте воспоминания В. Г. Короленко, сколько там примеров, да и сам был примером революционной интеллигенции. Но у кого «сердце» может быть и зорко, но беззвучно, никогда не поймут и осудят.

После ссылки она отошла от «революции»: заниматься «революционными делами» что политикой, а это ремесло никак не ладится с «чистотою помыслов»: одна «конспирация» чего стоит, надо лгать, надо притворяться, без игры не обойдешься.

Корень «революционности» никогда не заглох в ней — «быть довольну, что есть» не такая душа. Она только не высказывалась, но я знаю, какая буря кипела в ее сердце.

* * *

В Париже она применила свои ученые знания — науку Ил. А. Шляпкина.

В школе восточных языков она читала необязательный курс по славяно-русской палеографии.

В хронике Школы восточных языков отмечен случай с Н. И. Гречем. В 1817 году Греч был в Париже. Профессор персидского языка Ланглэз (Langlés) предложил ему место профессора русского языка в Парижской Школе живых восточных языков, основанной в 1795 году.

Русской палеографии тогда еще не существовало, но предполагаемый курс Греча был очень близок к «славяно-русской палеографии».

Задача курса была шире понятия о палеографии: палеография — искусство читать древние рукописи, но в курс входило и изучение языка этих рукописей, как основы русской книжной речи. К вопросу «где» и «когда» (места и времени) присоединялось «что», «как» (язык и грамматика).

За пятнадцать лет много у нее было учеников: все ученые французы, а из русских верный — я.

Начал я мое ученье, еще когда она сама в Петербурге только что поступила в Археологический Институт. И до последнего года ее жизни я спрашивал ее. Ученик и есть тот, кто спрашивает.

Она выбрала себе церковно-славянскую высокую

книжную речь, завершенную собранием Макария, а я, под ее руководством, дьячью приказную, прослоенную разговорным просторечием.

В примечании к «Наталье, боярской дочери» (1792 г.) Карамзин говорит, что тогдашнего языка (XVII в.) мы не могли бы теперь понимать.

То-то и оно-то, что не так оно. И кто такое «мы»?

Русская грамотная тарабарщина и писатели — русскими буквами на неизвестном или на «смешении».

Вот что я понял, сорок лет учась русской грамоте: в школах начинать с образцов приказного языка XVI—XVII в. — указы, грамоты, судные дела; усвоив русские лады — они не карамзинские, не пушкинские, перейти к церковно-славянскому и памятникам древней русской литературы.

По себе скажу: зачем мучить детей аористами, и двойственным числом — грамматической вязью до обалдения.

Главные пособия — книги: А. И. Соболевского, Ил. А. Шляпкина, Е. Ф. Карского, В. Н. Щепкина, И. Срезневского, И. В. Ягича, Ф. И. Буслаева, Н. М. Каринского, П. А. Лаврова, И. Ф. Колесникова, И. С. Беляева, В. В. Майкова, Н. К. Грунского, Н. П. Лихачева.

Одаренная необыкновенной памятью, она без книг читала из древних памятников русской письменности XI—XVII века, отчетливо, ясно и со всем спокойствием уверенности, никогда не фальшивя в интонации. Голос звучал виолончелью, увлекая внимание, и легко проникали в память слушателей слова. Чтение без книги очаровывало. А ясность глаз и улыбка — светили живым светом и освещали древний текст.

Последнее ее выступление на открытом заседании в Обществе Друзей Русской Книги о русских рукописных книгах, всем памятно.

> «Рад бысть заяц, изринувшыся от тенета, а рыба от сети, а птица от клепца, а должник от резоимца, а холоп от господаря,
> так рад бысть писец достигши в книзе остаточного слова пролога сего и последнии строки видючи, яко святого воскресения».

Да помяну имена трудившихся над русскими древними письменами и научивших нас искусству чтения;

имена историков, исследователей и собирателей; имена, повторяемые среди многолетних занятий.,— спутников мысли и руководителей:

Оленин
Ермолаев
Калайдович
Митрополит Евгений
Востоков
Солнцев
Грамонин
Строев
Кочановский
Надеждин
Погодин
Бодянский
Шевырев
Буслаев
Горский
Новоструев
Ягич
Срезневский
Прозоровский
Соболевский
Пыпин
Тихонравов
Шахматов

* * *

«Рад бысть корабль, переплывши пучину морскую, также и писец книгу свою. Аминь».

1952

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание входят произведения, созданные А. М. Ремизовым в эмиграции: лирико-философская хроника событий 1917 — 1922 гг. в России «Взвихренная Русь» и роман «В розовом блеске». Оба произведения впервые издаются на родине писателя.

Произведения печатаются по последним зарубежным изданиям.

Составитель выражает глубокую благодарность хранительнице архива А. М. Ремизова, автору книги воспоминаний о писателе «Огненная память» Н. В. Резниковой, библиографам Е. Синани и Т. Осоргиной, выпустившим первую подробную библиографию произведений А. М. Ремизова, создателю развернутого именного указателя к «Взвихренной Руси» А. Козину, исследовательнице творчества Ремизова Антонелле д'Амелии, ученым: Р. Герра, А. Бериловичу, В. Казаку.

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ

Впервые в полном виде опубликована в 1927 году в Париже, в издательстве ТАИР. Отдельные главы книги печатались в 1918 году в еженедельном журнале «Народоправство», в газете «Новое русское слово», в иллюстрированном приложении к газете «День», в газете «Дни» и др. изданиях. Часть книги в первоначальной редакции вошла в. сборник «Шумы города». (Ревель, издательство «Библиофил», 1921.)

Георгий Иванов, современник А. Ремизова, говоря о горечи жизни в эмиграции, о бесплотности, силуэтности многих былых фигур, неотчетливости своих состояний, грубо разрушенных, «непрожитых» до конца, печально признавался:

Образ полусотворенный,
Шепот недоговоренный,
Полужизнь, полуусталость.
Это все, что мне осталось.

Во «Взвихренной Руси» Ремизов вскользь, бегло, чаще всего на уровне быта упоминает сотни «полусотворенных» имен, образов, говорит об исчезнувших ныне изданиях, «навыках» былой жизни.

Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал ..

(А. Ахматова)

Вдохнуть полнокровную жизнь в истлевшее, дать исчерпывающий портрет даже заурядного лица, вроде поэта-пройдохи Тинякова, стремительно промелькнувшего микрособытия, Ремизов как будто и не пытается: для его мозаики более важна идея целого, более важно звучание хора, нарочитый сумбур и разноголосица, чем тщательная проработка отдельных «партий». «Принцип хора» был особенно дорог Ремизову. «В романах,— писал он в 1923 году, создав уже некоторые части «Взвихренной Руси»,— основной вопрос о судьбе, о человеке и о мире: о человеке к человеку и о человеке к миру.

— Что есть человек человеку?

— Человек человеку бревно — человек человеку подлец — человек человеку дух-утешитель.

— Человек в вечном круге хорового мира — вечная борьба человека с мировым хором за свой голос и действие.

— А над всем судьба, что ли.

Способ описания душевных движений (действие человека на человека) — трагический — **хоровой»** (Л. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. Русский Берлин, 1921—1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Paris. 1983, с. 182).

В связи с этим «хоровым принципом» многие персонажи «Взвихренной Руси» сделаны принципиально мимолетными, превращены в некий совокупный человеческий фон в океане событий. Образы и голоса соседей, житейских друзей — няньки Кондевны, служанки Акумовны, финки Кати, некоего Д. Л. Вейса (служил когда-то в «Шиповнике»), И. С. Биска («старый знакомый Серафимы Павловны»), инженера, включая представителей петербургской и московской интеллигенции «второго плана» (Ал. И. Зилотти, В. Н. Ивойлова (Княжнина), журналиста А. И. Котылева, публициста И. В. Жилкина, двух братьев самого Ремизова — Сергея и Виктора и др.) растворяются и тонут в общем звучании и перемещении хора «взвихренной» или «огненной» России. Комментаторы Ремизова часто лишены возможности дать биографии всех мимолетных героев «Взвихренной Руси», вовлекаемых Ремизовым в поток повествования. И. А. Ильин, автор интереснейшей статьи о Ремизове, объяснил природу подобных героев, как бы «оформляющих» события, создающих домашнюю среду вокруг повествователя: «Это его жизненная свита, состав которой меняется и обновляется... Где бы он (Ремизов.— *В. Ч.*) ни жил, куда бы судьба его

ни забросила,— в Петербург, в Берлин, или в Париж...— эта свита быстро отыскивает его или возникает вокруг него, входит в *его* жизнь и вовлекает его в свою собственную...» (Ильин И. А. О тьме и просветлении. Мюнхен. 1959, с. 87).

Вот почему составитель считает возможным ограничить комментарий только некоторыми из упомянутых в хронике имен. Остальные условимся полагать частью хора, фона, свиты рассказчика. Допускаем, что дополнительного пояснения эти имена не требуют. Комментируемые имена даются в алфавитном порядке.

АВЕРЧЕНКО Аркадий Тимофеевич (1881—1925). В предреволюционные годы известнейший писатель-юморист, «король фельетона». Один из авторов (вместе с Тэффи и О. Л. Д'Ором) пародийной «Всеобщей истории», обработанной «Сатириконом», высмеивавшей штампы и упрощенные оценки событий и лиц казенных курсов истории. После Октября — эмигрант. Его книгу «Дюжина ножей в спину революции» (1921) высоко оценил В. И. Ленин.

АДРИАНОВ Сергей Александрович (1871—1941). Литературный критик, автор ряда статей о Ремизове. В книге «Мышкина дудочка» Ремизов заметит: «...в годы между революциями — когда на собраниях и вечерах гремели три имени на «А»: Аничков, Арабажин и Адрианов — они говорили когда угодно, о чем угодно и сколько влезет» — (А. Ремизов. «Мышкина дудочка». 1953. с. 45).

АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871—1919). Известнейший писатель, драматург, публицист. Оказавшийся после Октября 1917 года за пределами России, одинокий, отчаявшийся, он писал незадолго до смерти художнику Н. К. Рериху: «Все мои несчастья сводятся к одному — нет дома. Был прежде маленький дом и Финляндия, с которыми сжился. Наступит, бывало, осень, потемнеют ночи, и с радостью думаешь о тепле, свете, кабинете, сохраняющем следы десятилетней работы и мысли. Или из города с радостью бежишь домой — в тишину и «свое». Был и большой дом — Россия с ее могучей опорой, силой и простором. Был и самый просторный мой дом — искусство, творчество, куда уходила душа. И все пропало. Вместо маленького дома — холодная, обворованная дача с выбитыми стеклами, а кругом чужая и враждебная Финляндия. Нет России, нет и творчества... Так жутко мне без моего царства, и словно потерял я всякую защиту от мира. И некуда прятаться ни от осенних ночей, ни от печали, ни от болезни. Изгнанник трижды — из дома, из России и из творчества, я страшнее всего ощущаю для себя потерю последнего, испытываю тоску по беллетристике, подобную тоске по родине» (Цит. по кн.: В. А. Чалмаев. «Серафимович. Неверов». М., Молодая гвардия. 1982, с. 222).

АНДРЕЕВА Мария Федоровна (1868—1953). Актриса Московского художественного театра в 1898—1905 гг., «первая красавица русской сцены», многие годы — жена А. М. Горького. В Петрограде в 1919—1921 гг. руководитель Петроградского Театрального отдела (ПТО).

АНДРЕЕВА-ДЕЛЬМАС Любовь Александровна (1884—1969). Артистка оперы, подруга А. А. Блока, воспетая им в знамеиитом цикле стихов «Кармен».

АНДРУСОН Леонид Иванович (1875—1930). Поэт, секретарь петербургского «Журнала для всех».

АНИЧКОВ Евгений Васильевич (1866—1937). Один из популярной в предреволюционное десятилетие троицы критиков на «А»: Аничков, Арабажин, Адрианов.

БАЛТРУШАЙТИС Юргис Казимирович (1873—1944). Русский поэт-символист, литовец по национальности, посол Литвы в СССР после 1917 года. По воспоминаниям Б. К. Зайцева, в 1920 году помог выехать в эмиграцию К. Д. Бальмонту, а в 1922 году — Зайцеву с семьей.

БЕЛЫЙ Андрей. Псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880—1934). Для Ремизова — не просто поэт, прозаик, живописнейшая фигура эпохи, ио «гениальный, единственный». Важно отметить, что Белый и Ремизов — москвичи, дальние родственники. Ремизов многое ие принимал в Аидрее Белом: «Андрей Белый запутался в антропософии и трескотне Заратустры. О русском ладе, при всей его гениальности, он не понял меня — я с ним много разговаривал. Он мечтал стать Гоголем, но его задавили ученые немцы». (Н. Кодрянская. Алексей Ремизов, с. 291.) Но при всем этом Андрей Белый для Ремизова (и в Петербурге 1919—1921 года, и в Берлине в 1922) — наиболее завершенное выражение сложного, катастрофически двусмысленного времени, творец языка и образа жизни, наиболее соответствующего трагическому духу «русского литературного большого гнезда» в эти годы. Вдова Б. Н. Белого К. Н. Бугаева писала о стереометрии его мысли: «Философия в ием как бы вставала, принимала характер художественного научного построения. Она точно сиималась с плоскости двухмерной написанной строчки и росла в высоту, в глубину, вширь. Она как бы переходила в трехмерность фигурной формы и ритмически двигалась в четвертом измерении музыкально-живых композиций, строящих свою изменчивую форму во времени. Живое подвижное

здание переливалось воздушной радугой красочных смыслов». (К. Н. Бугаева «Воспоминания о Белом». Беркли, 1981, с. 279.)

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874—1948). Философ, критик и публицист. Ремизов познакомился с ним в Вологде (1902—1903) в ссылке, затем встречался в разные годы в Петербурге и Москве, в 1922 году Бердяев был выслан за границу вместе с группой философов и профессоров — Ф. А. Степуном, Б. П. Вышеславцевым, Н. О. Лосским, С. А. Франком, И. А. Ильиным, С. Н. Булгаковым («время» «под зад коленкой» — так определял этот год Ремизов). Участник сборников «Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909), провозгласивших программу борьбы с материалистической философией Чернышевского, Писарева, Плеханова. Оценки Ремизова не охватывают всех сторон деятельности Н. А. Бердяева, как, впрочем, и Ф. А. Степуна, В. В. Розанова, Л. И. Шестова. «Из всех моих современников Бердяев и Андрей Белый гениальны. Блок особенный... Блок лунный, свет таинственный, но не бурный. Бердяев, не одаренный словом, словесно беспомощный и не книжный, а чем объяснить его словесный напор, силу его бессвязных фраз?» — писал Ремизов. (В кн.: Наталья Кодрянская. Алексей Ремизов. Париж. 1959 г., с. 305). Ремизов испытал определенное воздействие явно эмоционально воспринятых им положений ряда книг Н. А. Бердяева, бывшего легального марксиста, философа-идеалиста: «О смысле творчества», «Философия неравенства», «Истоки и смысл русского коммунизма» и др. Б. К. Зайцев, человек близкий и Ремизову, и Бердяеву, вспоминал: «Он (Бердяев — *В. Ч.*) ...написал книгу «Философия неравенства»... в защиту свободы, вольного человека (но никак не в защиту золотого тельца и угнетения человека человеком)... Книга-памфлет написана с такой яростью и темпераментом, которые одушевляли, даже поднимали дарование литературное: очень уж все собственной кровью написано... Замечательная книга... Революция шла, и мы куда-то шли. Разносил ветер кучку писателей российских по лицу Европы». (Борис Зайцев. Далекое. Изд. МЛС. Вашингтон. 1965, с. 65—66.)

В последний раз Ремизов виделся с Н. А. Бердяевым на похоронах их общего друга Л. И. Шестова в 1938 году.

БЛОК Александр Александрович (1880—1921). В «автобиографическом пространстве» Ремизова, созданном по определенным нормативам символизма, А. А. Блок всегда — а в 1917—1921 гг. особенно — занимал чрезвычайно важное место. «...Нет ни одного из новых поэтов, на кого не упал луч его звезды»,— писал Ремизов в 1921 г. (А. Ремизов. «Ахру». Повесть петербургская». Берлин. 1922, с. 27.) В этой же книге он вспоминал один разговор с Блоком в 1918 году: «...после убийства Шингарева и Кокошкина (их, министров Временного прави-

тельства, убили матросы-анархисты в больнице.— *В. Ч.*) говорили мы по телефону — еще можно было — и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем ужасом слышит он — музыку, и писать пробовал.

А это он «Двенадцать» писал».

Много лет спустя Ремизов, верный себе во всем, оценил мир «Двенадцати» на свой лад, как итог движения Блока к... ремизовскому же миру и слову: «Когда я прочитал «Двенадцать», меня поразила основная материя — музыка уличных слов и выражений — подскреб слов, неожиданных у Блока. В «Двенадцати» всего несколько книжных слов! Вот она какая музыка, подумал я». (Н. Кодрянская. Алексей Ремизов, с. 103.) Но, как и в 1905 году, не приняв названия «Стихи о Прекрасной Даме», пожалев о том, что А. Блок не назвал цикл «Стихи о Прекрасной Деве», Ремизов не принял «книжного Христа» поэмы, предложив свою замену: «Уж если необходимо возглавлять «революционный шаг», надо было — не Христос, а Никола. Никола ведет своих горемычных. В одной сказке Никола говорит святым о русском народе: «Пожалел их, уж очень мучаются» — он мог бы идти впереди! Тогда музыка была бы пламенной, народной». (Н. Кодрянская. Ук. соч., с. 104.)

В «Взвихреной Руси» образ Николы угодника — любимого Ремизовым русского святого, «заместителя Бога на русской земле» — проступает сквозь пеструю канву событий и лиц в таких главах, как «Заплечный мастер», «Голодная песня»...

БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ Екатерина Константиновна (1844—1934). Участница народнического движения: ее хождение в народ (в роли оспопрививательницы) кончилось плачевно... по деревням Прикамья пополз слух, что в народе ходит сама царица! В дальнейшем, после каторги и ссылки, организовала вместе с Г. Гершуни самую, пожалуй, экстремистскую группу в партии эсеров, членом ЦК которой она, «Бабушка русской революции», неоднократно избиралась. С 1919 года — в эмиграции.

БУРЛЮКИ Владимир Давидович (1886—1919), художник и поэт-футурист; Давид Давидович (1882—1967), друг Маяковского, теоретик раннего футуризма, глава будетлянского кружка «Гилея» (у него училась рисовать жена Ремизова Серафима Павловна), Николай Давидович (1890—1920), художник, поэт.

ВЕНГЕРОВ Семен Афанасьевич (1855—1920). Историк литературы, основатель (1908) Пушкинского семинара при Петербургском университете.

ВЕРХОВСКИЙ Юрий Никандрович (1878—1956). Поэт, переводчик, профессор Петербургского университета. В книге «Ахру» Ремизов писал: «После долгого пропада появился влюбленный Слон Слонович (Юрий Верховский)... ведь вы первый (Блок — *В.Ч.*) в «Вопр. Жизни» отозвались на его стихи слоновьи, на «Зеленый сборник», в котором впервые выступил Слон с М. А. Кузминым и Вяч. Менжинским» (т. е. Вячеславом Рудольфовичем Менжинским (1874—1934), сыном преподавателя Пажеского корпуса, поэтом, после Октября — заместителем Ф. Э. Дзержинского).

О. ВИКТОРИН — священник Викторин Михайлович Добронравов (1899—1937). Один из близких друзей семьи Ремизовых, крупный церковный деятель, погибший в годы репрессий.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович (1877—1954). Философ и социолог. Выслан из СССР в 1922.

ГЕРШЕНЗОН Михаил Осипович (1869—1925). Историк литературы, философ-публицист, один из авторов «Вех». В известной философско-социологической книге «Переписка из двух углов», вышедшей в Берлине в 1922 году (его соавтор Вяч. И. Иванов), звучат мотивы, объясняющие ремизовское примиренное отношение к революции. А. Козин приводит высказывание М. О. Гершензона о себе: «...в глубине сознания я живу иначе. Уже много лет настойчиво и немолчно звучит мне оттуда тайный голос: не то, не то! Какая-то другая воля во мне с тоской отвращается от культуры». (В кн.: Алексей Ремизов. «Взвихренная Русь». 1979, с. 568—596.)

ГИППИУС Зинаида Николаевна (1869—1945). Образ поэтессы, жены Д. С. Мережковского, «бабушки русского декадентства» (Г. Адамович), не очень отчетлив, смутен во «Взвихренной Руси»: слишком многое разделяло Ремизова и ее в дни революции. Ни Ремизов, ни Блок, ни Горький не могли принять ее непримиримой оценки Октября, ее высокомерных и книжных «пророчеств»:

Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном
Народ, безумствуя, убил свою свободу
И даже не убил — засек кнутом.
Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

(Зин. Гиппиус. Стихи. Дневник 1911—1921. Изд. «Слово». Берлин. 1922, с. 76).

Да и в бедствиях эмиграции пути Ремизова и З. Н. Гиппиус резко расходились. Строки Г. Иванова о горьком хлебе чужбины, уделе Ремизова и ему подобных —

Стал нашим хлебом — цианистый калий,
Нашей водой — сулема.
Что ж? Притерпелись и попривыкали,
Не посходили с ума... —

совершенно не соотносимы с благополучной жизнью четы Мережковских и в эмиграции.

ГРЕБЕНЩИКОВ Яков Петрович (1887—1935). Библиотекарь Петербугской Публичной библиотеки, «василеостровский книгочей». Имя его часто встречается в книгах Ремизова.

ГРЖЕБИН Зиновий Исаевич (1869—1929). Известный издатель, после Октября владелец известного петербургского издательства «З. И. Гржебина» (с отделениями в Берлине и Москве), затем — только в Берлине. Благодаря ему и А. С. Ященко в 1919—1923 гг. возник «русский литературный Берлин».

ЗАЙЦЕВ Борис Константинович (1881—1972). Известный русский писатель. С 1922 года — в эмиграции. Прозу Зайцева отличает особая «тихость», «голубиность» характеров, лирико-импрессионистическая манера повествования. Среди его произведений предреволюционной поры, продолжавших традиции Тургенева и Чехова, рассказ «Тихие зори», «Земная печаль», повести «Аграфена», «Сны», «Путники», «Голубая звезда». В годы эмиграции Б. К. Зайцевым созданы биографические произведения о Тургеневе, Чехове, Жуковском, а также о центрах русской духовной жизни и религиозного подвижничества: «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон», «Река времен» и др.

ЗАМЯТИН Евгений Иванович (1884—1937). Русский писатель, в предреволюционное время издал книги «Уездное» и «На куличках», после революции роман «Мы» (1920). Для Ремизова Замятин — «изограф», резчик слова, наставник «Серапионовых братьев». В книге «Лица», среди героев которой есть и Ремизов, Замятин объяснил причины своей вынужденной эмиграции: «...настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики и мечтатели, бунтари, скептики». (Евг. Замятин. «Лица». 1967, с. 189—190.) Ремизов — в минуты отчаяния, страха перед уравниловкой, унижением духовного труда управдомами, чиновниками — писал в духе Замятина: «...ведь ученые, писатели и художники — это вытянувшийся дрожащий хвост нищих

на паперти Коммуны! — за каждый брошенный кусок и льготу (право «просачиваться»), тычащей вас носом...». (А. Ремизов. «Ахру», с. 12)

ЗОРГЕНФРЕЙ Вильгельм Александрович (1882—1938). Поэт, один из друзей Блока. В единственной его книге стихов «Страстная суббота» (1922) возникает множество нарочито прозаических сцен, показывающих драматизм существования культуры в голодном и промерзшем Петрограде, среди очередей, талонов на хлеб, поисков дров, в лабиринтах учреждений, среди безумия регистраций, «прикреплений», учета и передвижки душ...

ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1866—1949). Философ, поэт, ученый. Оценки его Ремизовым всегда очень высоки и крайне своеобразны: «Ученик Момзена («Римские древности»), сам, как Момзен, человек «универсальный» (таким был у нас князь С. Ф. Одоевский, отчасти Сенковский)...». (Из книги Ремизова «На вечерней заре» — неопубликованная ее часть, хранящаяся у Антонеллы д'Амелии — *В.Ч.*) «Сей день его же сотвори «Господь», оказалось, живет и до сегодня: сеют критики и поэты — Цветаева — неожиданно, и по совести — Вячеслав Иванов, из школы Кюхельбекера» (Н. Кодрянская, Ук. соч., с. 145.) Андрей Козин приводит характеристику В. И. Иванова, данную держателем вкуса всего русского Парижа» Г. Адамовичем: «Все умолкали, все само собой стушевывалось, едва Вячеслав Иванов начинал говорить... Среди обыкновенных людей стоял какой-то Орфей, всех покорявший. Был ли у него настоящий ораторский талант? Не знаю, может быть, и не было... Дело... в общем кругозоре, в подъеме и полете мысли, в понимании, что поэзии, в себе замкнутой, ничем, кроме себя не занятой, нет, что все со всем связано, и что поэт только тогда поэт, когда он это сознает и чувствует... У него была не эрудиция, а чудесный, действительно редчайший дар проникновения в эпохи, его уму и сердцу близкие, особенно в мир античный. Притом по складу своему он вовсе эллином не был». (Цит. по статье А. Козина в кн.: Алексей Ремизов. Взвихренная Русь. 1979, с. 594.)

ИВАНОВ-РАЗУМНИК Разумник Васильевич (1878—1946). Литературовед, социолог, идеолог народничества, «скифства», близкий друг Ремизова. «В России после годов «под коленку» я нашел себе пристанище: «Заветы» и «Скифы» (левоэсеровские издания, созданные при активном участии Р. И. Иванова-Разумника — *В.Ч.*). Иванов-Разумник принял меня безоговорочно, каков я есть»,— вспоминал Ремизов. (Н. Кодрянская. Алексей Ремизов. Ук. соч., с. 127.) С 1941 года в эмиграции.

КУСТОДИЕВ Борис Михайлович (1878—1927). Один из близких Ремизову русских живописцев XX века. Он часто встречался с ним в 1910-е годы на литературных вечерах, выставках. Рисунок Б.М. Кустодиева «Портрет писателя А. Ремизова», сделанный по заказу «Золотого руна» в мае 1907 года был внесен в каталог работ художника. Картины Кустодиева, которые современники называли «снами о жизни», «фантазиями быта» (в том числе близкого Ремизову купеческого, мещанского, уездного), чаще всего без сюжета, вне времени, для автора «Посолони» — глубоко национальное явление, обращенное и к фольклорным истокам искусства, и к лубку, к детской игрушке, и к «просторечью» вывесок. В. В. Воинов, свидетель бесед Кустодиева с М. В. Нестеровым, его учителем, так излагает творческое кредо Кустодиева, созвучное мечтам Ремизова: «...Кустодиев мечтает о создании типично русской картины, как есть картина голландская, французская... Русская жизнь при этом определенно ассоциируется с временами года. Русская зима, весна, лето и осень мыслятся, как замкнутые круги, каждый из которых имеет свою особую физиономию и психологию... Кустодиев стремится к рассказу, органически связанному с бытом». (В. В. Воинов «Встречи и беседы». В кн.: Борис Михайлович Кустодиев. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. Воспоминания. Изд. «Художник РСФСР». Л., 1967, с. 203.)

В дни Февральской и Октябрьской революции Б. М. Кустодиев, больной, «обезножевший», жадно искал новых впечатлений, стремился видеть петербургскую улицу тех дней, говоря: «Да **такой** улицы еще сто лет ждать придется!».

ЛУНДБЕРГ Евгений Германович (1887—1956). Писатель, переводчик, философ. В начале 1900-х годов близок с «Христианским братством борьбы» (А. Белый, П. Флоренский, А. Петровский, С. Булгаков). Из этого кружка впоследствии, по словам А. Белого, «выветвилось» Московское религиозно-философское общество. В 1917—1918 гг. принадлежал к ядру «Скифов». Лундбергом основано в 1920 г. в Берлине издательство «Скифы». Основные позиции этого философско-эстетического течения разделял и А. М. Ремизов.

МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1866—1941). Философ, прозаик, литературный критик, публицист. В книге «Пляшущий демон» Ремизов скажет о рационализме, книжности Мережковского: «В те времена «мракобесия» — корифеем был Мережковский, облепленный сверху донизу Достоевским — выражались туманно». (А. Ремизов. «Пляшущий демон». Танец и слово. 1949, с. 37.) Ремизов часто писал о том, что «и у Мережковских я не свой, да и они не по мне, вместе с Чулковым и с их фальшивой религией». (Из неизданной части книги «На вечерней заре» — фрагмент приведен Антонеллой д'Амелией в коммен-

тариях к рукописи Ремизова «Мерлог».) Поэт и критик Георгий Адамович дал характеристику Мережковскому, близкую оценкам Ремизова: «Розанов, хорошо знавший Мережковского, внимательно к нему присматривавшийся, сказал о нем: «Мало кто из русских писателей принял в свою душу столько печали, как он». Это очень верно. Печаль у Мережковского какая-то изначальная, природная, противоречащая всей его метафизике». (Цит. по книге: Алексей Ремизов, «Взвихренная Русь». 1979, с. 630.)

МУРАТОВ Павел Павлович (1881—1951). Искусствовед и писатель, прославившийся работами о русской иконе и итальянской живописи. В эмиграции — с 1922 года.

НАРБУТ Владимир Иванович (1888—1944). Поэт. Брат графика Егора Нарбута. В 1918—1919 гг. организовал в Воронеже издание журнала «Сирена», где в голодные годы опубликовал некоторые произведения Ремизова и многих былых друзей по петербургскому «Цеху Поэтов».

ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич (1878—1939). Живописец, график, прозаик, драматург (автор пьесы «Жертвенные»). Художник В. М. Конашевич удачно сказал о «тяжеловесной гениальности» людей, подобных Петрову-Водкину, вытекавшей из их «поражающе своеобразного восприятия мира». (В кн.: Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. М., 1982, с. 26.) Ремизову был близок протест Петрова-Водкина против «протоколизма», диктата «среднего глаза», близок хорошо отрепетированный и все же искренний «испуг» перед «нагроможденной жизнью» городов, своеобразные фантазии художника: «Морды поднялись на меня из всех житейских щелей, как античные ужасы. Вместо живых людей сплошь обступили меня «исполняющие обязанности» — не с кем вести игру. Искусство, как стеклянный шар, повисло над земными чиновниками. В нем все стало замкнутым, обособленным. Выплеснутым из людской лохани ощутил я себя, и нечего мне было делать с самим собой». (Ук. соч., с. 517.)

ПИЛЬНЯК (настоящая фамилия Вогау) Борис Андреевич (1894 — 1937). Советский прозаик, которого Ремизов считал своим учеником. В Берлине в 1922 году, по воспоминаниям Ремизова, Пильняк отделывал многие свои рассказы «под моим глазом», изгоняя искусственно-книжные фразы, добиваясь того, чтобы слова «излучались и иззвучивались». «Где же искать речевые русские лады, не подчиняющиеся правилам грамматики церковно-славянской, Мелетия Смотрицкого (17 в)?.. Сказ — живая вода... книжную, застылую в книжных формах, фразу надо встряхивать и **выговаривать**, и такая фраза зазвучит живо и выразительно.— Надо переучиваться грамматике. Эти мои граммати-

ческие рассуждения... поразили... когда-то Пильняка. И Пильняк-Вогау упорно переучивался грамматике и встряхивал фразы» (А. Ремизов. «Мышкина дудочка». 1953, с. 148.) В книге «Ахру» Ремизов после строк «русскому писателю да еще в такую пору — столпотворенную — без России никак невозможно», скажет о первых художественных осмыслениях столпотворения: «Самый изобразительный и охватистый большак — Б. А. Пильняк (Вогау) ... снялся в Петербург — А. М. Горький вывез! — привез роман «Голый год» и повесть «Иван-да-Марья». (А. Ремизов. «Ахру». Изд-во З. И. Гржебина. Берлин — Петербург — Москва, 1922, с. 33.)

Возможна постановка вопроса и о взаимовлиянии: роман Б. Пильняка «Голый год» (1921) с постоянным смещением плоскостей, с использованием приема чтения уличных объявлений и вывесок, с иллюзией создания множества точек зрения на один и тот же предмет во многом перекликается со «Взвихренной Русью».

ПРИШВИН Михаил Михайлович (1873—1954). Русский советский писатель, для Ремизова — «этнограф», «космограф», человек, наделенный и доверчивостью, «простодушием с хитрецой», и особым звериным чутьем к жизни природы. В книге «Кукха» (Розановы письма) Ремизов не без удовольствия приводит характеристику Пришвина, данную В. В. Розановым: «Из всех ведь писателей-современников — теперь уж можно писать о нас, как об истории,— у Пришвина необычайный глаз, ухо и нос на лес и зверя, и никто так живо — теперь уже можно говорить о нас и не для рекламы, и не в обиду — никто так чувствительно не сказал слова о лесе, о поле, о звере: запах слышно, воздух — вот он какой ваш ученик Пришвин». (А. Ремизов. Кукха. Розановы письма. 1978, с. 55.) Позднее в 1953 году Ремизов признается, что «Пришвин, он мне как весть из России, я живу русской речью, слово и земля для меня неразлучны». (А. Ремизов. «Мышкина дудочка», 1953, с. 93.)

РЕЙСНЕР Лариса Михайловна (1895—1926). Русская советская писательница. В 1913 году опубликовала в альманахе «Шиповник» пьесу «Атлантида» (несомненно влияние Л. Н. Андреева). В 1915—1916 гг. выступала как критик и публицист. В годы гражданской войны — на Восточном фронте. Основные книги «Фронт» (1924), «Гамбург на баррикадах» (1925).

РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856—1919). Русский философ, публицист, критик конца XIX — начала XX века. А. М. Горький в ответ на просьбу дочери писателя-философа Н. В. Розановой поделиться воспоминаниями об отце, ответил: «Написать очерк о нем — не решаюсь, ибо уверен, что это мне не по силам. Я считаю В. В. гениальным че-

ловеком, замечательным мыслителем, в мыслях его много совершенно чуждого, а — порою — даже враждебного моей душе, и — с этим вместе — он любимейший писатель мой». («Контекст — 1978». М., 1978, с. 323).

Ремизову было известно, как оценивал его — на присущем ему образном языке — В. В. Розанов. Последний писал З. Н. Гиппиус о Ремизове: «Голова эта — путаная, с психологией малой мыши на большом сыре, которая боится быть пойманной...». Образ удивительно точный, если учесть, что все игры Ремизова с «обезьяньей палатой», с превращением в свое «автобиографическое пространство» всего петербургского окружения поэтов, художников, артистов были отражением расторможенной психологии малой мыши на большом сыре... Ремизов ценил в Розанове, отмахиваясь от любых характеристик Розанова как сотрудника реакционного «Нового времени», как философа, «раскрепостителя плоти», увлекавшего под «Древо Жизни», удивительный дар интимнейшего Слова, «теплоту в сердце», особую внимательность к людям. Правда, и в эти оценки порой примешивалась горечь иронии: «Василий Васильевич! Ваша мечта, новая правда: жизнь, потому что вы прожили свою жизнь в тоске и неудаче. Но кого вы сунете под ваше Дерево в беззаботное зеленое человечество?» Одна из самых известных книг В. В. Розанова, «Апокалипсис нашего времени», выходившая отдельными выпусками в Сергиевом Посаде (Загорске) в 1917—1918 гг. Андрей Козин, располагающий многими новейшими материалами, связывающими «Взвихренную Русь» и «Апокалипсис нашего времени», уловил внутренне апокалиптический характер множества изображений бытовых катастроф, кризисов в петербургской панораме Ремизова. К сожалению, он не отметил, что Ремизов к своим малым «апокалипсисам», к хлебным и топливным катастрофам относился с известной иронией, с «веселостью духа», с озорством и надеждой, его не покидала мысль: это не навечно, это гримасы кануна чего-то грандиозного! Мрачнейшие пророчества Розанова, умело сориентированные на библейские тексты и фигуры, для Ремизова едва ли были целиком убедительны. «С лязгом, скрипом спускается над Русской историей железный занавес.— Представление окончилось. Публика встала.— Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось»,— такие вещания В. В. Розанова (В. В. Розанов. «Апокалипсис нашего времени». Избранное. Мюнхен, 1970, с. 494) скорее всего производили впечатление, но не оказывали влияния на самобытную историософию Ремизова. «Бабушка наша костромская, Россия наша, и зачем тебя потревожили»,— в этих вздохах Ремизова, в его надежде, что великого прошлого все-таки больше, чем сиюминутного настоящего, что оно сильнее своим теплом, добротой, молитвой, скрыт особый, «юродивый» оптимизм, отсутствующий у В. В. Розанова.

СОЛОГУБ Федор (Федор Кузьмич Тетерников) (1863—1927). Поэт, прозаик. Его позиция в послеоктябрьские дни проливает своеобразный дополнительный свет на многие состояния Ремизова. А. Козин в своем комментарии приводит фрагмент неопубликованной статьи Ф. Сологуба: «Я не принадлежал никогда к классу господствующих в России и не имею никакой личной причины сожаления о конце старого строя жизни, но я в этот конец не верю... Я поверил бы в издыхание старого мира, если бы изменилась не только форма правления, но и форма мироощущения, не только строй внешней жизни, но и строй души. А этого как раз и нет нигде и ни в ком». (Цит. по кн.: Алексей Ремизов. «Взвихренная Русь». 1979, с. 665.)

СТЕПУН Федор Августович (1884—1965). Философ, прозаик. В 1922 году выслан из СССР. Автор интереснейших мемуаров в 2-х томах «Бывшее и несбывшееся», романа «Николай Переслегин» и др.

СУВЧИНСКИЙ Петр Петрович (1892—?). Известный музыковед. Один из зачинателей евразийского движения, соредактор евразийских сборников «Версты». Суть «евразийства» — духовного течения русской эмиграции — в преодолении «европоцентризма», в повышении внимания к роли Востока в судьбах России, извечно стоявшей «на берегу огромного океана народов Азии». (Всеволод Н. Иванов. «Мы». Харбин, 1921, с. 48.)

ТЕРЕЩЕНКО Михаил Иванович (1888—1958). Промышленник. Покровитель Мариинского театра в 1910—1911 гг. Вместе со своими сестрами — владелец издательства «Сирин». Часто встречался с Ремизовым, автором сценария или либретто балета «Лейла и Алалей», и композитором А. К. Лядовым, художником А. Я. Головиным, балетмейстером М. М. Фокиным и режиссером Вс. Э. Мейерхольдом. После февраля 1917 года — министр финансов во Временном правительстве.

ТРОЦКИЙ (Бронштейн) Лев Давыдович (1879—1940). Для восприятия этой политической фигуры в 1917—1920 гг. в кругах петербургской интеллигенции, близкой Ремизову, характерно суждение А. М. Горького в «Несвоевременных мыслях»: «Пугать террором и погромами людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске г. Троцкого над развалинами России,— это позорно и преступно». (М. Горький. «Несвоевременные мысли». Заметки о революции и культуре. Просветительское Общ-во в память 27 февр. 1917, с. 67.) Троцкий воспринимался как воплощение свирепого разрушительства, террора, «завинчивания гаек», демагогического заискивания перед «массами» и одновременно презрения к ним. «Устрашение является могуществен-

ным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтобы этого не понимать. Трудно обучить массы хорошим манерам. Они действуют поленом, камнем, огнем, веревкой».— Это характерное заявление Л. Д. Троцкого приводит А. Козин. (В кн.: Алексей Ремизов. «Взвихренная Русь». 1979, с. 674.)

ШКЛОВСКИЙ Виктор Борисович (1893—1985) — русский советский писатель, литературовед, критик, сценарист. Первые выступления в печати относятся к 1914 (кн. «Воскрешение слова» и др.). Был близок к футуристам. Один из зачинателей и теоретиков формальной школы в литературоведении. Ремизов высоко ценил своеобразный талант Шкловского — виртуозного выдумщика, ирониста, мастера блестящих характеристик литературных явлений. Он вспоминал его книгу о Розанове, отметив неожиданный подход Шкловского к наследию философа и публициста: «А помните, Василий Васильевич, как-то вы сказали... помню, что рассказов писать вы никак бы не могли. А вот Шкловский книжку написал **Розанов,** и там как раз наоборот: Розанов — **Уединенное, Опавшие листья** — ведь это целый роман, новая форма!». (А. Ремизов. Кукха. Розановы письма. 1923, с. 124.) В книгах «Zoo, или Письма не о любви» (Л., 1929) Шкловский, наблюдавший жизнь Ремизова в Берлине в 1922 году, подчеркнул в характеристике труда Ремизова значение «роли личного элемента как материала искусства».

ШЕСТОВ Лев (Лев Исаакович Шварцман) (1866—1938). Русский философ-экзистенциалист и литературный критик. Окончил юридический факультет Киевского университета. С 1920 года — эмигрант. Автор статьи о Л. И. Шестове в краткой литературной энциклопедии Р. А. Гальцева отмечает: «Шестов не столько литературный критик, сколько критик литературы — как дела, предательского по отношению к самой жизни... Литература искажает жизнь, когда «воспевает идеалы» вместо того, чтобы рассказывать правду о человеческом существовании... Она замещает жизнь, вытесняя подлинное, непосредственное переживание опосредствованным умствованием». (КЛЭ. т. 8. М., 1975, с. 703.)

Ремизов вспоминал: «Розанов и Шестов учили меня житейской мудрости». (А. Ремизов. «Мышкина дудочка». 1953, с. 132.) Среди этих усвоенных уроков — одна из излюбленных идей Л. И. Шестова: «Сама по себе **тенденция,** очевидно, не так опасна, как принято думать. Если намерение у художника является как следствие имеющихся в его распоряжении сил и средств,— оно не только не вредит достоинству его произведений, но, наоборот, может придать ему большую ценность. Если же «идеей» прикрывается убожество мысли и недостаток изобразительного таланта, тогда получается жалкое произведение... Сла-

бый человек охотно болтает о добре. Но никогда одно желание «быть добрым» не приводило ни к чему, кроме лицемерия. В искусстве «тенденция» большей частью — тоже лицемерие, то есть желание прикрыть «идеей» пустоту в голове и в сердце. Но это у посредственных авторов. Достоевскому же, как и Толстому, их идеи «не мешали говорить к делу». (Цит. по ст. А. Козина в кн.: Алексей Ремизов. «Взвихренная Русь». 1979, с. 688.)

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ

Впервые роман опубликован в полном виде: Нью-Йорк, изд. имени Чехова. 1952. Отдельные части книги и главы публиковались в разные годы в зарубежных издательствах, в газетах и журналах русской эмиграции.

В книге «Alexis Remizov, Bibliographie», подготовленной институтом славистики в Париже в 1978 году, указаны важнейшие публикации своеобразной хроники жизни «Оли» (друзья скоро стали называть Олей Серафиму Павловну Ремизову-Довгелло, жену писателя, героиню трилогии): «В поле блакитном» (Берлин, изд-во «Огоньки», 1922), «Оля» (Париж, изд-во «Вол», 1927), наконец, «В розовом блеске». События военных лет, смерть С. П. Ремизовой-Довгелло («Оли») в 1943 году на время остановили работу писателя над книгой. В то же время они дали ей итог, печальное, скрепляющее все повествование завершение. Ремизов подчеркивал, что фамильный герб литовского рода Довгелло с львиной головой на голубом поле имел описание: *«Голова львова* сера космата *с огненной пастью в поле блакитном».* Эти знаки фамильного герба, после смерти С. П. стали знаками жизни героини, вошли как заглавия частей и в данную книгу.

Связь романа «В розовом блеске» с предшествующими частями повествования об «Оле» создается, как и в первом романе писателя «Пруд», повествующем о родовом гнезде самого Ремизова, всецело по законам его исторического мышления. Для писателя в истории, в сущности, не было движения, «бега времени» (время свертывалось «волчком»), а грех, темная разлучная сила извечно царили в мире. Такова была спорная, конечно, рабочая гипотеза писателя. Все бури, опасности в жизни человека возникают не вне его, а в нем самом, возникают фатально. В части «В поле блакитном» Ремизов нарисовал богатый дом родителей Оли Ильменевой как нечто внешне пышное, неразрушимое, но обреченное на гибель: «пышно дедовское убранство, почерневшее серебро и тусклое золото, дорогой бархат и бесшумные рытые ковры, поблекшие амуры и цветы на потолке, тяжелые люстры, зеркала, старые портреты в гостиной, в диванных, в портретной — крепки стены и земля под ними крепка».

Хозяин дома, отец Оли, неизменно повторяет: «В доме мира нет, погибнет дом!».

Тема обреченности, гибели и дома, и его обитателей связывает воедино все части трилогии. Она же проходит и сквозь биографию главной героини.

Вглядываясь сейчас в реальный характер С. П. Ремизовой-Довгелло, в которой сошлось, «сгустилось» множество традиций, преданий, особенностей характера двух родов (литовского княжеского рода Задор-Довгелло и рода украинского гетмана Самойловича), можно сказать, что Ремизов имел прекрасный, неисчерпаемый «материал». Все было сложно в С. П. «Здесь человек сгорел»,— и сгорел многократно, на жгучих кострах! — так, словами А. Фета, можно сказать о многих этапах пути С. П. Ремизовой-Довгелло.

Н. В. Резникова, друг, собеседник, помощник А. М. Ремизова, обращаясь к памяти Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло, пишет: «Чаще всего С. П. ясная, ласковая. Но бывают дни — что-нибудь ее огорчит или расстроит, и она мрачнеет как туча. Тогда кровь гетманов сказывается в ней... Она очень требовательна к людям и в дружбе тиранична. Но друзья ее многое прощают ей за ее улыбку и ясный взгляд ее светлых серых глаз, отражение детской части ее души. Она отзывчива к людям, к их беде... В последние годы она сочиняла молитвы, записывала их. Учила наизусть стихи Блока. С особенным чувством и особенным голосом (а стихи она читала замечательно, с интонацией, взятой у Блока) она говорила Сологуба:

Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым.
Что Творцу твои страданья,
Капля жизни в море лет?
Вот,— одно воспоминанье,
Вот,— и памяти уж нет.
Но, как прежде, ясны зори,
И, как прежде, ярок свет.
Плещет море на просторе,
Лишь тебя на свете нет.
Подыши еще немного
Сладким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
А потом уйди, как дым.

И было понятно, что тот воин Бога — она». (Резникова Н. В. «Огненная память». 1980.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР ЧАЛМАЕВ. «Вся моя жизнь прошла с глазами на Россию...» 3

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ. *Автобиографическое повествование*

БАБУШКА 32

ВЕСНА-КРАСНА 34

Суспиция. 34
Кровавый мор 36
Звезда сердца 38
По ратным мукам 39
Между сыпным и тифозным 42
Огненная мать-пустыня 48
Язык запал 49
Великая тощета 51
Хлёба! 52
Суд непосужаемый 55
На своей воле 59
Красный звон 63
Плакат 65

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 65

Пряники 65
Палочки 69
О мире всего мира 73
Жертв революции 75
Святая 77
Первая смерть 79
Молчальник 81
Турка 82
Ленин приехал 86
Сталь и камень 88

И забот 90
Отпуск 93

В ДЕРЕВНЕ 96

I—XXXVI 96

МОСКВА 137

I — XX 137

ОКТЯБРЬ 190

I — VII 190

САБОТАЖ 195

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ 196
Искры 196
Рука Крестителева 197
Святой ковчежец 198
Белое сердце 200

ГОЛОДНАЯ ПЕСНЯ 203

ЗНАМЯ БОРЬБЫ 206
I—IX 206

О СУДЬБЕ ОГНЕННОЙ 213

ЛЕСОВОЕ 215

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ 218

ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ 219
Конституция 219
Манифест 220
Лошадь из пчелы 221
Рожь 233
Асыка 236

ТРИ МОГИЛЫ 237

ЗАЯЦ НА ПЕНЬКЕ 239
Зенитные зовы 240
Заплечный мастер 246

ОКНИЩА 247
Фифига 247
На углу 14-й линии 248
Заложники 250
Лавочник 251
Анна Каренина 253
Портреты 258
Братец 259
Мы еще существуем 263
От разбитого экипажа 265
Демон пустыни 267
Именины 269
Катя 273
Благожелатель 276
Благодетель 279
Среди бела дня 282
Рыбий жир 287
Электрификация 290

ЗАГОРОДИТЕЛЬНЫЕ ВЕХИ 292
I—VIII 292

НА ДАРОВЫХ ХЛЕБАХ 297
Находка 297
Сережа 303
Труддезертир 316
По «бедовому» декрету 334

ВИНЕГРЕТНАЯ ЕРУНДА 343

ШУМЫ ГОРОДА 345
Звезды 345
Свет слова 349
Заборы 351
Панельная сворь 353

ПЕРЕД ШАПОШНЫМ РАЗБОРОМ 356
I—VIII 356

ОГНЕННАЯ РОССИЯ 361
Памяти Достоевского 361

ПЕТЕРБУРГ 367
Петрова память 367
Подъемный мост 367

Мельница 368
Бронштейнова ведомость 369
Белые медведи 370
Вино и табак 371
По пунктам и сверх 372
Резной мастер 377
Красная ворона 378

К ЗВЕЗДАМ 382
Памяти А. А. Блока 382

В КОНЦЕ КОНЦОВ 392

НЕУГАСИМЫЕ ОГНИ 394

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ. *Роман*

С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ 400
Петербург 400
Из-под опеки 406
Не из говорящих 415
Нельзя 422
Демонстрация 428
Котенок 436
Что делать 442
Идеал 447
Такой экземпляр 452
Недобитый соловей 456
Бедные люди 467
Ужé 474
Беспорядки 477
Под стук 480
Прощанье 495
Чуперадло 500

ГОЛОВА ЛЬВОВА 506
Как улетали птицы 506
Супирчик 512
Букет 515
Святой 518
Баррикадный 520
Издали 523
Закрыла окна 524

И все так 526
Три пламенных сердца 535
Не считается 537
Некуда деваться 544
Не дождалась 549
Наперекор 554
Без предмета *(Стихи)* 560
На память 573
Серебряный полумесяц 578
Без указки 582
Слепая любовь 591
Две — лиры 597
Земля и море 601
С горбом 604
Живое и мертвое 610
Лепта из вечного 616
Косточка 621

СКВОЗЬ ОГОНЬ СКОРБЕЙ 626

За зеленой оградой 626

Оля 626
С первого глаза 630
Непоправимое 634
Наташа 639
Мать 645
Встречи 650
День всех святых и всех мертвых . . . 652

Залом 654

Вывертень 654
В беспастушное пространство 659
Святый вечер 667
Елочные украшения 671
Западня 673
Отходная 681
Пропад 683
Сирена 685
Конец 692
Омут 697
Туда 700
Дупло 705
Под огненной потравой 708

Задора 713
Задора-Довгелло 713
Из дневника Павла Ивановича Довгелло 717
Гетман 720
Последняя «Задора» 721
Примечания 728

Литературно-художественное издание

РЕМИЗОВ
Алексей Михайлович

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ

Автобиографическое повествование
Роман

Редактор И. А. Курамжина
Художественный редактор Н. Б. Егоров
Технические редакторы Л. Б. Демьянова, В. М. Котова
Корректор Г. В. Селецкая

ИБ № 5823
Сдано в набор 27.03.89. Подписано к печати 16 04 90. Формат 84×108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. краск.-отт. 39,95. Усл. печ. л. 39,48. Уч -изд. л. 38,33. Тираж 100 000 экз. Заказ 252.
Цена 3 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Отпечатано с диапозитивов Калининского ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбината детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР, 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46 на полиграфическом предприятии «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30.

